This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav 4345.8

THE SLAVIC COLLECTION

Harvard College Library

GIFT OF

W. A. Gardner.
May 17, 1897.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

РУССКИХЪ АВТОРОВЪ.

HOUSE OF LORDS
LIBRARY

СОЧИНЕНІЯ

НЕСТОРА КУКОЛЬНИКА.

РОМАНЫ:

III

1) Два Ивана, два Степаныча, два Костылькова (часть IV-я.)

2) Три Періода.

3) Альфъ и Альдона (части I и II.)

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Печатано въ типографіи И. Фишона.

1852.

S Cav. 4345.8

MAY 17 1937

LIBRARY.

Gift of
W. A. Gardner.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С.-Петербургъ, 6 Марта 1852 года.

Цензоръ А. Фрейманъ.

ДВА ИВАНА, ДВА СТЕПАНЫЧА,

ДВА КОСТЫЛЬКОВА.

—

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

—

ЧУЖІЕ КРАИ.

—

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

РЕВЕЛЬ.

«Милостивая госпожа

«Ольга Петровна!

«Исполняя ордеръ вашъ, по коему указано мнѣ корешпондовать съ вами, посредствіемъ почтовой комуникаціи, не смѣю пропустить и особой приватной окказіи, коя презентуется нынѣ и даетъ вольный часъ послѣ воинскихъ экзерциій. Отошла печальная церемонія похоронъ вѣчно-достойной памяти господина генералъ-фельдмаршала, его графскаго сіятельства, графа Борисъ Петровича Шереметева, при коей вы не изволили присутствовать за необычаемъ. Церемонія сія была крайне чувствительна. Старикъ Вейде былъ маршалкомъ на похоронахъ Государь со всѣмъ дворомъ и чужею министеріей, шелъ въ печальномъ одѣяніи за гробомъ, былъ вельми прискорбенъ. Когда стали палить, то по истинѣ доложу, у всѣхъ брызнули слезы. Не шут-

ка потерять такого фельдмаршала, когда еще со Шведомъ дѣла не покончаны. Вообразя себѣ всѣ обиды наши и афронты, отъ Шведа претерпѣнныя, я тутъ же, на похоронахъ, дотого сталъ золъ и азартенъ, что не утерпѣлъ, и улучивъ удобный моментъ, просилъ князя о моемъ къ войску командированіи; немало тутъ и другіе сентименты участіе имѣли; о нихъ вѣдаетъ Богъ, да вы; понеже себя восхотѣлъ я побитіемъ Шведа облагородить, и скорѣе счастія моего стать сколько-нибудь достойнымъ. По сему резону того же числа князь, пожаловавъ меня въ военной коллегіи въ фендрихи своего швадрона, командировалъ, какъ волонтира, въ дессантное войско. Все сіе вамъ извѣстно изъ краткихъ моихъ изустныхъ рапортовъ; но что со мною послѣ абшида съ вами приключилось, того вы не знаете. Кончина Петра Петровича повергла не только Государя Родителя, но и насъ всѣхъ въ комплетную отчаянность. На Котлинѣ островѣ услыхали мы о семъ безпримѣрномъ несчастіи и о чрезмѣрной горести великаго Государя; такожде и о томъ, какъ Долгоруковъ со всѣмъ сенатомъ, придя къ покою, гдѣ трои сутокъ, безъ пищи и питія, Его Величество запершись пребывалъ въ неутѣшной скорби, и како князь въ такой крайности премудрыми рѣчи, вызвалъ Его Величество паки къ принятію воинскихъ и гражданскихъ дѣлъ. Не успѣли мы цареву и нашу потерю достойно оплакать, какъ отъ великой скорби, перешли къ радости, увидавъ Государя на острову. Истинно адмираціи достойно было зрѣти Великаго Петра, полагающа собственными руками начало каналу большому, гдѣ корабли яко бы на сушѣ сидѣть имѣютъ, и фундаментъ царскому дому. Признаюсь, и тутъ я показался можетъ-быть азартенъ, но не могъ утерпѣть, и какъ былъ въ парадномъ костюмѣ, и парикѣ такожде, но глядя на Государя, схватилъ праздно лежавшій заступъ, принялся копать землю по снурку и до ноту лица трудился во весь тотъ день и въ слѣдующій, и чаятельно труда моего на Котлинѣ оста-

далъ не мало. Государь усердіе мое благоизволилъ усмотрѣть и проходя мимо, изрече: «трудись, спасибо!» И пошелъ дальше съ Синявинымъ, флота капитаномъ, отмѣнной храбрости офицеромъ. Послѣдующіе дни я ощутилъ нѣкую лихорадочную дрожь и по указу Синявина ту работу оставилъ. Тутъ же узналъ я отъ него, что Государь посылаетъ его на трудную экспедицію противу Шведа. Я и давай проситься; онъ сначала сталъ-было мнѣ рекузовать, противупоставляя, что я не морской, а сухопутный офицеръ. А я ему презентовать, что я и конскую, и инфантерскую службу про запасъ изучилъ, и большую охоту имѣю штудировать флотскую экзерциціо, дабы комплекгнымъ быть воиномъ, на всѣхъ воинской штуки элементахъ, потому-де что самъ Государь во всѣхъ родахъ тоя штуки сталъ трудомъ и охотою столь искусенъ, почему и подданнымъ его того же стараться достичь надлежитъ. Сіе мое розумованіе имѣло належитое дѣйство, и я, съ разрѣшенія, какъ мнѣ сдается, самого Государя, сѣлъ на корабль. Кораблей было четыре. Вѣтеръ авантажный и мы пошли. О, милостивая госпожа! Море! Правда, шпектакль отмѣнный; маннфично; истинно адмираціи достойно; сто тысячъ верстъ кругомъ лежитъ; и не то лежитъ, а ходитъ, бѣгаетъ, играетъ; подъ бурный часъ шумъ такой, что уши затыкать надо; но для вояжа — морской путь, что ни есть на свѣтѣ несноснаго; и самыхъ бойкихъ укачиваетъ, то есть, знаете, какъ на качеляхъ дурно дѣлается; болѣе отъ имагинаціи, чѣмъ за правду. Морская болѣзнь... говорятъ мнѣ: берегись, вотъ те лимонцу кусочекъ, кушай! — Подите вы, я сказалъ, лимонъ выбросилъ, вотъ выдумали! Зачѣмъ мнѣ хворать, когда я здоровъ. Не хочу морской вашей болѣзни. Не буду боленъ!... Такъ и сдѣлалъ: не былъ боленъ; а путь выдержалъ большой; путь, я вамъ скажу, пренесносный. Скука смертная; кругомъ отъ болѣзни морской видъ такой отвратный, а глянешь за бортъ, вода да небо. Голландъ, островъ,

да еще двѣ сопки, потомъ Вульфъ островъ, потомъ Наргинъ островъ, да Колывань издали; тутъ еще острова: — только и видали; и то глядя на нихъ будто съ крыши, а выйти погулять нельзя. Подошли мы къ Эзелю, тоже островъ и пребольшущій; обогнули, да и пошли къ Готланду, тоже островъ шведскій. Пошли, квечеру паруса завидѣли. Спасибо вѣтру; нагнали мы ихъ мигомъ; не успѣли порядкомъ изготовиться... пифъ-пафъ; загремѣли пушки — и стало весело. Я думалъ всегда, что въ сраженіи такъ дерутся, какъ за Донскимъ на кулачкахъ. Сойдутся, прикладно; сторона противъ стороны стали; засучили рукава; старшіе осмотрѣли: нѣтъ ли у кого кистеней и — пошли въ свалку. Не тутъ-то было. Перестрѣливались долго, вервія и большія бревна, что торчатъ на корабляхъ, оборвали; а тогда уже въ свалку. Столкнулись. Тутъ я уже вынулъ шаблю и перескочилъ на шведскій корабль и безъ команды; за мною солдаты... Пошли чесать. Знатный народъ Шведы! Одному я руку отрубилъ, а онъ лѣвой подхватилъ пистолю: можетъ-быть убилъ бы меня, да я во-время усмотрѣлъ. Какъ шарахну его шаблей по лапѣ, такъ съ пистолей и отвалилась. Чудо, не потѣха! То былъ самый большой шведскій корабль; командеръ на немъ проживалъ; азартный такой; будто левъ, такъ на меня и бросился; я его шаблей по рожѣ, да кончикомъ только задѣлъ за носъ; вижу двѣ пистоли на меня уставлены; я нарочито присѣлъ, какъ-разъ во-время; дурень выпалилъ на вѣтеръ, а я его цапъ за ноги и свалилъ. Кричу: «Ура! Наша взяла!» Шведы сконфузились и положили ружье. Гляжу, вездѣ меня Синявинѣ, тоже, обрызганъ, кровью. Оставались еще два корабля; да тѣ ужъ больше со страху сдались; и правду сказать, на этомъ одномъ было пятьдесятъ двѣ пушки, а на тѣхъ на фрегатѣ тридцать три, а на бригантинѣ двѣнадцать пушекъ. Забрали мы кораблики и потащили къ Колывани. Эта потѣха весьма за морскую скуку заплатила, но, къ

огорченью, дальше ходить намъ не было указано. — Пришли мы въ Колывань и сѣли на рейдѣ; Синявинъ посылаетъ къ Государю рапортъ, а меня отпустилъ на землю, потому что мнѣ море больно опротивѣло. Надо ко всему имѣть натуральную склонность. Уже спускаютъ лодку, чтобы отвезти меня на берегъ... Спѣшу окончить письмо, которое отъ флота офицеръ взялся передать Борису. Скажите ему, пусть лошадей и людей моихъ отправитъ въ Колывань. Тутъ мы если долго и не пробудемъ, однако же можемъ возвращаться по удобству здѣшняго гафа. Слѣдующее письмо пойдетъ уже черезъ почтовую коммуникацію.

«Милостивая госпожа! Не осердитесь за эпистолу и поминайте милостиво вашего всенижайшаго раба Ивана.

«Колывань, 1719 года, іунія 18 дня.»

«Милостивая госпожа

«Ольга Петровна!

„Письма, мною отъ вашей руки и сердца полученныя съ обозомъ моимъ, преисполнили меня радостію веліею. Если бы вы знали какъ мнѣ и на сушѣ безъ васъ скучно. Видно не море виновато, хотя оно поистинѣ пренесносный элементъ; оно очень хорошо издали; напримѣръ здѣсь, въ городѣ, оно чинитъ дивный шпектакль. Я въ эти полтора мѣсяца подучился нѣмецкому нарѣчію, такъ, что съ довольнымъ удобствомъ экспликуюсь съ обывателями, которые всѣ очень деликатны въ кондуитѣ, ласковы и русскимъ фортшритамъ весьма рады. Колывань по-нѣмецки зовется Ревелемъ; былъ прежде знатной нѣмецкій гандлевый городъ, потомъ шведскій, теперь опять сталъ русскій. Городъ сей, знаете, чтобы вамъ дать нѣкое объ немъ понятіе, есть не что иное, какъ будто кто кусокъ Москвы вырѣзалъ и бросилъ въ море. — Тутъ было когда-то рыцарство, тоесть, вольное дворянское войско; у нихъ былъ свой атаманъ, котораго *господиномъ мастеромъ*, по-нѣмецки гермейстеромъ, кликали. Эти *господа мастера* и

съ шляхетскимъ своимъ войскомъ были большіе забіяки; сидя на нашемъ рубежѣ, всякую пакость намъ чинили; потому мы имѣли съ ними войну и били ихъ довольно, но по разбойничьему характеру отъ воровства ихъ не могли унять, пока ихъ шляхетское войско съ господиномъ мастеромъ не было распущено по домамъ; городъ же, съ землею и островами, взятъ на Шведа. Теперь отъ тѣхъ временъ осталось только нѣсколько церквей, да сотня такихъ дивныхъ домовъ, что кто въ Москвѣ бывалъ, то безъ смѣху по улицамъ ходить не можетъ. Дома эти большія каменныя избы, окна гдѣ попало, одно съ ворота, другое съ кирпичъ, третье круглое; воротъ въ старыхъ домахъ нѣтъ; на уличныхъ стѣнахъ налѣплены человѣчки, гербы и разные сигналы; весь городъ уставится на московской Красной Площади; рѣки никакой нѣтъ; вода для питья озерная; зелени никакой не достанешь, если наши русскіе мужики изъ ближнихъ городовъ не придутъ и огородовъ на себя не снимутъ. Я это дѣло разумѣю и дивился нѣмецкой лѣни. Рыбы морской сколько душѣ угодно, но хорошей мало. Какія-то флиндры, да щуки, да салакушка. Правду сказать, все здѣсь втрое противу Питера дороже, хотя и говорили мнѣ всѣ, что тутъ дешевизна царствуетъ. Жить совѣмъ негдѣ. Фурштаты, то есть, предмѣстія или загородныя слободы сожжены; а въ рыцарскихъ домахъ въ покояхъ живутъ портные да сапожники, а въ сѣняхъ торгуютъ салакушкой, килькой (тожде рыбка) и дряннымъ калачами. И правду сказать сѣни по истинѣ какъ будто для торга строены, съ улицы домъ—будто каланча спичастая (остроконечная), а войдешь — лѣстница дубовая, пребольшущая, а на площадкѣ въ сѣняхъ можно верхомъ экзерцироваться. Что мнѣ крайне понравилось, такъ это здѣшнія братства, то есть, такія компаніи, которыя имѣютъ статуты, собираются въ особые дома, толкуютъ и пируютъ, а по нуждѣ и на войну ходятъ. Братство Чермоголовыхъ самое веселое и самое храброе. Молодежь

и бодрые холостяки, всѣ тутъ. Очень пріятно. Кирхи или церкви двѣ отмѣнно хороши. Кирха въ Вышгородѣ вся гербами шляхетскими изукрашена, да внизу Олай-кирха, съ такою спичастою и высокою башнею, что кораблямъ указкой служитъ. Вотъ и все, что курьозно. А что тутъ лучше всего и стараго и новаго, такъ это Катеринентальъ, то есть, долина Ея Величества Екатерины Алексѣевны; то есть, и не долина, а салъ, съ двумя дворцами хорошаго строенія и съ фонтанами. Я то и дѣлаю, что тамъ прогуливаюсь, да объ васъ думаю. Вчера прибылъ къ намъ Государь и остановился въ Катеринеталѣ. Черезъ часъ господинъ Синявинъ пожалованъ въ капитанъ-командоры, а я въ лейтенанты. Оканчиваю письмо, потому что зовутъ меня въ новомъ чинѣ начальству презентоваться. Господи! Когда же пойдемъ мы въ это несносное море? Тутъ, въ Ревелѣ, не много соберешь заслугъ, которыя должны... Но вы меня понимаете... Простите...

«Сію минуту полученъ ордеръ. Мы идемъ на кораблях прямо въ Швецію. Ура! Съ комплектной субмиссіей и достодолжной венераціей къ вашей персонѣ, остаюсь всенижайшій рабъ

— «Иванъ.»

Разрывъ всѣ архивы трехъ родовъ Словцевыхъ, Костыльковыхъ и Полосковыхъ, я не отыскалъ болѣе писемъ Степаныча; не нашелъ и письма къ нему Ольги Петровны; послѣднее объяснилось, но при всемъ томъ я былъ поставленъ въ совершенную невозможность продолжать исторію Костыльковыхъ. Въ столь затруднительномъ для историка положеніи, я рѣшился ѣхать въ Ревель и на мѣстѣ поискать слѣдовъ пребыванія моего героя въ этомъ остзейскомъ Неаполѣ, какъ его титулуютъ нѣкіе путеводители. Я самъ сталъ героемъ, потому что надобно имѣть не мало героизма, чтобы

ѣхать на нѣкоторыхъ нашихъ вольнопрактикующихъ пароходахъ. Я перенесъ всѣ неудобства и шпектакли этого продолжительнаго и утомительнаго пути; продолжительнаго, потому что вмѣсто осмьнадцати, мы шли двадцать семь часовъ, а съ пребываніемъ на пристани двадцать девять. Я вытерпѣлъ неудобства и трактирной жизни остзейскаго Неаполя, гдѣ можно получать пропитаніе только въ два часа пополудни, и то включительно съ поросенкомъ, вмѣсто жаркаго, и прочая; все, все я снесъ, и былъ съ лихвою вознагражденъ за долготерпѣніе и путевую тревогу. Я открылъ кладъ, о которомъ умолчу пока; скажу только, что я могъ бы теперь написать не исторію, а дневникъ Степаныча. Многое можно бы пополнить и въ трехъ предшествовавшихъ частяхъ, но теперь не время; къ чему заставлять читателей возвращаться по пути, который можетъ-быть они прошли не безъ утомленія? И такъ пойдемъ дальше.

Девятнадцатаго іюня того же 1719 года, то есть, на другой день по отправленіи письма лейтенантъ лейбъ-регимента... Позвольте; это требуетъ поясненія. У Меншикова и у Шереметева было по эскадрону почетнаго коннаго войска, которое составляло тѣлохранителей обоихъ фельдмаршаловъ. По смерти Шереметева оба эскадрона соединены въ одинъ полкъ царской конной гвардіи и наименованы лейбъ-региментомъ. Лейтенантъ Костыльковъ нечаянно очутился въ гвардіи; получивъ о томъ повѣстку, на радости отправился въ

любимый имъ Катеринентальъ, чтобы въ тѣни развѣсистыхъ деревъ, при шумѣ фонтановъ, побесѣдовать о своемъ счастіи съ Ольгой Петровной. Тутъ всегда было и тихо и пусто; горожане пріѣзжали партіями и выбирали для своихъ трапезъ и прогулокъ мѣста поуединеннѣе, почему дѣйствительнаго уединенія надо было искать около самаго дворца: но въ этотъ день толпы народа въ разноцвѣтныхъ пестрыхъ костюмахъ наполняли и цвѣтникъ и аллеи на террасѣ, желая посмотрѣть на Государя. У всѣхъ входовъ и внутри новаго и стараго дворца стояла оригинальная стража; на голубыхъ мундирахъ съ красными отворотами былъ одинъ эполетъ, изъ-подъ него бѣжали снурки или аксельбантъ; на высокихъ парикахъ покоились шляпы съ подкладкой въ разрѣзѣ изъ перьевъ, что называется плюмажемъ. Ноги у этихъ воиновъ пребывали въ ботфортахъ, будто въ футлярахъ. Всѣ эти караулы осматривалъ съ особенною суетливостію такой же рыцарь; отъ прочихъ онъ отличался только тѣмъ, что голубой мундиръ его былъ богато обложенъ золотымъ галуномъ. Старшина, потому что онъ былъ дѣйствительно одинъ изъ двѣнадцати старшинъ ревельскихъ черноголовыхъ, ратсгерръ Прейсъ, осмотрѣвъ почетные караулы изъ братьевъ, отправился за тѣмъ же къ малому дворцу, также построенному Петромъ Великимъ и Степанычъ нагналъ его уже на террасѣ.

— «Куда это вы такъ спѣшите, господинъ ратсгерръ?» спросилъ Степанычъ.

— «О!» отвѣчалъ Прейсъ значительно, поправилъ парикъ и пошелъ дальше...

«Хорошъ отвѣтъ!» подумалъ Степанычъ. «Да ногоди нѣмецъ: ты отъ меня такъ не отдѣлаешься... Послушайте, ратсгерръ! отчего вы это въ такомъ птичьемъ костюмѣ?»

— «Не мѣшайте мнѣ, господинъ офицеръ: я очень занятъ; мнѣ некогда разговаривать. Государь въ Катериненталь сейчасъ будетъ...»

— «Да вамъ до этого что за дѣло?»

— «Мнѣ?»

Ратсгерръ остановился, выдвинулъ одинъ ботфортъ впередъ, осадилъ свой корпусъ въ вопросительную позицію, съ чѣмъ весьма искусно умѣлъ согласить лице и руки, и повторилъ и гордо и насмѣшливо значительный вопросъ свой.

— «Да что́ вы здѣсь, развѣ губернаторъ или полиціймейстеръ?»

— «Нѣтъ.»

— «Такъ что́ же вы?»

— «Я ратсгерръ Прейсъ.»

— «Знаю.»

— «Я голова многихъ головъ!»

— «Тѣмъ лучше.»

— «Ну...»

— «Ну?..»

— «Это моя команда Мы всегда охраняемъ нашего царственнаго покровителя, когда онъ дѣлаетъ намъ счастіе и пріѣзжаетъ въ Ревель.... Прощайте!»

— «Нѣтъ, господинъ Прейсъ! не прощайте, а

здравствуйте. Я давно хотѣлъ съ вами познакомиться.»

— «Завтра, пожалуйста завтра! Сегодня мнѣ некогда. Государь будетъ сейчасъ, сію минуту, я долженъ его встрѣтить и проводить до крыльца.»

— «Я вамъ не мѣшаю и самъ посмотрю на вашу ловкость; а путемъ дорогой спрошу: могу ли я быть принятъ въ ваше братство?»

— «Вы кто такой?»

— «Я лейтенантъ коннаго лейбъ-регимента...»

— «Очень радъ! очень радъ! Приходите въ нашъ домъ часа черезъ два... Нѣтъ! приходите ко мнѣ, я васъ научу и наставлю, а тогда уже пойдемъ въ домъ братства. Ну, теперь, сдѣлайте милость, отвяжитесь. Видите! Государь уже у берега...» Ратсгеръ воротился и бѣгомъ бросился къ пристани.

Сколько ни обожалъ Степанычъ безсмертнаго Монарха, но какой-то тайный голосъ удерживалъ его всегда далече отъ Государя; онъ не смѣлъ къ нему приближаться. Совѣсть мучила нашего героя. Государь ѣхалъ за версту, а Степанычъ уже краснѣлъ до ушей, и не разъ хотѣлъ упасть къ ногамъ его съ повинною и принести признаніе въ преступномъ подлогѣ. И теперь Степанычъ по невольному чувству спѣшно возвратился къ новому дворцу и смѣшался съ толпою. Видъ былъ очаровательный. Смѣшно бы сравнивать Катериненталь съ Петергофомъ, Царскимъ, Павловскомъ и такъ далѣе, но онъ дѣйствительно прекрасенъ, по архитектурѣ дворца, по красивымъ

террасамъ, прелестному цвѣтнику, въ которомъ тогда играли фонтаны, не мечтая въ дѣтской рѣзвости своей, что ихъ, современемъ, когда не станетъ великаго хозяина, переведутъ въ Петергофъ. Прелесть вида умножалась другаго рода цвѣтникомъ, отъ котораго съ трудомъ можно отвести глаза; ревельскія дамы въ легкихъ лѣтнихъ наколкахъ, не закрывавшихъ ихъ свѣжихъ, румяныхъ личикъ, перешептывались (между собою, а не съ съ мужчинами) и одушевленныя своими тайными разговорами, рдѣли роскошнымъ румянцемъ, чаровали улыбкой и теплотою взгляда... Ольга Петровна куда была краше всѣхъ этихъ дворянокъ, мызницъ, приказчицкихъ дочерей и купчихъ. Но всѣ онѣ, вмѣстѣ, были краше красоты, краше всего, что только можно вообразить себѣ красиваго, прелестнаго, очаровательнаго Степанычъ, — простите ему: онъ у меня лице историческое, а не романическій автоматъ, — Степанычъ растаялъ: не зналъ, на которую красавицу смотрѣть: глаза такъ и перескакивали съ цвѣтка на цвѣтокъ, и нечувствительно прибѣжали къ главному крыльцу, гдѣ почетнѣйшія дамы, никѣмъ не стѣсняемыя, ожидали прибытія новаго и уже любимаго обладателя Эстляндіи. Вскорѣ въ глубинѣ аллеи, на взморьѣ, показался Государь; онъ шелъ къ дворцу съ капитанъ-командоромъ фонъ-Гофтомъ. Радостный гулъ прошумѣлъ въ толпѣ, и обратился въ странный дѣтскій восторгъ, когда зрители увидали, что Царь былъ въ мундирѣ черноголовыхъ. Дамы прыгали, смѣялись, хлопали въ ладоши и кричали.

Мужчины восхищались очень спокойно, съ полною національной флегмой, но удовольствіе было написано на лицѣ каждаго. Петръ остановился на площадкѣ, куда въ экипажахъ и верхомъ вслѣдъ за нимъ пріѣхали разные военные сановники. Государь подходилъ къ нѣкоторымъ мужчинамъ и дамамъ, спрашивалъ о здоровьѣ, о торговлѣ, объ увеселеніяхъ, но безпрестанно поглядывалъ на небо и на большаго пѣтуха, который на одномъ углу дворца исправно вертѣлся и указывалъ вѣтеръ. Лице Государя выражало заботу и глубокую думу. Нерѣдко взоры его останавливались на морѣ, и нѣсколько мгновеній проходило въ совершенномъ молчаніи, какъ-будто ни живой души тогда не было въ Катеринеталѣ. Вдругъ пушечные выстрѣлы раздались на рейдѣ; Государь, не говоря ни слова, скорыми шагами пошелъ ко взморью; не только вся свита, но всѣ зрители пошли за нимъ; нѣкоторые бѣжали, потому что за Царемъ обыкновеннымъ шагомъ ходить было трудновато. Со взморья открылся истинно великолѣпный видъ: на рейдѣ и у острововъ Вульфа и Наргина разсыпано было шесть сотъ осемьдесятъ галеръ, и больше трехъ сотъ такъ называемыхъ островскихъ лодокъ, а между этимъ островомъ и дальше въ морѣ на всѣхъ парусахъ медленно двигался корабельный флотъ, пришедшій изъ Петербурга. Двадцать девять линейныхъ кораблей и нѣсколько фрегатовъ уничтожили пустынный видъ моря; бездна какъ-будто заселилась крылатыми обитателями. Прекрасная, грозная и многозначительная

картина! Каждый могъ понять, кому теперь стали покорны Балтійскія воды; оборванные, простреленные, изломанные шведскіе корабли, какъ сказать, вчера еще взятые Сенявинымъ, лежали на рейдѣ и жалостнымъ видомъ своимъ какъ-будто служили краснорѣчивымъ комментаріемъ морскому могуществу Россіи. Начались салюты и громъ орудій какъ-будто вложилъ слово въ эту нѣмую картину... Капитанъ-командоръ фонъ-Гофтъ подалъ Государю подзорную трубку. Петръ осмотрѣлся, сталъ на перилы, отдѣлявшія дорогу отъ рва, и придерживаясь за деревцо, узнавалъ и называлъ *дѣтей Ивана Михайловича* поименно. Иванъ Михайловичъ Головинъ былъ одинъ изъ самыхъ приближенныхъ къ Государю вельможъ; Петръ называлъ флотъ — фамиліей, а корабли — дѣтьми Ивана Михайловича.

— «Всѣ!» сказалъ Государь, сходя съ перилъ. «Ну, господа Англичане, не опоздайте!»

Государь пошелъ по Нарвской дорогѣ, и оставивъ ее вправѣ, сошелъ на песчаную долину, лежащую между Катериненталемъ и городомъ, на которой теперь застроены плохіе форштаты. Тутъ ожидала любопытныхъ зрителей другая, не менѣе занимательная, картина. Двадцать тысячъ отличной пѣхоты и шесть тысячъ драгуновъ и казаковъ строились на песчаныхъ буграхъ этой долины. Генералитетъ встрѣтилъ Государя и проводилъ къ полкамъ. Смотръ продолжался больше часа, и публика, увидавъ, что Государь прямо отъ войска пошелъ пѣшкомъ въ Нарвскія ворота, бросилась опять бѣгомъ по тому же направленію. Но уже

не нашла Государя: онъ вошелъ въ домъ братство и любопытные разбрелись по домамъ.

«Ну, теперь прошло два часа», подумалъ Степанычъ: «чай, ратсгерръ уже дома...»

На Широкой улицѣ, въ старомъ рыцарскомъ домѣ жилъ ратсгерръ Прейсъ. Наружная стѣна этой высокой каменной избы совершенно сходствовала съ описаніемъ Степаныча. Наверху торчало что-то въ родѣ шпица; на немъ вертѣлся драконъ; отъ шпица шелъ другой шпицъ или крыша съ глухою стѣной; правда, были въ этой пустынѣ и отверзтія, но окнами ихъ назвать было нельзя, пониже два окна, такія огромныя, что можно было въ нихъ ввозить порядочную телѣжку. Между ними двери съ стрѣльчатымъ сводомъ; по бокамъ по десятку тесаныхъ изъ камня столбиковъ, и три деревянныя ступени на улицу. Двери были отперты. Степанычъ вошелъ въ сѣни, которыя были шириною во всю наружную стѣну; тутъ стояло много бочекъ и ящиковъ, обшитыхъ рогожей, между ними подымалась широкая лѣстница. «Гдѣ же домъ?» подумалъ Степанычъ и пошелъ на гору или на лѣстницу... На второмъ этажѣ, отъ лѣстницы пошли въ разныя стороны вѣтви и отрасли. Не смотря на долговременное пребываніе въ Ревелѣ, Степанычъ сталъ въ тупикъ и не зналъ куда идти. И тутъ ходъ и, немного повыше, опять дверь; можно идту и налѣво и направо, и прямо. Раздумье Степаныча разогналъ дѣвичій звонкій и быстрый разговоръ, который перемежался хохотомъ дѣтскимъ, и отмѣнно пріятнаго звука. Степанычъ догадался,

что за этою дверью, откуда были слышны человѣческіе голоса, находился дѣвичій тайникъ, святыня въ ревельскихъ домахъ, а въ русскихъ цитадель неприступная. Догадался, и все-таки нарушилъ мѣстные законы. Вошелъ. Изъ этого я заключаю, что Степанычъ имѣлъ необыкновенное расположеніе къ женскому полу. Я знаю многихъ, которые въ этомъ отношеніи весьма похожи на Степаныча. Вошелъ... Догадка его не обманула. Онъ нашелъ въ этой комнатѣ три розы, или розу и двѣ лиліи, потому что Роза была такъ похожа на свое имя, какъ двѣ капли воды: свѣжесть и легкій румянецъ не во всю щеку, а во все лице, составляли всю красоту Розы; она-то и смѣялась такъ громко; она-то и лепетала такъ заманчиво. Лиліи только помавали своими бѣло-мраморными личиками и улыбались такъ пріятно, какъ-будто каждая нила отъ вѣнца въ четѣ съ любимцемъ сердца. Одна изъ лилій была повыше и постарше, для отличія отъ другой лиліи именовалась Минной, такъ какъ младшая, по той же причинѣ, названа была Эммой. Всѣ три цвѣтка, увидавъ такого огромнаго шмеля, каковъ Степанычъ, тотчасъ завяли, то естъ, повѣсили головки, опустили глаза; одна Роза скоро ожила и спросила Степаныча, что ему угодно?

— «Гѳсподинъ ратсгерръ Прейсъ приказалъ мнѣ быть сюда...»

— «Ну, ужъ вѣрно не сюда,» коварно замѣтила Роза. «Съ вашего позволенія, не угодно ли я васъ проведу въ залу...»

«Это значитъ въ сѣни!» подумалъ Степанычъ, потому что никакъ не могъ предполагать, чтобы въ такомъ дрянномъ домишкѣ могла быть еще сколько-нибудь обширная комната.

— «Вотъ, пожалуйте сюда,» продолжала Роза, выскочивъ на лѣстницу: «это — столовая комната, тамъ спальня ратсгерра, а вотъ и зала. Вы перепугали моихъ дѣвицъ — и едва ли господинъ будетъ доволенъ, если узнаетъ, что безъ него къ его дочерямъ заходятъ такіе гости...»

— «Такъ ты служанка?»

— «Къ вашимъ услугамъ... Вотъ извольте обождать здѣсь... Ратсгерръ всегда изволитъ кушать дома; черезъ пять, шесть минутъ онъ непремѣнно воротится»

И Роза исчезла. Степанычъ остался въ весьма обширномъ покоѣ, обвѣшанномъ фамильными портретами, о двухъ печахъ изъ такихъ израсцевъ, на манеръ которыхъ теперь дѣлаютъ только англійскія чашки. Въ этой залѣ или, правильнѣе, въ большой комнатѣ, было и свѣтло и просторно; цвѣтущія сирени были любопытны не менѣе Степаныча и кудрявыми вершинами заглядывали въ раскрытыя окна, наполняя воздухъ нѣжнымъ благоуханіемъ. Все вмѣстѣ располагало къ задумчивости, любви, негѣ, мечтаніямъ. Въ героиняхъ не могло быть недостатка; цѣлыхъ три проживали на той же дубовой горѣ... я все сбиваюсь... на той же лѣстницѣ. Степанычъ, пожалуй, въ такомъ одиночествѣ, не отказался бы сыграть роль героя, если бы только ратсгерръ заблагоразсудилъ

дать ему на то лишнихъ нѣсколько минутъ... Но не успѣлъ Степанычъ войти въ романическое расположеніе, какъ тяжелые шаги и стоны дубовой лѣстницы возвѣстили о прибытіи хозяина. Въ то же время послышался и голосъ Розы; она доложила своему принципалу, что въ залѣ гости — и ратсгерръ, открывъ двери, остановился и значительно изрекъ: «О!»

Усѣвшись на прадѣдовскую софу, окрашенную бѣлою краской и покрытою подобіемъ желтаго, излинялаго штофа, ратсгерръ откашлялся и произнесъ весьма тихо:

— «Я усталъ...»

Спустя мгновеніе, ратсгерръ всталъ и сказалъ Степанычу съ важностію:

— «Господинъ офицеръ! Сегодня нельзя! Такой большой день мы не будемъ портить маленькими дѣлами... Государь-кайзеръ изволилъ у насъ въ дому кушать фриштикъ... Теперь изволилъ уѣзжать въ Катеринеталь, а господа шварценгейптеры — всѣ... много пили; чужаго принимать не могутъ... Я самъ... Роза! Обѣдать!.. Если угодно вамъ будетъ кушать вмѣстѣ...»

— «Я принимаю ваше приглашеніе, какъ особенную честь...»

— «Пожалуйте, кушайте и за меня, потому что я самъ... Я совсѣмъ безъ апетитъ... Я... Роза! Обѣдать!»

— «Готово...»

— «Ну, такъ пойдемъ! Я вамъ показать и рекомендовать буду моихъ дочерей. Здравствуй, Мин-

на! здравствуй, Эмма! Онѣ умѣютъ говорить по-русски получше, чѣмъ ихъ отецъ. Я ихъ приказалъ обучать по-русски, потому что мы теперь компатріоты!.. Да! Мы теперь спокойный народъ! Государь-кайзеръ, нашъ отецъ, опять намъ подарилъ большой право; мы теперь совсѣмъ счастливъ. Кайзеръ намъ позволилъ вольный гандель, на всѣ города и деревни до Нарва. Мы теперь... мы теперь выпьемъ за здоровье Кайзера... Роза! Тамъ въ углу, отъ окна направо, третій рядъ бутылокъ: тамъ лежитъ старый рейнскій вино; когда Карлъ Одиннадцатый хотѣлъ быть въ Ревель, мой отецъ купилъ въ Гамбургѣ — тридцать бутылокъ и спряталъ... Одну бутылку я выпилъ, когда Русскіе взяли Ревель; одну, когда родился у меня сынъ Отто; одну, когда умеръ моя жена, одну выпьемъ сегодня за вольный гандель Риги, Ревеля и другихъ нашихъ городовъ. Пятую выпьемъ на твоей свадьбѣ, Минна! Шестую...»

— «Да пожалуйте ключъ,» перебила Роза: «пока вы досчитаетесь до тридцати, обѣдъ простынетъ.»

— «Тамъ, Роза, въ углу, третій рядъ, отъ окна...»

— «Знаю, знаю...»

«Это удивительный человѣкъ эта Роза; она знаетъ все — и я могу вамъ, господинъ офицеръ, очень похвалить мою Розу. Съ-тѣхъ-поръ, какъ я имѣлъ несчастье потерять мою жену...»

— «Да пойдемте, батюшка, кушать!» перебила Эмма по-нѣмецки, и, ухвативъ его за руку, по-

вела въ столовую. Минна пошла со Степанычемъ. Усѣлись. Роза также заняла мѣсто въ концѣ стола, но безпрестанно вставала, бѣгала въ кухню, приносила кушанье, словомъ, была и госпожею и слугою. Степанычъ скоро освоился со всѣмъ семействомъ; всѣ стали съ нимъ обращаться непросту, непринужденно, какъ-будто ввѣкъ были знакомы. Свѣдѣнія и богатство Степаныча были выведены на чистую воду искусною дипломатикой хозяина и въ особенности Розы; тогда ласкамъ и той и другаго не стало конца. Ратсгерръ, забывшись, еще выпилъ бутылку завѣтнаго рейнскаго, а Роза принесла къ послѣднему кушанью, къ тоненькимъ блинамъ, цѣлую дюжину банокъ съ разнымъ вареньемъ домашняго издѣлія, и когда Степанычъ отказывался, Роза весьма искусно умѣла впутать въ свое угощеніе посредничество Минны и Эммы. Послѣ обѣда ратсгерръ былъ приведенъ въ восторгъ и умиленіе, узнавъ, что Степанычъ куритъ табакъ.

— «О!» сказалъ онъ.

Конечно, слово коротенькое, но въ немъ такъ много было заключено смысла, что многими словами и перевести трудно.

— «Да я вижу, что вы настоящій русскій человѣкъ,» продолжалъ онъ: «то есть, такой Русской, какъ Государь-кайзеръ хочетъ имѣть Русскихъ, то есть, чтобы у нихъ никакой Vorurtheil не былъ... То есть, и Русскій и Нѣмецъ вмѣстѣ... Ну, компатріотъ, пойдемъ же курить...»

Ратсгерръ и Степанычъ уединились. Двѣ огром-

ныя трубки съ чубуками, весьма походившими на ручныя пожарныя трубы, исполнились крѣпкаго канастеру и облака дыму превратили ясный весенній день въ сумерки.

— «Читаете вы заграничные куранты?» спросилъ ратсгерръ, утоливъ первую жажду дыма.

— «Негдѣ, и некогда.»

— «Некогда, дѣло другой, потому что занятія есть, а негдѣ, нельзя сказать. У насъ въ братскомъ домѣ всякіе куранты есть. Я вамъ велю дать. Большой интересъ. Хорошо, что Государь-кайзеръ войной спѣшитъ. А то Шведы весьма будутъ важность показывать, когда объ вѣнскомъ трактатѣ узнаютъ. Они такой аккордъ противу нашего Кайзера устроили, что всѣмъ націямъ, кромѣ нашей, выгоды прійти будутъ. Бременъ и Верденъ — отдать Ганноверцу; Стральзундъ и Ругенъ — Данемарку, Штетинъ — Пруссакамъ, Висмаръ — Саксенскому курфирсту, Курландъ — Польскому, Ростокъ вольной фрейштадтъ сдѣлать, а Финландъ, Лифляндъ и Эстляндъ, все, что Кайзеръ взялъ войною, все Шведу воротить, да и еще, когда Кайзеръ хотѣть на то не будетъ, то отнять у него Питербургъ, Кронштадтъ и Нарву.»

— «Вотъ мы ихъ пятью стами кораблей какъ поджаримъ, такъ не то заговорятъ!»

— «Пожалуйста, поджарите ихъ и поскорѣйше трактатъ поставьте. Я вамъ долженъ сказать: я большой политикъ всегда былъ и понимаю вещи хорошо. Одно счастіе нашей сторонѣ, какъ и господинъ Паткуль всегда суппонировалъ, быть съ рус-

ской націей за одно тѣло. Имѣйте милость, не жалѣйте шведскаго края. Теперь у нихъ надежда есть, а безъ того давно бы конецъ. Я Государь-кайзера знаю. Онъ насъ уступать не будетъ. Мы еще сегодня въ братскомъ домѣ его маестетъ о томъ просили. Сказалъ: хорошо, будьте покойны. Такъ мы ужъ теперь совсѣмъ спокойны, только бы поскорѣйше было затвержденіе трактатомъ. Я человѣкъ совсѣмъ русскій. Для меня большая тутъ важность. Я всегда сторону Кайзера держалъ; два мѣсяца въ лохѣ (темницѣ) сидѣлъ за то, что сказалъ: «Ревель долженъ быть русскій городъ...» Я весьма русскій человѣкъ. Я поставилъ себѣ такой законъ: дочерей русскимъ мужьямъ отдать, а самъ... Да... Но это больше привычка... И притомъ, впрочемъ... Ну, я вамъ послѣ объ этомъ сказывать буду... Однако, — вы совсѣмъ по-моему человѣкъ и я вамъ теперь же скажу... Только дочкамъ не объявляйте. Я думаю...»

Вошла Роза и ратсгерръ не досказалъ своего секрета.

— «Тамъ солдатъ господина лейтенанта спрашиваетъ...»

— «Позвольте...»

— «Нѣтъ! Пускай господинъ солдатъ сюда приходитъ. Я русскихъ солдатъ люблю; они Ревель взяли съ большимъ хитрость. Проси сюда...»

— «Мнѣ совѣстно...»

— «Я русскій человѣкъ и мнѣ пріятно, что мой компатріотъ у меня будто у себя дома. Здрав-

ствуйте, господинъ солдатъ! Что вамъ отъ насъ угодно есть?»

— «Здравія желаемъ! Капитанъ-командоръ приславъ сказать, что войска на корабли садятся, такъ чтобы вы, ваше благородіе, лошадь и какія вещи есть, мнѣ пожаловали. Я драгунъ; да въ шведскомъ плѣну долго проваландался; благо, что языкъ у нихъ перенялъ. Съ тѣмъ языкомъ и ушелъ отъ нихъ. Такъ для строю сталъ старъ; вотъ меня за прислугу вашему благородію придали. Такъ пожалуйте указъ, что взять на галеры...»

— «Боже мой! Войска уже садятся и я не первый!»

— «Сѣсть-то все-равно, ваше благородіе, первому или послѣднему; а вотъ выйти, такъ дѣло другое.»

— «О!» воскликнулъ растерръ: «вотъ русскій человѣкъ, вотъ настоящій кампатріотъ! Давай мнѣ твою руку пожимать...»

— «А когда же въ путь?»

— «Какъ управятся, да еще какой вѣтеръ станетъ. Корабельный флотъ на Ангутъ съ Апраксинымъ пошелъ; а гребной съ войскомъ, чай, завтра отойдетъ. Немало тысячъ разсадить надо. А войско знатное. Съ Репнинымъ подъ Гданскомъ было.»

— «Такъ и Репнинъ съ нами?»

— «Никакъ нѣтъ, ваше благородіе. Государь князю изволилъ пожаловать особую армію, чтобы Цесарцевъ и короля саксонскаго въ страхѣ держать, буде шумаркать станутъ. Мнѣ такъ капитенармусъ Рижевой говорилъ...»

— «Объ этомъ господинъ солдатъ спросите у меня. Я, политику знаю. Ничего не будетъ, вы только Шведовъ побейте...»

— «Побьемъ, коли Аглечане пропустятъ. Капитенармусъ сказывалъ, что въ Гданскѣ каждый день аглецкаго флота поджидали и денегъ князю платить не хотѣли; да Рѣпнинъ припугнулъ ихъ по-своему, до алтына разсчитались, да еще спасибо сказали...»

— «Все это хорошо,» перебилъ Степанычъ: «да на какія суда намъ-то садиться? Мы конные. Съ лошадьми...»

— «Не извольте безпокоиться. Мы съ казаками сядемъ на галеры. Только лошадь пожалуйте, да завтра по сигналу извольте сами на какую угодно галеру садиться; на берегу съищемся.»

— «Вы извините меня... Я долженъ сдѣлать распорядокъ...»

— «О!» опять воскликнулъ ратсгерръ: «я за большой честь принимаю, что, такъ сказать, изъ моего дома на войну идутъ. Только знаете что, война будетъ завтра, а вы бы вечеръ съ нами проводить изволили.»

— «Непремѣнно буду... До свиданія...»

— «Роза!» закричалъ ратсгерръ, когда Степанычъ ушелъ. «Ну, Роза моя, настоящая Роза, Розетта, этакой цвѣточикъ, а?»

— «Что а! Вамъ бы заснуть надо. И зачѣмъ вы этому офицеру про наше дѣло разсказывать хотѣли?»

— «Я?»

— «Да ужъ не я.»

— «Право и не думалъ...»

— «То́-то и есть, что рейнское иногда вмѣсто васъ съ гостьми разговариваетъ. Увидите, что ни одной бутылки на нашу свадьбу не останется...»

— «Тс!.. Тс!.. Розочка! Я уже цѣлый корабль лучшаго вина изъ Гамбурга выписалъ... Тс! Теперь вольный городъ, пошлины нѣтъ. Тс...»

— «Да полно вамъ самимъ-то кричать... И такъ уже ваши дочери на меня косо глядятъ; догадываются. Минна, та еще добрая, а ужъ Эмма — та такъ глаза выцарапаетъ, если узнаетъ. Я не знаю, что́ вамъ это въ голову влѣзло за Русскихъ замужъ ихъ отдавать.»

«Э, ты, Роза, политики не понимаешь. Посредствомъ браковъ сроднятся народы. Римляне похитили Сабинокъ и чрезъ то...»

— «Да что́ мнѣ до ваныхъ Римлянъ. Выдавайте ихъ и за Русскихъ, только поскорѣе, а не то я сама за Генрика Оке выйду...»

— «Я знаю, ты меня любишь стращать этимъ дряхлымъ старикомъ.. »

— «Да вы сами только пятью годами моложе Оке.»

— «Во-первыхъ, не пятью, а больше...»

— «Ну, пятью съ половиной...»

— «Во-вторыхъ — пять лѣтъ большая разница... Въ-третьихъ, какъ же ихъ выдать замужъ, когда жениховъ нѣтъ? Вотъ былъ одинъ, да завтра въ походъ отправляется...»

— «Надо было сегодня...»

— «Выдать замужъ?»

— «Обручить, по-крайней-мѣрѣ. И кто на нихъ женится, когда вы ихъ никому не показываете?..»

— «Неужто повести мнѣ ихъ по лагерю и рекомендовать арміи! Что ты это, Роза моя, болтаешь?..»

— «Не то, а пригласить къ себѣ господъ Русскихъ, дать балъ...»

— «Балъ!.. Подумай, что это будетъ стоить, Русскіе пьютъ не по-нашему. Надобно еще два корабля выписать, и то для бала мало... Нѣтъ, постой. Не надо спѣшить. Пусть въ походъ идутъ. Останется же для защиты Ревеля русскій гарнизонъ. Вотъ тогда... И не балъ, а такъ вечерокъ, променаду въ Катериненталѣ, или у монастыря святой Бригитты, или въ Вимсѣ... Ужъ, пожалуй, не безпокойся. Я устрою... Но, съ другой стороны, надо и то сказать: я хлопочу для тебя; хочу дѣтей моихъ скорѣе изъ дома выжить; а ты не подаришь мнѣ ни малой ласки. Право, я теряю охоту и начинаю думать не совсѣмъ хорошо о твоихъ намѣреніяхъ; человѣку знакомому съ политикой европейскихъ дворовъ, человѣку, который самъ играетъ въ политикѣ роль, такому человѣку простительно подозрѣвать...»

— «Въ чемъ это?» спросила Роза гнѣвно. «Говорите сейчасъ! въ чемъ? Какъ вы смѣете обижать меня? О, если такъ, прощайте; несчастіе готовится мнѣ въ замужствѣ съ вами, а мученіе отъ ревниваго вашего характера. Я насильно иду въ бѣду... А вы... О, нѣтъ... Я еще успѣю...»

— «Роза! Постой! Куда ты? Ты не поняла меня...»

Ссора въ томъ же родѣ продолжалась весьма долго; Роза уходила, но каждый разъ не дальше дверей; заключеніе мира было еще продолжительнѣе. Когда пришла пора ужинать, тогда только нѣжные голуби вспомнили про Степаныча и про его обѣщаніе вернуться къ ратсгерру.

— «Вотъ это по-русски,» сказалъ Прейсъ: «обѣщать и не исполнить. А я надѣялся за ужиномъ помолвить уже Эмму или Минну.»

— «Эмму, мой другъ, лучше Эмму. Минна и въ дѣвицахъ сердиться на насъ не будетъ. Минну можно выдать и за Ревельца...»

— «Никогда! Конечно вѣнскій трактатъ—грозно написанъ, но это слова, которыхъ если бы было еще нѣсколько тысячъ, все бы еще не стоили одного слова, изреченнаго Петромъ. Этотъ кайзеръ назадъ не пойдетъ. Пять сотъ судовъ, двѣсти тысячъ войска; онъ управится со всей Европой. Притомъ же и англійская нація поступка своего короля не одобряетъ... флотъ только такъ, для демонстраціи. — Голландія также не рѣшится... Пустяки! Политика требуетъ, чтобы и Минна была за Русскимъ. Послѣ женитьбы, я уже не могу быть принципаломъ у черныхъ головъ. Что же я буду значить въ Ревелѣ? Богатыхъ купцовъ много... А когда мои дочери будутъ за Русскими... о, тогда никто не осмѣлится оспоривать у меня первое мѣсто въ ратушѣ... Притомъ же вольная торговля скоро дастъ Ревелю значеніе Гамбурга,

а мнѣ значеніе перваго ревельскаго сановника... Ты не понимаешь политики и не можешь сообразить послѣдствій...»

— «Вотъ тебѣ и послѣдствія! Мы оставили въ залѣ дѣвицъ однѣхъ, а у нихъ гости. Мужскіе голоса. Слышите, какимъ басомъ кто-то смѣется.»

— «О!»

И ратсгерръ какъ левъ, и Роза яко хвостъ льва, явились въ залѣ; но тутъ же бѣшенство ихъ превратилось въ радость. Степанычъ спокойно бесѣдовалъ съ двумя дочерьми хозяина; восхищаясь тихою прелестью скромной Минны и блестящимъ, живымъ умомъ Эммы. Онъ совершенно забылъ къ кому пришелъ и смѣшилъ дѣвушекъ нѣмецкимъ языкомъ собственнаго издѣлія. Какая-то грубая ошибка не только разсмѣшила красавицъ, но и самого Степаныча, и положила конецъ бесѣдѣ въ кабинетѣ. Ратсгерръ опять сказалъ: — «О!» и протянулъ руку Степанычу.

— «Вотъ это по-русски! Обѣщать и свято исполнить. Давно ли вы здѣсь?»

— «Давненько.»

— «Что же вы это меня не позвали?»

— «Не хотѣлъ вамъ мѣшать. Вы были заняты бумагами,» сказалъ Степанычъ съ лукавой улыбкой.

— «Да! Точно! Я читалъ куранты. Англійскій флотъ...»

— «Въ открытомъ морѣ. Говорятъ,» прибавилъ Степанычъ на-ухо Прейсу... «что онъ хочетъ бросить якорь у новооткрытаго острова Святой Розы...»

Ратсгерръ смѣшался, но въ замѣшательствѣ его приметно было и удовольствіе; онъ сталъ одобрительно кивать головой и тутъ только замѣтилъ, что парика на немъ не было; взглянулъ въ зеркало, смѣшался уже не на шутку и въ-попыхахъ надѣлъ на голову драгунскую шляпу Степаныча. Всѣ засмѣялись; но быстроногая Роза въ одно мгновеніе успѣла сбѣгать наверхъ и съ такою же поспѣшностью возстановила благообразіе ратсгерра.

— «Глядите,» шепнулъ ему Степанычъ, «чтобы эта Роза не принила къ вашему парику чего-нибудь посторонняго...»

— «О!»

Но это: «О!» уже было ни рыба, ни мясо... Ратсгерръ совсѣмъ растерялся. Напрасно Роза принесла завѣтнаго вина, напрасно за ужиномъ старалась, даже нескромно, высватать за Степаныча Эмму, хотя Степанычъ видимо отдавалъ предпочтеніе Миннѣ... Встали... Пошло прощаніе и проводы. Роза искусно подвернулась къ хозяину и сказала ему тихо: — «Ну, теперь спросите его на-прямки: которую?»

Ратсгерръ поправилъ паричъ; взялъ подъ руку гостя; провелъ съ лѣстницы; въ сѣняхъ обнялъ и, пожавъ дружески руку, спросилъ робко:

— «Надѣюсь, не надолговременно! Пріѣзжайте какъ родной! Мои дамы вамъ не надоѣли?..»

— «О, напротивъ!»

— «Ну, перестаньте церемоніи дѣлать! Скажите мнѣ такъ, дружескимъ образомъ, которая вамъ больше понравилась?..»

— «Роза!» шепнулъ Степанычъ и ушелъ.
— «Роза!» воскликнулъ ратсгеръ въ ужасѣ.
— «Ну, что?» спросила Роза съ лѣстницы.
— «Не твое дѣло.»

—

ГЛАВА ВТОРАЯ.

ДЕССАНТЪ.

Степанычъ всю ночь не спалъ; да и куда тутъ спать! Не потому чтобы Ольга Петровна его безпокоила; не потому, чтобы Минна сдѣлала на него сильное впечатлѣніе: причина была историческая, засвидѣтельствованная всѣми писателями и самая простая Сильный сѣверо-западный вѣтеръ разъигрывалъ ужасныя свои симфоніи съ необычайнымъ усердіемъ; ванны, устроенныя близъ Катериненталя, отнесло чуть не на площадку передъ дворцомъ; на многихъ домахъ не стало крышъ; нѣсколько судовъ выдернуло изъ гавани и разбило у монастыря Святой Бригитты и на отмеляхъ у острова Вульфа. Этотъ музыкальный вѣтеръ въ Ревелѣ имѣетъ свойство анти-наркотическое и во всемъ городѣ никто не могъ уснуть; занялось утро—и солдатъ потребовалъ Степаныча къ шаутбенахту Сиверсу.

— «Господинъ лейтенантъ,» сказалъ ему шаутбенахтъ: «вы отъ гвардіи?...»
— «Милостью Его Величества...»
— «Вы ѣдете съ нами?»
— «Если это позволено.»
— «Въ характерѣ волонтира; у насъ только-

что теперь кончилась военная консилія Господинъ генералъ-адмиралъ приказалъ всѣмъ намъ идти въ Гангуту, гдѣ онъ насъ ожидаетъ, а при такомъ вѣтрѣ идти не можно, почему мы учинили кригсратъ. Господинъ вице-адмиралъ, всемилостивѣйшій нашъ Государь, не желая быть ослушникомъ начальническаго ордера, предложилъ идти флоту лавирами и мы сегодня отходимъ. Конное войско все на моей эскадрѣ: больше казаки; драгуновъ только два швадрона, а капитанъ боленъ лежитъ; положили отдать команду вамъ, почему извольте смотрѣть, чтобы ваши драгуны соблюдали морской порядокъ и въ наши дѣла отнюдь не путались; чтобы съ матросами не разговаривали, отъ дѣла ихъ не отвлекали, водкой не подчивали, къ снастямъ не прикасались, а каждый смотрѣлъ бы за собой и за своимъ дѣломъ. Полагаюсь на вашу расторопность, кою вы уже въ акціи показали. Во всемъ, что́ нужно, обращайтесь прямо ко мнѣ впредь до указа. Господинъ лейтенантъ! часа черезъ два — мы въ морѣ...»

Степанычъ отдалъ воинскій реппектъ, сѣлъ въ шлюпку и отправился прямо на ту галеру, гдѣ находилась бо́льшая часть его команды. Пока передовыя суда выходили въ море, Степанычъ успѣлъ осмотрѣть всѣ тѣ галеры, гдѣ были размѣщены и драгуны и ихъ лошади, сдѣлалъ приличныя распоряженія и, дѣйствительно, черезъ два часа, не смотря на вѣтеръ, весь флотъ былъ уже въ морѣ. Степанычъ не могъ довольно надивиться порядку и искусству, съ какими суда посмѣвались

надъ усиліями вѣтра; но при всемъ томъ едва только 26-го іюня достигли они Гангута и соединились съ главнымъ флотомъ. Чуть свѣтъ, Степанычъ поднялся и сталъ заниматься устройствомъ дѣлъ своей команды; больныхъ приказалъ свезти на берегъ; съ провинившихся взыскалъ поотечески; наконецъ и самъ въ шлюпкѣ отправился на землю, чтобы нѣсколько отдохнуть отъ элемента, съ которымъ не могла его примирить послѣдняя утомительная поѣздка. На берегу онъ нашелъ въ строю полки гвардіи; они окружали походную церковь; у входа въ священную палатку было много генераловъ и штабъ-офицеровъ; всѣ стояли безъ шляпъ и слушали или, лучше сказать, прислушивались къ отголоскамъ божественной литургіи, потому что голоса ликовъ, поющихъ и взывающихъ къ Господу, вѣтеръ разносилъ по морю. Пологи церковные раскрылись; на особо устроенномъ амвонѣ сталъ оберъ-іеромонахъ Гавріилъ и сказалъ краткую проповѣдь, изъ которой Степанычъ узналъ, что то было 27 іюля, день навсегда достопамятной Полтавской Побѣды. Началось молебствіе; земля и небо застонали отъ грома пушекъ и ружей; Государь обходилъ полки со всѣмъ генералитетомъ и духовенствомъ. «Ура!» не прерывалось около получаса, и флотъ, разубранный разноцвѣтными флагами и вымпелами, какъ-будто радовался, ликовалъ и праздновалъ побѣду, которая обезпечила его собственное существованіе. Проходя за другими, Степанычъ въ рядахъ Преображенскаго полка увидѣлъ молодаго фендриха и сердце его забилось.

То былъ Борисъ. Но, увы! и поговорить нельзя. Артикулъ не позволялъ. А какъ бы хотѣлось спросить объ Ольгѣ Петровнѣ, и о томъ и о другомъ! Впервые Степанычъ былъ недоволенъ артикуломъ. Только и успѣлъ кивнуть Борису головой, и толпа офицеровъ увлекла его дальше. Начался парадъ. Степанычу шепнули, что онъ долженъ быть не тутъ на суднѣ, а на кораблѣ, у своей команды, и вотъ онъ опять на шлюпкѣ; съ моря онъ видѣлъ еще какъ свивался и развивался Преображенскій полкъ, но съ Борисомъ все-таки не удалось перемолвить. Къ вечеру, улучивъ время, Степанычъ опять поѣхалъ на берегъ; напрасно. Преображенская гвардія уже ушла. На другой день всѣ начальники и кораблей и сухопутныхъ силъ отправились на «Ингерманландъ», гдѣ Государь держалъ военный совѣтъ. На слѣдующій день праздновали царскія именины; въ послѣдній день іюня генералъ-адмиралъ съ корабельнымъ флотомъ ушелъ въ море: съ нимъ отправился и Государевъ корабль «Ингерманландъ», а Петръ остался на берегу. Перваго іюля утромъ подулъ попутный вѣтеръ. По сигналу стали подымать якоря.

— «Что́ это Государь не ѣдетъ!» сказалъ Сиверсъ, не спуская глазъ съ берега. «Странно, онъ всегда первый подаетъ примѣръ исправности... Ага! Вотъ Его Величество!»

Но шлюпка шла прямо къ Сиверсовой галерѣ. Государя на ней не было. Сиверсъ весьма не покойно сталъ ходить взадъ и впередъ и щипалъ бакенбарты; наконецъ шлюпка пришла...

— «Ну?» закричалъ Сиверсъ. «Что тамъ такое?»

На корабль вошелъ денщикъ Государевъ и тихо сказалъ шаутбенахту:

— «Его Величество занемогъ... Извольте идти какъ на совѣтъ положено, а Государю оставьте пять галеръ... мы васъ догонимъ...»

— «Что съ нимъ?..»

— «Не спрашивайте! Онъ занемогъ опасно...»

— «И хочетъ, чтобы я ушелъ? Гдѣ же я ума возьму, когда каждую минуту только про его здоровье буду думать! Я нейду.»

— «Вспомните законы,» замѣтилъ Степанычъ, хотя самъ поблѣднѣлъ какъ полотно и все смотрѣлъ на берегъ, будто хотѣлъ высмотрѣть, въ какомъ положеніи здоровье Государя... Сиверсъ принялъ совѣтъ; распорядился; снялся съ якоря; галерный флотъ тронулся; но всѣ смотрѣли, подобно Степанычу, на берегъ, и съ тѣми же какъ и онъ чувствами. Эта поѣздка была еще утомительнѣе, скучнѣе; каждый только и думалъ, каково Государю; шли будто ихъ обварило кипяткомъ: никакой энергіи; но каково же было ихъ удивленіе, когда у Ламеландской гавани не Государь флотъ, а флотъ нашелъ уже Государя! Онъ все-еще былъ нездоровъ; но безпокойство о столь важной и рѣшительной экспедиціи придало ему силы и заглушило тѣлесныя страданія. Онъ обогналъ Сиверса и корабельный флотъ, который медленно тянулся къ тому же пункту. Нечего дѣлать: надо было остановиться у Ламеланда и обождать генералъ-ад-

мирала; но и тутъ Государь не оставался безъ дѣла. Лефортъ на возвратномъ пути изъ Стокгольма привезъ письма отъ королевы. Государь послалъ тотчасъ на Аландъ за своими министрами, а эскадру искать корабельный флотъ. Не дождались и вечера: пушечные выстрѣлы возвѣстили о приближеніи флота; Государь сѣлъ въ шлюпку и поѣхалъ въ ту сторону, откуда ожидалъ генералъ-адмирала. Было поздно. Сиверсъ только покачивалъ головою. И опасенія его сбылись; упалъ туманъ... Государь на шлюпкѣ ночевалъ въ морѣ, уже утромъ онъ встрѣтилъ свое земное сокровище, крылатыя крѣпости, и привелъ ихъ къ Ламеланду, гдѣ полномочные министры уже его ожидали. Государь провелъ съ ними добрыхъ два часа, созвалъ военный совѣтъ и жребій Швеціи былъ брошенъ. Галерный флотъ понесъ на берега скандинавскіе сильный дессантъ; корабли прикрыли его движенія. На Стокгольмскомъ фарватерѣ показался Синявинъ, съ тремя кораблями; генералъ-адмиралъ въ десяти миляхъ ниже Стокгольма; а генералъ-маіоръ Ласси у Аріенгольма... Сторожевая шведская шнава пушечнымъ выстрѣломъ возвѣстила судьбу родимыхъ береговъ. Былъ уже вечеръ, и довольно темный; по всему берегу вспыхнули маяки. Швеція въ одинъ часъ съ одного конца въ другой узнала о прибытіи неожиданныхъ гостей: неожиданныхъ, потому что въ Стокгольмѣ въ этотъ вечеръ веселились на балу у англійскаго посланника, который громко и торжественно увѣрялъ, что адмиралъ Нориесъ не допуститъ британскаго

флага до такого униженія, чтобы въ виду ихъ флота Русскіе безнаказанно тѣшились войной на шведскихъ берегахъ. Французскій резидентъ утвердительно говорилъ, что русскій царь только стращаетъ, а что у него, кромѣ Калмыковъ и Башкировъ, все войско израсходовалось. Какъ бы то ни было — балъ шелъ удачно, плясали, любезничали и вдругъ... Сигнальные выстрѣлы и пламя маяковъ разогнали веселое общество; дамы спѣшили домой, укладывали свои клейноды. Въ эту ночь никто не спалъ. Со всѣхъ крышъ и башенъ искали глазами русскихъ кораблей, но видѣли только огни собственныхъ маяковъ. Настало и утро; съ ночнымъ туманомъ разсѣялось и всякое сомнѣніе. «Уріилъ», «Селафіилъ» и «Рандольфъ», три пловучія крѣпости русскія, какъ гордые лебеди полоскались въ виду Стокгольма. На всемъ пространствѣ моря въ разныхъ мѣстахъ были видны вѣтрила другихъ русскихъ кораблей и фрегатовъ; архипелагъ галеръ копошился у самыхъ береговъ. Неизвѣстно было только одно обстоятельство: сколько войска вышло на берегъ? Страхъ умножалъ его число въ нѣкоторыхъ домахъ столицы даже до ста тысячъ. Втеченіе этого дня почти половина жителей Стокгольма поспѣшила убраться въ отдаленные замки и крѣпости. Остальныхъ успокоило нѣсколько прибытіе Остермана. Судно, на которомъ прибылъ онъ, вошло въ гавань подъ бѣлымъ флагомъ, и надежда воскресла, что дѣло обойдется миролюбно; но смерклось и эта надежда разрушилась. Далече были видны страшныя зарева; то и

дѣло приходили ужасающія вѣсти; Стокгольмъ вчера опустѣлъ, сегодня съ избыткомъ наполнился бѣглецами, которые разсказывали про Русскихъ такія страсти, что вся столица пришла въ трепетъ.»

— «Помилуйте!» говорили министры хладнокровному Остерману: «такъ ли трактуютъ о мирѣ?»

— «Мнѣ кажется,» отвѣчалъ Остерманъ: «это истинное военное краснорѣчіе. Что́ можетъ быть убѣдительнѣе огня и меча, особенно, когда слова и логика не имѣютъ никакой силы! Карлъ Двѣнадцатый любилъ войну, но уже согласнался съ нами. Королева не любитъ войны и не имѣетъ средствъ къ своей защитѣ, а медлитъ заключеніемъ трактата. Я очень хорошо понимаю надежды ея величества и обвиняю только тѣхъ, которые подаютъ и питаютъ эти надежды. Англійскій флотъ, говорятъ, въ Балтійскомъ Морѣ; гдѣ же онъ? Ни мы, ни Шведы его не видали, а нашъ можно примѣтить съ каждой крыши въ Стокгольмѣ. Разсорятъ, жгутъ; но я не знаю, въ чемъ же иномъ и заключается война. Мы не въ ладахъ, мы хлопочемъ объ мирѣ; мы хотимъ достигнуть мира; путь одинъ, и мы пошли этимъ путемъ. Напрасно обвинять насъ. Снисходительнѣе непріятеля, я думаю, никогда не имѣла Швеція; мы знали своевременно о кончинѣ короля; намъ было вполнѣ извѣстно, что́ происходило при выборѣ ея королевскаго величества на престолъ; войска ваши, возвращаясь изъ Норвегіи, разсѣялись; что́ же мы? Воспользовались ли слабостью Швеціи? А могли прійти къ вамъ въ гости по сушѣ, потому что на

Ботническомъ Заливѣ нынѣшней зимой можно было города каменные строить: такъ былъ крѣпокъ ледъ. Мы уважили ваши несчастія; безъ штиль-штанда прекратили военныя дѣйствія; ждали утвержденія воли покойнаго короля. И мало ли другихъ снисхожденій оказано! Ни что не помогаетъ. Я пріѣхалъ сюда съ полною потенціею и слово королевы, а моихъ двѣ строки могутъ остановить ужасы войны. Мы не прокрались къ вамъ неожиданно. Вы знали о нашихъ намѣреніяхъ, но смѣялись и не вѣрили. Государь всему народу шведскому далъ знать манифестомъ о томъ, что теперь настало. Королева также издала манифестъ, изъ котораго мы не можемъ усмотрѣть искренняго расположенія къ миру; напротивъ, рѣчи ея величества исполнены самыхъ непріязненныхъ чувствованій. Бѣдствія Швеціи должно уже приписывать не Русскимъ... Вотъ и теперь, когда королевство въ пламени, не хотятъ поговорить съ тѣмъ, у кого въ рукахъ гасильникъ. Прошелъ день, а я не имѣлъ еще счастія представиться королевѣ...»

— «За этимъ дѣло не должно останавливаться,» сказалъ графъ Гилленборгъ. «Если вамъ угодно, королева согласна принять васъ, хоть сейчасъ.»

— «Я почелъ бы себя счастливымъ, если бы слова мои показались ея величеству убѣдительнѣе военныхъ дѣйствій. Я готовъ...»

— «Такъ поѣдемъ...»

Во дворцѣ Остерманъ долженъ былъ прежде увидѣться съ генералиссимусомъ, супругомъ королевы, принцемъ Гессенъ-Кассельскимъ.

— «Я очень радъ васъ видѣть,» сказалъ принцъ: «надѣюсь, что вы привезли намъ что-нибудь пріятное.»

— «Я не знаю, какъ отвѣчать вашему высочеству Пріятное такъ условно и относительно. Впрочемъ, письмо отъ моего великаго Государя можетъ вполнѣ убѣдить васъ, сколь великое уваженіе питаетъ нашъ Царь къ особѣ вашей.»

Принцъ прочелъ письмо; Остерманъ все время не спускалъ съ него глазъ и тогда только поднялъ ихъ по привычкѣ вверхъ, когда принцъ, опустивъ руку съ письмомъ, сталъ собираться съ мыслями, чтобы отвѣчать министру.

— «Я всегда признателенъ,» сказалъ принцъ: «за довѣріе, какое его величество изволитъ постоянно мнѣ оказывать; но, къ-сожалѣнію, тягость назначаемыхъ условій не позволяетъ и думать о пріятномъ окончаніи войны... Вотъ и ея величество...»

Дѣйствительно, вошла королева, въ костюмѣ, какъ-будто бы она возвращалась съ прогулки. Увидавъ Остермана, королева пріостановилась и вопросительно взглянула на мужа и графа Гилленборга.

— «Господинъ Остерманъ,» сказалъ принцъ, «уполномоченный отъ русскаго величества.»

— «Вы, вѣроятно, пріѣхали прекратить варварскіе поступки вашихъ Башкировъ и Калмыковъ... Чѣмъ виноваты бѣдные поселяне, что нашему любезному брату хочется, во что́ бы то ни стало, завладѣть отвѣчными шведскими провинціями!..»

— «Государь желаетъ воротить только свое; я оскорбилъ бы величіе ваше, королева, если бы не объявилъ искренно, что дѣйствія генералъ-адмирала будутъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока аландскій конгрессъ не начнетъ своихъ дѣйствій столь же быстро и откровенно, какъ поступаютъ въ Швеціи русскія войска.»

Королева отвернулась и ушла; за нею и принцъ; графъ Гилленборгъ, пожавъ плечами, сказалъ:

— «Кажется, аудіенція кончилась...»

— «Я думаю тоже, любезный графъ! Простите! Поѣду отдыхать отъ морскаго пути, а завтра хочу осмотрѣть рѣдкости столицы. Признаюсь, видъ Стокгольма привелъ меня въ восторгъ. Такъ какъ русскому флоту приказано гостить у здѣшнихъ береговъ до поздней осени, то я выпрошусь у Государя въ отпускъ и буду купаться гдѣ-нибудь въ шведскихъ шерахъ... Я теперь самъ сталъ въ родѣ гальціоны: то и дѣло надъ моремъ. Дорого стоитъ война, а намъ, право, весело; между нами сказать, я очень бы желалъ, чтобы она продолжилась лѣтъ десять еще и старый планъ Головина былъ приведенъ въ дѣйствіе...»

— «Какой же это планъ?»

— «Гмъ! Государь дорожитъ справедливостью. Сто лѣтъ пройдетъ, такого случая не представится. Я плохой политикъ, но какъ умѣю, такъ и разсуждаю. Головинъ былъ правъ; мы все время дѣйствовали по его плану: результаты въ рукахъ; теперь можно бы ихъ утвердить на прочныхъ фундаментахъ, и Россія была бы совершенно округ-

лена съ сѣвера... Но я еще не теряю надежды убѣдить Государя. Упрямство королевы мнѣ поможетъ и докажетъ, что снисходительность въ политикѣ, — то же, что̀ пыль въ часахъ: задерживаетъ только время... До свиданія, графъ!»

Остерманъ уѣхалъ, а графъ Гилленборгъ, провожавшій его до дверей послѣдней залы, воротился и безъ доклада вошелъ въ кабинетъ королевы, гдѣ нашелъ генераловъ Кёта, Шика, Арнфельда, Гамильтона, и разныхъ высшихъ сановниковъ Швеціи.

— «Что̀ говоритъ этотъ хитрецъ?» спросила королева.

— «Вы знаете, ваше величество, что изъ словъ его не всегда можно выбрать и уложить какой-нибудь смыслъ Я могъ вывести только одно заключеніе, что Русскіе скоро умножатъ число требуемыхъ провинцій, и захотятъ присоединить къ своимъ землямъ и Финляндію.»

— «Кажется, графъ, и васъ успѣла обмануть эта лисица. Онъ погубилъ Герца. Я весьма недовольна, что Остермана выбрали посломъ въ такое критическое время. Вотъ посмотрите: не успѣлъ пріѣхать въ Стокгольмъ, а уже нашелъ у насъ измѣнника; подкупилъ рыбака и послалъ съ нимъ письмо къ Апраксину. Хорошо, что перехватили; теперь открылся весь планъ Русскихъ. Ласси съ сѣвера, Апраксинъ съ юга должны приступить къ Стокгольму и въ іюлѣ еще взять штурмомъ столицу. Войска у нихъ сорокъ тысячъ, кораблей большихъ и малыхъ за шесть сотъ;

тутъ всѣ большіе поименованы; посмотрите, графъ, тутъ есть такіе, которые въ вашихъ спискахъ не показаны.»

Дѣйствительно, въ письмѣ Остермана названо было шесть линейныхъ небывалыхъ никогда кораблей, нѣсколько фрегатовъ; число галеръ показано было цѣлою сотнею больше противу настоящаго. Гилленборгъ видимо смѣшался и не зналъ что отвѣчать королевѣ. Онъ видѣлъ только изъ этого письма, что донесенія его агентовъ невѣрны, а онъ уже выхлопоталъ имъ награжденія. Между-тѣмъ королева продолжала:

— «Вы увѣряли меня и лорда Картерета, графъ, что всего войска въ дессантъ назначено не болѣе десяти тысячъ: изъ письма этого вы увидите, что на галерахъ больше двадцати тысячъ, а на флотѣ въ запасѣ еще больше; тутъ поименованы всѣ генералы. Вы видите, что это письмо заключаетъ ультиматы царскіе. Оно писано по-голландски для-того, чтобы могло быть показано всѣмъ старшимъ офицерамъ царскаго флота и арміи. Я рада, что это письмо перехватили, но кто поручится, что братъ Петръ не послалъ такихъ же повелѣній другими путями? Надо сознаться, Стокгольмъ въ большой опасности. Какъ вы думаете, господа?»

Гилленборгъ молчалъ; принцъ и сановники также. За то молодые генералы спѣшили успокоить королеву своею готовностью защищать Стокгольмъ до послѣдней капли крови. Больше всѣхъ витійствовалъ Шикъ.

— «У меня немного войска,» говорилъ онъ:

«два полка, конечно, еще не армія, но я надѣюсь съ сѣвера удержать Русскихъ съ помощью господъ Гамильтона и Арнфельда. Въ Упсалѣ есть гарнизонъ въ шесть сотъ человѣкъ: прикажите имъ соединиться съ нами...»

«Всѣ эти мѣры безполезны,» сказалъ Гилленборгъ: «намѣренія Петра открыты. Легко объяснить дѣйствія и сѣверныхъ и южныхъ дессантовъ; хотятъ развлечь наши послѣднія силы и съ моря ударить на столицу, окружить ее новыми дессантными войсками. Я имѣю точныя извѣстія, что Апраксинъ снялъ съ галеръ не болѣе пяти тысячъ войска; у Ласси должно быть еще меньше... Гдѣ же эти двадцать тысячъ? Нѣтъ сомнѣнія, что главная сила на этихъ корабляхъ что плаваютъ въ виду столицы. Мое мнѣніе: остатки шведской арміи сосредоточить около Стокгольма.»

— «А всю Швецію предать мечу и пламени?» спросила королева почти съ гнѣвомъ. «Вамъ извѣстно, что лордъ Картеретъ писалъ къ адмиралу Норису... Надо выждать только нѣсколько дней и братъ Петръ за дерзость можетъ поплатиться всѣми галерами и всѣмъ своимъ дессантомъ. Впрочемъ, пока, я одобряю мысль графа. Надо всегда быть въ готовности защитить Стокгольмъ, поэтому войскамъ держаться какъ можно ближе къ столицѣ.»

— «Ваше величество,» доложилъ каммергеръ: «прибыли курьеры къ графу Гилленборгу...»

— «Зовите ихъ сюда. А! Лейтенантъ! вы оставили Нюкепингъ? Что тамъ слышно?..»

— «Нюкепинга — нѣтъ, государыня!»

— «Какъ нѣтъ?»

— «Осталось пепелище.»

— «Цѣлый городъ!»

— «Съ малыми городами и деревнями, съ нашими, англійскими и голландскими кораблями. Въ шерахъ не осталось ни одной лодки; всѣ забраны; грузъ перенесенъ на русскія галеры, а суда сожжены; я оставилъ Нюкепингъ въ пламени.»

— «Гдѣ же теперь Русскіе?»

— «Не могу доложить! Я сдѣлалъ большой кругъ, потому что всѣ ближайшія дороги не безопасны.»

Вошелъ другой гонецъ.

— «Что слышно?»

— «Нордкепингъ...»

— «Что мой добрый Нордкепингъ? Надѣюсь, храбрые жители не допустили непріятеля...»

— «Къ несчастію, они не могли отразить неугасимыхъ бомбъ и бѣжали съ пепелища.»

— «Еще цѣлый городъ!..»

— «И не одинъ. Города Содертельгъ и Тросну исключены изъ шведской географіи.»

— «Что же народъ, что обыватели, что вы дѣлали, храбрые воины?»

— «Государыня, я полковникъ, но у меня въ полку шестьдесятъ человѣкъ; я хотѣлъ сказать, *было*, потому что теперь нѣтъ ни одной... Львы мои, зачѣмъ я не умеръ съ вами!..»

Полковникъ отеръ слезу.

— «И дурно сдѣлали.»

— «Я не бѣжалъ отъ смерти; видъ моихъ ранъ, не знаю, будетъ ли пріятенъ вашему величеству, но меня унесли съ поля битвы бѣглецы-поселяне. Я опомнился уже здѣсь, на предмѣстьи, и не пришелъ, а приползъ ко дворцу вашего величества, чтобы завтра умереть на валу и не видѣть, какъ Русскіе будутъ брать столицу Карла!..»

— «Что́ вы говорите? Завтра?»

— «Да что́ же можетъ помѣшать имъ?»

— «Господа!» сказала королева, обратясь къ генераламъ: «вамъ тутъ дѣлать нечего. Ступайте и помните, что на васъ теперь надежды всей Швеціи...»

Генералы откланялись и ушли; на ихъ мѣсто вошелъ старецъ, маститый генералъ-фельдмаршалъ Реншильдъ.

— «Вотъ, фельдмаршалъ!» съ живостью сказала королева: «вотъ ваши пріятели Русскіе...»

— «Скажите лучше, королева, мои друзья и враги моей отчизны! Государыня, я имѣлъ несчастіе быть въ плѣну у Русскихъ; стыдъ моего положенія убѣлилъ мою голову преждевременно сѣдиною; я одряхлѣлъ отъ огорченія, но...»

— «Но не хотите поднять руки противъ общаго врага!»

— «Я сражаюсь съ датскими вашего величества врагами, и не смотря на то, что у меня въ полкахъ по триста, по четыреста человѣкъ, а въ иныхъ и по сто, Датчане однако не могутъ похвалиться успѣхами.»

— «Я вамъ очень признательна, фельдмаршалъ, но изъ южной арміи отозвала васъ за тѣмъ, чтобы вручить вамъ защиту Стокгольма.»

— «Государыня, кто измѣнитъ своему слову, тотъ уже измѣнникъ своему отечеству, потому что запятналъ честность націи. Я осыпанъ милостями и великодушіемъ Петра. Я жилъ у него въ плѣну, какъ дома мнѣ жить не удавалось. Великій мужъ уважалъ мой чинъ, мои правила, мои несчастія. Онъ довѣрялъ мнѣ какъ подданному. Я далъ слово не сражаться противъ его войскъ, далъ это слово охотно, по доброй волѣ, изъ благодарности за оказанныя мнѣ благодѣянія; признаюсь, и по убѣжденію, я противъ войны съ Русскими. Когда Промыслъ благопріятствовалъ нашему оружію, мы не провинцій требовали, не денежныхъ уплатъ, — мы забирали въ наше распоряженіе престолы; мы дѣлали въ Россіи то же, что́ теперь Русскіе дѣлаютъ у насъ. Русскіе не жаловались, но отражали насъ, каждый шагъ продавали дорого, разбили и, наконецъ, забрали побѣдоносную армію какъ куропатокъ... Если мы не хотимъ мира, такъ должны съ Русскими сдѣлать то же; если не можемъ, такъ лучше заключить миръ. Война при нашихъ средствахъ только безполезное пролитіе крови. Я слишкомъ старъ, государыня, чтобы взвѣшивать слова; я солдатъ и потому говорю откровенно, что какой бы невыгодный миръ вы ни заключили теперь, все онъ будетъ выгоднѣе войны и того трактата, который долженъ же когда-нибудь положить конецъ этому

безконечному кровопролитію. Трактатъ, предначертанный барономъ Герцомъ, можетъ быть, не соотвѣтствовалъ достоинству Швеціи, но совершенно былъ согласенъ съ необходимостью. Мы уступали Россіи много, но за то сохраняли больше въ Германіи; а съ помощію Русскихъ, могли бы возстановить древнѣйшіе предѣлы Швеціи; можетъ быть, опять возстала бы тройственная держава. Что уступали мы Россіи? Лифляндію и Эстляндію, провинціи, которыя достались намъ случайно; провинціи, которыя мы считали до послѣднихъ годовъ непріятельскими источниками безконечныхъ контрибуцій. Теперь, за возвращеніе этихъ провинцій, мы соглашаемся потерять Бременъ, Верденъ, Стральзундъ, Ругенъ, Шлезвигъ, Висморъ, Мекленбургію и Ростокъ. Проектъ измѣнника барона Герца, кажется, не имѣлъ въ виду этихъ потерь, но за то клонился къ присоединенію къ Швеціи самаго Копенгагена...»

— «Фельдмаршалъ,» перебилъ рѣчь старца одинъ изъ сенаторовъ: «вы забываете, что проектъ Герца признанъ вреднымъ государственными штатами...»

— «Не знаю, какъ и чѣмъ былъ бы признанъ поступокъ государственныхъ штатовъ съ барономъ Герцомъ, если бы вдругъ воскресъ король Карлъ. Вамъ, господа штаты, угодно было вести войну съ Петромъ, потому что оружіе русское наносило безславіе націи, но не достигало еще до вашихъ помѣстій. Но я надѣюсь что вы перемѣните образъ мыслей, если Апраксинъ погоститъ

въ вашихъ замкахъ нѣсколько недѣль. За Бременъ и Верденъ вы купили у англійскаго короля позволеніе британскому флоту прогуливаться по Балтійскимъ водамъ. Позвольте доложить, что Норисъ лучше васъ знаетъ Петра, а Царь не рѣшился бы на дессантъ, если бы малѣйше боялся Англичанъ и не былъ увѣренъ въ успѣхѣ предпріятія. Осторожность Петра столь же геніяльна, какъ и его твердость и всѣ другія качества. Король Карлъ имѣлъ больше поводовъ питать къ Царю ненависть, но эта ненависть не ослѣпляла Карла. Онъ желалъ мира только съ Петромъ. Государыня! На краю могилы преклоняю передъ вами старческія колѣни и умоляю: потушите пламя, пожирающее Швецію. Этихъ потерь не вознаградятъ ни Лифляндія, ни Эстляндія, ни Петербургъ съ Кронштадтомъ; такихъ ранъ не залечите въ десятки лѣтъ! Пошлите графа Гилленборга на Аландъ, и мысль Карла воскреснетъ, и Швеція еще найдетъ средства возстановить свое достоинство. Вся эта огромная армада Петровой силы пойдетъ на враговъ вашихъ и можетъ быть я, дряхлый старикъ, еще доживу до славнаго мира...»

Фельдмаршалъ Реншильдъ стоялъ на колѣнахъ, но никто не спѣшилъ поднять его, никто не рѣшался отвѣчать ему; онъ, съ трудомъ, опираясь на шпагу, поднялся на ноги и сказалъ съ грустію:

— «Государыня! позвольте мнѣ ѣхать въ мою армію.»

— «Поѣзжайте!» отвѣчала королева сухо, и фельдмаршалъ откланялся.

Не смотря на явную немилость двора, Реншильдъ не побоялся посѣтить Остермана, но не нашелъ нашего министра дома: Остерманъ былъ дома, но ему было не до пустыхъ разговоровъ съ опальнымъ фельдмаршаломъ. У него сидѣла весьма важная персона — секретарь графа Гилленборга. Всѣ двери были заперты, всѣ ставни закрыты; окно въ кабинетѣ было сверхъ того плотно затянуто сукномъ. Только одна свѣча горѣла подъ жестянымъ колпакомъ, такъ что собесѣдники не могли видѣть лицъ одинъ другаго

— «Такъ вы знаете навѣрное,» спросилъ Остерманъ: «они перехватили мое письмо?..»

— «Я вамъ разсказалъ уже содержаніе; оно писано по-голландски; внизу шифры...»

— «Такъ, такъ, весьма такъ... О, мнѣ очень досадно... Много тайнъ досталось имъ въ руки... Мнѣ прискорбно... Моя неловкость похожа на измѣну Государю... Ну, что́ же дѣлать! Поправить нельзя... Раскаянье—порокъ слабодушныхъ... Забудемъ объ этомъ проклятомъ письмѣ... Что́ у васъ новаго?.. Да, кстати, я никакъ не надѣялся, что́ найду въ канцеляріи графа Гилленборга такихъ умныхъ людей, ясно видящихъ вещи. Вотъ настоящій патріотизмъ! Вы согласились со мною тайно познакомиться потому только, что раздѣляете мои мысли насчетъ политики. Да, любезный другъ, я очень понимаю, въ какое опасное положеніе увлекаетъ васъ любовь къ пользамъ отечества. При упрямствѣ королевы и чиновъ, благонамѣренные должны дѣйствовать втайнѣ, какъ-

будто какіе предатели: но будьте покойны; станетъ ли миръ, продолжится ли война, вашего имени нигдѣ и никогда не произнесутъ мои уста. Остерманъ, сказываютъ, умѣетъ говорить; можетъ быть; но что онъ умѣетъ молчать, это я знаю навѣрное. Я могу быть такъ холоденъ и нѣмъ какъ ваша табакерка... Гдѣ вы ее купили?»

— «Это не моя, господинъ совѣтникъ...»

— «Не ваша? Вы шутите! Я никогда не нюхаю табаку, особенно такого дорогаго. Полноте! Не соблазняйте, я понюхаю, стану чихать, нарушу тишину... спрячьте, спрячьте вашу табакерку и давайте говорить о дѣлѣ... Сколько войска въ Стокгольмѣ?»

— «Но мнѣ, право, совѣстно... Тутъ не табакъ, а червонцы.»

— «Не все ли равно? Употребляйте ихъ на табакъ... А войскъ должно быть очень много...»

— «Королеву и всѣхъ увѣряютъ, что войскъ у Стокгольма двадцать пять тысячъ.»

— «А въ самомъ дѣлѣ только...»

— «Семнадцать...»

— «Это не по нашему. Мы говоримъ, что у насъ въ дессантѣ только двадцать, а окажется за сорокъ... Только, ради самого Бога, не проболтайтесь... Собираются защищаться противъ двадцати... а тутъ вдругъ сюрпризъ... А впрочемъ, знаете ли что? Мнѣ вашъ графъ нравится; вамъ, вѣрно, пріятно служить у такого начальника. Правда, онъ человѣкъ несговорчивый...»

— «Это такъ кажется съ перваго взгляда.

Спорить съ нимъ всегда вредно. Лучше съ разу съ нимъ согласиться, а онъ потомъ какъ-будто изъ благодарности станетъ соглашаться съ вами.»

— «Право? Какой забавный характеръ! Но онъ весьма свѣдущъ въ дѣлахъ.»

— «Въ наукахъ, такъ, а въ дѣлахъ — онъ и самъ не знаетъ что́ ему дѣлать; хочетъ угодить и королевѣ, и штатамъ, и принцу, и герцовской партіи...»

— «Какая теперь герцовская партія! Полагаю, теперь и думать по старому бояться.»

— «Ну, не говорите!»

Секретарь оглянулся. Хотя въ комнатѣ и было темно, но Остерманъ замѣтилъ движеніе секретаря; всталъ; подошелъ къ конторкѣ, вынулъ свертокъ съ червонцами и положилъ его на софѣ, возлѣ гостя, такъ близко, что свертокъ тихо подкатился къ ногѣ секретаря.»

— «Такъ вы полагаете.»

— «Не полагаю, а увѣренъ. Что́ это, господинъ совѣтникъ, право мнѣ совѣстно.»

— «Зачѣмъ вы обращаете вниманіе на такія мелочи! Я знаю, что вы у меня съ согласія графа...»

— «Какъ?..»

— «Вы согласились на мое предложеніе для того только, чтобы услужить графу и что-нибудь у меня выманить...»

— «Неужели вы можете полагать!..»

— «Вы повели себя чрезвычайно искусно; я люблю встрѣчать въ молодыхъ людяхъ такіе рѣ-

нительные министерскіе таланты и помогу вашему возвышенію.»

— «Господинъ совѣтникъ, я васъ не понимаю...»

— «Не вы первый, не вы и послѣдній. Но я вамъ обѣщалъ и сдержу слово. Вотъ садитесь, я вамъ дамъ секретную инструкцію моего Государя; вы ее перепишите и подайте графу... Кажется, бо́льшей тайны у меня быть не можетъ...»

— «Вы шутите!..»

— «Нимало! А чтобы васъ вразумить, я объясню вамъ причины. Господа Шведы не хотятъ меня слушать. Я имъ ничего не могу сказать больше того, что́ написано въ инструкціи. Въ существѣ тутъ нѣтъ никакой тайны; напротивъ, чего не хотятъ слушать, то́ прочтутъ и будутъ знать поневолѣ, а вы — получите награду какъ за величайшій подвигъ дипломатическаго искуства. Ну, теперь чувствуете, какую я дѣлаю вамъ услугу?»

— «Не услугу, а благодѣяніе...»

— «А-га! Но вы умѣете ли писать по-русски?»

— «Умѣю, потому-то я и служу по отдѣленію дѣлъ съ Россіей...»

— «Прекрасно! Но — и вы мнѣ должны сообщить кое-что.»

— «Приказывайте!»

— «Мы, знаете, будемъ мѣняться. За инструкцію, я желалъ бы имѣть копію съ письма королевы и лорда Картерета къ Норису.»

— «Нѣтъ ничего легче... Но не раньше какъ завтра чуть свѣтъ..»

— «Прекрасно. Къ утру будетъ готова и копія съ инструкціи. Вы руку Петра знаете?»

— «Какъ же!»

— «Ну, такъ сами свѣрите съ подлинникомъ... Теперь вы видите ли, любезный другъ, что намъ между собою хитрить не слѣдуетъ. Что намъ до этихъ государственныхъ интересовъ. Вся наша заслуга только въ доставленіи вѣрныхъ свѣдѣній. Я вамъ дамъ и передамъ много денегъ и свѣдѣній, а вы мнѣ въ обмѣнъ дадите столько же, не денегъ, а извѣстій, а деньги придутъ; меня награждаютъ, слава Богу, изрядно... Только та разница: я васъ не обману, потому что хочу заслужить вашу дружбу, а вы меня на первомъ шагу обмануть хотѣли. Откуда взялось въ Стокгольмѣ семнадцать тысячъ войска?»

— «Если хотите, это и правда и ложь. Теперь въ Стокгольмѣ всего тысячъ шесть.»

— «Вотъ, это похоже на правду.»

— «Но если сойдутся къ Стокгольку всѣ малыя партіи, расположенныя на небольшихъ дистанціяхъ, тогда будетъ семнадцать слишкомъ. Я вамъ принесу роспись.»

— «Вотъ такъ бы давно; а я... ну, да завтра сторгуемся. До свиданія...»

Секретарь ушелъ. Остерманъ позвонилъ. Вошелъ низенькій, приземистый человѣчекъ и сталъ кланяться какъ гипсовая собачка.

— «Ну что, Тришка?»

— «Ну, что? Мое дѣло сторона. Я тебѣ поставилъ секретаря, а умѣлъ ли ты съ нимъ по-

ладить, не вѣдаю. Да мнѣ до этого дѣла нѣтъ. А сказалъ ты мнѣ достать гонца; нашелъ; берется пройти къ адмиралу, а надеженъ ли, погляди самъ. Вотъ ужъ больше часа у меня подъ столомъ сидитъ.»

— «Позови!»

Вошелъ человѣкъ, хотя и рослый, но неблагообразнѣе Тришки. Все лице у него было покрыто волосами, хотя борода и была обрита. Видъ его не вселялъ довѣрія. Остерманъ снялъ колпакъ съ подсвѣчника и пристально посмотрѣлъ на мохнатаго гостя.

— «Кто ты?» спросилъ Остерманъ по-шведски.

— «Рыбакъ,» отвѣчалъ онъ по-русски.

— «Ты нашъ?»

— «Вотъ какъ твоя графская милость. Нѣмецъ, а сталъ служить Русскимъ; я Русскій — а сталъ кормить рыбой Шведовъ. Мы; не во гнѣвъ будь сказано,—мы оба не на родинѣ. Только вотъ твоей графской милости у чужихъ людей и сытно, и тепло, и весело, а мнѣ на выворотъ. Съ тоски на звѣря походить сталъ. Ваше графское сіятельство!»

И звѣрь упалъ въ ноги Остерману.

— «Что съ тобой!»

— «Помилуй!»

— «Да что такое! Ты, любезный, со мной не чинись... Все-таки мы свои... Ну, говори, что тебѣ надо?..»

— «Говорило мнѣ твое чучело...»

— «Это про тебя, Тришка?»

— «Собака лаетъ, вѣтеръ носитъ,» отвѣчалъ покойно Тришка.

— «Говорило оно, будто твое графское сіятельство отъ Царя полную мочь имѣетъ.»

— «Ну, правду говорило чучело... Что́ дальше?»

— «Помилуй!»

— «Изволь.. А за что́ помиловать?»

— «Я отъ царской службы въ Лифлянтахъ бѣжалъ, да не могу снести моей воли. Прости меня и Царя попроси, чтобы простилъ; а я ему въ здѣшнихъ шерахъ за лоцмана служить могу. Рыба меня со всѣмъ шведскимъ берегомъ, почитай до конца моря, въ дружбу привела.»

— «Изволь...»

— «Только такъ напиши, чтобы меня тѣмъ, что приключилось, не попрекали.»

— «Хорошо. Можно. Только надо эту милость заслужить: вѣсточку генералъ-адмиралу дать.»

— «Хорошо. Можно. Только если какое письмо дашь, такъ вели плотно въ кожу зашить, чтобъ не подмокло.»

— «Благо. А въ той кожѣ и про тебя написано будетъ.»

— «Спасибо!»

— «Ну, такъ приходи завтра поутру, передъ полуднемъ.»

— «Э! И ночью-то я къ тебѣ черезъ крышу пришелъ, будто трубочистъ, а днемъ сказано смотрѣть настрого, чтобы мышь къ тебѣ не проныла. Въ томъ самомъ трактирѣ, гдѣ твое чучело со мной встрѣлось, какъ оно ушло, былъ драбантъ и шинкарку остерегъ, чтобы за твоими

людьми присматривала. Я его виномъ подогрѣлъ, онъ мнѣ и другое разсказалъ.»

— «Что́ же онъ тебѣ разсказалъ?..»

— «Что у тебя на дому двухъ послуховъ подъ полъ пропустятъ; что домъ-де твой посольскій съ тайниками, и что какъ былъ тутъ Лефортовъ отъ Царя, такъ и у него на по́слухахъ двое сидѣло. Такъ ужъ тутъ гдѣ мнѣ къ тебѣ ходить. Пришли чучело на рынокъ рыбу завтра покупать; пусть кожаной мѣшочекъ уронитъ... Ну, прощай, твое графское сіятельство. Не забудь про меня написать, а не то—одинъ конецъ: аркебузируютъ или самъ на себя руки положу.»

— «Что́ же ты съ кожанымъ мѣшечкомъ будешь дѣлать?»

— «А что́? Положу его въ самую большную рыбу, да и понесу продавать въ загородные дома; пока между Шведовъ буду идти, стану въ тридорога запрашивать; а до русскихъ дойду, рыбу зажарю, да съѣмъ, а мѣшокъ адмиралу въ руки отдамъ. Я его въ лице знаю.»

— «А денегъ не нужно?»

— «Опосля дашь.»

— «Ну, спасибо! Ступай съ Богомъ!»

Чуть свѣтъ секретарь помѣнялся съ Остерманомъ бумагами; Андрей Иванычъ немедленно сѣлъ писать, а Тришка возлѣ стола изготовлялъ кожаный пакетъ.

— «Послушай,» сказалъ онъ: «напиши ты адмиралу, пускай онъ посланца велитъ келейно отпороть, чтобы чучеломъ не бранился.»

— «Ну, Тришка, вѣдь намъ обоимъ по серьгамъ пришлось; вѣдь онъ звѣрь, грубъ, политики не знаетъ, за то и не попадется въ лапы къ Шведамъ, какъ этотъ болванъ...»

— «Да болванъ-то чѣмъ виноватъ, когда умная голова на злой путь его поставила! Ты же его и научилъ: Ступай туда, а тамъ-то его и поймали.»

— «Эхъ ты, Тришка, никогда тебѣ не быть умницей! Вѣдь я болвана-то нарочно прямо къ Шведамъ послалъ. Пусть читаютъ, да вѣрятъ, а правда-то пойдетъ въ этомъ мѣшечкѣ. Ну, перестань мѣшать, надо спѣшить.»

— «Ну, какъ хочешь, а я своего этому звѣрю не подарю.»

И черезъ часъ съ небольшимъ на рыбномъ рынкѣ сидѣлъ только одинъ торговецъ; рыбы не продалъ, за тѣмъ что дорожился, но за то не тужилъ, напротивъ, былъ веселъ и все поглядывалъ въ ту сторону, откуда долженъ былъ прійдти вожделѣнный купецъ, но чучело пришло на рынокъ совершенно съ противной стороны, тихо подкралось къ рыбаку, размахнулось и сильно ударило его по лицу кожанымъ мѣшечкомъ, который тутъ же упалъ въ лоханку съ рыбой.

— «Вотъ тебѣ чучело,» сказалъ Тришка, и убѣжалъ.

Рыбакъ схватился и хотѣлъ-было бѣжать за обидчикомъ, но примѣтивъ мѣшечекъ въ лоханкѣ, всталъ, поднялъ посудину, поставилъ ее на голову и пошелъ въ ту сторону, куда убѣжалъ Тришка... Проходящіе смѣялись надъ проказой остермановскаго шута,

а рыбакъ на ходу изрыгалъ шведскія ругательства и клялся поднять весь Стокгольмъ, сенатъ, цитаты на дерзкаго дурака... Въ третьей улицѣ онъ перемѣнилъ рѣчи; хвалилъ рыбу свою и шелъ дальше... Не прошло часа, онъ былъ уже за городомъ. Въ дальнѣйшемъ пути, сначала у него торговали только рыбу; потомъ стали и осматривать; тамъ и съ ногъ до головы обыскивать; послѣдніе шведскіе пикеты не совѣтовали идти дальше, потому что въ полумилѣ можно было видѣть казацкіе и драгунскіе разъѣзды. «Ихъ-то мнѣ и нужно,» подумалъ рыбакъ и согласился съ добрыми совѣтниками. Расположился на ночлегъ, но какъ только замѣтилъ тревогу въ шведскихъ пикетахъ, схватилъ свою лоханку, въ лѣсъ, потомъ вышелъ въ поле и, примѣтивъ драгуновъ, закричалъ: — «Эй, товарищи! Сюда!»

Партія драгуновъ и казаковъ, человѣкъ въ пятьдесятъ, наскакала на рыбака. Онъ стоялъ смирно, поднявъ вверхъ мѣшечекъ.

— «Стой! Кто идетъ!» закричалъ Степанычъ, командовавшій этимъ и другими лёгкоконными разъѣздами.

— «Свой! И съ подаркомъ! Письмо отъ нашего посла къ генералъ-адмиралу. Вотъ оно въ этомъ кожаномъ мѣшечкѣ. Не я, щука принесла, только я долженъ отдать его въ руки адмиралу...»

— «Трофимъ! У тебя лошадь подюжѣе! Посади его на затыльникъ и въ походъ. Теперь ужъ и для промысла поздно становится; а ты, Лука, скачи къ унтеръ-лейтенанту и скажи, что я къ адми-

ралу поѣхалъ; пусть до утра команду держитъ; дальше этого лѣса пусть не ходитъ, а завтра пусть ждетъ меня у новаго пожарища, что́ сегодня сожгли. Ступай рысью!»

И команда понеслась прямо на большое зарево, которое весьма замѣтно было на южномъ небѣ. Около трехъ часовъ ѣхали безъ отдыха. Стемнѣло на небѣ, зарево становилось ярче и ярче; во многихъ мѣстахъ на горизонтѣ показались такія же пожарныя зо́ри. Главное, къ которому направлялъ путь Степанычъ, подымалось надъ остатками огромнаго желѣзнаго завода; часть его еще не была охвачена пламенемъ; крыши еще чернѣли и глядѣлись въ красныя воды обширнаго озера; черныя тѣни во множествѣ бѣгали изъ этихъ строеній къ озеру, бросали что́-то тяжелое въ воду и возвращались съ поспѣшностью. На холмѣ, не доѣзжая до завода, при небольшой пушкѣ стоялъ генералъ-адмиралъ, бригадиръ Левашевъ и немалое число офицеровъ. Они глядѣли на пожаръ и покойно бесѣдовали. Пикеты далече еще окликнули Степаныча, и когда онъ подъѣхалъ къ холму, генералъ-адмиралъ и всѣ собесѣдники обратились къ нему и въ одинъ голосъ кричали:

— «Ну, Вѣтеръ-Богатырь, кого привезъ?»

— «Письмо отъ Остермана! Чай, оно лучше десяти плѣнныхъ Шведовъ.»

— «Чай, лучше и тысячи! Подай! Поздравляю съ пріѣздомъ! Ну, что́ это за пакетъ? Кожаный мѣшокъ!»

Распороли пакетъ. При свѣтѣ зарева Апраксинъ

прочелъ письмо съ весьма довольною улыбкою, и сказалъ:

— «А гдѣ ты, дезертиръ, служить изволилъ?..»

— «Въ драгунахъ, ваше графское сіятельство..: Только зачѣмъ же меня дезертиромъ кликать изволишь?..»

«Ахъ, да, я и позабылъ! Извини! Иванъ Степанычъ! Возьми-ка его къ себѣ, наряди, дай лошадь, онъ и на сушѣ можетъ быть хорошимъ лоцманомъ, пока нужда до моря дойдетъ. Поставьтека здѣсь палатку, да живѣе; дайте сигналъ: пусть зажигаютъ остальное, а господъ офицеровъ прошу на консилію.»

Сигналъ поданъ. Остальныя строенія мигомъ обхватило пламенемъ; стало свѣтло какъ днемъ; черныя тѣни на берегу озера собрались въ строй и отступили къ холму. Нѣсколько офицеровъ пришли къ сборному мѣсту раньше.

— «Ну, каковъ промыселъ?» спросилъ адмиралъ.

— «Не малый, ваше сіятельство,» отвѣчалъ толстый пѣхотный офицеръ. «Такъ, на глазомѣръ, желѣза пойдетъ до тысячи на дно пошло, а въ амбарахъ, тамъ еще видимо-невидимо.»

— «И отъ огня испортится. А людей?...»

— «Вотъ людей къ прискорбію ни единой штуки. Всѣ за время убрались.»

— «И слава тебѣ Господи! Далъ бы то Богъ, нигдѣ этихъ бѣдныхъ поселянъ не встрѣчать. Не съ ними война... Ну, палатка готова, пойдемъ, разсудимъ, господа, что къ намъ Остерманъ пишетъ.»

Всѣ отправились въ палатку. Военный совѣтъ открылся чтеніемъ Остерманова письма, въ которомъ съ особенною подробностью онъ увѣдомлялъ главнокомандующаго о состояніи умовъ и военныхъ силъ въ Швеціи, присовокупилъ числовые и именные списки командъ и командировъ, и заключилъ совѣтомъ не брать Стокгольма, потому что, согласно Ламеландскому плану, въ томъ нѣтъ нужды, и потому еще, что паденіе столицы можетъ воскресить въ народѣ шведскомъ энергію отчаянія. Въ особой припискѣ просилъ, если можно увѣдомить, что̀ дессантомъ учинено, чтобы можно было согласно съ тѣмъ и съ Шведами трактовать аккуратнѣе, а равно дать знать и о томъ, что̀ предпріемлется, дабы отъ невѣдѣнія не погрѣшить въ рѣчахъ и кондуитѣ.

— «Что̀ сдѣлано!» сказалъ Степанычъ грустно. «Ничего не сдѣлано. Не было ни одной баталіи; не было гдѣ себя показать и другихъ посмотрѣть. Вся надежда была на Стокгольмъ; видно, тамъ господину посланнику хорошо, такъ и не совѣтуетъ. По-нѣмецки: хитритъ; а по-нашему, что̀ взято, то̀ свято.»

Главнокомандующій улыбнулся весьма довольно. Рѣчь Степаныча пришлась ему по̀-сердцу.

— «Хорошо, лейтенантъ,» сказалъ Апраксинъ: «что тутъ нѣтъ никого посторонняго, а то бы слово твое обошлось тебѣ дорого. Не забудь, тутъ не бесѣда застольная, а консилія. Ты младшій; имѣешь право первый говорить; заслуги твои не малы; ты одинъ много въ этомъ дессантѣ налѣ-

лалъ; на тебѣ и медаль Сенявинская; все такъ, но, любезный, говори дѣло, что ты думаешь, а красныя слова для красныхъ дѣвушекъ припрячь.»

— «Виноватъ, ваше сіятельство! Да какъ же мнѣ объ Стокгольмѣ не плакать, когда я уже на предмѣстьи съ Трофимомъ моимъ въ кабачкѣ водку пилъ.»

— «Что такое?» воскликнуло нѣсколько человѣкъ.

— «На какомъ предмѣстьи?» спросилъ изумленный Апраксинъ.

— «А я почемъ знаю, какъ зовутъ! И Трофимъ, въ шведскомъ плѣну былъ, наизустъ весь городъ знаетъ, а какъ по именамъ что зовутъ, не вѣдаетъ. Промышляли мы съ партіями, да дождемъ больно промочило; продрогли; водку всю исрасходовали. Что тутъ дѣлать! Взяли у плѣнныхъ платье, да и поѣхали. Трофимъ пошведски такъ и чешетъ, пароли мы знали, прогулялись, обогрѣлись сами, да и другимъ привезли...»

— «А команда?»

— «Команду я старшему сдалъ. Мой постъ такой, что я могу куда угодно отлучиться и гдѣ что есть высматривать. Вотъ я и высмотрѣлъ, а что такое, завтра представлю при рапортѣ. А что до настоящей консиліи надлежитъ, то симъ объявляю, что я съ Остерманомъ отнюдь не аккордую. Первое, потому что какая тутъ энергія у Шведа явиться можетъ, когда ни одной лодки въ шерахъ не осталось, а намъ гребной флотъ можетъ изъ Финляндіи каждыя двѣ недѣли людей,

провіантъ и снаряды подвозить. Второе, эскадра Нориса еще не пришла, а если и прійдетъ и купно съ шведскимъ корабельнымъ флотомъ пока отъ Борнгольма сюда доползетъ, мы тутъ такъ же крѣпко усядемся, какъ сидимъ въ Абовѣ, Гельсингфорсѣ, Выборгѣ, Ревелѣ и Ригѣ. Кругъ всего Балтическаго моря теперь нашъ. Двадцать девять линейныхъ кораблей, опричь фрегатовъ, самъ я видѣлъ и считалъ. Такъ не уповаю, чтобы Норисъ за чужое упрямство рисковалъ эскадрой и репутаціей; и если бы съ нами помѣряться вздумалъ, то едва ли бы получилъ какой авантажъ, а Швеція все-таки осталась бы наша. Третіе, штаты и дворъ не будутъ капитуляціи дожидаться; отъѣдутъ; а гдѣ дворъ и штаты, тамъ и столица. Трактовать будетъ съ кѣмъ. По симъ конъюнктурамъ — остермановыхъ резоновъ принять за подлинные и справедливые не можно; на ламеландскихъ же консиліяхъ что́ постановлено, то уже силы имѣть не можетъ, потому-де, что ни Государь, ниже кто изъ насъ не суппоновалъ, чтобы экспедиціи нашей такое зѣло благополучное начало и послѣдствіе учинилось. Почитай десяти человѣкъ не потеряли, а какіе авантажи одержаны, то, думаю, токмо вашему сіятельству, да мнѣ, яко авангардному вашему оку, заподлинно вѣдомо. Шесть большихъ судовъ взято съ грузомъ; лодокъ разнаго званія забрано и сожжено за тысячу; плѣнныхъ военнаго ранга, хотя Шведы отъ насъ, только и дѣло, что уходятъ, однако же за триста драгуновъ и солдатъ будетъ; есть и офицеры; четыре большіе города,

замковъ большихъ до ста, деревень, селъ, и всякаго жилья по малой мѣрѣ пятнадцать тысячъ дворовъ сожжено на уголь; а всего-то у насъ дессанту сведено съ галеръ четвертая токмо часть и та уже Швеціи до ста милліоновъ ефимковъ причинила ущерба, а съ мѣдными и желѣзными заводами будетъ и побольше. Теперь, если нѣмецкій дессантъ Лассія хоть четвертую долю противъ насъ наработалъ, то фортиниты наши уже генеральной побѣды свойства имѣютъ. О такомъ успѣхѣ и снитъся не могло на Ламеландѣ, и если бы Государь о нашихъ акціяхъ докладно вѣдалъ, то несумнительно далъ бы резолюцію на взятіе у Шведовъ города Стокгольма. Но какъ ради одного опаса отъ англійскаго флота мы съ его величествомъ нынѣ прямой коммуникаціи не имѣемъ; Остерманъ же изъ Стокгольма можетъ дать о нашей консиліи вѣдомость прямо въ корабельный флотъ Синявину, а Синявинъ съ Государемъ описаться и отвѣтъ прислать съ двумя тремя кораблями прямо къ намъ сюда въ шперы, то я и полагаю такую опинію: все сказанное Государю черезъ Остермана рапортовать и пока указъ прійдетъ — чинить по прежнему всякое раззореніе, но паче заводовъ и барскихъ замковъ въ глубь Швеціи, того для, что заводы Шведовъ всякимъ ружьемъ могутъ довольствовать, а принципально токмо бояре шведскіе не хотятъ мира съ нами. Нація же не насъ, а ихъ въ раззореніяхъ и пожарахъ обвиняетъ, какъ я самъ своими ушами слышалъ. Все сіе съ належитымъ респектомъ военной консиліи презентую.»

Мнѣніе Степаныча съ незначительными измѣненіями было принято большинствомъ голосовъ. Военный совѣтъ упустилъ изъ вида, что Петръ и на Ламеландѣ уже видѣлъ ясно возможность завладѣть Стокгольмомъ, но прозорливость его именно положила этотъ городъ предѣломъ всѣхъ дѣйствій, потому что страхъ потерять столицу гораздо выгоднѣйшее могъ имѣть вліяніе на заключеніе мира, нежели дѣйствительная ея потеря. Не менѣе того чувствованія побѣдоносныхъ совѣтниковъ были весьма похвальны и увлекли даже предсѣдателя. Оставалось избрать путь, которымъ бы заключеніе совѣта могло дойти до Остерманна. Никто не сомнѣвался, что Шведы ни курьера, ни довѣреннаго посланца къ нему не пропустятъ. Надо было избрать путь тайный, и Степанычъ, яко младшій, объявилъ первый:

— «Ваше сіятельство! Шведы теперь стали весьма добры и обходительны; хотя имъ теперь въ диковинку русскій плѣнный, однако же отъ оплошности и безпечности два приклада въ настоящую компанію прилучилось. Шведы обошлись съ нашими людьми весьма ласково и одного даже на пароль отпустили.—Того для, смертной опасности не предвижу; да хотя бы и была, то для такого великаго дѣла никто и подлою смертію умереть не устыдится. Позвольте мнѣ сходить въ Стокгольмъ съ Трофимомъ, и Остерману о консилія нашей объявить. Если черезъ недѣлю не ворочусь, значитъ сижу гдѣ ни есть подъ карауломъ и тогда извольте другимъ путемъ идти. Уповаю, что успѣхъ отвѣтитъ усердію...»

Генералъ-адмиралъ не безъ труда согласился на предложеніе Степаныча, причемъ публично объявилъ ему благодарность за подвиги и повысилъ чиномъ капитанъ-лейтенанта, обѣщая ходатайствовать о важнѣйшей наградѣ, буде порученіе исполнитъ... Сборы Степаныча были коротки. Новый драгунъ былъ обстриженъ, обмытъ, одѣтъ и поскакалъ съ партіей Степаныча. Къ утру Степанычъ не только былъ уже на мѣстѣ, но собравъ свою команду и сдѣлавъ всѣ нужныя распоряженія, переодѣлся въ шведское платье и съ Трофимомъ пошелъ по дорогѣ въ Стокгольмъ. Сначала все шло благополучно. Пикеты пропускали Шведовъ, изъ которыхъ одинъ былъ нѣмъ, и только плакалъ, а другой, Трофимъ, жаловался на раззореніе, на пожаръ, на бѣдность и шелъ просить королеву вознаградить его за потерю всего имущества.

— «Вотъ кстати, любезный, и королева со всѣмъ дворомъ теперь въ замокъ пріѣхала,» сказалъ солдатъ одного пикета.

— «Въ какой замокъ?»

— «Вотъ пройдешь съ полмили; королевскихъ драбантовъ увидишь у сада; въ томъ саду загородный дворецъ; въ томъ дворцѣ—дворъ.»

— «Спасибо, служивый, такъ чего ждать; пойдемъ!»

Смеркалось. Туманъ густымъ облакомъ застилалъ окрестность; въ двухъ шагахъ трудно было видѣть предметы, и наши путники, не смотря на различіе ранговъ, взялись за руки и продолжали непріятное путешествіе. Туманъ становился гуще и гущѣ.

— «Тѣмъ лучше!» сказалъ Степанычъ: «мы такъ пройдемъ мимо многихъ пикетовъ; насъ и не увидятъ; только бы ночью дойти до Стокгольма.»

— «Добредемъ. Тутъ дорога прямая. А съ этой стороны и до посланника недалече; я у бѣглаго разспросилъ. Тутъ за воротами, по правую руку, третій домъ въ два жилья; въ нижнемъ и день и ночь ставни заперты; никто не живетъ; лишь бы черезъ ворота пропустили, да и то сказать, если обвала не задѣлали, такъ и тамъ пройти можно.»

— «А гдѣ же этотъ обвалъ?..»

— «Да какъ пройдешь сторóжку, что́ водку смотрятъ, тутъ сейчасъ направо; черезъ ровъ перепрыгнуть можно; тамъ за угломъ и обвалъ; пройти можно, хотя и больно опасно, чтобы кирпичи не разъѣхались... Тьфу ты, какая тьма! Кажется, тутъ лѣсъ сквозь туманъ сквозитъ...»

— «Какой лѣсъ! это строеніе!»

— «Тише, ваше благородіе!»

Поздній совѣтъ.—«Стой!» Раздалось съ разныхъ сторонъ и осемь драбантовъ королевскихъ съ однимъ капраломъ окружили неосторожныхъ посланниковъ. Трофимъ началъ-было по-шведски изъяснять свои несчастія; но капралъ смѣялся.

— «Жаль мнѣ тебя, что ты изъ одного пожара да попалъ въ другой,» говорилъ капралъ. «Ну, а ты что́?»

Степанычъ сталъ разъигрывать роль нѣмаго.

— «Ну, этотъ, видно, онѣмѣлъ со страха; нѣтъ и минуты, онъ говорилъ знатно по-русски...»

«Чертъ попуталъ!» подумалъ Степанычъ и

вошелъ вслѣдъ за капраломъ въ красивую караульню.

— «Ну, Трофимъ, тутъ нечего уже скрываться. Объяви, что мы дезертиры и хотѣли ея королевскому величеству важную тайность открытъ. Или скажи такъ, что ты Шведъ, въ русскомъ плѣну былъ, и я тебя на побѣгъ за толмача взялъ, а притворство себѣ учинилъ для того, что не министрамъ, а самой королевѣ хотѣлъ тайность объявить...»

— «Господинъ маіоръ!» сказалъ Трофимъ поиведеии: «намъ передъ вами и вашей командой скрываться нечего, потому что вы всѣ люди благородные...»

— «Ну, такъ что? Разсказывай!»

Трофимъ разсказалъ; маіоръ, то есть, капралъ отъ драбантовъ, потому что капралы въ этомъ почетномъ войскѣ дѣйствительно считались въ маіорскомъ чинѣ, такъ маіоръ, онъ же и капралъ, тотчасъ всталъ и, приказавъ смотрѣть за плѣнниками, отправился въ замокъ. Не прошло и пяти минутъ, какъ новая тревога вызвала караулъ на дорогу.

— «Трофимъ... не зѣвай!» шепнулъ Степанычъ, схватилъ драбанскую шляпу и шинель, надѣлъ и ушелъ. Не успѣлъ онъ отойти иѣсколько шаговъ, какъ сзади послышались голоса; шумъ возрасталъ и приближался, но шаги у Степаныча были истинно драбантскіе; онъ свернулъ съ дороги и притаился у забора; погоня прошла съ фонаремъ и воротилась. Степанычъ отправился въ дальнѣйшій путь,

изрѣдка прислушиваясь къ оклику часовыхъ; шелъ, шелъ и наткнулся на сторожку. Сторожа было-бросились къ нему, но увидя, что передъ ними королевскій драбантъ, почтительно отступили. Тутъ только онъ замѣтилъ, что передъ нимъ торчала городская стѣна... Степанычъ вспомнилъ разсказъ Трофима, повернулъ направо, нашелъ обвалъ, процарапался въ городъ благополучно, но тутъ-то и запятая: гдѣ найти домъ Остермана? Теперь всѣ ставни заперты; третій отъ воротъ... но гдѣ же эти ворота? Въ этомъ мѣстѣ отъ нихъ отдѣлялъ Степаныча цѣлый рядъ домовъ. Спросить некого, да и на какомъ языкѣ? Ходить по городу въ костюмѣ драбанта? того гляди, можно наткнуться на товарища или придворнаго; бросить шинель и шляпу? могутъ принять за бродягу или шпіона. Не смотря на то, Степанычъ все шелъ дальше и дальше по улицѣ и дошелъ до какой-то старинной церкви; на паперти лежало нѣсколько человѣкъ и всѣ спали сномъ сладкимъ.

— «А! Вотъ пока мои товарищи,» прошепталъ онъ; поднялъ желѣзную рѣшетку перваго дождеваго отвода; опустилъ туда шинель и шляпу; платье на себѣ изодралъ; лицо испачкалъ грязью, и въ лохмотьяхъ улегся между своими новыми товарищами. Въ другихъ обстоятельствахъ и онъ бы заснулъ не хуже этихъ бѣдняковъ, но тутъ было не до сна; особенно мучила его судьба бѣднаго Трофима. Коротка ночь сѣверная лѣтомъ; хотя на небѣ исходитъ уже знойный іюль, но недолго дожидался Степанычъ утра; встало солнце;

первый нищій проснулся, посмотрѣлъ на товарищей и перекрестился, какъ-будто отъ другихъ украдкой. Это удивило Степаныча. Православный крестъ ясно обнаруживалъ въ нищемъ Русскаго; но опасно было бы затѣвать съ нимъ разговоръ, когда самъ нищій какъ-будто скрывалъ свою вѣру... Нищій толкнулъ сосѣда. Тотъ также посмотрѣлъ на товарищей, перекрестился еще поспѣшнѣе и заговорилъ по-шведски. Поднялись и другіе: стало шумно на паперти; но скоро всѣ взяли свои костыли и разбрелись въ разныя стороны... Степанычъ догналъ православныхъ и слѣдуя за ними медленно, сказалъ тихо: «Братцы, проведите меня въ глухое мѣсто; надо мнѣ съ вами слова два перекинуть...»

— «Нашъ!» шепнулъ одинъ другому. «Ступай за нами!...»

Недалеко надо было идти, чтобы уединиться; городъ еще былъ мертвъ; только солнце, да нищіе уже не спали. Въ первой улицѣ остановились они и, осмотрѣвъ Степаныча съ ногъ до головы, сказали въ голосъ: — «Онъ не нищій...»

— «Братцы, вы угадали, я хотѣлъ вамъ дать милостыню: вотъ вамъ ефимокъ, дамъ больше, только помогите моей бѣдѣ; проводите къ послу царскому...»

— «А ты же кто?»

— «Я и самъ посолъ, да малой статьи...»

— «Смѣкаемъ. Батюшка, посолъ, скажи, обрадуй: увидимъ ли мы когда матушку землю родимую?»

— «Война на исходѣ...»

— «Много лѣтъ слышимъ мы эту сказку; много лѣтъ мы руду на Шведа копали; благо кожа наша испеклась и почернѣла; благо что теперь Шведамъ не до бѣглыхъ; сами разбѣжаться готовы, куда глаза глядятъ. И то сказать, нищихъ теперь стало больше чѣмъ обывателей, а какъ пришли Русскіе, такъ въ одну недѣлю тѣсно здѣсь стало; прежде мы на кладбищѣ ночевали, да теперь и тамъ мѣста нѣтъ; чай и съ паперти сгонятъ.»

— «Да отчего же вы не пойдете къ генералъ-адмиралу? Недалече.»

— «Пытались, батюшка, да Шведы и назадъ не гонятъ; вѣшаютъ. Вотъ кума Сидорку повѣсили... И путь-то мы знаемъ такой, что будь хоть ножи, хоть кистени русскіе, пройти можно; стоитъ-себѣ пушчонка дрянная, да при офицерѣ солдатъ двѣнадцать. Да ба... Съ голыми руками не пройдешь...»

— «А много ли васъ тутъ Русскихъ?»

— «Должно быть много. Да какъ ихъ узнаешь! Всѣ по-шведски болтаютъ, чтобы не повѣсили. А знакомыхъ у насъ больше полусотни.»

— «Ну, такъ слушаться, ребята! Я вашъ командиръ, гвардіи капитанъ-лейтенантъ...»

Нищіе вытянулись въ струнку и сдернули оборванныя клееныя шапки.

— «Одинъ ступай мнѣ въ проводники, а другой собирай всѣхъ Русскихъ, да вели имъ наше дѣло за тайну держать. Вотъ тебѣ денегъ; какого можно ружья подъ рукою искупи и товарищамъ раздай, только помни: тайность держать. А собираться ввечеру на той же паперти; по-русски говорить

не надо, а только знакъ подать, вотъ хоть бы такъ, будто бороду разглаживаешь. А я васъ выведу изъ этой богадѣльни. Ну, пойдемъ!»

— «Ваше высокоблагородіе! не извольте ходить къ посланнику; тамъ сто глазъ смотрятъ. Надо посольскаго дурака дождаться; онъ по рынкамъ бѣгаетъ, да кривляется; по-шведски говоритъ; авось черезъ него что̀ узнаете... Э! обыватели уже поднимаются... За дѣло!..»

— «Съ Богомъ...»

И Степанычъ съ нищимъ, прищуря глазъ и прихрамывая, побрелъ на рынокъ, гдѣ уже кипѣло народомъ, большею частью изъ нищей братьи. Къ сожалѣнію, Степанычъ мало понималъ что̀ говорили. Но покупателей было немного; а какіе были, и тѣ стояли въ кружкахъ и толковали. На всѣхъ лицахъ написаны были недовѣрчивость и опасенія. Недолго они пробыли на рынкѣ. Товарищъ толкнулъ Степаныча локтемъ и глазами показалъ на Тришку, который сѣлъ противъ одной торговки на мостовой и ѣлъ безъ счета свѣжія кренульки или калачики. Степанычъ пошелъ къ нему; проходя мимо, оступился и упалъ такъ близко, что̀ корпусомъ прижалъ полы длиннаго шутовскаго кафтана.

— «Видишь, дуракъ,» сказалъ шутъ по-шведски: «нашелъ гдѣ падать. Пусти!»

И шутъ сталъ добывать свои фалды изъ-подъ тяжелаго гнета; Степанычъ успѣлъ шопотомъ сказать ему:—«Что̀ закусываешь, лучше бы прежде выпить вмѣстѣ... Только ни гугу!..»

Тришка освободилъ свою одежду, ударилъ костылемъ Степаныча по спинѣ и бросился бѣжать; нищій за нимъ, изъ улицы въ улицу, изъ переулка въ переулокъ; Тришка на заборъ, Степанычъ за нимъ; очутились въ королевскомъ саду.

— «Ну, тутъ никто за нами присматривать не будетъ.»

— «Подай ухо, дуракъ! Какъ ты смѣлъ ударить капитана отъ гвардіи?»

— «Я ударилъ нищаго, а что ты капитанъ, такъ на лбу не написано; а ухо, на пожалуй! Только гляди, оглохну...»

— «Не нужно! лучше слушай! Мнѣ надо видѣться съ Остерманомъ. Я отъ генералъ-адмирала...»

— «Такъ ложись въ эту траву. Я черезъ часъ назадъ буду... Прощай!»

И шутъ убѣжалъ, а Степанычъ поспѣшилъ исполнить инструкцію, улегся въ высокую траву со всѣми предосторожностями и ждалъ такъ долго, что сталъ дремать... Раздался свистъ весьма тихій, потомъ кто-то сталъ кликать такъ же тихо: «Капитанъ, а капитанъ!» Степанычъ приподнялся. Тришка шелъ съ корзиной.

— «Куда ты это?»

— «На рынокъ. Вставай, капиташка! Говорю тебѣ, въ этомъ глухомъ мѣстѣ собаки не встрѣтишь; теперь же и двора нѣтъ: за городомъ; поѣхали глядѣть на адмиральскую люминацію. Пусть ихъ тѣшатся Къ намъ пройти тебѣ никакъ нельзя. За мной уже пристава ходить стали. Вотъ тебѣ куртка и штаны нашего повара. Мы съ поваромъ

вмѣстѣ на рынокъ пошли, только я съ него одежу содралъ и тоже уложилъ въ траву; онъ же любитъ выпить; я ему добрую флягу водки далъ: выпьетъ, заснетъ, а ты пока у насъ за повара будешь. Я тебя Онисимомъ кликать буду.. Ну, вотъ, готовъ; на, корзину, пойдемъ. Вышелъ въ садъ съ поваромъ, вышелъ изъ саду съ поваромъ; только пригнись пожалуй; Онисимъ маленько пониже тебя. Маршъ! Тутъ королевскій огородникъ подъ рукой дорогую овощь продаетъ и фрукты... Пойдемъ.»

У самой оранжереи замѣтили они двухъ подозрительныхъ человѣкъ.

— «Это мои хвосты,» сказалъ Тришка: «видишь слѣдъ потеряли: по догадкѣ сюда пришли. Пусть ихъ на мою красоту любуются. Не бойся! Дурни, они только глядѣть на меня смѣютъ, а имъ накрѣпко запрещено остермановскихъ людей безпокоить. Пальцемъ не тронутъ.»

И дѣйствительно, пристава вошли вмѣстѣ съ ними въ оранжерею; торговали для виду цвѣты и фрукты. Шутъ между тѣмъ купилъ десятокъ артишокъ, два десятка персиковъ, и когда кончилъ покупку, подошелъ къ фиговому дереву, сорвалъ двѣ незрѣлыя фиги и съ разными поклонами и шутовскими ужимками поднесъ ихъ приставамъ. Тѣ, не понимая значенія шутки, взяли фиги; а шутъ откланялся и пошелъ въ обратный путь.

— «Ну, пусть ихъ кушаютъ на здоровье. А ты, капитанка, помни мою инструкцію. Когда посланникъ разъ звонитъ, значитъ секретаря зоветъ;

когда два раза — закладывай карету, три — это на меня, четыре — камердинера; а пять это ужъ твоей милости такой почетный трезвонъ. Когда пріѣдешь въ кабинетъ, разговаривай будто муха жужжитъ. Онъ слышитъ, что́ лисица, да и потому еще, что у насъ подъ поломъ крысы съ голода умираютъ. Вотъ ужъ сколько времени сидитъ, а только и знаютъ: на кого сколько разъ звонить положено. А прочее все предается въ твое искуство и благоразуміе. Вотъ гдѣ ходъ въ кабинетъ, замѣчай, чтобы не ошибиться, а вотъ и кухня...»

И точно. Раздались колокольчики то разъ, то три, то четыре; пяти долго не было. Степанычъ наглядѣлся въ московской харчевнѣ, какъ кушать готовятъ и давай стряпать. Супъ поставилъ. Жарко́е на машинку насадилъ; только съ артишоками не зналъ что́ дѣлать. Такого страннаго зелья никогда не видывалъ.

«Должно быть большое дерево, на которомъ такія шишки растутъ...» подумалъ онъ, и съ любопытствомъ разсматривалъ странный плодъ. Вдругъ колокольчикъ прозвенѣлъ пять разъ, и Степанычъ вошелъ въ кабинетъ. Остерманъ на софѣ лежалъ въ крѣпко засаленномъ халатѣ; рубашка и чулки на немъ были такія грязныя, какъ-будто онъ ихъ не перемѣнялъ съ мѣсяцъ. Волоса были взъерошены. Видъ министра былъ непріятенъ. Онъ взглянулъ на повара и глаза тотчасъ стали считать мухъ на потолкѣ. Привычка обратилась въ природу: Остерманъ хитрилъ со своими. Степа-

нычъ много уже наслышался объ этомъ удивительномъ человѣкѣ и совершенно приготовился къ такой встрѣчѣ; не дожидаясь вопроса, Степанычъ объявилъ: кто онъ, зачѣмъ присланъ, что̀ положено на военной консиліи и просилъ отвѣта.

— «Гдѣ мнѣ, батюшка, на военныя дѣла совѣты подавать! Голова думаетъ, руки исполняютъ; а видишь, мое золото, если руки разсуждать станутъ, такъ иной разъ возьмутъ и то, чего и брать не нужно. Вотъ Тришка, ты его знаешь, видитъ алтынъ лежитъ, непремѣнно украдетъ, хоть и знаетъ что послѣ высѣкутъ... Я здѣсь не для войны, а для мира. Если бы я былъ военный человѣкъ, то могу по совѣсти сказать, что мнѣ ваша консилія очень бы понравилась. Сколько чести, славы, шума! Цѣлый годъ писали бы господа Нѣмцы, Англичане и Французы. Китайскій Богдыханъ о такомъ бы великомъ подвигѣ нашемъ свѣдалъ... Про насъ бы въ колокола и трубы по всему свѣту времѣли... И я уповаю, что, такъ какъ на Ламеландѣ, мы такихъ успѣховъ въ виду не имѣли, то отчего же не согласиться. Я Государю сегодня же напишу, и ультиматъ консиліи представлю. Поблагодари графа Ѳедора Матвѣевича за увѣдомленіе. Я теперь съ господами Шведами инако заговорю; а тебя, душа моя, за твою отважность, расторопность, усердіе... Чѣмъ мнѣ тебя наградить? Позволь себя расцѣловать...»

Хотя эта награда была весьма непривлекательна, по неопрятности министра, но за то честь велика, и Степанычъ умѣлъ дать цѣну такой на-

градѣ... Но едва сложилъ губы, чтобы поцѣловать Остермана, тотъ оставилъ его и сказалъ: «Лобызай тише: кроты подъ поломъ, а я своего повара никогда не цѣлую.»

— «Сдѣлай милость,» продолжалъ Остерманъ: «низко поклонись графу Ѳедору Матвѣевичу; скажи ему отъ меня, что ножки и ручки его цѣлую, и радуюсь за его успѣхи, будто за роднаго отца. И пусть онъ меня не любитъ; а я его больше самого себя люблю. То же и Левашеву отъ меня низменно поклонись. Прощай, душа моя! Только я сегодня буду безъ обѣда, а ты безъ головы, если Шведы узнаютъ...»

— «Обѣдъ скоро будетъ. Придется ли по вкусу, не знаю; какъ умѣлъ, такъ и состряпалъ; а объ моей головѣ не извольте заботиться. Объ одномъ только попрошу: снабдите меня на путь пистолями и шаблей.»

— «Батюшка, мой свѣтъ! свои отдамъ! Англійскія пистоли, шабля турецкая; я не военный; перомъ, кому нужно, глаза выцарапаю... Ступай, кто-то пріѣхалъ...»

Степанычъ, сидя на кухнѣ и готовя обѣдъ, слышалъ, какъ кто-то вошелъ въ кабинетъ Остермана, просидѣлъ тамъ больше часа, уѣхалъ и колокольчикъ прозвонилъ пять разъ.

— «Вотъ, душа моя, скажи графу Ѳедору Матвѣевичу, моему благодѣтелю, что Шведы тутъ меня больно обижаютъ; хотятъ на миръ идти; только Выборгъ и Ригу выпрашиваютъ; не могу... право, не могу... скажи моему отцу, графу Ѳе-

дору Матвѣевичу, что я эти города такъ полюбилъ, что ни за какія блага не уступлю; и попроси, чтобы вмѣсто Стокгольма, пока отъ Государя резолюція прійдетъ, замокъ Калленвикенъ раззорилъ...»

— «А гдѣ онъ?«

— «Да отъ Нордкенинга на западъ миль десять; не больше.»

— «Такъ Каллевинкень я ужъ на себя возьму... Чей онъ?»

— «Ахъ ты, душа моя! Нечего дѣлать, надо тебя въ секретъ взять; замокъ-то принадлежитъ такому человѣку, что отъ него и королева, и принцъ души не слышатъ; а у него всѣ помѣстья отъ театра войны далече: онъ-то, будто водяной дѣдушка, въ омутѣ всѣхъ и держитъ... Сдѣлай дружбу... Сговорчивѣе станетъ...»

— «Не угодно ли обѣдать? Кушанье готово!»

— «Неужели? Жаль, что не могу тебя къ столу пригласить; ну да въ Петербургѣ, а можетъ-быть и въ Стокгольмѣ сочтемся...»

Степанычъ подалъ кушать, Остерманъ ѣлъ съ особеннымъ вкусомъ, утираясь иногда салфеткой, иногда и рукавомъ; громко бранилъ, тихо хвалилъ повара.

— «Гдѣ ты это стряпать учился?»

— «Нужда всему научитъ.»

— «Глупая, ремесленическая пословица. Отъ нужды умнѣе не будешь.»

Отошелъ обѣдъ. Степанычъ на кухнѣ усѣлся обѣдать съ прислугой; Тришка сбѣгалъ за водкой,

и виномъ Степанычъ притворился пьянымъ и послѣ обѣда въ полголоса сталъ напѣвать русскія пѣсни; слова были собственнаго сочиненія:

Ой ты, Тришка, воришка,
Уворуй, унеси добрый охабень,
Шапку добрую, пристойную,
Чтобы молодцу въ путь-дороженьку
Снарядиться, изготовиться
Передъ вечеромъ, передъ ноченькой...
То не стая воронъ, нѣтъ, то коршуны,
Поджидаютъ брата старшаго,
Быстрокрылаго брата Сокола...
Вотъ садится красно солнышко;
Буйный вѣтеръ сталъ расхаживать;
Соколу подъ крылья просится...

— «Полно тебѣ, Онисимъ, горланить,» сказалъ Тришка, бросая на скамью плащъ и шляпу и тихо укладывая на ней дорогое оружіе. «Баринъ почивать изволитъ. Ступай лучше съ корзиной, да у того садовника искупи двѣ дыни, да огурцовъ турецкихъ къ ужину, да приготовь ихъ съ уксусомъ, да перцу побольше...»

— «Ну, ужъ служба!» отвѣчалъ Степанычъ, укладывая въ корзину пистолеты и платье; саблю онъ опустилъ въ широкія исподни и, взявъ корзину, пошелъ въ садъ, покачиваясь. Совсѣмъ уже смерклось, когда онъ показался въ нищенскомъ своемъ платьѣ у старой церкви. На встрѣчу къ нему пошли тѣ же нищіе, которыхъ онъ поутру тутъ же встрѣтилъ.

— «Ну, что?..»

— «Наши, командеръ, ждутъ насъ далече, на кладбищѣ, гдѣ прокаженныхъ хоронятъ. Туда ни

одинъ Шведъ не ходитъ; тамъ и стѣна обвалилась и дальше путь полемъ чистымъ не страшенъ. Только не запоздать бы намъ...»

— «Пойдемъ.»

Степанычъ немало удивился, когда нашелъ за этимъ кладбищемъ больше сотни нищихъ; нѣкоторые уже были сѣдые, но еще бодрые старики. Не выдержало сердце русское! Они бросились къ Степанычу, цѣловали его руки, показывали ему кто ножъ, кто дубину, кто саблю солдатскую. Тѣ крестились на востокъ солнца, многіе утирали слезы и при всемъ томъ никто не уронилъ ни одного слова: молча радовались, молча выступили въ походъ. Такой же, какъ и вчера, туманъ заволокъ дорогу; но этотъ туманъ не былъ предателемъ; напротивъ, онъ спасительно приврылъ экспедицію. Отойдя съ полмили, стали разговаривать.

— «Перестаньте болтать!» сказалъ Степанычъ.

— «Э, капитанъ, мы дорогу знаемъ. Тутъ королевское поле; кругомъ верстъ на пять никакого жилья; а тамъ ужъ какъ садъ пойдетъ, тамъ драбанты на часахъ кругомъ стоятъ: тамъ мы возьмемъ вправо и опять цѣликомъ пройдемъ до пушки; ну, того пикета теперь не боимся, лишь бы туманъ не разогнало...»

— «А далеко ли?»

— «Да отсюда будетъ нашихъ верстъ пять, больше шведской мили.»

— «Ну, такъ молчать же теперь! Смирно, ни гугу....»

Смолкли и шли скорымъ шагомъ. Когда порав-

нялись съ паркомъ несчастнаго зам
наши посланцы попались въ плѣнъ,
минуту остановился, мелькнула ка
мысль; но видно на другой бокъ
онъ махнулъ рукой, и войско пошл
добрый часъ; вдругъ передовые
руками стали показывать на неясн
панычъ, не безъ труда, различилъ
ку и часоваго; онъ выступилъ вп
саблю, и сталъ подкрадываться, ру
за нимъ слѣдовать. Войско не шло
какъ цапли; туманъ рѣдѣлъ; Степа
различить сторожку, а у пушки с
товъ; осмотрясь, сколько за туманом
Степанычъ закричалъ:

— «Съ нами Богъ, впередъ!»
часоваго. Часовой отъ перваго уда
ногъ, но успѣлъ однако же махн
провести кровавую полосу по лицу
торая хотя не составляла даже и р
испортила его благообразіе. Спя
на томъ свѣтѣ, но за то въ стор
шумъ.

— «Подопри двери!» сказалъ гро
«Скажи Шведамъ, кто по-ихнему у
кто выстрѣлитъ, то я зажгу стор
сгорятъ. Пусть сдаются; ружья
окно выбросятъ, тесаки или как
тоже...»

Шведы, видя, что они окружен
гораздо многочисленнѣйшимъ, со

увѣрены, что командиръ сдержитъ слово и сожжетъ ихъ на уголь: стали-было проситься на аккордъ, но когда и въ томъ имъ было отказано, сдались военнопленными.

— «Ну, ребята, раздѣньте Шведовъ, живыхъ и мертвыхъ; нужда велитъ.»

Раздѣли.

— «Сколько ихъ?»

— «Всѣхъ двадцать и одинъ офицеръ.»

— «Сколько убито?»

— «Пятеро.»

— «Ну, ребята! Кто получше шведскій языкъ знаетъ, отходи по правую руку. Сколько отошло?»

— «Да будетъ за сорокъ.»

— «Столько мнѣ не нужно. Кто помоложе, отходи. Всего мнѣ надо двадцать одного человѣка.»

Отошли.

— «Ну, теперь возьмите каждые три по одному Шведу, въ сторонку отведите, пусть пароль объявятъ, да такъ, чтобы другъ-дружки слышать не могли... Ну!»

— «Говоритъ, что пароль: Карлъ и Нарва.»

— «Видишь, что вспомнили. Ну, а другіе?..»

— «Карлъ и Нарва...»

— «Значитъ не врутъ. Ну, охотники, одѣвайся въ шведское платье, бери шведское ружье, становись на часы, окликай разъѣзды, а я завтра прійду за вами. Прощайте, ребята, Богъ васъ храни!»

— «Ради стараться, ваше высокоблагородіе!»

— «А мертвецовъ берите съ собою. А вы, что тутъ остаетесь, постарайтесь кровь затоптать, замять, чтобы Шведамъ въ догадку не было. Ну, теперь плѣнныхъ вяжи по-двое; платье старое убирай. Прощайте, товарищи! До свиданія! Долго ждать не будете! Въ походъ!»

Еще не разсвѣло порядочно, когда наша побѣдоносная армія наткнулась на русскій разъѣздъ. Драгуны не вѣрили, что видятъ Степаныча; подали ему лошадь, и онъ поскакалъ по знакомымъ уже дорогамъ. Подобно драгунамъ, и самъ генералъ-адмиралъ не вѣрилъ столь скорому и успѣшному возвращенію Степаныча. Обнялъ своего посла и усадилъ у походной своей постели. Пока Степанычъ разсказывалъ, встало солнце и освѣтило забавную процессію. Ницiе съ дубинами вели плѣнныхъ Шведовъ; другіе несли трупы.

— «Вотъ мое войско, ваше сіятельство!»

— «Бѣдняги! Дать имъ водки, платье, кто служилъ, да на мой счетъ по рублю денегъ; сотня нашего брата не разворитъ, а имъ подспорье.»

— «Сіятельнѣйшій графъ!..»

— «Что, любезный, говори, не мнись; что ты, министромъ сталъ, что ли? Руби, братъ, по нашему слонами какъ саблей, а то много времени утрачивается, пока нѣмецкій орѣшекъ раскусишь. Ну, сказывай!»

— «Видите, ваше сіятельство, мысль моя такая! Войско мое долго въ шведскомъ плану сидѣло; отъ строевой службы отвыкло; злобы у нихъ на Шведа больше чѣмъ у строевыхъ; къ тому же

шведскую рѣчь разумѣютъ, такъ, по-моему, дать имъ казачьи, али драгунскіе мундиры, да коней: такъ они такой промыселъ надъ Шведомъ чинить станутъ, какого и намъ не удастся. Лошадей шведскихъ съ добычи у меня у одного за тысячу будетъ, опричь тѣхъ, что́ я уже съ волами къ Ландсорту отослалъ... Лошади для такого промысла весьма годны, да и потому еще, что конницы у Шведовъ съ этой стороны совсѣмъ не вижу; развѣ съ другихъ мѣстъ подошлютъ. Такъ вотъ что́ я хотѣлъ вашему сіятельству рапортовать.»

— «Одобряю мысль твою. Ну, ребята, здравствуйте, давно не видались. Вотъ нынче какъ! Наши плѣнные безъ промѣна назадъ приходятъ. Молодцы! За то я вамъ и командира молодца дамъ; вы же, чай, къ нему въ одну ночь пріобыкли. А Шведовъ отдайте Левашеву, пусть ихъ одѣнетъ, чѣмъ можно и къ Ландсорту отошлетъ подъ военнымъ надзоромъ. Ну, съ Богомъ!»

Цѣлый день провозились на мѣстѣ; къ вечеру только отправились сильныя партіи по разнымъ дорогамъ, а Степанычъ съ новыми партизанами поскакалъ къ своему авангардному войску. Весь отрядъ былъ въ сборѣ; распредѣливъ партіи для разъѣздовъ по линіи, Степанычъ изъ старыхъ драгуновъ отобралъ осемь человѣкъ, да изъ новыхъ своихъ солдатъ четырехъ проводниковъ и съ этимъ крохотнымъ отрядомъ, дождавшись сумерекъ, потянулся лавирами къ тому мѣсту, гдѣ между Шведами онъ такъ удачно поставилъ русскій пикетъ. Поодаль отъ него ѣхало нѣсколько драгуновъ и

тридцать казаковъ съ запасными лошадьми и съ лафетнымъ передкомъ. Резервъ этотъ всегда былъ въ виду передоваго отряда. Къ особенному удовольствію, Степанычъ нашелъ весь пикетъ въ порядкѣ. Нѣсколько разъ въ тотъ день проѣхали шведскіе разъѣзды, но въ маломъ числѣ; не разспрашивали, не разъискивали и русскіе плѣнные уцѣлѣли.

— «Ну, спасибо, ребята! А какой вамъ пароль дали?»

— «Сначала дали-было: Карлъ и Рига...»

— «Да что́ они все старыя и чужія побѣды поминаютъ?»

— «А потомъ ужъ, послѣ зори, перемѣнили: видно, что́ ни есть вышло... Дали такой пароль: За королеву и отечество...»

— «Ну, такъ пойдемъ же мы за отечество и за Царя православнаго на трудный промыселъ. Кто дороги лучше знаетъ?»

— «А куда вашему благородію надо?..»

— «Да прямо къ королевскому за́мку, къ той сторонѣ, гдѣ сторожка на большой дорогѣ у сада стоитъ.»

— «Ваше благородіе! Тамъ драбанты.»

— «Знаю! Ихъ-то мнѣ и нужно. Что́, не бойсь, струсили?»

— «За мной!» сказалъ проводникъ, обиженный вопросомъ, и отрядъ поѣхалъ шагомъ; некованныя казацкія лошади шли какъ кошки, безъ шуму. Не смотря на то, чуткій драбантъ заслышалъ разъѣздъ и вызвалъ караулъ на подмостки...

— «Съ нами Богъ!» закричалъ Степанычъ и бросился впередъ; залпъ изъ ружей встрѣтилъ незваныхъ гостей; никого не убило, но нѣкоторые поплатились порядочными ранами. Степанычу пуля попала въ руку, но, не повредивъ кости, испортила контуръ руки ловкие локти и полетѣла дальше. Втораго залпа дать не успѣли; запасные казаки прискакали на выстрѣлъ; драбанты всѣ до единаго, безъ раны, были взяты, съ капраломъ и Трофимомъ, котораго нашли въ самомъ непріятномъ мѣстѣ сторожки, закованнаго въ кандалы. Если бы пришли нами однимъ днемъ позже, не нашли бы Трофима. За то, что отмалчивался при допросахъ, приказано было отправить его на другой день въ тюрьму и попытаться добыть изъ него языка посредствомъ допросительныхъ орудій. Не время тутъ было ни радоваться, ни объясняться; по всему замку подялась тревога, заходили фонари, окна освѣтились; на башняхъ вспыхнули огни; но послужили только въ пользу одному Степанычу. Онъ успѣлъ при свѣтѣ этихъ огней усадить плѣнныхъ драбантовъ на запасныхъ коней; но три казака конвоировали каждаго, и экспедиція понеслась рысью въ обратный путь; вдоль сада они удостоились еще трехъ, четырехъ салютовъ, и утонули въ туманѣ. Весь гарнизонъ, состоявшій изъ немалаго числа драбантовъ, и цѣлаго полка мушкетеровъ, высыпалъ на стѣны и приготовился къ защитѣ замка. При свѣтѣ четырехъ фонарей, насаженныхъ на высокія древка, генералиссимусъ обходилъ стѣны, съ подзорною трубою

въ рукахъ. Въ тревогѣ ему и въ умъ не пришло, что ночью и при такомъ туманѣ, это орудіе полководца не могло ему принести никакой пользы; но больше всего хлопотали на кочюшемъ дворѣ и въ покояхъ королевы. На первомъ закладывали придворные экипажи съ особенною поспѣшностью, хотя никто того не приказывалъ; а въ покояхъ королевы придворная женская прислуга бѣгала, суетилась и укладывала что подороже. Одна изъ усердныхъ хотѣла уложить порядочное зеркало въ золотой съ финифтью оправѣ въ свой карманчекъ, куда съ трудомъ входила ея пухленькая ручка. Въ безпорядкѣ и суматохѣ наиболѣе сохранила спокойствія сама королева, хотя и она въ сильномъ волненіи нѣсколько разъ выходила на балконъ; посылала освѣдомляться, гдѣ принцъ, съ которой стороны приближается русская армія и тому подобное. До утра всѣ были въ страхѣ и недоумѣніи; свѣтъ разсѣялъ сомнѣнія; съ бельведера была явственно видна вся цѣпь шведскихъ пикетовъ, ставки королевскихъ войскъ, и далече лагерь Русскихъ. Какъ-будто бы непріятеля не бывало. До восхожденія еще солнца, государственные чины и Остерманъ были вызваны въ замокъ. Открылось совѣщаніе подъ предсѣдательствомъ генералиссимуса. Пренія дошли до колкостей и ссоры. Партія благоразумныхъ настаивала, чтобы графъ Гилленборгъ объявилъ Остерману, что королева согласна возобновить трактацію на Аландѣ, но не прежде какъ Апраксинъ и Ласси сведутъ разрушительныя силы съ береговъ Швеціи; партія неумѣ-

ренныхъ требовала, чтобы особымъ манифестомъ сдѣлать воззваніе къ націи и просить ея помощи.

— «Нѣтъ никакого сомнѣнія,» говорилъ графъ Калленвикенъ: «что Шведы откликнутся на такой вызовъ; изъ глубины лѣсовъ, изъ-подъ земли возстанутъ полки, знакомые со всѣми трудами войны. Мы истребимъ дессанты, между тѣмъ подойдутъ флоты; нашъ сосѣдъ потеряетъ охоту ходить къ намъ въ гости...»

Болыне часа продолжались пренія; кончились только взаимнымъ неудовольствіемъ и обидами... Генералиссимусъ назначилъ второе засѣданіе въ Стокгольмѣ... И дворъ и сановники переѣхали въ столицу... Туда же опять перевезли и Остермана.

— «Ну, Тришка! Тамъ что-то у нихъ случилось такое, но я сидѣлъ въ пустой комнатѣ и не могъ ни съ кѣмъ и двухъ словъ перемолвить. Что же нашъ секретарь? Былъ ты у него?»

— «Былъ и отдалъ подарочекъ. Онъ читалъ письмо принца къ графу...»

— «Ну!»

— «Да что ну! Какая-то сорви-голова изъ нашихъ зачесалась подъ самый замокъ, сняла драбантскій караулъ и удрала. Лагери русскіе уже въ виду замка..»

— «Ужасно боюсь, чтобы эта ребяческая удача не послужила поводомъ къ новой консиліи, а консилія чтобы не соблазнилась возможностью взять Стокгольмъ... Съ этой стороны я еще не такъ боюсь. Тутъ есть опытный вождь и прозорливый политикъ; а если Лассію удастся разбить Шведовъ

дочиста, то ужъ онъ остановится не ближе, какъ у моей квартиры. Позови моего секретаря. На всякій случай надо изготовить имъ сильныя письма, чтобы, безъ резолюціи Государя, не шли далѣе, и чтобы остановились лагерями въ милѣ отъ Стокгольма.»

Пока Остерманъ изготовлялъ эти запасныя письма, политика Швеціи волновалась какъ море. Иностранные резиденты, особенно англійскій, французскій, ганноверскій и саксонскій, весь этотъ день прожили въ каретахъ. На третій день опять собрали совѣтъ; можно было предугадать, что будетъ на немъ постановлено; благоразумные не могли даже возвысить голоса. Громкія слова: честь націи, позоръ народа, безславіе принужденнаго мира, англійская армада, союзъ цѣлой Европы противъ Петра, нарушеніе равновѣсія державъ, и тому подобныя выраженія составляли всю сущность совѣщаній. Но эти, такъ сказать, политическія бравады были прерваны шумомъ и крикомъ народа, окружавшаго дворецъ; съ большимъ трудомъ драбанты могли освободить изъ рукъ толпы капитана, присланнаго отъ генераловъ, защищавшихъ столицу съ сѣвера. Чернь хотѣла участвовать въ политикѣ и знать, что тамъ дѣлаетъ этотъ тигръ Ласси, который каждую ночь на сѣверномъ небѣ зажигаетъ такія ужасныя сіянія, отъ которыхъ трепещутъ вся столица и окрестности. Не только чернь, совѣтъ вздрогнулъ, когда капитанъ исчислилъ всѣ потери, какія Ласси заставилъ Швецію потерпѣть. Разсказъ его былъ очень длиненъ, по-

тому что капитану угодно было показать совѣту отчетливость свою въ донесеніяхъ. Пять тысячъ дворовъ, множество амбаровъ, магазиновъ, мельницъ и судовъ было сожжено. Главныя утраты Швеція понесла въ лучшихъ своихъ желѣзныкъ заводахъ, которые Ласси раззорилъ до основанія; галеры свои нагрузилъ желѣзомъ, а болѣе осьмидесяти тысячъ шинъ бросилъ въ море; до десяти тысячъ воловъ забралъ и размѣстилъ по судамъ; сжегъ сорокъ миль одного лѣса, завѣтнаго и запретнаго, который считался перломъ въ коронѣ шведской... Между прочимъ, въ этомъ океанѣ разрушенія, погибла и увеселительная мыза Эргола, принадлежавшая графу Калленвикену, и какъ-только капитанъ заключилъ свое страшное донесеніе, генералъ Шикъ подвергся неумѣреннымъ порицаніямъ графа.

— «Теперь,» говорилъ онъ: «стыдъ Швеціи достигъ до своего зенита. Можно ли было подумать, мечтать даже, что господа генералы допустятъ этого звѣря до такихъ ужасовъ, когда у нихъ войска вдвое, нежели у Ласси!»

— «Ваше сіятельство,» прервалъ капитанъ: «генералъ Шикъ раненъ, у меня три раны; ни одинъ солдатъ не остался безъ клейма, которое свидѣтельствуетъ, что онъ защищалъ упорство Швеціи не языкомъ, а грудью...»

Капитанъ повернулся и ушелъ. Графъ пришелъ въ бѣшенство и требовалъ, чтобы капитанъ былъ преданъ суду; но генералиссимусъ замѣтилъ, что чувства капитана заслуживаютъ скорѣе похвалы,

тѣмъ охужденія, тѣмъ болѣе, что онъ никого не назвавъ, никого и оскорбить не могъ. Нѣкоторые приняли сторону графа; другіе защищали капитана; частный споръ заглушилъ политику; явная и сильная ссора прекратила и это засѣданіе... Приверженцы графа изъ совѣта отправились къ нему на домъ. Красивая, любимая мыза Эргола уже не существовала; графъ чуть не плакалъ съ досады; клялся, что онъ отмститъ Шику за то, что тотъ не отстоялъ его помѣстья, которое онъ любилъ почти столько же, какъ и наслѣдственный свой замокъ, отъ котораго носилъ самъ прозвище. Собесѣдники старались успокоить графа и собирались вкусно поужинать на развалинахъ Эргольі; но слуга вызвалъ графа.

— «Что тамъ? Не опять ли зовутъ на совѣтъ? Я объявилъ свое мнѣніе и не уступлю. Pereat mundus, а мира не должно быть.»

— «Ваше сіятельство...»

— «Иду, иду!.. Господа, извините! Ну, что тамъ?»

— «Старый Коксъ пріѣхалъ и сидитъ у васъ въ кабинетѣ.»

— «Коксъ! Онъ смѣлъ оставить Калленвикенъ въ такое опасное время!..» сказалъ съ запальчивостію графъ, входя въ кабинетъ.

— «Опасность миновалась, графъ! Отъ Калленвикена остался только одинъ Коксъ и эта шкатулка, въ которую я успѣлъ уложить фамильные клейноды...»

Графъ оцѣпенѣлъ и стоялъ въ дверяхъ какъ

мраморное изваяніе, которое рѣзвыя дѣти одѣли въ кафтанъ и парикъ. Онъ не могъ слова вымолвить. Замокъ, гордость всей фамиліи, замокъ, которому считали четыреста лѣтъ и всегда говорили, что онъ какъ старый холостякъ молодится, а ему куда больше годовъ, замокъ, который въ междоусобныхъ смутахъ съ почтеніемъ обходили войска разныхъ партій и этотъ почтенный замокъ — пропалъ, какъ барка съ сѣномъ; а фамильные портреты, а рѣзные столы и стулья, обои, люстры, картины, огромная библіотека! Все это стоило нѣсколько милліоновъ червонцевъ — и отъ всего осталась одна шкатулка и желто-волосый Коксъ, кастелланъ замка. Въ одинъ день и съ сѣвера и съ юга два острые ножа впились въ сердце вельможи, у котораго обѣды были краснорѣчивѣе самой необходимости и убѣждали гостей въ справедливости мнѣній хозяина. Иной утратитъ молодую супругу, другой любимаго роднаго или женщину — и предается отчаянію; о нѣтъ, графъ потерялъ жену и двухъ дочерей невѣстъ, но сохранилъ по крайней мѣрѣ наружно холодную важность... Но Эргола и фамильный замокъ, видно, были дороже всего для графа. Бѣшенству его не было предѣловъ: онъ схватилъ Кокса за манжеты, и хорошо, что они были полотняные; оборвались; онъ бы схватилъ за его волосы, если бы Коксъ не увернулся и не забѣжалъ за столъ.

— «Предатель!» кричалъ онъ: «ты продалъ замокъ Русскимъ...»

— «Не я! А твоя Англичанка, твоя проклятая красавица и — поплатилась за то не совсѣмъ, я думаю, пріятно...»

— «Какъ, что? Еще потеря? Миссъ Адда?..»

— «Изволила охотиться; русскій драгунскій капитанъ встрѣтилъ ее, поймалъ, сталъ съ нею любезничать, подарилъ ей волю, будто изъ рыцарскаго великодушія, а она пригласила его обѣдать...»

— «Ну, и что жъ?»

— «Стали обѣдать. Гость дразнилъ нашихъ молодечествомъ. Начальникъ твоихъ стрѣлковъ и другой твой любимецъ, что за пушкарями смотрѣлъ, не устояли въ этомъ бою, а Русскій будто ничего не пилъ, сѣлъ на лошадь и поѣхалъ какъ на тощакъ. Не прошло и получаса. Бѣлымъ днемъ набѣжало казаковъ и драгуновъ сотни двѣ не больше. Я сзываю стрѣлковъ, пушкарей. Куда! Глядя на своихъ принципаловъ, достали гдѣ-то всякихъ питей, нализались, такъ, что трезвыхъ оказалось только двое, я, да Миссъ Адда... Конечно, всѣ они бродили, да не ладно; никто не зналъ что кругомъ дѣлается; всего-то гарнизону было сто человѣкъ; налицо оказалось не больше тридцати. Не знаю какъ все это сталось; слышу, что отбиваютъ ворота; гляжу со стѣны, лѣзутъ по лѣстницамъ... Что мнѣ оставалось дѣлать? Я бросился въ ту комнату, гдѣ хранились фамильные клейноды; гляжу и не вѣрю глазамъ. Твоя Адда подбираетъ ключъ къ желѣзной двери...»

— «И ты тутъ же не убилъ ее?»

— «Она, завидя меня, убѣжала. Право не знаю какъ я успѣлъ нагрузить этотъ ящикъ, не понимаю какъ могъ я уйти черезъ западную калитку; я слышалъ ихъ грубые голоса, я видѣлъ какъ несли огонь и черные мѣшки, вѣроятно, несомнительно, съ порохомъ.»

— «Ну...»

— «Далече за паркомъ, въ чистомъ полѣ, по крайней мѣрѣ часа полтора послѣ того какъ я ушелъ изъ замка, раздался страшный ударъ, сильнѣе грому; земля застонала; я оглянулся: надъ бездной пламени летѣли цѣлыя башни... Палъ Калленвикенъ!..»

И графъ Калленвикенъ, подобно своему замку, палъ въ мягкія кресла; не отчаяніе, но малодушное уныніе растерзало гордую душу... Нѣсколько мгновеній онъ не могъ произнести ни одного слова: первая рѣчь его была:

— «Коксъ! Мы обѣднѣли! Мы нищіе!..»

— «Что вы это, графъ! Обрушился замокъ, а у васъ еще есть Эргола...»

— «Эргола!!»

— «И кромѣ Эрголы еще шесть замковъ. Да и это помѣстье при васъ; въ три года возобновимъ и построимъ еще лучше... Одного только боюсь. На пути мнѣ сказывали, будто Русскіе пошли дальше въ глубь Швеціи по дорогѣ въ нашъ Варъ-Кепингъ, гдѣ я спряталъ всю казну вашего сіятельства...»

— «Въ Варъ-Кепингъ! Коксъ! Туда надо идти пять дней...»

— «По крайней мѣрѣ...»

— «О, еще есть время... Вина!»

И графъ воротился въ залу, гдѣ нетерпѣливые гости уже распоряжались по своему и, ходя около накрытаго къ ужину стола, прохлаждались фруктами за неимѣніемъ ничего существеннѣйшаго.

— «Простите великодушно неисправнаго хозяина,» сказалъ графъ съ такимъ видомъ, какъ-будто его встрѣтила самая обыкновенная, ничтожная непріятность. Совершенно утаить своей досады и покрыть ее личиной равнодушія онъ не могъ; это было свыше силъ его: потери одна за другою были слишкомъ значительны: «Я получилъ самыя непріятныя извѣстія,» продолжалъ онъ: «но объ нихъ лучше разсуждать за столомъ. Мы послѣдуемъ примѣру нашего непріятеля. Я слышалъ, что за царскимъ столомъ никогда не бываетъ слугъ; говоря правду, эти болтуны иногда изъ пылинки построятъ замокъ...»

Отпустивъ слугъ, когда они принесли къ столу все что было нужно, графъ сказалъ тихо:

— «Господа! мы можемъ попасть въ непріятное положеніе. Хотятъ успокоить Швецію безъ насъ. Графъ Гилленборгъ тайно сносится съ Остерманомъ. Понимаете ли?.. Безъ насъ! Это уронитъ наше значеніе, надъ нами будутъ смѣяться, потому что теперь Шведы въ такомъ ужасѣ, что ни своихъ пользъ, ни силъ не чувствуютъ. Такъ ли,

иначе, аландскій конгрессъ возобновится, русскія войска уйдутъ, тогда еще будетъ время и конгрессъ прервать и приготовиться къ принятію гостей на тотъ годъ, а пока притворно согласимся!..»

— «Я давно такъ думалъ, но не хотѣлъ отставать отъ васъ, графъ!»

— «Совершенно мудрая мѣра и вполнѣ согласная съ обстоятельствами! Удивляюсь, какъ это мнѣ не пришло въ голову...»

— «Это мѣра самой тонкой, прозорливой политики...»

Словомъ, всѣ къ концу ужина прославили до небесъ мудрость графа; на другой день въ совѣтѣ, послѣ слабаго сопротивленія, почти всѣ согласились возобновить аландскій конгрессъ. Ни графъ Гилленборгъ, ни его сѣкретарь, не могли понять причины столь неожиданнаго оборота дѣла. Одинъ только Остерманъ почесывался и по временамъ бормоталъ сквозь зубы:

— «Этотъ капиташка долженъ быть человѣкъ характерный! Бьюсь объ закладъ, что знаменитаго замка не стало... Вотъ видишь, Тришка! Не даромъ сегодня ты нашелъ въ моей спальнѣ паука...»

— «Ты, головой хвастаешь, а вѣришь букамъ...»

— «Ну, помяни мое слово, что мы скоро увидимъ и Якова Виллимовича (Брюса) и господина новаго министра...»

— «Это ты такъ Ягушинскаго величаешь?..»

— «Паукъ — добрый знакъ, тараканъ — дурной вѣстникъ...»

— «На пожаръ...»

— «И на всякое дѣло. Ну, да вотъ кто-то и пріѣхалъ...»

И паукъ не обманулъ Остермана. Его звали къ королевѣ. Съ почетомъ встрѣтили во дворцѣ, надавали писемъ, наговорили цѣлый коробъ пріятныхъ словъ; вотъ, вотъ, не сегодня, такъ завтра графъ Гилленборгъ отъѣдетъ на Аландъ, да и не одинъ; съ нимъ еще генералъ-маіоръ Кётъ. Только-что лошадей не запрягаютъ; но при этомъ, случаѣ не упустили попросить, чтобы и генералъ-адмиралъ и Ласси дали свободно вздохнуть Швеціи.

— «Паукъ совралъ,» съ досадою сказалъ Остерманъ, входя въ свой кабинетъ и бросая на столъ шляпу. «Это однѣ проторги, а мира не хотятъ... Да нечего дѣлать, надо связать руки и графу Ѳедору Матвѣевичу и Лассію.»

Два письма были написаны, запечатаны и отправлены къ графу Гилленборгу, менѣе чѣмъ въ десять минутъ. Отъ графа эти письма разбѣжались одно на сѣверъ, другое на югъ — и низошла первая ночь безъ зарева... Русскія войска отступили; Ласси сѣлъ на галеры и легъ у береговъ Швеціи, а генералъ-адмиралъ сосредоточилъ всю свою армію у Ландсорта и расположился станомъ. Прошло нѣсколько дней. Пришла русская шнява, привезла Апраксину отъ Царя указъ, и на шведскомъ берегу не осталось ни одного русскаго

воина. Въ Стокгольмѣ не радовались этому благополучному событію: раны были слишкомъ глубоки; но ихъ не думали лечить. Не успѣли провѣдать, что Русскіе вышли изъ шеръ, какъ съ новою силою возстали противники мира съ Россіей; въ особенности Калленвикенъ, который успѣлъ узнать, что миссъ Адда нашла время похитить немалое число драгоцѣнностей, которыя не были спрятаны въ кладовой, и на русской галерѣ поѣхала искать счастія у непріятелей своего благодѣтеля. Не подумайте, чтобы миссъ Адда поступила такимъ образомъ изъ любви къ Степанычу или что нибудь подобное въ романическомъ родѣ. Совсѣмъ нѣтъ; миссъ Адда была компаніонка у меньшой дочери графа. Дочь вышла замужъ, компаніонка хотѣла ей сдѣлать компанію и также выйти замужъ, ни больше, ни меньше, какъ за самого графа. Ему проэктъ этотъ не нравился, но за то компаніонка весьма нравилась, почему онъ, впередь до усмотрѣнія, и оставилъ ее въ своемъ варварскомъ замкѣ, окруживъ стариками и преданными аргусами. Компаніонка усмотрѣла свое положеніе, которое ей очень не понравилось, и на охотѣ, поговоривъ со Степанычемъ на нѣмецкомъ языкѣ, выразумѣла, что въ новой землѣ, какова Россія, она гораздо скорѣе найдетъ себѣ хорошаго компаніона. Степанычъ сдержалъ слово; сталъ, отъ скуки, ея рыцаремъ; защищалъ отъ непогоды и военныхъ обычаевъ и доставилъ благополучно въ Гельсингфорсъ, куда часть галеръ съ десантнымъ войскомъ благополучно возврати-

лись. Нѣсколько человѣкъ плѣнныхъ Шведовъ при постановленіи перемирія были отпущены на волю и въ Стокгольмѣ громко разсказывали исторію компаніонки. Миссъ Адда и селадонъ ея сдѣлались предметами разговоровъ во всѣхъ гостиныхъ. Графъ бѣсился и разногласіе между государственными чинами возобновилось... Но миссъ Адда скоро была забыта. Весь флотъ по указу Царя появился противъ Стокгольма. Русскіе офицеры, подъ начальствомъ шаутбенахта Змаевича, спокойно вымѣривали фарватеръ и описывали будущій путь кораблямъ русскимъ прямо въ столицу Швеціи. Инженеры на лодкахъ будто рыбу удили въ виду Шведовъ... Миновала разрушительная гроза, но тучи не расходились!

—

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

ДЕКЛАРАЦІЯ

Въ глубокомъ углу Финскаго залива необъяснимая сила разбросала по дну моря огромныя плѣшивыя гранитныя скалы; съ береговъ финляндскихъ растительныя семяна, какъ изгнанники, перебрались на эти безчисленные острова и, какъ пустынники, поселились между разсѣлинъ допотопныхъ камней, и въ столѣтія не размножились; новое семя могло только на могилѣ родившаго злака произрасти и прозябнуть, и не размножаясь уступало свое мѣсто только одному зерну. Тутъ, будто въ царствѣ флоры маіоратъ заведенъ; нагія темена скалъ не покрываются и мхомъ; а деревья

даже въ ущельяхъ и долинкахъ между однородными могутъ почитаться карликами. Между этихъ скалъ, на глубокомъ и защищенномъ отъ всѣхъ опасныхъ ветровъ заливѣ, теперь стоитъ сѣверный товарищъ Гибралтара, неприступный Свеаборгъ, земноводный богатырь; но тогда на свеаборгскомъ камнѣ и за нимъ на полуостровѣ, загроможденномъ такими же гранитными скалами, лѣпились селенія рыбаковъ и охотниковъ. Эти бѣдныя слободы — назывались Гельсингфорсомъ, городомъ, и еще главнымъ въ окрестной области. Война придала много жизни этому дикому углу; въ его многочисленныхъ и безопасныхъ заливахъ чинили лодки, галеры и даже корабли; сюда заходили на стоянку эскадры; по островамъ чернѣли сильныя баттареи, разставленныя давно уже генералъ-адмираломъ и охранявшія безопасное между ними плаваніе русскихъ судовъ. По справедливости, первую мысль о Свеаборгѣ или о укрѣпленіи этого угла Финляндіи должно приписать Петру, а ея исполненіе — Апраксину. Не могу, да и не возможно сомнѣваться, что главная апраксинская баттарея стояла на той скалѣ, гдѣ нынѣ Свеаборгъ. Сюда-то, въ этотъ городъ-деревню пришли галеры, съ десантнымъ войскомъ, въ составѣ котораго находилась и миссъ Адда. Она чрезвычайно восхищалась архипелагомъ, который начинается отъ Аландскихъ ѣстрововъ и продолжается до самаго Гельсингфорса; она ожидала за этими скалами, которыя будто охраняли что нибудь великолѣпное, удивительное, встрѣтить второй Стокгольмъ, но нашла рыбачьи

слободы и не могла удержаться отъ слезъ. Но на берегу утѣшилась, потому что тутъ стоялъ на квартирахъ гвардіи преображенскій полкъ, въ которомъ многіе солдаты были богаче графа Каленвикена и сами были родовыми князьями древнихъ фамилій. Дессантное войско, вмѣстѣ съ миссъ Аддой, поступило подъ главное начальство покорителя всей Финляндіи, князя Голицына, а волонтеры, въ томъ числѣ и Степанычъ, должны были воротиться къ своимъ полкамъ. Сверхъ того, Степанычу предлежало вручить князю-кесарю подробнѣйшее донесеніе обо всѣхъ военныхъ дѣйствіяхъ въ Швеціи. Небольшая шнява забрала всѣхъ петербургскихъ пассажировъ и шерами отправилась въ новорожденную столицу. Степанычъ былъ въ восхищеніи отъ южныхъ береговъ Великаго Княжества Финляндскаго, и ужасно досадовалъ на миролюбивые виды, которые не только помѣшали взять Стокгольмъ, но обѣщали Шведамъ отдать и Финляндію, если только они согласятся на трактатъ немедленно.

«Ну, да вздоръ!» такъ утѣшалъ себя Степанычъ, стоя на ютѣ: «не сегодня, такъ завтра эта земля будетъ наша; безъ нея намъ быть нельзя. Что́ за кутерьма будетъ, если съ одного берега русскія пушки, а съ другаго шведскія играть станутъ! Это, видно, такъ только уступаютъ на время...»

Ближе, ближе, и Степанычъ пересталъ думать о политикѣ. На кронштадтскомъ рейдѣ Ольга Петровна вступила въ права свои... Нетерпѣніе его

возрасло до того, что онъ не могъ дождаться, пока шнява изготовится въ дальнѣйшій путь; досталъ себѣ катеръ и пустился въ Петербургъ. Проходя мимо знакомыхъ строеній, онъ вдругъ ни съ того ни съ сего упалъ духомъ; неиспытанное уныніе стѣснило сердце; казалось, что глаза его отуманились, воображеніе изсякло; онъ ничего не думалъ, ничего не видѣлъ. Бываютъ такія странныя мгновенія, которыхъ объяснять не трудитесь Вотъ миновалъ онъ и Новую Голландію, и Морскія Слободы, вотъ и его домъ; совсѣмъ готово хитрое произведеніе Земцова. Вотъ окна отдѣленія, въ которомъ будетъ жить Ольга Петровна; вотъ и балконъ, съ котораго она будетъ глядѣть на маневры невскаго флота; но кто это на балконѣ?.. Дама... нѣсколько мужчинъ... Вѣрно, у Жатаго гости; можетъ быть, родные утѣшаютъ Евгенія въ томъ, что болѣзнь не допустила и его пожать лавры на берегахъ Швеціи... О, какъ бы Степанычу хотѣлось зайти къ другу, хоть на одно мгновеніе, да ба! Первый визитъ — въ сенатъ, первое лице, съ которымъ онъ могъ говорить — князь-кесарь; выйти за берегъ указано у троицкой пристани, и Степанычъ вышелъ, и повернулъ къ сенатскимъ мазанкамъ. Господа сенатъ еще не разъѣхались: онъ вступилъ въ присутствіе, учинилъ реппектъ — и подойдя къ предсѣдателю, князю-кесарю Ивану Ѳедоровичу Ромодановскому, почтительно подалъ письмо генералъ-адмирала. Немного засѣдало въ сенатѣ; нѣкоторые изъ членовъ не имѣли еще и званія сенаторскаго,

ню засѣдали по государственной важности дѣйствительныхъ должностей. Самъ Меншиковъ не имѣлъ сенаторскаго достоинства и сидѣлъ ниже Михайлы Самарина, потому что послѣдній былъ сенаторомъ Кромѣ исчисленныхъ, тутъ же засѣдали канцлеръ съ подканцлеромъ, графъ Мусинъ-Пушкинъ, князь Яковъ Долгоруковъ, Стрѣшневъ, графъ Петръ Апраксинъ, князь Димитрій и Петръ Голицыны, Вейде, Бутурлинъ, графъ Матвѣевъ, и бояринъ Салтыковъ. Этотъ небольшой соборъ достойныхъ сановниковъ, теперь уже священныхъ для исторіи, возбуждалъ невольное благоговѣніе въ каждомъ, кто сколько-нибудь любилъ, умѣлъ любить отечество. Біографія почти каждаго изъ нихъ была поэмой, исполненной важныхъ, нерѣдко великихъ подвиговъ; страсти и тутъ, конечно, имѣли свое мѣсто, но какая же и поэма безъ страстей? Я, по крайней мѣрѣ, не люблю идиллій, а не люблю потому, что не понимаю этой рыбьей поэзіи. Не сомнительно, наименѣе заслугъ въ этомъ соборѣ имѣлъ предсѣдатель. Князь Иванъ Ѳедоровичъ, еще при жизни отца своего, знаменитаго неподкупностію и правдолюбіемъ князя Ѳедора Юрьевича, носилъ титулъ государя-цесаревича и великаго князя. По смерти вѣрнаго слуги и наставника царскаго, князь Иванъ возведенъ въ достоинство князь-кесаря. Государь торжественно встрѣтилъ его величество, писалъ къ нему *Sire*, *ваше величество*; точно такъ же, какъ и къ отцу его, не въѣзжалъ на дворъ, а оставлялъ у воротъ свою одноко́лку; въ каретѣ сидѣлъ напереди, противъ князя; сло-

вомъ, отдавалъ Ромодановскому всѣ почести кесарскаго маестата, но при всемъ томъ князь не имѣлъ еще другаго титула кромѣ ближняго стольника, и на дѣла никакого особеннаго вліянія. Объяснять тайную мысль Петра объ этомъ учрежденіи — дѣло исторіи Петра Великаго, а не частной исторіи дома нашихъ Костыльковыхъ. Замѣчу только, что князь-кесарь имѣлъ власть жаловать чинами, всегда однако же по засвидѣтельствованію непосредственныхъ начальниковъ, такъ, что и въ этомъ отношеніи былъ болѣе исполнительнымъ, чѣмъ самостоятельнымъ лицемъ. Онъ приказалъ оберъ-секретарю прочесть вслухъ донесеніе генералъ-адмирала, причемъ Степанычъ не присутствовалъ. Его позвали уже по окончаніи чтенія.

— «За похвальные труды твои,» сказалъ кесарь: «не только достоинъ еси пожалованной господиномъ генералъ-адмираломъ ранги, но и вящшаго аванса, чего ради объявляю тебѣ чинъ капитана отъ гвардіи лейбъ-регимента. Служи какъ служилъ. За нашей милостью къ такимъ радивымъ и усердствующимъ дѣло не станетъ...»

Степанычъ поцѣловалъ руку кесаря и хотѣлъ уже выйти.

— «Послушай, молодецъ!» сказалъ Меншиковъ: «не забывай и насъ!»

— «Вашей свѣтлости я всѣмъ обязанъ; а безъ того и понынѣ сидѣлъ бы въ солдатахъ...»

— «Наше правило возвышать достойныхъ и способныхъ, чтобы они скорѣе къ бо́льшему и бо́льшему командованію приходили, а тѣмъ и поль-

за отечеству больше приносили. Немногимъ изъ насъ такой скорый путь къ повышенію на часть достался. Гляди! Умѣй беречь счастье.»

Степанычъ только кланялся; наконецъ откланялся и, натурально, прежде всего пошелъ, побѣжалъ, полетѣлъ къ княгинѣ; почти безъ доклада вошелъ онъ въ гостиную и перепугалъ и княгиню и невѣсту и еще кого-то. Кого же это? Погодите! Это моя тайна. Я думаю, вамъ уже такъ надоѣли новыя лица, что вы уже не на-шутку на меня сердитесь. Но вспомните, еще разъ осмѣлюсь доложить вамъ, что исторія Костыльковыхъ не романъ, а исторія. Что на заглавіи стоитъ: «Романъ», то этому прошу не вѣрить. Это если и не опечатка, и выставлено съ моего согласія и вѣдома, но все-таки прошу не вѣрить. Это уловка противъ анти-историческаго вкуса, уловка самая невинная. Можно бы каждую страницу этого романа испестрить историческими ссылками и указаніями и доказать подлинную историчность всѣхъ подробностей, изъ которыхъ составилась моя глубочная картинная галерея незабвеннаго времени. Признаюсь, я жалѣю, что событія описанныя и тѣ, что будутъ впредь описаны, случились въ 1718—1723 годахъ. Но что же дѣлать! Я не могъ нарушить хронологіи, въ твердомъ убѣжденіи, что и прочіе года въ полномъ моемъ распоряженіи, если только физическія силы будутъ соотвѣтствовать труду и усердію. Но вы такъ же не любите отступленій, какъ и новыхъ лицъ, почему я, не извиняясь, бѣгу скорѣе въ домъ княгини,

гдѣ первое впечатлѣніе нечаянности еще не миновалось. Княгиня плюнула и сказала:

— «Тьфу ты, взбалмочной какой! Не могъ ты, батюшка, полюдски пожаловать? Право, подумала что слонъ съ почтоваго двора сорвался и въ хоромы ввалился. Ну, здравствуй, драгунъ; что, тебя нигдѣ не убили?»

— «Я, матушка-княгиня, уже не драгунъ.»

— «А что же, не бойсь, въ отставку пошелъ, надоѣло? .»

— «Нѣтъ, я въ лейбъ-региментѣ...»

— «Вотъ это похвально. Чай, чинишкомъ скоро повысятъ?..»

— «Уже повысили...»

— «Ой ли! Чай теперь лейтенантъ?»

— «Подымайте выше...»

— «Ого! Неужели въ капитаны-лейтенанты пожаловали...»

— «Подымайте выше...»

— «Дуракъ ты, батюшка, самъ, когда вздумалъ меня, старуху, дурачить.»

— «Я не шучу, матушка-княгиня. Военное время не то, что мирныя-тандъ. На войнѣ время въ мѣсяцъ годы проходитъ Не по заслугамъ наградили, да я старшимъ не указъ и князь-кесарь вотъ сейчасъ въ сенатѣ изволилъ меня капитаномъ поздравить...»

— «Поздравляю, батюшка Иванъ Степанычъ! Поздравляю, дорогой племянничекъ! Дай себя облобызать! Оля, что же ты стоишь, будто деревянная; не рада, что ли, жениху?...»

— «Жениху!!» воскликнули и Степанычъ и Оля. До сихъ поръ при постороннихъ, да и при самой княгинѣ, они не смѣли называть другъ дружку этими нѣжными именами, въ которыхъ болѣе очарованія, прелести, чѣмъ въ солидныхъ и важныхъ именахъ жены и мужа... Къ тому же, у этихъ именъ есть еще и привиллегіи, такія сладостныя... Можно безъ стыда и при людяхъ поцѣловаться, и они не пропустили сей вѣрной оккаіи; обнялись и чмокнулись, да такъ звонко, что у княгини, а пуще у гостей, въ ушахъ зазвенѣло. Гости были: старый женихъ той же Оленьки, неотвязный князь, да новое лице, о которомъ упомянуто мелькомъ. Князь надѣялся, въ отсутствіе Степаныча, восторжествовать надъ сердцемъ Оленьки. Старуха приняла опять его сторону; Оля смѣялась надъ ихъ маневрами, водила и тетку и князя за носъ и находила въ этомъ столько же удовольствія, сколько теперь находятъ забавы въ гранднасіансѣ, то есть, болѣзную скуку убиваютъ скукой поменьше... Наканунѣ этого счастливаго дня, Оля черезчуръ была нѣжна съ глупымъ селадономъ; вскружила ему голову дотого, что онъ не спалъ всю ночь, поутру не завтракалъ, не гладилъ своихъ собакъ, не думалъ о дочери госпожи Гопъ, словомъ, былъ по формѣ влюбленъ, пріѣхалъ съ твердымъ намѣреніемъ наклеить носъ Степанычу и отнять у него невѣсту — и вотъ первый и единственный союзникъ — княгиня, измѣнила! Оставалось взять шляпу и уѣхать. Онъ, при всей извѣстной обширности

ума, точно такъ и сдѣлалъ; даже не простился. Но Оленька, злая Оленька! она не могла отпустить его безъ комплимента.

«Куда же это вы, князь?» сказала она. «Вотъ, мой другъ, ты долженъ поблагодарить князя. Въ разлукѣ съ тобою я только и находила утѣшеніе, что въ его бесѣдѣ...»

— «О!» прорычалъ князь и уѣхалъ.

Новое лицо также нашло приличнымъ оставить наединѣ жениха и невѣсту, и со вздохомъ уѣхало.

— «Ну, слава тебѣ Господи!» сказала княгиня: «отчалили! Такъ и думала, что князь сцѣпится со мною. Я ужъ ему, знаете, и комплиментъ готовила. Богъ миловалъ! Батюшка, Иванъ Степанычъ, да что же это въ самомъ дѣлѣ? Ужъ если своимъ церемонію наблюдать, такъ жить не стоитъ... Вотъ сюда, поближе ко мнѣ. Садись, разсказывай! Вотъ, я думаю, чудесъ надѣлали! Мы тутъ гуртомъ только слыхали, будто всю Швецію забрали, что въ тамошней столицѣ генералъ-губернатора своего поставили; одни говорятъ Левашева, другіе Сенявина. Кого же батюшка?»

— «Пока никого, а могли, матушка-княгиня, всю землю свейскую къ рижской губерніи приписать; да министерія наша, что на Аландѣ, отговорила...»

— «Подкуплены! Не я буду, подкуплены! Говорятъ, за тѣмъ и аглецкіе корабли пришли, чтобы ихъ подкупить. Вотъ оно такъ и вышло. А государь-то что?»

— «О, матушка-княгиня! Не могу безъ слезъ даже подумать объ отцѣ нашемъ. Когда мы Швецію разворяли, онъ работалъ впрокъ, чтобы шаги ваши и на будущее время безопасными учинить. Все море около Ламеланда осмотрѣлъ своею персоною, всѣ мѣли своею рукою описалъ, гавань тамошнюю укрѣпилъ и за Россіей закрѣпилъ. Если бы Шведы и оперлись, то нелегко имъ будетъ свое у насъ отымать. Видѣлъ я ламеландскую баттарею: не хуже гельсингфорскихъ и кронштадтскихъ...»

— «Тамъ-то, я думаю, пушекъ?»

— «Пропасть, и все шведскія: съ добычи Его Величеству наши галеры натаскали будто дровъ. И все то Государь между дѣломъ производилъ въ дѣйство; а самое рабочее время, какъ и всегда, государства управленіемъ занимался.»

— «На островахъ! Чай, неспособно и далече...»

— «Эхъ! Я вамъ доложу, что море Балтицкое за нашимъ невскимъ рукавомъ, такъ широго расходится, что ни съ одной стороны земли не видно.»

— «Что ты это, батюшка! Неужто и этакія страны есть!..»

— «Да ужъ я вамъ говорю. Шли мы туда, лодки не встрѣтили; а назадъ ѣхали, будто изъ кораблей по морю деревни построили. Куда не глянешь, тамъ вѣтрило, тамъ два, тамъ и больше... Вездѣ, во всѣхъ сторонахъ... И все русскіе корабли. Аглечане такъ у входа въ Балтицкое Море и остались; мы ихъ и не видали... Одинъ фрегатъ затесался какъ-то: видно, бурей занесло;

а другой, голландскій флейтъ, также заплутался. Голыми руками взяли и къ Царю на Ламеландъ поставили. Пусть на чужихъ водахъ не разгуливаютъ.»

— «И по-дѣлóмъ... Ну, разсказывай, ты же что́? Королеву свейскую видѣлъ? Говорятъ, красавица...»

— «Драбанты, тетушка-княгиня, не допустили. Я разсердился и всѣхъ тѣхъ драбантовъ въ полонъ взялъ.»

— «Что́ ты врешь?»

— «А вотъ сами въ Курантахъ прочтете.»

— «Да что́ я, подъячій что́ ли? Стану я Куранты твои читать!.. Ну, а жить въ той землѣ дешево?..»

— «Просто, даромъ...»

— «Почемъ говядина?..»

— «Не знаю навѣрное, потому что у меня свои волы были.»

— «Вотъ люблю. И видно, что хозяинъ. А много ли?»

— «Да всѣхъ-то у меня перебывало штукъ, чтобы не соврать, по малой мѣрѣ тысячъ шесть...»

— «Да перестань! Видно, горбатаго могила исправитъ. Не забудь: ты уже капитанъ отъ гвардіи, такъ этакую гиль нести не призвóйто (непристойно).»

— «Не гиль, а правду. Это наше передовое войско у Шведовъ скота столько отогнало.»

— «Вотъ оно что́... А живутъ, чай, весело!»

— «Очень. Цѣлый день барабаны бьютъ; изъ пушекъ палятъ; что́ ночь, люминація...»

— «Да изъ чего это?»

— «Изъ городовъ, селъ, деревень, изъ всякаго жилья, изо всего, что́ горѣть можетъ. Желѣзо, матушка-княгиня, такъ и то, котораго взять нельзя было, и то горѣло...»

— «Видно, у нихъ желѣзо ужъ такое.»

— «Видно, что такъ.»

— «Ну, а одѣваются Шведки хорошо?»

— «Мы ихъ больше все въ сильномъ платьи видали.»

— «Та́къ и гостей принимаютъ?»

— «Что́ будешь дѣлать, когда гости или слишкомъ поздно пріѣдутъ, или черезчуръ рано, да изъ постелей и выгонятъ...»

— «Ахти, Господи, какія безстыдницы!.. Это оттого, батюшка, что жениховъ всѣхъ перебили, такъ за нашихъ хотятъ...»

— «Нѣтъ, по́просту, отъ нашего оружія бѣгутъ...»

— «Вотъ оно что́! Ты все про войну огородъ городишь, а я не про то спрашиваю... А на войнѣ, пожалуй, и голышемъ побѣжишь...»

— «Случалось.»

— «Да ты бы не разсказывалъ...»

— «А вы бы не спрашивали.»

— «Ну, а объ Оленькѣ ты думалъ... А?.. Постой же, мой ненаглядной... Ужъ мнѣ теперь Оля по хозяйству не помощница, пойду, погляжу нѣтъ ли дома Палашки. Пусть велитъ тебѣ обѣдъ изготовить.. Мы уже отъѣли...»

— «Не извольте безпокоиться.»

— «Нѣтъ, голубчикъ! Съ похода къ невѣстѣ пріѣхалъ, да отъ хлѣба соли бѣгаетъ .. Видишь, что́ выдумалъ! Изъ свейской земли обычай привезъ. Эй, Палашка!»

И Степанычъ принужденъ былъ обѣдать одинъ, хотя княгиня и Оленька тоже за столомъ съ нимъ сидѣли. Степанычъ, какъ ни хотѣлъ ѣсть, но когда сытые въ глаза глядятъ, да вопросами забрасываютъ, какая тутъ ѣда? Степанычъ путался, мѣшался, просыпалъ соль; княгиня пока́чала головою. Послѣ обѣда бесѣда продолжалась до́-поздна. Велѣла хозяйка свѣчи зажечь. Сонный слуга принесъ свѣчку, зажегъ двѣ, что стояли предъ княгиней, да и свою съ просонковъ тутъ же оставилъ...

— «Господи помилуй!» воскликнула княгиня: «три свѣчи! Не быть добру.»

Счастливцы не вѣрятъ бѣдѣ; Оленька и Степанычъ смѣялись. Но всему на свѣтѣ бываетъ конецъ. Наступилъ часъ разлуки. Нѣжно обнялись они; простились. Посереди комнаты еще разъ поцѣловались. Въ дверяхъ еще остановила Оленька дорогаго жениха для послѣдняго прощанья.»

— «Черезъ порогъ!» закричала княгиня. Оленька отскочила; Степанычъ ушелъ. Стоя въ богатой лодкѣ княгини, подъ нарядным̀ъ балдахином̀ъ, онъ долго еще не могъ отвезти глазъ съ низкимъ хоро́мъ, гдѣ обитала душа души его. Но вотъ лодка повернула мимо священнаго домика; въ окнахъ было темно; да и во всѣхъ хоромахъ боярскихъ почти нигдѣ не было огней... Петербургъ спалъ

какъ-будто провинція, въ которой началась наша исторія... На Васильевскомъ тѣ же и темнота и тишина... Только въ одномъ окнѣ былъ свѣтъ. Не смотря на темную августовскую ночь, Степанычъ узналъ, что свѣтъ въ его домѣ, внизу, въ тѣхъ покояхъ, которыя назначались для пріѣзжихъ.

«Странно!» подумалъ Степанычъ: «еще и хозяинъ не переѣхалъ, а у него уже гости... Кто бы это?»

Въ это самое время лодка повернула въ домашнюю гавань тріумвирскаго дома. На дворѣ никого; на крыльцѣ тоже; двери всѣ отперты. Степанычъ очень хорошо зналъ расположеніе своего дома; который онъ оставилъ выведеннымъ чуть не подъ крышу... Пошелъ онъ изъ комнаты въ комнату; пусто; въ предпослѣдней онъ остановился: двери въ спальню были отперты. На красивомъ, модномъ того времени дубовомъ столѣ, стояла свѣча и больно нагорѣла; у этой свѣчи сидѣла женщина, облокотясь на руку, такъ, что лица не было видно. Степанычъ не зналъ какъ поступить ему: идти дальше? Не ловко. Уйти, отыскать кого-нибудь, разспросить?.. Но кого? Можетъ быть, у Жатаго больше порядка; онъ рѣшился, и хотя сталъ ретироваться какъ можно тише, но женщина заслышала шорохъ, и не поднимая головы, спросила:

— «Ты, Иванъ, что́ ли?»

— «Иванъ-то я Иванъ; да не знаю того ли вамъ надо?..»

— «Боже мой, кто тутъ?.. Сидоръ, Сидоръ!»

Женщина подняла голову. Степанычъ, не безъ ужаса узналъ когда-то нѣжно любимую Груню, хотя прекрасное лице ея было обезображено и слезами, и горемъ и послѣднимъ испугомъ...

— «Всемогущій! Неужели это она?..

— «Боже праведный! Это онъ!»

И Груня со свѣчею въ рукахъ остановилась передъ Степанычемъ... Я люблю разсказывать всякія исторіи; но лучше когда онѣ не заключаютъ въ себѣ такихъ страстей, такихъ движеній сердца, которыя безъ душевной боли, безъ стѣсненія въ груди, безъ волненія въ крови нельзя самому перечувствовать. Право, и у меня занялось дыханіе, когда она остановилась передъ Степанычемъ, узнала его и, — цѣлый адъ прошедшаго запылалъ своимъ нестерпимымъ пламенемъ во всемъ существѣ ея. Какъ угодно разсуждайте; а ужъ если кого любилъ разъ въ жизни, то прійдутъ минуты, и эта любовь, несмотря на промежутки ненависти и даже мести, откликнется со всею бывалою живостію. Особенно эти вспышки сильны при нечаянныхъ, неожиданныхъ встрѣчахъ. — Степанычъ, безъ душевнаго сокрушенія, не могъ смотрѣть на Груню. Эта роскошная женщина, такъ недавно съ нерваго взгляда приводившая въ восхищеніе, исхудала, и высокій ростъ придавалъ странный видъ ея худобѣ. На миловидномъ, небольшомъ личикѣ ея болѣзненнымъ свѣтомъ блистали сѣрые глаза, изъ глубокихъ ямъ, куда вдавило ихъ горе. Слезы по этому лицу прорыли пути рѣзкіе. Всѣ чер-

ты, такъ сказать, обнажились; ямочки на пухленькихъ щечкахъ, которыя когда-то вмѣщали въ себѣ такъ много игривой прелести, сгладились; пальцы, которые прежде при всей значительной величинѣ свидѣтельствовали только о дородствѣ Груни, теперь какъ будто принадлежали скелету какого-нибудь гренадера. — А давно ли нашъ Степанычъ любовался этою объемистою рукою, потому что въ тѣ времена маленькія ручки не считались одною изъ важныхъ статей красоты женщины. Напротивъ, у которыхъ руки были малы, тѣхъ называли Китаянками и къ домашнему хозяйству почитали неспособными... Давно ли это привидѣніе не пугало, а приводило въ восторгъ Степаныча? Конечно, недавно. Не прошло еще и года, съ тѣхъ поръ, какъ они познакомились... Не прошло и десяти мѣсяцевъ съ того печальнаго или блаженнаго дня (какъ хотите), какъ Чевушкинъ со всѣмъ семействомъ ходилъ на имянины къ своему дьяку... Степанычъ испугался воспоминаній; тайный, но язвительный упрекъ укололъ его совѣсть; онъ не могъ, не умѣлъ сказать слова, но зато Груня не долго оставалась въ бездѣйствіи.

— «Злодѣй нашъ?» сказала она: «ступай, погляди, кого ты гонишь!»

И Груня повела за руку Степаныча въ другую комнату, гдѣ на двухъ стульяхъ, на большой подушкѣ, покоился сномъ сладкимъ мѣсячный ребенокъ... Степанычъ вздрогнулъ...

— «Помилосердуй хоть надъ нимъ!» проговорила съ трудомъ Груня, и зарыдала.

— «Боже мой, Боже! Началась казнь моя!» сказалъ Степанычъ, преклоняя колѣно передъ нѣмымъ и спящимъ свидѣтелемъ поздняго раскаянія. «Груня, Груня! Не обвиняй меня! Ты погубила этого несчастнаго ребенка, твоя неосторожность спасла тебя отъ немилаго мужа, меня отъ жены, которая уже въ невѣстахъ замышляла измѣнить супругу; я слышалъ до послѣдняго слова твой разговоръ съ Вѣрочкой...»

Груня ничего не отвѣчала; это обвиненіе было совершенно неожиданно; оно возбудило и въ ней непріятныя воспоминанія, возмутило совѣсть — и Груня закрыла глаза руками.

— «Видишь, несчастная!» продолжалъ Степанычъ: «одно желаніе скорѣе выйти замужъ за кого бы то ни было, погубило и тебя и этого ребенка. Но не время попрекать тѣмъ, чего уже поправить нельзя. Я займусь устройствомъ судьбы вашей. Я исправлю многое; но гдѣ же твой мужъ?»

— «Гдѣ мой мужъ? Я объ этомъ спрашиваю каждый вечеръ у Сидора, а Сидоръ съ фонаремъ ходитъ всю ночь по городу и не можетъ найти своего господина. Къ утру воротится, чтобы проспать до вечерень, а тамъ захватитъ сколько можно денегъ, а если Сидоръ не дастъ, что́ слава Богу теперь нерѣдко случается, такъ отыметъ у меня что́-нибудь изъ костыльковскихъ клейнодовъ и пропадаетъ всю ночь...»

— «Куда же это онъ ходитъ?»

— «О, если бы мы могли узнать!! Говоритъ,

что къ подъячимъ, которые на тебя челобитную пишутъ.»

— «Такъ вы за этимъ и въ Питеръ пожаловали?.. И въ моемъ дому расположились?»

— «Мы и не знали, чей домъ! Наняли квартиру у твоего приказчика. Тутъ я и матерью стала...» Груня залилась слезами.

— «Полно, Груня! Будь покойна! Я все улажу. Челобитная вамъ не поможетъ Я уже за мой грѣхъ потрудился на ратномъ полѣ. Накажутъ. Въ солдаты разжалуютъ. Выслужусь. Но твоего мужа нещадно ошельмуютъ и сошлютъ далече... И тебѣ не жаль его?..»

Груня молчала и съ невыразимою печалью глядѣла на ребенка.

— «Нѣтъ, нигдѣ нѣтъ! Чуть самъ въ полицію не попался...» Такъ говорилъ старикъ Сидоръ въ другой комнатѣ, ставя на столъ фонарь: «Э, да онъ уже дома!.. Батюшки свѣты! Кого я вижу! Иванъ Степанычъ!»

— «Здравствуй, Сидоръ!»

— «Что́ вы это надѣлали, Иванъ Степанычъ! Не стыдно вамъ, не совѣстно, такимъ воровскимъ промысломъ чужое богатство оттягать.., Что́ вамъ сдѣлалъ мой баринъ?»

— «Что̀ сдѣлалъ?»

Другаго рода воспоминанія встали въ памяти, оглушенной свиданіемъ съ Груней и съ дорогимъ младенцемъ.

— «О, гдѣ онъ! Гдѣ Костыльковъ? Онъ мнѣ

нуженъ! Разочетъ нашъ давно конченъ, пора ему выдать квитанцію...»

— «Что вы говорите?»

— «Я еще ничего не говорю. Вы будете моими свидѣтелями и судьями. Вы услышите... Но гдѣ же онъ, гдѣ мой врагъ, мой обидчикъ, гдѣ Костыльковъ? Сидоръ, ступай, ищи, зови!»

— «Сыщешь его! На лодкѣ прямо на литейный дворъ поѣхалъ, на здѣшнемъ ботѣ! Это я видѣлъ! Взялъ я наемный яликъ. Да куда догнать! Пріѣхалъ. Спрашиваю гребцовъ, куда пошелъ? Вонъ налѣво по берегу, а куда зашелъ не знаемъ. Ходилъ я по берегу, ходилъ, ни въ одномъ окнѣ свѣта. Тамъ въ одинъ домъ баре сбираются; я туда; гляжу черезъ двери; пляшутъ хорома будто сарай какой; господъ много; нашего нѣтъ.

— «А онъ тамъ, Сидоръ.»

— «Какъ же я его не видалъ?»

— «А я найду... Нѣтъ ли лодки?»

— «Да развѣ у Евгенія Николаевича попытаться...»

— «А Евгеній дома?...»

— «Дома, все боленъ, теперь слава Богу получше, сталъ выходить на балконъ, и на дворъ, когда солнышко...»

— «И онъ знаетъ кто вы?»

— «Нѣтъ! И баринъ и барыня живутъ здѣсь подъ именемъ моей дочери и зятя. Это ужъ я, старикъ, такъ придумалъ, чтобы ты насъ не нашелъ. Не знаю, какъ ты провѣдалъ...»

— «Еще бы! Зажили въ моихъ хоромахъ, да и скрываться отъ хозяина хотятъ.»

— «Въ твоихъ хоромахъ! Вотъ тебѣ и притча! Видно Богъ ведетъ...»

— «Да ужъ не безъ Его же воли все дѣется. Ну, постойте же! Я и у Евгенія Николаича на дворѣ хозяинъ. Что̀ будить больнаго! Подай фонарь и поѣдемъ.»

Люди Жатаго съ большою радостью узнали Степаныча. Въ три мига про своего барина все ему донесли, усѣлись на красивый ботъ, отчалили, и Невой вверхъ пошли къ литейному двору. Въ ботѣ Степаныча, на которомъ поѣхалъ Костыльковъ, гребцы спали. Степанычъ приказалъ ихъ разбудить и велѣлъ имъ ѣхать домой.

— «Экой злодѣй, право!» сказалъ онъ, выходя на берегъ: «своихъ мучить нельзя, такъ онъ за моихъ людей принялся. Ну, пойдемъ!»

Но въ улицу нельзя было пройти безъ фонаря. Поперегъ улицы стояла застава и караульникъ изъ дворниковъ пропускалъ только тѣхъ, которые шли съ фонарями, а у Степаныча фонаря не было. Такъ было по всѣмъ улицамъ Петербурга, изъ предосторожности отъ воровъ, которыхъ такъ стѣснили въ сосѣднихъ провинціяхъ, что они по необходимости переселились въ столицу и тутъ съ мѣньшею опасностью чинили свой промыселъ. Конечно, эта мѣра не могла радикально пресѣчь зло, потому что и воры съ фонарями разгуливали, но менѣе или болѣе вору съ огнемъ ходить неловко. Во время дѣйствія, какъ ему тушить фонарь? Гдѣ онъ его потомъ зажжетъ? А черезъ первую заставу его не пропустятъ, да еще, пожалуй, попадетъ на

смѣтливыхъ стражниковъ, такъ и схватятъ. Какъ бы то ни было, но эти заставы и фонари значительно уменьшили число воровскихъ подвиговъ. Повторительные указы и взысканія съ нерадивыхъ стражниковъ довели эту мѣру до отличнаго порядка. Степанычъ принужденъ былъ взять фонарь у Сидора и пошелъ далѣе одинъ, а старикъ воротился на пристань. Степанычъ не ошибся. У мадамъ Гоппъ было полное собраніе. Но какъ гвардейскіе полки и флоты были въ Финляндіи, то и не удивительно, что въ этотъ вечеръ весьма немного было офицеровъ, а бо́льшею частію сенатскіе и коллегіальные чиновники... Мадамъ Гоппъ, увидавъ ученика, весьма обрадовалась.

— «Боже ты нашъ!» сказала она: «кого мы видаемъ?»

— «Чего же ты, матушка, такъ обрадовалась?»

— «Какъ же радость не имѣть, когда такой большой господинъ.»

— «Перестань вздоръ молоть. Поди-тка лучше со мной на секретъ.. »

— «О! мой очень любитъ секреты...»

— «Нѣтъ, матушка, у меня есть другой секретъ...»

— «Какой же?»

— «Проведи меня туда, гдѣ игра идетъ.»

— «Господинъ. .»

— «Веди, говорятъ тебѣ, а не то я такого шкандала надѣлаю, что полиція прибѣжитъ...»

— «Да что́ вы тамъ будете дѣлать?»

— «Играть!»

— «Вы?.. »

— «Я... Ну, поворачивайся, мадама! Не забудь, ночь ужъ на исходѣ, а выиграю, твоей Леночкѣ сережки подарю... А гдѣ Леночка?..»

— «Ленхенъ?..» Мадамъ Гоппъ смутилась: «Ленхенъ не совсѣмъ здорова. Въ свою комнату ушла, да я ее позову.»

— «Не надо. Ну, пропускай въ вертепъ...»

Мадамъ Гоппъ сама повела Степаныча черезъ завѣтныя двери. Въ первой комнатѣ было пусто.

— «Да гдѣ же игра?..»

— «Переѣхала дальше. Тутъ, если ссора выходила, такъ въ залѣ было все слышно. Я пристроила павильонъ въ саду... Вотъ черезъ эту галлерею прямо пройдемъ.»

Въ павильонѣ былъ сильный шумъ.

— «Венгерскаго!» кричалъ знакомый голосъ. «За такую хватскую ставку стóитъ выпить. Вотъ сколько играю, никогда мнѣ такого счастія не было! Нижникъ (валетъ) крестовый — десять разъ сряду выигралъ... Ну-те, за здоровье крестоваго нижника!»

Мадамъ Гоппъ немало удивилась, когда Степанычъ схватилъ ее за руку и удержалъ у самыхъ дверей.

— «Чтó такое?»

— «Молчи! Погодимъ! счастье везетъ... Пусть его!..»

— «Знатно!» опять раздался тотъ же голосъ: «винновая пятка удружила. Пройди и она разовъ пять, такъ я и Леночку у князя отобью...»

— «Чтó такое?» спросилъ Степанычъ.

— «Это онъ съ-пьяна вретъ!» отвѣчала смущенная Гопшъ.

—«Чтобы раззорить человѣка, Иванъ Степанычъ,» заговорилъ грубый басъ за тѣми же дверьми: «такъ не надо и Леночки. Съ васъ, чай, и Лукерья не мало взыскала...»

— «Правда ваша! Да вѣдь у Гопши-то другой Лукерьи нѣтъ. Только одна Леночка перетянетъ. Вѣдь я ужъ всѣхъ тутъ знаю, какъ свои пять пальцевъ...»

— «Право, пойдемъ!» шепнула Гопша. «Они тутъ съ-пьяна дотого договорятся.»

— «Въ винѣ правда, а нынче правда въ диковину; такъ любо ее хоть за дверьми послушать...»

— «А, говорятъ, Иванъ Степанычъ,» опять началъ тотъ же басъ: «у васъ жена большая красавица...»

— «Была, да... Не мѣшай пожалуй. Ай-да пятка! Пошла дальше!»

— «Была, да у такого гуляки красоту скоро потеряетъ...»

— «Ну, пятка! Дай я тебя поцѣлую. Гуляй, моя голубушка, на четвертый разъ, даромъ-что винновая. Такъ и есть! Золото, не карточка. Въ ней самъ чертъ сидитъ. Ну, поѣхала на пятый. Баста! подавайте денежки!..»

— «Вотъ когда пора!»

И Степанычъ самъ отворилъ двери. Никто ихъ и не замѣтилъ; всѣ были заняты: одни разсчетомъ; другіе завистью, а Костыльковъ огромнымъ выигрышемъ.

— «Ну,» говорилъ онъ, запивая слова венгерскимъ: «вернулъ я свое...»

— «Вчетверо...» грустно примолвилъ банкиръ. «И что́ мы на твою милость такъ льстились! Проигралъ ты наличностью вздоръ; вещи мы у тебя въ три цѣны взяли...»

— «Ну, такъ отдайте мнѣ вещи.»

— «Кто ихъ дома станетъ держать, да еще сюда носить! Получай свое, да и отваливай!»

— «А что́, развѣ ужъ больше играть не будемъ?»

— «Да поздно! Развѣ такъ, раза три четыре прокинуть...»

— «И я кстати карточку поставлю...» сказалъ Степанычъ. Всѣ оглянулись. Костыльковъ вспыхнулъ и тотчасъ поблѣднѣлъ.

— «Здравствуй, Ванька! Ты что́ тутъ дѣлаешь?

— «Ахъ ты, холопъ поганый!..»

— «Эй, гляди! Царскаго капитана отъ гвардіи не изволь бранными словами поносить. Вставай! забирай свои деньги и ступай за мной, а нето велю скрутить. Ты Гошку и твоихъ нечестивыхъ товарищей во грѣхѣ погубишь, если станешь отнѣкиваться. А я тебѣ зла не хочу. Ты бѣдную родильницу одну оставляешь, да тутъ разнымъ грѣхомъ пробавляешься. Вотъ дамъ я тебѣ и Лукерью и Леночку. Аграфена Кирилловна по волоску весь хохолъ тебѣ выщиплетъ; а не уймешься, позову солдатовъ и обсѣку на всѣ корки. Забирай деньги и ступай! Время позднее, а мнѣ съ похода спать хочется. Ступай!»

— «Ступайте, Иванъ Степанычъ!» заговорилъ грубый басъ. «Теперь вы ничего дѣлу не поможете. Утро вечера мудренѣе.»

— «Убирайтесь, пожалуйста! «шепнула ему на ухо мадамъ Гоппъ, а не то, божусь вамъ, никогда къ себѣ и въ домъ не пущу.»

Послѣднее объявленіе подѣйствовало больше всего на слабаго Костылькова. Онъ всталъ и хотя былъ головою только навеселѣ, но за то ногами былъ совершенно пьянъ... Степанычъ съ басомъ повели его подъ руку въ садъ, оттуда черезъ калитку вышли на дворъ. Мадамъ Гоппъ сама имъ вынесла фонари и они отправились... Какъ-только прошли заставу, Сидоръ началъ съ пристани свою укорительную рѣчь; на лодкѣ онъ продолжалъ ее, кончилъ уже въ домашней гавани... Жена не обрадовалась пріѣзду мужа, напротивъ того, она сидѣла въ спальнѣ запершись и не хотѣла выйти въ столовую.

— «Уложите его тамъ, гдѣ-нибудь, подальше! Пусть выспится хоть одну ночь; онъ никогда такъ рано не приходилъ домой.»

— «Пусти меня! Кстати, злодѣй мой здѣсь! Я не пьянъ, Аграфена Кирилловна! Я радъ, что не пьянъ; пусти, нето двери выломаю; вотъ онъ, чудище морское, вотъ онъ, плавка, напился моею кровью, пусть же увидитъ и свою кровь, окаянный! Подай сюда мнѣ твоего дѣтеныша, подай; нето и тебя, срамница, не пожалѣю; пусть полюбуется на свою московскую любовишку...»

— «Мы поквитались, Иванъ Степанычъ, вотъ

и все тутъ. Жена твоя заплатила мнѣ стыдомъ своимъ, за стыдъ, которымъ ты опозорилъ сестру мою, Малашу!

— «Великій Боже!» воскликнулъ Сидоръ: «Иванъ Степанычъ! вспомните! На мое вышло!»

Костыльковъ оцѣпенѣлъ отъ ужаса, ноги его не удержали, онъ упалъ въ кресла; Груня также отворила дверь и со страхомъ смотрѣла на Степаныча, который стоялъ посереди комнаты, сложивъ руки на груди и пожирая глазами жертву своей мести.

— «Отродіе нашего мучителя!» продолжалъ Степанычъ, волнуемый страшными воспоминаніями: «очнись, опамятуйся! Лобзай прахъ ногъ моихъ и восхваляй мое великодушіе!»

— «Гдѣ онъ?» раздалось въ другой комнатѣ. «Дайте обнять моего друга! О, я умру, но на рукахъ его...»

Съ этими словами вошелъ Жатый въ комнату, но увидавъ, въ какомъ трагическомъ положеніи другъ его, смолкъ и остановился. Степанычъ былъ до того воспаленъ, что не замѣтилъ Евгенія и продолжалъ безъ перерыва:

— «Крови твоей, смерти голодной, казни площадной, неисходнаго безчестія тебѣ и дому твоему алкалъ я — и утолится гладъ моего мщенія. Ты не выйдешь отсюда! Ты, государственный преступникъ... Завтра я принесу повинную — я вѣчный солдатъ... А ты?.. Клеймо позора вѣчнаго ляжетъ на безстыдномъ лбу твоемъ и отъ боли

проснется твоя совѣсть!.. Не думай, что у тебя отняли твои богатства! Знай, блудный сынъ, знай, что твои помѣстья, твои волости, земли, пашни и луга, твои рыбныя ловли, боровые гоны, заводы, все было стяжаніемъ ябеды, корысти, воровства, разбоевъ, и смертоубійствъ... И все то учинила трижды проклятая душа твоего отца! Шесть десятковъ прожило чудовище, сорокъ лѣтъ злодѣйствовалъ! Одна у васъ была родовая волость — Костыльковка! Ябедникъ, онъ оттягалъ Будимовку у сиротъ сосѣда, который былъ его благодѣтелемъ. Знаешь ли, что эти сироты теперь простые солдаты? Онъ отдалъ ихъ въ рекруты и они не знаютъ ни своего происхожденія, ни даже прозвища. Былъ страшный свидѣтель дѣяній страшныхъ! Отецъ Никита, воспитатель и другъ моего отца! Все видѣлъ онъ, все передалъ вѣрной бумагѣ, все у меня! Но Будимовки было мало для несытой корысти. Пошелъ отецъ твой войною на сосѣдей; однихъ ябедой изъ околотка выжилъ; другихъ обнесъ передъ судомъ, въ томъ, что не служатъ; кого въ томъ, что охотится въ дачахъ своихъ: мелкопомѣстные, безсловесные дворяне не могли устоять противъ отца твоего на продажномъ судѣ. Богачи теряли земли и угодья. Вотъ у Жатыхъ, онъ оттягалъ большую волость, и богатство ихъ не помогло. Такъ ужъ куда бѣднякамъ искать суда и правды, да еще въ такое время, когда о порядкѣ и въ столицѣ перестали думать, когда отъ стрѣльцовской злобы никакая голова плотно на плечахъ не сидѣла. Тутъ-то онъ, въ глухой провинц-

ціи, и давай въ мутной водѣ рыбу ловить. Бѣдняки одни отъ суда разбѣжались, другіе за полцѣны свои маетности ему же продали. Богатѣлъ Костыльковъ не по днямъ, а по часамъ. Полуѣзда по рѣкѣ за нимъ стало. Только Старая Усадьба, отца моего между землями его будто островъ какой, стояла. Боялся онъ не родителя, а отца Никиты. И тутъ лукавство его путь нашло. Выхвалилъ онъ отца Никиту передъ архіереемъ, до того, что священника со Старой Усадьбы въ провинцію въ соборъ протопопомъ поставили. Тогда звѣрь жадный притаился на отца моего. Любилъ отецъ мой охоту; указъ стоялъ строгій, да отца моего любили за русскую хлѣбъ-соль; позволяли вдовцу неутѣшному иногда лютаго звѣря поискать, горе по женѣ любимой на полеваньи размыкать. Да и указъ на волка али медвѣдя, какъ на вора и разбойника, не полагалъ запрета. Пошелъ отецъ на медвѣдя; поднялъ звѣря; да прилучись ему положить его трупомъ на самомъ рубежѣ нашихъ и костыльковскихъ дачъ. — Не успѣлъ еще батюшка изъ теплаго звѣря ножа вынуть, какъ отецъ твой окаянный съ коммиссарами на него набѣжалъ. Ослушникъ указа, преступникъ, порядокъ разоряетъ, въ судъ! Не выдержалъ отецъ, ругнулъ ихъ. Тутъ одинъ коммиссаръ схватилъ его за охабень, отецъ отбился, да такъ, что коммиссаръ долго глухимъ ходилъ, а можетъ быть и съ притвора. Тутъ всѣ на отца; схватили, связали; пошелъ судъ, а его голодомъ въ острогѣ морили. Моей натуры былъ, покойникъ, держался семь

дней, на осьмой не смогъ. Надо было причастить умирающаго; самъ отецъ Никита съ дарами къ нему пошелъ. Испугались злодѣи; Галунчиковъ ему питья какого-то принесъ; отецъ сталъ пить... не допилъ; догадался, что ему зелья ядовитаго дали; пришелъ отецъ Никита. Степанъ Петровичъ только-что успѣлъ разсказать и упалъ мертвый, безъ причастія! Слышишь ли, безъ причастія!...»

Степанычъ пріумолкъ на минуту, какъ-будто для того, чтобы дать отдыхъ своимъ слушателямъ. Костыльковъ какъ-будто и не слушалъ, что говорилъ мститель. Голова его упала на руки; онъ чувствовалъ, что братъ Малаши не пощадитъ ея обидчика; другихъ правъ и предлоговъ на страшную месть и не нужно было: довольно и этого одного. Костыльковъ, во время короткаго отдыха, обдумывалъ не то, какъ бы воротить свое имя и богатства, но средства, какъ бы ускользнуть изъ рукъ Степаныча, жены и Сидора, которые неминуемо, какъ ему казалось, пріймутъ сторону оскорбленнаго Полоскова.

— «Боже мой, Боже!» продолжалъ Степанычъ, и голосъ его ободрилъ Костылькова. Онъ былъ какъ-то умягченъ чувствомъ добрымъ. «Твой перстъ — повсюду. Совершилось сатанинское дѣло; я, да бѣдная сестра, мы еще въ тотъ вечеръ на полу возились; мы еще говорить не умѣли; не разумѣли, что значитъ отецъ, что потеря отца! Старый Антонъ, что за пчелами смотрѣлъ и за садомъ, да отецъ Никита пришли, забрали казну, да бумаги, и ушли. Видно, думали, что насъ, сиротъ, злодѣй

не тронетъ; но у воеводы отецъ твой купилъ право быть нашимъ опекуномъ и за нашимъ имѣніемъ надзоръ имѣть. Увезли насъ въ Костыльковку. Уложили въ дѣтской, съ тобой, ненавистный Костыльковъ, съ тобой на одной постели! Отецъ твой поѣхалъ за казною и бумагами. Въ дому, опричь одной доброй матушки твоей, никто не зналъ чьихъ дѣтей принесли,—и когда оставили насъ спящихъ въ дѣтской, а люди пошли ужинать на большую кухню, пришелъ Антонъ, проползъ къ намъ, схватилъ меня, унесъ, на повозку и добрые кони со Старой Усадьбы унесли насъ въ Москву. Я кричалъ, я плакалъ, я не понималъ Вышней воли и своего спасенія... Тароватъ былъ мой родитель: наличной казны не много оставилъ, однако же Антонъ за эти деньги искупилъ подъ Москвой два большіе огорода; развелъ всякую овощь и пчелъ и добро мое множилъ. Все шло хорошо. Подросъ я, да учить меня было некому; да и Антонъ-то ученья не больно жаловалъ. По шестнадцатому году сманилъ меня знакомецъ Антоновъ, харчевникъ Онисимъ, идти къ нему въ половые; обѣщалъ изъ меня приказчика сдѣлать, въ долю взять, а потомъ помочь и самому харчевню завести. Время было самое лакомое. То и дѣло на Москвѣ смотры дворянскіе, да офицеры проѣзжіе. Соблазнила меня веселая жизнь — я пошелъ въ половые. Антонъ долго спорилъ, да на бѣду больно любилъ меня, охотѣ моей уступилъ; тутъ-то я всякимъ людямъ, всякому обычаю сталъ присматриваться. Три года, Костыльковъ, по милости отца твоего, я былъ хо-

лопомъ, рабомъ каждаго пьяницы. Пришелъ августъ... Наступила жатва...»

Костыльковъ вздрогнулъ.

— «На огородѣ стали руки полны всякимъ дѣломъ; старикъ Антонъ выбился изъ силъ, не смогъ, послалъ за мною. Тутъ только впервые узналъ я: кто́ мой отецъ, кто́ я самъ; отдалъ мнѣ Антонъ бумаги и писаніе отца Никиты. Нищій какой-то принесъ, но ни Антонъ, ни я никогда отца Никиты не видѣли. Говорилъ только нищій, что добрый пастырь далече, что онъ нето заточенъ, нето сосланъ, а за правду терпитъ; на воеводу и Костылькова показалъ онъ что́-то, да его доносъ перехватили и выжили далече, на край царства. Наступилъ ужасный день, тотъ самый день, въ который ты, молодой нетопырь... Боже, мой Боже! Страшно выговорить. Ты праздновалъ дожинки.... Я плакалъ надъ холоднымъ трупомъ Антона... Не долго ты ждалъ меня; я пришелъ къ тебѣ, злодѣй!... Я отомстилъ тебѣ, какъ умѣлъ: на женѣ, на добрѣ, на имени! Нищій, и ты еще не лобызаешь рукъ моихъ, не благодаришь за снисходительность!... Ты правъ! Месть моя не полна; я долженъ ее докончить, и вѣчнымъ позоромъ заклеймить прозвище моихъ мучителей Костыльковыхъ. Теперь молись и готовься къ вѣчному пятну. А этотъ милый животъ неповиненъ въ нашихъ грѣхахъ. Его я спасу и укрою!...»

Степанычъ, будто на шведскую крѣпость, бросился въ спальню, схватилъ ребенка, и прежде, чѣмъ оторопѣвшая мать успѣла вскрикнуть, прежъ-

де чѣмъ Костыльковъ и Сидоръ могли вымолвить слово, Степанычъ уже убѣжалъ изъ комнатъ, гдѣ проживали Ломжины или Костыльковы. Жатый поспѣшилъ также удалиться и уволить несчастныхъ супруговъ отъ присутствія посторонннихъ зрителей семейной расправы... Груня радовалась, что унесли ребенка, потому что Костыльковъ въ пьяномъ видѣ неразъ уже порывался его убить. Сидоръ сталъ въ раздумьи и ожидалъ только случая начать обычное свое поученіе. А Костыльковъ.... О! какъ онъ обрадовался, когда убѣжалъ Степанычъ и ушелъ Жатый.

— «Ну, Аграфена, можешь теперь тѣшиться старой любовью,» сказалъ онъ со смѣхомъ: «я мѣшать вамъ не стану. Прощайте!»

— «Куда вы это, Иванъ Степанычъ?» спросилъ Сидоръ съ трагическимъ выраженіемъ.

— «Мое дѣло!» отвѣчалъ Костыльковъ, ощупалъ карманы и пошелъ-было; но въ то же время явился Трофимъ, сподвижникъ Степаныча и трое дюжихъ слугъ, воротили его, заперли въ середней комнатѣ вмѣстѣ съ женой и улеглись у дверей и у оконъ костыльковской темницы.

— «Что ты съ ними хочешь дѣлать, другъ мой?» спрашивалъ Жатый.

— «И себя и его предамъ суду царскому... Мамку!... Бѣгите, ищите здоровую мамку... Этотъ несчастный ребенокъ не принадлежитъ своимъ преступнымъ родителямъ!...»

—

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

визиты и конфиденціи.

Встало утро. Въ тріумвирскомъ домѣ никто не ложился. Люди не понимали что́ между господами происходитъ. Стражи у дверей и снаружи, у окна той комнаты, въ которой содержались Костыльковы, смѣнялись каждые два часа и разсказывали, что плѣнники всю ночь ссорились и дошло-было до драки, да женская половина нашла у печки кочергу и сталъ штильштандъ; только на словахъ продолжалась перепалка. Догадывались, что женщина тѣмъ съ другимъ, видно, любовь завела, такъ баринъ, стало-быть хочетъ ихъ обсѣчь, или инако наказать, а ребенка убралъ, чтобы со злобы не испортили малыша. Сидоръ слушалъ эти разсказы и молчалъ. Благоразумная политика: открытіе правды могло повредить той или другой сторонѣ, а Сидоръ столько же былъ привязанъ къ Костылькову, по долгу, сколько къ Малашѣ, а слѣдственно и къ брату ея, по-сердцу. Расторопные слуги отъискали мамку, которой съ ребенкомъ отвели особое помѣщеніе. Степанычъ не долго бесѣдовалъ съ другомъ. Замѣчая на лицѣ его всѣ признаки сильной, глубокой болѣзни, онъ заставилъ его улечься въ постель и сѣлъ писать.

Нѣсколько разъ вставалъ онъ отъ письменнаго стола, долго ходилъ по комнатѣ въ раздумьи и опять принимался за перо. Первую бумагу онъ написалъ довольно скоро; прочелъ, поправилъ, переписалъ и запечаталъ. Принялся за вторую.

Эта пошла весьма трудно. Искусалъ онъ перо, облизался вотомъ, изодралъ десть бумаги, наконецъ написалъ, прочелъ, разорвалъ и вставъ, сказалъ:

— «Нетъ! Не могу! Будь что будетъ! Скажу самъ, персонально... Лошадей!..»

— «Лошадей нетъ. Отвечалъ слуга: лошади и повозки въ Ревелъ.»

— «Ахъ, да!»

— «Развъ жатовскихъ, или на лодкъ?»

Тутъ только вспомнилъ Степанычъ, что съ Васильевскаго острова на Петербургскій сухимъ путемъ не проѣдешь.

— «Ну, такъ лодку!»

— «Да куда вашему высокоблагородію такъ рано? Теперь еще и шести часовъ нетъ.»

— «И то правда... А что они, спятъ?»

— «Ссорятся.. »

— «Пусть ссорятся. Скоро, скоро я всѣхъ помирю... Пушка! Что бы это значило? Вторая. Третія. Что такое?

— «Видно, забыть изволили. Невскій адмиралъ команду зоветъ.»

— «Одѣваться...»

— «Да вы одѣты...»

— «Что это со мной? Я привыкъ начальническій указъ первый исполнять... Ѣдемъ!..»

Гребцы уже хлопотали въ домашней гавани тріумвирскаго дома. Гавань эта была нарочито велика, потому что Земцовъ былъ твердо увѣренъ, что миръ между такими друзьями, изъ коихъ двое

чаятельно и породнятся, никогда не будетъ наруженъ, и выкопалъ имъ за дворцемъ или домомъ общую гавань, такой величины, что не только три шестивесельныя лодки, принадлежавшія тремъ хозяевамъ и другіе запасные ялики, но еще нѣсколько гостинныхъ лодокъ могли въ ней просторно помѣщаться. На всѣхъ трехъ ладьяхъ были гербы, балдахины или зонтики, паруса, и крохотныя пушки. Жатый за болѣзнію не могъ ѣхать, почему ладьи его и Бориса Петровича вышли порожнякомъ изъ гавани, вслѣдъ за Степанычемъ. Какъ же это, спро́сите вы? Вѣдь Борисъ отъ дома отказался?.. Мы видѣли причины отказа, легко поймемъ, что переворотъ. послѣдовавшій въ семействѣ Бориса, возбудилъ въ немъ желаніе возстановить для себя всѣ права тріумвира. А Жатый легко соглашался на все, что́ могло быть пріятно его другу. Когда онъ проснулся, подали ему большой запечатанный пакетъ отъ Степаныча съ надписью:

«Распечатай, мой другъ, когда достовѣрно увѣдо-
«мишься, что я арештованъ. Вели кормить моихъ
«плѣнниковъ; но, пожалуй, наблюди, чтобы не ушли
«изъ клѣтки. Твой навѣки Иванъ.»

— «Гдѣ же Иванъ?» спросилъ Жатый... Слуга показалъ въ окно на Неву и Жатый, одѣвшись потеплѣе, вышелъ на балконъ. Вся Нева была усыпана двѣнадцати, шести, четырехъ, двуи одновесельными лодками разнаго званія. Бо́льшая часть лодокъ толпилась около адмиралтейской крѣпости, куда со всѣхъ сторонъ тянулось еще бо́льшее

число разнаго званія пловцевъ. Прошло не болѣе четверти часа, раздались два пушечные выстрѣла: изъ гавани или, лучше сказать, изъ большаго канала, который проходилъ вдоль нынѣшняго университетскаго зданія или Двѣнадцати Коллегій, вышла золотая лодка, внутри обитая зеленымъ бархатомъ, подъ балдахиномъ на золоченыхъ древкахъ, съ золотыми кистями, перьями, арматурами и княжеской короной. Носъ оканчивался огромнымъ золоченымъ соколомъ, который въ когтяхъ своихъ держалъ гербъ князя Ижорскаго. въ лодкѣ стоялъ Меншиковъ съ генералами и адъютантами. Другая лодка такого же вида, только снаружи серебряная; а внутри обитая алымъ бархатомъ и разубранная персидскими коврами, вышла изъ канала; въ этой сидѣли супруга, и дѣти князя. Еще вышло нѣсколько лодокъ съ каммергерами и пажами князя. Эти были и поменьше, и безъ зонтиковъ, но на каждой были и гербы и позолота, Княжеская флотилія, вышедъ на Неву подняла яркія бѣлыя весла и поджидала невскаго флота; съ третьимъ выстрѣломъ, изъ стаи лодокъ, окружавшихъ адмиралтейскую площадь, отдѣлился довольно большой катеръ палубный, или что-то среднее между катеромъ и яхтой, или, яснѣе сказать, невскій адмиральскій корабликъ, на которомъ ѣхалъ невскій адмиралъ Степанъ Петровичъ Потемкинъ. Музыка гремѣла на палубѣ, адмиралъ стоялъ на ютѣ и привѣтствовалъ важнѣйшихъ сановниковъ. Ладьи въ видѣ раковинъ, раззолоченыхъ или выложенныхъ доро-

гимъ деревомъ, въ видѣ струговъ южныхъ рѣкъ, словомъ, разнаго и преразнаго вида, старались догнать корабликъ и занять почетныя мѣста. Наибо́льшимъ великолѣпіемъ отличалась огромная ладья князя-кесаря, которую называли въ-шутку ковчегомъ; за высокими бортами сѣдоковъ не было видно. Покойный князь-кесарь старался соединить безопасность съ пышностію и самъ былъ архитекторомъ этого земноводнаго зданія; земноводнаго, потому что подъ него подкладывались ко́леса, съ золотыми шинами и втулками и на нихъ подвозили ботъ къ крыльцу для обозрѣнія его кесарскимъ величествомъ. Этотъ невскій флотъ походилъ на нынѣшнія экипажныя гулянья, особенно на сокольницкое, гдѣ еще, слѣдомъ за блистательной каретой Фребеліуса, мнѣ самому удалось видѣть восьмимѣстный рыдванъ; за нимъ неспокойные кони, играя, легко катили воздушную лодочку на колесахъ, то есть, самую модную коляску того года, а за коляской пароконный извозчикъ тащилъ линею съ дюжиною сѣдоковъ или дрожки съ фартухами... Такъ и въ невскомъ флотѣ: нѣкоторыя тащились чуть не на баркахъ, другіе на смоленыхъ черныхъ гичкахъ. Въ числѣ этихъ диковинныхъ водяныхъ экипажей, былъ даже одинъ *прам* или паромъ, устроенный съ большимъ вкусомъ на двухъ лодкахъ. Подъ высокимъ балдахиномъ было около двадцати дамъ, которыя не сидѣли на скамейкахъ, покрытыхъ красными коврами, но стоя, держались за тонкія вызолоченныя перильца, отдѣлявшія ихъ отъ гребцовъ, одѣ-

тыхъ въ красныя рубашки, отороченныя золотымъ галуномъ и въ соломенныя шляпы. Этотъ генералъ-адмиральскій паромъ не имѣлъ обязанности выходить на Неву по сигналамъ Потемкина, не состоялъ даже въ его командѣ, числился заштатнымъ суденышкомъ невскаго флота; но на немъ плыли не хозяева, обязанные этою невскою повинностію, а любопытный дамскій полъ, принадлежавшій разнымъ иностраннымъ резидентамъ. Мужской полъ того же разряда изволилъ тогда одѣваться и приготовлялся ѣхать въ аудіенцъ-камору... На этотъ разъ плаванье флота совершилось вполнѣ благополучно, какъ потому, что солнце, тридцатаго августа, покойно подымалось на безоблачномъ тихомъ небѣ: ни дохнуть не смѣлъ какой бы то ни было вѣтеръ; а также и потому, что и путь былъ не далекъ; адмиральскій корабликъ легъ противу екатерингофскаго дворца, откуда Государь съ государыней, дочерьми и племянницей шелъ уже на встрѣчу любезнымъ подданнымъ. Радушіе и веселіе сіяли на лицѣ Петра; важнѣйшіе сановники встрѣтили его на пристани; поздравили съ побѣдой.

— «Богу все принадлежитъ,» отвѣчалъ Государь, и, при громкихъ восклицаніяхъ и громѣ пушекъ невскаго флота, вступилъ съ августѣйшимъ семействомъ на гребную яхту Государыни. По командѣ Потемкина, лодки стали выходить изъ рукава, протекающаго между Екатерингофскимъ и Гутуевскимъ островами, и дали дорогу яхтѣ. Въ томъ же порядкѣ пошелъ весь флотъ въ обратный

путь. Какъ-только яхта по извороту Невы вышла на видъ адмиралтейской крѣпости, раздались пушечные выстрѣлы съ обѣихъ крѣпостей и пальба продолжалась до тѣхъ поръ, пока Государь съ августѣйшимъ семействомъ и сановниками не вступилъ въ Троицкій Соборъ. Всѣ флагманы, то есть, хозяева и всѣ ихъ пассажиры не могли помѣститься въ церкви, и окружили соборъ со всѣхъ сторонъ... Знатнѣйшимъ дамамъ изъ ближайшихъ хорóмъ ливрейные слуги принесли кресла и стулья, въ томъ числѣ и княгиня усѣлась на собственныхъ креслахъ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь пролегаетъ шоссе. Ближе подойти къ собору за толпою черни не было никакой возможности. Оленька стояла возлѣ княгини, потому что сидѣть позволялось только старухамъ, и онѣ, какъ видите, даже на площади непреминули воспользоваться своею привиллегіей. Стояла-то Оленька весьма чинно и благоговѣйно, но, нечего грѣха таить, безъ молитвы, вѣроятно потому, что церковь была далече; глазами искала она Степаныча, а встрѣтила своего утѣшителя князя. Князь будто искалъ мѣста получше и нашелъ возлѣ Оленьки.

— «Что́ вы не видали своего жениха?» спросилъ онъ тихо.

— «Нѣтъ.»

— «А я его видѣлъ вчера ночью, лучше сказать, утромъ, часу въ третьемъ; нельзя сказать, чтобы въ хорошемъ мѣстѣ .. Въ танцовальномъ классѣ. Онъ дулъ венгерское и игралъ въ карты...»

— «Зачѣмъ же вы, князь, ѣздите въ такіе дома?..»

Князь совершенно смѣшался и не зналъ что̀ отвѣчать. Подошелъ Степанычъ, и князь, избѣгая объясненія, поспѣшилъ удалиться.

— «Тутъ трудно молиться!» сказалъ Степанычъ: «я только жду окончанія церемоніи и поѣду въ Невскій Монастырь. Тамъ сегодня храмъ.»

— «И я съ вами!» сказала Оля. «Тетушка, вѣдь я теперь могу съ нимъ поѣхать къ Александру Невскому?..»

— «Отчего же не можешь? Вѣдь не за секретомъ, а явно, при всѣхъ; тамъ и къ однимъ образамъ приложитесь...»

— «И что̀ намъ тутъ ждать, мой другъ! Мы можемъ сейчасъ поѣхать... Службу застанемъ...»

— «Конечно...»

— «Поѣзжайте, поѣзжайте! Я ужъ тутъ за васъ досижу, а вы тамъ и за меня старуху помолитесь.»

Какъ дѣти побѣжали Степанычъ съ Оленькою къ пристани Троицкой. Лодка его стояла далече и держалась багромъ за сваю, потому что къ пристани, за вельможескими ладьями, не было и приступа. Степанычъ отозвалъ свою лодку, приказавъ пустымъ идти домой, послѣ роспуска. А самъ съ Оленькою съ Боярской Набережной отправился въ Невскій. Не близокъ былъ путь, но его сдѣлала почти незамѣтнымъ странная бесѣда. Миновавъ арсеналъ и Брюсовъ домъ, лодка поравнялась съ дворцемъ несчастнаго царевича Алексѣя Петрови-

чя. Окна были наглухо заколочены; ворота заперты; ни живой души. Черезъ три дома отъ него стоялъ дворъ Гопши. Степанычъ посмотрѣлъ на дворецъ съ невыразимою грустью и вздохнулъ тяжко...

— «Объ комъ?» спросила Оленька.

— «Такъ-себѣ...»

— «Неправда! Тутъ гдѣ-то Гопша живетъ. Такъ она мнѣ сказывала...»

— «Да! Вотъ ея дворъ.»

— «Такой огромный!»

— «Потому что она держитъ танцовальный классъ и...»

— «Карты! И ты игралъ тамъ еще сегодня?»

— «Кто тебѣ сказалъ?»

— «Князь!»

— «Онъ обманулъ тебя, Оленька. Да, я былъ вчера въ ея домѣ, я видѣлъ издали князя въ обществѣ самомъ преступномъ, но я былъ не для картъ и вина... О, лучше бы я тамъ не былъ!..»

— «Что это значитъ? Неужели ты можешь имѣть тайну, которую я не должна знать?..»

— «И не одну. Рядъ тайнъ, которыя... Но милая Оленька, мнѣ совѣстно, что я тебя такъ называю. Можетъ-быть завтра заговорятъ по городу...»

— «Ты меня пугаешь, Иванъ! Что такое могло приключиться?..»

— «Вздоръ, пустяки, да на эти пустяки разно смотрятъ, особенно женскій полъ. Конечно, немного въ этомъ дѣлѣ и хорошаго; но я, кажется, кровью вину мою залилъ...»

— «Часъ отъ часа не легче!»

— «Такъ ужъ на свѣтѣ устроено! Любимъ мы золото, носимъ въ рукахъ, голубимъ и лелѣемъ, а узнай, что это золото не золото, а счастливо позолоченная мѣдь, за окно выбросимъ, и нищему не дадимъ съ досады.»

— «Какой толкъ въ этой притчѣ?»

— «Большой! Ну, вотъ я теперь офицеръ, знатнаго чина, лейбъ-гвардеецъ, отличенъ и царскою милостью взысканъ... Ну, случись такъ, что я солдатъ ..»

— «Я тебя полюбила солдатомъ...»

— «Солдатомъ съ надеждами, который, пожалуй, и до генерала доберется, если его съ пути вражья пушка не сострѣлитъ. Но если бы я былъ вѣчный солдатъ, безъ состоянія, безъ маетностей даже...»

— «Глупыя шутки, мой другъ! Я не знаю, какая тебѣ охота пугать меня такими вымыслами!.. Пустъ-себѣ и вѣчный солдатъ! Я отдала мое сердце не по чину, а по любви къ человѣку. Не мучь меня! скажи, что тамъ у тебя случилось!..»

— «Оленька! говорю, не спрашивай! Можетъ быть, гроза сама собой разойдется... Повѣрь, я не чести, ни покоя твоего не нарушу и пока не разрѣшится жребій мой — ты не будешь моею женою... Вотъ и Невскій...»

— «И ты не скажешь мнѣ?.»

— «Сейчасъ! Но прежде помолимся Господу. Все Богу принадлежитъ, сегодня еще сказалъ Государь. Опоздали. Люди уже расходятся, но все-

равно, во храмѣ Божіемъ идетъ вѣчная литургія. Святые заступники и ты, святой ирой Невскій, васъ призываю! Пойдемъ...»

Изъ Большой Невы ладья повернула въ узкій рукавъ, обтекавшій монастырскую землю. Деревянная ограда вмѣщала въ себѣ деревянный соборъ и такія же келліи. Кругомъ монастыря обходилъ густой, старый лѣсъ. Ни одного человѣческаго жилья тутъ не было видно; только на противоположномъ берегу, на мысѣ, образуемомъ Невою и Охтою, торчали груды камней, или развалины невскихъ шанцевъ (Ніеншанца), разрытыхъ ядрами еще въ 1703 году. Пустынная окрестность возвышала душу къ молитвѣ. На монастырѣ было тихо, даже мертво, потому что послѣдніе молельщики, нищіе, и тѣ уже были въ широкой и безконечной просѣкѣ, которая оканчивалась высокой башней въ нѣсколько ярусовъ, увѣнчанныхъ палкой, съ огромнымъ флагомъ. Въ этой просѣкѣ вы узнаёте прадѣдушку нынѣшняго Невскаго Проспекта. Даже монахи разошлись по своимъ келліямъ. Передъ иконой Святаго Князя, именинника, горѣли огромныя свѣчи. Степанычъ и Оленька пали ницъ предъ нетлѣннымъ заступникомъ. Оба долго, тепло, слезно молились. Успокоенные міромъ свыше, они благоговѣйно вышли изъ собора и за оградой присѣли на свѣжихъ могилахъ новаго кладбища.

— «Оленька!» сказалъ Степанычъ, и залился слезами.

— «Что съ тобою, другъ мой?»

— «Теперь послѣдній разъ я назвалъ васъ дру-

жескимъ именемъ. Ольга Петровна, простите грѣшника, который столько же преступенъ передъ вами, какъ передъ государемъ и Господомъ... Я не Костыльковъ!»

Оленька обомлѣла.

— «Я дворянинъ; я, можетъ быть, и оправдалъ мое званіе, заслужилъ его вновь, но я не Костыльковъ: я бѣднякъ, безпомѣстный и бездомный сирота, у котораго, кромѣ своей души, ничего не осталось. А чинъ? Чинъ завтра же снимутъ.»

— «Ради самого Бога, объясни что ты тутъ городишь! Мнѣ страшно! Я боюсь за твой разсудокъ...»

— «Да, Ольга Петровна, теряя васъ, я близокъ къ сумасшествію. О я это чувствую. Но я имѣлъ право скрывать мое имя и покрываться подложнымъ, пока не совершилась мѣра моего мщенія. Она исполнилась. До этихъ поръ я былъ только мстителемъ, теперь буду воромъ, если стану скрываться съ моимъ подлогомъ... Слушайте и пожалѣйте безумца, который былъ столько дерзокъ и осмѣлился искать руки вашей. Ослѣпленіе простительное, но не передъ вами, а передъ закономъ Божескимъ и Государевымъ. Я обманулъ и васъ... и вотъ эта вина ничѣмъ заглажена быть не можетъ...»

Степанычъ въ короткихъ словахъ повторилъ содержаніе всѣхъ четырехъ частей нашей исторіи, предоставивъ только намъ изложить заключеніе. Излагаемъ:

Кто бы ожидалъ, что Оленька, чѣмъ далѣе, раз-

сказывалъ Степанычъ, тѣмъ болѣе становилась покойною.

— «Ты правъ,» сказала она: «не хорошо; но что же дѣлать? Ты хотѣлъ не корыстоваться чужимъ добромъ, а воротить свое и злодѣямъ твоимъ отомстить. Такъ несомнительно, если указъ такой стоитъ, ты будешь солдатомъ, и знатнымъ солдатомъ, а какая славная солдатка изъ меня выйдетъ, ты увидишь...»

— «Боже меня сохрани, чтобы я...»

— «Да я тебя и спрашивать не буду. Ты хочешь принести Царю повинную? Похвально. Объяви Его Величеству все дочиста, какъ ты мнѣ объявилъ, но... послѣ нашей свадьбы, на другой день, чтобы ни братъ, ни тетка въ наши дѣла уже вмѣшиваться не могли. Скажу тебѣ еще и то, что я не ребенокъ и дѣло смыслю Богъ съ нимъ, съ Костыльковскимъ богатствомъ; у меня своего довольно. Волости наши по закону къ брату перейдутъ, да за то дѣдушкины деньги мои, да братъ съ своего достатка по завѣту отца, еще до указа написанному, долженъ мнѣ не мало денегъ уплачивать. А какой бы чинъ на тебѣ ни былъ, все равно, отъ того ты будешь мужъ ни лучше ни хуже. А солдатомъ не ты одинъ; и князь Репнинъ, генералъ, славный заслугами и умомъ, былъ солдатомъ. Заслугъ тоже съ тебя не снимутъ, а заслуги нынче такъ цѣнятся, что въ Государевой памяти будто въ образной иконы стоятъ. Я ото всѣхъ это слышу. Посолдатствуемъ годъ, другой, чтобы грѣхъ откупился, а тогда и поми-

луютъ. Ну, поцѣлуй же меня теперь за добрый совѣтъ и дай слово, что пойдешь по моей волѣ...»

— «Ольга Петровна! Не могу!»

— «Перестань дурачиться! Я не пойду отсюда, пока ты не поклянешься, что исполнишь волю.... Клянись, Иванъ!!..»

— «О, къ чему вы меня принуждаете!»

— «Такъ-то ты меня любишь. Иванъ, когда думаешь, что чинъ твой или богатство что-нибудь для меня значили? Такъ-то ты меня считаешь, дрянною гнилушкою, что сама гниль, а свѣтиться любитъ? Экой ты! Если такою ты меня считалъ, такъ прощай, разойдемся; останусь я вѣчной невѣстой и буду Бога молить, чтобы онъ тебѣ еще одинъ грѣхъ отпустилъ. Но за меня онъ съ тебя взыщетъ...»

— «Оленька!»

— «Что Оленька? Оленька свое сдѣлаетъ и слово сдержитъ. А если счастіемъ Оленьки дорожишь, клянись — и за дѣло!»

— «Счастіемъ твоимъ?.. О, клянусь! Пусть меня...»

— «Одного слова довольно... Богъ его уже слышалъ! Милый другъ! Мы счастливы! Вѣрь мнѣ, что эта бѣда, которая насъ ожидаетъ, послужитъ намъ и въ пользу и въ честь! Теперь по-скорѣе поѣдемъ, а дорогой постановимъ, какъ свадьбѣ и всему дѣлу быть.»

Воротились. Оленька была довольна, весела, счастлива, но за то глубокая тоска была начертана на лицѣ Степаныча. Какъ онъ ни принуждалъ себя

казаться веселымъ; напрасно. Дома Княгиня замѣтила грусть Степаныча; думала, гадала; но про себя, потому что не хотѣла показать что замѣчаетъ, надѣясь эимъ притворствомъ уловить дѣйствительную тайну и, если можно, разорвать свадьбу, которая клеилась вопреки всѣмъ ея разсчетамъ, и главное, вопреки ея диктаторской воли. Степанычъ, отговорясь послѣ пріѣзда, дѣлами, ушелъ изъ дома княгини весьма рано...

— «Помни клятву...» успѣла ему шепнуть Оленька.

Безнужное напоминовеніе; онъ очень хорошо объ ней помнилъ и эта клятва была источникомъ его мученій. Долго простоялъ онъ на площади въ раздумьи; идти ли ему домой, и слушать плачъ сына, отлученнаго отъ матери, вопли Груни, безконечныя поученія Сидора и дружескія увѣщанія Жатаго; или воротиться и объявить Оленькѣ, что онъ не можетъ исполнить даннаго слова, или не говоря ни слова войти въ этотъ домъ, гдѣ, вѣроятно, теперь Государь изволитъ кушать, и какъ откушаетъ и пойдетъ въ рабочую, повалится ему въ ноги въ темномъ присѣнкѣ и принести повинную... Или... Степанычъ ни на что бы не рѣшился, если бы кто-то не ударилъ его по плечу и не сказалъ съ примѣтною, искреннею радостью...

— «Тебя ли я вижу? Давно ли ты здѣсь? Былъ?... Видѣлъ?... Что? каково?... Ничего не нью! Только того и жду, что Государь велитъ позвать къ себѣ и скажетъ: «Спасибо, Земцовъ, что такимъ добрымъ строеніемъ столицу мнѣ украшаешь. Строй мнѣ дворецъ самъ, безъ Нѣмцевъ. Вотъ ужъ отколю

дворецъ! Что твой Версаль, что твой Барберинскій дворецъ: подъ облака, братецъ, дерну! Видишь, какая у меня мысль есть затѣйливая. Поставлю сто колоннъ гранитныхъ съ каждой стороны. Каждая въ-уровень съ крышей адмиральскаго дома. Архитравъ положу на нихъ здоровый; по четыремъ сторонамъ дворца между стѣной и колоннами будетъ идти висячая дорога, на крышу можешь въ каретахъ ѣздить, а крыши совсѣмъ нѣтъ; вмѣсто крыши будетъ платформа, обсаженная кустовымъ деревомъ. Понимаешь ли? На крышѣ садъ, и бесѣдка изъ разнаго колера стеколъ. Эта-то альтана или павильонъ и будетъ главный ко дворцу подъѣздъ. Знатный видъ! А ввечеру по всему висячему пути фонари разнаго цвѣта горятъ, альтана тоже, по саду тожъ фонари... А въ другой альтанѣ подзорное устройство; за Кронштадтъ и Кронылотъ будетъ видно; въ Сарское, въ Питергофъ, въ Аненгофъ, въ Рамбовъ, въ Ропшу, въ Стрѣлинскую мызу, въ Сестребецкъ, куда задумаешь, гляди! Пусть только люнету хорошую припасутъ изъ Гамбурга, али изъ Италіи. Въ третьей альтанѣ — сторожка отъ лейбъ-регимента. Ну, и что еще придумается. А гафъ, такъ что твое Меридово озеро; добрыя галеры, по нуждѣ и фрегатъ сядетъ, и отъ прибылой воды отводъ... Вотъ я все хожу около дворца, да такъ и жду, что Государь позоветъ. Больно радъ, что съ тобой встрѣтился; пока позовутъ, не такъ скучно будетъ. И знаешь ли что; когда полковнику моему что нужно, а меня на дому не найдутъ, разсыльный такъ

и чешетъ въ австерію къ Петру Милле; случалось, тутъ меня находили; такъ если и теперь позовутъ, безъ справки у Милле не обойдется; такъ пойдемъ лучше въ австерію.»

— «Вспомни ты, кутило, что ты пить не хотѣлъ...»

— «Правда, правда! Одинъ ни за что не пойду, потому что этотъ проклятый Милле въ кредитъ мнѣ ничего не отпускаетъ, а я не плачу ему по двумъ резонамъ, разъ потому, что безбожно приписываетъ. Ну, самъ посуди, статное ли дѣло, чтобы я въ одинъ вечеръ, самъ-другъ съ однимъ купцемъ, одиннадцать штофовъ ратафіи выпилъ? Лошадь такого пая не снесетъ. Положимъ восемь, потому что купчина тоже здоровъ, да притомъ, такъ какъ и я, обиженъ, а съ-горя ужасно пьется, чертовская жажда, да все-таки съ восьми не пить, а спать захочется; а то одиннадцать!! Ужъ какъ ты тамъ хочешь, а Милле три штофа приписалъ. Да прахъ его возьми! Заплатилъ бы я, одного кредита ради, да денегъ нѣтъ. Нѣтъ ли у тебя, Иванъ Степанычъ, лишняго рублишка? А? Какъ ты полагаешь?...»

— «При себѣ нѣтъ... Дома...»

— «Ну, такъ я зайду вечеркомъ. И на Васильевскомъ тотъ же Милле построилъ трактирное заведеніе. Я ему, злодѣю, черепицу на крышу, почитай, даромъ досталъ. Этакое неблагодарное племя! Впрочемъ, во всей Нѣмечинѣ такъ. Я сколькимъ разныя услуги дѣлалъ, а всѣ съ меня долгъ правили; услугъ на счеты не клали. Такая ужъ нація... Ну, такъ зайдемъ въ австерію...»

— «Прощай! Мнѣ некогда! И такъ съ тобою заболтался...»

— «А я чѣмъ виноватъ! Зачѣмъ безъ умолка болтаешь. Прощай, только вечеромъ быть дома. Я у васъ и дворецъ мой чертить буду.»

Но Степанычъ уже не слушалъ, что́ говорилъ Земцовъ. Въ лодкѣ онъ сталъ разсуждать о своемъ положеніи. Рѣчь Земцова имѣла хорошее вліяніе на Степаныча; она разсѣяла его нѣсколько; онъ сталъ думать покойнѣе; оглянулся; дворцы Апраксина и Меншикова, напомнили ему долгъ благодарности. Да и въ предстоявшей бѣдѣ, ихъ заступничество и совѣты могли ему принести пользу. И Степанычъ приказалъ повернуть къ тому мѣсту, гдѣ теперь у Зимняго Дворца большая пристань, а тогда была также пристань, но принадлежала къ саду генералъ-адмиральскому, который занималъ все пространство отъ адмиралтейства до его палатъ. Въ саду замѣтно было особенное движеніе. Хлопотливые слуги, то и дѣло, бѣгали по аллеямъ: одни съ блюдами, другіе съ бутылками; въ разныхъ мѣстахъ на скамейкахъ сидѣли морскіе и сухопутные офицеры, корабельные мастера, шкипера, гражданскіе чиновники; смѣялись и шутили весьма громко, а нѣсколько Голландцевъ играли въ кегли съ партіей молодыхъ русскихъ дворянъ и объигрывали ихъ нещадно. Степанычъ оглянулся; нигдѣ не было видно хозяина.

— «Позволь спросить,» спросилъ Степанычъ одного офицера: «графъ дома?»

— «Почиваетъ.»

— «Какъ, почиваетъ?»

— «Послѣ стола отдыхать изволитъ; да если у тебя какое дѣло, такъ обожди: скоро четыре часа; графъ выйдетъ и съ нами полдничать будетъ... А ты пока погляди, какъ эти господа Голландцы насъ обижаютъ. Вотъ шестую партію доканчиваютъ. Шестнадцать золотыхъ прійдется заплатить каждому изъ насъ, по тридцати по два рубля: это, братъ, не шутка!..»

— «Конечно, не шутка...»

— «Партія!» закричали Голландцы.

— «Дальше нейду, хоть тресните! Вотъ ваши деньги!..»

— «Погоди,» перебилъ Степанычъ. «Скажи имъ, что я одинъ на нихъ иду; пусть мастака выбираютъ; я ему три шара дамъ, а самъ въ два играть буду...»

— «Ты?»

— «Ну, да!»

— «Да ты рехнулся! У нихъ тутъ такой мастакъ есть, что короля сразу выбиваетъ.»

— «Поглядимъ, посмотримъ! Не на твои же я деньги играть буду. Ты только имъ объяви!»

Голландцы расхохотались и не приняли предложенія. Два, на два, пожалуй, а три — это и выигрывать стыдно.»

— «Ну, пожалуй, два на два! Кому начинать?»

— «А сколько идетъ?» спросили тѣ.

— «Сколько? Всѣ зады за шесть партій, тридцать два на шестьдесятъ четыре рубля.»

Согласились. Кинули жребій. Всѣ гости окру-

жили игроковъ и сраженіе показалось имъ такъ интересно, что никто не замѣтилъ рослаго старика, украшеннаго сѣдиною, но свѣжаго и бодраго. Онъ былъ одѣтъ въ шитый золотомъ кафтанъ, на груди сіялъ портретъ Петра Великаго, осыпанный брилліантами и вилась лента Андрея Первозваннаго. Апраксинъ былъ безъ шляпы и, заслоняя рукою глаза отъ солнца, смотрѣлъ на бойцовъ. По жребію Голландецъ началъ. — Правду говорилъ офицеръ; выскочилъ король, да пѣшку сапогомъ задѣлъ, и та повалилась... Второй ударъ... Тотъ же король, да двѣ пѣшки съ нимъ.

— «Надо принаровиться,» сказалъ Степанычъ, становясь въ позицію: «не вездѣ мостки одинаковы. Оттого и война, что́ край, то на другой манеръ надо воевать. Ну-ка! Шаръ ты мой удалый, покатись повались, ноги у кеглей распутай; видишь, будто связанные стоятъ, да гляди, слушайся глазу, отъ руки силу перехвати. Маршъ!..»

Безъ одной всѣ кегли легли съ шумомъ.

— «Э, не ладно! Саранчу дотла изводятъ!» продолжалъ разсуждать Степанычъ, размѣряя ударъ. «Ну, поставили! Ну-ка теперь, кажись лягутъ... Маршъ!.. Давайте деньги! Видите, какъ улеглись знатно, всѣ до единаго!»

Голландцы съ неудовольствіемъ вынимали деньги и бормотали что-то своему пленипотенту; тотъ оправдывался, и говорилъ, что это другой родъ игры, а одного короля офицеръ никогда не выбьетъ... Степанычъ понялъ, что́ тотъ говоритъ.

— «Не выбью! Ставь кегли! Не плати денегъ! На квитъ! Начинай!»

— «Начали. Плениппотентъ, видно, очень былъ смущенъ; шло дѣло на одного только короля, а онъ въ первый разъ свалилъ всѣхъ, а въ другой далъ полный промахъ.

— «Ну,» сказалъ Степанычъ: «тутъ нечего и ставить. Берегись! Вотъ вамъ и король!..»

Общій аплодиссементъ раздался со всѣхъ сторонъ. Генералъ-адмиралъ самъ хлопалъ въ ладони; даже нѣкоторые Голландцы бормотали одобрительно и вынимали деньги. Итогъ былъ весьма значительный, потому что въ прежнихъ партіяхъ было по десяти человѣкъ съ каждой стороны. Каждому Голландцу пришлось заплатить по девяносто шести рублей, каждому Русскому по тридцати по два рубля прежняго проигрыша.

— «Экой молодецъ!» сказалъ весело Апраксинъ. «Далъ себя знать. Видно, что чистой русской крови. Ну, братъ, ты у насъ сего дня за предсѣдателя! Пойдемте полдничать! Благо, вечеръ такой тихой; Нева-голубушка словно скатертъ какая! Ну, полно тамъ съ деньгами возиться. За столомъ разсчитаетесь. . Ну-ка, презусъ, садись и приказывай, что за чѣмъ подавать...»

— «Водочки, ваше графское сіятельство?»

— «Титулъ отбрось, а водки подай! Ты моего обычая не знаешь, такъ я тебѣ объявляю. Первое: не зови на пиръ, а позвалъ, такъ не чинись. Такъ чины отставь. Тутъ другая табель о рангахъ. Вотъ, ты у меня за удальство — начало, а я у те-

бя кравчій, за то что бутылочки-то мои... Эй, что же вы? Водки!..»

Началась обычная, апраксинская пирушка. Тутъ не спрашивали: кто и откуда пришелъ, какого чину и званія; знакомъ ли хозяину или нѣтъ. Вотъ тебѣ по всему саду столы съ закусками; одни отъѣдятъ, люди уберутъ; новыхъ яствъ нанесутъ, для новыхъ гостей. И за гостьми дѣло не станетъ; набѣгутъ и съ площади и съ Невы, покушаютъ, выпьютъ, и спасибо никому не скажутъ. Какъ пришли, такъ и ушли; добро бы въ садъ, а то и въ палаты зимой, та же открытая дорога; нигдѣ ни для кого заставы. «Русская хлѣбъ-соль» говаривалъ графъ: «кого кормитъ, знать не хочетъ; лишь бы здоровъ былъ, да зломъ не платилъ; а другой платы не надо.» — Батюшка-начальство! Что-то скучно! Прикажи пѣсельниковъ позвать. Пусть затянутъ: «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ...»

Степанычъ со всею театральною важностью приказалъ позвать пѣсельниковъ. Они давно были готовы и таились въ лодкахъ на адмиралтейскомъ каналѣ. По сигналу грянула пѣсня; изъ саду откликнулся другой хоръ другою пѣснею; и пошло въ перемежку. Вспомнилъ дѣтство Степанычъ, вспомнилъ и всю жизнь, эту скучную сказку памяти и на веселомъ пиру стало ему больно скучно. Пересталъ онъ пить, и отъ кравчаго давай отнѣкиваться...

— «Эй, гляди, изъ старшинъ разжалую!»

— «Право, не могу, душа не принимаетъ...»

— «Ну, за мое здоровье!»

Степанычъ схватилъ со стола рогъ, оправленный въ серебро и подставилъ...

— «Вотъ гость, такъ гость!» съ удовольствіемъ сказалъ кравчій, вынувъ бутылку въ рогъ. «У хозяина вина не хватило! Эй, венгерскаго! Вотъ теперь полна заздравная!..»

— «Здоровіе графа Ѳедора Матвѣича!»

— «Стой! Стой!» закричалъ кравчій и замахалъ объими руками. «Ужъ коли до здоровій дошло, начинай съ начала. Постойте-ка! Гдѣ мой мастерской кубокъ? Я — *басъ!* Мое дѣло по моему званію пить... За Царя-Государя! Ура!»

— «Ура!» грянули всѣ, поднявъ вверхъ кубки, рога, кружки, стаканы.

— «Пали!»

И пошла пальба, которая не умолкала до тѣхъ поръ, пока не отпили здоровье всѣхъ членовъ августѣйшаго дома, хозяина, родныхъ его, гостей, побѣдъ разныхъ, такъ, что даже Степанычъ усталъ.

— «Ну, орелъ ты мой, сказалъ кравчій, подходя съ бутылкой: подай-ко кружечку...»

— «Ваше графское сіятельство! Помилосердуй! Не могу; чуть дышу...»

— «Послѣднюю...»

— «Право, не подъ мочь...»

— «Ну, сдѣлай дружбу, выкушай! Что ты, Нѣмецъ что-ли? Не посрами родной сторонушки...»

— «Вотъ побожусь...»

— «Постой, не божись! Я на колѣнки передъ тобой стану, выкушай!»

И Графъ не пошутилъ, дѣйствительно сталъ передъ Степанычемъ на колѣни и жалобно просилъ:

— «Уважъ мою старость! Вспомни, Шведовъ вмѣстѣ били, вмѣстѣ пировали на землѣ свейской. За твои и за мои побѣды!»

Степанычъ уже стоялъ также на колѣнях и отнималъ у графа бутылку.

— «Нѣтъ, погоди, самъ налью! Вотъ оно, будто море, посередкѣ высится, а по краямъ, къ берегамъ скатывается. Гляди, не пролей. Вотъ такъ! Ну, спасибо! Поцѣлуй меня! Больше просить не буду...»

Эти тосты поглотили много времени. Стемнѣло.

— «Ну, Костыльковъ!» сказалъ графъ, и Степанычъ, какъ ни былъ памятью тяжелъ, а вспомнилъ и вздрогнулъ: «приказывай дальше!»

— «Что́ еще? Развѣ не конецъ?..»

— «Что́ ты это? Когда же у меня гости такъ рано расходились! На корабляхъ, такъ раньше другаго утра никто не смѣй уходить, ну, а здѣсь, раньше полуночи, развѣ воришка какой уйдетъ, на промыселъ, а честный человѣкъ досидитъ съ хозяиномъ. Ну, приказывай, не мнись!»

— «Да я, убей меня Богъ, если знаю, что приказывать...»

— «А видишь: яхта моя стоитъ; а за той яхтой — поромъ съ колесами. Ты только крикни: Начинай!»

— «Ну, начинай!..»

И плотъ вышелъ на середину рѣки; взвилась ракета, за нею другая, и богатый фейерверкъ отразился на Невѣ разноцвѣтными огнями. Зрители со всѣхъ сторонъ наполняли отлогіе берега Невы и громко изъявляли удовольствіе. Загорѣлся большой щитъ съ вензелемъ Государя и Государыни; всѣ сняли шапки и продолжительное ура загудѣло надъ Петербургомъ.

— «Finis!» сказалъ графъ и не прощаясь ни съ кѣмъ, даже съ своимъ «начальствомъ», ушелъ въ хоромы.

Степанычъ поспѣшилъ домой; но садясь въ лодку, онъ замѣтилъ, что на скамьяхъ стоитъ разная посуда серебрянная, завязанная въ салфетки.

— «Это что?

— «А это повара его сіятельства принесли. Крикнули Костылькова и поставили эту посудину. Мы спросили-было. Графъ жалуетъ сахарныхъ пироговъ со всего стола вашему барину на свадьбу.»

Таково было хлѣбосольство генералъ-адмирала. Мало того, что напоитъ, да накормитъ; нѣтъ, еще любимому гостю въ сани или въ лодку, сахарныхъ затѣйливыхъ пироговъ наложитъ, на томъ основаніи, что за пиромъ отъ этого роду блюдъ отнѣкиваются, такъ пусть же дома комплектъ установленныхъ на пиру кушаній пополнятъ. — Но эта пирушка на сей день не оставила уже Степанычу времени посѣтитъ другихъ благодѣтелей и гостей. Да и ноги и голова что-то жало-

вались. Съ трудомъ взошелъ Степанычъ по широкой тесовой лѣстницѣ съ точеными балясами въ свои апартаменты; располагалъ улечься спать; но вошелъ Жатый, Лукомкинъ и Малаша.

— «Боже мой! Васъ ли вижу?» вскричалъ Степанычъ, потирая голову.

— «Богъ ихъ послалъ ко мнѣ на помощь,» говорилъ Жатый, пока Малаша съ нѣжностью обнимала брата. «Ради Бога, скажи намъ, что́ ты хочешь дѣлать? Я не распечаталъ куверта, потому что свято чту приказанія того, кто мнѣ спасъ жизнь. Но тутъ говоритси про арештъ...»

— «Неужели ты хочешь погибнуть и насъ всѣхъ смертельнымъ горемъ опечалить? Пойдетъ слѣдствіе и насъ въ покоѣ не оставятъ. Братъ дорого́й и благодѣтель мой, подумай, что́ ты затѣваешь?!..»

— «И то сказать!» замѣтилъ Лукомкинъ: «кто объ этомъ дуракѣ станетъ теперь заботиться? Я говорилъ съ нимъ; онъ плачетъ и мечется, только того и ждетъ, что за нимъ караулъ придетъ и поведутъ раба Божія подъ срамное наказаніе. Онъ ото всѣхъ правъ своихъ отступается. Не только ребенка, жену кому хочешь даритъ, лишь бы ему выдана была на содержаніе малая-толика. Имя твое и родъ тебѣ передаетъ...»

— «О! Семенъ Романычъ! Ты знаешь все и могъ подумать, что я соглашусь принять навсегда, прозвище моихъ мучителей. Да! Я не отыму этого имени, но покрою его лобнымъ позоромъ... Сынъ моего врага и мой обидчикъ будетъ опель-

мованъ передъ юстицъ-коллегіею, а я, —солдатъ, буду при той церемоніи въ шеренгѣ стоять и приговаривать: «Такъ тебѣ злодѣй за отца твоего, за сиротъ Будимовскихъ, за сестру мою, за сиротку Грушу, за Дуняшу, дочку Сидорову, да за всѣ твои грѣхи и содомы!..» Неужели вы вздумали меня разжалобить, когда сама невѣста моя проектъ мой апробовала! Подражайте ей! Она знаетъ, что выходитъ за вѣчнаго солдата и не измѣняетъ любви своей... Чего вы боитесь? Розыска! Все учинено по закону. Никто не тронетъ васъ; будьте покойны! Костыльковъ претендовать уже ничего не можетъ, а сынъ Аграфены Кирилловны будетъ имѣть свое, Малаша свое, Жатый тоже; прочее раздадите, кому что принадлежитъ... Перестаньте же хныкать. Будто быть солдатомъ, уже несчастіе? Спросите у моего Трофима. Онъ вамъ скажетъ про солдатское житье-бытье. У насъ только одно желаніе, чтобы стояла война, да супостатъ былъ, а тамъ раздолье на ухорскомъ походѣ. Нынче Нарва провалилась, Прутъ высохъ; теперь мы то и дѣло подъ Полтавой гарцуемъ. Замирятся Шведы, найдутся другіе завистники. На всѣ концы свѣта опирается наше царство. Не вѣкъ жить вмѣстѣ; это хорошо для дѣтей жить артелью, а придетъ пора, — родные, что бобры, должны разбѣжаться, куды кого закинетъ жребій. Полно! Не мѣшайтесь въ дѣла мои! Они отъ вашихъ особнякомъ идутъ. А если за всѣ труды мои для васъ хотите мнѣ на послѣдяхъ утѣху сдѣлать, такъ не говорите ни слова, даже самимъ себѣ, и готовь-

тесь къ празднованію моего брака. Сегодня что́ у насъ? Вторникъ? Въ воскресенье свадьба. Надо покои поубрать, чѣмъ прилично; хочу фейерверкъ на Невѣ сжечь; хочу угостить по вельможески и, чаю, что мои благодѣтели, великіе сподвижники царскіе, домъ мой и праздникъ своимъ присутствіемъ осчастливятъ... А теперь, друзья мои, пора спать, чтобы завтра встать пораньше и дѣломъ заняться.»

— «Послушай, упрямецъ!» сказалъ Жатый. «Знаешь ли ты болѣзнь мою? Вѣдаешь ли ты, что смерть у меня сидитъ подъ сердцемъ? Поведутъ тебя подъ арестъ, а меня на одръ смерти положатъ. Не переживу я твоего несчастія...»

— «Такъ чего же ты отъ меня хочешь? Неужели того, чтобы я оставался воромъ и обманщикомъ и на чужое, нечистое и позорное имя копилъ честныя заслуги? Чтобы тать какой донесъ на меня, и вмѣсто солдатства, кнутъ и каторга постигли твоего друга? Любо тебѣ будетъ, что́ ли?.. Вѣрь мнѣ, я разсуждать умѣю. И если съ одной стороны честь вопіетъ, то съ другой и безчестіе устрашаетъ...»

Это разсужденіе заставило замолчать всѣхъ, и невольный страхъ оковалъ не только уста, но и души. Степанычъ воспользовался этимъ впечатлѣніемъ и продолжалъ:

— «Не пустыми контроверсіями и дебатами слѣдуетъ намъ заниматься. Всю нашу аттенцію должно къ тому приложить, чтобы двоякое дѣло мое къ благополучному исходу привести, и чтобы ни-

кому отъ моихъ акцій ущерба и урона не приключилось. Тогодля первое, надо мнѣ благодѣтелей моихъ видѣть; второе, время моего заключенія хорошими книгами обезопасить, чтобы не такъ скучно было безъ васъ сидѣть, и безо всякаго дѣла въ праздности не согнивать и не одичать. Третіе, жену мою отъ родни, ихъ глупыхъ попрековъ и того глупѣйшихъ утѣшеній укрыть гдѣ въ деревнѣ, отселѣ не далече. Четвертое, Костылькова за свои грѣхи много потерпѣла, и какая бы она ни была, все-таки мать своему сыну, то и ее припрятать съ дѣтищемъ въ безопасное мѣсто.»

— «Бѣдная!» сказалъ Жатый: «она и такъ вопіетъ, что не снесетъ разлуки съ сыномъ; рвется и мучается. А мужъ ее попреками и разными обидными словами такъ и бичуетъ...»

— «Вотъ, Малаша, это ужъ твое дѣло. Возьми ты и Груню подъ свой покровъ, какъ Дуняшу...»

— «Такъ я могу ее изъ западни выпустить?...»

— «Постойте! У насъ комнатъ много, да Костыльковы какъ-то на пути сидятъ, а домъ надо опростать для свадебнаго пиршества. Такъ Костылькова запереть тамъ, гдѣ во флигелѣ у меня для Сергѣя покой назначенъ. Къ тому же и Сергѣй въ Ревелѣ. Тогда у насъ во всемъ домѣ и просторъ и покой будетъ...»

Костыльковъ, вообразя, что его уже ведутъ въ темницу, валялся въ ногахъ неумолимаго Трофима и другаго денщика. Солдатская ихъ одежда придавала этой мысли видъ дѣйствительности. Съ трудомъ могли убѣдить его, что онъ только перемѣ-

наетъ квартиру, потому что эти комнаты нужны для Маланьи Степановны, сестры капитана.

— «Малана здѣсь?» воскликнулъ Костыльковъ. «Неужели и у нея такое злое сердце и она за меня не вступится!..»

— «Она за ваину милость и вступилась...» сказалъ Трофимъ. «Пожалуй иди, а не то потащимъ...»

— «А эту, на волю, что ли отпустятъ?» спросилъ Костыльковъ, указывая на жену.

— «Немогимъ знать! Ну, Илья, бери-ка его подъ руки...»

— «Я и самъ пойду...»

Поплли. На крыльцѣ стояла Дуняша съ Сидоромъ, который держалъ фонарь и горько плакалъ. Свѣтъ падалъ на румяное, полное лице Дуняши, которая у Лукомкиныхъ на покоѣ, и на волѣ, безъ страха и опаса, расцвѣла, какъ цвѣтокъ махровый... Взглянувъ на нее, Костыльковъ остановился...

— «И ты здѣсь!» сказалъ онъ, и вспыхнулъ старинным огнемъ.

— «Жаль мнѣ тебя, баринъ: теперь и тебя безъ жгута бьютъ...» сказалъ Трофимъ и увелъ почти насильно.

Аграфена Кирилловна вздохнула покойно, когда увели ея ненавистнаго мужа. Ласки Меланьи Степановны и Дуняши, и свиданіе съ сыномъ нѣсколько облегчили ея страданія, но зато слабость заступила мѣсто принужденной бодрости. Напряженіе силъ, которыя она должна была держать въ сборѣ, для того, чтобы сражаться съ мужемъ на словахъ, а иногда рѣчи свои подкрѣплять и военными

демонстраціями, было причиною, что по уходѣ Костылькова, она нѣсколько минутъ пролежала въ безпамятствѣ.—Когда очнулась, когда переговорила съ Малашей, увидѣла сына, странное чувство запало въ грудь ея. Она испугалась этого чувства, потому что Степанычъ никогда не могъ быть ея мужемъ, никогда уже не могъ полюбить ее. Тихая, но глубокая печаль пролилась по блѣдному лицу и исподоволь разрѣшалась тяжелыми вздохами. Всѣ эти ощущенія въ своемъ странномъ, необъяснимомъ переходѣ похожи были на цвѣта шелковой матеріи, которые то и дѣло переливаются, то красный мелькнетъ, то засинѣетъ, то золотымъ отольетъ и снова заволнуется неопредѣленною смѣсью, а какого цвѣта матерія и самъ фабрикантъ не знаетъ. Между женщинами въ тріумвирскомъ домѣ страдала только одна Груня; между мужчинами — не Костыльковъ: онъ еще не умѣлъ страдать, даромъ-что въ ногахъ валялся. Нѣтъ; онъ, просто, трусилъ, чтобы не повели передъ юстицъ-коллегію, трусилъ, какъ волкъ въ западнѣ: сколько ягнятъ изодралъ, а тутъ боялся мыши. Глаза и мысли его были направлены къ побѣгу. Не будь сторожей, онъ бы изъ окна выпрыгнулъ. Нѣтъ, не онъ страдалъ и не Степанычъ, который въ полной надеждѣ на свои заслуги и покровительство первыхъ сановниковъ, не сомнѣвался, что солдатство его не будетъ продолжительнѣе репнискаго. Напротивъ, въ разговорахъ съ родными и Жатымъ, онъ отдалъ себѣ полный отчетъ въ своемъ положеніи и сталъ уже заботиться о подроб-

постяхъ того состоянія, въ которое нисходилъ полной волей. Одно только опасеніе безпокоило его, чтобы какой-нибудь доносчикъ не предупредилъ его признанія. Страдалъ больше всѣхъ и страдалъ дѣйствительно, одинъ Жатый. Болѣзнь, которая постоянно усиливалась, придавала всему на что ни смотрѣлъ онъ, о чемъ ни думалъ, видъ черный. Онъ видѣлъ, что необходимость лишаетъ его друга, котораго онъ любилъ черезъ-чуръ, и полагалъ, что судьба все это устроила на зло ему одному, чтобы дополнить горечи и такъ уже въ горькую чашу его сиротства. Удушливый кашель огорченнаго Евгенія смутилъ не на шутку Степаныча.

— «Э, да ты, братецъ, прескверно кашляешь...»

— «Смерть... Смерть... Я слышу какъ она приближается...»

— «А вотъ я ее пугну по-нѣмецки! Завтра же она у меня ударитъ ретираду; я съ нею знакомъ; она что медвѣдь, встанетъ на заднія лапы, собирается душить встрѣчнаго и поперечнаго; а ты не робѣй, только мѣтко брось Мишкѣ въ глаза шапку, испугается, въ комъ свернется и покотится куда глаза глядятъ. На такого героя и смотрѣть смѣшно. Доживи, Евгеній Николаевичъ, только до завтра, сдѣлай мнѣ милость, доживи!.. А ужъ завтра я съ нею переговорю по-нѣмецки. Не даромъ въ Ревелѣ жилъ и тамошней грамотѣ учился. Будь спокоенъ. Ложись!..»

Уложилъ Степанычъ бѣдняго друга, простился и съ Лукомкинымъ, пошелъ самъ спать, да лечь

негдѣ; мѣсто его было занято; какой-то тать ночной изволилъ ночивать на его постелѣ...

— «Это что́ еще за сцена? Кто тутъ?»

— «Пошелъ вонъ! Не мѣшай, я сплю...» отвѣчалъ незваный, непрошенный, и, въ добавокъ, лягнулъ ногою такъ сильно, что если бы этотъ ударъ не былъ промахомъ, бѣда, кому бы онъ достался.

— «Э! да ты еще грубить! Вставай!»

— «Отвяжись!» закричалъ Земцовъ: «что́ это, право! Смерть спать хочется...»

— «Да и мнѣ тоже...»

— «Ну, такъ ложись и спи, а меня не тронь. А не то...»

И Земцовъ заснулъ.

— «Видно, мнѣ и эту ночь заснуть не придется. Пусть его спитъ; чай, меня и въ креслахъ освѣжитъ добрая дремота.»

Присѣлъ Степанычъ, и точно... Два три раза зѣвнулъ и проснулся отъ тихаго, сладостнаго шопота. Теплыя руки держали его руку и горѣли и дрожали; жаркій поцѣлуй въ уста угналъ послѣдній туманъ сна, и стало такъ ясно, какъ день на дворѣ, что передъ нимъ стояла Аграфена Кириловна, полуодѣтая, съ разметанными волосами; глаза были полны слезъ.»

— «Что́ тебѣ надо?» спросилъ Степанычъ, удивленный такимъ неожиданнымъ посѣщеніемъ.

— «Что́ мнѣ надо? Неужто мы и ради сына не помиримся? Неужто я ему не мать? А ты...»

— «Перестань, матушка, какъ тебѣ нестыдно!»

— «Чего стыдиться мнѣ? Развѣ глупостей своей, что въ дѣвкахъ не умѣла любить тебя такъ, какъ теперь полюбила. Была бы и весела и счастлива; и сына своего безъ отца бы не оставила. О, неужто, если и покаешься, такъ не прощаютъ!»

— «Да и не наказываютъ. А если думаешь, что у меня противу тебя какая злоба есть, такъ объявляю, что я ровно все забылъ и тебя простилъ...»

— «Забылъ! Вотъ это-то и грызетъ меня! А ты такъ любилъ меня; помнишь ли, что ты говорилъ мнѣ.»

— «Не помню. Говорю, что все забылъ и тебя прошу о томъ же.»

— «Не могу.»

И Груня зарыдала.

— «Да что ты ко мнѣ привязалась?» спросилъ Степанычъ, стараясь превозмочь чувство жалости, которое будило въ немъ воспоминанія. «Чего тебѣ отъ меня надо? Скажи, я постараюсь...»

— «Не можешь, Иванъ! Не можешь! И вотъ о чемъ болитъ мое сердце. Ты меня любить уже не можешь?»

— «Да зачѣмъ тебѣ любовь моя! Погрѣшила ты довольно, довольно за то и поплатилась; разсчиталась, ну, теперь, живи-себѣ ровно, какъ доброй женѣ и матери пристойно... Ты замужемъ, а я самъ женюсь въ воскресенье.»

— «Женишься?»

— «Надѣюсь.»

— «А сынъ нашъ?..»

— «Да что́ ты врешь про сына! Младенецъ Костыльковъ получитъ свое прадѣдовское наслѣдство и утѣшитъ мать—вдову...»

— «Иванъ Степанычъ! Умилосердись! Пожалѣй меня...»

— «Да чего ты хочешь, скажи! Я понять не могу...»

— «Не женись!»

— «Вотъ выдумала.»

— «Не женись, прошу...»

— «Ну, въ этомъ дѣлѣ и отца роднаго не послушаютъ...»

— «Не женись, говорю тебѣ, если не мнѣ, такъ сыну отдай любовь свою.»

— «Послушай, Груня! Вижу, что ты рехнулась. Не заставь меня опять подъ замо́къ засадить. А глупыя рѣчи твои доведутъ до этой крайности.»

— «Глупыя? Такъ ты любовь мою глупою называешь?»

— «Глупѣйшею!..»

— «Ну, такъ ты не женишься...»

— «Женюсь!»

— «Нѣтъ.»

— «Да!»

— «Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! Вотъ ты увидишь!»

— «Увидимъ, и ты и я! Нѣтъ, ты, можетъ-быть, и не увидишь...» сказалъ Степанычъ, схватилъ ее за руки и остановился въ раздумьѣ...

— «Что́ ты хочешь со мною дѣлать?» спросила Груня, поблѣднѣвъ и дрожа.

— «Любовь твоя меня тронула!» сказалъ Сте-

панычъ и отвернулся, чтобы утереть слезу. «Право, я не ожидалъ, чтобы ты надъ моимъ сердцемъ еще такую власть имѣла Но... люди проснулись... О, я готовъ успокоить тебя, Груня! Но могу ли я полагаться?..»

— «Другъ мой и мучитель! Горе меня исправило! Клянусь, я не та; другое душа думаетъ, другое сердце чувствуетъ... Вѣрь мнѣ...»

— «Вѣрю, но... люди проснулись... Если о любви говорить, такъ наединѣ, подальше отъ людскихъ ушей. Одѣнься! Мы поѣдемъ съ тобой, будто на прогулку, ради здоровья твоего...»

— «О милый! Помнишь ли? Милый мой! Не обмани меня...»

«Обману, непремѣнно,» думалъ Степанычъ, пока Груня одѣвалась: «съ мужемъ твоимъ предлежитъ послѣдній разсчетъ, и съ тобой тоже...»

На яликѣ объ одномъ гребцѣ поѣхалъ Степанычъ съ Груней вверхъ по Невѣ! Тотъ гребецъ былъ Трофимъ, вѣрный Трофимъ, за котораго Степанычъ не пожалѣлъ своей жизни и вырвалъ изъ рукъ королевскихъ драбантовъ. Изъ всѣхъ людей своихъ, на одного Трофима онъ могъ положиться, хотя и другіе слуги, какъ отца любили Степаныча. Сначала прогулка совершалась въ молчаніи; Груня ожила; румянецъ, хотя и болѣзненный, заигралъ во всю щеку; надежда оживила глаза, улыбка также мелькала на устахъ и, не смотря на свою худобу, Груня стала опять хороша...»

— «Куда мы поѣдемъ?» спросила она шопотомъ. «Въ Лѣтній садъ? Тамъ, чай, шумно...»

— «Видишь, моя милая! Мнѣ съ женщинами на этомъ свѣтѣ приходилось много дѣлъ имѣть... Когда чего захотятъ, то притворству у нихъ надо самому Остерману учиться... Есть случаи, когда онѣ и не притворяются; да какъ ихъ различишь съ подлогомъ! Послѣ того, что ты Вѣрочкѣ говорила, не въ правѣ ли я думать, что и сегодняшняя твоя любовь—женская штука...»

— «Какъ тебѣ нестыдно?»

— «Стыдно, да что прикажешь дѣлать! Ты меня сегодня своею правдою взыскала; послушай же и моей. Трофимъ у меня не слуга, а другъ; при немъ опаса нѣтъ. Такъ вотъ что. Первую тебя я полюбилъ всею душою, а ужъ первой любви изъ сердца до гроба не выкуришь. Богъ намъ далъ и еще союзъ. Чего бы кажется и желать больше? А если обманываешь меня, а быть-можетъ и себя? а если только сонъ ночной, или что ни есть другое, ты за правду приняла?.. Не клятвой, нѣтъ!.. Надо, Груня, иначе доказать, что ты меня безъ обмана любишь...»

— «О, хочешь, я сейчасъ брошусь въ эту рѣку?»

— «Такъ что же изъ того выйдетъ? Хлопоты, а, можетъ быть, я и счастіе мое потеряю. Нѣтъ, милая, у меня другая мысль. Можешь ли ты провести нѣсколько дней одна, въ постоянной молитвѣ?»

Груня поблѣднѣла.

— «Испытаніе самое слабое, но я надѣюсь, что оно успокоитъ твою душу, примиритъ съ небомъ,

дастъ тебѣ время извѣдать себя и увѣриться, точно ли ты меня такъ любишь какъ тебѣ кажется.»

— «Ты этого хочешь?..» едва слышно спросила трепетная Груня.

— «Требую. Вотъ монастырь святаго нашего героя князя Александра Невскаго. Видишь, въ густомъ лѣсу маковка золотая горитъ. Кругомъ лѣсъ дремучій; туда развѣ добрый молельщикъ, или грѣшникъ съ покаяньемъ, или страдалецъ съ недугомъ своимъ приходитъ. Отъ городскаго шума, отъ житейскаго соблазна — далече; не ограда одна; не дальнее отъ города разстояніе, нѣтъ: святость мѣста осѣняетъ и охраняетъ обитель въ пустынномъ лѣсу. — Во святыхъ храмахъ монастырскихъ, тамъ лучше сказывается человѣкъ самому себѣ, лучше узнаётъ свои силы и побужденія. Въ лѣсу живутъ схимники и схимницы. Я знаю тамъ одну старушку: у нея сынъ солдатомъ у меня служилъ, и съ честью; онъ былъ однимъ изъ лучшихъ моихъ налётовъ; ни одного дѣла не пропустилъ, и безъ раны; нѣсколько знатныхъ сраженій, и стычекъ безъ числа, невредимый прошелъ: охраняла его молитва благочестивой матери. Далъ я ему солдатское слово — матери его поклонъ отвезти. Вчера еще хотѣлъ побывать у нея, да...»

Степанычъ запнулся, вспомнивъ про Оленьку и про бесѣду, которая и тяготила его и радовала.

— «Вотъ!» продолжалъ Степанычъ: «я уповаю, что старуха не откажетъ принять тебя на нѣсколько дней. Прошу тебя, Груня, займись своею ду-

нею и совѣстью. Пока что̀ будетъ у насъ на Васильевскомъ, ты ни слышать, ни видѣть не будешь того, что̀ можетъ быть только растерзаетъ и такъ уже больную душу твою. Иначе, я любви твоей не повѣрю.»

— «На долго ли?.. «Едва уже могла произнести Груня.»

— «На три, четыре дня. Пока твоего мужа окаяннаго не пристрою, пока самъ не буду солдатомъ...»

— «Боже мой!..»

— «Вотъ, видишь, Груня, если мужа твоего сошлютъ и тебя вдовой сдѣлаютъ, готова ли ты быть солдаткой и нищей? Кромѣ солдатской сумы у меня ничего не останется Вотъ ты и объ этомъ подумай...»

— «Что̀ же?» спросила Груня, оправясь. «Такъ ты меня тутъ въ заперти держать будешь?»

— «Кчему! Безъ воли, что за покаянье!.. Вотъ и берегъ. Пойдемъ...»

Нѣсколько мгновеній Груня, какъ будто не рѣшалась выйти на берегъ; наконецъ нѣжно улыбнулась Степанычу, протянула ему руку и соскочила на берегъ. До монастырскаго острова оставалось еще съ четверть версты. Кругомъ, какъ сказали мы, никакого жилья не было видно. Но углубляясь въ лѣсъ, покрывавшій все пространство между Невою и нынѣшнимъ Лиговскимъ каналомъ, можно было по извилистымъ тропинкамъ догадываться, что тутъ не одни звѣри ходятъ. И теперь еще эта часть столицы, особенно къ Невѣ,

плохо застроена, а тогда наши путники встрѣтили только два шалаша, правда, съ дверьми и окошечками, спросили про Василису и, наконецъ, недалеко отъ рукава, обтекавшаго монастырь, нашли цѣлый русскій крестьянскій дворъ съ опрятной избой и крошечнымъ огородомъ; на огородѣ примѣтили женщину; она одѣта была старицей и съ костылемъ обходила свою доморощенную капусту.

— «Богъ помощь, матушка!» сказалъ Степанычъ.

— «Спасибо, кормилецъ! Будь надъ тобой благословеніе Господне...»

— «Я тебѣ, матушка, добрыя вѣсти привезъ о твоемъ сынѣ...»

— «Дурныхъ и быть не можетъ, а за память спасибо... Нѣлюди только дѣтищъ чуждаются.... Я его сама отвела въ приказъ на царскую службу, потому что Богъ такъ велитъ, и войску быть — Божьимъ закономъ установлено. Да я же его не въ яму бросила, не утопила, зла ему тѣмъ не сдѣлала, какъ людская глупость сказываетъ. Ну, что онъ? Коли можно что добраго про него разсказать, такъ утѣшь старуху, не утаи. А если и недоброе что́ къ нему отъ другихъ пристало, и о томъ объяви. Стану Бога и святыхъ его угодниковъ просить. Уврачу́ютъ...»

Степанычъ весьма обрадовалъ пустынницу разсказомъ своимъ. Она попросила дорогаго гостя въ избу, гдѣ былъ накрытъ столъ человѣкъ на двѣнадцать.

— «Попросила бы я тебя хлѣба-соли съ нами

откушать, да боюсь, чтобы ты нашихъ гостей не обидѣлъ. Ихъ най скушаешь; одинъ голоденъ будетъ...»

— «Кто же твои гости, матушка?»

— «Нищіе. Послѣ обѣденъ сюда придутъ; покушаютъ, что Богъ послалъ и разбредутся...»

— «Да развѣ ты не вѣдаешь, что нищимъ бродить не указано? что Государь и пристанище и одежду и харчи имъ отъ казны даетъ, лишь бы не шатались?»

— «Пусть указъ свое дѣлаетъ, а каждый христіанинъ свое.»

— «Да изъ какихъ же доходовъ, матушка, ты ихъ кормишь?»

— «У меня двѣ дочери подростки. Продала я свой домъ и землю, здѣсь избу построила; семь коровъ держу; молокомъ торгую; дѣтки и подоятъ и въ городъ на барскіе дворы отнесутъ, а деньги вонъ въ эту кружку. Она и насъ и братью питаетъ. Да и братья мои, хотя и одного здороваго нѣтъ, всѣ колѣки, — а все-таки — одинъ щепокъ нанесетъ; другой рыбицу поймаетъ; тотъ въ огородѣ провозится: чѣмъ могутъ старухѣ платятъ. Вотъ съ дровами намъ трудно; въ лѣсу живемъ, а топить не чѣмъ; ни одного деревца не замай; не указано рубить. Дай Богъ здоровья отцу игумену: отъ монастыря малую толику отпускаютъ. А чего не дохватитъ, кружка выручаетъ.»

— «Вотъ матушка и я твою кружку золотымъ пожалую...»

— «Что́ такъ много?»

— «Да, видишь, есть у меня просьбишка.»

И Степанычъ объявилъ свою странную просьбу... Старуха прищурилась и поглядѣла на трепетную Груню.

— «Изволь,» сказала она: «да гляди, чтобы ты какого соблазна честнымъ домомъ моимъ не прикрылъ или какого грѣха не утаилъ въ нищенской обители. На твою голову и отвѣть ляжетъ.»

— «Отъ соблазна и грѣха ее укрываю. .»

— «Ну, если такъ, я ей за мать родную буду...»

Степанычъ простился со старухой и Груней. Послѣдняя долго его не отпускала... Мучительныя сомнѣнія волновали нетвердую душу; она боялась остаться и воротиться; хотѣла заслужить довѣріе Степаныча и не находила довольно силъ въ себѣ для очищенія совѣсти тяжелымъ подвигомъ благочестія, къ которому ни въ родительскомъ дому, ни замужемъ не пріобыкла. Наконецъ съ плачемъ и отчаяньемъ уступила необходимости. Степанычъ вырвался изъ костлявыхъ рукъ ея, и быстро поплылъ по теченію, внизъ по матушкѣ Невѣ. Плылъ въ раздумьи до самаго Васильевскаго. Тутъ только вспомнилъ, что миновалъ домъ невѣсты и не посѣтилъ Оленьки, своей дорогóй солдатки. Но въ то же время на глаза ему попалось огромное недоконченное строеніе будущей Академіи Наукъ; онъ вспомнилъ про Жатаго, и приказалъ Трофиму войти въ гавань опрятнаго голландскаго двора,

который на той же набережной стоялъ, возлѣ самой академіи.

— «Дома Лаврентій Ивановичъ?» спросилъ Степанычъ у мальчика, который въ самой гавани мылъ банки и стклянки.

— «Въ классѣ. Да, чай, ученіе сейчасъ отойдетъ...»

Степанычъ пошелъ въ опрятный, обширный домъ. Не только въ покояхъ и сѣняхъ, но на крыльцѣ полы были чисто вымыты, обсыпаны елкой, а дорожка для ходьбы устлана была суконными плетенками или ковриками. Въ покояхъ пахло смолкой. Въ первомъ, довольно обширномъ, въ красивыхъ шкафахъ помѣщался знаменитый анатомическій кабинетъ, купленный Петромъ Первымъ у Рюйша. Во второмъ покоѣ, между различнаго рода банками съ кровавымъ содержаніемъ, на серединѣ, на большомъ столѣ, лежалъ живой человѣкъ, но безъ платья и жизни: то было бальзамированное, по правиламъ Рюйша, тѣло, преданное испытанію теплотою и сыростью. Петръ купилъ у Рюйша, вмѣстѣ съ кабинетомъ и секретъ бальзамированія тѣлъ, который и передалъ только одному хозяину этого голландскаго двора. За дверьми раздавался звучный, сильный и весьма пріятный голосъ наставника, заключившаго лекцію слѣдующими словами:

— «Вотъ, ребята! Объяснилъ я вамъ коротко, въ какой кругъ вступаете, да, послѣ Бога, надъ жизнію человѣческою власть имѣте! Власть эта не велика при величайшихъ знаніяхъ, но, отъ внима-

нія, труда и прилежности каждаго изъ васъ умножена быть можетъ, до того, что и васъ, какъ отца моего, какъ покойнаго Арескина, и какъ знаменитаго учителя моего Дю-Верноа, за волшебниковъ и чародѣевъ темный народъ принимать будетъ; только та разница, что цынче не только не сожгутъ никого изъ васъ, но чиномъ дворянами сдѣлаютъ, а жалованьемъ такимъ взыщутъ, что будто каждый изъ вотчины немалый доходъ имѣетъ. И еще лучше, потому что доходъ тотъ не подверженъ пожарамъ, неурожаямъ, саранчѣ, засухѣ, сырости, его же тля не тлитъ, и огонь не сожигаетъ. Только глядите, ребята, чтобы царскія деньги, которыя теперь на васъ идутъ, даромъ не пропадали. Учитесь прилежно, положите всѣ труды и мысли ваши на такую науку, которую безъ богохульства священною дерзну называти. Не скрою и того, что будучи его царскому величеству и царству его всѣмъ счастіемъ жизни моея обязанъ, никакого вамъ потворства или снисхожденія не окажу. Кто первой лекціи не запамятуетъ, и въ памяти своей не повторитъ и на бумагѣ не запишетъ, того я келейно розгами взыщу; кто во второрядъ нерадивымъ окажется, тотъ на дворѣ моемъ, при публикѣ съ барабаннымъ боемъ палочьемъ битъ будетъ; а кто и сея публичныя казни не устыдится, въ невѣжествѣ и лѣности коснѣти будетъ, того отдамъ въ солдаты для копанія каналовъ. Уговоръ лучше денегъ. Такъ впередъ знайте и вѣдайте, чего за преступленія монаршей воли ожидать имѣете, понеже не съ ули-

цы васъ похватали, на способности не глядя; но хотя изъ нижнихъ чиновъ, но уже грамотѣ обученныхъ, въ доброй кондуитѣ замѣченныхъ, и съ вольною головою, для всякаго высшаго обученія способною взяли и чрезъ то путь вамъ къ возвышенію открыли, а наукѣ разсадникъ такой заложили, какъ на острову аптекарскому растенію заводъ учредили. И паки реку: помните и выгоды, помните и взысканія, чтобы потомъ уже на меня не жаловаться. Симъ первый нашъ шагъ или вступленіе въ лекарскую науку и покончу. Завтра мы увидимъ, что въ той наукѣ иное отъ земли для пользы берется, другое отъ прозябенія, третіе отъ животныхъ, четвертое отъ стихій съобща или отъ элементовъ. Поэтому, для лекарской науки тѣ четыре знанія, паче другихъ нужны. Но какъ не можно всѣхъ ихъ въ одно время изучить и запамятовать, то мы спачала одно знаніе возьмемъ и себѣ усвоимъ, а именно, бо танику, то есть, о травахъ, кустахъ и деревьяхъ свѣдѣніе. И такъ до завтра! Читай молитву!»

Громко и ровно прочитана молитва. Двери отворились. Молодые парни, лѣтъ семнадцати и около того, чинно прошли мимо Степаныча, и безъ всякаго шума отправились по домамъ. За ними вышелъ и наставникъ, человѣкъ лѣтъ двадцати семи, въ черномъ кафтанѣ, такихъ же исподняхъ, чулкахъ и башмакахъ. Манжеты на груди и на рукахъ; на шеѣ большіе откладные воротнички; на головѣ огромный модный парикъ. Не смотря на молодость и замѣчательную красоту лица, онъ

имѣлъ строгій и сухой видъ. Замѣтя Степаныча, онъ съ важностію поклонился и, подойдя, спросилъ:

— «Что вамъ, господинъ офицеръ, угодно? Съ кѣмъ доставляете мнѣ гоноръ рандеву имѣть?»

— «Лейбъ-регимента капитанъ Иванъ Степановъ Костыльковъ...»

— «Очень радъ, господинъ капитанъ, если консилей моей могу быть вамъ полезенъ.»

— «Позвольте спросить: могу ли я видѣть господина архіатера россійскаго, лейбъ-медика Блументроста.»

— «Онъ передъ вами персонально.»

— «Какъ? Такъ это вы!... И такъ молоды?... И говорите такъ свободно по-русски?...»

— «Въ первомъ и во второмъ пунктѣ не я виноватъ. Я родился въ Россіи, въ Москвѣ; отецъ мой былъ главнымъ врачомъ царскаго родителя... Я выросъ на Руси. Обучался у отца. Потомъ уже въ Галлѣ, Лейденѣ, но паче въ Парижѣ... Но не угодно ли въ пріемную камору пожаловать; тутъ видъ не для всякаго пріятнымъ быть можетъ. Это моя мастерская; тутъ я и дисеекцію чиню и въ царскомъ секретѣ упражняюсь...»

— «Я и самъ изъ такихъ же людей; на войнѣ хуже, чѣмъ въ нашей мастерской. Тамъ живые безъ всякихъ правилъ разсѣкаются. Напротивъ того у васъ только интересъ для любознанія. Въ натурѣ ничего нѣтъ отвратнаго.»

— «Резонементъ подлинно справедливый. Мнѣ очень пріятно встрѣтить столь хорошо эдукованнаго

человѣка. Въ Венеціи или Амстердамѣ курсъ проходили?..»

— «У себя въ камерѣ, самоучкой, кое-какія знанія благопріобрѣлъ. За войной и другими заботами много времени утерялось. Я всегда былъ и есмь съ особенною веніерацією ко всякому ученію и ученымъ мужамъ, и счастливымъ себя почитаю, что съ такимъ, какъ вы, знакомитымъ художникомъ чрезъ окказію, вступаю въ знакомство... О себѣ объявлю, что хотя въ Ревелѣ на походѣ нѣкоторое знаніе нѣмецкаго языка и получилъ, но за недостаткомъ книгъ, теперь весьма опасаюсь и за то, что пріобрѣлъ.»

— «Приходите читать въ академическую библіотеку...»

— «Но академія не имѣетъ еще екзистенціи.»

— «Ошибочная пропозиція! Съ тѣхъ поръ, какъ Его Величеству угодно было на меня званіе президиса академіи возложить, она уже въ акціи, и я вамъ доложу, что акціи сіи суть не маловажны. Конечно, инаугурація и тріомфальное академіи открытіе послѣдуетъ не раньше, какъ зданіе оныя будетъ строеніемъ докончано, но не можете себѣ имагиновать, какъ у этихъ архитекторъ все медленно производится. Въ другихъ націяхъ такой домъ въ два, а ужъ никакъ не болѣе, въ три года совсѣмъ бы конструкціей окончали. А тутъ я и конца не вижу. Почему вотъ уже второй годъ, я не дожидаясь архитекторъ, мѣры мои предвосприналъ; профессоровъ по контрактамъ приговорилъ весьма ученыхъ; открылъ курсы физиче-

ской математики, и вотъ теперь Государь мнѣ изъ нижнихъ чиновъ тридцать парней пожаловать изволилъ, для обученія медицинѣ, чѣмъ я съ ними каждодневно упражняться намѣренъ. Но паче заботы мои обращаю на укомплектованіе разныхъ коллекцій, лучшихъ науки помощницъ, кои въ особой кунштъ-каморѣ расположа, публичному обозрѣнію представлю, дабы чрезъ то нѣкоторое возбужденіе любопытства въ темномъ народѣ нашемъ произвести и сентименты невѣжества и незнанія оскорбить, а сіе возбуждаетъ жажду къ питію моральному... Недавно Государь благоизволилъ указъ издать *о монстрахъ*, чтобы таковыхъ ко мнѣ или въ сенатъ доставляли. Принесли не мало интересныхъ объектовъ, но и глупостей было тутъ не мало. Одинъ мужикъ поймалъ бѣлаго попугая и, яко монстра, ко мнѣ презентовалъ, а у другаго жена взбѣсилась, тотъ сумасшедшую ко мнѣ привелъ и говоритъ:—Возьми, батюшка, уродца!..Но вотъ между такими монстрами принесли мнѣ и такого звѣрька, какого во всей зоологіи нѣтъ, и я, снявъ рисунки, въ заграничныя академіи отправилъ; не получилъ еще отповѣдей. Такожде и о путешествіи Мессершмидта по Сибири я писалъ уже нѣсколько писемъ въ Парижскую Академію. Не знаю, что учинено *). О! жаль, что вы военный! Вы дѣйствуете изъ Россіи экстентрически на чуждые народы. Ваша ин-

*) Въ слѣдующемъ году, 1720, эти любопытныя письма на французскомъ языкѣ были напечатаны въ Исторіи Парижской Академіи Наукъ.

флюэнція — политику и географію Европы и Азіи передѣлываетъ. Мы же, аматеры наукъ, на самую Россію дѣйство простираемъ — и дивно уму становится, въ какую бездну неизвѣстнаго мрака вступаемъ; что шагъ, достойно все изученія; Россія сама себя и чрезъ три и четыре вѣка, еще знать не будетъ. Какъ тотъ силачъ въ сказкѣ, что̀ костыля у него нѣтъ, такъ онъ дубъ рукою сломаетъ, пальцемъ вѣтвіе оборветъ и на прогулку идетъ, не супонуя, какой надо было силы и какихъ штрументовъ, чтотъ дубъ повалить. Такъ и Россія, не скоро дойдетъ до калькуляціи, какое могущество въ себѣ вмѣщаетъ. А къ тому достигнуть тогда только можно, когда въ деталяхъ все это царство осмотрѣно будетъ умными экспертами... Nota bene, самыми честными и не интересантами; когда все то на карты и таблицы будетъ уложено, подробно описано, другими и такими же экспертами повѣрено. И такой повѣрки одной мало; по крайней мѣръ чрезъ каждые двадцать пять годовъ, если не чрезъ десять, люстрацію такую возобновлять слѣдуетъ. Теперь какія къ тому препоны? Одна — необъятность территоріума, котораго термины теперь невѣдомы и чрезъ сто лѣтъ едва-ли въ извѣстность приведены будутъ; почему Государь, и справедливо, царство свое «Пятою частію свѣта,» титуловать изволитъ. И можно бы сію дивизію и въ наукахъ принять, если бы натуральныя границы были, а то угловато и, такъ сказать, языками и въ Европѣ и въ Азіи россійскія владѣнія въ чужія государства входятъ. По-

чему неоднократно отъ Царя слышанную мысль поистинѣ адмирую, что Россія даже въ тѣхъ терминахъ, въ какія ее привести Государь полагаетъ, остаться не можетъ, а подобно Генрику Четвертому надо старанія прилагать къ совершеннѣйшему царства округленію. И того достигать не вдругъ, дабы возрастающихъ силъ не истощить, а по ступенямъ и по времени. А на то могущества внутренняго у насъ довольно станетъ. Другое тому препятство — въ недостаткѣ экспертовъ. Ученые не такъ, какъ люди, плодятся. У одного ученаго отца, на оборотъ противу пословицы, всѣ дѣти уроды; одинъ, а много два удадутся. Тутъ пропорція размноженія совсѣмъ инако идетъ; и если въ дѣторожденіи можно геометрическую пропорцію припустить, то въ мультипликаціи ученыхъ и ариѳметическая не приложится. Да и самые эксперты, часто отъ науки и преизбытка эрудиціи, тупѣютъ и схоластически прю держатъ о словахъ, а дѣло не дѣлаетъ аванса. Нужно эксперту такое око имѣть, чтобы Божественный свѣтъ разумнаго взора проницалъ въ душу, такъ сказать, каждаго объекта и освѣщалъ ту его грань, отъ коей прямая польза проистечь долженствуетъ; понеже всѣ объекты не болѣе одного свойства имѣютъ, которое человѣчеству принадлежитъ. Прочіе онаго элементы въ связи съ другими натуральными причинами и дѣйствами, которыя свои особыя функціи имѣютъ и отъ человѣческой экзистенціи не депендуютъ. Того дивнаго огня, освѣщающаго сокровенную глубину вещей, и по исторіи, ни у кого

въ такой пропорціи не было, какъ у великаго нашего Государя. Ѣдетъ мимо, трава растетъ втунѣ, копной ложится и гніетъ. Хозяинъ видитъ и свойство пастбища и неисчислимыя пользы отъ скотоводства въ томъ мѣстѣ. И почитай у Ледянаго моря стада гигантическаго скота для всей Руси становятся источникомъ пропитанія и неизсякаемымъ магазиномъ. Видитъ солончаки, горькую почву, гдѣ быліе съ трудомъ прозябаетъ; указуетъ быть виноградникамъ и будто растеніе величеству генія повинуется, растетъ и обильный плодъ приноситъ. И гдѣ какой фабрикъ, мануфактуръ, или артизаиству какому распространяться по локальности способнѣе, царское око, такъ сказать, съ высоты птичьей, à vol d'oiseau, какъ говорятъ Французы, видитъ и на томъ мѣстѣ неискореняемо утверждаетъ. То же и по законамъ, то же и по флоту, и по войску, и по всѣмъ частямъ!.. Дивно! Человѣкъ безъ предразсудковъ уже не человѣка въ немъ адмируетъ. Онъ выше исторіи—и если о своей недолговѣчности сожалѣю, то поистинѣ потому только, что историческихъ писаній о великомъ строителѣ Россіи прочесть не удастся...»

— «Книга барона Шафирова однако же...» осмѣлился замѣтить Степанычъ.

— «Подканцлеръ изъяснилъ только мотивы шведской войны, которая, по-моему, есть эпизодъ самый маловажный въ жизни Государя, какъ политическое движеніе Россіи пріобрѣсти на Балтицкомъ морѣ значеніе морской потенціи. Въ дета-

лихъ это иммортальная пѣнма, но въ генеральныхъ экспрессіяхъ, съ примѣсью канцеллярской дипломатики, она для меня большаго интереса не имѣла. Прозвище у меня нѣмецкое, и всѣ меня оттого Нѣмцемъ быти чаютъ. Эта привиллегія даетъ мнѣ доступъ къ разнымъ нашимъ резидентамъ и я съ удовольствіемъ вижу, что чужеземцы, хотя и не охотно, съ больною венераціею о Петрѣ не только на словахъ резонуютъ, но и пишутъ. Тутъ есть гановерскій резидентъ Веберъ; онъ тщательно о настоящемъ времени матеріи собираетъ и меморіи свои комплектуетъ. О многомъ онъ и у меня спрашиваетъ. Изъ сей работы чаю прокъ видѣть.»

Степанычъ и забылъ о причинѣ своего пріѣзда. Рѣчи Блументроста поглотили все его вниманіе, и если бы архіатеръ не попросилъ Степаныча опять въ пріемную камору, тотъ бы не вспомнилъ за чѣмъ лейбъ-медика обезпокоилъ.

— «Я слишкомъ много чувствую, сколько виновенъ предъ вами, отнявъ у науки столько полезнаго времени,» отвѣчалъ онъ на приглашеніе: «цѣль моего посѣщенія была та, чтобы просить консиліи вашей для друга моего, одержимаго тяжкимъ недугомъ...»

Блументростъ, не отвѣчая, подошелъ къ окну и взялъ трость и шляпу.

— «Я хотѣлъ вамъ его сюда презентовать...»

— «Если болѣзнь сильна, то въ семъ мѣсяцѣ переѣзды не всегда хороши. У насъ уже осенью пахнетъ... А далеко?»

— «Сейчасъ за дворцомъ свѣтлѣйшаго...»

— «Такъ пойдемъ же къ сосѣду. Иногда часъ цѣлой жизни сто́итъ.»

Лейбъ-медикъ весьма похвалилъ Степаныча, что удостоилъ его своимъ довѣріемъ и не откладывалъ призвать на помощь врача.

— «Теперь еще,» говорилъ онъ: «никакой опасности нѣтъ и я за жизнь вашего друга отвѣчаю. Недѣли двѣ еще, и я принужденъ бы былъ молчать и утѣшать васъ пустыми надеждами. Я пришлю вамъ лекарство и наставленіе письменное, какъ употреблять его и какъ поступать въ леченіи. Жаль, что теперь позднее время, а то бы я васъ послалъ къ марціальнымъ во́дамъ въ Олонецъ. Хотя и отъ моихъ лекарствъ польза несомнительно произойдетъ, но по веснѣ извольте ѣхать въ Олонецъ...»

Блументростъ ушелъ, Степанычъ провожалъ его.

— «Вотъ и это наши архитекты не соблюдаютъ, чтобы около домовъ, гдѣ можно и гдѣ пристойно, деревья насаждать. И Государь того желаетъ, а господа архитекты по-сво́ему дѣлаютъ. Вотъ какое тутъ прекрасное мѣсто для сада.»

— «Завтра же садъ будетъ!» сказалъ Степанычъ.

— «Какъ завтра?» спросилъ Блументростъ и отъ удивленія остановился.

— «А вотъ приходите, Лаврентій Ивановичъ, и увидите!»

— «Неотмѣнно приду.»

И пошли дальше.

— «Позвольте спросить,» такъ началъ Степанычъ: «что́ вы теперь ученаго компоновать изволите?»

— «Не до композиціи теперь. Съ академіей и съ учениками много дѣла. Съ тѣхъ поръ, какъ изданo мое описаніе олонецкихъ минеральныхъ водъ, не успѣлъ для ученаго какого труда и пера въ руки взять.»

— «Все больные читаете.»

— «И то нѣтъ. Книгъ много изъ Гданска и Лейпцига новыхъ прислано; не успѣлъ и разрѣзать...»

— «Знаете ли что́, Лаврентій Ивановичъ...» И Степанычъ оглянулся. «Я къ вамъ такой респектъ ощутилъ, что насильно хочу войти въ конфиденцію и важный секретъ вамъ довѣрить.»

Блументростъ опять остановился и смотрѣлъ на своего конфидента въ оба.

— «За тайну объявлю вамъ, что ваши лекарства больному не помогутъ.»

— «Это почему?»

— «Больной ко мнѣ питаетъ нѣжную дружбу; такъ было судьбѣ угодно, чтобы я спасъ дважды жизнь его, разъ вынесъ изъ пожара, сегодня привелъ къ нему васъ... Несчастіе, которое меня на дняхъ постигнетъ, поразитъ его сильною печалію. Ради Бога, успокоивайте его добрыми слухами; увѣряйте, что арештъ мой скоро кончится; что я солдатомъ не буду; потомъ, что меня сослали только для вида въ армію, потомъ пошлите его въ Олонецъ. Я уже изъ арміи и самъ стану его утѣшать письмами, и кое-какъ дѣло уладится...»

— «Что́ все это значитъ?»

— «Я вамъ помогаю только лечить больнаго, а о прочемъ не спрашивайте.»

— «Но что́ же могли вы такого сдѣлать?»

— «Прошу васъ, не спрашивайте: фамильный секретъ, а если хотите помочь и моему здоровью, которое вскорѣ разстроится, то окажите благодѣяніе, когда я буду подъ арештомъ, пришлите и мнѣ лекарства.»

— «Да отъ какой же болѣзни?»

— «Отъ скуки! Нѣмецкихъ книжекъ, потому что я русскія всѣ прочиталъ. Могу ли надѣяться?..»

— «Извольте, хотя и странно...»

— «Еще разъ примите мою экскузу, что такъ много времени у васъ отнялъ...»

— «О... Нѣтъ... Ничего... Но, право, странно...»

— «Остаюсь съ полной сумбиссіей...»

— «Примите мой решпектъ... Но... по истинѣ... странно... Такого казуса мнѣ не удалось встрѣтить... До свиданія!..»

И Блументростъ, уходя, еще нѣсколько разъ оглянулся; но Степанычъ не объ немъ уже думалъ. Онъ поспѣшилъ въ Меншиковскій садъ, къ садовнику, переговорилъ о своей нуждѣ и выходя спросилъ: «Гдѣ Варвара Михайловна, въ Рамбовѣ или уже въ городѣ?..» Узнавъ, что она все лѣто провела въ лѣтнемъ княжескомъ дворцѣ, Степанычъ рѣшился зайти къ ней. Доложили. Принимаетъ.

— «Здравствуйте, капитанъ! Слышала я много добрыхъ вѣстей. Спасибо, что и про меня затворницу вспомнили. Садись, разсказывай, рада и видѣть и слушать. Ну, что́ Стокгольмъ!..»

— «Я сдержалъ слово, Варвара Михайловна! Былъ въ Стокгольмѣ...»

— «Слышала, слышала! Ѳедоръ Матвѣевичъ сегодня сказывалъ. Молодецъ! Спасибо, что и на чужой сторонѣ про меня вспомнилъ. А у князя ты былъ?..»

— «Не дерзаю...»

— «Нехорошо, капитанъ, право нехорошо. Онъ тебѣ протекцію оказалъ, а ты не поблагодаривши его. Пусть онъ теперь и не въ такой силѣ, да и не въ опалѣ. Правда, судъ его крѣпко мучитъ; то и дѣло отписывается, а Соловьевы, неблагодарные, на него разныя дрязги показываютъ. Я отъ стыда все лѣто тутъ просидѣла; ни въ Сарское, ни въ Петергофъ, ни даже въ Катарингофъ не ѣздила. Былъ у меня сегодня Государь. И утѣшалъ, и пенялъ, да что ты станешь дѣлать, совѣстно за свѣтлѣйшаго, и за сестру. А люди, знаешь, ради чужому несчастію. И теперь у него въ хоромахъ и десятой доли старыхъ поклонниковъ не увидишь. Ну, да Богъ милостивъ. Все уладится... Ну, а ты каково поживаешь?.. Скоро женишься?..»

— «Въ воскресенье.»

— «Что, какъ? Да разсказывай же скорѣе, не мучь! Смертъ знать хочется, какъ ты уладилъ. На Словцовой, а? Да разсказывай же...»

— «Варвара Михайловна! Вы взыскали своею протекціею недостойнаго...»

— «Это что за пѣсня?»

— «Нѣтъ, Варвара Михайловна, давно бы мнѣ

слѣдовало о моемъ окаянствѣ объявить и разумъ вашъ указалъ бы мнѣ путь праведный!. Вы не такимъ шавкамъ, какъ я, были спасительной совѣтчицей...»

— «Безъ комплиментовъ, Костыльковъ. Ихъ-то я ненавижу...»

— «Я приношу вамъ мою исповѣдь потому только, чтобы вы меня къ неблагодарнымъ не сопричислили. Я вамъ скажу въ чемъ бѣда моя и какъ поступить я намѣренъ...»

— «Да говори же, Костыльковъ, въ чемъ твоя бѣда?»

— «Въ томъ-то и бѣда, что я не Костыльковъ...»

— «Какъ? Что?..»

Степанычъ разсказалъ Арсеньевой опять всѣ четыре части изложенной выше исторіи, и опять предоставилъ намъ изложить окончаніе. Излагаемъ.

Варвара Михайловна долго медлила словомъ. Наконецъ сказала:

— «Богъ и Государь простятъ! Но — люди, общество, родные твоей Оленьки, которую теперь какъ дочь люблю и уважаю?.. Прожектъ твой также похваляю... Но спѣши и свадьбой и повинной Горе тебѣ, если стороной дойдетъ, а сколько и что могу я, вѣрь, не оставлю, потому что ты храбростью и умомъ всегда царству будешь полезенъ. А государству все-равно, Костыльковъ ли ты или Полосковъ. Ну, теперь послушайся моего совѣта! Ступай къ князю съ аттенціей; потомъ къ Андрею Ивановичу съ тѣмъ же, благо у Ѳе-

дора Матвѣевича былъ. Вотъ зайди и къ Синявину; сегодня съ Аланда пришелъ и Остермана привезъ. Государь его жалуетъ. Всѣхъ навести и респектъ отдай. Всѣ они въ дѣлѣ твоемъ пригодятся. Прощай! А за особое ко мнѣ довѣріе — благодарствую и радуюсь, что благодарнаго человѣка вижу. А въ эту добродѣтель я, признаюсь, и вѣру терять стала. Ну, ступай! Времени у тебя не много...»

Свѣтлѣйшій только-что воротился изъ военной коллегіи и собирался сѣсть за обѣденный столъ. Степаныча и не приняли бы, если бы князь не увидалъ его изъ окна и не приказалъ кликнуть. Примѣтно было, что Меншиковъ радъ былъ гостю, много о военныхъ дѣйствіяхъ разспрашивалъ, усадилъ съ собою обѣдать и за столомъ продолжалъ разговоръ, для обоихъ интересный...

— «Что́ же,» спросилъ князь: «досадно было, какъ не давали брать Стокгольма?! Это съ тобою первый случай; а каково-то было мнѣ съ Мардофельдомъ подъ Калишемъ. По пальцамъ разсчитать было можно большую викторію, а король на врага своего-ни самъ нейдетъ, ни насъ, союзниковъ, не пускаетъ. Я не утерпѣлъ и одинъ разбилъ Мардофельда. Признаюсь, и ты за хвастовство не сочти, просилась душа идти на Лейпцигъ къ Карлу въ гости. Куда! Король и думать не велѣлъ. Тогда и славы, правда, было больше. А теперь если бы мы и проиграли, то уже должны бы стыдиться. Но, можетъ быть, въ будущей кампаніи найдутся болѣе славные случаи.»

— Но, ваша свѣтлость, война уже кончилась...»

— «Въ десятый разъ, начнется въ одиннадцатый. Сегодня еще Остерманъ объявилъ, что на миръ никакой надежды, потому что англійскій флотъ за-правду пришелъ, походилъ по морю, какъ ночной сторожъ, подалъ на имя Государя письма и ушелъ, а Шведы ужъ думаютъ, что все воротили. Союзъ цѣлой Европы еще больше ихъ утѣшаетъ, да только та бѣда, что господа Шведы того не знаютъ, что́ у насъ въ военной коллегіи дѣлается. Могутъ жаловать, милости просимъ! Мы готовы! Вотъ ты конный! Если хочешь, можешь послѣ новаго года со мной на Украйну ѣхать; полки тамъ будемъ формовать, а къ кампаніи воротишься...»

Степанычъ, покраснѣвъ, благодарилъ за милость. Обѣдъ отошелъ. Князь былъ позванъ къ Государю— и Степанычъ воротился домой, но не надолго. Успокоивъ домашнихъ насчетъ Груни, успокоясь самъ насчетъ Жатаго, который уже принималъ лекарство и лежа перечитывалъ наставленіе, какъ лечиться,—Степанычъ опять сѣлъ въ лодку и поплылъ къ Остерману. Какъ ни былъ занятъ неутомимый министръ, однако же пожелалъ видѣть своего повара.

— «Эхъ, мусье!» сказалъ онъ: «видно надо тебя опять въ повара взять, чтобы ты гдѣ ни есть на шведской землѣ знатный огонь разложилъ. До будущей весны ждать, право, желудокъ не сваритъ. А на саняхъ не дурно бы прокатиться. Англичане зимою флота не пришлютъ, а у насъ без-

опасная дорога. Вотъ бы по тебѣ кампанія. Ну, да хотятъ все суптильно, деликатно обдѣлать. Пожалуй! Бумага нынче не дорога...»

— «И указъ новый сталъ,» прибавилъ Степанычъ.

— «Какой?»

— «За галернымъ дворомъ устроена мельница бумажная. Указано всякую безтряпицу собирать и приносить въ канцелярію полицейскихъ дѣлъ. Тамъ за нее деньги платятъ...»

— «Видно, хотятъ на этой мельницѣ бумагу вымолоть для аландскаго трактата. Кстати, у меня все бѣлье изодралось. Пошлю его на мельницу со всѣмъ аландскимъ архивомъ. Я голову ломаю, и у Шведовъ разумъ туманю, а имъ даютъ отдыхъ. Что, ты бываешь въ знатныхъ домахъ?»

— «Вчера имѣлъ честь ужинать у Апраксина, сегодня у свѣтлѣйшаго обѣдать...»

— «Что, какъ они? А?... Обязанность умныхъ людей адгерентовъ мирныхъ мѣръ оспоривать и доказывать, что война никакихъ штильштандовъ и прервы имѣть не должна, тѣмъ паче, что зимнимъ временемъ русское войско такъ же успѣшно дѣйствовать можетъ, какъ и лѣтомъ. Иногда, чего министеріи не повѣрятъ, то отъ простыхъ и сторонніхъ съ удовольствіемъ принимается. А тѣмъ паче отъ человѣка, каковъ напримѣръ остерманов-скій поваръ, кой языкомъ, какъ и ножомъ владѣетъ. Элоквенція иногда одна и та же, въ однѣхъ устахъ никакого эффекту не производитъ, въ другихъ убѣждаетъ...»

— «Но для такой элоквенціи надо имѣть запасъ.»

— «Какой?»

— «Знать зады и тайныя мысли!»

— «Въ томъ-то и бѣда, что у насъ тайныхъ мыслей нѣтъ. Мы вслухъ свою политику думаемъ. Потрудись прочесть любую Его Величества декларацію. Все наружу. Я о тебѣ такого мнѣнія, что у тебя министерскія способности есть.»

Степанычъ поклонился.

— «Я не шучу. Прочти одну или двѣ послѣднія деклараціи, вотъ хоть сію, которую я для англійскаго короля пишу. Государь ничего скрывать, никого щадить не хочетъ. Пиши, какъ дѣло есть. Но самъ согласись, что король сей декларацію не покажетъ. Да и какъ показать ему, что въ полученіи англійскаго престола, Бремена и Вердена, онъ нашему Государю обязанъ! Все сіе истина, тѣмъ паче король декларацію въ карманъ спрячетъ и сожжетъ, когда одинъ съ своею совѣстью въ кабинетѣ останется. Хитрость въ политикѣ такой же путь, какъ и оружіе. Тутъ никакой декларації не надо; а послать опять поваровъ въ шведскую землю и пусть, не трогая Стокгольма, стряпаютъ миръ, а ужъ мы заправимъ и на столъ подадимъ. А вотъ министры королевскіе.... Не уходи, останься...»

За докладомъ, вошли Жоффрей и Веберъ, одинъ англійскій, другой ганноверскій резидентъ.

— Здравствуйте, господа,» сказалъ Остерманъ весьма печально.

— «Что вы такъ скучны сегодня?..»

— «Я?.. Больному трудно веселиться, и притомъ дѣла тма. Сегодня только пріѣхалъ съ Аланда, и всю посольскую канцелярію ко мнѣ прислали...»

— «Мы пріѣхали проститься съ вами.»

Остерманъ вдругъ повеселѣлъ, къ немалому удивленію министровъ.

— «Такъ на ваше мѣсто другіе присланы?..»

— «Какъ? Вы развѣ не знаете, что у Англіи съ Россіей формальный разрывъ!»

— «Не можетъ быть! Договаривайте, договаривайте!»

Министры посмотрѣли другъ на друга, и хотя знали, что каждый шагъ совѣтника канцеляріи есть хитрость, но не менѣе того никакъ не могли понять, чему онъ радуется.

— «Такъ у насъ разрывъ?.. Поздравляю! Теперь я совершенно согласенъ съ этимъ господиномъ,» Остерманъ указалъ на Степаныча: «что въ Европѣ лучшіе политики не въ Англіи.... Ну, да это дѣло стороннее. Такъ вы ѣдете? Можетъ быть, васъ въ коллегіи задерживаютъ. Я всегда персонально такъ много уважалъ васъ, господа, что сейчасъ поѣду въ коллегію и отпуски вамъ изготовлю, подамъ къ подписанію канцлеру и подканцлеру и завтра же привезу вамъ ихъ на домъ, чтобы передъ отъѣздомъ имѣть удовольствіе и счастіе еще разъ засвидѣтельствовать то безпредѣльное уваженіе, коимъ преисполнена душа моя.»

— «Помилуйте, да къ чему же такая поспѣшность?.»

— «Боюсь контръ-ордра!»

— «Да какую же пользу вы видите въ разрывѣ съ нами?»

— «Съ вами, Боже сохрани! Съ націей будетъ прежняя дружба. Торговля не прекратится, привиллегіи не отымутся...»

— «Вы полагаете...»

— «Ручаюсь! Это король, это даже не король Англіи, а курфирстъ ганноверскій. Ему угодно занять Европу новинкой. Впрочемъ, оригинальность въ британскомъ духѣ. Мнѣ самому нравится эта шутка.»

— «Какъ, вы полагаете, что это шутка?»

— «Такая же, какъ и письма Картерета и Нориса. Представьте, что́ они вздумали. Сидимъ мы на Аландскихъ веселыхъ островахъ и умираемъ со скуки. Вдругъ пріѣзжаетъ какой-то Берклей и привозитъ письма на имя Государя. Отъ кого? Отъ Картерета и Нориса. Мы засмѣялись. Пожалуйте копіи съ тѣхъ писемъ. Важно написано. Можно бы подумать, что эти грамоты написаны послѣ генеральной викторіи и по истребленіи всего русскаго флота и арміи. Мы опять засмѣялись и отправили Берклея и письма обратно, поблагодаря за доставленное намъ развлеченіе... Вы читали эти письма?»

— «Нѣтъ!» отвѣчалъ въ сердцахъ Жоффрей. «Я держу пари, что эти письма и весь этотъ поступокъ произошли безъ вѣдома короля и націи...»

— «По крайней мѣрѣ за націю я ручаюсь...» перебилъ съ жаромъ Остерманъ.

— «Истинно такъ!» подхватилъ Жоффрей. «Я увѣренъ, что нація объ этомъ спроситъ у кого слѣдуетъ...»

— «Прикажите націи спросить объ этомъ у цесарскаго и саксонскаго резидентовъ; я полагаю, что подлинники писаны въ ганноверской канцеляріи, подъ диктовку Цесарцевъ. Мы тоже хотимъ узнать объ этомъ и потому послали къ Цесарю всѣхъ іезуитовъ, сколько ихъ ни было въ Россіи. Тамъ они нужнѣе, чѣмъ здѣсь.»

— «Какъ, іезуиты высланы?»

— «Я думалъ, что вы объ этомъ давно информованы. Уже прошло болыше двухъ недѣль.»

— «По-дѣломъ... Но, право, почтенный господинъ Остерманъ, я ужасно боюсь, чтобы Государь Петръ не отнесъ королевскихъ поступковъ на счетъ націи...»

— «Этимъ вы обязываете меня ко взаимной конфиденціи. Я вамъ за тайну прочту кое-что... Ну, прощай, капитанъ. Всегда радъ тебя видѣть... Прощай!.. Теперь ты не нуженъ, потому что я имъ прочту болынія непріятности, для того, чтобы въ Англіи знали, что къ королю писано. Пусть себѣ тогда декларацію въ карманъ прячетъ...»

Степанычъ, посѣтивъ еще Синявина, отправился наконецъ къ невѣстѣ, которая во весь день отъ окна не отходила и поджидала жениха. Вечеръ прошелъ въ пріятныхъ разговорахъ. Княгиня на всѣ лады отнѣкивалась отъ того, чтобы свадьбу играть въ воскресенье. И приданое неготово, и Борисъ не пріѣхалъ изъ Ревеля, куда съ полкомъ

переѣхалъ на корабляхъ, и бала изготовить нельзя такъ скоро. Но Оленька настояла на своемъ. Положено свадьбу съиграть тихо, въ семьѣ, а парадному балу съ музыкой, танцами и фейерверкомъ быть черезъ восемь дней... Княгиня уступила, но только въ надеждѣ, что какое нибудь обстоятельство поможетъ ей отложить этотъ бракъ, къ которому у нея сердце не лежало. Княгиня не обманулась въ разсчетѣ.

—

ГЛАВА ПЯТАЯ.

ОДИНЪ ИЗЪ ФИНАЛОВЪ.

Рано утромъ, часу въ пятомъ, Степанычъ уже былъ на ногахъ Господа еще спали, но за то слуги и наемники всю ночь напролетъ проработали. Множество ямъ было изготовлено вокругъ всего тріумвирскаго дому. На трехъ телѣгахъ садовникъ Меншикова привезъ порядочныя липы; корни ихъ съ землею покоились въ парусиныхъ чехлахъ, взмоченныхъ водою. Стали сажать деревья въ ямы: садъ на глазахъ росъ; красивая аллея подымалась съ обѣихъ сторонъ дома и шла соединиться у парадnаго балкона. Показалось солнце, и садовникъ спѣшилъ, чтобы успѣть усадить липы прежде, чѣмъ обогрѣется воздухъ. Степанычъ дотого усердствовалъ въ этой работѣ, что собственными руками ухватилъ липу, поставилъ въ яму, выдернулъ бережно парусину и сталъ засыпать лопаткой землю.

— «Какъ думаешь? Примутся?..»

— «Не вѣдаю. Еще осень недалеко ушла, отвѣчалъ садовникъ: да на Божью милость нѣтъ закона. Иногда и въ порядкѣ засадишь, не примутся; иногда середь лѣта перетащишь, растетъ и высится. Да вѣдь и то сказать, пригладимъ, присмотримъ; которая заноровится, расти не захочетъ, такъ мы ту смѣнимъ и садъ все-таки устоитъ...»

— «Ну, послѣдняя! Этой никто не моги сажать! Самъ хочу голубушку въ яму уложить... Ну ка! Пожалуй!»

Липа опустилась въ свое ложе. Всѣ работники окружили ее и каждый бросалъ на ея корни землю; никто и не замѣтилъ, что противъ тріумвирскаго дома остановилась лодка, изъ лодки вышелъ Государь и тихо подошелъ къ трудящимся.

— «Богъ помощь!» сказалъ онъ.

Всѣ оторопѣли, и, сорвавъ шапки, чинно стояли передъ Петромъ. Государь, осмотрѣвъ снаружи домъ и новорожденный садъ, сказалъ:

— «Ну, не правда ли, что теперь лучше? Одно упрямство того видѣть не хочетъ. Кто здѣсь хозяинъ?»

— «Я...» едва слышно сказалъ Степанычъ.

— «Спасибо. Да, кажется, мы съ тобой на Котлинѣ и въ Ревелѣ видались. И на корабляхъ я тебя усматривалъ... Какъ тебя зовутъ?..»

Степанычъ задрожалъ всѣмъ тѣломъ. — Орлиный взоръ Петра впился въ Степаныча и читалъ его душевную бурю... Замѣшательство его возрастало; Государь опять спросилъ:

— «Что́ же ты не отвѣчаешь? Развѣ имени нѣтъ?»

— «Есть, на несчастіе. Кто у меня́ спрашивалъ, всякому я чужимъ именемъ себя называлъ. Но тебѣ, моему Государю, солгать не могу.»

— «Что́ это значитъ? Говори! Признавайся!»

— «Я не Костыльковъ, Государь...»

На гнѣвномъ лицѣ Государя блеснулъ лучъ милости.

— «Такъ не ты съ Синявинымъ корабли бралъ?»

— «Я.»

— «Не ты команду держалъ надъ нерегулярнымъ войскомъ подъ Стокгольмомъ?»

— «Я.»

— «Ты драбантовъ снялъ?»

— «Я.»

— «И за́мокъ графскій взорвалъ?..»

— «То же я...»

— «И ты подъ чужимъ именемъ служишь?»

— «Служилъ, Ваше Величество, а теперь и я, Полосковъ, и довѣритель мой, Костыльковъ, тебѣ повинную приносимъ. Казни и наказывай.»

— «Не мое дѣло! На то есть свои мѣста. Поступятъ по законамъ...»

Государь спѣшно отошелъ, сѣлъ въ лодку и поѣхалъ въ галерную гавань осматривать работы, а можетъ быть и самъ работать... Степанычъ стоялъ какъ вкопанный; Лукомкинъ, Малаша, Жатый сбѣжали внизъ; люди Степаныча стояли, повѣся головы. Садовникъ въ ужасѣ бѣжалъ, за нимъ и

наемные работники... Плачъ Малании возвратилъ чувства Степанычу.

— «Совершилось!» сказалъ онъ со вздохомъ. «Солнце счастія моего закатилось. Не видать мнѣ тебя, Оленька. Случай предупредилъ насъ и помиловалъ тебя! Слава Господу: ты не будешь солдаткой. Ну, перестаньте же хныкать! Подавайте лодку и Костылькова. Чинъ пока при мнѣ, такъ слушаться! Эй, Трофимъ!»

Пока привели Костылькова и подали лодку, Степанычъ переходилъ изъ рукъ въ руки и прощался съ домочадцами своими. Больше всѣхъ плакалъ Сидоръ: онъ терялъ двухъ бариновъ; не смотря на то, между слезъ и рыданій успѣвалъ читать обычное поученіе.

— «Ну, довольно!» сказалъ наконецъ Степанычъ, вырываясь изъ объятій Жатаго. «Не забудь прочесть моего завѣта, если услышишь, что я уже солдатъ. Да пошли за Груней моего Трофима; и эта предосторожность безнужна теперь. Не Груня, само небо счастію моему помѣшало. Прощайте!»

Долго глазами, полными слезъ, провожали обитатели тріумвирскаго дома двухъ Ивановъ, двухъ Степанычей, двухъ Костыльковыхъ, которые вышли у Троицкой пристани на берегъ, зашли въ соборъ, одинъ горячо помолился, другой простоялъ, будто ума лишенный; оттуда, взявъ подъ руку Костылькова, Степанычъ отправился къ Девіеру.

— «Ну, выдумалъ ты сказку!» сказалъ Девіеръ, когда Степанычъ объяснилъ ему, за чѣмъ пришелъ и отдалъ па[illegible]ъ.

— «Жаль, что это не сказка! Объяви куда намъ идти, и гдѣ суда ждать...»

Съ трудомъ Степанычъ убѣдилъ Девіера, что онъ и товарищъ его должны быть арестованы, что канцелярія полицейскихъ дѣлъ, снявъ съ нихъ повинное показаніе, имѣетъ при рапортѣ препроводить ихъ съ повинною въ военную коллегію и такъ далѣе, и такъ далѣе.

— «Ну, такъ сидите же подъ арештомъ у меня въ канцеляріи, а я прежде доложу Государю...»

Пока Девіéръ былъ у Государя, или лучше сказать у Государыни, потому что Царь еще не возвращался, пока наконецъ по возвращеніи Петра, Девіéръ получилъ отъ Царя на сей предметъ инструкцію, Степанычъ сидѣлъ въ канцеляріи и писалъ повинную. Нѣсколько листовъ исписалъ онъ, кончилъ, взявъ руку Костылькова, вложилъ въ нее перо и провелъ подпись. Возвратился Девіеръ, и приказалъ съ короткимъ отъ себя рапортомъ отправить преступниковъ въ коллегію. Еще и солнце не зашло, а уже весь городъ зналъ о странной исторіи Костыльковыхъ. Одни жалѣли, другіе радовались. Молва на своихъ крыльяхъ растеряла исторію, но за то пополняла утраты вымыслами. Словомъ, черезъ стѣну повѣсть эта разсказывалась инако. Обошла она всѣ петербургскіе острова и островки; не заходила только въ лѣсъ, что́ былъ у Лавры, полагая, что тамъ никто не могъ принимать участія въ Костыльковыхъ. Но читателю извѣстно, что тамъ проживала на покая-

ніи и на искусъ Груня, которой оба Костылькова были слишкомъ близки. Она плохо спала прошедшую ночь; успокоясь, и наединѣ обдумывая свое положеніе, она набрела на весьма естественную мысль, что Степанычъ удалилъ ее отъ себя именно для того, чтобы она не помѣшала его женитьбѣ. Едва родилась эта догадка, и обратилась въ убѣжденіе. Съ трудомъ Груня могла дождаться утра; когда порядочно разсвѣло, она тихо вышла изъ избы, пошла на берегъ; ни одной лодки; пошла дальше; по берегу вилась дорога; не куда же путь идетъ, какъ въ городъ. Груня шла, шла; но вотъ дорога поворотила налѣво въ кустарники. Прошла она кустарники и очутилась опять на берегу Невы, но далече видна была Троица, а на этой сторонѣ тянулись вдоль по рѣкѣ боярскія хоромы. Противъ дома, который занимала мадамъ Гоппъ, стояла лодка. Гребцы спали на берегу сномъ крѣпкимъ; Груня остановилась.

«Видно, перевозчики!» подумала она. «Да у меня денегъ съ собою нѣтъ. Чай повѣрятъ, а на мѣстѣ Сидоръ расплотится. — Эй, ребята! Что возьмете на Васильевской?..»

— «Видишь, что выдумала... Такихъ барынь нашъ елботъ даромъ возитъ, когда князю угодно... Отваливай!.. Спать хочется. Всю ночь прождали...»

— «Кого же вы прождали?»

— «Да кого ждутъ, какъ не барина. Онъ-себѣ тамъ забавляется, а мы тутъ щелкай зубами... Чай, однако, скоро выйдетъ. Солнце поднялось

порядочно. Эй, вставай, ребята. Опосля свое доспишь.»

И кстати скомандовалъ гребецъ. Закутавшись въ широкую, приватную епанчу, князь чуть не бѣгомъ шелъ со двора мадамъ Гоппъ. Хотѣлъ уже перепрыгнуть въ лодку, но увидѣлъ Груню и остановился.

— «Что, душенька, ты тоже изъ этого дома?..»

— «Нѣтъ! Съ Васильевскаго...»

— «А какъ тебя миленькая зовутъ?..»

— «Аграфеной...»

— «Грушей, то есть. — А еще какъ?»

— «Еще Кирилловной, еще Ломжиной, да Костыльковой!»

— «Костыльковой! И князь отъ невольнаго удивленія раскрылся.»

— «Ахъ, Боже мой!» Въ свою очередь вскрикнула Груня... Она узнала въ князѣ того самаго офицерика, о которомъ мечтала еще въ Москвѣ и бесѣдовала такъ неосторожно съ Вѣрочкой.

— «Что такое?» спросилъ князь.

— «Ничего-съ, такъ, укололо что-то...»

— «Такъ вы, съ позволенія спросить, сестра Ивану Степанычу...»

— «Нѣтъ-съ! Съ позволенія сказать, жена!»

— «Жена! Такъ Иванъ Степановичъ женатъ? Давно ли?»

— «Да, будетъ съ годъ! Уже сынка Богъ далъ... А вы знакомы?..»

— «Какъ же-съ, друзья! Но я ему никакъ не

прощу, что онъ, имѣя такую красавицу жену, на Ольгѣ Петровнѣ женится...»

— «На какой Ольгѣ Петровнѣ?..»

— «На Словцевой... Я отъ него и ожидалъ такой удали... Я всегда подозрѣвалъ, что тутъ что́ нибудь кроется... А вы давно въ Питерѣ?»

— «Таки давненько... Да, позвольте узнать, гдѣ же эта невѣста живетъ?»

— «Вонъ тамъ, на боярской набережной...»

— «А, скоро свадьба?»

— «Говорятъ, сегодня...»

— «Такъ и есть! О, поѣдемъ, сдѣлайте милость, поѣдемъ, я разстрою эту свадьбу...»

— «Съ удовольствіемъ! я всегда готовъ помогать ближнему.»

Въ домѣ княгини давно уже поднялась суматоха. Услужливые люди чуть ли къ ней не къ первой принесли вѣсть о метаморфозѣ Степаныча. И разсказывалъ ей такую диковинку не какой-нибудь оторви-голова, всеобщій женихъ, интригантъ или что́-либо тому подобное. Нѣтъ. Наше новое лице, знатной фамиліи человѣкъ, богатый вдовецъ, бездѣтный полковникъ Рысаковъ, извѣстный и добрымъ поведеніемъ и хорошею службою, которая на-время призвала его для нѣкоихъ причинъ въ Петербургъ въ военную коллегію и опять за оправданіемъ приглашала къ полку воротиться. Полковникъ съ княгиней былъ сосѣдъ по деревнямъ и даже въ дальнемъ родствѣ состоялъ. Пока коллегія дѣло его разбирала, онъ навѣщалъ сосѣдку и племянницу полюбилъ тою благоразумною вдов-

цовскою любовью, которая уже не о красотѣ, а больше о душевныхъ и, такъ сказать, административныхъ качествахъ хлопочетъ. Зрѣлый умъ, твердый характеръ, всегдашняя важность и спокойствіе ручались, что Оленька будетъ образцовою хозяйкою и примѣрною полковницей. Привыкнувъ на войнѣ къ правильнымъ осадамъ, къ правильнымъ сраженіямъ и вообще къ артикулу, Рысаковъ и здѣсь хотѣлъ примѣнить военную науку. Почему прежде всего рекогносцировалъ Оленьку; и отъ опытнаго глаза не укрылось, что сердце ея уже принадлежитъ другому. Хотя это открытіе стоило самой сильной раны, но Рысаковъ скоро оправился и продолжалъ наблюдать противную сторону. Оленька съ своей стороны питала къ нему особенное уваженіе, узнала отъ него въ подробности всю военную современную исторію, потому что Рысаковъ началъ службу еще въ Потѣшныхъ. Бесѣды его такъ были заманчивы, такъ освоили съ историкомъ и княгиню и Оленьку, что его принимали какъ домашняго; вовсе съ нимъ не чинились и мало-помалу Оленька сдѣлала его наперсникомъ и тайнымъ совѣтникомъ своего кабинета. Благородный Рысаковъ, узнавъ кто его соперникъ, затаилъ благоразумную любовь, и началъ ретираду съ такимъ искуствомъ, какъ Ксенофонтъ въ виду могущественнаго непріятеля, безъ малѣйшаго урона. Но когда въ военной коллегіи узналъ о повинной двухъ Костыльковыхъ, о ихъ арестѣ, слѣдствіи и судѣ, угрожавшемъ обоимъ немаловажнымъ наказаніемъ, Рысаковъ измѣнилъ нѣсколько своему благородно-

му характеру и сталъ ужаснымъ вѣстникомъ. Оленька, хотя каждую минуту могла ожидать, что подлогъ откроется, не снесла однако же удара и безъ чувствъ упала на-земь. Княгиня также измѣнила своему характеру. Ей слѣдовало опечалиться, а она не къ мѣсту обрадовалась.

— «Такъ и есть!» воскликнула она, вскочивъ съ мѣста: «я говорила, что у него мужицкая натура; съ вида замѣтно было, что холопъ. И дерзкій этакой! Ему ни почемъ! Въ чужой инкуръ щеголялъ. Экой, прости Господи, мошенникъ...»

Оленька хоть и пришла въ себя, хотя и слышала какъ честятъ жениха, но не могла, не умѣла его оправдывать. Да и самое горе восторжествовало надъ ея умомъ и нравомъ. И она сказала тоже что́ и Степанычъ: «Совершилось!» и погрузилась въ совершенное самозабвеніе. Отвратительно было бы повторять выраженія, которыми княгиня удостоивала Степаныча. Злоба и радость въ страшной смѣси похожи на огонь и воду въ ихъ столкновеніи; не тушитъ вода огня, но распаляетъ. Не закрылись еще уста, изъ которыхъ хула извергалась волканомъ, какъ вошелъ князь съ Груней, безъ доклада.

— «Простите, матушка-княгиня,» сказалъ онъ низко кланяясь: «не мое дѣло, а ваше. Вотъ рекомендую госпожу Костылькову; супруга Ивана Степаныча говоритъ...»

— «Что? Супруга? Какого Костылькова?» спросила Оленька, вскочивъ съ мѣста. Естественно, что Степанычъ не находилъ нужнымъ посвящать

въ свои любовныя таинства невинной невѣсты... Но также натурально она спѣшила разрѣшить этотъ вопросъ, догадываясь, что эта женщина могла быть женой настоящаго Костылькова. Но злая Груня также спѣшила разрушить свадьбу и просила княгиню и Оленьку на секретъ. Рысаковъ и князь откланялись и уѣхали. Груня бросилась въ ноги Оленькѣ и умоляла не выходить замужъ за отца несчастнаго ребенка, который непремѣнно потеряетъ или одного или другаго родителя, и что она надѣется, что обманщикъ, если будетъ освобожденъ отъ суда, возвратится къ долгу и загладитъ свой поступокъ. Въ погибели мужа Груня не сомнѣвалась... Можно себѣ представить каково было Ольгѣ; блѣдная, съ заплаканными глазами, съ устами посинѣлыми, она сидѣла въ креслахъ неподвижно; ни слова не вымолвила, даже не вздохнула; она начинала вѣрить въ рѣчи княгини, хотя и не въ такой еще степени обвиняла Степаныча, На бѣду пріѣхалъ изъ Ревеля Борисъ. Не успѣлъ онъ войти въ комнату, княгиня въ одно мгновеніе доложила ему обо всемъ, что тутъ происходило.

— «Такъ видно и Прейсъ не солгалъ!» сказалъ Борисъ.

— «Какой Прейсъ?»

— «Есть въ Ревелѣ богатый ратсгеръ. Этотъ самозванецъ сначала сватался на его дочери, а потомъ сталъ приставать и къ его служанкѣ...»

Оленька закрыла глаза рукой, и какъ-будто хотѣла дать знать, что уже довольно этихъ страшныхъ вѣстей... Но бѣда одна не ходитъ. Пріѣха-

ла еще доносчица, мадамъ Гопиъ. Ее не пускали, но она ворвалась въ гостинную и подбѣжавъ къ княгинѣ, спѣшила разсказать, чтобы ее не перебили и не остановили.

— «Я все слыхала. Мнѣ много людей разсказывалъ; я такъ любитъ ваше сіятельство. Такъ много уважаитъ. Не можетъ молчать, когда знаетъ. У господинъ вашъ жениха есть любовница, изъ Англіи, миссъ Адда. Она со мной познакомился и просилъ узнать гдѣ живетъ ея амантъ. Она къ нему изъ Стокгольмъ пріѣхалъ.»

— «Умилосердись!» закричала не своимъ голосомъ несчастная невѣста и убѣжала въ свою комнату; но тамъ смертельный холодъ оковалъ всѣ ея члены. Ознобъ былъ такъ силенъ, что Палашка перепугалась и бросилась за княгиней. Пока прибрела старуха, Оленька запылала огнемъ и бросилась въ объятія тетки, называя ея другомъ милымъ, непаглядным мужемъ... Открылась горячка. Княгиня потерялась. Борисъ также; послали за лекаркой, которая занималась ворожбой въ Калинкинской Слободѣ и началось домашнее леченіе... Такъ лечили еще въ русскихъ барскихъ домахъ, въ столицѣ, гдѣ было не мало весьма искусныхъ врачей, гдѣ жилъ архіатеръ Блументростъ!! И къ Лаврентію Иванычу дошла вѣсть о Костыльковыхъ. Онъ пожалѣлъ Степаныча, на скорую руку собралъ нѣсколько любопытныхъ и поучительныхъ книгъ, послалъ къ коменданту адмиралтейской крѣпости, куда изъ военной коллегіи Степанычъ препроводилъ и себя и Костылькова, а самъ поспѣшилъ утѣшать

своего пацiента. И въ военной коллегiи повинная Костыльковыхъ надѣлала хлопотъ. Вейде полагалъ нарядить немедленно военный судъ и предать ему виновныхъ. Но свѣтлѣйшiй нашелъ, что въ повинной прописаны разныя обстоятельства, которыя требуютъ предварительнаго разсмотрѣнiя, почему и полагалъ рапортовать сенату, дабы указомъ воеводa Буруновъ, участвовавшiй въ подлогѣ, секретарь Лукичъ и земскiй коммисаръ Галунчиковъ, ограждавшiе Костылькова столько разъ отъ смотровъ и службы были отысканы и привезены въ Петербургъ для отвѣта. Нельзя было не согласиться съ мнѣнiемъ свѣтлѣйшаго, и дѣло затянулось. Возвратясь домой, князь пошелъ къ Варварѣ Михайловнѣ и объявилъ, что случилось.

— «Я это впередъ знала, но не думала, что онъ подастъ повинную до свадьбы. Видно, поводъ къ тому былъ важный...»

Варвара Михайловна разсказала все что знала.

— «Я думалъ, читая челобитную, что въ этой исторiи Иванъ Степанычъ не такъ виноватъ, какъ кажется. Почему я и повернулъ дѣло такъ, чтобы выиграть время. Законы строги; но для заслугъ бываютъ исключенiя. Вѣроятно, и у него найдутся ходатаи.»

Нашлись, и не маловажные. Почти всѣ въ одно и то же время съѣхались во дворецъ, котораго не могу описать съ историческою вѣрностью. Знаю только, что этотъ зимнiй дворецъ стоялъ на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ эрмитажный театръ; при немъ была гавань на дворѣ. Обширностью онъ уступалъ

почти всѣмъ боярскимъ домамъ и какъ Великій Петръ ни умѣлъ тѣсниться въ помѣщеніи, однако же этотъ дворецъ уже черезчуръ былъ тѣсенъ и неудобенъ. Архитекты сочиняли планы для перестройки его, послѣдовавшей въ 1721 году, а Земцовъ ждалъ повелѣнія строить лѣтній дворецъ, и по наступавшей осени по крайней мѣрѣ заготовлять матеріалы. Пріѣздъ Варвары Михайловны во дворецъ, гдѣ ее такъ долго не видали, возмутилъ любопытство придворныхъ.

— «Что, могу ли я видѣть Государыню Императрицу?» спросила Варвара Михайловна.

— «Изволили поѣхать на прогулку, и, вѣроятно, въ гротѣ полдничать будутъ...»

— «Ну, такъ на чистомъ воздухѣ и мнѣ будетъ легче.»

Въ сѣняхъ Варвара Михайловна повстрѣчала графа Ѳедора Матвѣевича, Остермана, Синявина и не могла удержаться отъ улыбки.

«По общему дѣлу!» подумала, привѣтливо раскланялась, и пошла въ сопровожденіи двухъ казаковъ или гайдуковъ, пѣшкомъ, по неровной набережной, въ Лѣтній садъ. У почтоваго двора, гдѣ нынѣ Мраморный дворецъ, начиналась деревянная ограда Лѣтняго сада, Петровскаго сада, котораго самая незначительная часть понынѣ сохранила старинное названіе. Въ описываемое нами время этотъ садъ простирался отъ почтоваго двора вдоль по Невѣ до Фонтанки, отъ того же почтоваго двора, по каналу и потомъ лѣсомъ садъ доходилъ до самаго Невскаго Проспекта; но въ этихъ мѣстахъ

онъ былъ довольно глухъ, не совершенно очищенъ, почему этотъ уголъ и отведенъ былъ для звѣринца, довольно богатаго рѣдкими экземплярами животныхъ. Садъ же принималъ болѣе правильности около того мѣста, гдѣ нынѣ Михайловскій манежъ, потому что тутъ же отстроивался лѣтній дворецъ Царицы. Отсюда направо, между нынѣшнею Караванною и Фонтанкой, тянулись конюшни, службы и кухни, которыя были тоже въ саду, но отдѣлялись отъ него особенною оградой. Вверхъ по Фонтанкѣ до Невы продолжался садъ и паркъ (Царицынъ Лугъ). Въ этой части уже былъ лѣтній домъ Царя, деревянный, сломанный по отстройкѣ каменнаго. Варвара Михайловна вошла въ садъ по галлереямъ почтоваго двора, потому что двѣ части этого великолѣпнаго зданія выходили прямо въ паркъ. Одноколки для гостей и придворныхъ всегда стояли у почтовыхъ галлерей и Варвара Михайловна въ одной изъ нихъ отправилась искать по саду Государыню. Екатерина Алексѣевна, въ сопровожденіи статсъ-дамы Балкъ и каммеръ-юнкера Монса шла пѣшкомъ отъ своего дворца къ гроту. Увидавъ гостью, она позвала ее къ себѣ платкомъ; Варварѣ Михайловнѣ того только и нужно было. Присоединясь къ малой свитѣ Царицы, Варвара Михайловна доложила Государынѣ, отчего такъ давно нигдѣ не появлялась. Екатерина старалась разувѣрить ее и утѣшить.

— «И когда ты это перестанешь пѣть одну и ту же пѣсню?»

— «Когда этотъ судъ кончится...»

— «Петру Михайлычу Голицыну,» замѣтилъ Монсъ: «гражданскими дѣлами нынче заниматься некогда. Попалъ въ адмиралы, флотомъ командуетъ, а, чай, въ морской водѣ не купался...»

Царица легонька ударила Монса платкомъ по плечу и прибавила:

— «Гляди, ребенокъ, чтобы тебя за языкъ не взыскали... Ну, что новаго, Варвара Михайловна? Признаюсь, въ сентябрѣ я не люблю Петербурга. Да нельзя въ Петергофъ отъѣхать: у мужа тутъ столько дѣла, что, право, иной день только за обѣдомъ его вижу. Сегодня всего-на-всего ночью два часа спалъ. Послѣ обѣда видимо дремать сталъ и дѣлами не могъ заниматься, да позвалъ графа, тотъ его разсмѣшилъ, сонъ прошелъ, и поѣхалъ на Литейный дворъ, обѣщалъ со мною въ гротѣ полдничать. Часъ приходитъ! Вотъ мы туда и идемъ. Чаю, тамъ компанія наша собралась. А Дарья Михайловна будетъ?..»

— «Чай, съ мужемъ. Собирались. Да я прежде поѣхала; хотѣла Вашему Величеству исторію разсказать презабавную, которая тутъ у насъ на-дняхъ случилась...»

— «Ахъ, матушка Варвара Михайловна, разсказывай! Повернемъ къ китайской альтанѣ, а то увидятъ и пристанутъ...»

— «А что пожалуете?»

— «Да что мнѣ тебѣ пожаловать? Сама возьмешь что захочешь. Вѣдь ты знаешь, что всѣ вы у меня что родные. Вотъ кстати, не забыть, зав-

тра же попрошу за брата твоего Василія Михайловича, что́ въ Гагѣ пребываетъ...»

— «Матушка Государыня! Братнее не уйдетъ. Вася у меня и учится знатно, и ведетъ себя достойно. А вотъ за этого несчастливца, что́ попался теперь въ бѣду, такъ, право, стоило бы вступиться...»

— «Да что́ такое?»

Едва успѣла разсказать Варвара Михайловна исторію Костылькова, какъ начальникъ надъ шутами, Дакоста, прибѣжалъ, упалъ на колѣни и во все горло закричалъ:

— «Матушка-хозяйка, хозяинъ пожаловалъ, спрашивать тебя изволитъ...»

— «Ну, дурашка, бѣги къ хозяину и объяви, что хозяйка идетъ...»

— «Хозяйка идетъ! Хозяйка идетъ!» кричалъ Дакоста по всему саду, и на встрѣчу августѣйшей хозяйкѣ выпелъ въ большую аллею хозяинъ съ большою семьею. Двѣ цесаревны, племянница, внукъ съ мамой, и немалое число сановниковъ окружали Государя. Дамы составляли живой цвѣтникъ у грота. Графъ Головкинъ и баронъ Шафировъ отошли съ Остерманомъ всторонку и толковали о политикѣ. Остерманъ стоялъ передъ ними согнувшись, докладывалъ съ подобострастіемъ и безпрестанно кланялся. Государь шелъ на встрѣчу супругѣ съ астраханскимъ губернаторомъ, Волынскимъ.

— «Ну, Артемій! Пора дѣлу отдыхъ дать! Ты свои концепты о Персіи, и другихъ дальнихъ

азіятскихъ краяхъ на бумагѣ изложи, я подумаю и тогда уже купно съ тобою инструкцію уложимъ. Дѣлу время и потѣхѣ часъ, говаривалъ отецъ мой. Только теперь и потѣшиться некогда. Что, дорогая хозяйка? Мы тутъ васъ со всею компаніею поджидаемъ будетъ съ четверть (часа). Объявлю тебѣ, что наконецъ я резолюцію принялъ и приказалъ Земцову дворецъ для ваней милости, каменный, поближе къ рѣкѣ строить. То ужъ если въ будущемъ году кампанія (будетъ), извольте наше мѣсто заступать и за архитектомъ сами присматривать. Паче же для васъ (строится). Кормедонъ! А отчего малые два (фонтана) не играютъ?»

— «Я вашему маестоту два разъ говорилъ, что трубы для фонтанъ надо самъ, на казенный заводъ дѣлать, а приватный трубъ портится скоро, и потомъ кто чинить, не знаетъ...»

— «А отчего же ты не рапортовалъ, кому слѣдуетъ?»

— «Когда вашего маестета здѣсь нѣтъ, я никого упросить не умѣитъ.»

— «Такъ надо было со мною описаться. Не за горами. Комуникація не прерывалась. А петергофскіе?»

— «Тѣ я безъ указъ самъ дѣлаитъ.»

— «И хорошо дѣлаешь, если цѣны сходны.»

— «Дешевле приватная...»

— «Хорошо, да все-таки меморію мнѣ подай!»

Не удивляйтесь почтенному будущему придворному интенданту надъ строеніями. Онъ не могъ

въ такое короткое время сдѣлать большихъ успѣховъ въ русскомъ языкѣ, потому что недавно переселился въ Россію не по вызову или найму, а по доброй волѣ, и особенныя уже оказалъ заслуги при устройствѣ литейныхъ заводовъ. Система фонтановъ Лѣтняго сада была также подъ его начальствомъ. Во время этого разговора, гуляющіе покойно проходили мимо царской фамиліи. Нѣкоторые становились поодаль и любовались картиною царскаго двора, который сіялъ, блисталъ великолѣпіемъ нарядовъ. Только Царь да Царица были одѣты просто. Екатерина была въ тепломъ капотѣ изъ обыкновенной шерстяной матеріи и въ собольей кацавейкѣ, покрытой, правда, бархатомъ, но порядочно изношенной; на головѣ теплая шапочка, завязанная на головѣ двойнымъ бантомъ изъ черныхъ лентъ. Напротивъ-того, у придворныхъ дамъ на полушубкахъ только и видны были парчи, глазеты, у бѣднѣйшихъ простые бархаты и толстый штофъ. За то тоалетъ гостей былъ вообще простъ; щеголихи, даже не изъ придворныхъ, въ Лѣтній садъ не надѣвали своихъ лучшихъ платьевъ, когда Государь находился въ Петербургѣ. Не одинъ костюмъ наводилъ Царя на слѣдъ взяточника; почему рѣдкій мужъ отпускалъ жену въ Лѣтній садъ, не осмотрѣвъ ея костюма. Между этими гостями, Государь видѣлъ всегда большое число извѣстныхъ ему лицъ, но рѣдко удостоивалъ разговоромъ, вѣдая, что счастіе говорить съ нимъ приводило иногда осчастливленнаго въ сильное смущеніе, такъ что у иныхъ по-

казывался потъ на челѣ. Но на сей разъ Государь усмотрѣлъ оберъ-коммисара Зыбина, который и по должности въ саду находился, и вспыхнулъ.

— «Ефимъ!» громко кликнулъ Государь: «поди сюда. Ну, что же уложенье?»

— «Слушается, Ваше Величество, только плохо.»

— «Какъ плохо? Отчего плохо? Лѣность...»

— «Нѣтъ, Государь, а прямыя занятія каждаго къ тому не допускаютъ. Господа сенатъ текущими дѣлами обременены, лица коллегіальнаго штата также же. Коммисія требуетъ иной конструкціи: иначе уложеніе фортпритовъ не сдѣлаетъ.»

— «Что же надо, какъ думаешь?..»

— «Коммисію сложить такъ, чтобы должности каждаго ущербу не было...»

— «И вотъ какъ, Ефимъ! Когда всѣ препараціи къ войнѣ окончатся, я комплектъ самъ опредѣлю. А сенаторовъ, чтобы отъ дѣла не отрывать, то къ присутствію по одному въ очередь назначать. Для того уложенья положить по скольку дней и часовъ оное въ недѣлю слушать. Слушаючи, которые пункты покажутся несходны нашему народу, то противъ оныхъ, изъ стараго уложенья (статьи вносить) или новые пункты дѣлать. Тако жъ если покажутся которые (пункты) въ старомъ уложеньѣ важнѣе, нежели въ шведскомъ, тѣ тако жъ противу написать и все то намъ къ слушанью изготовить. Для помѣстныхъ дѣлъ взять права эстляндскія и лифляндскія, ибо оныя сходнѣе и, почитай, однимъ манеромъ владѣніе имѣ-

ютъ, какъ и у насъ. Такая критика откроетъ много и къ цѣли приведетъ. Скажи Ушакову, чтобы мнѣ (о томъ) напомнилъ...»

Въ это время подошелъ Александръ Львовичъ Нарышкинъ и Государь съ улыбкой обратился къ своему любимцу.

— «Что, Львовичъ!» спросилъ Государь: «ты что-то совсѣмъ не показываешься?..»

— «Боюсь; чтобы ты меня къ цесарю посломъ не назначилъ...»

— «Опоздалъ. Павелъ ѣдетъ.»

— «Да съ какого времени у тебя Ягушинскій всякую должность правитъ?»

— «Съ того, какъ я усмотрѣлъ, что онъ ко всякой должности способенъ. Къ англійскому королю ѣдетъ Бестужевъ, при другихъ дворахъ мѣста заняты. Погоди. Обстоятельства перемѣнятся, Львовичъ! Я всегда почитаю тебя чрезвычайнымъ посломъ моимъ въ Испанію, какъ мы съ тобой полагали и какъ нынѣ полагаемъ.. »

— «Пожалуйте кушать!» закричалъ Дакоста: «Милости просимъ! хозяйка тамъ такихъ аладій наготовила, подъ сметаной не видно; салакушки изъ Ревеля такой прислали, что я подумалъ, будто копченые лососки. Бью челомъ шляхетской компаніи: не скушайте всего, чтобы мнѣ и командѣ моей осталось.»

— «Ты, графъ, глядя на насъ сытъ будешь...»

— «Не моя натура! Вотъ, графъ Иванъ Алексѣичъ, тотъ, пожалуй, готовъ побожиться, что коли Государь ѣстъ, такъ онъ насыщается... А

я нѣтъ! Я очень тебя люблю, но ѣмъ самъ за себя; такъ пожалуйте, не забудьте про салакушку и до воровства не доведите. Я не Балакиревъ и не Комаръ. У тѣхъ всегда съѣстная лавка въ карманѣ...»

— «Мы люди съ запасцемъ. На черный день копимъ,» сказалъ Балакиревъ съ важностью. «Умная голова и ледъ въ-прокъ солитъ, а у тебя графская натура...»

— «Не ты, дуракъ, меня пожаловалъ. Что ты?»

— «Я бригадиръ. Чинъ самый солидный. Я своимъ чиномъ доволенъ.»

— «А я такъ нѣтъ! Меня въ ханы пожалуютъ.»

— «Вотъ ужъ диковинный чинъ...»

— «Оттого и пожалуютъ. Видишь, у Самоѣдовъ ханъ умеръ, я какъ на его мѣсто стану, такъ какого-нибудь стараго барина и съѣмъ.»

— «Отчего же стараго барина?..»

— «Оттого, что буду Самоѣдъ...»

— «Нѣтъ, графъ!» сказалъ Балакиревъ уже въ гротѣ, куда уже вошли всѣ и приступали къ полднику. Государыня, цесаревны, и статсъ-дамы на тарелкахъ подавали мужчинамъ и дамамъ молочныя кушанья и фрукты. Государь, выпивъ чарку водки, налилъ и подалъ очередную князю Меншикову, а самъ принялся за салакушку.

— «Что, нѣтъ?» спросилъ Дакоста, умильно поглядывая то на Государя, то на салакушку.

— «А то нѣтъ, что на самоѣдскаго хана въ адмиралтейскую крѣпость спрятали кандидата, гос-

подина Костылькова. Потому что онъ самъ себя за-живо скушать изволилъ... Слышалъ ты, графъ!»

— «Слышалъ! Говорятъ, былъ умный малый, да его ужъ такая муха укусила. Хочу его себѣ въ команду просить...»

— «Не дадутъ..»

— «Отчего?.»

— «А въ томъ году опять со Шведомъ война будетъ...»

— «Ну, такъ что́ жъ?..»

— «Говорятъ, на тотъ годъ хотятъ въ Стокгольмѣ люминацію строить... Такъ ужъ такого фонарщика грѣхъ безъ дѣла оставить. Хоть кому фонари подставитъ...»

— «Что́ же онъ такой забіяка?..»

— «Э! И ты, забіяка, да что́ въ твоихъ побояхъ толку? Комаръ ужъ, кажется, какой щедушный, а отъ твоей руки всегда потолстѣетъ. Нѣтъ. Костыльковъ важная штука. Вотъ спроси объ немъ господина азовскаго вице-губернатора.»

Государь поискалъ глазами, нашелъ Колычева и спросилъ:

— «А что́!..»

Колычевъ разсказалъ про московскія шашни Степаныча и заключилъ, что, узнавъ о событіи въ Военной Коллегіи, онъ не мало удивился и если бы могъ, то употребилъ бы часть достоянія, чтобы спасти своего любимца...»

— «Никто не препятствуетъ,» сказалъ Вейде, «каждому, кто про подсудимыхъ что́-либо знаетъ, коллегіи донести. Мы не казнители, но судьи. Если

нарушить строгости закона мы и не властны, то мѣру наказанія по заслугамъ уменьшить можно.»

— «Если бы позволено было и намъ, бабамъ,» сказала Варвара Михайловна, «высокую коллегію ходатайствомъ нашимъ безпокоить, то я не утерпѣла бы за сего просить, понеже тутъ не корысть и не подлость дѣйствіе имѣли, а другое чувство, котораго по-христіански похвалять, а по-человѣчески осуждать нельзя. Мой протежé мстилъ за отца, за сестру, и за другихъ сиротъ. Изъ мести чужое имя на себя принялъ, чтобы довести врага до того же нищенства, до какого приведенъ былъ самъ злодѣйствомъ покойнаго Костылькова...»

— «Этого нѣтъ въ повинной!» сказалъ сухо старикъ Вейде.

— «Я въ томъ и не сомнѣвалась. Иванъ Степанычъ зналъ, что закону до его чувствъ нѣтъ дѣла — и это въ моихъ глазахъ паче возвышаетъ его характеръ.»

— «За этотъ характеръ и я могу поручиться,» сказалъ генералъ-адмиралъ: «и о томъ адмиралтейцъ-коллегія оффиціально сообщитъ военной свою рекомендацію...»

— «Вотъ если бы на тарелкѣ не оставалось еще трехъ салакушекъ,» сказалъ Дакоста, «то и я снялъ бы съ себя свое достоинство и принялся бы за старое мое адвокатское ремесло. Не я буду, коллегія бы убѣдилась, что и законы иногда погрѣшаютъ...»

— «За это не получишь ни одной рыбы. Балакиревъ! На! И графу не давай!»

Дакоста притворно сталъ плакать, и къ досадѣ Варвары Михайловны прекратилъ своими шутками разговоръ, который принялъ такое благопріятное направленіе. Полдникъ кончился. Государь, за стаканомъ эрмитажа, сталъ бесѣдовать съ дипломатами и Остерманъ не упустилъ случая ввести въ разговоръ Степаныча и тѣхъ надеждъ, какія этотъ молодой человѣкъ подаетъ о себѣ для службы. Однимъ словомъ, кто только имѣлъ языкъ, всѣ говорили о Степанычѣ, у княгини дурно, вездѣ съ отличною похвалою. Одинъ Государь не обронилъ ни одного слова и Военная Коллегія принуждена была избрать путь, предписанный законами. Прошло не мало времени; о судѣ и розыскѣ, казалось, никто не думалъ; только адмиралтейская крѣпость приняла еще трехъ гостей: воеводу Бурунова, секретаря Лукича и земскаго комиссара Галунчикова. Но объ сосѣдствѣ ихъ, Костыльковы ничего не знали. Одинъ все читалъ нѣмецкія книги и дѣлалъ выписки. Другой, благодаря выигрышу, который берегъ и въ приватныхъ и въ государственныхъ темницахъ, неизвѣстнымъ путемъ доставалъ себѣ заморскіе напитки и заглушалъ не только совѣсть, но самую жизнь, потому что только спалъ, да кушалъ, кушалъ да пилъ, пилъ да спалъ. Такой родъ жизни, или смерти, имѣлъ то слѣдствіе, что на первой очной ставкѣ, провинціальная чиновность, даже самъ Степанычъ не узнали Костылькова; такъ онъ распухъ и заплылъ. Судьи также примѣтили, что въ темницу проницаютъ постороннія вещества и отобрали у Ко-

стылькова деньги, которыми карманы его были преисполнены. Напротивъ того, къ Степанычу не только позволили носить отъ архіатера книги, но и допускать желающихъ съ нимъ видѣться. Самъ Вейде не противорѣчилъ этому дозволенію, но Степанычъ самъ не хотѣлъ воспользоваться этимъ правомъ, чтобы не дать злобѣ какого-либо повода къ клеветѣ и ложнымъ доносамъ, хотя ему и очень хотѣлось знать, что дѣлается съ Оленькой.

Приближались святки. Графъ Дакоста, согласно прошенію, дѣйствительно пожалованъ самоѣдскимъ ханомъ. Назначена была церемонія, какая при поставленіи хана у Самоѣдовъ наблюдается. Нѣсколько десятковъ Самоѣдовъ выписано изъ далекихъ тундръ Сѣвернаго Океана. Дикари подъ конвоемъ ходили по городу и приглашали гостей на празднество.

— «Графъ!» сказалъ Балакиревъ Дакостѣ въ присутствіи Государя: «ты ужъ гостей-то своей пищей не подчуй.»

— «Во-первыхъ, я уже не графъ, а ханъ...»

— «Во-вторыхъ, я все той мысли, что ты ханомъ не будешь, а сдѣлаютъ ханомъ Костылькова или Полоскова. Не знаю, какъ его тамъ зовутъ. Неужто въ самомъ дѣлѣ такому молодцу и святокъ у себя дома не праздновать? Коллегія ужъ черезъ-чуръ важничаетъ...»

— «И мнѣ тоже кажется!» сказалъ Государь, и неизвѣстными путями эти слова ворвались въ военную коллегію и вошли тайно, неслышимо въ правое ухо каждаго члена; но въ лѣвое не выско-

чили, потому что въ тотъ же день слѣдственное дѣло выслушано; приступили къ резолюціи, какъ вдругъ свѣтлѣйшему изъ сената принесли указъ. Князь прочелъ и приметно обрадовался. Въ особенности понравился ему тотъ пунктъ, въ коемъ было сказано: «Тѣхъ, кои подъ своимъ именемъ вмѣсто себя отдали другихъ въ рекруты, простить, буде они принесли въ томъ самовольно повинную; а подставныхъ въ чинахъ и мѣстахъ оставить какихъ дослужились...» Даже старикъ Вейде былъ доволенъ этимъ милостивымъ указомъ, который, впрочемъ, призывалъ всѣхъ, кому служить слѣдовало, къ немедленной явкѣ, подъ строжайшими наказаніями. Предстоявшая война и необходимость укомплектованія войскъ была причиною указа, но покровители и ходатаи любили думать, какъ и всегда, что ихъ представленія имѣли успѣшное дѣйствіе и, что изъ снисхожденія къ нимъ только, состоялся цѣлый законъ. Два дни составляли резолюцію по дѣлу Костыльковыхъ. На третій день на дому переправилъ ее Вейде, на четвертый свѣтлѣйшій, наконецъ въ военную коллегію позваны подсудимые. Бурунову, Лукичу и Галунчикову объявлено, что они подлежатъ суду юстицъ-коллегіи, куда слѣдственное объ нихъ дѣло будетъ передано. Костылькову сказано прощеніе, но съ тѣмъ, что онъ долженъ немедленно записаться въ службу тутъ же, въ военной коллегіи.

— «А вотчины мои, маетности?» спросилъ дерзкій.

— «Нераскаянный строптивецъ!» сказалъ Вей-

де: «ты и милости недостоинъ, понеже никакого благодарнаго чувства не имѣешь! Все, что до сего дня, или паче до дня подачи повинной произошло, все то сохраняетъ полную силу, какъ-будто бы самимъ тобою по доброй волѣ учинено. Самъ ты на себя наложилъ руки; самъ на себя и пеняй. А нынѣ, какъ дворянскаго рода непотребный отростокъ, не глядя на то, есть ли у тебя вотчины или какой достатокъ, по долгу присяги и совѣсти, и по званію твоему, повиненъ еси поступить на службу. При семъ вѣдай, что, буде на службу не явишься, или явясь, со службы сбѣжишь и укроешься, то милующій тебя нынѣ указъ обратится тебѣ въ казнь, которой уже никто отъ тебя не уклонитъ. Запишите его въ книгу явочную, и отведите передъ сенатскую канцелярію...»

Костыльковъ обливался горькими слезами. Всѣ надежды воротить хотя малую частицу своего огромнаго достоянія рушились окончательно; странно было видѣть, когда Костылькова на площади, передъ сенатскою канцеляріею, на особо устроенномъ возвышеніи поставили и объявили всенародно о его прощеніи. Онъ рыдалъ и заглушалъ чтеніе приговора. Между-тѣмъ въ коллегіи приступлено было къ послѣднему акту. Степанычу приказано было стать на колѣни и выслушать резолюцію. Вина ему отпускалась только во уваженіе особенныхъ заслугъ имъ оказанныхъ, и въ надеждѣ, что онъ тѣ заслуги доброю службою пріумножитъ потщится. Онъ оставался въ прежнемъ чинѣ, но по спискамъ указано отмѣтить его *Полосковымъ*, съ про-

писаніемъ причины, по коей перемѣняется прозвище. За тѣмъ второй президентъ подалъ ему шпагу, а первый президентъ, взявъ знамя, осѣнилъ преступника и тѣмъ возстановилъ честь чина и персоны.

— «Поздравляемъ!» сказали хоромъ всѣ члены коллегіи. И Степанычъ подражалъ Костылькову: плакалъ на-взрыдъ, но благодарными слезами...

— «Быль молодцу не укора,» сказалъ князь: «Спѣшите, господинъ капитанъ, обрадовать вашихъ родныхъ и друзей!.. Уже къ вечернѣ звонятъ, а мы за вашимъ дѣломъ еще не обѣдали.»

— «О, ваша свѣтлость! Только говорить не умѣю, но чувствую ваши благодѣянія... слишкомъ... слишкомъ...»

Степанычъ не могъ кончить именно потому, что чувствовалъ слишкомъ хорошо, сколько обязанъ князю въ своемъ дѣлѣ. Выбѣжавъ на площадь, онъ положилъ земной поклонъ на Троицкій соборъ, потомъ такой же на домикъ Петра Великаго, потомъ на зимній домъ обожаемаго монарха. Вставъ, онъ едва еще могъ опомниться отъ радости. Но замѣтивъ, что народъ на него глядитъ и дивится, Степанычъ поспѣшилъ укрыться отъ любопытныхъ взоровъ въ Троицкомъ Соборѣ. Съ чувствомъ блаженства и глубокаго умиленія, Степанычъ дослушалъ вечерню, отслужилъ молебенъ и успокоенный молитвою, поспѣшилъ домой. Онъ и не замѣтилъ, что въ церкви причетники посерединѣ уставляли перилы, и хлопотали о чемъ-то. Ему ни дочего, ни до кого не было дѣла. Онъ

думалъ объ одной Оленькѣ; но, вспомнивъ, что онъ не обритъ, не обстриженъ, въ испачканномъ платьи, побоялся испугать ее такимъ зрѣлищемъ и отправился домой, чтобы переодѣться. Тамъ ожидала его новая сцена. Костыльковъ, возвратясь домой, со стыда и досады на нетерпѣливые вопросы Малаши, Жатаго, Лукомкина и Сидора отвѣчалъ, что Степаныча, какъ вора и разбойника, разстрѣляютъ, и Жатому и Малашѣ сдѣлалось дурно. Напрасно Лукомкинъ весьма убѣдительно доказывалъ, что этого быть не можетъ. Сердца, сильно любящія, вѣрятъ и не такимъ небылицамъ; но если печаль была велика, то радость еще больше, когда вошелъ Степанычъ при шпагѣ, явномъ указателѣ чести, чина и невинности.

— «Восхвалите Господа!» воскликнулъ онъ: «Падите предъ Его премудрымъ Промысломъ!» И самъ первый палъ передъ иконой; всѣ, кромѣ Костылькова, преклонили колѣна и нѣсколько времени молились. Степанычу было долго разсказывать нечего, да и некогда. Онъ поспѣшилъ переодѣться; между-тѣмъ заложили сани, и Степанычъ, какъ во-время-оно, покатилъ на ухарскихъ къ княгинѣ. Немало удивился онъ, когда замѣтилъ необыкновенное освѣщеніе, какъ внутри дома, такъ и снаружи. Но что еще болѣе его удивило, такъ то, что онъ нѣсколько разъ обошелъ хоромы, даже съ тайниками и антрессолями и никого не встрѣтилъ. Онъ не зналъ что подумать, на что рѣшиться, какъ вдругъ послышались крики:

ѣдутъ! ѣдутъ! Швейцаръ вбѣжалъ въ сѣни и остановился въ позиціи, какъ-будто онъ ни шагу не дѣлалъ съ своего мѣста; толпа дворовыхъ слугъ княгини въ одно мгновеніе наполнила прихожую... Подъѣхала карета; оттуда выползли двѣ пожилыя фигуры разнаго пола... Гдѣ хлѣбъ? спросила одна. Гдѣ образъ? спросила другая, и не успѣли фигурамъ подать чего требовали, какъ подъѣхала карета цугомъ, и оттуда вышла, блѣдная какъ смерть, Ольга въ свадебномъ нарядѣ, за нею Рысаковъ... Преклонясь передъ образомъ и принявъ благословенія, молодые вступили въ гостиную, гдѣ, какъ колоссальная статуя Юпитера-громовержца, стояла огромная, недвижная фигура Степаныча.

— «Ахъ!..» Только и успѣла сказать Оленька, и безъ чувствъ упала на руки мужа. Пріѣхала и княгиня, пріѣхалъ и Борисъ и гости, и всѣ хлопотали около Оленьки. Юпитеръ, опершись на мечь Марса, стоялъ въ прежней позитурѣ и безсмысленными взорами пожиралъ предстоявшихъ... Наконецъ Оленька очнулась... взглянула на Степаныча и упала передъ нимъ на колѣни.»

— «Это что?» вскрикнула княгиня: «Ты драгунъ, за чѣмъ сюда пожаловалъ? Изъ тюрьмы небойсь убѣжалъ!.. Уходи же отсюда по-добру, поздорову. Здѣсь холопьямъ нѣтъ мѣста...»

— «Господинъ...» сказалъ Рысаковъ подходя къ Степанычу и взявъ его за руку: «очнитесь! Увольте нашъ праздникъ отъ такихъ неумѣстныхъ поступокъ.»

— «А?... Что?...» тихо спросилъ Степанычъ: «что вамъ угодно?...»

— «Угодно,» сказалъ Борисъ, «чтобы вы изволили оставить домъ нашъ!»

Степанычъ глубоко вздохнулъ, потеръ лобъ, глаза; и голова упала на грудь, какъ свинцевая.

— «Ну, что же?» спросила княгиня: «Борисъ! Выпроводи этого холопа! Вѣдь съ нимъ не соблюдать же суптельности. Оленька! Ты гдѣ?..»

Оленька по-прежнему стояла на колѣнахъ; и такъ отяжелѣла, что мужъ съ Борисомъ не могли поднять ее...

— «Въ самомъ-дѣлѣ, однако же,» сказалъ какой-то старикъ: «что это за нахалъ такой? Насильно ворвался въ домъ и не хочетъ насъ въ покоѣ оставить...»

На этотъ разъ Степанычъ и разслушалъ и понялъ въ чемъ дѣло...

— «Я иду!.. Не обвиняйте несчастнаго!» тихо сказалъ онъ, и такъ жалобно, что даже Рысаковъ покраснѣлъ и отвернулся. «Я не думалъ, я не ожидалъ, что найду здѣсь свадьбу!...»

— «Это ты меня обвиняешь!» прошептала Оленька, приподнимаясь...

— «Нѣтъ! никого! Ни даже участь мою. Ропотъ мой былъ бы грѣшенъ. Будьте счастливы, Ольга... Ольга Петровна! Прости, Господи,—врагамъ моимъ.—Простите!...»

— «Одно слово...» закричала Оленька, вырываясь изъ рукъ княгини, которая никакъ не хотѣла допустить до объясненія.

— «Что ты... Что ты? Богъ съ тобой! Ужъ и такъ довольно, кажется, скандала...» шептала она.

— «Будетъ больше...» кричала Оленька: «если разсказчицы были подкуплены. Одно слово, Иванъ Степанычъ... Много противу тебя обвиненій, такихъ, женскихъ...»

Оленька замолчала и не могла кончить. Степанычъ посмотрѣлъ на нее съ нѣжностью и отчаяньемъ...

— «Ольга Петровна!» наконецъ произнесъ онъ голосомъ прерывавшимся отъ рыданій: «Вѣрьте всему! Все — правда!»

И Степанычъ убѣжалъ...

— «Неправда!» торжественно сказала Оленька и подойдя къ княгинѣ, шепнула со злобой: «Тётушка! Вы поплатитесь за эту клевету...»

— «Что ты? Что ты? Да развѣ я!...»

— «Играйте польскій!» сказала Оленька съ достоинствомъ царицы, и подала руку мужу... Но Рысаковъ не смѣлъ взглянуть на нея; какъ-будто приговоренный къ смерти стоялъ онъ и разсматривалъ штучный полъ княжеской гостиной...

— «Сестра!» шепнулъ ей Борисъ: «ты нарушаешь обычай и приличія. Я твой шаферъ, мое дѣло распоряжаться...»

— «Ты уже распорядился! Доканчивай свое великое творенье! Ну, что ты куклѣ своей прикажешь дѣлать? Только объ одномъ прошу, спѣши этой церемоніей, если завтра не хочешь распоряжаться на похоронахъ моихъ...»

Можно себѣ представить какой вышелъ праздникъ! Гости перешептывались; многіе тайкомъ уѣхали; княгиня, Борисъ и Рысаковъ, прыгали и суетились, какъ живыя рыбы на жаровнѣ, что въ сказкѣ; были танцы. Молодая отлично выплясывала; смѣялась; шутила со всѣми, никого не исключая; былъ и ужинъ; гости откланялись молодымъ и убрались... Одна княгиня провожала молодыхъ до спальни, но на порогѣ Оленька повернулась, присѣла. «Спокойной ночи», молвила и передъ носомъ полковника Рысакова дверь хлопнула, ключъ щелкнулъ, и вмѣсто молодой жены, онъ остался наединѣ съ безобразной старухой... Оленька по-крайней-мѣрѣ отомстила за себя хотя одному врагу... А Степанычъ? Онъ воротился домой, и нашелъ всѣхъ за ужиномъ. Не было Костылькова и Груни... Нельзя было скрыть отъ нихъ печали; но Степанычъ и самъ удивлялся своему благоразумію и хладнокровію. Жатый страдалъ, казалось, больше чѣмъ обманутый женихъ...

— «Ну! Богъ съ ними!» сказалъ Степанычъ: «я никого не обвиняю. Не видалъ я такой женщины, привелось видѣть; умѣлъ я любить три раза; и въ четвертый съумѣю... Теперь, что называется, всѣмъ моимъ дѣламъ настоящій конецъ пришелъ. Теперь у меня есть къ тебѣ просьба, Евгеній Николаевичъ! Ты знаешь, что всѣ деньги, какія ты за костыльковскія вотчины мнѣ пожаловалъ, всѣ налицо: ничего не издержалъ; развѣ что на домъ вышло. Вороти мнѣ Костыльковку, а я тебѣ деньги отдамъ...»

— «Возьми, душа моя, всѣ вотчины назадъ, у меня и своихъ довольно...»

— «Только одну Костыльковку! Эй, позовите Ивана Степаныча!»

Позвали. Съ ругательствами вошелъ Костыльковъ.

— «Что ты мнѣ начальство какое, что къ себѣ кличешь?» спросилъ онъ.

— «Долгъ мести, Иванъ Степанычъ, исполненъ! Теперь я могу помочь тебѣ, какъ христіанинъ. Я былъ хорошимъ мстителемъ, согласись; теперь хочу взять тебя подъ свою защиту и сдѣлать изъ тебя человѣка. Ты уже знаешь, что по праву отецъ твой владѣлъ только одною Костыльковкою; вотчина не малая; двѣ сотни дворовъ; Костыльковка возвращается тебѣ назадъ, на вѣки вѣковъ...»

— «Степанычъ! Ты ли это говоришь! Душа моя, золото!»

— «Тише! Но она въ твоихъ рукахъ не будетъ, пока не получишь офицерской ранги! Это одно условіе. Второе, чтобы ты съ женою помирился и жилъ въ совершенномъ согласіи...»

— «Ну, это не въ моей власти.»

— «Позовите Аграфену Кирилловну...»

— «Аграфены Кирилловны нѣтъ,» сказалъ Сидоръ печально.

— «Гдѣ же она?»

— «Да вотъ тутъ къ ней сталъ бывать какой-то господинъ; былъ раза три; она съ нимъ больно весело забавлялася, а сегодня съ нимъ же на гулянье въ красный кабачекъ въ саняхъ поѣхала...»

— «Пора бы, кажется, и вернуться...»

— «Вотъ, кто-то подъѣхалъ... Такъ и есть, они...»

Степанычъ быстро сбѣжалъ внизъ и притаился у дверей на крыльцѣ.

— «Позвольте!..»

— «Я вамъ говорю, князь, что этого никогда не будетъ. Не вѣкъ же ихъ судить будутъ. Покончатъ. Вотъ тогда поглядимъ. А теперь, спасибо за прогулку и прощайте!»

— «Неужели вы такія жестокія?»

— «Нѣтъ! Я не зла, да умнѣе стала. Утро вечера мудренѣе. Поѣзжайте съ Богомъ, завтра постарайтесь въ коллегіи разузнать, да и пріѣзжайте обрадовать меня добрыми вѣстями.»

— «Но неужели и минуты побыть еще съ вами?..»

— «Что́ съ вами толковать! Прощайте...»

Аграфена Кирилловна, со смѣхомъ вошла въ корридоръ, и ворчала:

— «Нѣтъ, батюшка, вашему брату только позволь какую вольность, такъ потомъ и не наплачешься. Попляши прежде по моей дудкѣ, а потомъ поглядимъ... Сидоръ, огня!»

— «Наверху огонь! Пожалуйте наверхъ! Тамъ васъ ожидаютъ...»

— «Кто?»

— «А вотъ сами увидите!»

— «Здравствуй, жена!»

— «Здравствуйте, Аграфена Кирилловна!»

— «Боже мой! Кого я вижу?..»

— «Груня! Все кончилось благополучно! Ну, поздравь, поцѣлуй меня!..»

— «Есть чему радоваться!»

— «Какъ же нечему? Костыльковка опять моя...

— «Неужто! Ахъ ты, Господи, благодать какая. Ага! Такъ съ тебя, злодѣй, таки взыскали чужое добро...»

— «Что́ ты, дура этакая, говоришь? Онъ мнѣ ее и подарилъ!..»

— «Неужто! Ахъ ты, Господи, благодать какая! А Будимовка?

— «Будимовка, матушка, будетъ отдана тѣмъ сиротамъ, которымъ принадлежитъ по праву,» сказалъ Жатый.

— «А Тяглое?»

— «Тяглое отвѣчное владѣніе Жатыхъ,» замѣтилъ Степанычъ.

— «А Полѣсье?..»

— «Полѣсье изъ разныхъ мелкопомѣстныхъ участковъ составилось...» опять сказалъ Жатый: «такъ гдѣ теперь искать хозяевъ? Потому я и дарю его сыну вашему...

— «Ахъ, какая благодать!»

— «А пока выростетъ подъ крыломъ нашимъ, имѣньемъ и доходами будетъ управлять другъ мой, Иванъ Степанычъ...

— «Ахъ, какая однако благодать! Ну, что́ же теперь будемъ дѣлать?»

— «Мы на войну, мужской полъ,» сказалъ Степанычъ: «а бабы въ деревню, хозяйничать! Вотъ и все тутъ...»

— «Въ деревню?..» грозно спросила Груня.

— «Въ деревню! А которая не захочетъ, такъ приличія ради, пусть въ монастырѣ мужа обождетъ...»

— «Въ монастырѣ?..»

— «Сидоръ, завтра чуть свѣтъ въ походъ! Успѣешь ли только уложиться?..»

— «Ночь непосплю, а все будетъ готово.»

— «Зачѣмъ же завтра?» съ ужасомъ спросила Груня.

— «Затѣмъ, чтобы въ нашъ честной домъ съ Краснаго Кабачка любезники не ѣздили. Коли добромъ отъ соблазна унять нельзя, такъ можно и понудить.

— «Любо, любо, Степанычъ! Распекай ее! Насолила она намъ всѣмъ. Авось исправится...»

— «Видно, тебя въ крѣпости исправили...»

— «Не солгу. Кажется, что исправили. Вотъ погляжу на службѣ. А ты въ монастырѣ лучше посиди, а то въ Костыльковкѣ до-тла все промотаешь...»

— «Не бойся! И противу этого будутъ приняты мѣры! Ну, до утра времени немного осталось! За дѣло!»

Малаша и Груня съ сыномъ, по слову Степаныча, уѣхали. — Около полудня Степанычъ отвелъ Костылькова къ знакомому фендриху въ науку; обезпечилъ его содержаніе; сдалъ его на руки Жатому; взялъ въ военной коллегіи командировку въ Ревель подъ тѣмъ предлогомъ, чтобы свѣжая исторія улеглась и забылась; простился съ Жа-

тымъ, который отъ попеченій Блументроста примѣтно оправлялся въ здоровьи, и на простыхъ ямскихъ саняхъ пустился съ Трофимомъ въ армію.

Конецъ.

Какъ, и все тутъ?

Чего же больше? Исторія двухъ Ивановъ, двухъ Степанычей, двухъ Костыльковыхъ рѣшительно кончилась, въ чемъ и свидѣтельствую подписаніемъ руки моея.

ТРИ ПЕРІОДА.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С.-Петербургъ 10 Февраля 1852 года.

Цензоръ *А. Фрейгангъ.*

ПЕРІОДЪ ПЕРВЫЙ.

„Alle Schuld rächt sich auf Erde.“
Goethe.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ семнадцатомъ году, въ Геттингенѣ, на ярмаркѣ, случилось такъ, что студенты открыли день рожденія Шекспира, и чрезвычайно обрадовались прекрасному предлогу затѣять пирушку, и изумить жителей фантастическимъ торжествомъ. Въ столовую послѣдніе вошли Горланъ и Плакса; это не были имена собственныя, а нарицательныя; такъ нарицали двухъ студентовъ товарищи; вѣроятно были на то уважительныя причины, но по наружности никакъ нельзя было эту кличку назвать справедливою. Горланъ былъ не великъ ростомъ; бѣлъ, какъ бальная перчатка; огненные глаза выражали внутреннее страданіе; черты лица, хотя играли улыбкой, но и въ этой улыбкѣ легко можно было замѣтить тайную заботу, мечтательную разсѣянность. Напротивъ, Плакса, высокій рослый юноша съ золотыми кудрями до плечъ — цвѣлъ жизнію и веселіемъ; доброе здоровье играло сильнымъ румянцемъ на бархатномъ лицѣ; голубые большіе глаза выражали спокойствіе и довольство: словомъ, Плакса былъ, ни дать ни взять, Аполлонъ немецкаго типа.

— «Горланъ,» сказалъ тихо Плакса, придерживая товарища у дверей за полу...

— «Чего тебѣ надо?...»

— «Стиховъ...»

— «Всѣ вышли. Не знаю какъ я раздѣлаюсь съ Шекспиромъ. Всю ночь мучился. На умъ лѣзетъ такая дрянь... что изъ рукъ вонъ... Знаешь, Шекспиръ не свой братъ. Прозой говоритъ объ немъ еще туда сюда: справлюсь, не отстану ни объ Бойэ, ни отъ Графа, ни отъ Барона... А стихами...»

Физіономія Горлана совершенно измѣнилась. Онъ сдѣлалъ такую значительную, глубокомысленную гримасу, какъ будто самъ затѣвалъ нѣчто въ родѣ Гамлета или Макбета.

— «Да мнѣ совсѣмъ не ученыхъ стиховъ надо...»

— «А какихъ же?»

— «Ты будешь смѣяться, ты разскажешь; эти піявки вопьются...»

Горланъ протянулъ руку, лицо его выражало сердечную, непритворную доброту...

— «Какъ тебѣ не стыдно, Плакса! Я люблю шутить, смѣяться... Но если меня просятъ... Ну, какихъ же тебѣ стиховъ надо?..»

— «Вотъ видишь...»

Но крики товарищей прервали объясненіе. Всѣ сидѣли уже за столомъ и громко звали Горлана занять мѣсто.

— «Садись возлѣ меня...» сказалъ Горланъ, убѣгая къ столу.

— «Да, садись, на виду. Поставь себя вмѣсто

нимени этому племени остроязычныхъ пустомелей... Что я? крѣпость что ли... Нѣтъ... Я сяду возлѣ кремня... Онъ будетъ ѣсть, а я — думать, мечтать объ очаровательной Луизѣ...».

Цлакса исполнилъ свое намѣреніе весьма счастливо. Товарищи были заняты тостами... Трапеза приближалась къ концу и, какъ обыкновенно, во всѣхъ финалахъ, пошло такое stretto, что сосѣдъ не могъ разслушать сосѣда. Всѣ говорили, шумѣли, спорили. Послѣ обѣда откуда ни взялись факелы, раздалась хоровая пѣсня и подъ ладъ ея Шекспирова банда двинулась въ городъ. Можно было подумать, что тянется похоронная процессія, потому что на дворѣ былъ день; и хотя погода была и пасмурная, но свѣтло, какъ обыкновенно бываетъ лѣтомъ, днемъ, часу въ седьмомъ, не позже... На площади, гдѣ располагалась ярмарка, многіе спѣшили занять мѣсто повыгоднѣе, чтобы посмотрѣть на процессію.

— «Папа! папа!» залепетала дѣвушка лѣтъ пятнадцати, положивъ на прилавокъ купца новый молитвенникъ: «Ахъ, пойдемте, посмотримъ!...»

— «Похороны, Луиза! Что тамъ смотрѣть!» продолжалъ человѣкъ почтенныхъ лѣтъ, выводя за руку впередъ вторую дочь свою, которой было не болѣе десяти лѣтъ: «Похороны! Общая участь!»

— «Хороши похороны!» сказалъ со смѣхомъ очень молодой человѣкъ, разодѣтый, какъ парижская картинка модъ.

— «Я нездѣшній. Не трудно обмануться. Но позвольте спросить, что же это за исторія...»

— «Да это мои камрады изволятъ праздновать день рожденія Шекспира...»

— «Это съ какой стати?»

— «Да въ нашемъ карцерѣ уже мѣсяцъ гостей не было. И стоило же лѣзть туда изъ-за кого? Изъ-за мясника этакого.»

— «Мясникъ? Такъ что же онъ сдѣлалъ...»

— «Много глупостей, а пролилъ потоки человѣческой крови.»

— «Вы шутите! А можетъ быть празднуютъ его казнь.»

— «Рожденіе, говорятъ вамъ; онъ уже давно умеръ... Остались сочиненія, образцы грубаго вкуса невѣжества. Камрады симпатизируютъ этому роду, потому что писать, какъ этотъ мясникъ, легко; учиться не надо; въ каждомъ кабакѣ можно найти шекспировскія мысли и выраженія... Это на ихъ языкѣ, называется—натура...»

— «Но помилуйте, какъ же такой злодѣй, — писатель...»

Молодой человѣкъ презрительно улыбнулся и отошелъ съ поспѣшностью; не удивительно; процессія приближалась. Почитатели Шекспира могли бы преобразить щеголя въ шекспировскаго героя и поклонникъ Буало показалъ, что онъ понимаетъ своего Аристотеля и во всемъ и вездѣ руководствуется умѣренностью и благоразуміемъ. Щеголь исчезъ. Онъ рѣшился укрыться отъ волнъ студентскихъ въ одной лавочкѣ, гдѣ миловидная хозяйка продавала разную бакалію.

— «Вотъ они, вотъ они!...» закричалъ Плакей

на ухо Горлану, съ которымъ шелъ подъ руку и что-то разсказывалъ. Горланъ повернулся къ лавочкѣ.

— «Что ты хочешь дѣлать, Горланъ? Ты, душа моя, не совсѣмъ того...»

— «Не твое дѣло! Надо посмотрѣть на предметъ будущихъ стиховъ. Это необходимо, а то будутъ такія риѳмы...»

— «Но...»

— «Говорятъ тебѣ, не твое дѣло...»

И Горланъ съ Плаксой подошли къ лавочкѣ. Горланъ, не смотря на свое сильно веселое расположеніе, былъ твердъ на ногахъ; лице играло поддѣльнымъ румянцемъ, глаза жгли неподдѣльнымъ огнемъ; что-то вдохновенное освѣщало всѣ черты лица его... Какъ опытный стратегъ по этой части, онъ обратился къ Гертрудѣ, между тѣмъ Плакса раскланивался съ отцемъ и дочерьми.

— «Что ты, моя Гертрудочка! Ты не запираешь своей лавочки? Умница! друзей нечего бояться. Но на этотъ разъ, душа моя, кромѣ нѣжныхъ словъ, никакого дохода... Шекспиръ намъ обошелся дорого. Убили всѣ деньги. Ни у кого ни гроша. А пригодились бы...»

— «А на что, смѣю спросить...»

— «А на то, моя птичка сладкая, чтобы накупить у тебя пироговъ и пряниковъ...»

— «Да развѣ у Эрнста вы еще не наѣлись...»

— «До завтра проголодаемся...»

— «Ну, такъ возьмите въ долгъ!»

— «Гертруда... я ужъ и такъ...»

— «Полноте, полноте! Вы не кто иной; вы заплатите... это у насъ самый добрый воронъ...» прибавила торговка, обращаясь къ гостямъ: «На ваше счастіе у меня и пироги сегодня чудесные... Только платочка нѣтъ, а съ корзиной васъ не пропустятъ...»

— «Возьмите мой!...» неожиданно сказала Луиза и подала свой платочекъ съ прекрасной каймкой. Не успѣла сказать, покраснѣла и еще пуще испугалась, когда на лицѣ отца замѣтила выраженіе неудовольствія.

Хозяйка не обратила на все на это большаго вниманія, воспользовалась предложеніемъ и съ особенною поспѣшностью укладывала пироги и пряники. Горланъ съ чувствомъ признательности и любопытства разсматривалъ Луизу; до другихъ ему не было дѣла; прислонясь къ окну лавки, онъ не спускалъ глазъ съ смущенной дѣвушки; за то Плакса выхвалялъ ея великодушіе и на всѣ лады старался извинить передъ отцемъ студентскую шалость...

— «Величіе Шекспира,» говорилъ онъ: «еще не понятно для Германіи. Я самъ еще ничего не читалъ, но умныя головы, господинъ коммиссаръ, утверждаютъ...»

— «Перестаньте! перестаньте! Я самъ былъ студентомъ, самъ праздновалъ рожденіе многихъ знаменитыхъ людей, но публично чествовать мясника...»

— «Извините, господинъ коммиссаръ! Какое

намъ дѣло до частной жизни писателя! Ну, что же ты молчишь?» сказалъ Плакса тихо Горлану: «ты знаешь, я не умѣю поддерживать ученыхъ разговоровъ...»

— «А? что?» какъ будто проснувшись, спросилъ Горланъ, у котораго въ рукахъ уже висѣлъ спасительный узелъ: «Пора идти! Не должно отставать отъ товарищей.» И съ этими словами бросился догонять процессію.

— «Луиза? О чемъ вы задумались...»

— «Онъ правъ!...» прошептала Луиза.

— «Да, правъ!» прибавилъ коммиссаръ: «Ступайте, ступайте! Можетъ быть послѣ почувствуете, какъ не приличенъ, какъ возмутителенъ вашъ поступокъ... Ступайте, ступайте, ступайте! Я самъ былъ студентомъ...»

Плакса сдѣлалъ кислую гримасу, поклонился и, повѣся голову, медленно побрелъ за товарищемъ.

— «Я никакъ не хочу думать,» сказалъ Горланъ Плаксѣ, когда они возвратились на свою квартиру: «что мы уже дома. Неправда, я Фальстафъ, сижу съ друзьями въ лондонской тавернѣ; кушаю себѣ на здоровье пирожки... Не достаетъ для точнаго сходства—хорошенькой собесѣдницы... Но и этому горю можно помочь...»

— «А какъ!...»

— «Заснуть... и ужъ навѣрно приснится...»

— «Гертруда...»

— «Нѣтъ...»

— «Вѣрно та хорошенькая арфистка, что поетъ на ярмаркѣ...»

— «Нѣтъ! Я ее не могу видѣть... Она поетъ стихи сноп за деньги... Она торгуетъ... Нѣтъ! Не говори объ ней! Не хочу, чтобы она мнѣ приснилась... Мнѣ жаль ее... Если бы пришлось мнѣ кого нибудь предать проклятію, я пожелалъ бы ему участи этой арфистки...»

— «Не она, такъ ужъ вѣрно дочь булочника Вебера, тучная Голландка, съ розовыми щечками, съ голубыми глазами; лучшая булка во всей лавкѣ; рубенсовская красавица, будто сбѣжала съ картины.»

— «Нѣтъ!»

Еще нѣсколько красавицъ были поименованы, но Горланъ все говоритъ «нѣтъ, не та, не угадалъ» и не выдержавъ допроса, заснулъ богатырскимъ сномъ. Плакса пытался разбудить Горлана, но тотъ со сна какъ-то небережно отмахнулся, задѣлъ товарища не совсѣмъ ловко и безъ умысла положилъ конецъ безпокойнымъ попыткамъ. Раньше всѣхъ въ домѣ заснулъ и проснулся Горланъ. Плакса этому весьма обрадовался и сказалъ тихо.

— «Ну, насилу я дождался тебя...»

— «А что?...»

— «Ты видѣлъ ее?..»

— «Видѣлъ раза три, четыре...»

— «Какъ раза три, четыре...»

— «Можетъ быть и больше, но одинъ разъ врѣзался въ мою память такъ сильно, что я думаю этого сна я не забуду во всю мою жизнь.»

— «Сна? Что же тебѣ снилось.»

— «Вѣдь это сонъ, тебѣ сердиться не за что,

но мнѣ грезилось, что ты хотѣлъ обнять ее, я тебѣ далъ по носу, оттолкнулъ...»

— «Сонъ! Что за бѣда!»

— «Слушай дальше! Повелъ ее въ церковь... Насъ сочетали! Гляжу... Жена не она, а она — стоитъ возлѣ... Я взбѣсился... Вотъ чепуха! Не правда ли?»

— «Сонъ! Что за бѣда!...»

— «Гмъ! Сонъ! Знаешь ли, мой другъ, Шекспиръ говоритъ, что на свѣтѣ есть много такого, чего въ свои стеклышка не разсмотрятъ философы... Гмъ! Сонъ! А духи, а привидѣнія... А?... Кто поручится, что со мною не бесѣдовалъ безплотный свидѣтель будущаго; можетъ быть предостерегалъ, если онъ изъ семьи добрыхъ... О!.. мертвецы еще живутъ послѣ смерти... Ты не видалъ, ты не знаешь... А мнѣ самому пришлось видѣть, какъ мертвецъ на дикомъ конѣ возвращался на кладбище; какъ огонь изъ ноздрей подземной лошади освѣщалъ путь, заросшій репейникомъ; и конь и всадникъ исчезли на могилѣ... Да, я видѣлъ...»

— «Во снѣ!...»

— «Можетъ быть и во снѣ...» Горланъ будто обидѣлся, перевернулся и замкнулъ глаза; но вдругъ будто что-то вспомнилъ, привсталъ и спросилъ тихо...»

— «А какъ зовутъ ее?»

— «Луизой.»

— «Странно.»

— «Отъ чего странно?»

— «Ты, кажется, не говорилъ ея имени.»

— «Нѣтъ...»

— «Ну, такъ во снѣ она сама сказала, пасторъ повторилъ это имя...»

— «Пожалуй, могло случиться, что я какъ нибудь обмолвился, но можетъ быть она сказала тебѣ и прозвище?»

— «Сказала. Луиза Леонгардъ... Такъ ли?»

Плакса въ ужасѣ вскочилъ и не зналъ вѣрить ли сну Горлана.

— «Странно, странно, ужасно странно, непонятно... страшно! Признаюсь, она сдѣлала на меня слишкомъ сильное впечатлѣніе, а сонъ еще больше растревожилъ меня...»

— «Горланъ! Ты хочешь быть моимъ соперникомъ?»

— «Нѣтъ, Плакса, нѣтъ... Но стиховъ писать не буду...»

— Это почему...»

— «Потому... какъ тебѣ сказать... право не умѣю... Я долженъ стараться забыть Луизу, а тутъ она будетъ откликаться на каждую риѳму, смотрѣться въ каждый образъ... Это страшно... Ты знаешь, я хочу сохранить свое сердце свободнымъ, хочу быть вѣчно веселымъ. Горе передо мною лежитъ широкой рѣкой, нигдѣ брода, нигдѣ обхода; такъ что́жъ, Плакса! Я не въ тебя, я разбѣгусь, попытаюсь перескочить, перепрыгну... или сломаю голову. Нѣкому будетъ жалѣть... А такая барышня—не Гертруда, не Маріи-

анна, не Гретхенъ! Мнѣ любить... Мнѣ вздыхать... Нѣтъ... Впрочемъ...»

Горланъ задумчиво улыбнулся.

— «Ну, что тамъ впрочемъ?...» пискливо сказалъ Плакса.

— «Скажи мнѣ, Плакса, давно ли ты знакомъ съ ними?»

— «Мы земляки! Онъ младшій, отецъ мой старшій коммиссаръ въ Гановерѣ... Отцы наши весьма желаютъ нашего союза... Онъ пріѣхалъ сюда по дѣламъ сестры; послалъ за мною; прихожу, признаюсь, неохотно; мнѣ не очень хотѣлось плясать по дудкѣ... Но я увидѣлъ Луизу и благословилъ выборъ отца... Кажется, и я ей не противенъ...»

Горланъ устремилъ на Плаксу огненные глаза. Какой-то заблудшій лучъ солнца забрелъ въ комнату и ярко разбился на лицѣ Плаксы. Горланъ опустилъ взоры. Красота товарища ручалась за справедливость его догадки.

— «Что дальше?» спросилъ Горланъ глухо, какъ будто подавляя въ душѣ своей невольное и сильное движеніе.

— «Что дальше? Она любитъ стихи; отецъ ея тоже.»

Горланъ вздрогнулъ, а Плакса продолжалъ:

— «И велѣлъ мнѣ написать стихи невѣстѣ....»

— «Невѣстѣ?. .»

— «Да...»

— «Стало-быть у васъ все кончено...»

— «Разумѣется... Только надо мнѣ кончить

курсъ, получить степень... Место и жена для меня готовы...»

— «Зачѣмъ же ты мнѣ не сказалъ этого прежде, Плакса дрянная? Зачѣмъ же ты позволилъ мнѣ мечтать о своей будущей женѣ?.. Зачѣмъ! О, я радъ твоему счастію... Вѣрь мнѣ: ты будешь счастливъ; тебѣ достается ангелъ... Какой глупый сонъ! Но не бойся, Плакса! Теперь все забыто... Я даже напишу тебѣ стихи!»

— «Неужели?»

— «Право напишу... Но согласись, этотъ маленькій романъ въ нѣсколькихъ часахъ — весьма забавенъ...»

И Горланъ сталъ непритворно смѣяться. Потомъ обернулся къ окну, чтобы не дать замѣтить товарищу смущеніе, которое возбудила въ немъ вѣсть о помолвкѣ Плаксы. Но отъ товарища не ускользнуло это движеніе.

— «Что́ съ тобою, Горланъ! Видно стихи на умѣ...»

— «Навертываются,» отвѣчалъ онъ, стараясь казаться спокойнымъ.

— «Плохіе стихи на голодный желудокъ!» замѣтилъ Плакса.

— «Постой, постой!» вскричалъ Горланъ радостно: «Вотъ видишь ли, что всё-таки я предусмотрительнѣе тебя. Вотъ тебѣ завтракъ.»

И Горланъ развернулъ узелъ. Пироговъ было не мало, они подѣлились побратски, но только раздразнили голодъ — и въ досадѣ хотѣли съѣсть платокъ, на ало Гертрудѣ, зачѣмъ послужилась...»

— «Это сокровище не Гертруды...» сказалъ со вздохомъ Горланъ: «вотъ я смѣюсь, шучу, а счастливъ ли я?... А вотъ! онъ—всю жизнь плачетъ и выплакалъ себѣ небо на землѣ... На, счастливецъ!... Этотъ платокъ — твой... Заплачь, прохныкай мнѣ твою слезливую повѣсть!...»

— «Теперь не время; пора идти со двора,» и они пошли.

Вотъ начало моей правды. Продолженіе въ слѣдующей главѣ.

—

ГЛАВА ВТОРАЯ.

ЮСТИЦЪ-ЧИНОВНИКЪ.

Но это продолженіе случилось нѣсколько лѣтъ позже начала. Недалеко отъ небольшаго городка Нидекъ, лежащаго на рѣкѣ Реръ, въ деревнѣ Геллигаузенъ, поселяне ожидали прибытія своего чиновника юстиціи, окончившаго курсъ юридическихъ наукъ въ Геттингенѣ.

Деревня была довольно многолюдна. Въ ней проживали не только поселяне, но и нѣкоторые окружные чиновники; между послѣдними надворный совѣтникъ Троппе, съ женою. Троппе игралъ первую роль въ Геллигаузенѣ или, лучше сказать, вторую послѣ своей жены, которая хотя уже и зрѣлыхъ лѣтъ, но имѣла большое притязаніе на прошедшую красоту и на издержанную любезность. Каждый вечеръ собиралось къ ней все, что только могло собраться въ деревнѣ и открывалась великолѣпная игра въ карты. За недостаткомъ игроковъ, мужъ

участвовалъ въ партіи и разсчитывался съ женою, само собою разумѣется, только для вида, но тѣмъ не менѣе со всею точностію; иногда они даже ссорились, разумѣется, притворно; важнѣйшихъ сценическихъ обмановъ не приключалось; въ самомъ опасномъ мѣстѣ жена обыкновенно подавала съ достодолжной граціей руку и съ великодушной, трагической полуулыбкой говорила:

— «Людвигъ! Я тебя прощаю...»

Людвигъ почтительно цѣловалъ ручку, получалъ нѣсколько ласкательныхъ пощечинъ, иногда любезный щипокъ и спокойствіе возстановлялось. Надо говорить правду: хотя надворной совѣтницѣ Троппе было уже тридцать три года, но она умѣла скрыть лѣта или сохранить свѣжесть лица, такъ что самъ пасторъ думалъ, что ей не больше 25 лѣтъ. Лице это, если хотите, было правильно, гдѣ слѣдуетъ бѣло, гдѣ нужно—румяно; глаза не безъ блеска, однимъ словомъ, она была бы весьма недурна собою, если бы не была дурна своею любезностью, романическимъ характеромъ, желаніемъ побѣдъ, въ такіе годы, когда лучше отдыхать на лаврахъ, нежели подражать Наполеону и другимъ честолюбцамъ. А какъ въ деревнѣ всего было только двое мужчинъ, вальдмейстеръ Бруно и сельскій судья Куно, оба холостые, оба за сорокъ лѣтъ, изъ того извольте заключить, что обоимъ приходилось составлять любовный штатъ госпожи Троппе. Какъ ни Бруно, ни Куно не могли сдѣлать на опытную женщину никакого реальнаго впечатлѣнія, то вы, вѣроятно, вмѣстѣ со

мной, пожалѣете почтенныхъ геллигаузенскихъ сановниковъ: они служили весьма несчастливо; не получали никакихъ наградъ, никакихъ выгодъ; служили изъ чести. Тутъ было и еще одно неудобство. Весь Геллигаузенъ былъ побѣжденъ, и потому удивляться побѣдительницѣ было некому; но тріумфъ безъ гласности не тріумфъ, и надворная совѣтница Троппе каждую недѣлю разъ посылала въ Нидекъ нанимать коляску и привозила въ этой торжественной колесницѣ въ городъ на показъ то одного, то другаго плѣнника; два раза въ годъ она дѣлала большой выходъ, когда въ Нидекѣ стояли ярмарки. Тогда Семирамида ѣхала въ коляскѣ съ Ниномъ, а Бруно и Куно верьхомъ сопутствовали ей и оставались въ городѣ во все продолженіе ярмарокъ. Удивительно, до чего доводитъ любовь! Бруно и Куно не измѣняли, служили еще съ бо́льшимъ усердіемъ, тогда какъ Семирамида на ихъ глазахъ уловляла въ свои сѣти юную дичь, то есть офицериковъ и студентовъ, непремѣнныхъ гостей каждой ярмарки.

Это случилось недѣли двѣ послѣ весенней ярмарки въ Нидекѣ. Поселяне, какъ мы сказали, всѣ, безъ исключенія, сидѣли подъ липами на улицѣ и пили кофе, прикушивали хлѣбъ съ масломъ и поглядывали на дорогу, откуда долженъ былъ пріѣхать юстицъ-чиновникъ. Покойный его предмѣстникъ, не смотря на то, что былъ Нѣмецъ, не нравился кліентамъ; находилъ нужными всегда, по самымъ ничтожнымъ дѣламъ, какіе-то чрезвычайные расходы; самъ расходовалъ весьма мно-

го словъ и вина; вино умножало слова, а слова сушили горло; отъ этого дѣла округа и юстицъ-чиновника пришли въ такой упадокъ, что онъ пересталъ и пить и говорить; умеръ. Пріѣздъ намѣстника озабочивалъ не только Геллигаузенъ, но весь округъ, состоящій изъ двѣнадцати деревень, подвѣдомственныхъ геллигаузенскому суду. Но все это безпокоило только плебеевъ; аристократы — играли въ карты. Условная супружеская ссора уже началась, какъ вдругъ на улицѣ произошло сильное волненіе; послышался стукъ чашекъ; поселяне ставили на мѣсто чашки, собираясь встрѣтить какъ-можно учтивѣе юстицъ-чиновника.

Наемная брика, пара лошадей, сбруя, кучеръ, все это какъ-то гремѣло, стучало, звенѣло, как театральный громъ; въ глубинѣ брики сидѣлъ таин ственный гость, потому, что, кромѣ ногъ, ничег нельзя было видѣть.

— «Гей, любезный!» спросилъ кучеръ, остан вясь на въѣздѣ въ деревню: «гдѣ отведена ква тира господину доктору юстицъ-чиновнику здѣ няго округа...»

— «Будьте милостивы, пожалуйте, мы провѣдимъ; прямо, на Больной Улицѣ; прямо противъ господина надворнаго совѣтника... Вотъ подъѣздъ!.. Все готово; мы, уже съ недѣлю, какъ все приготовили... Стой! стой! Поздравляемъ съ пріѣздомъ! Просимъ насъ любить и жаловать...»

Но къ общему удивленію юстицъ-чиновникъ вышелъ, остановился на крыльцѣ, и съ глубокомысленной улыбкой проговорилъ довольно громко.

Рекъ — и смущенный старикъ покорился строгой угрозѣ.
Молча, пошелъ онъ на берегъ громко-шумящаго моря.
Но, одинокій, блуждая, старецъ громко молиться
Сталъ Аполлону, сыну нѣжно-кудрявыя Леты...

Юстицъ-чиновникъ засмѣялся и громко сказалъ:

— «И это Греки называли стихами!..» Потомъ сдѣлалъ мину удивленія, пожалъ плечами и ушелъ въ свой домъ.

— «Это что такое?» спрашивали другъ у друга поселяне.

— «На мѣсто пьяницы—съумасшедшій! Бруно правъ; онъ всегда намъ читалъ какую-то басню о лягушкахъ! Вотъ тебѣ и басня.»

Въ совершенномъ унынiи смотрѣли они на кучера, который изъ брики таскалъ вещи или, правильнѣе сказать, книги юстицъ-чиновника, потому что кромѣ узелка и небольшой шкатулки, вся брика была набита книгами. Унынiе уничтожило даже любопытство; не разспрашивали кучера, какъ ѣдится; не заглядывали въ окна, какъ бываетъ; не лѣзли въ комнаты съ услугами, какъ случается. Нѣтъ, повѣся головы, печально размышляли о судьбѣ своей. И не замѣтили, какъ кучеръ сѣлъ опять на свое мѣсто и когда хлопнулъ бичемъ, тогда только очнулись и поспѣшили въ гостинницу, гдѣ по справедливому разсчету возница долженъ непремѣнно употребить часть своего тринкгельда. На этотъ разъ поселяне не обманулись

въ своихъ ожиданіяхъ: кучеръ уже сидѣлъ за кружкой пива съ довольнымъ лицомъ и считалъ деньги.

— «Вотъ иногда какъ странно бываетъ... Есть табакъ? Мой вышелъ; мы на трехъ миляхъ останавливались десять разъ... Отъ нечего дѣлать, я курилъ и выкурилъ весь запасъ.»

— «Да отъ чего же вы останавливались?..»

— «Гмъ! То одну, то другую книгу надо было вынуть. А покуда разроешь такую громаду и опять ее уложишь, надо немало времени. Правда, противъ правилъ; но я немогъ спорить. «Любезный Фрицъ, прошу тебя, удержи лошадей; сдѣлай милость, Фрицъ, будь такъ добръ — остановись на минуту...» О, этакія слова подѣйствуютъ на самыхъ лѣнивыхъ лошадей, а у меня развѣ нѣтъ сердца?.. О, я не такой еще злодѣй, чтобы не сочувствовать такому доброму человѣку; и слава Богу, я не ошибся.. Онъ вынулъ свой кошелекъ; тамъ не было ни гроша. Юстицъ-чиновникъ покраснѣлъ: «Любезный Фрицъ, сказалъ онъ: мнѣ совѣстно, но я плохо разсчиталъ... Ахъ, постой, постой!» — И онъ опять покраснѣлъ, но отъ радости: «Вспомнилъ, вспомнилъ!» Пошарилъ въ карманахъ, нашелъ талеръ и отдалъ...»

— «Ахъ ты, безсовѣстный! А можетъ-быть это послѣдній талеръ?»

— «Это не мое дѣло. Я не смѣлъ обидѣть отказомъ такого великодушнаго человѣка. Я не злодѣй, я умѣю сочувствовать такой доброй душѣ. И пью за здоровье вашего юстицъ-чиновника...»

Щедрость также не понравилась поселянамъ; и

скупой и расточительный питаютъ свою страсть на счетъ другихъ. И всѣ разошлись въ совершенной печали, разошлись по домамъ, потому что уныніе дѣлало всѣхъ несообщительными; даже кофе, хлѣбъ и масло были забыты; стулья и посуда ночевали на улицѣ. Стемнѣло, а нигдѣ не вспыхнулъ огонь; всѣ думали глубокую думу — въ потьмахъ. — Нигдѣ? — Простите, у госпожи Тропне противъ обыкновенія зажглась иллюминація. Вмѣсто двухъ свѣчей, освѣщавшихъ ея прелести, какъ въ будни, такъ и въ праздники, на игорномъ столѣ запылали четыре, и на окнѣ, освѣщавшемъ крыльце — поставленъ огарокъ въ бутылкѣ. Но, увы! хотя окна пріѣзжаго гостя были прямо противъ оконъ Тропне, хотя нечаянно она и накинула на себя красную шаль, хотя поглядывала то въ окно, то въ двери... напрасно. Новая жертва не являлась. Юстицъ-чиновникъ, какъ пріѣхалъ, усѣлся на кожаной софѣ и сталъ читать книгу; стало смеркаться, глаза колоть, свѣчки не было; юстицъ-чиновникъ прилегъ и проснулся уже на другой день отъ шума на улицѣ.

Геллигаузенъ, хотя и назывался деревней, но въ сущности былъ порядочный городокъ, благодаря окружному суду и близости ганноверской границы. Недалеко отъ этой границы стояла небольшая, но красивая усадьба, также надворнаго совѣтника, по фамиліи Листе, у котораго также была надворная совѣтница, знаменитая въ лѣтописяхъ германской литературы. Геммингенъ и Захарія воспѣли ее подъ именами Люцинды и Элизы; но мы хо-

тя и не знаемъ настоящаго ея имени, будемъ называть Агатой, по нѣкоимъ причинамъ, изложеннымъ ниже. Усадьба отстояла отъ Геллигаузена въ десяти шагахъ, черезъ мостъ только; несмотря на то, жители усадьбы почти вовсе не бывали въ деревнѣ и не состояли въ командѣ госпожи Троппе: она ихъ исключила изъ списковъ, и даже, какъ утверждали завистники въ Нидекѣ, дѣлала сосѣдямъ за рѣчкой разныя непріятности. Избѣгая встрѣчи съ Семирамидой, сосѣди даже гулять не ходили черезъ завѣтный мостъ, такъ что въ Геллигаузенѣ ихъ больше года никто и не видѣлъ. Все это необходимо для ясности дальнѣйшаго разсказа. И такъ на улицѣ былъ шумъ. Юстицъ-чиновникъ посмотрѣлъ въ окно и увидѣлъ, что причиною шума была торговка, которая завела ссору. Передъ окнами юстицъ-чиновника находилась сельская ярмарка; господинъ Троппе перевелъ сельскій торгъ на это мѣсто для того, чтобы жена его, не одѣваясь, изъ окна могла покупать, что́ ей нужно. И точно, въ окнѣ сидѣла Семирамида и торговала цыплятъ, но, къ удивленію торговки, такъ долго, такъ прижимисто, что та потеряла терпѣніе, стала кричать, браниться; а когда поселяне вздумали унимать торговку, она пришла въ бѣшенство и своими криками разбудила юстицъ-чиновника.

Онъ вспомнилъ о своей должности и выбѣжалъ на улицу.

— «Что́ за крикъ?» спросилъ онъ голосомъ звучнымъ и весьма пріятнымъ: «Чего ты кричишь, старушка?»

— «А тебѣ какое дѣло? Ты больно молодъ, а Жидовкой меня никто не смѣй называть. Не хочешь моего товара, Богъ съ тобой; а какая я Жидовка? Цыплята четырехъ-мѣсячные; никто не продастъ дешевле моего. Кормъ больше стоилъ, чѣмъ даетъ эта госпожа; да по мнѣ все равно: давай, что хочешь, только не называй Жидовкой ..»

— «Чего ты хочешь, старушка? Ну, пошумѣла, пора уняться...»

— «Я хочу, чтобы эта госпожа на весь торгъ сказала, что я не Жидовка...»

— «Милостивая госпожа!» сказалъ юстицъ-чиновникъ, улыбаясь и подходя къ окну госпожи Троппе: «Вы слышите, чего требуетъ старушка? Вы ее обидѣли.»

— «Вы находите!» сказала Семирамида и запылала натуральнымъ румянцемъ, отъ чего лице ея освѣтилось двойнымъ какимъ-то свѣтомъ.

— «Вамъ ничего не стоитъ сказать старухѣ, что она не Жидовка и весь этотъ шумъ прекратится...»

— «Вы требуете?..»

— «Какъ я смѣю...»

— «Вы желаете?..»

— «Если бы вы позволили...»

— «Для васъ, для васъ только... Послушайте, мои милые, я пошутила: я хотѣла подразнить старушку; она не умѣла понять шутки... Если она обидѣлась, очень жалѣю...»

— «Богъ проститъ!» сказала торговка, махнувъ рукой и усѣлась съ своими цыплятами подальше отъ дома Троппе.

— «Давно ли вы пріѣхали?» спросила Троппе, поправляя искусно свой утренній тоалетъ.

— «Вчера.»

— «Вчера? И мы объ этомъ ничего не знали! Мы не предложили вамъ нашихъ услугъ, какъ добрые сосѣди! Вы женаты, можетъ-быть, дѣти?..»

— «Нѣтъ! Я не женатъ и никогда женатъ не буду...»

— «Въ самомъ дѣлѣ? Не зарекайтесь! Побьемся объ закладъ, что, не пройдетъ и года, вы будете женаты...»

— «Смѣло бьюсь объ закладъ и о чемъ угодно...»

— «Боже мой! Вы вѣрно еще не завтракали...»

— «Я еще не успѣлъ устроить хозяйства...»

— «Да это и не ваше дѣло... Не хотите ли позавтракать съ нами? Людвигъ скоро будетъ готовъ, а завтракъ на столѣ; пожалуйте, безъ церемоній...»

Желудокъ и нравъ юстицъ-чиновника совѣтовали принять предложеніе. Онъ даже не умѣлъ скрыть своего удовольствія и въ одно мгновеніе очутился въ гостиной.

— «Вотъ это по-сосѣдски! Я уже послала за Людвигомъ. А покуда поскучайте въ моемъ обществѣ...»

— «И вы это говорите! Мнѣ скучать?..»

— «Да вѣдь вы ненавидите женщинъ...»

— «Кто вамъ сказалъ?..»

— «Да вы не сами ли проговорились, что никогда не женитесь...»

— «Именно потому, что ужасно люблю жен-

щинъ... Боюсь моей невѣрности. Я погублю жену...»

— «Хорошо вы себя рекомендуете, нечего сказать. Женщины должны отъ васъ бѣгать, какъ отъ чумы...»

— «Это почему?»

— «Потому, что вы можете полюбить каждую..»

— «Хорошенькую.»

— «Молодость довѣрчива...»

— «О, я не разборчивъ — и умѣю удивляться красотѣ во всякомъ возрастѣ. Особенно, если красота такъ блистательна, такъ очаровательна...»

Плутъ смотрѣлъ на совѣтницу такими нѣжными глазами, что та, при всемъ совершенствѣ кокетства, смутилась и подумала невольно: «Этотъ скорѣе захочетъ быть побѣдителемъ, чѣмъ плѣнникомъ...» Но это смущеніе было мгновенно.

— «Удивляюсь,» сказала она холодно: «какъ вы съ такими расположеніями рѣшились жить въ деревнѣ...»

— «Напротивъ! Можетъ-быть, къ моему несчастію, но я благодарю судьбу за это мѣсто... даже за квартиру...»

— «Это правда. Ваша квартира на самомъ веселомъ мѣстѣ...»

— «Боюсь, чтобы она не сдѣлалась душной темницей...»

— «Это почему?»

— «Блаженство и горе граничатъ...»

— «Въ ваши годы думать о горѣ! Смѣшно слушать! Для васъ только расцвѣтаетъ весна жизни;

вы прибѣжали рано на душистую долину наслажденій; прохладный ручей дѣйствительности освѣжаетъ васъ непустыми надеждами и, au comble du bonheur, вы свободны...»

Госпожа Троппе при послѣднемъ словѣ изволила вздохнуть и потомъ продолжать задумчиво, такъ сказать, мечтательно:

— «Ваша жизнь не обречена на тягостное притворство, на мучительное принужденіе; цвѣтовъ вашей жизни не снимаютъ серпомъ грубые жнецы; вы не старѣетесь раньше времени; въ двадцать-два три года вы не носите маски тридцати-пятилѣтняго возраста, которую надѣваютъ на васъ ежедневныя скорби, душевная тоска, одиночество въ союзѣ... О!..»

Госпожа Троппе изволила повернуть голову къ окну и будто украдкой отереть небывалую слезу. Юстицъ-чиновникъ былъ тронутъ и обрадованъ. Мы уже доложили, что госпожа Троппе была очень не дурна собой, а юстицъ-чиновникъ былъ весьма снисходителенъ и, какъ самъ изъяснился, неразборчивъ; притомъ же въ деревнѣ, гдѣ никакое сравненіе не могло уменьшать красоты Семирамиды... Все это ласкало господина юстицъ-чиновника пріятными надеждами, а положеніе ея, о которомъ она такъ искусно намекнула, ручалось въ томъ, что умный утѣшитель не останется безъ награды.

— «Простите! Я заслушался! Поэтическій языкъ дѣйствуетъ на меня какъ-то отрицательно Я не ощущаю восторга, но леденѣю... Ваша рѣчь...»

— «Тише, тише... Идетъ... Вотъ и мой мужъ.

Рекомендую тебѣ нашего юстицъ-чиновника; онъ пришелъ тебѣ представиться, но я не виновата, что ты такъ долго одѣваешься. Меня никто не предупредилъ и я въ дезабилье застала ихъ здѣсь...»

— «Очень радъ съ вами познакомиться. Позвольте узнать...»

— «Готлибъ-Августъ Бюргеръ...»

— «Очень радъ! Людвигъ-Леопольдъ Троппе... Матильда-Іоганна Троппе...»

— «Бюргеръ!» воскликнула Матильда: «Какая славная фамилія... Вся Германія теперь только и говоритъ о Бюргерѣ, что написалъ какую-то Ленору...»

— «Глупая сказка, Матильда! Тамъ мертвецы скачутъ гопъ-гопъ-гопъ въ галопъ, тамъ шумитъ гроза, заза, колокола клингъ, клингъ, глингъ, чепуха! Это хорошо для простаго народа; поселяне почти всѣ читаютъ наизустъ Ленору; это деревенская поэзія...»

Юстицъ-чиновникъ краснѣлъ и блѣднѣлъ въ перемежку. Матильда замѣтила волненіе гостя и перебила длинную критическую рѣчь.

— «Людвигъ! О литературѣ ты бы не разсуждалъ лучше. Можетъ-быть поэтъ близкій человѣкъ господину Бюргеру, можетъ-быть...»

— «Не все ли равно... Я скажу въ глаза...»

— «Ахъ, перестань, пожалуйста! Я не могу слушать; я лучше уйду...»

— «Матильда...»

— «Нѣтъ, уйду! Я горю отъ стыда...»

— «Право, не буду, Матильда! Я, пожалуй, стану хвалить...»

— «И это не твое дѣло! Ты не понимаешь ничего въ литературѣ; ты не долженъ мѣшаться въ ученые разговоры... Ты...»

— «Клянусь, не буду, только и ты перестань...»

— «Я не перестану, а уйду...»

— «Матильда! Прости!..»

— «То-то! Ты всегда слишкомъ много надѣешься на мою доброту и дѣлаешь глупости. Такъ и быть, прощаю, но въ послѣдній разъ... Для васъ, господинъ юстицъ-чиновникъ, только для васъ я простила этого неучтивца... На его сужденіе не обращайте вниманіе; скажите лучше, гдѣ живетъ теперь этотъ знаменитый Бюргеръ?»

— «Въ Геллигаузенѣ!»

— «Въ Геллигаузенѣ!» воскликнула чета.

И мужъ, который сталъ уже завтракать, поперхнулся и раскашлялся такъ сильно, что разговоръ долженъ былъ прекратиться. Матильда лечила мужа домашними средствами: колотила въ спину; Бюргеръ подалъ ему воды; кое-какъ бѣда миновалась и наступила сцена восторговъ и удивленія.

— «Какая честь, какая слава нашему Геллигаузену! Едва смѣю вѣрить... Вы?.. Вы?.. О, простите! простите! Мы васъ приняли, какъ варвары...»

— «Напротивъ, какъ добрые друзья! Я постараюсь опровергнуть мнѣніе господина надворнаго совѣтника...»

— «Я не имѣю никакого мнѣнія, господинъ

юстицъ-чиновникъ, право, не имѣю; не буду, не хочу имѣть... Это проклятый Куно сказалъ мнѣ; это самый завистливый человѣкъ въ свѣтѣ; я не читалъ, не слыхалъ Леноры... Все это онъ сочинилъ, злобный демонъ!.. Вотъ кстати и онъ, и Бруно... Бруно, будь свидѣтелемъ...»

— «Какъ тебѣ нестыдно, Людвигъ! Что за очная ставка?.. Великій поэтъ Бюргеръ! Прошу васъ познакомиться съ товарищами по земнымъ обязанностямъ; это — здѣшняго округа судья, а это вальдмейстеръ... Посмотрите, какъ они удивились, съ какою почтительностью глядятъ на васъ и кланяются. Полюбите ихъ, Бюргеръ, они добрые люди... очень добрые... Но слова не накормятъ... Пожалуйте!»

Матильда усадила гостей за весьма скромный завтракъ, назначенный для полуторы персоны. Матильда сама обыкновенно кушала много, но за то подъ предлогомъ различныхъ діэтетическихъ опасностей кормила мужа, какъ птичку. Въ этомъ заключалась одна изъ тысячи причинъ, почему господинъ Троппе любилъ ходить на охоту; послѣ завтрака онъ обыкновенно подходилъ къ окну и несмѣло заводилъ рѣчь о погодѣ.

— «Кажется, какъ ты думаешь, Матильда? Сегодня погода хорошая, можно бы посмотрѣть нѣтъ ли въ полѣ гостей.»

Всегда Матильда отвѣчала на этотъ вопросъ отрицательно.

— «Тебѣ такъ кажется, а воздухъ холоденъ, теперь ясно, а черезъ два три часа будетъ дождь,

вѣтеръ. Видишь, какъ душно въ воздухѣ...» и такъ далѣе. Но на этотъ разъ Матильда совершенно согласилась съ мужемъ; только прибавила...

— «Какъ хочешь, Людвигъ, но одного не отпущу...»

— «Мы пойдемъ всѣ вмѣстѣ...»

— «Я,» шепталъ Куно... «имѣю дѣла...»

— «Вздоръ, вздоръ!» перебила Матильда: «У васъ всегда дѣла не кстати; хвалитесь дружбою, а не хотите сдѣлать компанію; вотъ Бруно не таковъ: онъ ужъ не оставитъ Людвига.»

— «Я?..»

— «Да, вы! Надо отдать справедливость...»

— «А, вы, господинъ Бюргеръ?..» спросилъ Троппе.

Матильда значительно взглянула на юстицъ-чиновника. Тотъ, догадался или вовсе не любилъ охоты, отвѣчалъ:

— «Мнѣ совѣстно отказать господину надворному совѣтнику, но позвольте напомнить, что у меня еще нѣтъ ни кухарки, ни кухни, ни прислуги, ничего кромѣ книгъ; мнѣ надо поустроиться и отдохнуть съ дороги.»

— «Холостой человѣкъ...» сказала Матильда: «къ чему вамъ заводить хозяйство? Васъ будутъ обманывать, и одному скучно; вы можете кушать съ нами; ужъ это мое дѣло... а что касается до вашихъ книгъ, отдыха, ступайте, ступайте; не церемоньтесь съ нами. Я пошлю вамъ мою Гретхенъ; она поможетъ... Прощайте! Признаюсь и

мнѣ что-то нездоровится; я тоже прилягу, отдохну; прощайте...»

Бюргеръ почти насильно былъ изгнанъ; Матильда ушла; Людвигъ былъ чѣмъ-то недоволенъ до такой степени, что не хотѣлъ смотрѣть на товарищей; Бруно съ улыбкой состраданія смотрѣлъ на Куно, Куно съ такимъ же выраженіемъ созерцалъ Бруно... Молчаніе прервалъ Троппе...

— «Нечего дѣлать, пойдемъ на охоту!» сказалъ онъ и пошелъ вооружаться.

— «Кажется и Матильда собирается на охоту, господинъ, Бруно...»

— «А вамъ завидно? Вы бы съ удовольствіемъ послали на свое мѣсто этого ребенка, а сами заняли его должность...»

— «Которую онъ у васъ такъ безжалостно похищаетъ. Если Матильда вчера въ картахъ и приняла вашу сторону, то кажется, больше для того, чтобы скрыть...»

— «Тайное расположеніе къ вамъ? О, никто въ этомъ не сомнѣвается, кромѣ одной Матильды...»

— «Вы можете шутить, но не оскорблять...»

— «Вольно же оскорбляться; я отъ вашихъ насмѣшекъ всегда отмахиваюсь, какъ отъ безвредныхъ мухъ.»

— «А я вашихъ и не замѣчаю.»

— «И потому оскорбляетесь?»

— «Кто вамъ сказалъ! Стану я оскорбляться всякою глупостью...»

— «Послушайте, вы говорите дерзости.»

— «Отмахивайтесь...»

— «Извольте, но берегитесь...»

— «Господа!» сказалъ Людвигъ: «я готовъ! Пойдемъ, побѣжимъ: она спитъ, а проснется, погода можетъ перемѣниться...»

— «Но послушайте!»

— «Ничего не слушаю. Скорѣе изъ дома, въ поле, скроемъ слѣдъ, него еще пришлютъ погоню»

— «О, не извольте безпокоиться...»

— «Почему вы такъ думаете?..»

— «Такъ себѣ, по предчувствію...»

— «А если не по предчувствію, а по какой-либо другой причинѣ?..»

— «Помилуйте!..»

— «То-то же! Прошу быть осторожнѣе...»

— «Не бойтесь! Я возьму съ собою очки, чтобы не дать промаха...»

На улицѣ охотники встрѣтили Гретхенъ, старую и невзрачную дѣву; съ узелкомъ она побѣжала въ домъ юстицъ-чиновника. Никто не осмѣлился сдѣлать ей вопроса или замѣчанія... Охотники безъ охоты удалились на любимый промыселъ...

Когда Гретхенъ вошла въ гостиную юстицъ-чиновника, онъ лежалъ на софѣ не совсѣмъ живописно и громко пѣлъ какую-то пѣсню... Содержаніе пѣсни было такое странное, что Гретхенъ, остановившись на порогѣ, не знала идти ли дальше, слушать ли пѣсню, или воротиться къ госпожѣ съ докладомъ. Но Гретхенъ не успѣла рѣшиться. Бюргеръ ее замѣтилъ и спросилъ:

— «Тебѣ что надо? Ты не изъ Макбета ли, а?»

— «Нѣтъ-съ, я отъ госпожи Троппе...»

Бюргеръ вскочилъ.

— «Отъ госпожи Троппе? Что́ прикажетъ Матильда? Я будто околдованъ ея любезностью... Говори, говори, моя милая!»

— «Говорить пока нечего. Завтракъ былъ очень бѣденъ, такъ я принесла пироговъ и бутылку вина.»

— «Вина! О! Матильда ангелъ предусмотрительности; фея всевидящая! Гдѣ же это вино? И вѣроятно превосходное, какъ все, что только идетъ отъ ея прекрасныхъ рукъ...»

— «Перестаньте говорить такъ! Можно подумать, да нельзя повѣрить, будто вы уже влюбились въ мою госпожу...»

— «Нельзя повѣрить? Согласись, моя милая, я молодъ, она еще молода... Сколько ей лѣтъ?»

— «А какъ вы думаете?»

— «Лѣтъ двадцать пять, ужъ никакъ не больше... За здоровье Матильды!.»

— «Ну, видно вы опытны! Какъ разъ въ пору.»

— «Но она должна быть ужасно строга къ чужимъ...»

— «Охъ! Не повѣрите, какая бѣда служить у красавицы. Безпрестанно подданные заѣзжаютъ съ подарочками; не взять — жалко, взять — опасно... Да и за что́ брать? Слова себѣ сказать не позволитъ...»

— «Да здравствуетъ добродѣтель Матильды! Ахъ, милая, хотя и совѣстно, а я тебѣ не дамъ никакого подарочка...»

— «Да и за что́?»

— «То́-то и есть, что незачто!»

— «А еслибъ было за что?..»

— «О, тогда дѣло другое... Но что́ ты можешь мнѣ сказать утѣшительнаго...»

— «Ну, а если бы я вамъ сказала, что я уже двадцать лѣтъ живу въ этомъ домѣ...»

— «Поздравляю! Все-таки это не сто́итъ подарочка...»

— «Эхъ, вы молодость! двадцать лѣтъ при госпожѣ, я знаю что́ она думаетъ; знаю кого дурачитъ, знаю кого любитъ...»

— «Любитъ! Кого она любитъ!»

— «Вотъ то́-то и есть. Было бы за что взять подарочекъ; какъ пришла на верхъ, какъ поглядѣла въ окно, какъ подошла къ зеркалу, я все стою, смотрю и слушаю...»

— «Что́ же она говорила?»

— «Ничего. Да я то слушала, что она думаетъ. Двадцать лѣтъ при ней; какъ изъ пенсіона привезли, все при ней...»

— «Гм!» пробормоталъ Бюргеръ и выпилъ послѣдній стаканъ все-таки за здоровье двадцатипяти-лѣтней красавицы.

— «Что́ же она думала?»

— «Экой недогадливый! Про васъ думала!»

— «О, злобная колдунья! Не клевещи! Я не хочу вѣрить моему счастію; я съума́ сойду! Уходи ты, коварный сонъ! Вонъ изъ моего дома, вѣдьма!..»

Гретхенъ дотого испугалась, что выскочила на улицу. Бюргеръ на́-крѣпко заперъ двери и бросился на софу помирая отъ смѣха.

— «Видно Бойэ зналъ про Матильду,..» такъ самъ съ собой разсуждалъ Бюргеръ: «что выпросилъ для меня мѣстечко въ Геллигаузенѣ. Во всякой другой деревнѣ я умеръ бы со скуки. А тутъ — я Кесарь! Пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ. Понимаю, предусмотрительный другъ! Я оправдаю твое высокое мнѣніе объ эротическихъ моихъ талантахъ! Теперь бы заснуть; да нельзя; интрига, которая такъ быстро началась, или также быстро достигнетъ благополучной развязки или разрушится какъ падучая звѣзда... И то сказать, Матильда и въ Геттингенѣ могла бы нравиться, а тутъ, въ глуши, въ деревнѣ... Вотъ она, садится у окна; Гретхенъ ставитъ пяльцы; мы будемъ вышивать... Превосходно! Станемъ и мы что-нибудь дѣлать...»

И Бюргеръ съ греческимъ Гомеромъ усѣлся у окна. Пошла нѣмая бесѣда; то Бюргеръ, то Матильда какъ-то любовно засматривались другъ на дружку; то она оставляла шитье, то онъ бросалъ книжку... Солнце достигло зенита; Гретхенъ накрыла столъ на два прибора, поставила бутылку вина, чего за завтракомъ не было.... Матильда встала, подошла къ столу и задумалась. Гретхенъ постучалась въ двери юстицъ-чиновника.

— «Кто тамъ?»

— «Пожалуйте обѣдать!»

Послѣ обѣда, который чинно и торжественно совершался въ присутствіи Гретхенъ, Матильда предложила своему гостю показать домъ и садъ. Прелестный весенній день обливалъ воздухъ какою-

то упоительною теплотою; ни одинъ листъ не колыхался; какъ-будто вся природа дремала въ сладостной негѣ... Гретхенъ въ бесѣдку изъ густыхъ акацій принесла кофе, подала гостю трубку и удалилась.

—

ГЛАВА III.

ДѢДУШКА СТАРЫХЪ ВРЕМЕНЪ.

Въ славномъ городѣ Нидекѣ не было ярмарки; вѣдь не цѣлый же годъ торговать; но въ славномъ городѣ Нидекѣ были похороны богатаго купца, а такое событіе стóитъ ярмарки; со всѣхъ окрестныхъ деревень собирались именитые гости, и благодаря прекрасной погодѣ, рѣшительно весь городъ двигался по большой улицѣ въ ожиданіи торжественнаго шествія. Но вмѣсто погребальной колесницы, по мостовой раздался стукъ городской коляски; проходящіе остановились, чтобы посмотрѣть на расточительнаго возмутителя священной тишины... Коляска приближалась, любопытство возрастало и жители Нидека, такъ какъ и вы, любезные читатели, узнали геллигаузенскую Семирамиду по соломенной шляпкѣ, украшенной многими букетами пестрыхъ цвѣтовъ... Матильда цвѣла и дышала блаженствомъ, съ гордостью поглядывала то на удивленныхъ горожанокъ, то на молодаго спутника, который съ важностью сидѣлъ въ коляскѣ раскинувшись и съ удовольствіемъ глядѣлъ на проходящихъ.

— «Луиза!» сказалъ господинъ Леонгардъ: «По-

гляди! да это, кажется, тотъ шалунъ, что мы видѣли въ Геттингенѣ въ пирожной лавкѣ...»

— «Не, кажется, а именно самъ онъ! Какъ онъ попался въ когти этой... Пойдемъ въ церковь; посмотримъ, узнаетъ ли онъ насъ...»

— «Батюшка!..»

— «Что съ тобой?»

— «Нѣтъ, не ходите... Позвольте мнѣ вернуться домой... Я не такъ-то здорова...»

— «Луиза? Я тебя не понимаю. Ты была такъ весела, такъ счастлива и вдругъ...»

— «И вдругъ мнѣ пришло на умъ, что Германъ...»

— «Что Германъ! Я ему отказалъ на-прямки, потому что онъ тебѣ не нравится. Правду сказать и мнѣ не очень. Тѣмъ болѣе, что есть женихи получше его; тѣмъ болѣе, что выборъ мужа... Что съ тобой, Луиза?...»

— «Мнѣ дурно! Германнъ въ сильной печали; вы слышали какъ онъ плакалъ.»

— «Ну, это еще не бѣда. Не даромъ и въ университетѣ его звали Плаксой.»

— «Тѣмъ хуже! Онъ еще расплачется въ церкви, обратитъ на меня общее вниманіе; я сгорю отъ стыда.»

— «Ты говоришь правду... Я самъ не люблю этихъ театральныхъ сценъ... Постой же! Похороны видѣть слѣдуетъ. Чѣмъ потомъ мы будемъ извинять наше равнодушіе къ такимъ рѣдкимъ и великолѣпнымъ зрѣлищамъ; мы съ тобой проберемся на хоры...»

— «Батюшка!»

— «Охъ, Луиза! Можно ли позволять себѣ такое малодушіе? Отказали, такъ отказали; женіховъ много и, право, всѣ лучше этого Германна; и на хорахъ онъ насъ не увидитъ. Пойдемъ!..»

И Луиза повиновалась. Она шла опустивъ прелестную головку съ такою неохотою, какъ-будто коммиссаръ насильно тащилъ ее въ церковь. На паперти, какъ-будто что̀ укололо Луизу; она съ ужасомъ посмотрѣла на церковныя двери; вошла, но вся затрепетала; оглянулась на стукъ коляски — и что̀ же, геттингенскій знакомецъ съ легкостью искуснаго жокея, выскочилъ изъ коляски не отворяя дверецъ и со всею заботливостью помогъ выйти Матильдѣ; она нѣжною улыбкою благодарила кавалера.

— «Августъ!» сказала она: «А букетъ, что ты сегодня для меня самъ собралъ?..»

— «Онъ на груди вашей...»

— «Ахъ! И я могла это забыть! Руку, Августъ, руку!»

— «Идутъ!» прошептала Луиза съ какимъ-то судорожнымъ движеніемъ всего существа своего и уже не отецъ, а Луиза потащила его къ темному ходу на хоры... Матильда усѣлась на краю почетной скамѣйки, а Бюргеръ стоялъ возлѣ и держалъ ея молитвенникъ въ богатомъ футлярѣ.

— «Жарко!» сказала Матильда: «Подержи, Августъ, мой платокъ; но тебѣ тяжело, Августъ?..»

— «Какъ вамъ не стыдно!»

— «Милый Августъ!»

Дальнѣйшія нѣжности были прерваны прибытіемъ печальной процессіи. Пасторъ сказалъ короткую рѣчь: она не продолжалась болѣе часа. Покойника понесли на кладбище; почти всѣ пошли за нимъ.

— «Не пора ли домой?..» спросила Матильда: «Какъ ты думаешь, милый Августъ?..»

— «Я, милая Матильда, ничего не думаю. Мнѣ бы надо побывать у здѣшнихъ чиновниковъ, попросить ихъ къ себѣ на завтра. Вы знаете, завтра въ судѣ я формальнымъ образомъ приму званіе и провозглашу присягу... Завтра — я постоянный и счастливый житель Геллигаузена... Конечно, особенной нужды нѣтъ звать эти парики, тѣмъ болѣе, что мои финансы не позволяютъ сдѣлать приличной пирушки; притомъ же и того не должно забыть, что этотъ праздникъ у насъ отниметъ день блаженства...»

— «Шалунъ!..» съ улыбкою сказала Матильда, ударивъ легонько Бюргера по носу, который уже и въ молодости былъ довольно длиненъ: «Ты не долженъ заботиться о житейскихъ пустякахъ: это сладкая обязанность твоихъ друзей. Пойдемъ на кладбище, — теперь тамъ всѣ; я приглашу ихъ на завтра къ себѣ — это нашъ общій праздникъ... Пойдемъ!..»

И точно. До полудня изъ Нидека, изъ ближнихъ деревень въ домъ Троппе собрались почетнѣйшіе сосѣди; уже судья прислалъ за юстицъ-чиновникомъ и свидѣтелями; уже процессія выходила на крыльцо, передъ которымъ остановилась неболь-

ная крытая повозка, — оттуда высунулись старая голова въ огромномъ парикѣ.

— «Господа! Не знаете ли, гдѣ живетъ мой Готлибъ?»

— «Дѣдушка!» закричалъ Бюргеръ и бросился къ коляскѣ...»

— «Браво! браво!..» кричалъ старикъ: «вотъ такъ — дѣло другое. Я твой другъ, твой помощникъ! Наконецъ ты опомнился! Мѣсто не важное, но съ твоими удивительными способностями, современемъ ты можешь получить мѣсто юстицъ-совѣтника въ какой нибудь столицѣ... Браво, Готлибъ? Гдѣ ты живешь?»

— «Здѣсь, дѣдушка, но сегодня день моей присяги; мы шли въ судъ; добрые люди пригласили моихъ гостей къ себѣ въ домъ...»

— «О! съ твоимъ сердцемъ, ты вездѣ найдешь друзей, Готлибъ! Но для жизни мало одного сердца: пусть оно дѣйствуетъ, но совмѣстно съ разумомъ; пускай другъ отъ дружки ни на шагъ не отступаютъ. Ну, пойдемъ! Очень радъ, что здѣсь живетъ мой хорошій пріятель и хорошій человѣкъ. Ты, вѣроятно, съ нимъ познакомился.»

— «Съ кѣмъ, дѣдушка?»

— «Съ надворнымъ совѣтникомъ, какъ-бишь его...»

— «Троппе...»

— «Фуй! Какъ можно? Онъ глупъ, а она еще хуже... Нѣтъ! нѣтъ! Боже сохрани!»

— «Вотъ тебѣ разъ!» подумалъ Бюргеръ и оглянулся. По счастію, чиновники и гости, не желая

мѣшать семейнымъ разговорамъ, или въ почтительномъ отдаленіи и не могли слышать, что говорилъ старикъ.

— «Нѣтъ!..» продолжалъ онъ: «Тутъ живетъ Листе, человѣкъ съ умомъ, съ характеромъ, у него безподобная жена; я надѣюсь, что она будетъ имѣть на тебя благодѣтельное вліяніе... Твое несчастіе, Готлибъ, что между женщинами ты всегда попадалъ неудачно; дай Богъ, чтобы геттингенскія твои связи не развратили сердца... Твоя Троппе такое же чудовище, какъ и твоя геттингенская Лаура; она.... я все узналъ.... она вовлекла тебя въ долги.»

Бюргеръ потупилъ голову.

— «Не печалься, Готлибъ! Долги твои заплачены...»

— «Дѣдушка! Спаситель мой...»

— «Дѣдушка! То-то! Видишь! Я не давалъ тебѣ ни гроша; одинъ шагъ на честный путь — и я весь къ твоимъ услугамъ.»

Бюргеръ бросился въ объятія старика.

— «Хорошо, хорошо, Готлибъ! Только не думай, что я уже вполнѣ вѣрю твоему исправленію..»

— «Вы увидите...»

— «Да, увижу, и потому денегъ тебѣ не дамъ; достаточное для тебя содержаніе я довѣрю моему Листе; ты будешь получать отъ него деньги по мѣрѣ надобности... Кажется мы пришли къ суду?..»

— «Кажется такъ; я никогда не былъ въ этомъ

домъ. По дурной наружности, должно думать, что это наша сельская палата юстиціи...»

Дѣдъ остановился и гордо посмотрѣлъ на внука.

«Готлибъ! Эта неумѣстная насмѣшка заставляетъ меня сомнѣваться въ твоемъ исправленіи! Неужели ты хочешь оставаться на всю жизнь только стихоплетомъ? Не спорю, что ты можешь писать стихи; ты хорошо учился поэзіи, проходилъ философію; но пусть эта страсть не будетъ страстью; пусть твой талантъ будетъ дополненіемъ къ другимъ, дѣйствительнымъ талантамъ. Можно иногда играть въ кегли, даже въ карты, но посвятить имъ жизнь, время — ты будешь игрокомъ. Ни какой разницы: тунеядецъ, милостынникъ; если и есть разница — такъ только та, что ты не будешь объигрывать другихъ, а себя! Но подходятъ. Я не хочу, чтобы твои товарищи знали твои недостатки, скажу прямо, пороки... Надѣюсь, что ты умѣлъ скрыть свою несчастную страсть. Ахъ, Готлибъ, я надѣялся, что ты началъ выздоравливать. Но, Богъ милостивъ; лѣта ребячества миновались...»

Старикъ не кончилъ бы проповѣди, если бы чиновники не подошли очень близко; двери суда отворились; дѣдъ отсталъ для того, что внукъ долженъ былъ самъ войти въ юстицъ-камеру и дѣйствовать вообще самостоятельно.

— «Милости просимъ,» сказалъ Куно, садясь на свое предсѣдательское мѣсто и лукаво улыбаясь.

Всѣ не безъ удивленія замѣтили, что Троппе былъ уже въ камерѣ; приходъ гостей прервалъ ихъ разговоръ съ Куно. Троппе таже не успѣлъ

скрыть улыбки злобнаго удовольствія и поспѣшилъ вмѣшаться въ толпу свидѣтелей.

— «Господинъ юстицъ-чиновникъ!» возгласилъ Куно съ притворнымъ равнодушіемъ: «Вамъ извѣстны, столько же какъ и всѣмъ присутствующимъ, законы земли нашей. Вы принимаете на себя не малотрудную обязанность вести дѣла не малаго округа; дѣла иногда большой важности, иногда обширной цѣнности. Непростительно было бы сомнѣваться въ вашемъ искуствѣ, доброй совѣсти и честности; но благодѣтельные законы, ограждая безопасность бѣдныхъ и безотвѣтныхъ гражданъ, въ отеческой предусмотрительности, постановляютъ, дабы принимающій на себя званіе и обязанности чиновника юстиціи, предъявилъ въ судъ, предъ которымъ имѣетъ ходатайство, залогъ на счетъ коего онъ, не обремения клієнтовъ впередъ судебными издержками, могъ бы дѣйствовать свободно по долгу присяги... или же представилъ in persona двухъ поручителей, достойныхъ общаго довѣрія...»

Бюргеръ побѣдилъ; Троппе и Куно торжествовали; юстицъ-чиновникъ оглянулся; свидѣтели какъ будто не слышали словъ Куно и, отвернувшись, перешептывались; никто не хотѣлъ ручаться за незнакомаго чиновника, притомъ же, на бѣду, и поэта... Насладясь замѣшательствомъ счастливаго соперника и несчастнаго чиновника, Куно поднялъ гласъ на цѣлые два тона и продолжалъ:

— «Сумма не значительна, двѣ тысячи талеровъ. По предъявленіи сей суммы приступимъ къ присягѣ...»

Бюргеръ побагровѣлъ и собирался что́-то сказать, но не могъ; въ крайнемъ смущеніи, закинувъ руки назадъ, Бюргеръ почувствовалъ въ рукѣ своей какую-то бумагу; посмотрѣлъ; глаза полные слезъ и выразительной благодарности обратились къ дѣду, который стоялъ сзади.

— «Что́ же ты медлишь, другъ мой! Ты не долженъ смущаться передъ лицемъ судьи никогда, ни въ какомъ случаѣ! Ступай! исполняй свой долгъ!» сказалъ старикъ и тихонько толкнулъ Бюргера впередъ. Юстицъ-чиновникъ опомнился и что́-то вспомнилъ. Съ улыбкою посмотрѣлъ на Троппе и Куно; подошелъ къ столу, поклонился не разъ, а три раза съ комическою важностью и передъ Куно, на красное сукно, положилъ пучокъ облигацій виртембергскаго банка. Куно не умѣлъ прежде скрыть удовольствія, теперь досады...

— «Ваши ли это деньги?» спросилъ онъ съ запальчивостью...

— «Это что́ за вопросъ, господинъ Куно? По какимъ это законамъ изволите спрашивать?..»

— «Во-первыхъ, требуется удостовѣреніе, что эта сумма ваша собственность; во-вторыхъ, поручительство двухъ достойныхъ довѣрія лицъ, что эта сумма не будетъ вами растрачена на постороннія надобности...»

— «Одинъ законъ вы сочинили, господинъ судья; другой меня не затруднитъ: деньги могутъ остаться въ судѣ...»

— «Совсѣмъ нѣтъ,» перебилъ старикъ: «господинъ судья не допуститъ такого нарушенія буквы

закона, тѣмъ болѣе, что въ здѣшнемъ судѣ нѣтъ казначейства; а, по точной силѣ постановленія о судебныхъ залогахъ, приметъ поручительство главнаго Ашерслебенскаго судьи, Якова Филиппа Бауэра и надворнаго здѣшняго совѣтника Листе...»

Куно, услышавъ имя перваго поручителя, совершенно смутился; всталъ, кланялся старику, кланялся внуку, и всё бормоталъ...»

— «Поздравляю, поздравляю...»

— «Поздравляю и васъ, господинъ судья,» сказалъ съ злобной улыбкой Бюргеръ: «и васъ, господинъ Троппе!»

— «Меня съ чѣмъ?..»

— «Такъ!.. на радости мнѣ всѣхъ бы хотѣлось поздравить съ пріѣздомъ дѣдушки. Мы, право, разъигрываемъ комедію...»

— «Комедію!» сказалъ Куно, нѣсколько ободрясь: «Позвольте вамъ напомнить...»

— «Первая часть торжества, кажется, кончилась, господинъ Куно! Вы сами встали съ мѣста и начали такъ ловко раскланиваться, что я и позабылъ, что я въ судѣ...»

Куно покраснѣлъ.

— «Позвольте же вамъ напомнить, что я опять сижу и такъ какъ поручители должны засвидѣтельствовать...»

— «Лично,» перебилъ главный судья: «то я попросилъ бы послать за господиномъ Листе отъ моего имени. Сторожъ! Сходи и попроси господина Листе отъ имени Бауэра изъ Ашерслебена...»

Куно сидѣлъ на своемъ мѣстѣ, правда; но весь-

ма неспокойно; точно такъ же стоялъ и Троппе и, будто лошадь въ стойлѣ, перебиралъ ногами. Бауэръ отвелъ Бюргера къ окну и сказалъ тихо.

— «Ты уже успѣлъ пріобрѣсти неуваженіе здѣшнихъ чиновниковъ...»

— «Совсѣмъ нѣтъ, дѣдушка! Они меня ужасно уважаютъ, боятся...»

— «Это отчего?»

— «Вы бы имѣли право на меня сердиться, если бы послѣ всего, что́ вы для меня дѣлаете, я скрылъ бы отъ васъ малѣйшую бездѣлицу.»

Бауэръ пожалъ ему руку.

— «Мы съ господиномъ судьей хотя и не ровесники, однако же соперники...»

Бауэръ улыбнулся.

— «Неудовольствіе скоро кончится. Какъ только я получу отставку...»

— «Отъ мѣста...»

— «Нѣтъ, отъ госпожи Троппе.»

— «Отъ госпожи!..»

— «Тише, тише, дѣдушка. Имъ завидно, зачѣмъ я такъ ласково принятъ въ домѣ, зачѣмъ, напримѣръ сегодня, въ домѣ Троппе принимаютъ моихъ гостей, потчуютъ. Виноватъ ли я?..»

— «Виноватъ, Готлибъ...»

— «Право не виноватъ; я вамъ послѣ разскажу, какъ все это случилось... Вы сами меня оправдаете...»

— «Ни въ какомъ случаѣ... И ты больше не долженъ ни ногой...»

— «Дѣдушка! Не дѣлайте мнѣ стыда!.. Даю

намъ слово, я отстану, отретируюсь безъ малѣйшей потери. Сегодня не только я, вы должны быть у нихъ на обѣдѣ...»

— «Я?»

— «Да, вы, дѣдушка! Неблагодарно было бы съ моей стороны за участіе, хлопоты, издержки, за все отплатить презрѣніемъ въ лицѣ Нидека и всего округа...»

— «Ты правъ, Готлибъ! О! разумъ твой догоняетъ сердце! Очень радъ, что имѣлъ случай видѣть твои успѣхи...»

— «Не то еще увидите...»

— «Господинъ надворный совѣтникъ Листе!» возгласилъ сторожъ.

Бауэръ бросился на встрѣчу своему другу. Листе былъ высокаго роста, прекрасной наружности, но черты лица выражали глубокую задумчивость. На мгновеніе онъ повеселѣлъ; но когда Бауэръ объяснилъ въ чемъ дѣло, Листе сталъ опять задумчивъ, хотя и исполнилъ желаніе старика безпрекословно. Юстицъ-чиновникъ получилъ обратно свои деньги, произнесъ присягу, росписался въ книгѣ и торжественно вышелъ изъ присутствія.

— «Куда вы теперь?» спросилъ Листе, видя что процессія не поворачиваетъ на мостъ...

— «А вы не съ нами? Мы къ Троппе.»

— «Къ Троппе?..» Листе покраснѣлъ: «Нѣтъ, я не могу; у насъ гости; если бы я зналъ прежде... Но я надѣюсь, что вы не откажетесь посѣтить и насъ...»

— «Любезный Листе! Мы исполнимъ только

долгъ учтивости и тотчасъ послѣ обѣда прійдемъ къ тебѣ. До свиданія!..»

На крыльцѣ, Матильда ожидала Августа съ зеленымъ вѣнкомъ; но этотъ вѣнокъ неловко выпалъ изъ рукъ ея, когда она увидѣла маститаго спутника. Этотъ менторъ съ перваго взгляда ей не понравился. Она заглушила волненіе, улыбнулась даже, но ничего не могла сказать.

— «Позвольте, дѣдушка, познакомить васъ съ Матильдой Троппе, которая заступила для меня мѣсто матери...»

Матильда покраснѣла, но на лицѣ этого не было видно.

— «Родительскія ея обо мнѣ попеченія исполняютъ мое сердце живѣйшей признательностью...»

— «Перестань, Августъ, перестань!..» перебила Матильда съ досадою...

— «Дѣдушка, простите скромности Матильды! Она никогда не хочетъ слышать отъ меня словъ благодарности...»

— «Перестань, Готлибъ: если госпожѣ Троппе не угодно слушать, такъ ты долженъ уважить ея волю. Но мнѣ, безъ сомнѣнія, вы позволите поблагодарить за родительскія попеченія о миломъ внукѣ... И какъ это странно!.. Покойница дочь моя и мать Готлиба, если бы теперь жила, была бы вашихъ лѣтъ...»

— «Пожалуйте въ комнаты!..» съ досадой проговорила Матильда...

— «Если не ошибаюсь, Гертрудѣ было бы теперь ровно сорокъ...»

— «Пожалуйте, пожалуйте!» кричала Матильда не своимъ голосомъ, стараясь заглушить ужасное сравненіе. Но увы, и Куно и Бруно и самъ Троппе слышали все до послѣдняго слова; и, таково сердце человѣческое, всѣ трое огорчились, обидѣлись и въ душѣ своей клялись за дѣда мстить внуку. Легко можно догадаться, что обѣдъ походилъ на похоронную тризну: ѣли и пили много, говорили мало. Послѣ обѣда Матильда исчезла. Бауэръ, поблагодаривъ хозяина, ушелъ съ внукомъ; тогда веселье нѣсколько возстановилось; Матильда сошла внизъ, исправивъ передъ зеркаломъ всѣ нанесенные ей ущербы красоты и любезности; раскинулись карточные столы; въ саду загремѣли кегли. Всѣ забыли про дѣда и внука; только одна Матильда поглядывала на улицу и поджидала не подадутъ ли бричку, которая должна освободить Геллигаузенъ отъ гостя. Ожиданіе ея не обмануло. Еще солнце не закатилось, какъ бричка подъѣхала къ крыльцу; дѣдъ и внукъ трогательно простились; дѣдъ уѣхалъ; внукъ... Матильда не сомнѣвалась, что онъ, какъ только выскользнетъ изъ лапъ ментора, прибѣжитъ разстроить незанимательную партію въ карты. — И это ожиданіе не обмануло Матильды. Внукъ разстроилъ партію; ушелъ домой. Матильда крѣпилась долго; не смогла — и упала въ обморокъ.

—

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

ЖЕНЩИНА СТАРЫХЪ ВРЕМЕНЪ.

Бюргеру было не до Матильды... Онъ ходилъ взадъ и впередъ по своей столовой; въ потьмахъ онъ видѣлъ какъ кошка; внутренній жаръ, бросаясь въ глаза, какимъ-то страннымъ сіяніемъ освѣщалъ для Бюргера всю комнату, весь міръ. Въ этомъ странномъ снѣ онъ позабылъ дѣдушку, Матильду, себя; онъ не спалъ, но ему грезился такой странный, закутанный, мистическій сонъ, какого вѣроятно нельзя встрѣтить ни въ одной повѣсти Гофманна и К°. Маки этого таинственнаго сна разбрасывала передъ нимъ женщина, не молодая, но еще прекрасная, хотя истерзанная душевнымъ недугомъ, непонятною болѣзнію; образъ ея разливался въ темнотѣ ночи какою-то облачною, волнистою тѣнью; но глаза будто двѣ свѣчки въ глубокомъ мракѣ, горѣли ослѣпительнымъ огнемъ, и это пламя, какъ-будто огни надъ могилой, свидѣтельствовали о страданіяхъ смерти, тайнахъ замогильныхъ... Вы уже навѣрно думаете, что Бюргеръ влюбился... Не знаю, какъ вамъ сказать, но потерпите,— вы сами увидите въ чемъ дѣло. Съ трудомъ удалось ему оторваться отъ чужихъ мечтаній; чужихъ, потому что онъ мечталъ не за себя; искалъ причинъ непонятнаго недуга; онъ ощущалъ болѣзнь такъ чувствительно, какъ-будто самъ страдалъ тѣмъ же; онъ понималъ счастіе, въ которомъ утопала больная. Загадка долго мучила его; наконецъ онъ догадался...

— «Нѣтъ! Ложь!» сказалъ онъ громко: «не въ-

рю! Она не можетъ, не должна быть счастлива. Притворство, личина, красивая завѣса; за нею сцена съ печальной трагедіей! О! я прочту, если не увижу, эти закулисные ужасы семейной жизни! А еще дѣдушка совѣтовалъ жениться... Нарядить меня печальнымъ Листе. Бѣдный! Къ чему прекрасная наружность, природный умъ, тщательное образованіе? Къ чему? На устахъ этого счастливаго, обожаемаго мужа, я не замѣтилъ полуулыбки. Чудная, поэтическая жена — какъ будто великолѣпное надгробіе, хвастаетъ о покойномъ... Право такъ, иначе быть не можетъ!... Боже мой! Какъ я замечтался! Что̀ дѣлаютъ мои сосѣди?... Что̀ это? Матильда упала въ обморокъ; видно городскіе гости не похожи на насъ съ Куно и Бруно; видно кто нибудь такъ же ошибся, какъ мой правдивый дѣдушка. Одного въ немъ не люблю: зачѣмъ онъ думаетъ, что я въ состояніи не на шутку влюбиться въ тридцати-лѣтнюю бабу, хотя она еще, право, не дурна! Кокетка, да развѣ я отъ этого что̀-нибудь теряю? Кажется, нѣтъ! Не сидѣть же, сложа руки; не на покаянье же послали меня въ Геллигаузенъ... Пустяки! Положимъ, исполняя волю дѣдушки я перестану бывать въ домѣ Троппе. Я сдержу слово; но развѣ Матильда не можетъ гулять въ окрестностяхъ, встрѣчаться со мной нечаянно, et cetera et cetera!... Напримѣръ, я замѣтилъ тутъ, недалеко, съ четверть мили, есть сельскій домикъ; можно нанять на годъ подъ чужимъ именемъ; для свиданій — прелесть... Я стану капризиться; Матильда согласится промѣнять эту несносную комнату съ дымной печкой на

покойное и безопасное убѣжище, гдѣ ни одинъ чужой взоръ не потревожитъ нашей бесѣды... Я самъ буду отпирать ей двери, самъ введу ея въ комнаты, уставленныя цвѣтами... деньги есть!... Завтраже...»

Бюргеръ мечталъ лежа на кожаной софѣ; эти мечты какъ-то успокоили, убаюкали молодую фантазію, онъ заснулъ, но къ утру горящіе глаза снова пригрезились; лице уже не разливалось въ неопредѣленный образъ; напротивъ, выражало такую пронзительную, нестерпимую скорбь, что Бюргеръ вскрикнулъ, вскочилъ и проснулся...

— «Боже мой! Она зоветъ меня!...» сказалъ онъ, поправилъ на-скоро волоса и платье, схватилъ шляпу и бросился изъ дома. Передъ его домомъ уже давно собрался торгъ, въ окнѣ давно уже сидѣла Матильда; возлѣ давно уже торчали Троппе, Бруно и Купо. Бюргеръ никого не замѣтилъ; съ странною поспѣшностью промелькнулъ онъ по улицѣ, постоянно ускоряя шаги, такъ что черезъ мостъ онъ уже бѣжалъ; у воротъ нѣсколько опомнился, но совершенно прійти въ себя онъ не имѣлъ времени, потому что калитка была отперта. Берта, служанка, увидавъ съ крыльца гостя, крикнула: «Господа въ саду; ступайте туда.» Вотъ онъ въ саду; никого кажется нѣтъ; но вотъ въ бесѣдкѣ, обросшей густою зеленью слышенъ шумъ поцѣлуевъ, нѣжныя слова. Бюргеръ остановился и покраснѣлъ, упрекая себя въ нескромномъ поступкѣ.

— «Не уходи, милый другъ, я не знаю, но это ужасное сіяніе, въ которомъ я плавала будто въ океанѣ, не предвѣщаетъ ничего добраго...»

— «Мечты, Агата! Ты знаешь, какъ я люблю добраго Бауэра, какъ я много обязанъ этому старику; теперь случай — отплатить ему за добро — добромъ... Освободить внука отъ опаснаго сосѣдства, отъ житейскихъ хлопотъ, отъ вредныхъ друзей, ото всего, что̀ губитъ молодежь на порогѣ поприща.»

— «Я узнаю̀ тебя, Морицъ, но я видѣла сонъ...»

— «Какъ тебѣ не стыдно...»

— «Ну, перестань, перестань! Поцѣлуй меня: для твоего спокойствія, для твоего счастія я готова забыть все на свѣтѣ...»

И звонкій поцѣлуй раздался въ бесѣдкѣ... Бюргеръ не счелъ себя въ правѣ сохранять нескромное инкогнито, отошелъ на нѣсколько шаговъ и сталъ громко кашлять...

— «Готлибъ! Вы ужъ здѣсь!» спросилъ Листе: «Вы предупредили меня! Пожалуйте, пожалуйте; мы съ женой только-что про васъ говорили...»

Бюргеръ робко вошелъ въ бесѣдку, почтительно поклонился хозяйкѣ, но не смѣлъ взглянуть ей въ глаза.

— «Просимъ, просимъ!» продолжалъ Листе: «Знаете ли, что̀ мы съ женою придумали. Вы человѣкъ одинокій, молодой, въ Геллигаузенѣ жить скучно; хлопоты домашнія не по васъ, не хотите ли къ намъ переѣхать? У меня есть особенный домикъ въ саду; вонъ тамъ, вы видите? Онъ ничѣмъ не хуже вашей квартиры... Вы раздѣлите съ нами скромный столъ, у васъ будетъ своя прислуга...»

— «Столько одолженій... я васъ стѣсню... тѣмъ болѣе, что все это чего-нибудь стóитъ... Я долженъ отказаться...»

— «Вы должны принять наше дружеское предложеніе. Вы не будете жить у меня даромъ; вы будете платить за все, но вдвое дешевле противъ того, что́ вы платите за мостомъ...»

— «На такомъ условіи... я только долженъ благодарить...»

— «И этого не нужно... Оставайтесь съ Агатой! А я пойду и сдѣлаю всѣ нужныя распоряженія.»

Вотъ теперь я нахожусь въ самомъ критическомъ положеніи!... Какъ описать эту женщину, въ которой, по всѣмъ историческимъ свидѣтельствамъ, не было ничего земнаго; она и тѣлесно походила на духа, облеченнаго призракомъ плоти. Нельзя сказать, чтобы Агата была тощая женщина; нѣтъ, щечки, руки, бюстъ — полны тѣла, но какого то фарфороваго, прозрачнаго, бѣлизны неестественной; все въ ней было соразмѣрено не на земной аршинъ, стройность утопическая, неизмѣнная при всѣхъ возможныхъ движеніяхъ, а движенія — такъ воздушны, такъ легки, что, казалось, и воздухъ ихъ не чувствовалъ; улыбка, но грустная, не сходила съ устъ вишневыхъ; вздохи почти ежемгновенно волновали чудную грудь; и въ этихъ вздохахъ не замѣтно было земной тягости: они какъ-будто принадлежали вѣчной и тайной молитвѣ. Агатѣ тоже было за тридцать лѣтъ, но, казалось, что въ осемнадцать лѣтъ своенравная природа забальзамировала ея дивную красоту и время линялось надъ ней разруши-

тельнаго вліянія... Вотъ ужъ эта была поистинѣ Дѣва Чудная, чудесная! Передъ ней господинъ Бюргеръ, любитель и знатокъ женскаго пола, спѣшилъ и опустивъ глаза, молча мялъ свою измятую шляпу, нещадно, не смѣя посмотрѣть въ очи, которыя вамглись вчера въ его сердцѣ... Онъ не былъ влюбленъ; онъ досадовалъ на свою робость, подозрѣвалъ въ притворствѣ, даже питалъ дома нѣкоторыя надежды, но здѣсь... у него въ головѣ и сердцѣ пылалъ какой-то почтительный страхъ; молчаніе Агаты еще болѣе умножало его замѣшательство. Прошло съ добрые полчаса, Агата не вымолвила слова. Освоясь нѣсколько, онъ рѣшился взглянуть на странную собесѣдницу; блестящіе глаза ея недвижно смотрѣли на высокую, пирамидальную тополь, съ тою же грустною улыбкой; казалось въ этихъ взорахъ убѣжала душа, и глаза недвижно ожидали ея возвращенія. Если бы не вздохи, безпрерывно, безъ всякаго звука, волновавшіе грудь ея, можно бы подумать, что передъ Бюргеромъ сидѣлъ автоматъ. Но этого и въ умъ не пришло Бюргеру; и его взоры побѣжали за душою Агаты; остановились на той же пирамидальной тополи, и ему показалось будто онъ понялъ мысль Агаты, мысль эта ему понравилась, полюбилась. Но еслибъ попросить Бюргера передать эту мысль въ словахъ, онъ бы забормоталъ, какъ глухонѣмой и не произнесъ бы ни одной буквы, напечатанной въ алфавитѣ... Такимъ образомъ и она смотрѣла на тополь; Листе воротился, а они не вымолвили слова. Съ грустью посмотрѣлъ Листе на жену; пожалъ плеча-

ми и сталъ говорить чуть не шепотомъ, возвышая постепенно голосъ...

— «Любезный Готлибъ! Все готово, вамъ и ходить въ Геллигаузенъ не-зачѣмъ! Вы можете у насъ остаться и поэтизировать сколько душѣ угодно. Я вчера при Бауэрѣ молчалъ; онъ не жалуетъ поэзіи; я самъ... Но это дѣло постороннее; мнѣ извѣстно, что вы поэтъ, что вы написали хорошенькую балладу Ленора...»

— «Ленора? Это ваша Ленора? Это дивная игра воображенія; мечта о вѣрности за гробомъ... Мориць, Мориць! Вѣрь мнѣ, если умру, я не разстанусь съ тобою; каждый вечеръ тѣнь моя будетъ летать между листьевъ этой тополи; ты услышишь шумъ въ безвѣтріе; ты выйдешь въ садъ, мы сядемъ на эту скамью, и я тебѣ буду разсказывать, что дѣлается за дверьми здѣшней жизни.»

— «Ахъ, Агата!» сказалъ мужъ съ горькой улыбкой: «я желалъ бы слушать тебя всегда, вездѣ; но за гробомъ о замогильномъ мірѣ, а о землѣ—на землѣ...»

Голова Агаты упала на грудь. Печальная дума осѣнила ея чело; всѣ черты стали неподвижны. Съ примѣтнымъ страданіемъ Мориць сказалъ Бюргеру...

— «Я уйду; постарайтесь развеселить ее; мнѣ это уже не удается..!»

Мориць ушелъ. Агата подняла голову и смотрѣла вслѣдъ мужу съ презрѣніемъ и соболѣзнованіемъ. Это выраженіе придало лицу Агаты соблазнительную прелесть; въ этомъ чувствѣ блес-

нула женщина; и какая женщина! Завеса, которая ограждала ее отъ земныхъ помысловъ, какъ-будто осунулась, но на одно мгновеніе. Агата мгновенно закуталась въ неприступную важность и опять ушла на тополь.

— «Что вы тамъ видите, госпожа Листа?» спросилъ Бюргеръ, не безъ робости.

— «И вы спрашиваете? Поэтъ!! Скажите, что вы видите въ этомъ міре? Не маскерадъ ли духовъ, сошедшихъ въ область тлѣнія и порока, чтобы мимолетомъ сдѣлать добро, скинуть личину и улетѣть домой въ надзвѣздныя селенія...»

— «Вотъ что! Къ этой женщинѣ надо приближаться надзвѣздными путями! Долго! Скучно! А нечего дѣлать! Она стоитъ такой поѣздки! Поѣдемъ!..»

Такъ думалъ Бюргеръ и физически приблизился къ Агатѣ, то есть, подвинулся со стуломъ.

— «Все-таки не понимаю, что вы можете видѣть на этомъ тополѣ...»

— «Я вижу ихъ, моихъ старинныхъ знакомцевъ, моихъ хранителей въ этой обители грѣха, въ этой юдоли порока...»

Агата пристально посмотрѣла на Бюргера; но юноша простодушно и весело отвѣчалъ:

— «Что будетъ тамъ, увидимъ!.. Предузнать, предувидѣть замогильной будущности не дано человѣку...»

— «И вы поэтъ?»

— «Можетъ быть, но не мечтатель!»

Агата расхохоталась и такъ громко, что Листе

услышалъ и прибѣжалъ Бюргеру на помощь. Возстановился земной разговоръ. Бюргеръ смѣялся надъ тополью Леноры; разсказывалъ разные предразсудки и повѣрья простаго народа; міръ мечтательный такъ сталъ смѣшонъ въ его картинахъ, что даже Агата не могла удержаться отъ улыбки; къ удивленію Бюргера, Листе хранилъ важность и, казалось, былъ недоволенъ поведеніемъ Бюргера.

— «Перестаньте, Готлибъ!» сказалъ онъ наконецъ, какъ-будто вышелъ изъ терпѣнія: «Не всему должно вѣрить, но и не все можно опровергнуть. Пойдемте обѣдать...»

Обѣдъ сошелъ благополучно. Бюргеръ почти не смотрѣлъ на Агату; отвѣчалъ только на ея вопросы, а впрочемъ разспрашивалъ о своихъ геллигаузенскихъ знакомцахъ. Листе отвѣчалъ неопредѣленно, загадками, не охотно. Не смотря на равнодушіе къ Агатѣ, Бюргеръ замѣтилъ, что она за столомъ ѣла будто птичка или лучше сказать, будто кроликъ; не много зелени, хлѣба, молока—и кончено. Вообще столъ Листе не понравился Бюргеру; кушанья не кушанья, а лекарства отъ голода: вина, пива и въ поминѣ не было; вода, вода и вода! Бюргеръ вздохнулъ въ отчаяніи; но какъ только Агата ушла отдыхать въ свою комнату, Листе горько улыбнулся, взялъ Бюргера за руку и сказалъ шепотомъ: «Пойдемте обѣдать!»

— «А это было что же?»

— «Мечта объ обѣдѣ... Мы не духи; намъ нужно существенное... Пойдемте, пойдемте!..»

И точно, въ домикѣ, въ саду, гдѣ отведена

была квартира для Биртера, накрытъ былъ столъ, поставленъ ростбифъ, какъ скала обсыпанная мелкими каменьями, картофелемъ; двѣ куропатки, какъ будто на супружескомъ ложѣ, спали на блюдѣ сномъ смертнымъ; двѣ бутылки добраго вина какъ столбы указывали, гдѣ станція для сотрапезниковъ...

— «Это моя столовая,» сказалъ Мориць: «не удивляйтесь! Лучше посѣтуйте со мною на странное, на ужасное положеніе. Агата любитъ меня, я ее обожаю; тринадцать лѣтъ мы женаты, то есть... «Мориць не кончилъ этой пояснительной фразы:» То, что меня обворожало въ Агатѣ, эта поэтическая мечтательность — обратилась для меня въ казнь, въ неисходную муку. Она жаждетъ смерти; она не любитъ дня; не прикасается къ пищѣ кровной; любитъ меня и потому желаетъ мнѣ смерти; книги — ея страсть, жизнь; эти проклятыя книги повредили ея воображеніе; припадки бываютъ легче и сильнѣе; но не бываетъ дня или, лучше сказать, ночи, безъ странныхъ грезъ на яву, безъ происшествій, въ которыхъ дѣйствуютъ безплотные. Рѣдко вы увидите ее днемъ. Для дѣдушки вашего ее вчера насильно разбудили; она спала ночью и проснулась днемъ; но вотъ теперь выспится и опять все пойдетъ вверхъ дномъ. Жаль мнѣ Агаты; но видно такъ судьбѣ угодно. Днемъ я хлопочу по дѣламъ, по хозяйству; забочусь объ ея туалетѣ, бѣльѣ, и даже проклятыхъ книгахъ, которыя освобождаютъ меня отъ тяжкихъ ночей. Она читаетъ, пишетъ, а я сплю... Поутру она

меня будитъ, а сама ложится спать... Завидная жизнь!..»

И съ этимъ словомъ Морицъ сталъ гомерически уничтожать ростбифъ. Аппетитъ заразителенъ; Бюргеръ послѣдовалъ его примѣру и разговоръ прекратился... Вино послужило поводомъ только къ нѣкоторымъ междометіямъ и не препятствовало уничтоженію куропатокъ. Послѣ чего собесѣдники чокнулись послѣдними стаканами и встали.

— «Ну, Готлибъ! Теперь дѣлайте что хотите, а я въ городъ. И такъ, я думаю, опоздалъ. Насилу улеглась. Прощайте!»

Поспѣшность, съ какою ушелъ Морицъ показалась Бюргеру довольно подозрительною; но преслѣдовать тайны хозяина, столь добраго, гостепріимнаго, показалось недостойнымъ; вино же было такъ хорошо; диванъ такъ покоенъ; Бюргеръ заснулъ, и не проснулся: его разбудилъ Морицъ.

— «Вставайте! Поужинаемъ скорѣе! Черезъ часъ она проснется и если не найдетъ меня въ объятіяхъ Морфея, тогда я могу потерять ночь въ объятіяхъ безплотныхъ... Проворнѣе! Проворнѣе!..»

За ужиномъ говорили еще меньше, чѣмъ за обѣдомъ. Морицъ ѣлъ усердно, но на лицѣ была написана забота, неудовольствіе.

— «Дай Богъ не проспать, него завтра опять не найду моего злодѣя... Прощайте!..»

Морицъ ушелъ, но Бюргеръ не могъ спать; онъ вышелъ въ садъ; чудная тихая ночь во всемъ торжествѣ сіяла на звѣздныхъ небесахъ. Поэтъ

не мечтатель усѣлся подъ завѣтною тополью и, на грѣхъ мастера нѣтъ, замечтался... Легкій шорохъ шаговъ разбудилъ его; то была Агата, она шла къ таинственному дереву на безгласный разговоръ, а нашла живаго собесѣдника... Увидавъ его, Агата остановилась и твердымъ голосомъ спросила:

— «Кто здѣсь?»

— «Я.»

— «Ахъ! это вы? Что вы тутъ дѣлаете?»

— «Мечтаю.»

— «Вы?»

— «Я.»

— «О чемъ?»

— «О васъ.»

— «Обо мнѣ. Странно. А я думала объ васъ.»

— «Что же тутъ страннаго? Души людей между собою въ магнитныхъ отношеніяхъ. Есть звуки, на которые откликается вся природа... Случалось и мнѣ слышать шумъ, котораго въ дѣйствительной природѣ не было...»

— «И только шумъ?..»

— «Ахъ, Агата! Я не довольно чистъ, чтобы имѣть право видѣть причины тайныхъ явленій природы...»

— «А на что же воля?»

— «Воля человѣческая,—волна подъ вѣтромъ.»

— «Ребенокъ! Отчаянье запало въ сердце прежде, нежели явилась причина къ отчаянію... Впрочемъ — можетъ быть любовь уже посѣтила это сердце...»

— «Не умѣю лгать! Посѣщала...»

— «Посѣщала! Такъ любовь можетъ быть не одна! Нѣтъ; значитъ, что любовь не считаетъ твоего сердца достойною себѣ обителью...»

И Агата ушла.

— «Вотъ тебѣ разъ!» подумалъ Бюргеръ: «Съ нею не сладишь!.. Надо было притвориться на другой ладъ... Какъ угодно, Агата, а не будь я геттингенскимъ профессоромъ женскаго краснорѣчія и счастливой любви, если я не одержу блистательной побѣды.»

Поэтъ не мечтатель—мечталъ. Поведеніе Агаты не измѣнялось; дни быстро уходили за днями; ни одного шага къ сближенію. Морица онъ видалъ только за обѣдомъ и ужиномъ; Агату почью и то на мгновеніе у тополи.

— «О, несносныя исчадія,» говорилъ Бюргеръ: «они меня хотятъ сдѣлать пустынникомъ, мечтателемъ, глупцемъ! Брошу я всѣ эти пустяки, займусь существеннымъ: Деньги мои уцѣлѣли: у Листе, про случай, лежитъ моихъ двѣ тысячи талеровъ; стану подражать Морицу: отправлюсь въ городъ. Правда у меня нѣтъ дикого тамъ знакомаго; не завернуть ли къ Троппе! Но если дѣдушка! Да что дѣдушка! Я забѣгу на минуту, объясню планъ, открою тайну моей невѣрности, и тогда все устроится прекрасно!..»

И рано утромъ, когда господинъ Троппе чистилъ ногти, Куно зубы, а Бруно—егерскій свой мундиръ, юстицъ-чиновникъ былъ уже подъ завѣтнымъ окномъ, откуда Матильда закупала еже-

дневную провизію... Простодушная улыбка на устахъ Бюргера; простертыя руки, какъ будто они хотѣли добѣжать къ Матильдѣ, раньше Бюргера; въ глазахъ выраженіе радости — и Матильда позабыла объ измѣнѣ, продолжительной отлучкѣ, обо всемъ прошедшемъ въ твердомъ убѣжденіи, что теперь уже птичка не вырвется изъ клѣтки... Она привстала, также протянула къ нему руки, уже хотѣла начать милую журьбу, какъ вдругъ повернулась проворно внутрь комнаты, и Бюргеръ остановился у самаго окна, не смѣя идти дальше, чтобы нарушитель столь искусно завязанной бесѣды не замѣтилъ черезъ окно его головы.

— «И такъ мы будемъ завтракать!» раздался голосъ господина Троппе.

— «Боже мой! Какъ ты меня перепугалъ, несносный! Кушай себѣ, ѣшь, мнѣ не хочется.»

И Матильда выглянула опять въ окно. Но Бюргеръ приложилъ палецъ къ губамъ и потомъ сказалъ шепотомъ :

— «Тутъ невозможно объясненіе... У старой мельницы, въ зеленой рощѣ... черезъ часа два я ожидаю тебя!»

Опять палецъ приложился къ губамъ. Матильда опять исчезла изъ окна.

— «Тебя только пусти одного къ съѣстному, ты станешь ѣсть до-смерти.»

— «Помилуй, Матильда, я не ѣлъ, я только отрѣзалъ ломтикъ...»

— «Довольно! довольно! Потомъ опять будешь боленъ, опять посылай въ Нидекъ за докторомъ;

опять расходы... И зачѣмъ такъ много ѣсть; добро бы ты вернулся съ охоты, а то сидишь на одномъ мѣстѣ, не имѣешь никакого движенія, а ѣшь за двухъ!»

— «Что же мнѣ дѣлать, Матильда, если ѣсть хочется.»

— «Пустяки! Это у тебя фальшивый аппетитъ! Сидячая жизнь!..»

— «Помилуй, я все лежу отъ скуки.»

— «Еще хуже! Болѣзнь развивается, сегодня хорошій день... Бери нашихъ пугалъ и ступай на охоту; кстати, я тебѣ и забыла сказать: сегодня на торгу былъ Вурмъ, стрѣлокъ.»

— «Вурмъ!»

— «Да, Вурмъ.»

— «Какъ же это онъ не зашелъ ко мнѣ...»

— «У него на рукахъ висѣло цѣлое стадо птицъ; онъ продалъ ихъ какому-то пріѣзжему за бездѣлицу; и тогда уже подошелъ къ окну... — Что ты это, Вурмъ? Отчего же не намъ?» спросила я.

— «У васъ много провизіи,» отвѣчалъ онъ: «я этотъ купилъ гуртомъ... Вамъ, если хотите, завтра цѣлый возъ поставлю: въ моемъ участкѣ теперь цѣлыя стада; прощайте; видите, я и лошадь взялъ, чтобы скорѣе вернуться. Птица тянетъ.... Пролетятъ, такого богатства подъ носомъ не скоро дождешься...»

— «И онъ меня не увѣдомилъ, разбойникъ! Самъ, дуракъ, всего не перестрѣляетъ! И еще деньги съ насъ береть!»

— «Какъ онъ не увѣдомилъ? Былъ, да спѣшилъ въ свой лѣсъ.»

— «Ахъ, Боже мой! Пѣшкомъ до Вурма не скоро доберешься; развѣ лошадей нанять...»

— «Мотъ! Тебѣ бы только деньгами сорить! Много ихъ у тебя, видно. Лѣнтяй! лишь бы пѣшкомъ не ходить; и на охотѣ лежать хочетъ...»

— «Помилуй! Незабудь, что до Вурмова лѣса дойдешь часа въ три, четыре...»

— «Вотъ это и движеніе, моціонъ, какъ слѣдуетъ; дойдешь и воротишься здоровый. Пожалуй, переночевать можете у Вурма; за то завтра какой у насъ будетъ обѣдъ...»

— «Знаешь, и супъ съ говядиной!..»

— «Пожалуй!»

— «Не поскупишься, знаешь, этакъ, третье кушанье прибавить...»

— «Пожалуй... Экономія! Ты привезешь цѣлый возъ дичи; по-крайней-мѣрѣ Вурмъ не даромъ деньги будетъ брать; провизіи станетъ на долго. А главное, твое здоровье.»

— «Такъ ты думаешь...»

— «Что ты кругомъ глупъ. Со всѣхъ сторонъ польза, а ты мѣшкаешь.»

— «Ѣсть хочется. На тощакъ...»

— «Вынь-себѣ, да проворнѣе.»

За послѣднимъ дѣло не стало. Троппе принялся работать и завтрака въ одно мгновеніе не стало. Онъ также поспѣшно собрался въ путь; поднялъ своихъ товарищей, обрадованныхъ появленіемъ цѣлыхъ стай дичи въ участкѣ Вурма; и

всѣ трое отправились съ смертоносными намѣреніями въ дальнюю дорогу. Бюргеръ слышалъ только начало разговора за завтракомъ; предугадалъ развязку и отправился еще скорѣе, чѣмъ Тропе къ старой мельницѣ. Это мѣсто, дѣйствительно, самою природой было устроено для любовныхъ свиданій. Когда-то могучій и обильный ключъ, наполнявшій верхній бассейнъ мельницы, состарѣлся, оскудѣлъ жизнію и силой; тощій ручей пробуравилъ гнилыя стѣны плотины и едва внятнымъ шумомъ какъ-будто разсказывалъ развалившейся мельницѣ о ея прежней дѣятельности. Зеленая роща, хотя и всѣ рощи зелены, такъ называлась по живописному освѣщенію, которое придавало растительности деревъ истинно ослѣпительную краску; она тянулась по прибрежью ручья; слѣдъ, когда-то плотно протоптанной дорожки, былъ примѣтенъ во все протяженіе рощи, и приводилъ путника къ небольшому, опрятно построенному домику, въ которомъ жила мельничиха съ пятилѣтнимъ ребенкомъ. Мужъ ея давно переселился на другія мѣста, а она выжидала на свою дачу купца или постояльца. Бюргеръ не разъ посѣщалъ это поэтическое уединеніе, не разъ бесѣдовалъ съ мельничихой, игралъ съ ребенкомъ, зналъ исторію старой мельницы и стучался въ ворота какъ домашній.

— «Ганна!» сказалъ онъ сонной мельничихѣ, когда она впустила на дворъ знакомаго гостя: «Я сжалился надъ тобою. Вотъ тебѣ за мѣсяцъ деньги впередъ. Бери своего замарашку и отправляйтесь къ мужу. Я твой постояльцъ!..»

— «Милостивый господинъ! домъ этотъ будетъ ли для васъ пригоденъ?..»

— «Канъ-нельзя больше! Давай ключъ и ступай съ Богомъ.. Я полюбилъ это мѣсто и давно уже люблю уединеніе.. Здѣсь я буду отдыхать отъ городскаго шума! Каждое первое число прошу приходить сюда, не къ деревню, за деньгами, но въ другіе дни меня не безпокоить. Ступай, Ганна! Мнѣ становится скучно. Я хочу быть одинъ...»

— «А вы говорили съ лекарями? Вѣдь это у васъ болѣзнь...»

— «Не твое дѣло! Ганна, уходи или я уйду!»

— «Сейчасъ, сейчасъ! Но тутъ есть вещи...»

— «Ничего не пропадетъ! Пріѣзжай за ними въ субботу; я буду ждать тебя утромъ! Тогда все заберешь, а я поставлю свою рухлядь... Ганна!»

— «Ухожу, ухожу! Дивная болѣзнь! Странный недугъ! Уврачуй его, Господи!..»

И Ганна ушла съ ребенкомъ; нѣсколько разъ она оглянулась на свое пепелище. Больной стоялъ какъ вкопаный и наблюдалъ за Ганной; дорога повернула за холмъ и мельничиха скрылась изъ виду; тогда Бюргеръ поспѣшилъ къ старой мельницѣ и не обманулся въ ожиданіи. Лилла, собачонка Матильды, увидѣла Бюргера и, ласкаясь, подбѣжала пріятной вѣстницей; вслѣдъ затѣмъ мелькнулъ бѣлый утренній каноэ на распашку, весьма знакомый Бюргеру; наконецъ довольно громкое восклицаніе: «Августъ! ты уже здѣсь?» огласило пустынную рощу.

Бюргеръ забылъ все и бросился къ Матильдѣ;

какъ-будто они вчера только, безъ малѣйшей размолвки, разошлись послѣ картъ и легкаго ужина. Но Матильда гордымъ движеніемъ руки и важнымъ взглядомъ остановила порывъ юноши.

— «Августъ!» сказала она сурово: «я исполнила твое желаніе, я здѣсь! Но неужели ты думаешь, что я могла простить всѣ оскорбленія!»

— «Оскорбленія!»

— «Да! О нашемъ разрывѣ говорятъ въ Нидекѣ громко. Я узнала о моей соперницѣ... И не жалѣю о такомъ вѣтряномъ другѣ...»

— «Если бы счастіе свиданія съ тобою не наполняло сердца моего веселіемъ, я непремѣнно бы заплакалъ отъ твоихъ грозныхъ упрековъ. Но если ты могла подозрѣвать меня въ измѣнѣ, Матильда, о! ты достойна наказанія, тяжкаго, мучительнаго... И я долженъ исполнить эту непріятную обязанность. Долженъ, къ собственному сожалѣнію. Я хотѣлъ тебѣ разсказать все... но теперь не услышишь ни полслова...»

— «Августъ! Такъ вотъ твое раскаяніе?..»

— «Ты стоишь такой казни...»

— «Но что же ты хотѣлъ разсказать...»

— «То, чего ты никогда не узнаешь...»

— «Но неужели за невольный упрекъ ты будешь такъ жестокъ...»

— «Невольный! О! за всѣ мои страданія, за всѣ жертвы... Нѣтъ! я не ожидалъ такого пріема...»

— «Августъ! Ты страдалъ?..»

— «Нестерпимо! Заговоръ ихъ шелъ весьма

удачно: Они умѣли выманить моего дѣда изъ города, откуда онъ уже двадцать лѣтъ не выѣзжалъ на двадцать шаговъ... Они научили его страшнымъ мѣрамъ; онъ взялъ съ меня слово, что нога моя не будетъ въ дому твоемъ...»

— «Изверги! И ты далъ это слово?..»

— «Далъ, и сдержалъ, и сдержу...»

— «Сдержишь? Ахъ, мнѣ дурно...»

— «Не спѣши обморокомъ, Матильда! Слово мое я сдержу, но на зло имъ — мы будемъ видѣться каждый день въ этомъ домикѣ... Ты любишь мечтать, не правда ли?»

— «Ужасно люблю.»

— «И я тоже! Домикъ этотъ я нанялъ...»

— «Милый Августъ! И я могла думать...»

— «То-то! Прошу и впередъ ничего подобнаго не думать, не огорчаться, не огорчать меня.... Пойдемъ, посмотримъ, придумаемъ какъ убрать комнату; потолкуемъ...»

И ручей уже не слышалъ о чемъ они говорили. Не смотря на свою худобу, онъ бодро перескакивалъ съ камышка на камышекъ; какъ-будто врагу своему, солнцу, онъ лепеталъ: «погляди, ты хотѣло изсушить меня... но благое небо раздѣлило власть твою: благодатная ночь возвращаетъ мнѣ то, что ты у меня истязуешь днемъ; и я живу, и не боюсь знойныхъ лучей твоихъ.» А солнце, какъ-будто услышало дерзкую рѣчь буйнаго ручья, и стало прямо надъ нимъ; и какъ ножи вонзило въ него палящіе лучи; и зной разлился въ воздухѣ какъ-будто разверзъ пламенную гортань

и сталъ жарко дышать надъ испуганнымъ міромъ; и жизнь, и злакъ, все утонуло въ истомѣ; полдень жегъ спину горящей земли; только человѣкъ, отирая потъ, суетился и, взглянувъ на солнце, сказалъ значительно: «Ого, пора обѣдать!» Но Бюргера не было; Моритъ сталъ обѣдать въ прежнемъ одиночествѣ и, кажется, былъ радъ отсутствію Бюргера. За жаркимъ уже слуга донесъ, что Бюргеръ идетъ; Моритъ, бросивъ жаркóе, къ удивленію слуги, выскочилъ черезъ окошко. Бюргеръ сѣлъ на его мѣсто; безъ дальнѣйшихъ разспросовъ докушалъ жаркóе, допилъ вино, вынулъ изъ ящика кошелекъ, схватилъ шляпу и, въ довольномъ расположеніи духа, пошелъ на улицу; тамъ на щегольскую таратайку садился Листе.

— «Куда вы?»

— «Въ городъ!» отвѣчалъ смутясь Листе.

— «Зачѣмъ?..»

— «Есть дѣло!»

— «И у меня также. Я очень радъ, что вы ѣдете...»

И, безъ дальнѣйшихъ объясненій, Бюргеръ уже сидѣлъ въ таратайкѣ о-бокъ Листе.

— «Но... у васъ... какое можетъ быть дѣло въ городѣ?..»

— «Вы очень любопытны, господинъ Листе! Вы знаете, по моему званію, случаются такія дѣла; требуется совѣтъ; нужны справки...»

— «Но мнѣ кажется, у васъ нѣтъ ни одного кліента..»

— «Это вамъ такъ кажется, потому что въ чу-

комъ домѣ мнѣ совѣстно принимать просителей. Вы знаете, что это племя всегда кричитъ оглушительно; оно думаетъ, что, возвышая голосъ, возвышаетъ и свою невинность... Между прочимъ, я несовершенно незнакомъ съ нашимъ городомъ, хотя и былъ раза два, такъ, прогулкой... Мнѣ бы хотѣлось знать, гдѣ...»

— «Его теперь нѣтъ въ городѣ; онъ уѣхалъ съ отчетами въ Ганноверъ и воротится не раньше осени...»

— «Кто?»

— «Да про кого вы спрашиваете?..»

— «Про цвѣточную лавку...»

— «Я не знаю гдѣ онъ живетъ...»

— «Что онъ вретъ!» подумалъ Бюргеръ и посмотрѣлъ на Листе сомнительно. Тотъ весь былъ въ поту, сидѣлъ зажмурясь; губы тряслись...

— «Что съ вами?..»

— «Со мной?»

— «Да!»

— «Со мной, право, нѣтъ ничего: я никогда не беру съ собой, кромѣ самонужнѣйшаго, и то бездѣлица...»

— «Да это становится странно... Жена помѣшалась, мужъ съѣзжаетъ съ разсудка; пожалуй, безуміе заразительно; найдетъ и на меня страшная очередь; э, господа! Надо подумать и о себѣ...»

Такъ думалъ Бюргеръ и задумался; досмотрщики остановили таратайку, обшарили всѣ углы, поклонились и пропустили гостей. Многіе кланя-

лись Листе, но онъ будто никого не видалъ, не отвѣналъ на привѣтствіе, и когда кучеръ повернулъ въ тѣсную улицу, Листе схватилъ его за шиворотъ и закричалъ: куда ты, разбойникъ?..»

— «Къ Бѣлому...»

Листе зажалъ ротъ кучеру и сказалъ: «Ступай къ собору!»

— «Это за чѣмъ?» спросилъ Бюргеръ: «Теперь уже дѣло идетъ къ вечеру...»

— «Да! Но вы пойдете въ одну сторону, я въ другую... города вы не знаете; можете запутаться, а соборъ всегда отыщете...»

— «Прекрасная предосторожность! Разсудокъ возвращается...»

— «Стой! Ну, вотъ теперь разойдемся! Ступайте!»

— «Опять завирается... Я пойду, не безпокойтесь, я знаю по-нѣмецки...»

— «Нѣтъ, ужъ я пойду послѣ васъ. Все-таки вы мой гость!»

— «А, это, видно, ваша квартира... Да что съ вами, ради Бога?..»

Листе опомнился.

— «Охъ, я весьма разстроенъ... Жена моя... Не мѣсто, не мѣсто! Ступайте-себѣ, послѣ поговоримъ объ этомъ. Куда вамъ надо?..»

— «Въ цвѣточную лавку...»

— «Вотъ по этой улицѣ, за угломъ, первая вывѣска... До свиданія! Кто раньше вернется, тотъ подождетъ товарища...»

— «Я не долго...» сказалъ Бюргеръ и ушелъ.

Листе не обманулъ; точно, на первой вывѣскѣ намалеваны были цвѣты, да не тѣ какіе нужно; то была модная лавка... Бюргеръ не присмотрѣлся и вошелъ къ цвѣточницѣ. За прилавкомъ бѣгало что-то въ родѣ шампанской рюмки, тонкое, тонкое, зашнурованное, затянутое, стянутое, такъ что казалось будто голова на сажени съ необыкновенною быстротою ходитъ у стеклянныхъ шкафовъ. Когда на звонъ колокольчика, этотъ женскій хлыстикъ, обѣжавъ три ряда шкафовъ, остановился передъ носомъ Бюргера и спросилъ, тоненькимъ, какъ талья, голоскомъ: «Что вамъ угодно?» Бюргеръ присѣлъ отъ удовольствія и глядя въ оба на хорошенькое личико хозяйки, сказалъ такимъ же тоненькимъ голоскомъ:

— «Цвѣтовъ, сударыня!»

— «Какихъ?»

— «Всякихъ! Розъ, геліотроповъ, гвоздикъ махровыхъ. Можно и не пахучихъ...»

— «У насъ всѣ безъ запаха... Вотъ вамъ, выбирайте!»

Тутъ только понялъ Бюргеръ, куда попалъ и улыбнулся...

— «Да... да!» сказалъ Бюргеръ: «Я пріятно ошибся. Тутъ одинъ живой цвѣтокъ, но за него можно отдать королевскіе цвѣтники въ Ганноверъ.. »

Дѣвушка искоса взглянула на Бюргера и промолчала съ приличною важностью.

— «Позвольте спросить, вы хозяйка?»

— «Нѣтъ!»

— «Дочь хозяйки?»

— «Нѣтъ...»

— «Такъ что́ же вы такое?»

— «До этого вамъ нѣтъ дѣла.»

— «Вотъ ужъ это совершенно несправедливо: мнѣ, знатоку въ женщинахъ, нѣтъ дѣла, кто такая красавица, такая пальма стройности, такая...»

— «Что́ еще?..»

— «О, я могъ бы наговорить много, но вы, я вижу, много привыкли слушать...»

— «Глупостей? Да вамъ еще простительно. Вы очень молоды. А вотъ какъ старики пустятся...»

— «Воображаю! То́-то гиль несутъ.

— «Отъ чего же гиль?..»

— «Виноватъ! они васъ хвалятъ, слѣдственно, говорятъ правду... Только эта правда въ такихъ устахъ непріятна; то есть, не сама правда, а уста... О, я воображаю!..»

— «Смотрите, не обманитесь! Иной разъ воображаешь одно, а выйдетъ другое...»

— «А что́ же выйдетъ?»

— «Выйдетъ мадамъ и выгонитъ такого купца...»

— «Станемъ говорить тише...»

— «Да о чемъ намъ говорить?»

— «Будто ужъ и не о чемъ? Поговоримъ о молодости...»

— «Слава Богу, я еще не старуха. Не о чемъ тутъ и пустословить. Да я и не люблю, знаете, въ магазинѣ разговаривать не о цвѣтахъ...»

— «А гдѣ же вы любите разсуждать не о цвѣтахъ.»

— «На гуляньѣ, на вечеринкахъ...»

— «Да вотъ завтра воскресенье. Вы вѣрно будете на гуляньи?»

— «Можетъ-быть »

— «У васъ есть кавалеръ?»

— «О! найдется!»

— «А меня не возьмете?..»

— «Пожалуй...»

— «Куда-жъ мы пойдемъ?»

— «Мы пойдемъ въ Розенталь. Тамъ пообѣдаемъ, послушаемъ музыки, погуляемъ и въ шестъ часовъ я уже буду разсказывать моей хозяйкѣ какія видѣла шляпки, плащики, платья и прочая. Ну, ступайте себѣ съ Богомъ! Скоро надо и лавку запирать...»

— «Такъ до завтра...»

— «До завтра...»

Бюргеръ отвѣсилъ поклонъ, сдѣлалъ рукой привѣтъ фальшиваго поцѣлуя и выскочилъ на улицу.

— «Чудесная встрѣча! Но гдѣ я проведу эту ночь? Неужели возвращаться въ проклятую деревушку.. Нѣтъ! Прошу извиненія! Завтра Листе можетъ совершенно сойти съ ума; таратайки не будетъ; пѣшкомъ далеко... Кончено. Ночую въ городѣ... Вѣдь тутъ есть гдѣ-нибудь гостинница... Позвольте спросить, гдѣ тутъ останавливаются пріѣзжіе?»

— «Тамъ!» отвѣчалъ прохожій указавъ на деревянную ограду и ушелъ.

— «То есть, за этимъ дряннымъ заборомъ? Пойдемъ!»

Заборъ точно былъ дряной. Но зато гостинница паславу. Нынѣ въ Германіи и въ деревняхъ прекрасные трактиры, а въ тѣ времена по этой части славились только города и въ томъ числѣ Нидекъ. Четыре дѣвушки, одна другой краше, ухаживали за немалочисленными гостьми, которые играли въ ломберъ и бостонъ, пили пиво, курили или, лучше сказать, дымили, какъ фабричныя трубы. На дворѣ было еще свѣтло, но въ большой палатѣ уже горѣли свѣчи. Онъ въ совершенствѣ зналъ всѣ трактирные нравы и приказалъ подать себѣ четыре чашки кофе, каждую чашку онъ заказалъ другой дѣвушкѣ въ очередь, что дало ему возможность въ полчаса познакомиться съ этими неприступными Діанами. Одна изъ нихъ точно называлась Діаной и она-то болѣе другихъ понравилась юстицъ-чиновнику. Поутру Бюргеръ явился передъ цвѣточницей, подалъ ей руку и оба, совершенно непринужденно, какъ-будто старые знакомые, какъ-будто родственники, отправились въ Розенталь. Тамъ уже была тма народа, всѣ столы были заняты; Бюргеръ досталъ запасный и поставилъ его въ глубокой тѣни, такъ что собесѣдница могла и музыку слушать и всѣхъ видѣть, а его, Бюргера, съ трудомъ можно было замѣтить постороннему глазу.

— «Ну, душа моя, какъ же васъ зовутъ?»

— «На что вамъ мое имя...»

— «Видно имя «душа моя» вамъ больше нравится.»

— «Я ни за что́ бы не захотѣла быть чужою душою...»

— «То есть, не захотѣли бы принадлежать мнѣ...»

— «Никому. Пусть лу́чше другіе мнѣ принадлежатъ...»

— «Ну, берите меня въ свое владѣніе! Я охотно опредѣляюсь къ вамъ на службу...»

— «Что́ я съ вами буду дѣлать?»

— «То что́ и съ другими.»

— «А что́ же я съ другими?.. Дурачусь, смѣюсь...»

— «Сначала, а потомъ?»

— «А потомъ дурачу, насмѣхаюсь...»

— «И я тоже; чѣмъ же вы дурачите вашихъ плѣнниковъ?..»

— «Ахъ, какая мантилья... Постойте, постойте! Надо пойти присмотрѣться...»

И цвѣточница ушла. Бюргеръ остался одинъ, недовольный своей собесѣдницей, недовольный и собой за то, что такъ долго не умѣлъ приступить къ рѣшительному объясненію; притомъ же, ему очень хорошо было извѣстно, что эта пташка не засидится въ Розенталѣ до поздняго вечера; что до слѣдующаго воскресенья онъ ее можетъ видѣть только въ магазинѣ за прилавкомъ; онъ не успѣлъ ни на что́ рѣшиться, какъ она прибѣжала, усѣлась на свое мѣсто, схватила ножъ и вилку и сказала торопливо:

— «Если вы хорошій человѣкъ, такъ скажите, что вы братъ моей хозяйки...»

— «Кому?..»

— «Кто сейчасъ прійдетъ сюда.»

— «А кто сюда прійдетъ?..»

— «Очень милый молодой человѣкъ...»

— «О, да я этого молодаго человѣка побью.»

— «За что?»

— «За то, что онъ лишаетъ меня пріятныхъ надеждъ Послушайте, время уходитъ и я долженъ спросить васъ откровенно ..»

— «О чемъ?»

— «А о томъ, что я вамъ не противенъ?»

— «Нѣтъ.»

— «Вы можете, значитъ, любить меня?..»

— «Разумѣется...»

— «И вы готовы.»

— «Выйти за васъ замужъ? Это было бы слишкомъ скоро... не успѣли еще порядочно познакомиться, а ужъ затѣваете жениться! Эхъ, какой проворной! Какъ скоро полюбили, такъ скоро и разлюбите! А мнѣ мужъ нуженъ на весь вѣкъ. Я васъ могу любить и люблю очень; но Фрицъ уже три года влюбленъ въ меня; но этого еще мало; я назначила срокъ четыре года, пока я въ состояніи буду завести свой собственный магазинъ. И если онъ будетъ постояненъ, получитъ отъ отца лавку, тогда я выйду за него: извините, у него больше правъ нежели у васъ...»

Бюргеръ поднялъ голову вверхъ и сталъ насвистывать какую-то простонародную пѣсеньку.

— «Что съ вами?»

— «Ничего! Мнѣ жаль васъ! Вы въ любви не понимаете ничего!»

— «Больше вашего! Посмотрите, какъ я буду любить моего Фрица! Посмотрите, какъ онъ вѣритъ мнѣ; какъ уважаетъ мою свободу; видѣлъ, поклонился, говорилъ со мной, а не подходитъ. Предлагалъ проводить домой, но я не хотѣла измѣнить вамъ...»

— «О, помилуйте! Не стѣсняйтесь! Я самъ бы отъискалъ его, да не знаю гдѣ бродитъ этотъ счастливецъ...»

— «Вотъ онъ сидитъ одинъ на скамѣйкѣ...»

— «А!..»

Бюргеръ подошелъ къ бѣлокурому красивому юношѣ, сказалъ два слова и тотъ прибѣжалъ къ цвѣточницѣ радостно. А Бюргеръ? Онъ уже и не смотрѣлъ въ ту сторону, гдѣ разсѣялись его пламенныя надежды. Онъ хохоталъ довольно громко и повторялъ тихо:

— «Нашла жениха! Нѣтъ, душа моя, у меня много невѣстъ, но не будетъ ни одной жены. Или, лучше сказать... Та, та, та! Какая хорошенькая! Кто это съ ней! Неужели я не ошибаюсь... Да это, кажется, Плакса...»

Бюргеръ не ошибся. Послѣ ужаснаго отказа, Германнъ бросился въ разсѣянную жизнь, чтобы заглушить душевныя мѣки. Германнъ былъ навеселѣ и велъ двухъ дамъ, по наружности сестеръ. Бюргеръ догналъ ихъ.

— «Плакса!» сказалъ онъ: «тебя ли вижу!»

— «Ахъ, Горланъ! Ты какъ здѣсь! Давно ли?..

Вотъ ужъ не ожидалъ! Какъ я радъ! Пойдемъ съ нами; вотъ тебѣ дама — это Элиза, сестра моей Аннеты.»

Бюргеръ согласился. По окончаніи прогулки, Плакса, прощаясь съ Бюргеромъ, спросилъ его:

— «А гдѣ мы завтра увидимся?»

— «Гдѣ? А гдѣ хочешь! Приходи ко мнѣ въ гостинницу...»

— «Низачто!»

— «Отчего!»

— «Этотъ Листе такъ мнѣ надоѣлъ, что я переѣхалъ оттуда. Играй, да играй, и въ такую высокую игру. Во-первыхъ,—дорого; во-вторыхъ, не въ наши лѣта проводить вечера въ игорныхъ домахъ. Прощай!..»

— «Такъ Листе играетъ въ гостинницѣ въ карты?..»

— «И ужасно! Проигралъ пропасть! Не знаю, откуда онъ деньги беретъ. Больше, о, куда больше двухъ тысячъ талеровъ!..»

У Бюргера морозъ пробѣжалъ по кожѣ! Что если деньги, оставленныя дѣдушкой у Листе, скатились по зеленому суконну въ чужіе карманы?

— «И каждый день?»

— «Каждый! По два раза въ день! Впрочемъ, теперь не знаю; я тамъ давно не былъ; и не пойду; ни зачто не пойду! прощай! До свиданія...»

Германнъ ушелъ. Бюргеръ съ грустью пошелъ въ гостинницу и отобралъ отъ Діаны самыя вѣрныя показанія и о Листе и о Германнѣ. Бюргеръ

заснулъ не скоро; волнуемый опасеніемъ; всталъ рано и не зналъ что̀ дѣлать: ѣхать ли къ Листе или дождаться его въ Нидекѣ?

—

ГЛАВА ПЯТАЯ.

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ПЕРІОДА.

Странно. Бюргеръ никогда не думалъ о деньгахъ. И зачѣмъ ему деньги? Карманныхъ дѣдушка ему оставилъ довольно; обѣщалъ еще больше присылать, если поведеніе внука будетъ соотвѣтствовать ожиданіямъ дѣда. А развѣ поведеніе его было предосудительно? Что онъ состоялъ въ дружбѣ съ госпожею Троппе, такъ этого дѣдушка ему не запрещалъ. Онъ не приказывалъ только ходить въ домъ къ Троппе. Бюргеръ былъ уже на столько юристомъ, чтобы понимать совершенную свою невинность въ этомъ отношеніи. Деньги, оставленныя у Листе, Бюргеръ и требовать не имѣлъ права; они обезпечивали его службу и могли быть выданы ему только въ одномъ случаѣ, если онъ женится съ согласія дѣдушки. И не смотря на все на это, Бюргеръ сильно безпокоился. Невольныя опасенія его возрасли, когда Діана донесла ему, что піявки, обобравшія Листе, уже собрались въ игорную залу и ждутъ только жертвы. Бюргеръ хотѣлъ-было пойти къ нимъ, но Діана отсовѣтовала.

— «Постойте! Я лучше вамъ дамъ знать когда игра завяжется; тогда приходите... тогда...».

— «Твоя правда, милая моя Діана! О, женщины! Вы для меня однѣ только и благосклонны...

Знаешь ли, Діана, я желалъ бы, чтобы на этомъ свѣтѣ только и были однѣ женщины...»

— «И одинъ мужчина — вы?

— «Г-мъ! твоя правда! Положеніе мое было бы очень затруднительно; нѣтъ, я желалъ бы, чтобы мнѣ жить такъ, чтобы никогда не видать ни одного мужчины, чтобы они не видали меня, чтобы...»

— «Вы забыли, что одного изъ нихъ вы сами хотите видѣть. Постойте, я сбѣгаю; теперь самое время...»

Діана воротилась...

— «Пріѣхалъ! Сѣли!..»

И Бюргеръ вошелъ въ главную залу, гдѣ за круглымъ столомъ сидѣли игроки и условливались на счетъ цѣны, по которой играть собирались. Листе сидѣлъ спиною къ дверямъ, въ которыя вошелъ Бюргеръ. Бюргеръ рѣшился воспользоваться этимъ случаемъ, подошелъ къ столу, остановился за стуломъ Листе и внимательно, огненными глазами, слѣдовалъ за всѣми движеніями рукъ игроковъ. Сначала это имъ только не нравилось и они поглядывали на любопытнаго съ нетерпѣніемъ и досадой. Но когда Листе сталъ выигрывать и накопилъ большую кучу талеровъ; игроки то блѣднѣли, то краснѣли, то хотѣли прекратить игру, то жаловались, что дуетъ и собирались переѣхать въ другую комнату. Бюргеръ радовался за Листе. Какъ посторонній, онъ скоро понялъ важность своего присутствія и не сводилъ глазъ съ своихъ жертвъ. Одинъ совершенно растерялся и уронилъ

подъ столъ карту. Бюргеръ нагнулся, поднялъ, и не открывая какая карта, подалъ игроку. Тутъ только Листе замѣтилъ Бюргера и смѣшался...»

— «Боже мой, вы здѣсь!.. Я самъ нечаянно... Право, мнѣ совѣстно... Мы сейчасъ кончимъ...»

— «О, нѣтъ, господинъ Надворный Совѣтникъ, продолжайте! сегодня вашъ день; надо же разъ и выиграть. Господа эти, кажется, сегодня расположены проиграть. Увеличьте кушъ, господинъ Листе!.. Сегодня вашъ день...»

— Я сейчасъ забастую,» сказалъ игрокъ, багровый отъ досады и проигрыша...

— «Пуля не кончена!» сказалъ хладнокровно Бюргеръ и Листе выигралъ; хотѣлъ уже и самъ перестать на это утро: выигрышъ превышалъ тысячу талеровъ; но Бюргеръ настоялъ. Игра пошла дальше и Листе всталъ изъ-за стола, когда у игроковъ рѣшительно не осталось ни одного талера въ карманѣ. Игроки стали расходиться. Діана, съ легкостью Сильфиды подносила каждому шляпу и присѣдала. «Въ другой разъ!» ворчали игроки, и поспѣшно уходили; одинъ только подошелъ къ Листе и спросилъ шепотомъ: «До вечера?» Листе кивнулъ головой и послѣдній игрокъ ушелъ...»

— «Кажется вы теперь отыгрались?..»

— «Нѣтъ, остался въ проигрышѣ самую бездѣлицу; до ста талеровъ...»

— «Богъ съ ними! Вообразите, что мы съ вами сдѣлали дальнюю поѣздку на мой счетъ и не играйте больше...»

— «Но за чѣмъ же имъ дарить эти сто талеровъ?..»

— «За тѣмъ, чтобы не потерять тысячъ! Г. Листе, повѣрите ли, сегодня играли не вы, а я...»

— «Какъ это?»

— «Мои глаза преслѣдовали каждую сдачу. Счастье было при васъ; осторожность при мнѣ. Нѣтъ, я умоляю васъ, заклинаю, бросьте эту разорительную забаву!..»

— «Другъ мой! Мнѣ скучно! Я не знаю, что дѣлать цѣлый день. . Вина я не переношу... Читать!.. Я проклялъ книги! Что́ же я буду дѣлать цѣлый день? — Научите.»

— «Да развѣ у васъ нѣтъ добрыхъ знакомыхъ?.. Развѣ вы не можете себѣ найти безопасную партію въ честномъ домѣ?..»

— «Гдѣ ее найдешь въ Нидекѣ? Тутъ есть очень почтенный человѣкъ и любитъ поиграть, но мы не можемъ пріискать себѣ третьяго. .»

— «А я начто? Ужъ лучше мнѣ выиграть у васъ или вамъ у меня, чѣмъ даромъ отдавать деньги записнымъ разбойникамъ...»

— «А вы играете?»

— «Буду играть! Не велика мудрость! Я сегодня игралъ гораздо лучше васъ...»

— «Нѣтъ! въ самомъ дѣлѣ вы хотите играть?.. О, если такъ, пойдемте, пойдемте! Онъ теперь дома, онъ будетъ радъ съ вами познакомиться; мы пообѣдаемъ у него, и потомъ засядемъ до вечера. Пока проснется Агата, мы уже будемъ дома... Прекрасно! превосходно! Въ самомъ дѣлѣ,

что такое сто талеровъ; и въ маленькую игру можно воротить... Пойдемте, пойдемте!.. Онъ и живетъ отсюда не далече.»

Листе былъ счастливъ; Бюргеръ доволенъ; Діана въ восторгѣ и отъ добраго дѣла и отъ двухъ талеровъ данныхъ ей счастливыми друзьями. Дорогой они не успѣли ни о чемъ поговорить, потому что домъ, куда шли, былъ дѣйствительно близокъ. Хозяинъ сидѣлъ на балконѣ въ колпакѣ и халатѣ и читалъ газету. Увидавъ лѣвымъ глазомъ Листе, онъ бросилъ газету, снялъ колпакъ и вскричалъ:

— «А! господинъ надворный совѣтникъ! Вы хотите мимо пройти!»

— «Вы ошиблись! господинъ комиссаръ! Мы прямо къ вамъ...»

— «И обѣдать?. »

— «И поиграть, если угодно!..»

— «Вотъ это по дружески! Позвольте, я самъ отворю вамъ двери, потому что служанка ушла съ Лунзой... Милости просимъ!..»

— «Господинъ комиссаръ, имѣю честь представить вамъ моего молодаго друга, доктора, юстицъ-чиновника нашего.. »

— «Очень радъ...» перебилъ господинъ комиссаръ: «Мнѣ кажется я васъ уже имѣлъ случай видѣть ..»

— «Извините... Я не могу припомнить...»

— Ха, ха, ха! И очень натурально!.. Одинъ разъ вы были заняты красотой госпожи Трошке... Не краснѣйте, не краснѣйте! Я самъ былъ молодъ... Не скромно, по намъ старикамъ многое поз-

волнется... Глядя на васъ, я не удивлялся прелестницъ; но глядя на нее, я удивлялся вамъ...»

— «Полно, полно, господинъ коммиссаръ, вы совершенно смутили моего друга! Вы должны вспомнить, что у насъ въ Геллигаузенѣ за мостомъ всего только одна женщина, и то такая любезная, что даже можно бы обвинять юношу въ недостаткѣ чувствительности, если бы онъ не попалъ въ эти мастерскія сѣти. Но эта исторія старая: онъ уже давно не былъ за мостомъ.»

— «Бѣдная матильда!» иронически сказалъ старикъ: «Оттого-то она вотъ уже второй день ищетъ утѣшителя въ Нидекѣ...»

— «Это она меня ищетъ,» подумалъ Бюргеръ: «Я перейду сюда на службу хоть ночнымъ сторожемъ; но въ Геллигаузенъ — ни ногой.» Такъ думалъ Бюргеръ и улыбался...»

— «О чемъ, сосѣдъ?» спросилъ старикъ добродушно...

— «Вѣрно стихъ какой мелькнулъ въ головѣ,» замѣтилъ Листе...

— «А вы пишете стихи? Я ужасно люблю стихи; особенно стихи Бюргера. Вотъ поэтъ на мой ладъ. Вотъ такъ пишите, мой любезный другъ!.. Но, правда, совѣтовать легко, да исполнить трудно... Вотъ и теперь я читалъ стихи Бюргера къ Агатѣ, написанные послѣ бесѣды о земныхъ страданіяхъ и ожиданіяхъ въ вѣчности...»

Листе покраснѣлъ. Бюргеръ смѣнался. Впечатлѣніе, произведенное на Бюргера женою Листе было мгновенно; но это мгновеніе зародило въ душѣ

его поэтическій отвѣтъ на ея странныя грезы... Онъ не показалъ этого стихотворенія никому, да и некому было показывать;—онъ отослалъ его къ единственному своему другу, Бойэ. Тотъ не разсудилъ, что это стихотвореніе личность, не перемѣнилъ даже имени и напечаталъ. Хотя въ немъ не было ничего предосудительнаго, но все-таки въ немъ есть такія нѣжности, которыя не могутъ быть пріятны мужу... Старикъ не замѣтилъ волненія гостей и продолжалъ:

— «Вы не читали этихъ стиховъ?... Хотите я вамъ прочту?..»

— «О, зачѣмъ же вамъ безпокоиться... Позвольте мнѣ самому...» перебилъ Листе.

— «Нѣтъ, нѣтъ, вы не слышали какъ я декламирую... Я прочту...»

— «Остерегитесь!» замѣтилъ Листе, коварно улыбаясь: «Въ присутствіи сочинителя трудно читать.»

— »Сочинителя?..»

— «Вотъ господинъ Бюргеръ! Это онъ самъ! Эта Агата... Но онъ не откажется самъ прочесть эти стихи; неправда ли!..»

Бюргеръ съ досадой схватилъ листокъ, и съ жаромъ прочелъ свое знаменитое стихотвореніе... Старикъ отеръ слезу удовольствія; Листе слезу досады.

— «Что́ же тутъ дурнаго?» спросилъ Бюргеръ съ гордостью, радуясь что шаловливая и разгульная муза его, не вбросила туда выраженій пластическихъ, рѣзкихъ, которыми такъ обиловали другія его стихотворенія.

— «Дурнаго!» закричалъ старикъ. «Да вы, господинъ надворный совѣтникъ, послѣ этого человѣкъ безъ вкуса!.. Да это просто превосходно! Я глазамъ моимъ не вѣрю, что передо мной такой поэтъ, которымъ уже справедливо гордится Германія... О, я такъ счастливъ! Гдѣ Луиза? Она такъ любитъ ваши стихи; вы не откажетесь прочесть намъ что-нибудь не напечатанное. Бойэ пишетъ, что вы переводите Иліаду, правда ли это?»

— «Да, я началъ испытывать силы...»

— «О, пойдетъ прекрасно, но для такихъ трудовъ надо покой; нѣкоторыя выгоды... А, вотъ и Луиза! Какъ она будетъ рада! Жаль, что Августа моя въ пансіонѣ; отослалъ тому назадъ съ недѣлю; та еще острѣе Луизы; мнѣ кажется, что Августа будетъ сама писать хорошо... Луиза, поди сюда, Луиза!..»

Луиза вошла и декорація перемѣнилась. Бюргеръ взглянулъ и вспомнилъ геттингенскую пирожницу, и карцеръ и сонъ... и лице его свело будто судороги; сердце сжалось... А Луиза ни жива, ни мертва, присѣла, поблѣднѣла й не могла выпрямиться... Старикъ приписалъ эти движенія застѣнчивости и сказалъ:

— «Полно, Луиза! Какъ тебѣ не стыдно быть такою застѣнчивою. Это господинъ Бюргеръ, поэтъ, котораго стихи ты такъ любишь...»

Луиза присѣла еще ниже...

— «Да что съ тобой! Подойди къ намъ, прочти Габріэлю; она премило читаетъ это стихотвореніе... Прочти, Луиза, прочти!..»

Луиза дрожала...

— «Какая ты смѣшная, Луиза! Кто же тебя можетъ лучше поправить, если не самъ авторъ. Ну, читай Луиза, мето поссоримся...»

И чудный голосъ, сладкій, тихій, въ которомъ такъ много было кротости, упоительнаго сладкозвучія, началъ читать:

Какъ прекрасна Габріела,
Этотъ кладъ души и тѣла.
Часто говоритъ душа:
Это дѣва неземная,
Свѣтлая невѣста рая! и проч.

Луиза не могла кончить; слезы подавили голосъ; рыдая, она бросилась изъ комнаты. Старикъ былъ и тѣмъ доволенъ; Листе тонулъ въ размышленіяхъ; Бюргеръ былъ тронутъ до глубины души.. Въ то же время сердце его охватило адское пламя; живыя фуріи терзали его; Матильда, Агата, Діана, и всѣ геттингенскіе красавицы подняли странный балетъ въ его воображеніи. Послѣдніе два стиха, какъ болѣзненный шумъ въ ухѣ, мучили слухъ поэта... Луиза, въ свѣтлыхъ какихъ-то волнахъ, небесной Русалкой плавала передъ его глазами...

— «А! Каково!» повторялъ старикъ, любуясь Бюргеромъ и приписывая его замѣшательство отличному чтенію Луизы...Я вамъ говорю, что онѣ объ созданы быть поэтами... Дай Богъ дожить пока ихъ таланты развернутся... Ну, господа! Теперь съ неба на землю... Луиза! Пора обѣдать...»

Сѣли за столъ въ четыре прибора; слѣдственно, всѣ были другъ отъ друга близко; каждый желалъ скрыть свое волненіе и оттого бесѣда долго не

клеилась; но старикъ умѣлъ все помирить добрымъ виномъ. Листе противъ обыкновенія выпилъ больше; Бюргеръ меньше. Листе безпрерывно отпускалъ колкости на счетъ Бюргера; этотъ читалъ стихи и приводилъ старика въ восторгъ; добродушіе, кротость и нѣжный голосъ Бюргера обезоружили Листе, очаровали старика, а Луизу такъ освоили съ страннымъ гостемъ, что она уже его не боялась; съ улыбкой разговаривала съ нимъ о Леноръ и другихъ его стихотвореніяхъ; и, къ удивленію старика и гостей, прочла собственное свое стихотвореніе. . Конечно, обошлось не безъ понужденій; но обронивъ однажды свою тайну, Луиза уже не могла отдѣлаться отъ своего батюшки... и прочла, что̀ ниже слѣдуетъ:

Мнѣ не нужно цвѣтовъ,—
Цвѣты завянутъ;
Мнѣ не нужно льстецовъ,—
Льстецы отстанутъ;
Мнѣ не надо мечты; —
Мечта обманетъ:
Не хочу красоты, —
Краса увянетъ.
Разлетитесь какъ дымъ,
Земныя блага;
Отдаю васъ другимъ:
Мнѣ васъ не надо.
Я высокихъ молитвъ,
Я неба жажду!
Только Богъ утолитъ
Святую жажду...

Листе расплакался... и не на шутку... Всѣ приняли живое участіе въ его печали, которая тѣмъ

болѣе поразила всѣхъ, что обнаружилась вслѣдъ за самыми ѣдкими сарказмами на поэзію.

— «Что съ вами?» спросилъ съ участіемъ старикъ.

— «О, не спрашивайте! Я не въ силахъ отвѣчать... Такіе же стихи когда-то увлекли меня. Чистота Агаты до сихъ поръ связываетъ меня... О, не выдавайте Луизы замужъ! Его она любитъ не будетъ, а онъ будетъ несчастенъ... Такія женщины не живутъ здѣсь. Онѣ въ гостяхъ на землѣ; хуже, въ ссылкѣ... Нѣтъ не выдавайте ее замужъ!..»

Старикъ не зналъ, что отвѣчать на эту странную выходку.

— «По моему,» сказалъ Бюргеръ: «только такая женщина можетъ составить счастіе человѣка. Мужъ — голова; мужъ можетъ управлять наклонностями жены; можно ограничить поэтическое стремленіе, можно направить его къ житейскому примѣненію и оно украситъ здѣшнюю жизнь райскими цвѣтами. . Мы часто сами виноваты нашему несчастію и потомъ оскорбляемся, когда другой, по своему, толкуетъ наши страданія...»

— «Мнѣ кажется,» сказалъ Листе съ горестью: «вы хотите написать посланіе и ко мнѣ. Не трудитесь! Я боюсь извѣстности... Но довольно... у меня голова кругомъ идетъ... я усталъ... я изнемогъ... Пойдемте на воздухъ!..»

— «А вотъ допьемъ эту бутылочку и пойдемъ; а ты, Луиза, встань и приготовь намъ въ бесѣдкѣ кофе...»

Допили. Встали.

— «Послушайте, господинъ коммиссаръ,» сказалъ Листе: «я желалъ бы передать вамъ два слова наединѣ...»

— «Съ удовольствіемъ.... Луиза! Займи господина Бюргера.»

Листе остановился, потомъ махнулъ рукой и ушелъ въ садъ съ комиссаромъ. Луиза вышла занять гостя и притащила съ собой весь кофейный снарядъ...

— «Скажите, Луиза,» спросилъ Бюргеръ, чтобы какъ нибудь начать разговоръ: «скажите, зачѣмъ это у васъ два портрета и оба съ васъ и оба списаны одною рукою...»

— «Не правда ли, не похожа?..»

— «Очень мало сходства...»

— «Я еще кое-какъ; но ужъ Августы тутъ и тѣни нѣтъ...»

— «Какъ, развѣ другой портретъ не съ васъ?»

— «Нѣтъ! Это будто бы сестра моя!.. Но, право, смѣшно смотрѣть! Ни на-волосъ сходства. Скажите, вы не знаете, о чемъ они почали говорить?..»

— «Не знаю!»

— «О, я ужасно боюсь этого Листе! Онъ страшный человѣкъ! Онъ ходитъ по бѣлу свѣту, какъ туча, и носитъ несчастіе...»

— «Вы ошибаетесь, Луиза.»

— «Дай Богъ! Но нѣтъ... Впрочемъ, мнѣ-то что́ его бояться, когда я не боюсь самого несчастія.»

— «Будто?»

— «Да разумѣется! Будто есть такое горе, которое покойно не уляжется въ сердцѣ?..»

— «Вы испытуете судьбу, Луиза!»

— «Я говорю, что̀ думаю... господинъ Бюргеръ... Извините, какъ васъ звать, это право, скучно... Бюргеровъ такъ много; но у васъ должно быть свое имя.»

— «Готлибъ-Августъ...»

— «Первое лучше. Ну, такъ Готлибъ! Я имѣю до васъ просьбу...»

— «Приказывайте!..»

— «Вотъ въ чемъ дѣло. Вы будете смѣяться, но Богъ съ вами. И я по своему честолюбива. У меня есть альбомъ. Напишите мнѣ туда хорошенькіе стихи...»

— «Благодарю васъ и постараюсь исполнить ваше желаніе. Тайная муза мнѣ поможетъ...»

— «А у васъ есть тайная муза?..»

— «Кажется есть...»

— «Кажется?»

— «Да, потому что я не могу отдать себѣ отчета, что со мной дѣлается...»

— «А что съ вами дѣлается? Вѣрно вдохновеніе волнуетъ сердце. Скорѣе за альбомъ!..»

Бюргеръ остался одинъ. О, въ эту минуту вы бы не узнали его; это не былъ искатель приключеній, мотылекъ легкомысленный... Нѣтъ, онъ былъ чистъ, восторженъ. Онъ понималъ, что такая женщина, какъ Луиза, лучше легіона Клеопатръ, краше сонма Нинонъ, и при всемъ томъ онъ не

искалъ ей понравиться; онъ считалъ ея покой выше всего... Съ умиленіемъ онъ глядѣлъ на нее; съ душевнымъ счастіемъ слушалъ ее; блаженствовалъ, когда большіе синіе глаза Луизы смотрѣли на него. Луиза воротилась, подала крошечный дѣтскій альбомъ, который, какъ булавка, исчезъ въ карманъ Бюргера.

— «Я думаю,» сказала она, принимаясь опять за кофе: «вамъ отъ дамскихъ альбомовъ некуда дѣваться... Прочтите, пожалуйста, что́ вы написали госпожѣ Троппе...»

Бюргеръ покраснѣлъ и не зналъ куда дѣваться. Ему было совѣстно, стыдно... и тѣмъ болѣе, что онъ ясно видѣлъ, что Луиза говоритъ совершенно простодушно, безъ всякаго умысла уколоть его...

— «Хорошая, умная женщина?» спросила она такъ наивно, что Бюргеръ рѣшительно не зналъ что́ отвѣчать:—«Я не знаю,» продолжала она: «за что́ ее папа́ не любитъ. Какъ можно не любить кого-нибудь?..»

— «Однако же...»

— «Разумѣется, одного больше, другаго меньше... Но не любить совсѣмъ... Вы не повѣрите, чего мнѣ стоило отказать вашему пріятелю, Германну...»

— «Боже мой! Вы отказали Германну?»

— «Чего вы такъ перепугались? Я и сама думала, что онъ не такъ равнодушно перенесетъ мой отказъ — и что́ же?...»

Луиза покраснѣла.

— «И вы никогда не любили его?..»

— «Какъ не любила! Очень любила, но для того, чтобы выйти замужъ надо любить иначе...»

— «А какъ же надо любить иначе?..»

— «Вотъ если бы я это знала, я бы вамъ и сказала. А я только понимала одно, что я его не такъ люблю, какъ слѣдуетъ любить женѣ, и отказала. О, вы не знаете, чего мнѣ это стоило!...»

— «Вѣрю, вѣрю!...» почти со слезами сказалъ Бюргеръ.

— «Вѣрю, вѣрю...» раздался голосъ коммиссара: «Посмотримъ, увидимъ! Ну, а теперь съиграемъ небольшую партію... Луиза, карты и кофе въ бесѣдку...»

Завязалась игра. Бюргеръ плохо игралъ и проигрывалъ... Луиза очень сожалѣла о немъ и, видя, что онъ почти совсѣмъ не умѣетъ играть, подсѣла къ нему и поняла игра, какъ нельзя лучше. Бюргеръ отыгрался, выигралъ у Листе нѣсколько талеровъ, и когда тотъ предлагалъ еще партію, Бюргеръ сказалъ: «Счастіе не можетъ быть постоянно. Съ моей стороны было бы не разсчетливо продолжать игру. На сегодня довольно, да и вамъ пора домой... Въ благоразуміи есть много поэзіи...»

Коммиссаръ значительно и вопросительно взглянулъ на Листе; тотъ примѣтно смѣшался, разплатился, взялъ шляпу, дружески простился съ отцомъ и дочерью и ушелъ. Оба молча дошли до собора. Тамъ стояла таратайка. Листе сѣлъ. Бюргеръ не садился.

— «Вы не со мной?» спросилъ Листе сухо...

— «Покорнѣйше благодарю. У меня есть дѣла...»

— «Дѣла? Такъ прощайте!»

— «До пріятнаго свиданія!»

Бюргеръ остался одинъ. Возлѣ собора былъ небольшой бульваръ, на которомъ никто не гулялъ, кромѣ дѣтей. Но въ поздній вечеръ тутъ рѣшительно никого не было. Болѣе ста разъ Бюргеръ вымѣрилъ этотъ бульваръ гигантскими шагами. О чемъ же думалъ Бюргеръ? О Луизѣ. Но что онъ думалъ,—это было истинно забавно. Онъ думалъ,—какъ же это свѣдали, послѣ узнаете,—онъ думалъ, что Луиза не Луиза; то есть, что она точно Луиза, но что въ ней чего-то недостаетъ, чтобъ быть Луизой, а чего, — этого-то и искалъ Бюргеръ... Онъ промучился надъ этимъ вопросомъ до того, что стало сыро, холодно, и мелкій дождь, или, лучше сказать, роса промочила его до костей; тогда только онъ убѣдился, что Луиза точно Луиза и какъ-будто бы открылъ въ ней то, чего недоставало прежде. Все это требовало повѣрки... Къ огорченію Діаны, Бюргеръ даже не ужиналъ; а это означало въ немъ высшую степень душевнаго волненія. Поутру онъ еще нѣсколько походилъ на прежняго Бюргера: былъ веселъ, шутилъ; за недостаткомъ партіи, игралъ съ Діаной на бильярдѣ; но ударило десять часовъ и Бюргеръ, не простясь съ собесѣдницей, ушелъ и прямо къ коммиссару, который читалъ уже газеты и не мало былъ удивленъ появленіемъ Бюргера.

— «Что это?» спросилъ коммиссаръ довольно сухо: «Вы уже изъ Геллигаузена!»

— «Нѣтъ!» отвѣчалъ Бюргеръ грустно: «Я туда не ѣздилъ, и не хочу ѣхать.»

— «Но дѣла, вамъ порученныя вашими кліентами?»

— «Ахъ, господинъ коммиссаръ, у меня нѣтъ ни дѣлъ, ни кліентовъ, а только опекуны, которые, признаюсь, мнѣ въ тягость. У меня одинъ другъ, это Бойэ; но онъ далеко. Дѣдушка мой, Бауэръ, могъ бы пособить моему горю, но онъ въ Аперслебенѣ. Не близко...»

Коммиссаръ надулся; онъ думалъ, что сейчасъ попросятъ у него денегъ въ займы, чего терпѣть не могъ. Бюргеръ продолжалъ:

— «Вы вчера такъ ласково приняли меня, такъ обошлись со мною подружески, что, простите за смѣлость, я рѣшился искать у васъ совѣта и помощи...»

Коммиссаръ хотѣлъ-было предупредить просьбу косвеннымъ и благовременнымъ отказомъ, но Бюргеръ продолжалъ:

— «Я не могу жить въ Геллигаузенѣ! Есть періодъ въ жизни, когда нравятся женщины, когда шалости составляютъ часть жизни; но этотъ періодъ для меня кончился...»

— «Давно ли?»

— «Вчера...»

— «Какимъ это образомъ?»

— «Не спрашивайте! Человѣкъ не созданъ для того, чтобы расточать жизнь! Нѣтъ! Ее надо копить; а вы знаете, что тотъ день только и остается, въ который сдѣлаешь что-либо доброе, полезное; прочіе дни — зола жизни!»

— «Браво!»

— «Я не могу жить въ Геллигаузенѣ... Старая кокетка мнѣ опротивѣла; притомъ же если бы я позволилъ себѣ такую связь... это было бы преступно. Она, или будетъ преслѣдовать меня своею любовью, или мстить; послѣднее ей легко; ревность Куно и Бруно ей помогутъ. Листе для меня человѣкъ непонятный. Я больше понимаю его непостижимую жену, которая живетъ только ночью и бесѣдуетъ только съ безплотными; но его я рѣшительно не понимаю. Въ его рукахъ мой поручительный капиталъ... Я не смѣю вамъ сказать, но я желалъ бы, чтобы эти деньги лежали въ другомъ сундукѣ... Вы не сердитесь за это дерзкое мнѣніе... Но изо всего этого вы видите, что у меня много поводовъ, которые заставляютъ вырваться изъ Геллигаузена...»

— «Благодарю васъ за довѣренность...» сказалъ старикъ, снимая колпакъ: «но, право, теперь нѣтъ ни одного такого мѣста на примѣтѣ. Есть одно, но глухая деревня...»

— «Тѣмъ лучше! О! для меня уединеніе можетъ быть будетъ источникомъ счастія всей моей жизни...»

— «Не нарадуюсь, любезный другъ, слушая васъ... Вы можете получить это мѣсто сегодня же...»

— «Нѣтъ! Прежде всего надо увѣдомить дѣдушку. Не хочу дѣйствовать безъ воли моего благодѣтеля...»

— «Обнимите меня, любезный другъ! Какъ я радъ, что все ложь!»

— «Что ложь?»

— «То, что́ я про васъ слышалъ... Постойте же; я схожу къ одному моему знакомому, а вы садитесь за мой письменный столъ и пишите письмо къ дѣдушкѣ...»

Бюргеръ сѣлъ къ столу. Старикъ ушелъ... Написавъ письмо, Бюргеръ вышелъ въ другую комнату; тамъ сидѣла у окна Луиза и вышивала...

— «Что̀?» спросила она весело: «Отдѣлались?»

— «Кончилъ!»

— «Что́ же вы кончили?»

— «Письмо.»

— «Къ кому?»

— «Къ дѣдушкѣ.»

— «Можно спросить о чемъ?»

— «О перемѣнѣ мѣста.»

— «Куда же вы?»

— «Въ глушь, въ деревню...»

— «Далеко?»

— «Не знаю...»

— «Какъ не знаете?»

— «Право, не знаю!... Вашъ батюшка лучше знаетъ... онъ сказалъ...»

Луиза поблѣднѣла и потомъ, вспыхнувъ, сказала съ жаромъ:

— «Нѣтъ, ужъ я этого никогда не прощу папа́! Какъ ему не стыдно? Вѣрить всякому, кто только съ улицы прійдетъ... Вы не знаете, какіе у васъ враги есть?»

— «У меня?»

— «Да, у васъ! Вчера васъ ввели въ домъ, но вчера же и оклеветали.»

— «Вы ошибаетесь, Луиза!»

— «Нѣтъ, это вы ошибаетесь!»

— «Но вашъ батюшка сегодня еще обнялъ меня, принялъ такое участіе...»

— «Чтобы спровадить подальше, знаете ли отъ кого?»

— «Отъ кого?»

— «Отъ меня!»

— «Отъ васъ! Это зачѣмъ?»

— «А за тѣмъ, что господинъ Листе увѣрилъ его, что вы гдѣ-то меня видѣли и влюбились, и просили его ввести васъ въ нашъ домъ; что онъ не могъ отказать, но какъ старый другъ...»

— «Бездѣльникъ!»

— «Клеветникъ!»

— «О, какъ я счастливъ!»

— «Чѣмъ это?»

— «Тѣмъ, что вы не вѣрите клеветѣ.»

— «Полноте, Готлибъ!» — И Луиза протянула ему руку: — «Во-первыхъ, батюшкѣ стыдно слушать всякаго, а главное, обидно за меня. Какъ онъ можетъ бояться за свою Луизу! О, я ему не прощу этого. Пусть придетъ; будетъ сраженіе...»

— «Сраженіе?»

— «Да, сраженіе! Вы смѣетесь! И если бы не я, то вы вѣрно бы отправились въ деревню.»

— «Ахъ, Луиза! Да развѣ вы такъ боитесь деревни?..»

— «Да вѣдь не я туда поѣду: для меня — деревня — рай! Я не люблю города. Еще Нидекъ лучше

другихъ; но всё не лучше деревни. Сельская жизнь— мечта моя... И жаль, что мечта обманетъ!»

Бюргеръ сѣлъ на стулъ и закрылъ глаза руками.

— «Что съ вами?»

Бюргеръ молчалъ.

— «Не дурно ли вамъ?..»

— «Нѣтъ! нѣтъ! За что не мнѣ назначенъ рай? О, вѣрьте, Луиза! Вѣрьте этому Листе! Онъ правъ...»

— «Что вы говорите?..»

— «Правъ, самъ того не зная. Да! я испорченъ, исковерканъ жизнью; душа моя, сердце... Это страшная куча земли, взброшенная и сожженная Вулканомъ... Я стою моей славы! Я... И точно, онъ правъ, я васъ видѣлъ прежде... Но онъ клевещетъ будто я его просилъ ввести меня въ домъ вашъ. Онъ лжетъ! Я не зналъ, что найду здѣсь васъ, и если бы зналъ, то, можетъ быть, не переступилъ бы вашего порога...»

— «Это почему?..»

— «Потому, потому... Нѣтъ, что подумаетъ обо мнѣ вашъ батюшка, что подумаете вы?.. Нѣтъ, тогда Листе будетъ кругомъ правъ...»

Бюргеръ замолчалъ и закрылъ глаза руками. Луиза опустила голову и усердно вышивала... Наступила тишина торжественная и продолжалась до самаго прихода коммиссара.

— «Славно! Знатно!» кричалъ коммиссаръ: «безподобно!.. Правда, деревня, но зато ближе отъ насъ; а во-вторыхъ, содержаніе гораздо лучше; есть и постоянный доходъ; охотниковъ много, но я все оста-

новилъ; мѣсто въ моихъ рукахъ. За дѣдушкой остановка... Гдѣ письмо?...»

Луиза смотрѣла на отца съ изумленіемъ. Сражаться было не за что. Напротивъ, онъ хотѣлъ перевести Бюргера поближе... Но, къ удивленію, Бюргеръ не обрадовался, напротивъ, съ поникшею головою пошелъ за письмомъ, воротился и сказалъ задумчиво...

— «Господинъ коммиссаръ! Позвольте отложить дни на два, на три...»

— «Это зачѣмъ!»

— «О, Листе! Листе!» съ отчаяніемъ сказалъ Бюргеръ и, къ удивленію комиссара, ушелъ изъ дома... Луиза передала ему весь разговоръ съ Бюргеромъ. Старикъ призадумался; Луиза также... Весь день прошелъ въ думахъ. Утромъ Діана принесла господину коммиссару толстый пакетъ: «*Въ собственныя руки.*»

Коммиссаръ распечаталъ и нашелъ тамъ альбомъ и письмо. Развернувъ письмо, онъ прочелъ слѣдующее:

— «Несравненная дочь ваша просила меня написать что нибудь въ альбомъ; но послѣ всего, что я узналъ вчера, послѣ всего что я въ эти два дня перечувствовалъ, стихи мои, какъ бы просты и невинны ни были, покажутся вамъ и дочери вашей дерзкой и преступной лестью, — это съ одной стороны. Съ другой, эти стихи не могутъ вмѣщать изъясненіе свѣтской учтивости. Нѣтъ, въ нихъ должно отразиться мое несчастіе, высказаться то страданіе, которому я не зналъ и не знаю

имени... Я получилъ ужасный урокъ и ожидаю отъ него благодѣтельныхъ послѣдствій. Забудьте несчастнаго.»

Съ глубочайшимъ и пр.

Г. А. Бюргеръ...»

— «Луиза! Ну ужъ тутъ я ничего не понимаю. Какъ ты успѣла передать альбомъ Бюргеру... это еще объяснить можно...»

— «И очень легко...» сказала встревоженная Луиза: «Я думаю и вы, батюшка, пожелали бы имѣть въ своемъ альбомѣ стихи такого поэта... Но что́ же онъ пишетъ?..»

Луиза читала долго, и нѣсколько разъ измѣнялась въ лицѣ. На этотъ разъ старикъ внимательно слѣдилъ за всѣми движеніями дочери. Луиза сложила письмо, и сѣла возлѣ отца.

— «Ну, что́ ты объ этомъ думаешь, милая Луиза?..»

— «Много, батюшка, много. Это письмо заставитъ призадуматься. И вы и я, мы такъ мало знаемъ Бюргера. Разсказы Листе такъ страшны... И при всемъ томъ, я не сомнѣваюсь, что у него чистая, прекрасная душа; что шалости его были только шалости; что поводомъ къ нимъ была душевная пустота. Батюшка, вы не будете сердиться, вы не сочтете этого неприличною гордостью, но мнѣ кажется я довершила бы его благодатное преобразованіе. Чего не сдѣлаетъ любовь?»

— «Ага!»

— «Что́ ага!»

— «Ты любишь Бюргера?»

Луиза задумалась.

— «Ты невольно высказалась... Но не сердись же, Луиза, и на меня. Я отецъ и отецъ такой дочери, которою я въ правѣ гордиться. Судьба твоя — должна быть предметомъ всей моей заботливости... Я не прочь; не вѣрю Листе и люблю душевно Бюргера. Я убѣжденъ, что ты можешь изъ него сдѣлать образцеваго человѣка, если только мы не ошибаемся насчетъ самаго Бюргера. И такъ знаешь, что мы сдѣлаемъ?.. Возьмемъ его на испытаніе.»

Луиза съ нѣжностью поцѣловала отца и сказала съ улыбкой:

— «О, съ его способностями, съ его сердцемъ — онъ выдержитъ экзаменъ блистательно.»

— «Весьма желаю... И такъ ты ничего не знаешь, ни о письмѣ, ни объ альбомѣ. Я отправляюсь къ нему... Нѣтъ сомнѣнія, что онъ остановился въ гостинницѣ; потому что здѣсь кажется у него нѣтъ знакомыхъ...»

Старикъ не ошибся. Онъ нашелъ Бюргера въ нумерѣ, но не одного; въ корридорѣ еще заслышалъ онъ разговоръ, который заставилъ старика остановиться и... о, ужасъ, — подслушивать. Полураскрытыя двери тому благопріятствовали.

— «Я не ожидалъ отъ тебя, Горланъ, такого страннаго, такого неприличнаго поведенія...»

— «Перестань!»

— «Нѣтъ! Не перестану, пока ты не исправишь своего проступка; не оправдаешь моей рекомендаціи. Элиза плачетъ...»

— «Перестанетъ!..»

— «Она полюбила тебя...»

— «Разлюбитъ!..»

— «Но ты не знаешь какъ страстно, какъ пламенно она полюбила тебя!..»

— «Съ одного свиданія. Такой любви я не повѣрю... Да я и не хочу ни какой любви. Та, которая могла бы составить мое счастіе, та не можетъ меня любить...»

— «Э, полноте,» раздался нѣжный женскій голосъ: «васъ можетъ любить каждая. Вы предобрый, преблагородный человѣкъ. Я сама васъ душевно люблю...»

— «Благодарю тебя, Діана! Ты смотришь на вещи иначе, проще и справедливѣе... А тамъ — шалость считаютъ преступленіемъ и справедливо... Тамъ извѣстны уже не только мои шалости... тамъ — я оклеветанъ...»

— «Что́ за исторія! Да ужъ не думаешь ли ты жениться, Горланъ?»

— «О, не напоминай мнѣ объ этомъ! За всѣ мои шалости, за всѣ мои измѣны и побѣды я наказанъ однимъ ударомъ, одною молніей.... Мнѣ дано понять, почувствовать истинное блаженство на землѣ; уже мнѣ снилась деревня, милая жена, поэзія! Уже я слѣдовалъ за торжественнымъ ходомъ нравственнаго очищенія! Я предвкушалъ величіе чѣловѣка — и въ это самое мгновеніе все разрушилось...»

— «Да,» прибавилъ женскій голосъ: «и всю ночь онъ промучился такъ, что я спать не могла; при-

бѣгала къ его дверямъ, прислушивалась, предлагала свои услуги, хотѣла сходить за докторомъ... О, это ужасно любить такъ, какъ онъ!..» Діана вздохнула.»

— «Мы вылечимъ!» подумалъ коммиссаръ и постучался въ полураскрытыя двери.»

— «Войди! Кто тамъ! Ахъ, Боже мой! Господинъ коммиссаръ, вы меня находите въ такомъ безпорядкѣ...»

— «Въ физическомъ и нравственномъ! Не правда ли?.. А, такъ это вы, господинъ Германнъ?..»

— «Я, господинъ Леонгардъ!» отвѣчалъ Плакса съ нахальствомъ и презрительною улыбкою.

Но коммиссаръ не обратилъ на него дальнѣйшаго вниманія и глазами искалъ стула, куда бы поставить шляпу. Діана подскочила. Старикъ погладилъ ее по головѣ.

— «Благодарю тебя, дитя мое! Ты очень добрая дѣвушка...»

Бюргеръ покраснѣлъ, но Діана, ни малѣйше не смутясь, отвѣчала:

— «Добра, какъ умѣю; зла, какъ нужно...»

— «А что вы думаете, господинъ Бюргеръ?... Здравая философія. Но, между прочимъ, господинъ Бюргеръ, я къ вамъ за дѣломъ. Я вамъ принесъ назадъ и письмо и альбомъ. Перваго я не понимаю, до послѣдняго мнѣ нѣтъ никакого дѣла. Я посердился на васъ. Этотъ альбомъ былъ въ родѣ доноса...»

— «Нѣтъ, прямымъ оправданіемъ.»

— «Въ томъ, чему никто не вѣритъ, а тѣмъ

болѣе я. Надѣюсь, что доброе знакомство между нами возстановится. Увѣряю васъ, что мы цѣнимъ только то, что̀ сами видимъ, а по чужимъ словамъ никого не судимъ. Не съиграть ли намъ партію въ бильярдъ?..»

— «Если вамъ угодно!..»

И коммиссаръ съ Бюргеромъ пошли за Діаной, которая по пути доложила, что послѣ того раза, когда господинъ Листе отыгрался, не только онъ, но ни одинъ изъ записныхъ картежниковъ въ гостинницу не являлся.

— «Вотъ что́!» подумалъ коммиссаръ и спросилъ: «Кто же распугалъ ихъ?»

— «А вотъ онъ!» простодушно отвѣчала Діана

— «Понимаю, понимаю!»

— «И слава Богу! Можетъ быть мои деньги уцѣлѣютъ...»

— «А Листе игралъ на ваши деньги!» воскликнула Діана и остановилась.

— «Э! теперь и я понимаю... Оттого-то Листе къ намъ и не ѣдетъ; боится съ вами встрѣтиться. Тѣмъ хуже; они играютъ гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ и нѣтъ возможности наблюдать за ними... Но пожалуйте въ бильярдную, а я одѣнусь и сбѣгаю въ городъ; у меня своя полиція; мы все узнаемъ...»

— «Какъ хороша Діана!» сказалъ старикъ намѣляя кій: — «Предоброе дитя.»

— «Истинно доброе! Она не заслужила своей судьбы...»

— «Судьбы не измѣнишь! Но вотъ мы оста-

лись одни, растолкуйте, пожалуйста, о чемъ вы ко мнѣ писали?..»

— «Мнѣ.... кажется.... тамъ все понятно.... Клевета... да и прошедшее...»

— «Прошедшее прошло, а клевета лопнула... Не правда ли, мы будемъ друзьями?.. Дайте вашу руку.»

Бюргеръ дрожалъ всѣмъ тѣломъ, но подалъ руку. Старикъ улыбнулся и сталъ играть... Дни уходили за днями. Изъ Геллигаузена присылали два раза за юстицъ-чиновникомъ, но онъ отговаривался болѣзнію и сидѣлъ въ Нидекѣ. Утро проводилъ онъ съ Діаной въ важныхъ бесѣдахъ: читалъ ей стихи, переводъ Иліады, даже письма свои къ Бойэ и другимъ тогдашнимъ знаменитостямъ; на чаще толковалъ о Луизѣ, выхвалялъ ея таланты, которые должны составить непремѣнное счастіе ея мужа. Діана совѣтовала ему жениться на Луизѣ; но онъ качалъ головой и говорилъ утвердительно: никогда ее за меня не выдадутъ! Никогда! Все равно я буду любить ее до гроба...»

— «А меня?..»

— «И тебя, Діана,» приговаривалъ онъ съ улыбкой: «ты мнѣ другъ...»

— «И не ошиблись!»

И, правду сказать, примѣръ непонятной любви представляла Діана. Ночью, когда послѣ ужина, Бюргеръ садился писать, Діана исчезала и передавала всѣ рѣчи, всѣ мысли своего друга — старому комиссару... Натурально, комиссаръ радовался, Луиза утопала въ блаженствѣ... Діанъ была

обѣщано честное и постоянное мѣсто въ новомъ хозяйствѣ... Смѣшно, а было такъ; Діана хлопотала о счастіи своей соперницы.

Однажды утромъ принесли комиссару письмо съ почты и вслѣдъ за тѣмъ записочку отъ пріятеля. Комиссаръ одѣлся, пошелъ и засталъ Бюргера одного.

— «Гдѣ же ваша Діана?» спросилъ онъ.

— «Понесла мою просьбу въ Гелингаузенъ...»

— «О чемъ?»

— «Объ увольненіи. Я не могъ переносить долѣе грубыхъ писемъ Куно.»

— «И хорошо сдѣлали...»

— «Какъ знать?»

— «Нѣтъ, право хорошо! Во-первыхъ, вы уже опредѣлены по моей просьбѣ, въ Вѣльмерсгаузенъ...»

— «Что вы говорите!»

— «Во-вторыхъ, я получилъ отъ вашего дѣдушки отвѣтъ на мое письмо.»

— «Онъ согласенъ?»

— «Согласенъ и на перемѣну мѣста и на бракъ вашъ ..»

— «Съ кѣмъ?..»

— «Разумѣется, съ Луизой!»

—

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

НАЧАЛО ВТОРАГО ПЕРІОДА.

Наступилъ сентябрь 1774 года. Не только въ Нидекѣ, но и во всѣхъ окрестныхъ деревняхъ знали,

что старшая дочь господина комиссара Леонгарда выходитъ замужъ за юстицъ-чиновника вельмерсенскаго, Готфрида-Августа Бюргера; срокъ свадьбы назначенъ; оставался до этого срока только одинъ день; Бюргеръ весь этотъ день провелъ у невѣсты и воротился въ свою квартиру весьма поздно.

— «И такъ завтра!..» сказала Діана, принимая шляпу и палку Бюргера: «завтра вы будете совершенно счастливы...»

— «Богъ знаетъ!.. Діана, мнѣ кажется я поспѣшилъ!»

— «Что такое?»

— «Да! Мнѣ кажется...»

— «Что тамъ вамъ кажется, неблагодарный человѣкъ! Давно ли вы считали себя недостойнымъ Луизы?..»

— «Именно, Діана, мнѣ и сегодня то же кажется. Ты коротко меня знаешь, Діана... Я пылокъ, я страстенъ, я немогу согрѣваться этимъ сѣвернымъ сіяніемъ красоты; яркимъ, блистательнымъ, но холоднымъ. Я могу удивляться Луизѣ и удивляюсь; я любуюсь ея невинностію, ея живымъ умомъ, ея милымъ, кроткимъ характеромъ... и...»

— «Что и?.. И не любите Луизы?..»

— «О, нѣтъ! Я не могу этого сказать. Я скажу тебѣ откровенно, Діана. Мысль, что я буду обладать Луизой, льститъ моей гордости, но...»

— «Но не сердцу! Подите вы! Я васъ не люблю послѣ этого! Я взялась быть у вашей жены слугой, но теперь я ни ногой въ вашъ домъ...»

— «Отчего, Діана?»

— «Оттого, что на домъ вашемъ не будетъ благословенія Божія!»

— «Что же мнѣ дѣлать?»

— «Застрѣлиться, если у васъ нѣтъ силы признаться въ вашихъ чувствахъ отцу и дочери...»

— «Діана, ты меня приводишь въ восторгъ, милая Діана.»

— «Отстаньте! Я не люблю васъ!»

— «Говорю тебѣ, я пошутилъ, я хотѣлъ только видѣть, какое впечатлѣніе на тебя сдѣлаетъ мое ложное признаніе.»

— «Вы шутили?»

— «Право, шутилъ... Не вѣришь? побожусь!..»

— «О, какъ я рада! Луиза такой ангелъ! Теперь я пойду спать спокойно.»

— «Спать, такъ рано! А съ кѣмъ же я буду ужинать?..»

— «О! наканунѣ свадьбы вы думаете объ ужинѣ... плохо, плохо!»

Бюргеръ внимательно посмотрѣлъ на опечаленную Діану.

— «Наканунѣ свадьбы — вы ищите собесѣдницы, когда ваши мысли должна занимать прекрасная невѣста. Нѣтъ, вы не шутили, злой человѣкъ!..»

— «Полно, Діана! Вспомни, что я привыкъ къ безпечной жизни; вспомни, что завтра всему конецъ. Я не знаю, какъ слажу съ моимъ новымъ положеніемъ; а тутъ еще и денежные хлопоты; Листе и глазъ не кажетъ; всѣ мои письма остаются безъ отвѣта; онъ проигралъ мои деньги...»

— «Полноте! Господинъ комиссаръ платитъ всѣ расходы; Листе отъиграется и возвратитъ деньги. Все это увертки. Тутъ кроется что-нибудь другое. Вы вѣрно видѣли другую красавицу; вы вѣтреный человѣкъ; Діана можетъ сказать это...»

Много труда и хитрости стоило Бюргеру, чтобы успокоить Діану. На другой день Бюргеръ провелъ все утро дома и вышелъ тогда только, когда приглашенные быть ассистентами при бракосочетаніи, пріѣхали звать его въ церковь. Тамъ былъ уже весь Нидекъ, со всѣми окрестными деревнями. Между любопытными Бюргеръ замѣтилъ Матильду и не смутился; напротивъ, подошелъ къ ней и заставилъ поздравить себя со вступленіемъ въ супружеское состояніе. Въ особенности свадьбой Бюргера довольны были Куно и Бруно. Наперерывъ одинъ передъ другимъ они хвалили Бюргера и сожалѣли, зачѣмъ онъ оставилъ Геллигаузенъ.

— «Утѣшьте ихъ, прекрасная Матильда!»

— «О, гордый человѣкъ!» прошептала она съ чувствомъ: «вы даже не умѣете быть великодушнымъ...»

Бюргеръ смутился, покраснѣлъ, не зналъ что сказать; но прибытіе невѣсты, со всѣмъ семействомъ, заставило его опомниться и поспѣшить на встрѣчу. Луиза была дивно хороша въ свадебномъ костюмѣ. Ангельская улыбка придавала ей такое очарованіе, противъ котораго не устоялъ и самъ Бюргеръ. Въ эту минуту онъ былъ безъ памяти влюбленъ, съ жаромъ схватилъ онъ руку и, судорожно сжимая ее, повелъ Луизу къ алтарю. Еще

онъ не произнесъ священнаго обѣта; еще онъ не былъ супругомъ, когда случайно взоръ его остановился на четырнадцатилѣтней дѣвушкѣ, стоявшей возлѣ господина Леонгарда съ другою дѣвочкой лѣтъ шести, семи. Не трудно было узнать, что эти дѣвушки — дочери комиссара, сестры Луизы. О третьей никогда и разговора не было: вторую хвалилъ отецъ, второю восхищалась Луиза; но всѣ эти похвалы относились къ нравственнымъ качествамъ Августы. Никто не говорилъ, да и что можно было сказать о красотѣ этой очаровательной дѣвушки. Ярко-блестящіе глаза такъ жарко смотрѣли на Бюргера, можетъ быть, изъ одного любопытства видѣть мужа любимой сестры. Бюргеръ задрожалъ и сдѣлалъ надъ собою усиліе, отвернулся, но увы! змѣй уже вползъ въ вѣтреное сердце. Судьба Бюргера была уже рѣшена. Не безъ труда произнесъ онъ супружескій обѣтъ; въ эту самую минуту онъ боролся съ собою, онъ хотѣлъ броситься въ ноги отцу, признаться, что любитъ не Луизу, но Августу; но тайный невольный взглядъ, брошенный имъ на Луизу, возбудилъ въ немъ жалость, стыдъ; онъ повторилъ обѣтъ страннымъ голосомъ; опытный слухъ разобралъ бы въ звукахъ рѣчей Бюргера тайное отчаяніе. Но обрядъ совершился. Посыпались поздравленія. Отецъ подвелъ обѣихъ дочерей къ Бюргеру.

— «Вотъ тебѣ, Готфридъ, еще родня. Двѣ сестры твоей Луизы. Онѣ сегодня пріѣхали изъ пансіона нарочно для вашего праздника. Поцѣлуй ихъ, какъ старшій братъ, какъ отецъ...»

То, за что во всякое другое время Бюргеръ пожертвовалъ бы годомъ, даумя своей жизни — теперь ему показалось грѣхомъ, преступленіемъ. Горячка разливалась по всѣмъ жиламъ несчастнаго; но слѣдовало исполнить приказаніе отца. Въ полномъ смыслѣ горящія уста его прикоснулись къ устамъ Августы; хотя поцѣлуй ихъ былъ такъ нѣженъ, какъ только себѣ вообразить можно. Казалось, они не соприкоснулись устами, а поцѣловали тончайшую, раздѣлявшую ихъ струю воздуха. Все такъ, но этотъ поцѣлуй много значилъ. Взоры сквозь слезъ встрѣтились, сердца сказались. Бѣдная Луиза! Она весело принимала поздравленія; она переходила изъ объятій одной притворщицы въ объятія другой, и когда встрѣтилась съ мужемъ, онъ былъ уже спокоенъ, даже веселъ; слеза играла въ глазахъ его, правда; но Луиза считала ее своею.

Началась и свадебная пирушка. Напрасно Бюргеръ, тайкомъ, какъ воръ, искалъ Августы; ея не было въ комнатѣ Онъ хотѣлъ спросить, но замиралъ голосъ; хотѣлъ пойти, посмотрѣть гдѣ она, но недоставало воли. За ужиномъ онъ видѣлъ ее, но далече за другимъ столомъ: она сидѣла съ дѣтьми, спиною къ главному столу. Пиръ кончился. Прошла и ночь. Поутру, когда молодые вошли въ залу, тамъ былъ уже отецъ, нѣкоторые городскіе гости; Августы не было.

— «Гдѣ сестры?» спросила счастливая, веселая Луиза.

— «Просто, удивительный ребенокъ! Какъ пристала ко мнѣ: надо ѣхать, папа, отошлите насъ; мы

еще застанемъ лекцію госпожи Фуксманъ; я ужасно много потеряю... Пустяки! сказалъ я. Наверстаешь... Она заплакала; я не устоялъ, приказалъ заложить лошадь и отправилъ любознательныхъ дѣтей... Что ты прикажешь дѣлать съ такимъ пылкимъ и своенравнымъ ребенкомъ?..»

— «Странно!» сказала Луиза: «Теперь мое счастіе не такъ полно! Мнѣ некому хвалить моего мужа...»

— «Ну, отъ этого и мои старыя уши не откажутся.»

Все утро прошло въ обычной болтовнѣ, поздравленіяхъ, пріемахъ и проводахъ гостей. Наступилъ срокъ приниматься за новую службу. Молодые, отецъ, Діана и еще нѣсколько человѣкъ короткихъ знакомыхъ старика отправились въ деревню Вельмерсенъ; тамъ для юстицъ-чиновника не нашли даже порядочнаго дома; наняли и убрали на-скоро избу у поселянина и устроились съ бѣдой пополамъ. Первый годъ супружества прошелъ быстро. Діана служила усердно и была весьма довольна поведеніемъ Бюргера. Богъ благословилъ бракъ первенцемъ. Бюргеръ былъ бы вполнѣ счастливъ, если бы денежныя дѣла его были въ порядкѣ. Но дѣдушка не присылалъ ничего, да уже и не могъ присылать, потому что переселился въ вѣчность; Листе и не думалъ платить; литература не оплачивала расходовъ на одну переписку съ геттингенскими сочениками своими, и нѣкоторыми другими учеными, Бистеромъ, барономъ фонъ-Кильмансегге, Шпренгелемъ, Гельти, Миллеромъ,

Фоссомъ, графомъ фонъ-Штольбергъ, Крамеромъ, другимъ Миллеромъ, Ганомъ, Лейзевицемъ, Клозеномъ, Шприкманномъ, а больше всего съ Бойэ, котораго Бюргеръ безошибочно считалъ своимъ другомъ. Удивительно, право удивительно, какъ честнымъ литераторамъ трудно жить на свѣтѣ. Кажется, вся германская литература знала и уважала талантъ Бюргера; всѣ лучшія головы придумывали, какъ бы помочь Бюргеру, а онъ все-еще оставался въ той же деревушкѣ, въ такой же бѣдности, можно сказать — нищетѣ; тогда какъ какой-нибудь Шпегеръ, отъявленный мерзавецъ, котораго каждый презиралъ, обществомъ котораго каждый гнушался; надъ которымъ публично издѣвались, вѣнчая его петрушкой и величая его Швейнигелемъ; этотъ Шпегеръ получилъ большія деньги за свое литературное маранье. Когда фортуна, испытывая человѣческую философію, благопріятствовала Шпегеру, въ деревнѣ Вельмерсенъ Бюргеръ проводилъ безсонныя ночи надъ переводомъ Иліады; пятая пѣснь была уже напечатана въ «Нѣмецкомъ музеѣ», который издавали Бойэ и Домъ (Dohm) въ 1776 году. Не было уже на свѣтѣ комиссара Леонгарда. Бюргеръ остался опекуномъ надъ всѣмъ семействомъ. Старикъ жилъ бережливо, но и получалъ весьма мало. Едва стало капитала на похороны и на уплату въ пансіонъ за Августу и третью дочь покойнаго Леонгарда. Луиза сама отвезла деньги госпожѣ Фуксманнъ и воротилась безъ сестеръ въ Нидекъ, гдѣ Бюргеръ продалъ всѣ вещи покойнаго и ждалъ только жены и

сестеръ, чтобы вмѣстѣ отправиться въ Вельмерсенъ О, какъ онъ ждалъ ихъ! какъ онъ боялся, чтобъ онѣ въ самомъ дѣлѣ не пріѣхали; какъ обрадовался, когда узналъ, что Августа рѣшилась остаться въ пансіонѣ госпожи Фуксманнъ помощницей, за что госпожа Фуксманнъ обязывалась безплатно содержать и учить меньшую сестру. Обрадовался? По крайней мѣрѣ ему показалось, что камень упалъ съ сердца; что молнія, которая такъ долго висѣла надъ нимъ, разлилась надъ далекимъ моремъ и небо опять стало свѣтло. О, какъ горячо цѣловалъ онъ Луизу, какъ искренно восхищался благоразуміемъ Августы. Но не успѣли они пріѣхать въ Вельмерсенъ, какъ письмо отъ госпожи Фуксманнъ перепугало всѣхъ и уничтожило всѣ мѣры благоразумія.

— «Любезная Луиза!» такъ писала госпожа Фуксманнъ: «Давно уже замѣчала я, что милая моя Августа лишилась веселія и спокойствія. Можно считать со дня вашей свадьбы. Когда она воротилась къ намъ, я тотчасъ замѣтила, что она не такъ здорова. Болѣзнь ея имѣла самое странное направленіе. День лучше, день хуже; то слишкомъ весела, то слишкомъ печальна... Но ученье шло, какъ нельзя лучше. До послѣдняго вашего посѣщенія, Августа кое-какъ держалась; но едва вы уѣхали, она впала въ такую меланхолію, что иногда приходится руками будить ее отъ этого сна на-яву. Я говорила съ нашимъ докторомъ. Онъ рѣшилъ, что учительскія занятія для молодой и красивой дѣвушки въ тягость; что ей надо

разсѣяніе и, я не стану скрывать отъ васъ, что докторъ сказалъ мнѣ по-тихоньку: и жениха... Вы знаете, что и тѣнь мужчины не заходитъ въ нашъ монастырь. И такъ, если хотите спасти вашу сестру отъ съумасшествія, — присылайте за нею поскорѣе, потому что въ два дня болѣзнь сильно увеличилась; мнѣ страшно смотрѣть на нее... Не безпокойтесь объ маленькой сестрицѣ. Я принимаю ее себѣ вмѣсто дочери и знаю, что это доброе дѣло не останется безъ вознагражденія. Присылайте за Августой, какъ можно скорѣе!..»

— «Готлибъ! Что ты на это скажешь?»

— «Я? Право не понимаю отъ чего бы она могла захворать...»

— «Вѣроятно на нашей свадьбѣ увидѣла кого-нибудь, который ей понравился. Пылкій, романическій характеръ Августы не перенесъ мысли, что она должна провести всю жизнь въ этомъ монастырѣ. Никто ее не уговаривалъ; напротивъ, я всѣми силами возставала противъ такой жертвы; но теперь я не стану слушать ея мечтательныхъ разсужденій, — я ей мать; я пошлю за нею сегодня же...»

— «Что ты хочешь дѣлать Луиза?» спросилъ Бюргеръ и поблѣднѣлъ.

— «Я хочу, чтобы она была при мнѣ. Я разсѣю ея меланхолію..»

— «Луиза! Но вспомни, что и у насъ иногда нѣтъ двухъ чашекъ кофе...»

— «Готлибъ! Ты ли говоришь это?»

— «Прости, Луиза, но вспомни, что наши дѣти живутъ въ кухнѣ. Гдѣ же мы помѣстимъ Августу?»

— «Ты можешь спать въ своемъ кабинетѣ, гдѣ ты всегда спишь послѣ обѣда, а сестра со мною...»

— «Но, Луиза, не лучше ли просить нашего родственника...»

— «Ни за что! Онъ отказалъ тебѣ въ десяти талерахъ, когда у насъ ѣсть нечего было, а ты хочешь, чтобы онъ согласился принять Августу, дать ей помѣщеніе, столъ, одежду...»

— «Но въ такомъ случаѣ, позволь, Луиза, чтобы я окончилъ Иліаду... Я получилъ на этотъ счетъ весьма выгодныя предложенія...»

Луиза презрительно улыбнулась и тотчасъ съ лаской обратилась къ мужу:

— «Другъ мой! Иліада твоя прекрасна; стихотворенія твои, которыя ты собралъ и приготовилъ къ печати, — гордость Германіи; но развѣ ты Шпегеръ, развѣ ты за нихъ надѣешься получить больше, нежели сколько они тебѣ самому стоютъ?»

— «Какъ самому стоютъ?»

— «А время, мой другъ, ты его не считаешь? Ты не успѣваешь оканчивать дѣлъ, за которыя тебѣ законъ назначаетъ награду; время, которое для того нужно, ты употребляешь на труды литературные. Произведенія твои безцѣнны, но, въ существѣ, они стоютъ только того, чтобы ты получилъ, занимаясь службой. Вѣрь мнѣ, Иліада и

стихотворенія не извлекутъ насъ изъ бѣдности, а милая Августа ея не увеличитъ. Впрочемъ, я удивляюсь тому, что ты сталъ разсчитывать такъ экономически. Не понимаю, за что́ ты не любишь Августы?..»

Будто аспидъ укусилъ Бюргера въ самое сердце. Онъ чуть не вскрикнулъ и уже не прекословилъ женѣ; въ уныніи, какъ цыпленокъ за своею заботливой маткой, Бюргеръ ходилъ слѣдомъ за Луизой, когда она снаряжала въ путь Діану, наняла въ деревнѣ лошадей, стала устроивать квартиру, согласно съ новыми требованіями.... Отъѣздъ Діаны былъ причиною, что всѣ обязанности кухарки, няньки и горничной пали на Луизу... Когда она стала купать ребенка, Бюргеръ сѣлъ за Иліаду, но вмѣсто греческихъ гекзаметровъ, онъ сталъ читать въ своемъ сердцѣ. Но тамъ появилась такая тьма загадочныхъ іероглифовъ, что Бюргеръ сидѣлъ два битыхъ часа и не прочелъ ничего. Когда Луиза принесла въ его кабинетъ скромный ужинъ, онъ не могъ ничего ѣсть; онъ смотрѣлъ на нее взоромъ безумца, несчастливца въ отчаяніи... Луиза замѣтила это страпное выраженіе глазъ и спросила:

— «Готфридъ, что́ съ тобой! Ты, кажется, мною недоволенъ!...»

— «Нѣтъ, Луиза, нѣтъ, ангелъ мой! Я недоволенъ собою!...»

— «Что́ случилось?»

— «Что́?» Бюргеръ сталъ передъ нею на колѣни: «Луиза! Не спрашивай! Я далъ моей музѣ обѣтъ

молчанія, пока не кончу моей баллады! О я несчастный! Не знаю какъ я ее кончу... Чѣмъ разрѣшится эта исторія...»

— «Вѣроятно страшно...»

— «Не приведи Господи!»

— «Смертью!!...»

Бюргеръ закрылъ лице руками и горячія слезы лились на колѣни Луизы.

— «Я еще никогда не видала тебя въ такомъ поэтическомъ припадкѣ. Ты знаешь, какъ я люблю тебя и твою литературную славу, но отъ послѣдней я готова отказаться, если ты долженъ такъ опасно платить за часы созданія. Больше, я готова умереть, лишь бы ты былъ счастливъ...»

— «Господи!» съ отчаяньемъ закричалъ Бюргеръ: «Этого только недоставало. Умилосердись, Луиза, надъ моимъ несчастіемъ!...»

— «Ты похожъ на ребенка...»

— «На злодѣя! на изверга! на... О, нѣтъ, Луиза! Ты меня разлюбишь, ты меня будешь ненавидѣть...»

— «Э, мой другъ! Да ты боленъ, у тебя горячка...»

— «Спасай меня, лечи!...»

Съ трудомъ подняла Луиза на ноги Бюргера. Голова и руки его пылали, она помогла ему раздѣться, уложила въ постель, заварила бузину. Бюргеръ начиналъ бредить, забываться; Луиза успѣла позвать доктора; успѣла, говорю, потому что докторъ засталъ его съ бритвой въ рукахъ. Скорость медицинскихъ пособій прервали горячку;

утромъ Бюргеръ чувствовалъ только слабость; два или три дня не выходилъ изъ дома. Наконецъ по совѣту доктора пошелъ прогуляться и прямо на большую дорогу въ Нидекъ... Не успѣлъ онъ выйти за деревню, какъ увидѣлъ знакомую брику, которая медленно приближалась къ деревнѣ. Бюргеръ бѣгомъ бросился назадъ; вбѣжалъ въ свою комнату, заперся и, сѣвъ за письменный столъ, развернулъ Гомера... Луиза была въ кухнѣ; не видала, не слыхала этого страннаго возвращенія... Но зато услышавъ стукъ колесъ на дворѣ, опрометью бросилась на встрѣчу Августѣ, обняла ее горячо, залилась слезами и отъ радости кричала: Готлибъ! Готлибъ! Августа пріѣхала! Ахъ, да, Готлибъ пошелъ гулять... Пойдемъ, пойдемъ ко мнѣ! Онъ скоро воротится! — Нѣтъ! онъ сидѣлъ за столомъ и дрожалъ какъ преступникъ... онъ горѣлъ, какъ на угольяхъ... прислушивался къ каждому шороху... онъ боялся выйти, а сердце просилось къ Августѣ... Наконецъ разсудокъ и уединеніе помогли Бюргеру; онъ одолѣлъ и страхъ и страсть, и вошелъ въ комнату жены.

— «Вотъ онъ! Вотъ мой Готлибъ! Не правда ли, онъ весьма перемѣнился?..»

— «Да...» трепетно отвѣчала Августа.

— «Здравствуйте, сестрица!..» сказалъ Бюргеръ, потупивъ глаза. Луиза посмотрѣла на мужа и на сестру; вскрикнула, и безъ чувствъ, упала на земь.

Этотъ неожиданный обморокъ заставилъ опомниться обоихъ. Какъ будто условясь, они броси-

лись на помощь несчастной; какъ будто имъ стало стыдно передъ Луизой. Едва она пришла въ себя, и Бюргеръ и Августа старались быть веселыми, шутить, уничтожить подозрѣнія насчетъ чувствъ каждаго. Не было сомнѣнія, Бюргеръ любилъ Августу, она любила Бюргера; но ни тотъ, ни другая не знали о взаимномъ чувствѣ; одна Луиза угадала, сообразила, перевѣрила въ умѣ своемъ все прошедшее, въ одно мгновеніе, быстрѣе молніи и душа ея сгорѣла до тла. Луизу подняли живую, но въ это мгновеніе смерть какъ будто убила душу; остался автоматъ. Съ участіемъ разспрашивали ее и мужъ и сестра, какъ она себя чувствуетъ.

— «Какъ нельзя лучше!» отвѣчала она, ангельски улыбаясь: «Боюсь одного, не услыхалъ ли ребенокъ... Его спокойствіе мнѣ такъ дорого... Онъ меня такъ любитъ, добрый малютка... Потолкуйте здѣсь, а я сбѣгаю, посмотрю...»

Но она и подняться не могла со стула. Ноги были холодны какъ ледъ.

— «Странный припадокъ!» сказала она весело: «пройдетъ, но представьте, мнѣ снилось что-то похожее... Только во снѣ я капляла... Но это еще впереди... Слава Богу, ноги отходятъ! Діана! Діана! помоги мнѣ!...»

Бюргеръ съ горячностью обнялъ Луизу и сказалъ съ чувствомъ:

— «Будь спокойна, моя Луиза!»

— «Я уже спокойна! Обо мнѣ не заботься.»

—

ГЛАВА ВТОРАЯ.

МОЛЛИ.

Думаю, соображаю. Сердце болитъ, стараясь перечувствовать страданія Луизы. Обыкновенные люди легко огорчаются, легко и забываютъ огорченія, легко привязываются сердцемъ къ другому сердцу, но оторваться отъ любимца имъ такъ же легко, какъ переодѣться въ другое платье. Но Луиза, по несчастію, была необыкновенная женщина и Бюргеръ инстинктивно чувствовалъ ея высокое достоинство и тайный стыдъ снѣдалъ его сердце. Вотъ уже три дня прошло съ тѣхъ поръ, какъ Августа переѣхала къ нимъ; Бюргеръ выходилъ только къ обѣду, и на минуту вечеромъ, чтобы проститься съ женою и дѣтьми и сказать холодное слово обычнаго привѣта... Поздно. Луиза не могла уже болѣе обманываться; она какъ будто не слѣдила за мужемъ и Августой; она, обыкновенно важная, величавая, теперь представляла изъ себя ребенка, рѣзвилась не по лѣтамъ, хохотала надъ такими словами, которыя прежде не возбудили бы въ ней и улыбки. Видъ совершеннаго равнодушія обманулъ Августу, обманулъ и Бюргера. Онъ считалъ себя преступникомъ, онъ рѣшился любить Августу въ мечтахъ поэтическихъ, однимъ воображеніемъ, и на столѣ его появилось множество недоконченныхъ стихотвореній съ надписью къ Молли. Въ этомъ странномъ имени онъ находилъ какое-то тѣлесное сходство съ личностью Августы; она была такъ роскошна;

все въ ней дышало негой, упоеніемъ, очарованіемъ. Одну изъ этихъ пѣсень знаетъ русская публика въ бѣдномъ моемъ переводѣ, но за то она облечена вдохновенною музыкою Глинки. «Не требуй пѣсень отъ пѣвца» останется надолго однимъ изъ любимѣйшихъ романсовъ нашихъ меломановъ. Луиза никода не входила въ кабинетъ мужа, избѣгая непріятнаго объясненія. Это еще болѣе мучило Бюргера и невольно умножало страсть къ Августѣ, какое-то неопредѣленное, но дурное чувство къ Луизѣ. Страсть, какъ чудовищныя грезы, возрастаетъ до такихъ размѣровъ, что надо или проснуться или задохнуться. Наступили безсонныя ночи. Никто не мѣшалъ сближенію Бюргера съ Августой, но невидимая, безграничная пропасть лежала между ними. Бюргеръ каждый день старался казаться равнодушнымъ къ Августѣ; Августа чуть не съ грубостью отвѣчала на обычные: здравствуй и прощай; но красные глаза, но запекшіяся уста, пламя въ щекахъ, въ голосѣ странные звуки; Луиза читала ихъ романъ свободно и видѣла, что она дочитывается до страшной развязки.

Однажды вечеромъ, войдя въ свой кабинетъ, Бюргеръ схватилъ себя за голову, зарыдалъ и бросился на жесткій диванъ, служившій ему постелью.

— «Нѣтъ!» сказалъ онъ громко: «я не могу переносить долѣе этого ужаснаго ада. Луиза, ты, ты причиною, что Августа меня не навидитъ! Но, кончено... Богъ съ вами!... Живите себѣ какъ

съумѣете! Я буду помогать вамъ издалече. Но быть здѣсь, вмѣстѣ съ вами... терзаться, мучиться каждое мгновеніе... Не могу. Не снесу... Прощай, Августа!... Нѣтъ другаго средства...»

И Бюргеръ сѣлъ къ столу, схватилъ перо и началъ писать письмо.

Въ то же время въ спальнѣ Луизы, на супружескомъ ея ложѣ рыдала Августа. Страсть къ Бюргеру достигла своего зенита...

— «Нѣтъ,» сказала она: «я не могу .. Я не перенесу этой жизни! Мнѣ и плакать нельзя... Ночью, я должна глотать слезы, чтобы сестра не услышала моихъ рыданій. Я боюсь заснуть, чтобы коварный сонъ не измѣнилъ моей тайнѣ... И каждый день видѣтъ, что онъ не любитъ меня, не можетъ переносить моего присутствія, избѣгаетъ встрѣчи со мной... Августъ, Августъ, что я тебѣ сдѣлала?.. Нѣтъ, Августъ, я тебѣ докажу какъ я могу, какъ я умѣю любить! Прощай, Августъ, прощай весь свѣтъ! Я знаю, я замѣтила дорогу... Ночь свѣтла!»

И Августа привстала; но услышавъ шаги, она спрятала голову въ подушки, и притворилась спящею... Вошла Луиза съ Діаной.

— «Спитъ!» сказала Діана.

Луиза покачала головой отрицательно и приложила къ губамъ палецъ.

— «Діана,» сказала она тихо: «Завтра ты не буди меня. Я ужасно устала.»

— «И я то же, мы будемъ спать какъ убитые...»

— «Надѣюсь. Мой Готлибъ пишетъ?»

— «Пишетъ.»

— «Будетъ спать до-поздна. Завтракъ восиѣетъ раньше чѣмъ онъ встанетъ. Надо намъ, Діана, въ городъ съѣздить на-дняхъ. Не дастъ ли сосѣдъ своей лошади? Надо купить кое чего. У насъ по всѣмъ шкафамъ пусто...»

— «Да и въ карманѣ...»

— «Пусто, Діана! Но я надѣюсь на кредитъ у стараго Фрица. Онъ мнѣ самъ намѣкалъ на это...»

— «Въ кредитъ или за деньги, все-равно, когда нужно...»

— «Ну, такъ попроси у сосѣда лошадь...»

— «Попрошу, а если не дастъ, выбраню...»

— «Какъ тебѣ не стыдно...»

— «Я имѣю на то свои причины.»

— «Дѣлай какъ хочешь, только достань лошадь... Прощай пока!»

— «Спите покойно!»

Діана ушла; луна освѣтила спальню; Августа прислушивалась ко вздохамъ Луизы; наконецъ убѣдилась, что она спитъ, тише тѣни снялась съ постели, прошла по корридору на цыпочкахъ, отворила задвижку, вышла на крыльце и упала на колѣни.

— «Господи!» сказала она заливаясь слезами: «благослови мой подвигъ!..»

Августа ожила; слезъ не стало; легко, свободно пошла она въ путь; миновавъ деревню, она сошла съ большой дороги и пробиралась по опуш-

къ лѣса, стараясь укрыться отъ любопытныхъ глазъ проѣзжающихъ поселянъ; прошла она такъ довольно далеко; лѣсъ кончился; развивалась передъ глазами ея обширная поляна: надо было выйти изъ гостепріимной тѣни и продолжать путь въ явь... Какое-то невольное чувство удерживало ее; вдругъ вблизи послышались шаги; она оглянулась; къ ней, прямо къ ней шелъ мужчина, размахивая огромной палкой. Она бросилась въ лѣсъ, присѣла въ кустахъ, но поздно; мужчина замѣтилъ ее и открылъ въ ненадежномъ тайникѣ...

— «Кого поджидаешь, красотка?» спросилъ онъ отводя рукою густыя вѣтви: «Ужъ не меня ли?..»

— «Боже мой!.. Августъ!..»

— «Кого я вижу? Молли!..»

То былъ Бюргеръ. Оба ушли одинъ отъ другаго, но ужасная судьба свела ихъ на зло имъ самимъ. Опасность придала силы Августѣ... Она вскочила, крикнула: «Прощайте, господинъ Бюргеръ!» и бросилась было бѣжать... Но Бюргеръ успѣлъ схватить ее за руку...

— «Оставайтесь!» сказалъ онъ печально: «Я ухожу, Молли, ухожу! Я не буду болѣе мучить васъ моимъ присутствіемъ...»

— «Меня!»

— «Васъ, Молли!»

— «Молли! Вы ошиблись, господинъ Бюргеръ! Молли не я!»

— «Ваша правда! Я не имѣю права называть васъ этимъ поэтическимъ именемъ, созданіемъ моего больнаго воображенія...»

— «Вы называли меня Молли! Скажите, что значитъ это ужасное слово, объясните мнѣ его обидный смыслъ.»

— «Обидный?»

— «Да не все ли равно? Я спрошу, я узнаю... Впрочемъ, къ чему мнѣ и знать, что вы обо мнѣ думаете. Но крайней мѣрѣ, оставляя домъ вашъ навсегда, я считаю себя въ правѣ сказать вамъ, господинъ юстицъ-чиновникъ, что я не подала ни малѣйшаго повода къ неудовольствію. Эти поводы вы сочинили сами. Но теперь вы должны быть вполнѣ довольны...»

— «Боже мой, Боже мой! Я ничего не понимаю...»

— «И я не понимаю, за что вы меня ненавидите!»

— «Я? Васъ?.. Молли, я тебя ненавижу!.. Молли! о нѣтъ, нѣтъ; я не скажу, я не долженъ, мой долгъ... Нѣтъ! Прощайте! Бѣгите домой, прочтите письмо, которое я оставилъ Луизѣ...»

— «Неужели она меня оклеветала?»

— «Кто? Луиза! Этотъ ангелъ, который убилъ мое счастіе! Она способна ко всему, только не къ клеветѣ...»

— «Слава тебѣ Господи! Но какое письмо? Куда бѣжите вы?..»

— «Туда, гдѣ ни Луиза, ни вы меня не найдете! Но въ минуту этой, можетъ быть, вѣчной разлуки, позвольте сказать и вамъ, что я ничѣмъ не заслужилъ вашей ненависти.»

— «Моей ненависти?.. Я опять ничего не понимаю... Я не смогла, я... О, нѣтъ! Никогда, никогда вы не узнаете моей тайны...»

— «Тайны? У васъ есть тайна! И вы могли подумать, что я буду препятствовать вашему счастію? Скажите, скорѣе скажите, кто онъ! Знаю, что мое сердце разорвется на много частей, знаю что можетъ-быть я не перенесу этой потери.. Потери! Безумецъ... Да развѣ Молли моя? Развѣ я имѣю малѣйшее право на ея любовь?»

— «Любовь! О спасите меня, силы небесныя!»

Августа упала на колѣни и простирая руки къ деревнѣ, вопила: «Луиза! Луиза! Ужасная сестра! Милая Луиза! Спаси меня, выручи! Я... Ты видишь, я не искала... Судьба вмѣшалась въ наше несчастіе... Августъ! Августъ! Теперь я погибла! Теперь уже никто не спасетъ меня...»

— «Успокойся, Августа! Клянусь, я докажу тебѣ любовь мою на дѣлѣ! Я вырву образъ твой изъ моего сердца, я съумѣю одолѣть безумную страсть... Я забуду тебя, лишь бы ты была счастлива! Признавайся, Августа, кто онъ?..»

— «Нѣтъ! Этого языкъ мой никогда не выговоритъ... Не хвались великодушіемъ! Нѣтъ, Августъ, никогда, никогда не измѣню моей тайнѣ... Я слишкомъ люблю Луизу...»

— «Я съума сойду, если догадка моя справедлива...»

— «Не догадывайся! Не правда, не правда!»

— «Ты любишь меня, Молли!»

— «Не правда, не правда!»

Но послѣднія слова были произнесены почти шопотомъ, и замерли вмѣстѣ съ чувствами. Всякое сомнѣніе исчезло.

— «Молли! Я не могу жить безъ тебя...»

— «И мнѣ тоже, Августъ, жизнь безъ тебя кажется могилой. Но все-равно. Мы должны разстаться — и навсегда...»

— «Молли! Такъ для того ли судьба свела насъ, чтобы убить насъ теперь двойною смертію.»

— «Но подумай самъ, развѣ мы можемъ жить въ одномъ домѣ, видаться...»

— «Можемъ Мы не нарушимъ семейнаго блаженства такого достойнаго, высокаго существа, какъ Луиза. Я замѣтилъ, что въ душѣ ея сбылось что-то страшное.»

— «И я замѣтила это...»

— «Поселились подозрѣнія...»

— «Мы вырвемъ ихъ.»

— «Развѣемъ кручины...»

— «Луиза будетъ вдвое любить насъ; но, Августъ, надо намъ поспѣшить домой!.. Могутъ замѣтить наше отсутствіе.»

— «Твоя правда, Молли!»

И оба, какъ дѣти, схватившись за руки побѣжали въ Вельмерсенъ.

— «Молли! Двери отперты! Никто не замѣтилъ!»

— «Слава Богу! Добрая Луиза, уходя, мы уносили твое счастіе, но во-время опомнились; возвращаясь мы приносимъ тебѣ прежнее блаженство. И ты стóишь того, Луиза...»

Луиза? — Да, она стóила гораздо больше того, чѣмъ наградить ее хотѣли влюбленные безумцы.

Рано поутру встала Луиза, разбудила Діану, приготовила въ саду завтракъ и пришла будить Бюргера.

— «Вставай, мой другъ!»

— «Луиза, ты ли это?»

— «Кому же быть какъ не мнѣ! Вставай! Сегодня день нашей свадьбы! Видишь ты какой! Забылъ... Позавтракаемъ и пойдемъ въ церковь... Ну, полно лѣниться; нето я стану щекотать вашу милость, какъ русалка...»

Бюргеръ обнялъ Луизу.

— «У вашей милости глаза заплаканы; но, кажется, веселыми слезами. Давно бы такъ! Ну, одѣвайся Готлибъ, а я пойду разбужу Августу... Да! Я давно тебѣ хотѣла сказать и просить; но ты не сдѣлаешь...»

— «Все на свѣтѣ, милая Луиза!»

— «За что ты не любишь моей Августы?..»

— «Съ чего ты это взяла?..»

— «Полно: я лучше понимаю вещи, нежели ты думаешь! Ну, скажи, за что́ такое холодное обращеніе? Во-первыхъ, ты долженъ съ нею обращаться точно такъ, какъ со мною; ласкать ее, какъ дитя свое ласкаешь, а ты — точно гонишь ее изъ нашего дома... Дай мнѣ слово, что ты перемѣнишься; хоть для сегодняшняго дня...»

— «Милая Луиза, право не понимаю чего ты отъ меня требуешь...»

— «Такъ ты и этого не хочешь для меня сдѣлать?..»

— «Охотно, только не знаю какъ...»

— «А вотъ увидишь!»

— «Луиза! Жаль мнѣ тебя! Какъ люди могутъ обманываться!» такъ думалъ Бюргеръ и обманывался. Онъ не могъ, не умѣлъ постигнуть высокой души своей Луизы... Завтракъ былъ самый веселый. Луиза смѣялась уже непритворно, а отъ души; заставила мужа любезничать и шутить съ Августой, и затѣяла въ концѣ бесѣды общее лобызаніе. Когда Бюргеръ, какъ-будто по принужденію, подошелъ къ Августѣ — Луиза смотрѣла на ихъ братскій поцѣлуй со слезами умиленія.

— «Чудная ты женщина, Луиза,» сказалъ взволнованный Бюргеръ.

— «Можетъ быть, но Готлибъ — цѣль моей жизни, только твое счастіе. Я объ этомъ только думаю и вѣрь мнѣ не остановлюсь ни передъ какой жертвой!»

Слова эти были сказаны съ бывалой важностью Луизы. Влюбленные поняли ихъ тайный смыслъ, но не могли и подумать, чтобы ихъ чувства могли быть уже извѣстны Луизѣ. День прошелъ въ полномъ веселіи и удовольствіи. Домъ Бюргера вчера и сегодня какъ будто вмѣщалъ два разныя семейства. Хозяйка часто уходила то въ кухню, то въ огородъ, то къ дочери и оставляла мужа съ сестрой однихъ иногда на цѣлый часъ. Ввечеру Бюргеръ прочелъ множество стихотвореній къ Молли, объясняя, что Молли—поэтическій идеалъ музы.

Луиза очень спокойно отвѣчала, что такіе идеалы и на бѣломъ свѣтѣ водятся.

— «Вотъ возьми,» заключила она, въ образецъ нашу Августу: «точь въ точь твоя Молли! И, признаюсь, мой другъ, мнѣ бы гораздо было пріятнѣе, если бы стихотворенія твои относились къ моей сестрѣ, нежели къ посторонней дѣвушкѣ...»

— «Это почему?»

— «Старъ будешь, посѣдѣешь, если все знать захочешь! Но ты знаешь мою откровенность; и вѣрь мнѣ, что ты не понимаешь Августы. На твоемъ мѣстѣ, я влюбилась бы въ нее по уши...»

— «Полно шутить. .»

— «Луиза!» покраснѣвъ, съ упрекомъ сказала Августа.

— «Не шучу, говорю правду и повторяю, что пламенное сердце можетъ любить не одинъ разъ въ жизни. Такъ простительно мнѣ желать, чтобы второй предметъ твоей любви была моя сестра... Одного боюсь,» прибавила она съ простосердечной улыбкой: «что этотъ второй предметъ не будетъ послѣднимъ.. Тогда впрочемъ обязанность заботиться о дальнѣйшемъ твоемъ счастіи падетъ на Августу...»

— «Что съ тобой, Луиза! Право, ты говоришь такъ странно...»

— «Еще скажу тебѣ, Готлибъ, въ день нашей свадьбы, другое и неменѣе важное замѣчаніе. Ты рѣшительно плохой хозяинъ. На Иліаду и стихотворенія нечего надѣяться. Надо подумать гдѣ и чѣмъ намъ жить. — Здѣсь нельзя. Дѣла ты запу-

скаешь, доходовъ никакихъ; я за тебя работать немогу, а тебѣ надо такую должность, чтобы она не мѣшала твоей любви и поэзіи, а я могла бы исполнять твои обязанности.»

— «Право, Луиза, тебѣ сегодня приходятъ такія фантазіи...»

— «Слушай! Главное, чтобы ты былъ совершенно счастливъ. Ты уже на пути къ этому счастію; остается отбросить послѣднія препятствія. Здѣсь жить нельзя. Въ городѣ еще хуже. Такъ вотъ что́ надо и можно сдѣлать. Оставимъ службу; возьмемъ въ аренду небольшую мызу — и тогда,— пиши себѣ къ Молли сколько угодно, я управлюсь съ хозяйствомъ. Подумай объ этомъ, Готлибъ! У меня есть славная мыза на примѣтѣ Подъ самымъ Аппенроде. Только скажи, что согласенъ, завтра же поѣду и слажу дѣло.»

— «Ты?»

— «Да ужъ вѣрно не ты. Я и Діану возьму съ собой, а за дочкой вы съ Августой присмотрите. Ну, пора ужинать. Если ѣхать завтра, такъ надо пораньше...»

Луиза ушла. Удивленные Бюргеръ и Молли смотрѣли другъ на друга, молча.

— «Какъ понять ее?» наконецъ спросилъ Бюргеръ: «я боюсь...»

— «Я трепещу, Августъ! Если она догадалась, я брошусь въ воду...»

— «Молли! Молли! Вспомни обо мнѣ!.. У меня на этомъ свѣтѣ уже никого не останется...»

— «Но она уѣзжаетъ, но она беретъ съ собою

Діану: можетъ быть и въ ней поселился странный умыселъ. Я не пущу ее въ городъ.»

— «Я самъ съ нею поѣду...»

— «Поѣзжай, Августъ! Я умру отъ страха...»

— «Вотъ и ужинъ!» сказала Луиза входя съ Діаной и подносами.

Ужинъ прошелъ въ обыкновенныхъ разговорахъ; въ нихъ Луиза описала во всей подробности мызу, расположеніе дома, доходы, все, все, съ такимъ хладнокровіемъ, что и Августа стала покойнѣе.

— «Я поѣду съ тобою, Луиза!» сказалъ Бюргеръ.

— «Низачтó! Я даже не скажу твоей фамиліи. Ни какой владѣлецъ не отдастъ своей мызы въ аренду позту. Я улажу дѣло подъ именемъ чужимъ, надежнымъ, и знаешь ли кого я выбрала для этого дѣла?»

— «Любопытно...»

— «Вашего Плаксу, Германна! Хотя я и не совсѣмъ хорошо поступаю: онъ и теперь еще влюбленъ въ меня; но я хочу воспользоваться дурачествомъ и богатствомъ моего селадона. Онъ женатъ на купчихѣ, денегъ у нихъ много, можетъ дать въ займы, а изъ доходовъ, заплатимъ...»

Бюргеръ побѣднѣлъ.

— «Неумѣстная ревность, мой другъ! Я тебѣ безъ всякихъ фразъ, по мужицки объясняю, что я люблю тебя, одного тебя, люблю безъ памяти и живу только для твоего счастія...»

— «Но я не хочу, чтобы...»

— «Мало ли чего не хотѣла бы и я!.. Да изъ

двухъ золъ надо избирать меньшее. А тутъ и зла нѣтъ.—Милостивый государь! Пожалуйте денегъ! — Съ величайшимъ удовольствіемъ. Вотъ деньги. —, Покорнѣйше благодарю. — Но, милостивая государыня, съ тѣмъ вмѣстѣ я обожаю васъ,—Можете.— Ищу вашей взаимности. — Подите прочь! — Слушаюсь...— И пойдетъ прочь. Вотъ и все тутъ.—Ну теперь, господинъ Бюргеръ, прощайте! Садитесь писать стихи, а мы пойдемъ спать.—Завтра третій переворотъ въ нашей жизни.»

— «Какой третій?..»

— «Разумѣется третій... Что ты споришь о томъ, чего не знаешь? Предсказываю тебѣ, что еще будутъ два переворота и оба,» заключила она со вздохомъ: «въ твою пользу.».

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Деревня близъ Апценроде соотвѣтствовала всѣмъ плавамъ Луизы; большой домъ, хорошія поля, два огорода, прудъ, тутъ было все необходимое для хозяйства и спокойствія. Но спокойствія не могло быть въ этой семьѣ, въ которой великодушіе Луизы, движенія совѣсти, порывы страсти въ цѣпяхъ, волновали ежедневно, ежеминутно Бюргера и Августу. Поведеніе Луизы не измѣнялось, но въ этой деревнѣ она была уже совсѣмъ не та, что въ Вельмерсенѣ. Глаза ея блистали болѣзненнымъ свѣтомъ; изрѣдка она покашливала, жаловалась на стѣсненіе въ груди, но не хотѣла лечиться больше потому, что не желала въ домъ своемъ видѣть какого бы

то ни было гостя Къ тому же и гостей принимать было очень трудно, вслѣдствіе страннаго хозяйственнаго распоряженія Луизы, о которомъ тотчасъ узнаете.

Въ одно утро усталость и увеличившаяся боль въ груди заставили Луизу воротиться раньше обыкновеннаго съ поля, гдѣ, подъ ея личнымъ смотрѣніемъ, окапывали картофель. Она вошла на кухню, гдѣ Діана собиралась что-то стряпать.

— «Милая Діана!» сказала она садясь на скамейку и кашляя: «мнѣ надо съ тобой переговорить о весьма важномъ дѣлѣ.»

— «Вы знаете, что я люблю васъ...»

— «Тѣмъ хуже.»

— «Отчего хуже?»

— «Оттого, что намъ надо разстаться.»

— «Разстаться! Что я вамъ сдѣлала? Да развѣ я у васъ что украла? Развѣ я не смотрѣла хорошо за вашей дочерью, за вашимъ хозяйствомъ; развѣ у меня въ кладовой нѣтъ порядка. О, моя экономія...»

— «Мой другъ! Все такъ, но мы должны разстаться...»

— «Помилуйте, за что? Да развѣ я требую съ васъ жалованье? Всего-то я во сколько лѣтъ получила отъ васъ три талера. И тѣ вы мнѣ пожаловали насильно...»

— «Не о томъ рѣчь! Я люблю тебя какъ сестру, я никогда тебя не забуду; я всегда буду тосковать по моей Діанѣ, но.. все таки мы должны разстаться...»

— «Что за чудеса такія! Да объясните мнѣ, ради Бога, за что?»

— «Этого я и сама не знаю.»

— «Да вы просто больны, милостивая госпожа! Ужъ не сонъ ли вы видѣли?..»

— «Именно сонъ! Страшный, ужасный! Но то не былъ сонъ, нѣтъ, я не спала; я смотрѣла на полную луну, которая глядѣлась въ мою одинокую комнату; вдругъ... Во все окно явилось привидѣніе...»

— «Господи, Боже мой!»

— «Въ бѣломъ саванѣ, съ горящими очами, съ красными волосами.»

— «Небесный Отче!»

— «Я думала сначала, что это разбойникъ, но скоро убѣдилась, что это безплотный гость; онъ не вошелъ въ окно, а какъ-то влился, вплылъ въ комнату, не отворяя окна; отъ глазъ его стало свѣтло, какъ на пожарѣ. Онъ остановился у самой кровати...»

— «Такъ это былъ мужчина!.»

— «Съ красной бородой...»

Діана заперла на ключъ двери и вытянулась, какъ будто желая лучше слушать.

— «Что же дальше?» спросила она, дрожа всѣмъ тѣломъ.

— «Горе, горе, горе,» такъ началъ красный старикъ: «въ домѣ твоемъ уже много лѣтъ живетъ дѣвушка...» Вѣдь это ты, Діана?

— «Конечно, я; тутъ не можетъ быть сомнѣнія.»

— «Знаю, что тебѣ трудно будетъ съ нею раз-

статься. Но жизнь и дочери твоей и этой дѣвушки въ опасности, если она останется въ домѣ твоемъ два дня...»

— «Два дня! Ахъ, онъ злодѣй старикъ...»

— «Ты ошибаешься, Діана! Онъ твой тайный покровитель. Это было третьяго дня...»

— «Третьяго дня! И вы ничего мнѣ не сказали.»

— «Признаюсь, я думала, что это пустая греза; привидѣлось и только. Но вчера видѣніе повторилось. Старикъ былъ строгъ, настойчивъ; все утро я собиралась съ силами, чтобы сказать тебѣ, но, Діана...»

— «Ахъ, милостивая госпожа! И вы могли сомнѣваться во мнѣ...»

— «Нѣтъ, но мнѣ было такъ страшно подумать объ этой разлукѣ... Ты, можетъ-быть, замѣтила какъ въ полѣ стало мнѣ дурно... Какъ я ушла поспѣшно...»

— «Даже дочку не поцѣловали. Признаюсь, я удивилась...»

— «Едва пришла я домой, едва успѣла броситься на постель .. То же явленіе, даемъ! Старикъ былъ въ сильномъ гнѣвѣ! «Непослушная,» сказалъ онъ: «шесть часовъ до роковаго срока, а ты еще медлишь!»

— «Шесть часовъ. Да не прошли ли уже? Гдѣ она? Не случилось ли чего съ нею?..»

— «Діана, милая Діана!»

— «Правда, правда, вѣдь это случилось теперь!.. Сейчасъ! О, мнѣ недолго собираться въ

дорогу... Прощайте, добрая госпожа! Позвольте проститься мнѣ съ моимъ добрымъ...»

— «Нѣтъ, Діана! Я забыла тебѣ сказать, что нашъ подвигъ долженъ быть тайной...»

— «Понимаю! Но скажите, не говорилъ ли старикъ: навсегда, или...»

— «На-время, Діана, на-время... Я дамъ тебѣ знать...»

— «О, такъ что это за разлука! Это отпускъ... Студентская ферія... Прощайте! Да не забудьте, что у меня три насѣдки сидятъ... Присматривайте за сѣрой курицей: она еще неспокойна... А вотъ вамъ ключи отъ кладовой и отъ шкафовъ. Этотъ вправую сторону отпираетъ... Ахъ, Боже мой, какъ бы не опоздать... А вы всего не знаете. Я посолила немного огурцевъ; на чердакѣ; въ банкѣ, ну, да вы сами осмотритесь... Прощайте, прощайте! А господину Бюргеру скажите что-нибудь, зачѣмъ я ушла.. Только надо условиться .. Да, скажите, что сестра моя умираетъ! У меня есть сестра. Онъ знаетъ... Онъ даже... Прощайте, прощайте!»

— «Прощай, милая Діана!»

Горячо обнялись госпожа и служанка; Діана мгновенно собралась въ путь и ушла. Луиза проводила ее съ искренними слезами.

Не допуская никакой прислуги въ домъ свой, исполняя всѣ обязанности няньки, кухарки, ключницы, служанки — Луиза въ короткое время добѣжала до могилы.

Бюргеру надо было уже думать не о спасеніи Луизы, а о честномъ погребеніи. Вечеръ, казалось,

спѣшилъ покрыть своимъ сумракомъ послѣднія минуты жизни чудной Луизы. Она запретила дочери быть у постели своей, потому что слышала, будто чахотка заразительна. Кухарка, напятая въ деревнѣ, также не мало безпокоилась о больной. Вдругъ будто свѣтъ луны пролился въ ея комнату; будто въ окно пролетѣло что-то невидимое.. Тяжелый, продолжительный вздохъ раздался и умеръ. Вслѣдъ затѣмъ послышались шаги, крикъ дитяти.

— «Маменька умерла! Маменька умерла!..»

Бюргеръ и Августа бросились въ уединенную комнату, гдѣ лежала больная; но Луизы уже не было. Съ улыбкой на устахъ, она лежала на одрѣ своемъ.

— «Бѣдная!» сказалъ Бюргеръ: «Много она перенесла въ этой жизни. Надо озаботиться о ея похоронахъ, а у меня и денегъ нѣтъ! Право, такая бѣда... Нѣтъ конца этимъ расходамъ. Не дождусь я изъ этого Геттингена профессуры... Но, кажется, ждать недолго. Ганна! Скажи пастору, что госпожа Бюргеръ умерла; онъ лучше знаетъ, что надо дѣлать... Пойдемъ, Молли! Я знаю какъ видъ смерти долженъ быть для тебя страшенъ!..»

Пасторъ зналъ Луизу, зналъ и трудныя обстоятельства Бюргера. Но и самъ былъ бѣденъ. Положили Луизу въ бѣдный гробъ, отнесли въ церковь.

Луизу похоронили. Луизу забыли. Бюргеръ не

шелъ, а бѣжалъ домой; дитя за нимъ едва успѣвало. Дома ждалъ его пріятный гость. Полицейскій чиновникъ съ судейскими депутатами встрѣтилъ его на крыльцѣ. Объясненіе было очень коротко и ясно. Въ послѣдній годъ, во время болѣзни Луизы, всѣ доходы остановились. Что было собрано ея заботливостью, разошлось на содержаніе дома. Аренда не была уплачена; заплатить было нечѣмъ. Вслѣдствіе того, кромѣ необходимой одежды, все было заарестовано, опечатано. Бюргеру съ семействомъ позволено было только переночевать въ домѣ. Рано поутру нашли какого-то сострадательнаго поселянина, который рѣшился отвезти изгнанниковъ въ ближайшій городокъ. Тамъ нашелъ Бюргеръ нѣсколько человѣкъ старыхъ знакомыхъ по университету. Товарищи тотчасъ сдѣлали коллекту и снарядили Бюргера въ дорогу.

— «Все къ лучшему,» сказалъ Бюргеръ, въѣзжая въ Биссендорфъ: «Не правда ли, Молли, какъ мила эта сельская церковь?..»

— «Живописна! Нечего сказать!»

— «Знаешь, Молли, намъ нельзя такъ жить, да и не зачѣмъ. Денегъ у меня еще довольно. Сыграемъ нашу свадьбу здѣсь.»

— «Августъ! Я не смѣла говорить объ этомъ..»

— «О, какъ я радъ, что ты согласна! Тутъ и свадебные расходы ничтожны.»

И въ мѣстечкѣ Биссендорфъ совершился второй бракъ Готлиба-Августа Бюргера съ дѣвицей Августой-Молли Леонгардтъ. Нѣсколько дней провели молодые супруги въ Биссендорфѣ. Проблажен-

ствовали бы и долѣе; но письма изъ разныхъ мѣстъ, отправленныя съ нарочными, настигли Бюргера въ заколдованномъ его убѣжищѣ. Друзья сослужили ему службу и выхлопотали ему профессуру въ геттингенскомъ университетѣ.

— «Молли!» кричалъ онъ съ восторгомъ: «Молли! Я зналъ, я предугадывалъ, что ты источникъ моего счастія... Поспѣшность чуть было не погубила меня! Любовь моя къ Луизѣ была только предчувствіемъ любви къ тебѣ, несравненная Молли! Дорого я купилъ это счастіе, но за то это счастіе будетъ прочно!»

Посмотримъ.

—

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

ЭЛИЗА.

Въ Швабіи, на берегу Некара, есть небольшая деревня, живописно раскинутая на красивомъ пригоркѣ. Въ этой деревнѣ и теперь еще есть домъ, въ которомъ жила дѣва-поэтъ, Элиза, съ больною и слабою матерью. Сцѣпленіе странныхъ случаевъ завело сюда Діану. Добрая дѣвушка еще была хороша собой, здорова, весела и чрезвычайно довольна тѣмъ, что спасла дочь любезныхъ супруговъ отъ неминуемой бѣды. Діана умѣла нравиться; опытность исключила молодежь изъ списка обожателей: она искала себѣ не любовника страстнаго, пылкаго, а степеннаго, добраго друга. И хотя такіе чрезвычайно рѣдки, но Діана стоила такого счастія. Нашла друга по себѣ; степеннаго,

но не угрюмаго; веселаго, но не разгульнаго; добраго, но строгаго въ правилахъ, который, къ особенному удивленію, былъ не что иное, какъ простой кочующій музыкантъ. Ремесло свое онъ любилъ уже по привычкѣ, потому что бережливостью своею собралъ себѣ небольшой капиталъ; можетъ-быть, онъ никогда бы и не оставилъ своего ремесла, если бы не встрѣтилъ Діаны; но и степенные люди попадаютъ въ силки красотъ и женскому уму. Въ трактирѣ, гдѣ наигрывалъ Эрнстъ и служила Діана, народу всегда было такъ много, что трактирщикъ не успѣвалъ удовлетворять требованіямъ гостей. Онъ долго не могъ рѣшить, что привлекало къ нему толпу — скрипка ли Эрнста или красота Діаны. Правда, Эрнстъ игралъ такъ хорошо, что ему во многихъ оркестрахъ предлагали мѣсто и почетное и выгодное; но на всѣ предложенія Эрнстъ улыбался и начиналъ играть на скрипкѣ. Діана своимъ поведеніемъ приводила въ отчаяніе всѣхъ волокитъ. Всегда мила, любезна, разговорчива, но ни одного лишняго слова, ни одного неумѣстнаго взгляда. На шутки невинныя она отвѣчала съ очаровательною непринужденностію; на дерзкіе намѣки — убійственнымъ молчаніемъ. Въ цѣломъ Аугсбургѣ знали про гордую Діану и были очень почтенные люди, которые познакомились съ ней, искали ея руки. Діана улыбалась, присѣдала и благодарила за честь. Эрнстъ часто оставался послѣдній въ трактирѣ и за неимѣніемъ другаго близкаго человѣка, Діана жаловалась ему на своихъ жениховъ и обожателей. Не-

чувствительно между ними завязалась дружба, которая достигла нѣкотораго значенія любви. Однажды ввечеру гости засидѣлись въ трактирѣ долѣе обыкновеннаго. Между ними у Діаны былъ одинъ старый знакомый, но Діана не хотѣла узнать его; Германнъ и самъ боялся узнать Діану, потому что съ нимъ сидѣлъ какой-то весьма почтенный стутгардтскій чиновникъ, котораго Германнъ подчивалъ на-убой.

— «Эрнстъ!» сказалъ Германнъ: «вотъ тебѣ за твою игру, на, только перестань играть: ты намъ мѣшаешь разговаривать...»

— «Спрячьте ваши деньги, милостивый государь! Я играю для всего общества и перестану играть, когда это будетъ угодно здѣшнему хозяину...»

— «Играй, играй, Эрнстъ!» кричали другіе гости: «Здѣсь ни для кого не бываетъ исключеній...»

Германнъ долженъ былъ уступить и, желая скрыть смущеніе, обратился къ чиновнику:

— «Вы полагаете,» сказалъ онъ, «что наша Элиза никогда не выйдетъ замужъ?..»

— «Ручаться не могу; кто поручится за этихъ сумасшедшихъ! По-крайней-мѣрѣ я имѣю причины такъ думать.»

— «Неужели ей никто не нравится?..»

— «Нѣтъ, ей нравятся всѣ писатели; она ихъ знаетъ наизустъ; сама пишетъ прекрасные стихи; но еще лучше импровизируетъ. Когда она пріѣзжаетъ въ Стутгардтъ, что случается весьма рѣдко, и то когда я настоятельно того требую, я со-

бираю у себя нашихъ ученыхъ, поэтовъ, и, повѣрьте мнѣ, она умнѣе всѣхъ. Вы сами были свидѣтелемъ, какъ она загоняла моихъ ученыхъ гостей. Въ этотъ разъ она была не въ духѣ, но въ предпослѣдній пріѣздъ она безъ всякаго приготовленія слишкомъ часъ говорила самыми отборными стихами. Скажу вамъ откровенно, любезный другъ, хотя я и опекунъ Элизы, но никогда бы не совѣтовалъ взять ее за себя человѣку, который не можетъ писать самъ лучше ея, не въ состояніи ее переспорить въ ученыхъ матеріяхъ. Она непремѣнно сдѣлается головой въ домѣ...»

— «Нѣтъ, почтенный другъ, не головой, а украшеніемъ... Она можетъ обратить на неизвѣстнаго человѣка вниманіе всего ученаго міра.»

Чиновникъ улыбнулся.

— «Теперь я понимаю вашъ разсчетъ. Вы любили на своемъ вѣку; были женаты; достатка у васъ довольно; дѣтей также; васъ теперь ужалилъ змѣй честолюбія...»

— «Меня одолѣла скука, почтенный другъ! Развлеченія молодости меня уже не обольщаютъ, они надоѣли мнѣ, какъ эта несносная скрипка. Конечно, красота въ женѣ нелишнее: Элиза недурна собой, и весьма недурна; но съ такими талантами, согласитесь, она взволнуетъ Вѣну и Берлинъ. Не правда ли? Это одушевитъ жизнь. Назовите это тщеславіемъ; но мнѣ, кажется, въ этой жизни мнѣ не остается другаго утѣшенія... Вы можете меня сдѣлать опять счастливымъ, какимъ вы знали меня въ Нидекѣ, когда я женился...»

— «Я могу только облегчить вамъ средства къ сближенію съ Элизой... Но сомнѣваюсь въ успѣхѣ... И вотъ что мы сдѣлаемъ. Притворитесь ученымъ путешественникомъ, который хочетъ описать, напримѣръ, нашу Швабію; я вамъ дамъ рекомендательное письмо къ матери Элизы; дочь заступитъ больную матушку; будетъ вашимъ путеводителемъ, а вы съумѣете воспользоваться этимъ случаемъ.»

— «Превосходно! Завтра же ѣду..»

— «А сегодня пора успокоиться; мы только двое и остались въ трактирѣ...»

— «Ступайте, почтенный другъ! Я только распоряжусь и переговорю съ хозяиномъ, не можетъ ли онъ мнѣ рекомендовать надежнаго слугу.»

Друзья простились. Германнъ подозвалъ служанку для разсчета.

— «Діана!» сказалъ онъ, и Діана вздрогнула: «Какъ ты попала сюда?»

— «Случай!»

— «И весьма пріятный! Ты не откажешься по крайней мѣрѣ здѣсь подарить меня твоимъ милымъ знакомствомъ?»

— «Я не знаю, что вы подъ этимъ разумѣете, и должна сказать вамъ откровенно, что послѣ Бюргера, — я никого не любила и любить не буду.»

Германнъ нахмурился.

— «Не говори мнѣ про этого изверга! Я могъ быть счастливъ только съ одной Луизой! Она была моя, но впутался Бюргеръ и я получилъ от-

казъ; растерялъ жизнь Богъ знаетъ какъ, измучился, изстрадалъ... Дошелъ до скуки... А Луиза? Что, сдѣлалъ онъ ее счастливою?.. Внезапная любовь къ другой сестрѣ свела въ гробъ Луизу!..»

— «Что вы говорите?» закричала Діана и уселась на стулъ возлѣ Германна. Эрнстъ пересталъ играть... Судорожно сжималъ онъ въ рукахъ смычекъ и скрипку, но не смѣлъ прервать бесѣды.

— «Что я говорю!» сказалъ Германнъ съ чувствомъ: «Заплатилъ онъ ей, неблагодарный, за ея самоотверженіе подлою невнимательностью. Повѣришь ли, Діана?.. О! мнѣ страшно вспоминать объ этихъ ужасахъ. Въ какихъ мукахъ провела она послѣдніе дни. По цѣлымъ днямъ не видала она ни мужа, ни сестры...»

— «Вы клевещете...»

— «Клянусь Богомъ, Діана, что говорю горькую, страшную правду... Волоса встаютъ дыбомъ, когда подумаю, что должна была перенести Луиза.»

Діана протянула руку и со слезами сказала:

— «Добрый Германнъ! О, какъ она любила Бюргера. Страшно, страшно!..»

Разговоръ прекратился самымъ неожиданнымъ образомъ. Скрипка хрустнула въ рукахъ Эрнста. Діана и Германнъ посмотрѣли на него съ удивленіемъ; но онъ успѣлъ отвернуться и сказалъ громко:

— «Хозяинъ! Въ которомъ часу въ Штуттгардѣ запираютъ трактиры?..»

— «Твоя правда, Эрнстъ! Что ты тамъ дѣлаешь, Діана?..»

— «Сижу и разговариваю съ старымъ знакомымъ. Но лучше бы не начинала этой бесѣды...»

— «Гораздо лучше...» замѣтилъ Эрнстъ вполголоса.

— «Гдѣ же, что́ же теперь Бюргеръ?» спросила Діана, вставъ и собирая приборы.

— «Женился на сестрѣ Луизы и читаетъ лекціи философіи въ геттингенскомъ университетѣ.»

— «Хорошъ наставникъ! Доброму научитъ; но увидите, такъ ему не пройдетъ смерть моей доброй Луизы. Богъ накажетъ!»

— «А пока онъ блаженствуетъ...»

— «Ну, недумаю. Жаль, жаль моей бѣдной Луизы! Но теперь я должна подумать о себѣ, теперь я свободна... Богъ съ нимъ! Смерть Луизы поссорила насъ на-вѣки... Прощайте!»

Діана присѣла и ушла. Германнъ разсчитался и также ушелъ. Хозяинъ заперъ трактиръ, потушилъ свѣчи, оставилъ одну передъ музыкантомъ и сказалъ:

— «Діана! Подай ужинать этому доброму Эрнсту.»

— «Несу.» И Діана явилась съ подносомъ.

— «Вотъ вамъ, Эрнстъ! Кушайте! Я сегодня не буду, не могу ѣсть! Горе убило аппетитъ...»

— «Горе? Какое горе? Вѣроятно, удаленіе этого наряднаго господина.»

Діана расхохоталась.

— «Оно, конечно, смѣшно...»

— «Смѣшно, и очень смѣшно! Ужъ не вздумали-ль вы ревновать меня къ этому господину?»

— «Этого никто не можетъ запретить мнѣ, если бы и вздумалось...»

— «Напротивъ! Это означало бы, что вы ко мнѣ неравнодушны.»

— «И очень.»

— «Въ самомъ дѣлѣ? Такъ я очень рада. Только что́ же изъ этого можетъ выйти хорошаго? Конечно, я теперь совершенно свободна; я любила ее, я была ей другомъ, сестрой. Изъ каждаго города я писала къ ней, гдѣ я, и просила, чтобы написала хоть строчку. Нигдѣ я не могла принять постояннаго мѣста, потому что я дала обѣтъ служить ей, одной ей... Она умерла и мнѣ пора пристроиться. Завтра стану искать службы...»

— «Діана! Видишь ли ты мою скрипку?»

— «Имѣю неудовольствіе.»

— «Я сломалъ ее въ припадкѣ ревности.»

— «Вы поступили неблагоразумно.»

— «Я думалъ, что этотъ господинъ...»

— «За мной волочится, какъ и всѣ другіе гости...»

— «Діана, я люблю тебя...»

— «Это очень ясно. Но изъ этого я не могу вывести никакого заключенія.»

— «Ты меня не любишь.»

— «Неправда. Люблю и уважаю...»

— «Діана! Мы можемъ быть счастливы...»

— «Безъ всякаго сомнѣнія. Кто намъ мѣшаетъ?»

— «Ты меня не понимаешь. Ты можешь осчастливить меня...»

— «Ну, недумаю...»

— «Почему?»

— «Потому, что я никогда не соглашусь ни на какія шашни. Я уже не ребенокъ. И, признаюсь, мнѣ обидно...»

— «Діана! Твоей руки прошу я...»

— «И въ этомъ должна я отказать вамъ. Что за супружество, когда вы будете наигрывать въ трактиръ, а я день и ночь служить какой-нибудь барынѣ, потому что я завтра же ухожу отсюда...»

— «О, если за этимъ дѣло стало, успокойся, Діана! У меня есть домъ на берегу Некара и большой клокъ хорошей земли...»

— «Право?»

— «У меня есть порядочный капиталецъ.»

— «Неужели?..»

— «Мы можемъ жить безбѣдно.»

— «И безконечно любить другъ друга...»

— «И такъ ты согласна?»

— «Благословляю Промыслъ за это счастіе, которое мнѣ иногда только снилось...»

— «Вина!» закричалъ Эрнстъ и хозяинъ выскочилъ въ колпакѣ и халатѣ.

— «Что случилось?»

— «Свадьба, хозяинъ, я женюсь на Діанѣ!»

— «Браво! прекрасная партія! Давно бы такъ! Я самъ радъ вашему счастію и самъ съ вами выпью...»

Напрасно обрадовался хозяинъ. На другой же день Діана разсчиталась съ нимъ и отошла. Музыкантъ тоже; на третій день ужинало только двое; трактиръ заглохъ и хозяинъ терялся въ до-

гадкахъ, кто причиною его разоренія: скрипка Эрнста или красота Діаны?

Молодые супруги, потому что жениться не долго, пѣшкомъ отправились изъ Штуттгарда на родину Эрнста. Некаръ, какъ вамъ извѣстно, не вездѣ судоходенъ, но въ плодоносной долинѣ, гдѣ находилась деревушка, родина Эрнста, Некаръ носилъ уже порядочныя барки. Діана не могла налюбоваться прелестью окрестнаго вида. Виноградники, деревни, многолюдство, паруса, жизнь, дѣятельность, все увѣряло ее, что она будетъ жить въ довольствѣ, веселомъ обществѣ и что руки ея, привыкшія къ труду, не будутъ работать даромъ. Весело обняла она мужа и разспрашивала про каждую усадьбу...

— «Это что?» спросила она указывая на красивый домъ, который въ семьѣ раскидистыхъ деревъ, съ небольшаго пригорка прямо глядѣлся въ Некаръ.»

— «Это мой домъ!»

— «Нашъ домъ! Ахъ, какъ я буду счастлива въ этомъ домѣ!.. А черезъ мостъ отъ насъ кто живетъ?..»

— «Жилъ тутъ очень почтенный человѣкъ, владѣлецъ многихъ виноградниковъ, господинъ Гапъ, но померъ. Не знаю, тутъ ли его супруга и дочь. Они остались послѣ смерти Гана въ Штуттгардѣ. Не знаю, гдѣ они теперь... Я ихъ совсѣмъ не знаю...»

Въ такихъ и подобныхъ разговорахъ молодые пришли наконецъ на свою усадьбу. Но увы, по-

мѣститься было негдѣ. Тётка, управлявшая домомъ и виноградникомъ Эрнста, сама жила въ небольшомъ флигелѣ въ одну комнату и въ два окна; а домъ, въ которомъ также было немного и комнатъ и оконъ, уступила за хорошую плату какому-то путешественнику на все лѣто... Эрнстъ нахмурился, но Діана развеселила его и поцѣлуями и разсужденіемъ...

— «Стóитъ ли печалиться! Лѣто — не вѣчность! Проживемъ съ тетушкой, а пройдетъ срокъ, всѣ туда переѣдемъ. Да и лѣтомъ работы сколько: и не увидишь, какъ промелькнетъ это время. А между тѣмъ путешественникъ платитъ деньги...»

Всѣ успокоились, осмотрѣлись, устроились: въ первые же дни, подъ бдительнымъ надзоромъ Діаны, работы пошли особенно удачно. Эрнстъ не разставался съ нею, а когда вечеръ разгонялъ работниковъ, Эрнстъ принимался за скрипку и скоро у пригорка, на которомъ стоялъ домъ Эрнста, завелось гулянье. Скрипка Эрнста и красота Діаны скоро прославились по всей долинѣ и господа пріѣзжали въ экипажахъ послушать Эрнста, посмотрѣть на Діану. Въ первые же дни Эрнстъ и Діана узнали своего постояльца. То былъ Германнъ. Почтенный его другъ не ошибся: рекомендательное письмо сдѣлало его домашнимъ человѣкомъ у госпожи Ганъ. За болѣзнію старушки, дочь взялась быть чичероне Германна. Они уже совершили нѣсколько ученыхъ прогулокъ; всѣ достопримѣчательности долинъ, которыя раздѣлялъ Некаръ, были совершенно извѣстны Германну; онъ прослушалъ уже

всѣ стихотворенія Элизы и рѣшился сдѣлать вступленіе въ собственный романъ. Для этой цѣли онъ избралъ воскресное гулянье, когда около Эрнстова пригорка толпились всѣ жители долины; дальніе гости гуляли на лодкахъ. Эрнстъ игралъ съ жаромъ; Діана угощала родственниковъ мужа, которые очень хвалили Эрнста и за женидьбу и за возвращеніе. На легкой лодкѣ Элиза и Германнъ поднимались вверхъ по Некару. Солнце клонилось къ западу; въ тишинѣ вечера звуки Эрнстовой скрипки разливались чудной мелодіей. Вдругъ изъ величественнаго largo онъ перешелъ къ веселому allegretto и послѣ краткой прелюдіи заигралъ любимую пѣсню Бюргера, которую въ то время рѣшительно пѣла вся Германія. Германнъ вспыхнулъ, Элиза покраснѣла и задумалась. Веселые гости подхватили пѣсню и громкій хоръ огласилъ долину... Весла остановились въ рукахъ Германна.

— «Что̀ съ вами?» спросила Элиза.

— «Такъ, ничего; усталъ; рѣка очень быстра...»

— «Пустите лодку по теченію. Шумъ веселъ не будетъ мѣшать слушать эту превосходную пѣсню... Завидна слава этого человѣка! Какъ должна быть счастлива Молли!..»

— «И какъ была несчастлива Луиза!»

— «Сама виновата...»

— «Кто, Луиза? Ахъ, вы не знали этого ангела! Это было небо на землѣ. Сама поэзія, но высокая, возвышенная, какъ пѣсни Мильтона...»

— «Такъ могла ли она нравиться такому ха-

рактеру, какъ Бюргеръ? Она хотѣла быть гувернёромъ страстнаго, пылкаго ребенка; и не умѣла... Ему нуженъ былъ живой, страстный восторгъ, а она умничала...»

Душа горячая души горячей ищетъ,
Холодный ледъ и пламя охладитъ;
Пожаръ живыхъ страстей въ степи не разовьется, —
Его морозное дыханье умертвитъ...

О, надо умѣть отвѣчать такому человѣку, какъ Бюргеръ! Можно владѣть, управлять имъ, но онъ не долженъ замѣчать благодѣтельной тягости супружескаго ига...»

— «И вы находите въ себѣ столько силъ, чтобы исполнить то, о чемъ говорите?»

— «Безъ всякаго сомнѣнія! Вы будете смѣяться, но когда дошли до меня слухи про смерть Луизы, я не знала еще что́ Бюргеръ женится на Молли; я сама себя предложила ему въ жены...»

— «Что́ вы говорите!»

— «Истину.»

— «Что́жъ онъ отвѣчалъ на это?..»

— «Онъ — не могъ отвѣчать на мое предложеніе, онъ и до сихъ поръ не знаетъ объ этомъ. Видите, это стихотвореніе шутка и больше ничего... Хотите, я вамъ прочту?...»

— «Слушать васъ я готовъ по цѣлымъ недѣлямъ...»

— «Перестаньте говорить пустые комплименты, иначе я съ вами разссорюсь. Вотъ мое стихотвореніе.»

И Элиза прочла извѣстное посланіе къ Бюргеру Швабской Дѣвы. Стихотвореніе непонравилось Гер-

манну, не потому, чтобы оно было не хорошо, а потому что, онъ замѣчалъ въ каждомъ стихѣ искренность, любовь, страсть. Чтеніе, голосъ, вздохи, жаръ въ очахъ, игра во всей физіономіи Элизы убѣждали Германна, что она по-уши влюблена въ Бюргера...

— «Гдѣ же вы видѣли поэта?» спросилъ онъ съ нетерпѣніемъ.

— «Вездѣ вижу его, онъ всегда со мной...»

— «Но гдѣ вы видѣли его самого, лично?...»

— «Нигдѣ! И не хочу видѣть! Теперь моя страсть, моя любовь — капризъ сердца. Мнѣ весело съ моей любовью, но если эта поэтическая страсть обратится въ дѣйствительную? Что̀ станется съ моимъ счастіемъ?.. Признаться ли вамъ, я потому и не живу въ Штуттгардѣ. Нечаянно Бюргеръ можетъ заѣхать туда, — а я не хочу его видѣть...»

— «Но, чудная Элиза! Неужели вы надѣетесь такъ прожить всю жизнь!»

— «Отчего же и нѣтъ? Право, покойнѣе чѣмъ замужемъ за какимъ-нибудь свѣтскимъ человѣкомъ, который, пожалуй, изъ меня захочетъ сдѣлать также свѣтскую даму... Конечно, все въ моей волѣ. Я умѣла бы самаго вѣтренаго покорить моимъ правиламъ и обратить въ мужа степеннаго и постояннаго. Я умѣла бы вырвать изъ его сердца любовь къ суетѣ свѣта и украсить для него сельское уединеніе: но стóитъ ли труда хлопотать о воспитаніи человѣка, котораго я не хочу любить...»

— «Но неужели только одинъ Бюргеръ?...»

— «Одинъ, одинъ; перестанемъ говорить объ этомъ предметѣ.»

— «Богъ съ тобой, гордая женщина!» подумалъ Германнъ: «Ты не невѣста Германну. Но неужели нельзя подстрекнуть твоего честолюбія?... Попытаемся...»

И это средство оказалось безполезнымъ. Элиза смѣялась надъ честолюбіемъ женщинъ блистать мужескими талантами; но признавалась, что владѣть сердцемъ Бюргера, это честолюбіе позволительно и даже похвально. Германнъ отказался отъ своего проекта и безъ особеннаго неудовольствія. Конечно, Элиза, по правиламъ красоты, была очень хороша собой, довольно молода: ей только что исполнилось двадцать лѣтъ, умна, начитана, съ талантами, но при всемъ томъ она не привлекала къ себѣ. Напротивъ, отталкивала чѣмъ-то. И такъ Германнъ отказался отъ Элизы; но неудача внушила ему другое чувство, отомстить Бюргеру за двухъ невѣстъ, отмстить Элизѣ за предпочтеніе, и это чувство стало съ тѣхъ поръ главнымъ, единственнымъ.

— «Какъ подумаю,» сказалъ онъ, «такъ вы правы! Вы не разсердитесь, Элиза, если я попрошу васъ повторить ваше остроумное посланіе.»

Читать свои стихи — общая слабость и хорошихъ и плохихъ поэтовъ. Элиза прочла и нѣкоторые куплеты даже повторила по просьбѣ Германна, по нѣсколько разъ.

— «Счастливецъ!» сказалъ Германнъ, подъѣз-

жая къ пристани. «Я всегда полагалъ, что повѣсть о Донъ-Жуанѣ сказка... Но теперь вѣрю и удивляюсь только тому, что можно вскружить женскую голову не личною красотою, не личными достоинствами, а стихами! Положимъ еще, образованная дѣвушка можетъ насильно очаровать себя побасенками и риѳмами. Но неужели эти риѳмы могли доставить ему столько незавидныхъ побѣдъ въ низшихъ слояхъ человѣчества! Этимъ побѣдамъ счета нѣтъ!...»

— «Люди любятъ поносить всѣхъ тѣхъ, которыхъ возвышаетъ само небо.»

— Это не клевета, Элиза. Вы теперь въ сосѣдствѣ съ одною изъ тѣхъ счастливицъ, которыя пользовались любовью и дружбою Бюргера. Діана, добрая, милая женщина, и не скрываетъ своей привязанности.»

— «Діана?»

— «Берегъ! Позвольте проводить васъ до дому, поблагодарить за гостепріимство и увѣрить, что если я проѣздомъ буду въ Штуттгардѣ, то поставлю въ непремѣнную обязанность засвидѣтельствовать вамъ искреннѣйшее почтеніе...»

— «Вы уѣзжаете?»

— «Сегодня же...»

— «Вы, кажется, хотѣли провести у насъ все лѣто?...»

— «Я забылъ сказать, что письма, которыя получилъ, требуютъ моего скораго отъѣзда изъ Швабіи...»

— «Счастливаго пути!» сказала Элиза, примѣт-

но смущенная. Она какъ будто догадалась, что послѣдняя бесѣда перемѣнила всѣ мысли и мнѣнія въ Германнѣ. Но уже было поздно. Онъ откланялся, ушелъ; она въ размышленіи долго еще стояла на террасѣ своего сада. Какое-то тяжелое предчувствіе лежало на сердцѣ. Она видѣла, какъ солнце утонуло въ черныхъ тучахъ; ночная птица пронзительнымъ крикомъ радовалась наступившему мраку. Двѣ свѣчи зажглись на сосѣдней усадьбѣ и будто два любопытные глаза, стали пристально смотрѣть на Элизу; она испугалась и убѣжала въ комнаты.

Германнъ, воротясь домой, приказалъ закладывать лошадей, а самъ сѣлъ за столъ, сталъ что-то писать, лукаво улыбаясь; написалъ, свернулъ, спряталъ въ карманъ и приказалъ позвать хозяйку. Діана пришла, но съ мужемъ.

— «Что вамъ угодно?...»

— «Расплатиться съ вами, добрые люди, и уѣхать. А передъ отъѣздомъ, въ качествѣ стараго знакомаго, предостеречь тебя, добрая Діана... Ты любишь Бюргера?»

— «Любила, а теперь люблю моего Эрнста.»

— «Васъ не разберешь, кого вы любите. А потому, про случай, я долженъ тебѣ сказать, что у тебѣ есть сосѣдка соперница... Она также по-уши влюблена въ Бюргера...»

— «Не стоитъ онъ общей любви, это правда, и жаль, что его всѣ любятъ.»

— «Твоя сосѣдка немного помѣшана. Будь осторожна, Діана! Она влюбляется во всѣ талан-

ты. Берегись, чтобы она не полюбила талантъ твоего мужа.»

— «Дамъ я ей! Пусть попытается!... Благодарю васъ, добрый господинъ! Будьте покойны; я съ нею управлюсь...»

Съ поклонами проводили добрые люди Германна. Онъ щедро расплатился, уѣхалъ. Діана тотчасъ же устроилась въ новой обители. Все пошло своимъ порядкомъ. Утромъ, когда Діана съ Эрнстомъ воротились съ поля, тётка сказала, что въ ихъ отсутствіе была тутъ гостья, дочь сосѣдки. Это очень не понравилось Діанѣ. Мужъ хотѣлъ было послѣ обѣда остаться дома и отдохнуть, но жена не позволила и утащила на поле; тамъ уложила его спать, а сама принялась за работу. Эрнстъ смѣялся. На другой день та же исторія. Эрнстъ обидѣлся. На третій — сталъ скучать и косо поглядывать на жену. Семейное счастіе рушилось отъ одного неосторожнаго слова мстительнаго Германна. На бѣду, Діана какъ-то не усмотрѣла; послѣ трудовъ спала крѣпко, а тётки не было. Элиза посѣтила ихъ усадьбу. Эрнстъ въ это время сидѣлъ на дворѣ и склеивалъ запасную скрипку.

— «Ты нашъ соловей?» спросила Элиза.

— «Вы очень милостивы...»

— «О, нѣтъ, твои пѣсни доходятъ до-сердца... право, я весьма люблю тебя слушать... Гдѣ жена твоя?...»

— «Спитъ! Я разбужу ее...»

— «О, нѣтъ, ни зачто! Что ты это дѣлаешь?

И Элиза сѣла возлѣ Эрнста. Ему стало какъ-то неловко. Діана была краше, милѣе, но Діана была гораздо старше. И что́ Діана? Простая служанка, бродяга; а Элиза благородная дѣва, стройная, гордая, недоступная, нисходитъ къ бѣдному музыканту, ласкаетъ его самолюбіе; Эрнстъ слышалъ, что сила музыки чудеса творитъ. У каждаго свое тщеславіе, основанное на его личности. А тутъ еще и разговоръ тайный, сердечный.

— «Что́ ты это дѣлаешь?»

— «Склеиваю мою старую скрипку. О, она мнѣ долго служила и какъ служила! Я тогда былъ счастливъ...»

— «А теперь?»

— «О, теперь, въ это мгновеніе, я опять счастливъ...»

Эрнстъ запнулся, смутился и не могъ кончить. Элиза улыбнулась самодовольно и, любуясь, играя смущеніемъ вольнаго скрипача, позволила себѣ продолжать неумѣстную шутку.

— «Отчего же ты счастливъ, въ это мгновеніе? Ты вѣрно слышалъ, что и у меня есть своя музыка; что мы съ тобою родня по Аполлону. Вѣрь, я никогда не буду краснѣть, что у меня такой родственникъ.»

Бѣдный Эрнстъ! Онъ со слезами, жалобно взглянулъ на Элизу и опять потупилъ взоры.

— «Ты не вѣришь?» продолжала гордая шалунья: «чѣмъ же тебя увѣрить?...»

— «Подарите мнѣ...»

— «Что́ подарить?»

— «Я право не смѣю... меня убьетъ Діана...»

— «Я не удивляюсь ея ревности... Но что же подарить тебѣ?...»

— «Подарите мнѣ этотъ цвѣтокъ, что на груди вашей.»

— «Охотно! что же ты съ нимъ сдѣлаешь?»

— «Спрячу, спрячу, спрячу...»

— «Вотъ тебѣ цвѣтокъ, а если время позволитъ, заходи къ намъ со скрипкой; я такъ много говорила матушкѣ про твою игру... она будетъ очень благодарна... она наградитъ тебя.»

— «И вамъ не стыдно?...»

— «Прости! Я забыла, что и ты художникъ... Но мы заболтались! Я жду писемъ изъ Геттингена. Я зайду къ вамъ въ другое время...»

— «Нѣтъ, нѣтъ... ради Бога, нѣтъ! Я приду самъ принять ваши приказанія...»

— «Эрнстъ!» послышался голосъ Діаны.

— «Уходите! Умоляю васъ, уходите! Не сдѣлайте меня несчастнымъ! Простите!...»

И Эрнстъ убѣжалъ въ комнаты, чтобы не дать времени женѣ встать и выйти на крыльцо. Это ему удалось, но за то въ попыхахъ онъ забылъ спрятать цвѣтокъ.

— «Милый Эрнстъ!» сказала Діана: «Прости меня, не сердись; я заспалась не много, сегодня много работала... Благодарю тебя, Эрнстъ, за твою внимательность! Но гдѣ ты досталъ такой прекрасный цвѣтокъ?»

Эрнста окатило будто варомъ. Рука судорожно рванулась къ карману, но вдругъ отскочила какъ

будто отброшенная электрической силой и цвѣтокъ очутился въ рукахъ Діаны. Она или не замѣтила или не хотѣла замѣтить страннаго движенія, понюхала цвѣтокъ и сказала:

— «Райскій запахъ! Благодарю еще разъ! Но скажи, гдѣ ты взялъ?»

— «Мальчишка... продавалъ ихъ много...»

— «Жаль, что я спала...»

Прошло дня три. Діана ослабила присмотръ за Эрнстомъ. Сосѣдка не являлась. Эрнстъ былъ покоенъ. Ревность уснула и, казалось, спокойствіе водворилось. Случилась надобность съѣздить въ городъ. Предвидя ее, онъ притворился больнымъ. Діана, безъ всякаго подозрѣнія, отправилась въ городъ съ тёткой, а Эрнстъ, оставшись одинъ, тотчасъ разрядился, какъ только могъ, лучше; схватилъ смычекъ и скрипку и явился съ первымъ визитомъ къ сосѣдкѣ. Элиза въ это время сочиняла стихи и была очень недовольна, что ей помѣшали Въ досадѣ вышла она къ музыканту.

— «Что вамъ угодно?» спросила она разсѣянно.

— «Вы приказывали!»

— «Ахъ, да! Потрудитесь, любезный, въ другое время зайти къ намъ. Право, теперь не до сельской музыки. До свиданія!»

Элиза ушла. Нѣсколько мгновеній Эрнстъ стоялъ какъ вкопанный. Блѣдность его смѣнялась быстро багрянымъ румянцемъ; онъ вздохнулъ или, лучше сказать, простоналъ, со всей силы бросилъ скри-

ку объ полъ; Элиза въ испугѣ выбѣжала въ пріемную и съ изумленіемъ смотрѣла на музыканта.

— «Что съ тобой?» спросила она, не безъ трепета.

— «То же, что когда нибудь будетъ и съ тобой!... Ты меня обманула! Играй съ кошкой, а не съ дикимъ тигромъ! Голова моя еще цѣла! Но не дай Богъ намъ встрѣтиться! Я чувствую, что разумъ мой уходитъ! Не прошу я твоей ласки, не перенесу и презрѣнія!... Прощай! Мы больше съ тобою не увидимся!...»

Элиза вспыхнула.

— «Прочь, дерзкій!»

— «Не слышу, не слышу!» кричалъ онъ, убѣгая и сжимая обѣими руками горящую голову.

Діана съ теткой воротилась домой поздно вечеромъ, но не нашла ни мужа, ни двухъ его скрипокъ. Напрасно обошла она всѣхъ сосѣдей; никто не видалъ Эрнста. Преодолѣвъ чувство тайнаго отвращенія, она зашла и на сосѣднюю усадьбу. Но тамъ длинный лакей сухо объявилъ ей, что у нихъ Эрнста никогда не видали.

Нѣсколько дней Діана искала своего мужа, нѣсколько дней поджидала, но время искусный врачъ. Она привыкла къ своему случайному вдовству и предалась прибыльному хозяйству... Можно даже сказать, что и въ этомъ положеніи Діана умѣла быть счастливою. Она боялась всякой перемѣны; но этотъ страхъ былъ — предчувствіе; это предчувствіе болѣе и болѣе усиливалось. Неожиданный гость посѣтилъ долину Діаны... Но мы должны

возвратиться въ Геттингенъ, безъ чего дальнѣйшая повѣсть была бы мало понятна.

—

ГЛАВА ПЯТАЯ.

КОНЕЦЪ ВТОРАГО ПЕРІОДА. НАЧАЛО ТРЕТЬЯГО.

Зимою 1785 года, въ красивомъ домикѣ, на одной изъ лучшихъ геттингенскихъ улицъ, часу въ шестомъ пополудни, собрались ученые товарищи Бюргера, по его приглашенію, на новоселье. Онъ, окончивъ вечернія свои занятія, веселый, бодрый, встрѣчалъ друзей съ лаской и представлялъ ихъ очаровательной женѣ своей. Молли сидѣла на диванѣ и не могла казаться гостямъ такою красавицей, какою она была въ самомъ дѣлѣ. Беременность въ исходѣ девятаго мѣсяца уродуетъ женщинъ и портитъ контуръ фигуры... Но за то каждый могъ убѣдиться, что Бюргеръ не могъ устоять противъ такого милаго, свѣтлаго ума, противъ этой ангельской улыбки. Бюргеръ и теперь глядѣлъ на нее будто онъ ее видитъ впервые. Слеза блаженства орошала глаза, улыбка умиленія не сходила съ устъ его; онъ любилъ Молли, какъ онъ самъ выражался въ письмѣ къ Бойэ: «любилъ безграничнo, безконечно, невыразимо...» Онъ хотѣлъ, чтобы всѣ точно также любили Молли, чтобы понимали, какъ много достойна она такой любви.

— «Мы теперь нехороши,» сказалъ онъ глядя страстно на Молли: «мы собираемся удвоить блаженство наше. Вожделѣнный часъ такъ близокъ...

Не сердись, Молли! Она не любитъ своего положенія. Она даже охотнѣе толкуетъ со мной о философіи...»

— «Кто теперь о ней не толкуетъ!» сказала Молли: «Философія теперь то же, что́ похожденія любовныя... Только и слышишь: Кантъ, всеразрушающій Кантъ, идеализмъ, трансцендентальныя фразы, категоріи... Словомъ, философія теперь въ модѣ. Я все добиваюсь отъ мужа, чтобы онъ мнѣ объяснилъ въ чемъ заключается эта кенигсбергская философія...»

— «Я, мой другъ, на лекціи публично объявилъ, что теперь изучаю Критику Чистаго и Практическаго Ума, и до тѣхъ поръ не скажу объ ней слова, пока не изучу этого труднаго трактата; пока не дамъ себѣ отчета положительнаго въ каждомъ словѣ; пока совѣсть скажетъ мнѣ: «Ну, господинъ профессоръ, теперь мы съ вами поняли мысль великаго философа въ совершенствѣ и можемъ служить ему толмачами въ геттингенской аудиторіи... Что́ съ тобою, Молли?»

Странное выраженіе страха и удивленія исказило лицо Молли, глаза ея пали за какимъ то невидимымъ предметомъ и остановились на дверяхъ спальни. Молли поблѣднѣла, задрожала и почувствовала сильныя боли, которыя не оставляли сомнѣнія, что наступилъ часъ опаснаго блаженства... Гости мгновенно исчезли; на ихъ мѣсто явилась бабка, которая уже нѣсколько дней жила въ красивомъ домикѣ. Хотѣли перенести Молли въ спальню...

— «Нѣтъ! нѣтъ!» шептала она: «тамъ Луиза, она ждетъ меня...» Бюргеръ не понималъ своей

Молли; ему казалось, что весь свѣтъ кругомъ идетъ, потолокъ трещитъ, полъ колеблется, трехъ акушеровъ притащилъ Бюргеръ... Ночью семейство Бюргера умножилось дочерью... Но бѣдная родильница дорого заплатила за счастіе быть матерью; никакія медицинскія пособія не помогли: въ пятнадцатый день послѣ родовъ, Молли угасла... Вы извините меня, если я не представлю вамъ картины отчаянія Бюргера. Потерять обыкновенную жену, — и тутъ отчаянія не опишешь... а Молли!

Три дни Бюргеръ плакалъ надъ трупомъ обожаемой супруги. Когда принли за гробомъ ея, Бюргеръ бросился на своего друга, который занимался похоронами и чуть было не задушилъ его... Цѣлый мѣсяцъ не читалъ лекцій, питался Богъ знаетъ чѣмъ. Воздухомъ и печалью. На шестой день, въ припадкѣ горячки, онъ разнесъ всѣхъ дѣтей своихъ къ женатымъ товарищамъ и тамъ ихъ оставилъ. Въ то же самое время онъ писалъ къ друзьямъ своимъ письма, которыя можетъ быть лучше всѣхъ сочиненій Бюргера. Мы приведемъ изъ нихъ самое короткое: «И вторая жена моя любезная Августа-Марія-Вильгельмина-Евва, урожденная Леонгардъ, — истинная супруга души моей, она, въ чьей жизни заключалась моя бодрость, моя сила, мое все, въ пятнадцатый день послѣ родовъ, которыя начались благополучно, убита ужасною, неодолимой горячкой. О, краткой мигъ моего высочайшаго блаженства! Я не могу вмѣстить въ слова ни моей невыразимой, ахъ, столь несчастной любви, ни безъимянной горести, которой предается

мое бѣдное, навѣки овдовѣвшее сердце. Боже! Упаси всякое сердце, способное чувствовать, отъ моего горя. Геттингенъ, десятаго января. 1786 года».

Страсти велерѣчивы! Онѣ изъясняются лаконически только въ минуту катастрофы; чѣмъ далѣе отъ нея отходятъ, тѣмъ болѣе и болѣе говорятъ о своей потерѣ. Письмо къ Бойэ, написанное двумя мѣсяцами позже, когда горе должно бы кажется примереть, притихнуть, составляетъ небольшую поэму искренней печали. Молли умерла, но не оставляла воображенія Бюргера. Здоровье его примѣтно разстроивалось. По счастію, онъ жилъ не въ деревнѣ. Друзья принялись за него съ истиннымъ усердіемъ дружбы. Увлекли его къ поэтическимъ трудамъ. Онъ кончилъ свою давно начатую высокую пѣснь, изучилъ Канта до той степени, какой отъ него требовала совѣсть; на лекціяхъ раздавались шумныя рукоплесканія; Бюргеръ оживалъ, оправлялся.

Женатые товарищи, кому онъ такъ странно отдалъ дѣтей своихъ, уговаривали его собрать ихъ около себя, заняться ихъ воспитаніемъ; изрѣдка намѣкали ему, что не мѣшало бы для дѣтей пріискать и мать, а для дома хозяйку... Время было въ заговорѣ съ друзьями. Бюргеръ иногда охотно разговаривалъ съ ними объ этомъ предметѣ... Вдругъ...

Было уже поздно. Бюргеръ дописывалъ письмо къ Маріаннѣ Эрманнъ, мужъ которой издавалъ «Штуттгардскаго Наблюдателя», а сама она «Досугъ Амаліи». И мужъ и жена хотѣли завлечь

Бюргера въ сотрудники; Бюргеръ согласился и писалъ именно объ этомъ. Вдругъ приносятъ къ нему двадцатую книжку этого же Наблюдателя...

— «Нѣтъ ли тутъ чего?» сказалъ Бюргеръ съ улыбкой и развернулъ журналъ. Какъ же изумился онъ, когда нашелъ свое имя надъ однимъ стихотвореніемъ. Что это такое? подумалъ онъ и сталъ читать.

Мы не хотимъ и не любимъ переводить стихами, потому что какъ бы искусно ни вылѣпить перевода, все-таки онъ будетъ не вѣренъ; мы рѣшились представить переводъ въ прозѣ и такимъ образомъ сохранить всю точность подлинника, лишивъ его только наружной формы, которая, между нами сказать, была очень не дурна. И такъ, Бюргеръ прочелъ слѣдующее:

Элиза Бюргеру.

«О Бюргеръ, Бюргеръ, благородный мужъ! Ты поешь пѣсни, какъ никто ихъ пѣть не можетъ отъ Рейна до Балтійскаго моря. — Напрасно я стараюсь скрыть чувство, которое, когда ты играешь на арфѣ, волнуетъ грудь мою. — Мой взоръ видѣлъ только очеркъ твоего лица, а я — люблю тебя! — Потому что твоя душа, кроткая и добрая и сила твоихъ пѣсень чарують меня. — Такъ во всей рощѣ музъ, изъ всѣхъ пѣвцовъ и великихъ и малыхъ, ни одинъ не наполнялъ моей груди. — Она волнуется, какъ море въ приливъ. — Радость и горе бурно бушуютъ — горе и радость. — Въ блаженствѣ, со слезами,

сколько разъ восклицала я: о, какъ бы я могла любить и цѣловать тебя! — Подобно пѣнію твоему, измѣнялись движенія моихъ чувствъ, и все изъ вокорялось. — О Бюргеръ, Бюргеръ, любезный мужъ! Ты можешь очаровать и слухъ и сердце разумнымъ и ласковымъ словомъ. — Моя похвальная пѣсня, конечно, не умножитъ твоей славы; но слушай, что говоритъ мое сердце, и кто я. — Въ Швабіи, на берегу Некара, цвѣтетъ прекрасная, благословенная земля, на которой я родилась. Земля, на которой съ древнихъ лѣтъ, старая нѣмецкая честность обитаетъ. — Тамъ въ довольствѣ возрастала я и путь моей тихой жизни — достигъ двадцати лѣтъ. — Рано палъ въ могилу мой отецъ; небо оставило мнѣ только ту, которая меня родила. — Свѣтлый умъ, веселый нравъ, доброе и кроткое сердце,—вотъ чѣмъ одарилъ меня Господь. — Оно готово покориться только благородной любви, а что оно полюбитъ, то любитъ вѣрно и дорожитъ тѣмъ. — Моя наружность не представляетъ можетъ быть для взора ни уродливости, ни образцеваго совершенства творчества природы. — Я не бѣдна и не богата; происхожденіе мое, согласно состоянію, изъ средняго класса. — Вотъ я! — И я — люблю тебя! — Найдешь меня въ прекрасномъ Штуттгардѣ, любезный вдовецъ! — Если хочешь подарить твою руку женщинѣ, исполненной любви къ тебѣ, — приходи туда; потому что, если бы тысячи жениховъ приходили съ мѣшками золота, — а ты захочешь взять меня женой, я отдамъ тебѣ

и руку и сердце и даже любезную родину промѣняю на тебя. — Если тебѣ нравятся нѣмецкая любовь и вѣрность, то приходи, возлюбленный, сюда, и сватай меня! — Но берешь ли ты меня или нѣтъ, — все равно, любовь моя къ тебѣ не измѣнится. — Тебя люблю! Тебя! —

Бюргеръ расхохотался. Еще разъ прочелъ; задумался; еще разъ прочелъ, всталъ и послалъ за однимъ искреннимъ и строгимъ другомъ.

— «Вотъ исторія!» сказалъ онъ ему: «Читай!»

Тотъ прочелъ и расхохотался; еще разъ прочелъ, задумался...

— «Что ты на это скажешь?»

— «Я изъ одного любопытства поѣхалъ бы завтра въ Штуттгардъ.»

— «И я тоже изъ одного любопытства поѣхалъ бы, но мнѣ кажется на такую штуку слѣдовало бы отвѣчать тѣмъ же...»

— «Стихами?»

— «Именно...»

— «Пожалуй!»

И Бюргеръ тутъ же сѣлъ къ столу; импровизировалъ посланіе, приложилъ къ письму къ Маріаннѣ Эрманнъ, которая не мало удивилась, прочитавъ отвѣтъ Бюргера.

— «Теофиль!» сказала она мужу: «Прочитай, что пишетъ нашъ другъ! Представь, онъ принялъ шутку за правду; онъ умоляетъ меня узнать, кто его невѣста; онъ не прочь отъ женитьбы... Кто доставилъ тебѣ эти глупые стихи?»

— «Я получилъ ихъ при письмѣ, въ которомъ именно сказано, что это шутка...»

— «Такъ слѣдовало напечатать примѣчаніе. Какъ мы теперь отъ него отдѣлаемся?...»

— «Какая-то дама желаетъ переговорить съ вами,» сказалъ слуга.

— «Проси!..»

Вошла Элиза. Глаза ея горѣли досадой; она вся была встревожена; въ движеніяхъ замѣтны были мужскія ухватки ..

— «Элиза! Вы опять пріѣхали украшать наши общества вашей бесѣдой?» сказала Маріанна.

— «Нѣтъ, я пріѣхала ссориться?»

— «Что такое?»

— «Кто вамъ далъ право печатать сочиненія безъ согласія автора?»

— «Какія сочиненія?»

— «А посланіе къ Бюргеру?..»

— «Такъ это ваше?» вскрикнули и мужъ и жена: «О Элиза! Вы не будете сердиться на насъ, а благодарить...»

— «За что?...»

— «О, да подобнаго романа и не выдумать самой изобрѣтательной головѣ. Читайте!»

Элиза прочла и письмо и стихи Бюргера; покраснѣла и съ важностью сказала:—«Глупости, дѣтская шалость!» и небрежно бросила бумаги на столъ.

— «Послушайте, Элиза! Но если эти глупости примутъ другой оборотъ?»

— «Перестаньте шутить!»

— «Значитъ, вы уже не любите Бюргера... Такъ зачѣмъ же его дурачить? Я напишу къ нему, что все это шутка...»

— «Кто васъ проситъ, милая Маріанна, мѣшаться въ это дѣло. Оставьте дѣйствовать судьбу...»

— «Пожалуй, если вамъ угодно; но вы позволите напечатать отвѣтъ Бюргера.»

— «Если напечатали одну глупость, такъ напечатайте и другую... Но кто могъ доставить вамъ мои стихи?...»

Эрманъ отъискалъ письмо, при которомъ были доставлены стихи. Рука неизвѣстная. Все осталось тайной. Элиза была задумчива, грустна; хотѣла что-то сказать, но не могла; повернѣлась и уѣхала, въ сильномъ разсѣяніи, забывъ опахало и платокъ.

Прошло нѣсколько недѣль. Діана видѣла какъ ея сосѣдка возвратилась изъ города, какъ ходила каждый день по берегу Некара, какъ часто останавливалась на террасѣ и глядѣла на большую дорогу, долго, долго, какъ будто поджидая кого то... Странное дѣло! Діана и сама стала поджидать незнакомаго гостя. Гость же какъ будто спѣшилъ оправдать ихъ ожиданія. Большая дорога шла подъ пригоркомъ, на которомъ стояла усадьба Діаны. Невзрачный дорожный экипажъ остановился у самой усадьбы. Человѣкъ, уже немолодой, но чисто одѣтый, вышелъ и замѣтивъ въ огородѣ Діану, махнулъ ей рукой и громко спрашивалъ: «Гдѣ здѣсь мыза госпожи Ганъ?»

— «Господи, Боже мой? что я вижу! вы ли?

Быть не можетъ! Господинъ Бюргеръ! нѣтъ! Вы отецъ, что ли, нашему Бюргеру! Нѣтъ! Вы! вы! Какими судьбами?»

— «Діана!»

И вся прошедшая жизнь развернулась панорамой въ его воображеніи. Уста сжались; онъ потупилъ глаза и не находилъ предмета, съ котораго бы могъ начать рѣчь.

— «Кого, за чѣмъ, вы ищете въ нашихъ краяхъ?» продолжала разспрашивать Діана. Бюргеръ молчалъ и не смотрѣлъ на Діану.

— «Вы, кажется, недовольны, господинъ Бюргеръ, что встрѣтили меня?»

Бюргеръ протянулъ ей руку — и, о слабость доброй женщины, когда-то любившей Бюргера! она схватила эту руку, поцѣловала и облила слезами. Этотъ поцѣлуй, эти слезы, зажгли въ душѣ Бюргера новую бурю; онъ обнялъ Діану, онъ поцѣловалъ ее въ уста и опомнился.

— «Боже мой! Боже мой! Какъ это было недавно, и какъ сдѣлалось давно...»

— «У кого ты теперь служишь, Діана?»

— «У себя! Вотъ мой домъ, мои огороды, тамъ у меня небольшой виноградникъ. Заверните къ намъ. Погостите. Мѣста довольно, но, можетъ быть, вы спѣшите?»

— «И спѣшу и медлю...»

— «Куда же вы ѣдете?»

— «Къ моей невѣстѣ...»

Діана въ полномъ смыслѣ отскочила.

— «Да, мой другъ, право мнѣ и самому стран-

но; но, видно, судьбѣ угодно было избрать меня своей игрушкой. Ты видишь, я крѣпко постарѣлъ; лишился двухъ женъ. Дѣти подрастаютъ, хозяйство въ безпорядкѣ... Теперь уже не страсть, а благоразуміе заставляетъ жениться...»

— «Правда ваша! Гдѣ вамъ усмотрѣть за дѣтьми! А можно спросить на комъ вы женитесь?»

— «На Элизѣ Ганъ...»

— «Браво! Такъ Германнъ не обманулъ меня!»

— «Какой Германнъ?..»

— «А помните тотъ сумасшедшій женихъ вашей Луизы. Онъ и тутъ сватался, да грибъ съѣлъ... Дѣвушка, кажется, хорошая. Мы съ нею познакомились. Она прежде заходила ко мнѣ часто и спрашивала про мужа...»

— «Такъ ты замужемъ?..»

— «Была, да теперь вдова. Мужа моего укусила видно дурная муха; пропалъ безъ-вѣсти. Богъ съ нимъ! Насильно милъ не будешь. А дѣвушка прекрасная, ужъ не такъ и молодая, притомъ же круглая сирота; недавно матушку схоронила. Дурнаго про нее ничего не слышно. Такъ и кстати! Давайте, я проведу васъ къ невѣстѣ... Ступайте за мной! Вотъ ея мыза! Черезъ мостъ..» Бюргеръ послѣдовалъ за Діаной, которая дорогой показывала ему всѣ свои достатки и заведенія. Трудъ благодарепъ. Вездѣ цвѣло довольство на усадьбѣ Діаны: Бюргеръ съ удовольствіемъ узналъ, что Діана въ короткое время такъ разбогатѣла, что считается самою зажиточною мызницею во всей долинѣ; наемщики бьются изъ того, чтобы

работать у Діаны; что она хочетъ прикупить большое поле и распространить свое хозяйство. Въ такихъ разговорахъ дошли они до мызы. Элиза обѣдала, и въ ожиданіи пока принесутъ слѣдующее кушанье, что-то читала. Бюргеръ узналъ свою рукопись. То была «Исповѣдь человѣка, который не хочетъ ввести въ заблужденіе благородную дѣвушку» Элиза не слыхала, не видала, какъ вошли гости.

— «Здравствуйте, сосѣдка!» сказала Діана.

— «Здравствуй, милая;» отвѣчала Элиза не глядя на нее: «что твой Эрнстъ?»

— «Богъ съ нимъ! Не стоитъ онъ доброй памяти. Вотъ у васъ мужъ будетъ не моему чета... Я привела его къ вамъ...»

— «Боже мой! Что такое! Бюргеръ!»

— «Именно-съ!» Діана присѣла и легонько толкнула Бюргера впередъ...

— «Я... Какъ я встревожена!.. удивлена!.. Извините...»

— «Прекрасная Элиза! Намъ ли чиниться? Наша участь рѣшена, кажется...»

Элиза посмотрѣла на Бюргера задумчиво и молчала.

— «Я имѣю ваше письменное согласіе, Элиза; но если сердце ваше...»

Элиза опомнилась и, съ веселою улыбкою, протянувъ Бюргеру руку, сказала:

— «Простите мгновенному безпокойству! Послѣ объясню я вамъ причину моей задумчивости... Не угодно ли со мной откушать?..»

— «Ужъ, конечно, я теперь лишняя,» сказала Діана, присѣла и ушла. Долго поджидала она Бюргера на своей усадьбѣ; а между тѣмъ, какъ добрая хозяйка, озаботилась о кучерѣ и лошадяхъ чужаго гостя... Поздно ввечеру позвали на мызу Діану. Женихъ и невѣста сидѣли рядкомъ на диванѣ и, казалось, оба были довольны.

— «Любезная сосѣдка!» сказала Элиза: «Мы должны уѣхать отсюда, какъ можно скорѣе; приличіе того требуетъ. Но я не знаю, какъ оставить мою мызу...»

— «А что вы хотите съ нею сдѣлать?»

— «Продать, въ наймы отдать, какъ случится...»

— «Могу я и нанять и купить вашу мызу; — купить бы лучше, потому что сколько труда ни положишь, знаешь, что въ своей землѣ лежитъ... Но, милостивая госпожа, я могу заплатить вамъ ту самую цѣну, которую давали вашей матушкѣ винодѣльцы, не иначе, какъ въ два срока; половину теперь, а половину черезъ годъ...»

— «Я согласна...»

— «Господинъ Бюргеръ въ городѣ велитъ сдѣлать законный актъ, вы подпишите, и пришлите мнѣ съ вѣрнымъ человѣкомъ, а я ему деньги выплачу...»

— «Все это прекрасно. Такъ мы можемъ уѣхать отсюда сегодня же?.. Разумѣется, въ разныхъ экипажахъ. Приличіе того требуетъ.»

— «Милая Элиза! Да ужъ развѣ не все равно! Нашъ бракъ не за горами...»

— «Нѣтъ! нѣтъ! Я не хочу подать и малѣйшаго повода клеветѣ. Извольте сейчасъ же ѣхать; а я отправлюсь черезъ нѣсколько часовъ, на разсвѣтѣ...»

— «Нечего дѣлать, а признаюсь, ѣхать одному не весело, когда оставляешь такую милую, прекрасную невѣсту... И такъ простите!»

Бюргеръ хотѣлъ обнять Элизу; но она протянула ему руку и онъ долженъ былъ удовольствоваться поцѣлуемъ, которымъ Элиза могла надѣлять каждаго посторонняго.. При всемъ томъ Бюргеръ былъ доволенъ. Возвращаясь на усадьбу Діаны, съ старой своей знакомой, Бюргеръ шелъ весело и говорилъ:

— «Признаюсь, я боялся, чтобы моя невѣста не была дурна. Я желалъ только найти обыкновенную миловидность, а нашелъ прекрасную женщину съ пухлыми щеками, роскошныхъ формъ. У меня такъ сердце и запрыгало.»

Діана остановилась.

— «Господинъ Бюргеръ! То-то ваше и несчастіе, что въ женщинахъ вы никогда не обращали вниманіе на душу! Вамъ бы надо ослѣпнуть и тогда жениться; тогда бы поневолѣ вы любили душевныя качества вашей супруги... Пора перебѣситься! Не дай Богъ, а вы когда нибудь попадетесь съ вашими страстями въ глубокую пропасть...»

— «Не пророчь бѣды, Діана!»

— «Я буду молиться, чтобы бѣда эта не посѣтила моего вѣтреннаго друга.»

Оба смолкли; молча, воротились на усадьбу; Бюргеръ просилъ ужинать. Діана, по неизвѣстнымъ причинамъ, прислала съ ужиномъ старую тётку, а сама ушла по дѣламъ въ сосѣднюю деревню... Бюргеръ не засидѣлся; отъужиналъ, сѣлъ въ свой невзрачный экипажъ, и уже на выѣздѣ встрѣтилъ Діану.

— «Прощайте, господинъ Бюргеръ! Желаю вамъ всякаго счастія! Не забудьте прислать актъ!»

— «Прощай, милая Діана!»

На разсвѣтѣ Діана присутствовала при отъѣздѣ Элизы, приняла отъ нея всѣ бумаги и ключи, проводила до повозки и вступила въ управленіе весьма обширнаго владѣнія. Не прошло и недѣли, пріѣхалъ на мызу какой-то чиновникъ, привезъ актъ, получилъ деньги, увѣдомилъ о благополучномъ совершеніи брака, отъѣздѣ молодыхъ въ Геттингенъ, и уѣхалъ.

Въ Геттингенѣ уже по письмамъ знали о третьей свадьбѣ Бюргера. День пріѣзда молодыхъ былъ извѣстенъ. Въ красивый домикъ собрались друзья, принесли дѣтей Бюргера, комнаты убрали цвѣтами. Наняли музыку. Молодые сдержали слово. Пріѣхали чуть не въ назначенную минуту. Бюргеръ былъ совершенно счастливъ и доволенъ. Съ торжествомъ ввелъ онъ молодую супругу въ красивый домикъ. Она улыбалась, хотя опытный глазъ въ этой улыбкѣ могъ бы замѣтить нѣкоторое притворство. Въ залѣ, гдѣ скончалась Молли, заиграла музыка; но тотчасъ же и прекратилась. У первой скрипки лопнули всѣ струны отъ судо-

рожнаго удара смычкомъ. Эрнстъ задрожалъ всѣмъ тѣломъ и отвернулся. Элиза поблѣднѣла, но мгновенно пришла въ себя и, благодаря учредителей торжества, просила уволить ее въ этотъ день отъ музыки. Отъ дороги, у нея страдали нервы. Ей нуженъ былъ отдыхъ. Музыка ушла, а гости ужинали въ кабинетѣ Бюргера.

—

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

КОНЕЦЪ ВСѢХЪ ТРЕХЪ ПЕРІОДОВЪ.

Наступилъ годичный срокъ втораго платежа за мызу, и Діана за день до назначеннаго времени пріѣхала въ Геттингенъ, остановилась въ гостинницѣ на выѣздѣ; принарядилась; взяла мѣшки съ деньгами и отправилась къ Бюргеру. Не безъ труда отъискала она красивый домикъ, гдѣ жилъ Бюргеръ; долго стучала она въ калитку; насилу достучалась; ей отворила двери старуха и не хотѣла впустить на дворъ.

— «Дома господинъ Бюргеръ?..»

— «А тебѣ на что?»

— «Это ужъ мое дѣло. Мнѣ нужно его видѣть...»

— «Да нужно ли ему видѣть тебя?»

— «Думаю, что нужно. Я привезла ему деньги...»

— «А, это дѣло другое. Милости просимъ... Я сейчасъ ему доложу... Пожалуйте за мною...»

Діана вошла на крыльце, на которомъ не всѣ половицы были надежны. Въ прихожей, гостиной и небольшой залѣ, гдѣ умерла Молли, вся мебель

была въ порядкѣ, но покрыта толстымъ слоемъ пыли. Діана съ трепетомъ оглядывалась, ожидая увидѣть дѣтей, но и голоса ихъ слышно не было. Оставшись одна, она замѣтила на каминѣ свитокъ завязанный розовой лентой; она не обратила бы на него вниманія, еслибъ во всей комнатѣ одинъ этотъ свитокъ не былъ вещью случайною; все прочее было какъ будто построено вмѣстѣ съ домомъ. Діана, сама не зная почему, поглядывала на этотъ свитокъ съ невольнымъ любопытствомъ. Она уже протянула руку къ камину, какъ послышался легкій кашель и тяжелые, медленные шаги въ сосѣдней комнатѣ... Бюргеръ вышелъ въ глубокой задумчивости. Хотя ему было всего сорокъ три года, но онъ показался Діанѣ совершеннымъ старикомъ; кашель довершалъ обманъ. Діана не смѣла или, лучше сказать, не могла прервать молчанія. Правда, семнадцать лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ какъ она познакомилась съ Бюргеромъ въ нидекскомъ трактирѣ; правда, много случилось съ тѣхъ поръ и перемѣнъ, потрясающихъ существо чувствительнаго человѣка: онѣ должны были оставить свои разрушительные слѣды на лицѣ Бюргера, но не согнуть его въ дряхлаго, больнаго старика... И у Діаны было много горя на этомъ свѣтѣ; но бѣда съ нее, какъ съ гуся вода. И въ тридцать восемь лѣтъ она была и свѣжа и румяна; никто бы не угадалъ ея возраста. Трудъ пошелъ ей въ прокъ; она стала дородная, роскошная матрона, на которую не безъ чувства заглядывались и молодые и старые холостяки. Какая

разница между Бюргеромъ и Діаной! Онъ былъ не по лѣтамъ старъ, она не по лѣтамъ молода... Молчаніе было непродолжительно. Бюргеръ горько улыбнулся, махнулъ рукой и хотѣлъ уже воротиться въ свою рабочую комнату, но при этомъ движеніи замѣтилъ Діану.

— «Діана! Милая Діана!» голосъ Бюргера еще болѣе перепугалъ ее: сиплый, дрожащій, болѣзненный, онъ прервался отъ кашля...

— «Вы нездоровы?» спросила Діана съ участіемъ.

— «Нѣтъ, такъ... простудился, охрипъ... Здорова ли ты, моя добрая Діана?»

— «Что мнѣ дѣлается! Слава Богу. Дорогой я еще болыне поправилась. Признаюсь, далеконько; да я хотѣла имѣть удовольствіе еще разъ видѣть васъ, супругу вашу и милыхъ моихъ дѣтокъ...»

— «Діана! Лучше бы ты не пріѣзжала, лучше бы ты не будила меня отъ сладкаго сна; въ книгахъ я забываю о моихъ несчастіяхъ. . Діана, я въ третій разъ—вдовецъ!..»

— «Господи! Элиза скончалась!..»

— «Хуже! Присядемъ. Я знаю какое живое участіе ты принимаешь во мнѣ; знаю, что ты меня осудила за Луизу, за Молли... Боже мой, Боже мой! Молли скончалась на томъ мѣстѣ, на которомъ ты сидишь. Это мѣсто было для меня предметомъ какого-то благоговѣнія и оно... Охъ! Тяжело вспоминать, не только разсказывать...» Бюргеръ закашлялся.

— «Перестаньте! Перестаньте! Въ другой разъ!..

Вы теперь нездоровы... Сильное волненіе повредитъ вамъ. Получите деньги...»

— «Отнеси ихъ несчастной Элизѣ; она въ нихъ нуждается.»

— «Такъ она здѣсь?..»

— «Здѣсь, чтобы мучить, терзать меня... Первыя двѣ недѣли мы были совершенно счастливы, по крайней мѣрѣ я. Но эти двѣ недѣли протекли въ праздникахъ, обѣдахъ и тому подобное. То мы въ гостяхъ, то у насъ гости. Элиза вездѣ блистала своими талантами. Пора было заняться хозяйствомъ, дѣтьми—и тутъ раскрылся адъ, какого себѣ представить невозможно. Расточительная, легкомысленная, она къ тому еще обнаружила такую непомѣрную злость, что не только люди насъ оставили, но сосѣди чуть не начали со мной процесса. Бѣдныя мои дѣти! Что имъ доставалось! Когда я приходилъ съ лекціи, то заставалъ ихъ непремѣнно въ слезахъ. Между тѣмъ они не только не лѣзли ей въ глаза; напротивъ, избѣгали встрѣчи съ нею... Нѣсколько дней сряду я замѣчалъ, что они хотятъ мнѣ сказать что-то; но какъ будто боялись, какъ будто имъ было стыдно и жаль меня... Ахъ, да вотъ и онъ здѣсь!..»

Бюргеръ взялъ съ камина свитокъ и, сѣвъ на прежнее мѣсто, продолжалъ:

— «Разъ, утромъ, жены моей не было. Она постоянно каждый день уходила на рынокъ и проводила внѣ дома иногда два и три часа... Такъ случилось и въ тотъ день; ея не было; дѣти принесли мнѣ этотъ свитокъ...»

— «Что такое?» спросилъ я.

— «Это къ маменькѣ отъ музыкальнаго учителя.»

— «Отъ какого музыкальнаго учителя?»

Дѣти смутились, посмотрѣли другъ на друга и не знали, что отвѣчать мнѣ. Я повторилъ вопросъ и узналъ, что каждый разъ когда я ухожу на лекцію, приходитъ музыкальный учитель и даетъ моей женѣ уроки пѣнія и игры на арфѣ; это не было мнѣ извѣстно; случилось же все это незадолго до моего рожденія: я подумалъ что Элиза готовитъ мнѣ пріятную нечаянность и успокоился.

— «Отдайте же этотъ свитокъ маменькѣ...» сказалъ я.

Дѣти опять сомнительно посмотрѣли на меня и другъ на друга. Невольно любопытство проснулось и во мнѣ... Я развернулъ свитокъ. Ноты и записочка; тѣмъ же размѣромъ, какъ и куплеты для пѣнія, написано четыре стиха. Вотъ они...

За нами смотрятъ; до свиданья!..
А завтра уберя дѣтей;
По-дальше разошли людей;
А я приду для оправданья...

Можешь себѣ представить, какое впечатлѣніе на меня сдѣлали эти стихи, тѣмъ болѣе, что ихъ содержаніе никакъ не клеилось съ содержаніемъ пѣсни. Волоса у меня встали на головѣ отъ ужаса. Мысль объ измѣнѣ женщины никогда еще не посѣщала меня: я всегда былъ любимъ такъ вѣрно, такъ горячо... Нечего было медлить. Желая скрыть отъ дѣтей такую тайну, я снернулъ бумаги, за-

вязалъ и велѣлъ отдать Элизѣ когда она воротится. Самъ я по-скорѣе одѣлся, пошелъ къ Альтгофу и къ моему доктору, доброму Егеру; сообщилъ имъ мое печальное открытіе и просилъ совѣта. Тутъ только узналъ я отъ Альтгофа, что онъ давно уже замѣтилъ странныя отношенія какого то неизвѣстнаго ему человѣка съ моимъ домомъ; подозрѣнія навели его на слѣды ежедневныхъ свиданій Элизы съ этимъ человѣкомъ: одинъ день, когда я бываю на лекціи, у меня въ домѣ, другой день недалеко отъ рынка, въ небольшомъ домѣ, гдѣ живетъ башмачница. Боясь испугать меня, мой добрый Альтгофъ рѣшился прежде самъ убѣдиться въ истинѣ и наканунѣ того дня былъ у башмачницы. Она смѣшалась, когда мой другъ сталъ ее допрашивать; но при всемъ томъ отвѣчала, что госпожа Бюргеръ заказываетъ у нея башмаки для всего дома, такъ и неудивительно, что часто заходитъ. Содержаніе стиховъ объяснилось. Мы составили планъ какъ раскрыть истину; и я возвратился домой. На крыльцѣ еще я услышалъ страшный крикъ; голоса моихъ дѣтей. Вбѣгаю, дѣти мечутся изъ угла въ уголъ, а Элиза бѣгаетъ за ними въ бѣшенствѣ... Она успѣла уже ударить меньшую дочь мою. По счастію я пришелъ во-время.— «Элиза!» закричалъ я: «Что ты дѣлаешь?»

— «Бью негодныхъ дѣтей твоихъ,» завизжала Элиза: «и если ты ихъ не пересѣчешь, не уймешь отъ шалостей, я за себя не ручаюсь...»

— «Что же они тебѣ сдѣлали, мои добрые...»

— «Вели ихъ высѣчь, а не то, я другой разъ на нихъ жаловаться не буду...»

Элиза исчезла. Не стану тебѣ разсказывать, какъ мы провели этотъ ужасный день. У насъ служила однако кухарка. И ту Элиза побила и заставила отойти отъ дома... Три раза въ этотъ страшный день она порывалась бить дѣтей и я, отослалъ ихъ всѣхъ къ Егеру... Мы остались одни. Ссора продолжалась. Въ припадкѣ непомѣрной злобы, она бросала на полъ все, что ей попадалось подъ руку. — Ночь насъ разлучила и успокоила. Утромъ она была добра, мила, кротка, такъ, что я сталъ сомнѣваться въ моихъ догадкахъ, приписывая все легкомыслію и бурному характеру. Она такъ непритворно каялась въ своей горячности, такъ мило просила прощенія, что мы разстались друзьями. Я поспѣшилъ не на лекцію, а къ Альтгофу; Егеръ ужъ былъ тамъ. По условію я отперъ задвижки въ окнѣ моего кабинета, который тогда былъ на улицу. Середь бѣла дня, къ общему соблазну, мы какъ воры влѣзли въ этотъ домъ; тутъ, гдѣ ты сидишь, музыкальный учитель давалъ мнѣ ужасный урокъ. Онъ стоялъ на колѣняхъ передъ Элизой.

Бюргеръ зарыдалъ и разплакался...

— «Перестаньте, перестаньте!» сказала взволнованная разсказомъ Діана. «Я понимаю, чѣмъ кончилось...»

— «Чѣмъ кончилось! Еще ни чѣмъ! Она не соглашается на разводъ. Она всѣ мои усилія обращаетъ въ ничто... Отъ ея согласія все зависитъ...»

— «Если такъ, вы сегодня получите это со-

гласіе!» сказала Діана съ рѣшительностію, вставъ съ мѣста.

— «Какимъ образомъ?»

— «А вотъ увидите! Надо мнѣ поспѣшить, чтобы застать ее дома. Гдѣ она живетъ?»

— «У той же башмачницы. Старуха тебя проводитъ...»

Діана на-скоро простилась съ Бюргеромъ и въ сопровожденіи старухи, въ узкомъ переулкѣ, нашла башмачницу, нашла и Элизу. Она что-то писала.

— «Здравствуйте, милостивая госпожа!»

— «Вотъ кстати!» вскрикнула Элиза: «а я только-что начала писать письмо къ тебѣ, чтобы ты поспѣшила выслать мнѣ деньги...»

— «Какія деньги?» съ удивленіемъ спросила Діана. Элиза смутилась.

— «Я не постигаю твоей шутки...»

— «Я совсѣмъ и не думаю шутить. Не угодно ли вамъ вспомнить содержаніе нашего контракта. Тамъ явственно изображено и написано, мызу продалъ мнѣ мужъ вашъ, господинъ Бюргеръ, которому я и обязана уплатить по условію. А срокъ завтра. Я привезла деньги; хотѣла вручить ихъ господину Бюргеру, да не застала...»

Элиза поблѣднѣла и не знала что сказать на замѣчаніе Діаны.

— «Господину же Бюргеру, говорятъ, теперь деньги очень нужны. У него какой-то процессъ...»

— «Процессъ! Постыдный, унизительный для всякаго человѣка! Но такому извергу какое дѣло

до чести. Старикъ, развѣ онъ не зналъ себя, развѣ онъ не чувствовалъ, что отъ буйной жизни онъ состарѣлся преждевременно. О женѣ онъ не разсуждалъ! онъ думалъ достать себѣ ключницу и гувернантку для плодовъ его супружеской любви и самому глотать пыль старыхъ фоліантовъ! Процессъ! Но онъ его не выиграетъ, онъ обезпечитъ безбѣдное содержаніе мое и нашего ребенка.»

— «Завтра же заплатитъ, милостивая госпожа, деньгами, которыя я привезла...»

— «Моими!..»

— «Ужъ этого я не знаю. Законъ въ буквѣ... Да изъ этихъ денегъ вамъ-то придется только третья часть! Вѣдь у вашего мужа, больше нѣтъ никакого состоянія...»

Элиза задумалась. Діана продолжала.

— «Возьмите, милостивая госпожа, лучше всѣ деньги...»

— «Но какъ это сдѣлать?»

— «Очень легко. Подпишите согласіе на разводъ, безъ всякаго со стороны Бюргера обезпеченія и я уже берусь уладить это дѣло; я выманю у него согласіе отдать всѣ деньги вамъ...»

— «И ты, думаешь, что этотъ извергъ согласится?»

— «Увѣрена! Даже скажу вамъ больше, что если вы пожалуете мнѣ законное свидѣтельство въ вашемъ согласіи, я тотчасъ же заплачу вамъ деньги, онѣ со мною; вотъ онѣ!»

И Діана позвонила мѣшками съ золотомъ. Соблазнительный звонъ убѣдилъ Элизу. Послали баш-

мачницу за адвокатомъ; тотъ пришелъ, составилъ актъ. Элиза подписала; не доставало только третьяго свидѣтеля.

— «Не сходить ли за...»

Башмачница не кончила. Элиза съ живостью перебила.

— «Зачѣмъ? Діана сама можетъ свидѣтельствовать. Адвокатъ одобрилъ эту мѣру и Діана подписалась. Отдавъ деньги Элизѣ и получивъ квитанцію, Діана съ прежнею легкостью полетѣла къ Бюргеру... Безъ доклада вошла къ нему въ рабочую и какъ будто семнадцать лѣтъ тому назадъ, шутливо присѣла и подала ему обѣ бумаги. Бюргеръ нѣжно благодарилъ Діану и примѣтно обрадовался и помолодѣлъ. Діана просила позволенія видѣть дѣтей. Старушка привела ихъ; старшая дочь узнала Діану. Весь день вся семья провела вмѣстѣ. Ввечеру Діана стала прощаться и Бюргеръ плакалъ какъ ребенокъ...

Діана уѣхала. Богатство ея возрастало не по днямъ, а по часамъ; но тоска по старомъ другѣ, по дочери милой Луизы, не покидала ее. Каждаго проѣзжаго разспрашивала она, не бывалъ ли въ Геттингенѣ, не слыхалъ ли о Бюргерѣ; но, по несчастію, ни одинъ изъ нихъ не былъ тамъ. Прошло болѣе двухъ лѣтъ. Діана получила чрезъ посредство главнаго штуттгардскаго суда приглашеніе явиться въ геттингенскую консисторію, для личнаго свидѣтельства по дѣлу господина Бюргера съ женою его, урожденною Элизою Ганъ. Діана знала, что она можетъ отказаться отъ путешествія,

представивъ другое свидѣтельство, облеченное судебными формами; но желаніе видѣть Бюргера и дѣтей, было слишкомъ сильно. Сверхъ того и нѣкоторыя неудовольствія съ сосѣдями, которые насильно хотѣли понравиться сосѣдкѣ и лишить ее независимости посредствомъ брака, тогда какъ ей уже было сорокъ лѣтъ;—наконецъ и возможность весьма выгодно сбыть объ мызы, богатому дворянину, который два раза заѣзжалъ къ ней съ этимъ предложеніемъ; все это невольно увлекло Діану. Она продала объ мызы и въ весьма порядочномъ экипажѣ отправилась въ Геттингенъ. Располагая устроиться здѣсь на постоянное жительство, Діана не остановилась въ гостинницѣ, а отъискала небольшую квартиру поблизости красиваго домика, такъ, что изъ окна могла видѣть окна Бюргера. Дряхлая тетка, полюбившая Діану какъ родную дочь, стала распоряжаться въ новой обители, какъ на мызѣ Эрнста, а Діана пріодѣлась и пошла къ Бюргеру... Къ удивленію калитку нашла она незапертою; въ прихожей уже почувствовала сильный запахъ отъ разныхъ лекарственныхъ снадобій; въ гостиной было все по прежнему, какъ будто въ эти два года никто не прикасался ни къ одному стулу; но въ залѣ было темно: одно только окно было полузакрыто сторою. При слабомъ свѣтѣ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ умерла Молли, въ перинахъ и подушкахъ, утопало изсохшее тѣло Бюргера. Лице его было желто; губы запеклись; признаки жизни обнаруживались только сильнымъ кашлемъ. У этого дивана сидѣлъ Альтгофъ и докторъ Егеръ. — Діана, во-

шедъ, остановилась и не знала: идти ли ей дальше или уйти по тихоньку домой. Неожиданнымъ появленіемъ своимъ, она боялась возмутить спокойствіе Бюргера... Но было уже поздно Альтгофъ замѣтилъ гостью. Всталъ и подошелъ къ ней. — «Чтó вамъ угодно?» спросилъ онъ!

— «Я хотѣла засвидѣтельствовать мое почтеніе господину Бюргеру...»

— «Діана!» раздался тихій голосъ больнаго: «Это ты, Діана, или голосъ твой меня обманываетъ?»

— «Я, господинъ Бюргеръ!»

— «Гдѣ ты! я слабо вижу... дай руку... Это, господа, истинный другъ мой! Я очень радъ, что она меня вспомнила. И кстати. Здоровье мое весьма поправляется... Не правда ли, добрый другъ?..»

— «Да,» отвѣчалъ грустно Егеръ: «не много лучше... Теперь я васъ оставлю, а вечеркомъ зайду...»

— «Господа,» сказала Діана: «если у васъ есть дѣла, такъ извольте отправляться: я теперь совершенно свободна, переѣхала сюда жить на покой; мнѣ нечего дѣлать и я почту себя счастливою, если вы мнѣ позволите быть сидѣлкою у нашего больнаго...»

— «О! подъ такимъ надзоромъ я скоро и совершенно оправлюсь...»

Егеръ и Альтгофъ воспользовались предложеніемъ Діаны и ушли. Діана проводила ихъ и узнала отъ Егера, что часъ кончины Бюргера очень близокъ; что можно ему позволить все, чего ни пожелаетъ.

Можно себѣ представить, каково ей было услышать такой приговоръ изъ устъ врача и друга Бюргера. Скрѣпя сердце, возвратилась Діана къ больному. Онъ капризничалъ; просилъ то того, то другаго; голосъ его примѣтно слабѣлъ и когда ввечеру Альтгофъ и Егеръ воротились къ его постели, Бюргеръ едва могъ говорить.

— «Нѣтъ!» сказалъ онъ или, лучше, прошепталъ: «Надо умереть. Только бы умереть легко, безъ страданій, вотъ мое послѣднее желаніе... Нѣтъ... еще, еще есть у меня желаніе. Альтгофъ оповѣстй всѣхъ друзей моихъ, что я умираю. Когда замѣтишь, что начнутся предсмертныя страданія, пошли, дай имъ знать. Пусть соберутся. Кончина моя будетъ торжественна. Это облегчитъ мученія смерти...»

Бюргеръ приподнялся съ помощію Діаны и Альтгофа; ему подложили за спину подушки; Бюргеръ сидѣлъ...»

— «Что такъ темно здѣсь?.. Зажгите свѣчку!..»

Но свѣчка была зажжена. Діана вдругъ сдѣлала иллюминацію и зажгла всѣ свѣчки, сколько ихъ ни было въ комнатѣ...

— «Я бы желалъ...» сказалъ Бюргеръ и всѣ окружили его, стараясь разслушать послѣднюю волю... но уста двигались безъ звука. Бюргеръ онѣмѣлъ. Альтгофъ подалъ ему карандашъ и бумагу и тутъ же замѣтилъ, что больной совершенно ослѣпъ... На лицѣ примѣтно стало напряженіе что-то произнести; уста раскрылись; сложились, опять раскрылись — и Бюргера не стало...

— «Умеръ!» сказалъ докторъ Егеръ и отеръ слезу... Альтгофъ и Діана также тихо плакали.

Умеръ Бюргеръ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ скончалась Молли. Докторъ Егеръ, опекунъ дѣтей Бюргера, распорядился, какъ слѣдуетъ въ подобныхъ случаяхъ. Бюргера похоронили, собрали до трехъ сотъ талеровъ на памятникъ — и забыли покойника. Онъ живъ въ памяти признательнаго потомства, онъ живъ въ прекрасныхъ поэтическихъ произведеніяхъ; но жизнь его, страданія, остались въ біографіяхъ. Не прошло и недѣли, въ Геттингенѣ перестали говорить объ немъ. Одна только Діана не могла забыть своего стараго друга. Геттингенъ сталъ ей скученъ, противенъ, въ особенности когда и старушка тётка, мѣсяцъ спустя послѣ кончины Бюргера, переселилась въ вѣчность. Діана долго думала, что ей дѣлать на свѣтѣ; наконецъ придумала,—рѣшилась путешествовать. Обладая значительнымъ капиталомъ, она позволила себѣ нѣкоторыя выгоды. Взяла компаньонку, нашла слугу и пустилась въ путь. Недалеко отъ Вѣны, въ небольшомъ городкѣ, остановилась Діана на почлегъ. Слуги гостинницы со свѣчою встрѣтили гостью; но въ нумеръ надо было проходить черезъ главную залу, гдѣ множество народа толпилось около небольшаго возвышенія, на которомъ игралъ кто то на скрипкѣ.

— «Пожалуйте сюда!» сказалъ слуга указывая на боковую дверь.

— «Нѣтъ! Проводите Эмму и моего человѣка, а я послушаю этого виртуоза.» И Діана подошла

къ толпѣ. Легко догадаться, что виртуозъ былъ не кто иной какъ Эрнстъ, мужъ Діаны. Онъ былъ и теперь еще не дуренъ собой, а игралъ несравненно лучше прежняго. На томъ же возвышеніи сидѣла женщина; но такъ какъ она сидѣла опершись руками на столъ и закрывъ лице, то нельзя было угадать кто она и какую роль играетъ въ этомъ представленіи. Послѣдніе финальные аккорды скрипача были заглушены рукоплесканіями; этотъ шумъ разбудилъ спутницу его; она схватила арфу и стала наигрывать прелюдію... Тише! Тише! раздалось со всѣхъ сторонъ... Публика смолкла, и спутница стала мѣрно говорить стихи подъ рѣдкіе аккорды арфы. Діана узнала въ ней Элизу.

— «Вотъ что!» подумала она: «Теперь для меня все ясно, и бѣгство Эрнста, и музыкальный учитель и такъ далѣе. Глупый Эрнстъ! Ты влюбился въ змѣю... Скоро, скоро она тебя ужалитъ въ самое сердце...»

Импровизація Элизы была принята съ такимъ же шумнымъ восторгомъ. Представленіе кончилось. Діана покраснѣла. Ей стало жалко видѣть своего мужа, какъ онъ схватилъ ноты и потупивъ взоры обходилъ ряды слушателей и собиралъ добровольное даяніе. Она весьма скоро разсчитала, что пригорокъ съ усадьбой она продала за три тысячи талеровъ. И когда потупивъ взоры, Эрнстъ подходилъ къ ней за подачкой, билетъ голландскаго банка въ три тысячи талеровъ былъ уже въ рукахъ Діаны.

— «Эрнстъ,» сказала она и Эрнстъ какъ будто

окаменѣлъ, увидѣвъ жену свою: «Возьми свое назадъ! Я продала твою мызу. Вотъ твои деньги! прощай!»

Билетъ остался на нотахъ. Діана ушла въ свой нумеръ и разсказала своей компаньонкѣ, что случилось.

— «Напрасно!» замѣтила Эмма: «Я не сдѣлала бы этого. Теперь вы сами обѣднѣли...»

— «Я ему возвратила его собственность, которая едва составляла четвертую часть моего капитала.»

— «Но онъ, пожалуй, станетъ къ вамъ привязываться...»

— «Нѣтъ, Эмма, онъ уйдетъ; убѣжитъ отъ меня...»

Діана угадала. На другой день узнала она, что Эрнстъ уѣхалъ въ ту же ночь неизвѣстно куда. Долго, долго еще послѣ смерти Бюргера, Элиза импровизировала по разнымъ городамъ. Эрнстъ пропалъ безъ вѣсти; но Діана не могла имѣть объ нихъ свѣдѣній, потому что полюбила берега живописнаго Комо, и тамъ пріятно дожила до тихой кончины, оставивъ еще немалый капиталъ своей вѣрной Эммѣ.

АЛЬФЪ И АЛЬДОНА.

АЛЬФЪ И АЛЬДОНА.

ИСТОРИЧЕСКІЙ РОМАНЪ

ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ.

ТОМЪ ПЕРВОЙ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Печатано въ типографіи И. Фишона.
1852.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С.-Петербургъ 6 Марта 1852 года.

Цензоръ *А. Фрейманъ.*

Михайлъ Александровичу

ГЕДЕОНОВУ.

ПОСВЯЩАЕТЪ

Авторъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ВУНДИНА.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

КАЛИАСЪ.

День пылалъ зноемъ *собачьяго* мѣсяца (*); кругомъ по холмамъ волновалась богатая золотая жатва, даръ литовской богини Крумины; въ долинахъ высокія скирды сѣна уединенно стояли вразсыпную; нигдѣ не было видно живой души, ни одного стада, ни одной деревушки, даже одинокой избы. Холмы быстро смѣнялись; всадники примѣтно куда-то спѣшили. Цвиркунъ изъ-подлобья поглядывалъ на западъ, гдѣ черныя тучи громоздились одна на другую, и яркія молніи бѣгали, безъ грома, съ конца въ конецъ синими змѣйками.

(*) Одинъ изъ 13-ти литовскихъ мѣсяцевъ, соотвѣтствующій срединѣ нашего іюля. Всѣ миѳологическія подробности въ этомъ романѣ основаны на историческихъ свидѣтельствахъ, допущенныхъ однако же съ нѣкоторою критикою. Подробныя ссылки испестрили бы только изданіе; а равно и самое исчисленіе источниковъ, которыми я пользовался при составленіи романа, въ подобной книгѣ ни къ чему бы не послужило. Посему я рѣшился присоединить къ тексту только необходимыя объясненія.

— «Того,» сказалъ Цвиркунъ: «я уже думалъ, что брехуномъ буду.»

Товарищъ не отвѣчалъ ни слова и нудилъ утомленнаго коня. Темнѣе черной тучи былъ тотъ конь, благородный Амулатъ, татаринъ родомъ; облитый снѣжной пѣной, отчихиваясь, онъ несъ всадника бодро и весело; Цвиркунъ едва поспѣвалъ за нимъ, приговаривая: «А ну, Гнѣдко, того, незъвай!» Буря торжественно всплывала; свѣтлое лице Сотвароса (*) завлекли тучи; потемнѣло, и могучій раскатъ грома возвѣстилъ начало грозы.

— «Вотъ, княже,» сказалъ Цвиркунъ, съ трудомъ догоняя товарища: «Колибъ вы поганщины не держались, тобы и знали, что это Илья Пророкъ.»

— «Нѣтъ,» отвѣчалъ князь спокойно: «это Перкунъ разговариваетъ съ Криво Кривейтомъ» (**).

— «И что это тебѣ, княже, до головы приходитъ. Ну, гдѣ-таки болванъ будетъ съ людьми разговаривать?»

— «Перестань, Цвиркунъ! Виленскія мысли, виленскіе слухи уже въ мои Троки проползли; чего добраго, и на Жмудь проберутся. По ихъ милости, мальчики на моей конюшнѣ стали смѣяться надъ тѣмъ, за что прежде языкъ поджигали. Полно, дядя! Погоняй своего стараго коня, а то до вечера на Невяжъ (***) не станемъ.»

(*) Литовскій Аполлонъ. Объясняемъ такимъ образомъ, для краткости.

(**) Верховный жрецъ литовскаго язычества.

(***) Рѣка, впадающая въ Нѣманъ.

— «На Невяжъ!» сказалъ заикаясь Цвиркунъ, поглядѣлъ сомнительно на князя и почесался въ затылкѣ: «Да тутъ такая Невяжа съ неба польется, что твою желѣзную рубашку насквозь промочитъ. Или не лучше, княже, того...»

Князь не догадывался, Цвиркунъ продолжалъ:

— «Того, какъ его... Ни лѣса, ни хаты, такъ подъ попоны, пока Илья проѣдетъ.»

Надъ самой головой всадниковъ раздался страшный ударъ грома; далеко, будетъ такъ въ двухъстахъ шагахъ, огненный столбъ спустился на одинокое дерево и разбросилъ его мелкими щепками. Цвиркунъ припалъ къ лукѣ и крестился; потрясенныя тучи пролились дождемъ; вся окрестность представилась въ густой, непроницаемой сѣткѣ; лошади остановились, какъ вкопаныя. Робко приподнялся Цвиркунъ и сказалъ тихо князю:

— «Княже, а княже! Скажи что-нибудь! Дай послышу: оглохъ я, или нѣтъ?»

Но князь не слушалъ Цвиркуна; глаза его были прикованы къ разбитому дереву; помолчавъ, онъ сказалъ, будто про себя: «Не къ добру! Не лучше ли возвратиться въ далекія Троки! Перкунъ даромъ святыхъ деревъ не рубитъ.»

Цвиркунъ забылъ о глухотѣ своей и, отряхиваясь, сказалъ съ улыбкой:

— «Да гдѣ оно таки святое? Что особнякомъ торчитъ на пригоркѣ, такъ ужъ и святое; что это за край, пускай Богъ милуетъ; и рѣки у нихъ святыя, и озера и деревья и цѣлые лѣса, святые да святые. Ужъ точно святой край!»

— «А ты какъ думалъ?» сказалъ князь съ гордою улыбкой.

— «А что же, княже? Про Альфа ни слуху, ни духу?»

— «А вотъ узнаемъ на Невяжѣ!»

Брови Кейстута нахмурились; онъ впалъ въ глубокую задумчивость. Амулатъ шелъ тихимъ, ровнымъ шагомъ; Гнѣдко, повѣся голову, тащился медленно, какъ усталый и промокшій жидъ изъ послѣднихъ силъ тянется на шабашъ въ ближайшую корчму. Не прошло и получаса, гроза гремѣла позади всадниковъ, далеко, далеко; радуги переливались на востокѣ; солнце бросило свѣжіе лучи; оживленная окрестность благоухала. Съ высокаго пригорка глазамъ путниковъ открылась широкая долина; на ней дымилось пепелище небольшой деревушки. Пожаръ потухалъ; видно было, что деревня горѣла уже день, другой, но Цвиркунъ еще не могъ очнуться отъ громоваго удара.

— «Вотъ Илья чего надѣлалъ на святой землѣ!» сказалъ онъ довольно громко.

— «Нѣтъ!» заворчалъ князь сквозь зубы: «это не громъ; Нѣмцы, Крестоносцы, воры поморскіе! Вотъ я ихъ!» и Амулатъ угадалъ движеніе княжескаго сердца; серебряныя его подковы быстро замигали въ глаза Цвиркуну; Гнѣдко не былъ самолюбиваго десятка, соревнованіе въ немъ не проснулось, какъ ни хлесталъ его усердный всадникъ.

— «Тамъ!» заворчалъ Цвиркунъ, осыпая коня короткой плеткой: «Я же тебѣ, Гнѣдко, четыре дня зерна не дамъ, слышишь?»

Но увѣщенія не помогали: Гнѣдко хвостомъ обмахивалъ удары, будто оводовъ, и плелся шажкомъ къ обгорѣлой деревнѣ. Въ это самое время на маковкѣ холма показался всадникъ на бѣломъ конѣ. Закутанный въ плащъ, онъ ѣхалъ, казалось, безъ цѣли; но едва завидѣлъ отсталаго Цвиркуна, распахнулъ плащъ, добылъ длинный мечъ и поскакалъ навстрѣчу веселому конюшему. Цвиркунъ уже успѣлъ поворотить истомленнаго Гнѣдко; перекинулъ лукъ, насадилъ стрѣлу и сталъ мѣтить въ незваного гостя.

— «Вотъ, ей же Богу, убью, того!» разсуждалъ Цвиркунъ громко: «Только за чѣмъ же я его убью? Не лучше ли убить кобылу? А кобыла чѣмъ виновата? Не она въ глаза лѣзетъ, а человѣкъ. Эй! не замай, убью!» сказалъ Цвиркунъ, возвысивъ голосъ.

Стрѣла завизжала; бѣлый конь взвился на дыбы; бѣшено рванулся второну, перескочилъ небольшой придорожный ровъ и понесъ желѣзнаго всадника, цѣликомъ по полю, мимо обгорѣвшей деревни. Когда раненый конь поравнялся съ пепелищемъ уединеннаго гумна, стрѣла князя Кейстута разрѣзала воздухъ, впилась въ скрѣпы шлема и свалила его съ головы воина; не прошло двухъ-трехъ минутъ — и всадникъ и конь исчезли за пригоркомъ, къ которому примыкала небольшая роща. Въ это самое время Цвиркунъ доплелся до князя.

— «Проводили, чтобы огонь его испекъ!» сказалъ Цвиркунъ съ гордостью.

— «Жаль, что не убили,» отвѣчалъ князь.

— «А зачѣмъ же ты мнѣ не сказалъ? Я бы его и убилъ. Вѣдь это Нѣмецъ!»

— «И какой Нѣмецъ! Видно, на бѣдной Жмуди все крестовое войско. Знаешь ли, Цвиркунъ, это былъ самъ командоръ изъ Рагниты. Видно, войско близко; не только командоры, простые рыцари одни не ѣздятъ; гулялъ, и чуть не заплатилъ жизнью за прогулку. Узналъ я, что Нѣмцы на нашемъ полѣ, узналъ по этому пеплу; домы сожжены; люди, на цѣпяхъ, сидятъ теперь на работѣ гдѣ-нибудь въ пограничномъ замкѣ. Семь деревень за одну! Семь Нѣмцевъ за Литвина! Ѣдемъ! Недалеко и до Невяжи.»

Солнце садилось; туманъ вечерній разливался по холмистой окрестности; черный, обширный лѣсъ синѣлъ темной полосой на западѣ; князь развеселился.

— «Видишь, Цвиркунъ, Поневѣжскій лѣсъ, сѣтую рощу? Тамъ три холма; тамъ цапни, тамъ деревня на склонѣ пригорка, помѣстье отца Калнаса... тамъ ждутъ насъ.» И едва путники взобрались на высокій холмъ, дивная картина представилась глазамъ ихъ. Вся цѣпь холмовъ и пригорковъ, позади и спереди, будто отъ магическаго выстрѣла чудодѣя, покрылась огнями; какъ будто звѣзды упали на землю и вспыхнули земнымъ огнемъ.

— «Хвала вѣчному Зничу, неугасимому отцу огня и свѣта!» сказалъ князь торжественно: «Дѣти твои, зажигаясь одинъ за другимъ, добѣгутъ до

Вильна скорѣе, нежели великій магистръ съ кровожадной братьей успѣетъ прочесть свои вечернія молитвы. Неважа! Неважа!»

И Амулатъ бросился въ серебряныя струи быстрой рѣчки; и Гнѣдко не упрямился; путники остановились у воротъ деревянной крѣпостцы, или городка, срубленнаго изъ бревенъ и окопаннаго небольшимъ валомъ. Это былъ барскій дворъ того времени. Въ большихъ хоромахъ, въ нижнемъ жильѣ, горѣли факелы; пронзительные крики плакальщицъ неслись изъ узкихъ оконъ. Нахмурился князь: два печальныя предвѣстія встрѣтили его на дорогѣ къ задуманному походу. Долго Цвиркунъ стучалъ въ ворота, приговаривая различныя Заднѣпровскія проклятія и апострофы; но никто не могъ его слышать за неистовыми криками усердныхъ плакальщицъ. Князь сидѣлъ на конѣ безмолвно, утопая въ черной, хотя и неопредѣленной, безсмысленной думѣ. Наконецъ усердные удары и грубый басъ Цвиркуна какъ-то достигли слуха отца Калнасова; дряхлый Эйвасъ отворилъ ворота; князь соскочилъ съ коня и прямо въ хоромы... вошелъ: и плакальщицы онѣмѣли: онѣ сидѣли на длинныхъ скамьяхъ въ два хора; каждая держала въ рукахъ стеклянный сосудикъ или слезницу, куда собирала слезы; посредѣ комнаты, довольно высокой и украшенной рѣзною работою, въ высокихъ креслахъ съ поручнями, сидѣлъ покойникъ, въ сапогахъ и длинной бѣлой рубахѣ; на ней, пониже сердца, кровавое пятно говорило: какою смертью умеръ покойникъ.

«Калнасъ!» съ ужасомъ сказалъ князь и отступилъ на самомъ порогѣ.

— «Калнасъ!» загремѣли оба хора плакальщицъ и покатились снова пѣсни и воскрикиванія, такіе страшные завизги, такой неистовый пискъ, что только одно привычное къ подобной гармоніи ухо Литвина могло переносить этотъ языческій requiem. Князь отеръ слезу, бросилъ плакальщицамъ горсть серебряныхъ монетъ и закричалъ: «Пива!»

— «Несутъ, несутъ, княже!» отвѣчалъ дряхлый Эйвасъ; Кейстутъ пожалъ ему руку, не имѣя словъ для утѣшенія старца; но на лицѣ гордаго Эйваса не было малѣйшаго признака печали; онъ покойно поглядѣлъ въ глаза опечаленному князю и сказалъ тихо: «Не тужи, князь! Славно умеръ Калнасъ! Уже мнѣ такъ умереть не удастся; братъ мой Герданъ, знаменитый сигонота *) Поневѣжской святой рощи, видѣлъ уже коня небеснаго, на которомъ Калнасъ поѣдетъ прямо въ страну восточную, въ обитель вѣчнаго счастія. Дюжъ и молодъ былъ покойникъ; никогда не стригъ ногтей; легко ему будетъ вцарапаться на скалу блаженства; видишь какъ боги чествуютъ моего Калнаса! И тебя привели на похороны! Немногихъ провожаютъ Гедыминичи на славный костеръ; и похвалюсь тебѣ, князь: ни у кого еще не было такой знатной жертвы! Живой рыцарь, съ живымъ конемъ, безъ раны, со всѣми доспѣхами, сгоритъ въ Не-

*) Отшельникъ, но вмѣстѣ родъ жреца, съ особыми обязанностями. Объ сигонотахъ подробности ниже.

вяжскомъ Ромновѣ *) на славу Перкуна и боговъ нашихъ! — Пива!»

Глаза старца сверкали дикою радостью; онъ говорилъ, ходя, то поглаживая длинную желтую бороду, то обтягивая кожаный поясъ, на которомъ висѣли золотыя монеты и широкій ножъ. — Огромный чанъ, изъ красиваго дуба, обтянутый серебряными обручами, внесли два работника, въ шелковыхъ рубашкахъ; босикомъ, чтобы не дѣлать шуму; разостлали передъ трупомъ Калнаса дорогой коверъ; поставили пиво, поклонились покойнику и почтительно отошли въ уголъ.

— «Гдѣ Вундина?» спросилъ старецъ: «Пусть несетъ почетные кубки, пусть придутъ и внуки мои: надо учить ихъ завидовать славной смерти; приведите и рыцаря! Пусть смотритъ: какъ храбраго чествуютъ Литвины!»

— «Позовите и Цвиркуна» сказалъ князь! «онъ любилъ покойника; пусть на-послѣдяхъ выпьетъ съ нимъ пива!»

— «Христіанинъ!» сурово замѣтилъ Эйвасъ: «Но онъ твой вѣрный, испытанный слуга! Я позволяю!»

Раздался колокольчикъ, который всегда привѣшивался къ легкимъ юбкамъ литовскихъ дѣвицъ. Вошла Вундина съ огромнымъ подносомъ: много на немъ стояло драгоцѣнныхъ чаръ и кубковъ; за ней вбѣжало болѣе дюжины мальчиковъ и дѣвочекъ. Кейстутъ взялъ почетную чару. Много гостей

*) Капище главное; такихъ было не много. Малыхъ — множество.

было у стараго Эйваса; много родныхъ; чары и кубки разобраны, и князь подошелъ къ чану съ пивомъ, зачерпнулъ, протянулъ чару къ мертвецу и сказалъ нетвердымъ голосомъ:

— «Милый сподвижникъ! Пью къ тебѣ и за тебя! За чѣмъ ты умеръ? Развѣ скучно было воевать подъ Королевцемъ, Маріенбургомъ и Гданскомъ? развѣ не ломали мы копій на рыцарскихъ турнирахъ. Мы уносили славу изъ вражьей земли; оставляли страхъ и удивленіе на пескѣ христіанскихъ пристанищъ! Геу, Геу! А теперь плаксы поютъ, а теперь сердце у насъ болитъ! только, что плакать стыдно, а то бы и я разревѣлся!»

И общій громкій плачъ заглушилъ князя. Но старецъ протянулъ къ трупу свою чару и сказалъ твердымъ, могучимъ голосомъ:

— «Милый сынъ! спасибо за жизнь! спасибо за смерть! До свиданья! Только на конѣ небесномъ помедли надъ нашей рощей, погляди: какъ мы сожжемъ Нѣмца на радость боговъ нашихъ!»

Кубокъ выпалъ изъ рукъ Вундины; всѣ оглянулись со страхомъ; священное пиво пѣнилось у ногъ ея; ни мертва, ни жива, опустивъ глаза, Вундина дрожала всѣмъ тѣломъ. Въ избу въ это время латники вводили плѣннаго рыцаря; забрало шлема его было опущено; бѣлый плащъ, съ чернымъ крестомъ былъ обтянутъ желѣзною цѣпью, вмѣсто пояса; за концы держали два дюжіе латника.

— «Что съ тобой, Вундина?» спросилъ старецъ страшнымъ голосомъ. Вундина упала безъ чувствъ.

Невозмутимый Эйвасъ покойно приказалъ вынести ее на свѣжій воздухъ, и прощаніе продолжалось безпрепятственно; каждый старался сказать что либо пріятное и покойнику и князю; каждый прилыгалъ къ извѣстнымъ подвигамъ Калнаса и небывалые; какъ христіанинъ, Цвиркунъ подошелъ послѣдній.

— «А что, Калнасъ?» сказалъ Цвиркунъ: «Я тебѣ говорилъ, что Нѣмцы убьютъ, коли нашего Бога не примешь. Вотъ и убили. Пожалуй, я выпью съ тобой пива, только сѣраго твоего коня, чѣмъ жечь, лучше мнѣ подари. Мой Гнѣдко сталъ прихрамывать и теперь сѣна не ѣстъ; стоитъ голову повѣсивъ. Ну, что, Калнасъ! Пожалуй, я еще выпью, только коня подари. А когда подаришъ цѣлый цеберъ *) на поминкахъ одинъ выпью. Вотъ упрямый! Молчитъ, что хочешь ему говори; такой онъ былъ и въ живыхъ!»

Эйвасъ, желая прервать оскорбительную рѣчь Цвиркуна и вмѣстѣ не обидѣть князя, махнулъ рукой плакальщицамъ, и оба хора грянули; работники вошли съ доспѣхами: одѣвать Калнаса на костеръ; князь, Эйвасъ, всѣ гости вышли на широкій дворъ городка; за нимъ вывели и рыцаря. На низкомъ прилавкѣ, подъ сѣнью двухъ домашнихъ дубовъ, лежала Вундина и горько плакала. Князь Кейстутъ подошелъ къ ней; другіе не смѣли безпокоить своими взорами такую дугну (нимфу литовскую).

*) Ушатъ, въ южной Россіи.

— «Полно плакать, дитя!» сказалъ князь ласково: «На людей боги устроили череду; на конѣ тайнаго порога не объѣдешь. Полно плакать, Вундина!»

— «Садись, князь!» отвѣчала Вундина, приподымаясь: «Садись при мнѣ; ты мнѣ будешь отцемъ и защитникомъ; скажи ему, князь, скажи упрямому Эйвасу: пусть не казнитъ Нѣмца... худо будетъ!»

— «Эхъ, дитятко, дитятко! На это моей княжьей воли мало! Добыча Калнаса — его собственность! Не послушаютъ меня Литвины, хотя бы я и всѣ мои братья потребовали рыцаря! Разлюбятъ меня Литвины, когда я нарушу ихъ законы! Не могу просить за рыцаря!»

— «Не можешь!..» почти вскрикнула Вундина, судорожно схвативъ его руку: «И Гуго, мой милый Гуго сгоритъ, какъ безнужная лучина! И сгоритъ за любовь ко мнѣ, сгоритъ за то безстрашный Гуго, что одинъ ходилъ ко мнѣ на сладостныя свиданія въ такія мѣста темнаго бора, гдѣ никогда не бывала нога человѣка. Добыча! Хороша добыча! Какъ медвѣдя, подстерегли они Гуго и схватили его въ темномъ лѣсу; а онъ думалъ только обо мнѣ;—быть можетъ, молился обо мнѣ и о другомъ существѣ, дорогомъ его сердцу. Оно здѣсь... у меня... подъ сердцемъ... Князь, спаси моего Гуго!»

Князь вскочилъ; Вундина руками обвила его колѣна и обливала горькими слезами. Но князь грозно смотрѣлъ на преступницу; душа его не понимала любви; сердце билось только для ратныхъ подвиговъ, для мести ненавистнымъ Нѣмцамъ!

— «Недостойная сестра Калнаса!» сказалъ онъ презрительно: «не оскверняй меня своимъ прикосновеньемъ! Я самъ подожгу костеръ Гуго!»

И Вундина, какъ сломанная статуя, отвалилась отъ князя и рухнулась на земь. Въ то же мгновеніе на дворѣ раздалось пѣніе Лингуссоновъ, жрецовъ погребальныхъ; они шли медленно, ударяя въ мѣдные тазы и треугольники. За ними, на богатыхъ носилкахъ, Тилуссоны, также погребальные жрецы, несли трупъ Калнаса, съ ногъ до головы вооруженный, и шепотомъ разговаривали съ покойникомъ; за Тилуссонами два хора плакальщицъ. Вся процессія вышла въ единственныя ворота городка. Эйвасъ сѣлъ на лошадь; ему подали уздцы Калнасова коня, и онъ повелъ его за собою. Затѣмъ Цвиркунъ подвелъ Амулата; князь вскочилъ на сѣдло, Цвиркунъ тоже, и всѣ выѣхали вслѣдъ за процессіей.

— «А гдѣ священный пенязь?» спросилъ князь у безчисленныхъ спутниковъ, которые ожидали князя на долинѣ...

— «А-вонъ, князь, коли видишь, на концѣ долины у самой опушки святой рощи. Тамъ конецъ и земли Эйваса.»

— «А курганъ?»

— «Курганъ надъ Невяжей! А жечь будутъ въ рощѣ; такъ боги указали.»

Утро едва зараждалось на аломъ востокѣ; святая роща покрыта была утреннимъ туманомъ; едва примѣтно золотой точкой блестѣлъ небольшой столбикъ, на которомъ лежала золотая моне-

та. По обычаю, справляя тризну, всадники должны были обогнать трупъ покойника, броситься на выпередки къ этому столбику и схватить монету. Князь оглянулся; вся дружина его, въ нѣсколько тысячъ человѣкъ, покрывала долину. »Въ строй!» закричалъ онъ. «Построились.» «Кто принесетъ мнѣ Калнасовъ пенязь,» сказалъ онъ торжественно: «тому отдамъ и Калнасово мѣсто!» Застонала окрестность отъ стука копытъ; пыль заволокла воздухъ; литуссоны громче пріударили въ мѣдные инструменты; раздались трубы — и общій крикъ: да здравствуетъ Гришка Русинъ! возвѣстилъ князю, кому досталась славная у всей Руси честь ближняго княжьяго воеводы или начальника собственной его дружины. Въ это время подвезли Гуго на черномъ конѣ. Рыцарь былъ покрытъ чернымъ мѣшкомъ; только дырья для глазъ были прорѣзаны. Князь невольно отворотился.

— «Memento mori!» сказалъ Гуго, поровнявшись съ княземъ.

— «Я объ этомъ не забываю...» отвѣчалъ князь по-латинѣ, не глядя на рыцаря.

— «Прощай же! Ни на этомъ, ни на томъ свѣтѣ мы съ тобою не увидимся!» сказалъ рыцарь: «Я умру какъ мученикъ, ты—какъ разбойникъ, и отъ родныхъ рукъ. Король Кейстутъ *)! только святой крестъ измѣнитъ твой жребій!»

*) Иноземцы не рѣдко дѣлали различіе между великокняжествомъ Ольгерда и удѣломъ князя Кейстута, титулуя ихъ обоихъ именами кѣролей литовскихъ.

— «Вотъ чертовъ Нѣмецъ!» сказалъ Цвиркунъ, оглядываясь, когда уже провезли рыцаря. «Хорошо, что увели, а то бы онъ и мнѣ бѣду какую напророчилъ!»

Кейстутъ вздохнулъ и положивъ на плечо Цвиркуна желѣзную руку, сказалъ тихо: «Всѣ смерти равны, кромѣ безчестной. Пусть только похороны отойдутъ, сдѣлаемъ Калнасу другую тризну. Держи дружину въ сборѣ: ночью мы будемъ уже въ Пруссахъ, можетъ быть, догонимъ воровъ, которые у меня Калнаса украли.»

У опушки святой рощи вся дружина спѣшилась и ожидала князя. Кейстутъ поцѣловалъ Гришку Русина, надѣлъ ему на руку кольцо и соскочилъ съ лошади.

— «Ночью—месть, теперь—плачь! Ждите меня здѣсь!» сказалъ Кейстутъ и одинъ отправился въ рощу.

Долго шелъ князь за покойникомъ. Плачъ, пѣніе и музыка прекратились; примѣтно было общее стараніе сохранить въ рощѣ возможную тишину; никто не произнесъ ни единаго слова. Роща становилась гуще, путь труднѣе; не примѣтно было простой стези, но лингуссоны и тилуссоны знали хорошо дорогу. Послѣ добраго часа пути, передъ гостьми Святой Рощи открылась весьма обширная площадка, покрытая разнаго рода и величины деревянными строеніями, расположенными полукругомъ. Посрединѣ возвышался огромный дубъ, огороженный высокой деревянной стѣной; воротъ никакихъ не было; противу входа стоялъ

четыреугольный столбъ съ жаровней; на ней пылалъ *Вѣчный Зничъ* *). Дѣвы Вайделотки **), въ бѣлыхъ покрывалахъ окружали алтарикъ Знича; за дубомъ навѣсы для множества истукановъ литовскаго язычества. Все шествіе остановилось на площади, раздѣлявшей строенія. На правой рукѣ отъ входа возвышался обширный костеръ; по лѣвой рукѣ торчали четыре столба съ кольцами; возлѣ, неправильной кучей, лежало множество дровъ. Какъ только процессія достигла Поневѣжскаго Ромнова или Капища, Лингуссоны и Тилуссоны разбѣжались, возвратились въ другихъ облаченіяхъ и втащили мертвеца на костеръ. Эйвасъ, по приготовленнымъ мостикамъ, ввелъ туда же Калнасова коня, потомъ родные Эйваса, поочередно вносили разныя любимыя вещи покойнаго; клались ему вплесь, сходили и, окруживъ костеръ, брали изъ рукъ Тилуссоновъ незажженные факелы. Князь стоялъ между младшими родственниками Калнаса и также держалъ факелъ. Когда все было готово, изъ глубины вышелъ Криве ***). Въ одной рукѣ онъ держалъ двойную кривулю ****) или жезлъ, въ другой незажженный факелъ. Тру-

*) Огонь, посвященный Перкуну.

**) Литовскія Весталки.

***) Собственно жрецъ и судія; послѣдней власти, кажется, не имѣли сигоноты или жрецы-отшельники.

****) У Криве Кривейто Кривуля или жезлъ былъ вверху съ тремя раздѣленіями: у Криве съ двумя, наподобіе вилъ; у Кривуль или сельскихъ судей, съ однимъ крючкомъ наверху.

бы заиграли; всѣ преклонились. Криве подошелъ къ алтарику вѣчнаго зинча, зажегъ факелъ и вышелъ; тогда трубы звучали безпрерывно; хоръ Вайделотокъ пѣлъ надгробныя пѣсни; Лингуссоны били въ тазы; гости, вынувъ мечи, стучали лезвее объ лезвее; Криве обходилъ всѣхъ и каждому зажигалъ факелъ; совершивъ шествіе около трупа, Криве воткнулъ свой факелъ въ костеръ и возгласилъ громко: «Ступай, Калнасъ, съ этого несчастнаго свѣта! Полонъ бо есть всякаго зла! Иди на вѣчную радость туда, гдѣ тебя ни гордый Нѣмецъ, ни хищный Ленкинь (Ляхъ) обижать не будутъ! Иди и уготовь родимъ твоимъ пріятныя обители!»

Всѣ родные подошли къ костру, воткнули въ него свои факелы и напутствовали покойника просьбами, благословеніями и обѣтами. Пламя взвилось, Криве удалился, и, немного спустя, возвратился: снова загремѣли трубы. Лингуссоны поднесли къ нему напитки и яства въ богатыхъ посудинахъ; изъ тѣхъ сосудовъ онъ выплеснулъ часть напитковъ и выбросилъ часть каждаго яства между четырехъ столбовъ, зажегъ снова факелъ и подалъ его Вайделоту *). По манове-

*) Вайделоты. Это названіе, по всѣмъ соображеніямъ, принадлежало племени, изъ котораго избирались высшіе и нижніе чины языческихъ жрецовъ. И Криве и Сигоноты, и Тилусоны и другіе роды жрецовъ, какъ ниже увидимъ, были избираемы изъ этихъ Вайделотовъ, въ большомъ числѣ проживавшихъ при каждомъ Ромовѣ и при каждомъ отдѣльномъ капищѣ особаго бога.

нію Криве, Лингуссоны потащили рыцаря съ конемъ, поставили его между четырехъ столбовъ: въ нѣсколько мгновеній, со всѣхъ четырехъ сторонъ, вокругъ рыцаря взбѣжали и загорѣлись высокія стѣны изъ дровъ. Два костра пылали! Гости разбрелись по всей полукруглой площадкѣ, раздѣлявшей капище отъ жилыхъ строній. На небольшихъ столбикахъ, расположенныхъ по опушкѣ лѣса, сидѣли Тилуссоны и восхваляли доблести покойнаго; медленно обходилъ ихъ Эйвасъ; за нимъ два работника, въ огромномъ кожаномъ мѣшкѣ, несли нѣмецкое серебро, добытое въ Пруссахъ храбрымъ Калнасомъ. Каждый Тилуссонъ, съ приближеніемъ Эйваса и работниковъ, кричалъ громче, размахивалъ руками и дѣлалъ самыя отчаянныя тѣлодвиженія: каждому хотѣлось возбудить щедрость Эйваса. У самаго входа въ Ромново, почти въ рощѣ, собралась толпа молодежи около одного Тилуссона, также сидѣвшаго на столбикѣ. Къ этому кружку пристали и князь Кейстутъ.

— «Вотъ какъ я любилъ покойнаго!» говорилъ Тилуссонъ, покачиваясь: «Вы видите, какъ я любилъ его: шатаюсь. Да, шатаюсь отъ печали, отъ горя, отъ тоски и отъ пива! Дѣти мои! Знайте и вѣдайте, что похоронное пиво, некакое иное, а похоронное, чистый алусъ, святое пиво; не для бесѣды, а для прощанія; оно превращается въ слезы. Пейте только одну чару; чары слезъ не мало; вотъ я выпилъ двѣнадцать, и слезы льются ручьемъ, не могу нацлакаться. Такъ я любилъ Калнаса! Я нарочно взялъ двѣнадцать чаръ слезъ;

не люблю пива, вы знаете! то есть не люблю похмелья. Но я любилъ Калнаса! Пусть мой примѣръ, дѣти, послужитъ вамъ урокомъ. Чувствую, что слезы мои изсякаютъ. Дайте мнѣ пива, или, если вы уже все пиво сами выпили, такъ дайте на пиво!» И съ этимъ словомъ онъ протянулъ къ предстоявшимъ передникъ: много серебряныхъ копѣекъ набросали ему гости. Между тѣмъ подошелъ Эйвасъ и бросилъ туда же горсть большихъ сребренниковъ.

— «О Калнасъ!» воскликнулъ Тилуссонъ: «Посмотрите, посмотрите! Но вы не можете видѣть! Какъ звали этого бѣлокураго, молодаго въ дружинѣ княжеской.

— «Альфъ!» сказалъ кто-то въ толпѣ.

— «Нѣтъ; Альфъ по правую руку ѣдетъ на пестопырѣ, а этотъ на домовомъ змѣѣ, и какой змѣй, серебряный, какъ новые королевскіе крестовики, только голова и хвостъ золотые. И много, много ѣдетъ съ Калнасомъ друзей, живыхъ и покойныхъ И ты ѣдешь, какъ зовутъ тебя, не знаю,» продолжалъ онъ, указавъ на какого-то молодаго человѣка, «и онъ ѣдетъ, вотъ и онъ подъѣхалъ: это ваши тѣни. А Калнасъ на своемъ сѣромъ конѣ, ѣдетъ себѣ по птичьей дорогѣ (млечный путь). Въ рукѣ у него три звѣзды. Прощай Калнасъ!» закричалъ Тилуссонъ и опрокинулся со столбика: «Горе повалило меня!» продолжалъ онъ, лежа: «Дѣти мои! подымите меня и научитесь, какъ должно чествовать достойныхъ покойниковъ.»

Въ это мгновеніе огненные столбы и стѣны, окружавшія рыцаря, рухнули и завалили бо́льшую часть площади горящими головнями и угольями. Костеръ Калнаса также осѣлъ съ трескомъ. Всѣ жрецы, кромѣ Криве, храмовые прислужники и гости, оставивъ лежащаго Тилуссона, бросились къ приготовленнымъ кувшинамъ и стали заливать костры.

— «Дѣти мои!» жалобно сказалъ Тилуссонъ: «залейте и меня по дорогѣ. У меня также горитъ костеръ подъ сердцемъ!» Но никто его не слушалъ: всѣ спѣшили къ грудамъ горящихъ угольевъ; всѣ суетились, толкали друга друга; князь Кейстутъ также съ кѣмъ-то столкнулся и отступилъ въ ужасѣ!

— «Вундина!» закричалъ онъ.

Вундина стояла передъ нимъ съ кувшиномъ въ одной рукѣ, а другою показывала на гору угольевъ, покрывшихъ пепелъ Гуго.

— «Сгорѣлъ?» шепотомъ спросила она. «Нѣтъ, князь, онъ здѣсь!» продолжала она указывая на сердце. «Я уловила его душу; мы будемъ мстить. Руками твоихъ родныхъ мы задушимъ тебя, князь! До страшнаго свиданія!»

И, размахивая кувшиномъ, Вундина бросилась въ глубину лѣса и скоро исчезла межъ деревъ.

— «Черныя птицы!» печально сказалъ князь. «Не могли онѣ условиться; а тоже предсказаніе! И какое вздорное предсказаніе! Не поссоритъ меня съ Ольгердомъ вся христіанская сила! Вздоръ!»

Но не смотря на всѣ разсужденія, князь не могъ

сойти съ мѣста, глазами все искалъ Вундины, и тайная грусть тѣснила сердце. Безъ него собрали пепелъ Калнаса, безъ него положили этотъ пепелъ въ высокую урну и когда процессія пошла къ могильному кургану, тогда только голосъ Эйнаса разбудилъ князя. Молча пошелъ онъ за Литвинами; молча присутствовалъ при всѣхъ остальныхъ погребальныхъ обрядахъ; и только веселый пиръ, на открытомъ воздухѣ, нѣсколько развеселилъ Кейстута. Настала ночь. Гости разбрелись. Князь отыскалъ между храмовыми прислужниками проводника и ушелъ съ нимъ въ самую чащу священнаго лѣса.

Дружина князя Кейстута расположилась на отдыхъ у опушки священнаго лѣса надъ Невяжой. Многіе витязи пошли купаться, многіе улеглись спать подъ ученными лошадьми. Другіе играли въ зернья, только Гринка Русинъ, Цвиркунъ и нѣсколько человѣкъ христіанъ изъ старшихъ въ дружинѣ, за скромной трапезой, мирно бесѣдовали о дѣлахъ прошедшихъ и настоящихъ.

— «Вотъ уже у меня лобъ съѣжился,» сказалъ Цвиркунъ, допивая кружку алуса: «И какъ оно было? Какъ Нѣмцы Калнаса пришибли? Я же зналъ Калнаса; вѣдь и онъ у меня, вмѣстѣ съ княжатами и съ Альфомъ, на рукахъ выросъ. Надо же правду говорить: дурнемъ никогда онъ не былъ. Зачѣмъ же его убили?»

— «Э, Цвиркунъ! У меня сердце навыворотъ ложится, какъ подумаю, что по моей милости теперь жгутъ его, бѣднягу.»

— «Какъ по твоей милости?» спросилъ изумленный Цвиркунъ.

— «Былъ онъ язычникъ; что правда, то правда; но честное сердце; и когда бы не князь, да отецъ, быть бы ему теперь не въ аду... а у него сестра есть; ты ее видѣлъ, Цвиркунъ?. .»

— «Э, что сестра, то сестра; голубоокая такая, бѣлобрысая, краше цвѣтка инаго... Ну, такъ сестра...»

— «То то и есть! Полюбилась она мнѣ давно уже; когда мы еще съ Ольгердомъ на нѣмецкій ловъ ходили въ Инфланты, и князья въ гости къ Эйвасу заѣзжали. Ты помнишь, Цвиркунъ? Прошло года два, я все молчалъ; пытался отъ язычницы оборониться; да непомогло; словно чары какія. Съ ума да съ памяти нейдетъ Вундина. А какъ мы пріѣхали сюда, да я поглядѣлъ опять на Вундину, совсѣмъ меня разобрало. Вотъ я и сказалъ Калнасу. (Господи! прости его, если можно) Какъ онъ обрадовался! Побѣжалъ къ сестрѣ такой веселый; а воротился... Бѣда, и полно, такъ мнѣ сердце и прищемило... Я ужъ и спрашивать его не посмѣлъ, а онъ ничего мнѣ не говоритъ. Прошелъ день,—Калнасъ ни слова. Прошелъ другой,—Калнасъ только на Вундину поглядываетъ, да головой качаетъ. На третій, ночью, почудилось мнѣ, что будто кто-то изъ городка на конѣ уѣхалъ; я выбѣжалъ на стѣну; гляжу: Калнасовъ сѣрый конь безъ подковъ, словно кошка, въ даль бѣжитъ. Я затрубилъ; поднялась вся дружина: на коней; за Калнасомъ. Миновали мы уже лѣсъ, что̀ надъ рѣкой;

я затрубилъ: Калнасовъ рогъ далеко, далеко отозвался; мы на рогъ. Ѣдемъ, трубимъ, трубимъ, ѣдемъ! Навхали. Калнасъ съ Нѣмцемъ уже мечи сломали; въ рукопашный пошли, а на пнѣ Вундина лежитъ, ни мертва, ни жива, а такъ, будто на срокъ умерла. Ну, само-собой, мы Нѣмца повалили, связали, парни коня его отыскали; посадили мы Нѣмца на коня, прикрутили. Калнасъ взялъ къ себѣ на сѣдло Вундину; поѣхали, и все бы хорошо было; такъ нѣтъ. «Неловко» говоритъ «лѣсомъ ѣхать; по той сторонѣ гладкой поляной лучше. Въ бродъ!» Ѣдемъ. Уже у самаго городка, шутникъ Вальгаръ было и пѣсенку затянулъ; вдругъ по холмамъ огни побѣжали:

— «А! такъ ты не одинъ?» сказалъ Калнасъ Нѣмцу.

— «Командоръ за меня тебѣ, поганину, ухо отрѣжетъ.»

— «Видно нашъ сосѣдъ изъ Рагниты...» сказалъ на это Калнасъ: «провѣдалъ: что князя нѣтъ съ нами; да мы сами за себя постоимъ. Научимъ мы васъ, какъ у насъ красть дѣвушекъ.»

Въ это самое время зарево показалось въ полѣ; видно было, что не огни, что на знакъ зажигаютъ, а пожаръ.

— «Вотъ гдѣ сосѣди пируютъ!» сказалъ Калнасъ, отослалъ рыцаря и Вундину въ городокъ, къ которому мы тогда подъѣхали, а сами поскакали на зарево. Мы могли уже разсмотрѣть, что горитъ весь большая. Прежде она была Давида боярина, а теперь къ удѣлу Кейстута приложена; такъ старикъ Давидъ при смерти завѣщалъ. —

«Наше горитъ!» закричалъ Калнасъ. Далеко мы были еще отъ деревни, а насъ уже встрѣтила толпа поселянъ съ плачемъ и крикомъ. «Ѣдемъ, ѣдемъ!» на всѣ крики отвѣчалъ Калнасъ и погонялъ своего коня. Дружина маленько поотстала, только я одинъ—рядъ съ нимъ держалъ. «Поймалъ я твоего соперника,» сказалъ онъ на скаку: «подстерегъ я Вундину, какъ она съ нимъ перешептывалась; слышалъ я, что бѣжать хотѣли; отомстилъ я за тебя, Гришка; только смотри ты, мнѣ сестры не безчесть. Невѣсть довольно, а Вундина тебя не любитъ!»

Я не могъ ничего отвѣчать, поздно было: копье Калнаса уже сбило съ лошади знатнаго рыцаря Вернера. Всѣ мы знали Вернера; бывало, онъ другихъ сбивалъ; Калнасъ схватился за мечъ, но нашелъ только ножны: мечъ въ лѣсу остался. Вотъ тебѣ разъ! А тутъ Нѣмцы на насъ и повалили. Я сначала и не подстерегъ, что онъ съ голыми руками... Не трудно было его хватить пониже ложки въ животъ. И этого я не замѣтилъ. Вижу только, что наши подъѣхали; Калнасъ выхватилъ у Герона, что съ бѣльмомъ, длинный его мечъ: пошла свалка; простаго народа нѣмецкаго мы набили что̀ дичи, гербовыхъ штукъ десять, да одного рыцаря. «Благо огонь горитъ,» сказалъ Калнасъ, «бросай ихъ въ огонь!» Мы спѣшились и давай дѣло дѣлать... «А это кто?» спросилъ Калнасъ, вглядываясь въ ночной туманъ. «Такъ и есть! Командоръ, самъ командоръ на инфлантскій путь правитъ! Эй ребята! въ погоню!». Да ужъ сѣсть

на лошадь не могъ. Зашатался и упалъ... Мы къ нему... а онъ и слова выговорить не могъ; глаза закатились, захрипѣлъ и умеръ...»

— «Чудеса! Право чудеса,» сказалъ Цвиркунъ «на этомъ свѣтѣ бываютъ. Чужой бѣдѣ не радуйся. Любо было нѣмца живаго поймать; такъ за то меча въ нуждѣ не хватило. Вотъ такъ какъ помню, въ наше Гедыминовское время, старикъ Магистръ чужой бѣдѣ посмѣялся; самому брюхо и распороли.»

— «А ты развѣ уже былъ тогда при князѣ...»

— «Еще бы! Ужъ мы тогда съ Гедыминомъ, что братъ съ братомъ были. Ужъ и князья шалили тогда съ моего спроса. Малыши были. Монтвидъ и Глѣбъ у меня не были, тѣ уже и безъ конюшаго сами хорошо ѣздили, а Ольгердъ и Кейстутъ бывало: ни гугу! смирно! Что Цвиркунъ, что отецъ, все одно... А Володимѣръ *) что отъ Еввы Ивановны, тотъ еще на качеляхъ въ оночивальнѣ качался подъ кіевскую пѣсенку... Коріада еще и на свѣтѣ не было. Охъ!.. да какое же это время было! Давно ли кажется, а ужъ Маргера ни въ одной дружинѣ не сыщешь! Или какъ Пилонское дѣло, что это такое? Кажется, будто самъ видѣлъ, а думаешь, что снилось!.. Налей, Гриша, пива; до ночи не близко, я вамъ и про Маргера и про Пилону разскажу.»

—

*) Любартъ, пятый сынъ Гедымина. Древній обычай, существовавшій во всей Руссіи: крестное имя у каждаго было, а языческимъ прозывались. Причинъ не знаю.

ГЛАВА II.

ЭПИЗОДЪ ПЕРВЫЙ.

КНЯЗЬ МАРГЕРЪ ПИЛОНСКІЙ.

I.

СВЯТОЙ РОГЪ.

«Славная была битва на рѣкѣ Ирпени! Старикъ мой Гедыминъ былъ тогда, что дубъ на долинѣ. Наши князья напрасно пѣтушились. Побилъ и разбилъ ихъ Гедыминъ; положилъ головами двухъ, а трое въ Рязань убѣжали. Будетъ такъ, передъ вечеромъ, стали мы всѣ собираться въ Софійскій Соборъ. По пути зашелъ я къ пріятелю, греку Эроменесу, и говорю ему: «Литва къ намъ будетъ!»

Грекъ мой струсилъ. «Что ты это говоришь, Цвиркунъ? Быть не можетъ. Литва язычники. Вѣдь это хуже потопа.»

— «Видишь,» отвѣчалъ я: «ничего смѣкнуть не можешь, а еще ученый. Развѣ лучше было при татарскихъ баскакахъ? Оно такъ, язычникъ, да заправду ли онъ язычникъ? Много ли у тебя гречческаго золота въ карманѣ? Вздоръ! нашей вѣры не тронетъ, а у великаго человѣка за пазухой жить привольно. Пойдемъ, друже; всѣ бояре уже

собрались у святой Софіи. Пошли мы; спустились на Крещатикъ. Пока намъ ворота отпирали, слышимъ, по волынской дорогѣ трубы играютъ. Грекъ мой побѣднѣлъ, какъ полотно. Я отродясь ничего не боялся; всю жизнь съ татарами, да медвѣдями провозился: такъ что мнѣ Литва? И Литву-то я зналъ; гостемъ съ однимъ князькомъ въ Керново *) ѣздилъ, и на охотѣ былъ съ самимъ Гедыминомъ! Старые знакомые: радъ повидаться. Пришли мы въ соборъ; всѣ бояре на колокольнѣ; пошли глядѣть: какъ Гедыминъ на волынской дорогѣ будетъ станомъ садиться. Ну, и мы на колокольню. Чудо,— не видъ. Бывалъ я и въ нѣмецкихъ и разныхъ латинскихъ городахъ, а ужъ такого ничего не видѣлъ. Куда всему свѣту Божьему противу нашего Кіева! Церкви, что стражи небесные, по горамъ, въ золотыхъ вѣнцахъ горятъ; на Днѣпрѣ города и монастыри будто плаваютъ; нигдѣ улицы такимъ многолюдствомъ не чернѣютъ. И какъ все одѣто! И какъ все говоритъ красно! Поди, сыщи неграмотнаго неука; ужъ сколько ни есть въ Кіевѣ дѣтей, чуть утро, на свѣтъ Божій выползутъ, всѣ на Андрѣевской горѣ, пишутъ, читаютъ да считаютъ. А станетъ въ Кіевѣ большой торгъ на Подолѣ, такъ и на Почайнѣ повозки и лошади съ трудомъ мѣстятся. Диво — не городъ. Послѣ Царь-Града въ свѣтѣ первый. А одинъ Волошанинъ мнѣ сказывалъ, что Кіевъ и Царь-Граду братъ.

*) Первоначальная столица Великаго Князя, на р. Вильѣ.

— «Что бояринъ!» сказалъ мнѣ Гаштольдъ, литовскій посолъ, когда я уже влѣзъ подъ самый колоколъ «не хочешь ли на охоту? Видишь сколько медвѣдей, за золотыми воротами, ложится.»

Крѣпко обрадовался я Гаштольду. Такихъ ужъ нынче нѣтъ бояръ. Мы съ нимъ душа въ душу жили, пока не умеръ. Онъ былъ тайный христіанинъ. А тайный потому, что *литовской почти боялся*. Вотъ намъ уже теперь легче; теперь почитай всѣ надворные у великаго князя—христіане, и въ дружинахъ не мало; а тогда десятокъ православныхъ между Литвинами насчитать было трудно.

— «Здравствуй, Гаштольдъ!» отвѣчалъ я, пожимая ему руку: «А что, видишь, узналъ. Съ чѣмъ тебя Господь Богъ къ намъ принесъ?»

— «Будто ты и не знаешь,» сказалъ Гаштольдъ: «Не прикидывайся! Великій князь говоритъ: Далъ бы-то Богъ Цвиркуна въ Кіевѣ застать; по старому знакомству, онъ бы дѣло уладилъ; не хотѣлось бы мнѣ святыхъ стѣнъ ломать.»

— «Осада, что-ли?» сказалъ я: «Какъ рѣшатъ бояре. Я одинъ—сторона! Ты знаешь, Гаштольдъ, что я съ людьми мало живу. Кони, да дикіе звѣря, вотъ мои бесѣдники; такъ и въ городской управѣ мало смыслю. И если ты меня засталъ въ Кіевѣ, такъ только потому, что война звѣрей распугала; а совѣтъ мой — простъ. Отъ одного Рюрика и Станиславъ кіевскій и Гедыминъ литовскій. Пусть идетъ къ намъ княжить, только чтобы вѣры нашей не касался. Вотъ и все тутъ!» Моло-

дые всѣ за Гедымина со мной стояли, а старые, какъ загорланятъ: «Какъ! чтобы мы, да на святой престолъ великокняжескій язычника пустили!» Пошелъ споръ. Старшій бояринъ дотого въ запалъ вошелъ, что бухъ, безъ приговора, въ большой колоколъ и ударилъ.

— «Война!» закричалъ онъ: «живые не дадимся!»

Уѣхалъ Гаштольдъ; приготовились мы къ защитѣ. Спѣшили мы Гедыминово полчище разовъ шесть; только и сами больно поразстроились. Все ждемъ, когда Гедыминъ городъ поджигать станетъ; ни одной запальной стрѣлы не летитъ; ни одной стѣноломной бойницы, или тарана не выдвинулъ старикъ мой; да, къ концу будетъ уже втораго мѣсяца осады, опять прислалъ Гаштольда и пишетъ: «чтобы христіане покойны были: городъ онъ возьметъ, но святыни ни жечь, ни ломать не будетъ.»

Видятъ бояре, что мой толкъ былъ неглупый, и пристали ко мнѣ: «поѣзжай къ Гедымину.»

— «Нѣтъ!» сказалъ я: «теперь не хочу. Развѣ будто на охоту пойду и заверну къ Гедымину въ гости.»

Выѣхалъ я нарядно. Дружина у меня была своя, немалая; конниковъ цѣлый сорокъ, да псарей съ полъ-сорока. Ѣду. Видно Гаштольдъ сказалъ Гедымину; вижу, и онъ, съ псарями и сокольничими, изъ стану выѣзжаетъ и норовитъ къ Шулявцинѣ. Съѣхались мы, поздоровались, нѣсколько словъ перекинули, и Гедыминъ всѣхъ своихъ отпустилъ,

приказалъ въѣздъ готовить, а самъ, со мной и съ моими людьми, заправду, на охоту поѣхалъ.

Какъ повидѣли бояре съ колокольни, какъ Гедыминъ нашимъ вѣритъ, ударили въ колокола, послали за владыкой и другимъ старшимъ духовенствомъ и отомкнули совсѣмъ настежь золотыя ворота. Пошла радость по всему стану и Кіеву.

— «Послушай,» говоритъ мнѣ Гедыминъ: «будь мнѣ другомъ, Цвиркунъ!»

— «Изволь, только заслужи!»

— «А вотъ увидишь! Бросимъ ловъ, завтра поохотимся, а теперь въ Кіевъ!»

— «Изволь, только помни слово.»

И вошелъ онъ въ Кіевъ, разумный старикъ мой! И поклонился Софіи и угодникамъ Печерскимъ, и Варварѣ Великомученицѣ и могиламъ князей нашихъ, и поцѣловалъ землю на Андрѣевской горѣ. Запировалъ Кіевъ. Баскаки татарскіе откланялись князю и отъѣхали.

— «Самъ я съ ханомъ вашимъ считаться буду,» сказалъ старикъ, отпуская сборщиковъ: «Казны у меня довольно, а Божьей вотчины тѣснить не дамъ.»

А я, что ни сдѣлаетъ разумнаго Гедыминъ, все старымъ боярамъ приговариваю: «Вотъ вамъ! Дивуйтесь по субботамъ!» Норовъ у меня такой; и въ горѣ и въ радости, люблю шутку.

Не прошло недѣли, Гедыминъ на славу устроилъ Кіевъ; былъ день воскресный: всѣ мы и великій князь, со всѣми дѣтьми: Мондвидомъ, Глѣбомъ, Ольгердомъ, Кейстутомъ, Любартомъ, Михайлой и даже

Явнутомъ, были у обѣдни; только Мондвидъ да Наримундъ т. е. Глѣбъ, были уже добрые подростки, а тѣ малъ-мала меньше. Глѣбъ давно уже былъ крещенъ и молился прикладно, и хорошо былъ наставленъ, и литургію зналъ. Гедыминъ, глядя на него, любовался.

— «Вотъ,» сказалъ мнѣ тихо Гедыминъ: «хочу я оставить Кіеву Глѣба!»

— «Молодъ крѣпко,» отвѣчалъ я: «лучше Мендога, племянника, голыпанскаго князя, оставь Кіеву: и вѣру любитъ, и разумѣетъ ученіе, и воля у него отцевская, и старѣе лѣтами. Съ боярами сладитъ.»

— «Быть по твоему!» сказалъ Гедыминъ; и когда митрополитъ окончилъ литургію и архидіаконъ на золотомъ блюдѣ вынесъ просфору и подалъ Глѣбу Гедыминичу, отецъ поглядѣлъ на меня и сказалъ тихо: «Эй, Цвиркунъ, не лучше ли Наримунда?»

— «Ни, ни!» отвѣчалъ я твердо. «Не лучше!»

И Гедыминъ взялъ за руку князя голшанскаго и, поставивъ его возлѣ себя, сказалъ: «Блюди святый градъ Кіевъ! Суди по правдѣ, яко добрый намѣстникъ нашъ; а вы добрые и, любезные дѣти мои, повинуйтесь ему, яко мнѣ самому!»

Изъ собора всѣ пошли къ великому князю на дворъ, гдѣ былъ приготовленъ большой прощальный пиръ. Долго шла бесѣда; много толковали о княжескихъ распряхъ и смутахъ! Гедыминъ тянулъ греческое вино рогъ за рогомъ, да и разговорился.

— «Далъ бы я Руси управу,» сказалъ онъ и веселѣ: «да что ты будешь съ Нѣмцами дѣлать? Пристали съ латинскимъ крестомъ; крестись насильно. А ужъ Литвину безъ воли житья нѣтъ; и озлобились, и трудно Нѣмцамъ! А на Руси нѣтъ лада, потому что некому уладить: старшаго нѣтъ. Вотъ мои дѣти въ дружбѣ растутъ, да приходится ихъ разлучить; кому уже кровь пускать пора, кому на сѣдлѣ ѣздить, кого еще изъ колыбели подымать трудно. На Олгерда и Кейстута много, много у меня надежды, да некому за ними смотрѣть, да учить. Благо Богъ мнѣ Цвиркуна послалъ; на руки тебѣ ихъ отдамъ: будь моимъ великимъ конюшимъ, да дѣтей пестуй!»

Поклонился я Гедымину за великую честь, только сказалъ: «Неукъ я, княже, возьми въ подмогу мнѣ изъ кіевскихъ ученыхъ. Ты вѣдаешь, Кіевъ всякому книжному разуму гнѣздо.»

— «Вѣдаю,» отвѣчалъ князь: «и будетъ потвоему! Пусть и дѣтей и меня старика учатъ. Грека Эроменеса, Хирона зодчаго, братьевъ Модрого, Водошанъ, что крѣпости брать умѣютъ, отца Геронтія съ причтомъ, да по его уже наказу честныхъ иноковъ, сколько нужно окажется; да скорописцевъ съ Андреевской горы трехъ, отпустите бояра съ нами въ Литву: надо городъ строить; порядокъ въ землѣ заводить; не то великокняжество мое скоро Москвѣ и Новугороду поклонится. Не посрамимъ великихъ предковъ... отъ земляковъ не отстанемъ!»

Много, много разумнаго говорилъ старикъ, и

послѣ пира надолго мы простились съ Кіевомъ и поѣхали въ Переяславль.

Много городовъ позабирали мы съ Гедыминомъ; старый вездѣ порядокъ обновили и уже къ осени пріѣхали въ Керново.

—

— «Славный край — моя Литва!» сказалъ мнѣ Гедыминъ, когда съ высокаго навѣса глядѣли мы на Керново.

— «Да куда же твоей Литвѣ до Кіева!» сказалъ я.

— «Э, не говори, Цвиркунъ! Поѣдемъ завтра на охоту, далеко поѣдемъ, диковины увидишь, святыя мѣста!»

— «Гдѣ тамъ такія святыя мѣста у литовской погани.»

Гедыминъ вздохнулъ и не отвѣчалъ ни слова. Разуменъ онъ былъ, да бѣсъ хитрѣе. Крѣпко держалъ онъ князя за сердце и не давалъ ему въ нутро Божій свѣтъ принять. Любилъ Гедыминъ свою литовскую погань, боялся только то показывать, и не нравилось ему, когда глаза ему язычествомъ кололи. Трудно было разобрать, что у него въ душѣ творилось. То онъ христіанства желалъ, то за поганщину стоялъ. Только ни тому, ни другому, на смѣхъ, никакой обиды не дѣлалъ. Поѣхали мы и на охоту; я и малышей княжатъ съ собой взялъ; придѣлалъ къ сѣдлу моему сидѣнья, да и посадилъ направо Ольгерда, налѣво Кейстута. Огонь, а не дѣти, какъ теперь помню. Дай

имъ тура убить. Ну какъ я имъ дамъ тура убить, когда я самъ такого звѣря съ-роду не видывалъ. На высокихъ горахъ живетъ этотъ звѣрь. Больше двухъ десятковъ лѣтъ ни кто во всей Литвѣ ни одного тура не видѣлъ. Я и говорю княжатамъ, что туръ ихъ — бабьи сказки. «А ты чѣмъ вчера медъ пилъ?» спрашиваютъ. Вотъ какіе острые княжата! Тогда я вспомнилъ, что точно то былъ турій рогъ, какого ни на быкахъ, ни на бѣловѣжскихъ зубрахъ я не видывалъ. Ѣдемъ, ѣдемъ, вдругъ пошли славныя горы, а потомъ озеро большое, и съ островомъ, и опять горы, а на одной горѣ — военный городокъ, Троки.

— «Чудо — не мѣсто!» сказалъ я: «И подъ Кіевомъ такихъ немного.»

— «Подари мнѣ, дядя, это мѣсто!» сказалъ Кейстутъ.

— «Не мое!» сказалъ я: «попроси у отца!»

— «Хорошо!» сказалъ Гедыминъ: «Я построю тебѣ здѣсь городъ, а пока и самъ жить буду.»

— «А мнѣ?» сказалъ Ольгердъ.

— «А тебѣ Керново!»

— «Не хочу Керново. Далеко отъ Нѣмцевъ.» Гедыминъ не успѣлъ отвѣчать. Передъ нами, съ высокой горы спрыгнулъ огромный туръ на желѣзные свои рога и побѣжалъ къ озеру. Спустили собакъ, а сами во весь скокъ за ними. Туръ напился воды, оглянулся и поглядѣлъ на насъ красными глазами. «Нашъ, нашъ!» подумали мы. Какъ бы не такъ. Прыгъ, скокъ; уже на скалѣ; мы за нимъ; больше добрыхъ двухъ часовъ гнались мы за нимъ:

ни духа, ни слѣда. Наѣхали мы на какую-то рѣку; на другой сторонѣ высокія, высокія горы, чудо — не горы; хоть бы въ Кіевъ ихъ поставить. А на горѣ, на лысой маковкѣ, туръ нашъ спитъ себѣ, только рога отъ дыханія колышутся.

— «Видишь, куда спать забрался!» сказалъ я, и первый бросился вплавь.

— «Куда ты?» закричалъ Гедыминъ: «Это Неристъ, святая рѣка; ты не знаешь ее; разсердится; ты мнѣ дѣтей утопишь!»

Я не любилъ никогда назадъ поворачивать. Плыву себѣ, да творю молитвы; дѣти сидятъ смирно, конь плыветъ знатно; вижу: Божіе благословеніе надо мной. Князь не вытерпѣлъ.

— «Вытащите его изъ рѣки!» закричалъ онъ ловчимъ; и тѣ струсили; нечего дѣлать, онъ бросился въ рѣку самъ, а тѣ уже за нимъ. Да куда! Я уже былъ на томъ берегу и княжатъ обсушивалъ.

— «Ну, милостивы боги!» сказалъ Гедыминъ, поглядывая направо. Посмотрѣлъ и я направо. Роща, высокая роща подъ высокой горой. На той горѣ бойница стоитъ, а въ рощѣ хоромы изъ камня, большія, а тамъ по берегу, будто весь какая, много домовъ. Ну, мнѣ до этого дѣла не было: у меня туръ на умѣ. Велѣлъ я воемъ ловчимъ спѣшиться; развязать и распутать сѣти, и пошли мы гору обходить; а князь хвать сѣкиру, да, словно кошка, и полѣзъ на гору. Не успѣли мы въ тихомолку и на полъ-горы взойти, какъ услышали ревъ, — страшный ревъ, такой, что

люди изъ рощи повыбѣжали. Мы сѣти бросили, ножи на-голо и, что мочи, на гору; высоко; духъ захватываетъ, да за князя страшно. Добрались мы до маковки, глядимъ: стоитъ себѣ Гедыминъ, опершись на сѣкиру, а туръ, такъ будетъ отъ него шагахъ въ двадцати, на пескѣ мечется: смерть его ломаетъ. Мы хотѣли докончить...

— «Не тронь!» сказалъ князь: «Я ему въ самое темя попалъ; не вотанетъ.» И вправду страшно захрапѣлъ звѣрь и духъ вонъ.

Пока ловчіе съ туромъ возились, пошли мы съ княземъ и княжатами, по горамъ, дальше. Правду сказать, всѣ горы, по Нерису и Вильѣ, будто на игрушку княжескимъ дѣтямъ вырѣзаны. А съ бойницы, что на угловой горѣ, — чудо не видъ! Внизу двѣ рѣки, одна другой краше; одна поменьше Вилья, Вельна, Виленка, разно ее называютъ, словно заяцъ съ утеса на утесъ прыгаетъ; шумъ такой, будто она дѣло дѣлаетъ; а другая тоже нетихаго десятка: широкая, спина у нея здоровая, добрые струги носитъ; на нашихъ глазахъ проѣхало шесть или семь большихъ струговъ съ разнымъ товаромъ въ Ковно. Славно было съ бойницы смотрѣть. Все какъ на ладони. Мѣсто подъ ногами какъ изъ земли вырѣзано; двѣ рѣки изъ него будто рогъ выдѣлали. На этомъ мѣстѣ большая роща, завѣтная, дерево подъ рядъ другому дереву; по всей рощѣ такъ чисто, что твои хоромы, а посрединѣ большая божница изъ камня, такъ какъ и теперь, та же самая.

— «Вотъ,» сказалъ Гедыминъ: «Святой Рогъ, дѣти! Такое урочище! Тутъ отецъ Зничь горитъ; тутъ святыня Перкуна. Видно, онъ отецъ за мной тура прислалъ, а я за войной давно здѣсь не былъ. Тутъ, дѣти, великій Криве-Кривейто живетъ, въ высокой бойницѣ, что за лѣсомъ бѣлѣетъ. Вотъ до чего Нѣмцы довели бѣдную отчизну вашу. Изъ далекихъ Пруссъ, отъ своего моря, по Нѣману, Криве-Кривейто, жреца жрецовъ, судію судій, гнали Нѣмцы да гнали, и куда загнали? Куда только туръ дорогу знаетъ.»

Оглянулся Гедыминъ и остановилъ ясныя очи на сосѣдней горѣ. Была она поменьше тѣхъ другихъ, только такая круглая, будто нарокомъ насыпана; на курганъ походила.

— «Не худо бы на такой горѣ,» сказалъ Гедыминъ: «послѣ смерти, свой прахъ положить. Вода не доскочитъ, а человѣку трудно.»

Задумался Гедыминъ. Помолчалъ, вздохнулъ и сказалъ: «Нѣтъ! Туръ нынче диковина! Видно не даромъ боги своего звѣря за мной посылали. Пойдемъ, дѣти, спросимъ у Криве-Кривейта, коли онъ насъ къ лицу своему допуститъ.»

Вотъ ужъ это мнѣ было не по сердцу. Словно въ колодезъ какой, надо было сходить на долину; были, правда, ступеньки когда-то изъ старой бойницы, да видно давно уже тутъ человѣческая нога не ходила; все поросло травой, а держаться не за что. Я и велѣлъ ловчимъ сѣть пустить по скалѣ, да копьями укрѣпить наверху, да внизъ лѣзть, да по мѣстамъ копья для опоры вколачивать. Дивил-

ся Гедыминъ выдумкѣ и мы спустились по добру по здорову, перешли рѣченку въ бродъ и прямо на Святой Рогъ. Тамъ такой страхъ былъ, что и разсказать трудно. Кудесники и кудесницы бѣжать отъ насъ благимъ матомъ къ Перкуновымъ хоромамъ, а другіе, что посмѣлѣе, за деревья попрятались, да словно лѣшіе изъ за пней выглядываютъ. Поймали мы одного. То былъ Вайделота, храмовый прислужникъ, именемъ Гинтовтъ; отъ дородности не могъ уйти; съ хари видно было, что плутъ и пьяница; а уменъ, нечего спорить, уменъ, и время показало, что уменъ. Гляди, чѣмъ онъ самъ теперь. Криве Кривейто на Святомъ Рогѣ, живетъ королемъ и, чай, съ Вайделотками женихается. Ужъ кто другой, пожалуй, а я его цѣломудрію не вѣрю!

— «Дома Лиздейко?» спросилъ князь по литовски.

— «Гдѣ теперь Литвины, коли князь ихъ на лысой кіевской горѣ съ русскими вѣдьмами забавляется!» отвѣчалъ Красный.

— «Ложешь! Гедыминъ на Святомъ Рогѣ!»

Гинтовтъ не смѣнался, но сталъ на колѣни и обратясь къ Перкуновой божницѣ, сказалъ торжественно:

— «Боги! благодаримъ! Вы привели его. Радуйтеся! Слаба еще противъ васъ латинская сила!»

Гедыминъ нахмурился. Думалъ я, что онъ отъ того нахмурился, что битъ обманщика собирается. А вышло не на мое. Проклятый Гинтовтъ въ немъ

бреа спугнулъ. Робко сказалъ князь: «Отецъ Вайделота, могу ли, удостоиться видѣть лице Лиздейки.»

— «Послѣ жертвы, князь! Очистись прежде жертвой.»

— «Подайте тура!» сказалъ Гедыминъ, какъ будто обрадовался: «Одинъ рогъ Перкуну, другой мнѣ на память, а изъ мяса устройте вечернюю трапезу!»

Не пошелъ я въ божницу; напрасно уговаривалъ меня Гедыминъ и малыни мои; и ихъ не хотѣлъ я пустить; да отецъ старше меня; увели ихъ; всѣ ушли, только я съ тремя ловчими остался и пошли мы бродить по рощѣ. Много времени прошло. Мы берегомъ до лошадей своихъ добрались и привели ихъ къ Святому Рогу. Тутъ проклятые стражники насъ въ рощу не пустили. Говорятъ: нельзя съ неочищенными животными на Рогъ ходить. Мы и устроили станъ подъ самой горой, гдѣ старая бойница была; раскинули шатры охотничьи; положили князю войлокъ да сѣдло; княжатамъ тоже постель приготовили; стали огонь раскладывать; а тутъ и князь воротился, такой веселый, въ рукахъ у него турій рогъ. Все усмѣхается. Пришелъ, да и легъ на свой войлокъ, да и заснулъ. Я давай княжатъ разспрашивать, что тамъ въ божницѣ было. Вотъ они и ловчіе мнѣ и разсказали: была жертва, потомъ пришелъ и Лиздейко и обласкалъ Гедымина и много говорилъ, чего и дѣти и ловчіе не поняли. Не спится мнѣ. «Что онъ тамъ наболталъ князю?» думаю себѣ.

Пока я думалъ, смерклось, всѣ уснули, а тутъ по всѣмъ горамъ пошла волчья перекличка; завыли такъ, что упаси Господи. И псы мои пошли выть; а всѣ спятъ, ничего не слышатъ: послѣ охоты сонъ крѣпокъ; я слушалъ, слушалъ, какъ псы и волки воютъ, да видно прискучилось, я взялъ, да и заснулъ. Просыпаюсь. Солнце глаза колетъ; всѣ спятъ; только одинъ Гедыминъ, безъ шлема, закинувъ руки назадъ, по берегу ходитъ, да думаетъ. Зѣвнулъ я раза три, да и сказалъ: «А что, княже?»

— «Дивный сонъ видѣлъ я...» отвѣчалъ князь. «Вонъ на той горѣ, что здѣсь зовутъ Лысой, видѣлъ я: волкъ ходилъ, такой большой, какъ бойница эта; весь онъ былъ въ желѣзномъ панцырѣ, а въ этомъ волкѣ сто другихъ волковъ было. Дивный сонъ!»

— «Какое же тутъ диво, когда я самъ съ вечера больше ста волковъ слышалъ?»

— «Разсказывай! Криве Кривейто все знаетъ. Вчера я въ этомъ убѣдился. Я уже послалъ къ Лиздейкѣ Гаштольда, пусть намъ этотъ сонъ растолкуетъ.»

— «Да я впередъ знаю какъ онъ растолкуетъ.»

— «А какъ?»

— «Скажетъ: наша братья злые волки и голодные; какъ завоемъ по всей Литвѣ, худо будетъ; дай серебра и золота: выть перестанемъ; а большой волкъ, — это я, Криве Кривейто.»

— «Видишь,» сказалъ князь, остановясь предо

мной, какъ будто корить меня хотѣлъ: «Я надъ твоей вѣрой никогда не смѣялся.»

Прикусилъ я по неволѣ языкъ и думаю себѣ: какой же онъ добрый и разумный! А тутъ и Гаштольдъ воротился и говоритъ, что Лиздейко велѣлъ костеръ ставить: будетъ сонъ толковать. Что онъ всю ночь не спалъ, все звѣзды считалъ, и много добраго для князя и народа узналъ. Гедыминъ живо заходилъ взадъ и впередъ, разбудилъ дѣтей и ловчихъ, не могъ дождаться вѣсти. Раздался и звонъ; Вайделоты ударили въ щитъ Перкуна; мы всѣ бѣгомъ за княземъ, и такъ чуть-чуть поспѣли. Передъ капищемъ стоялъ костеръ, покрытый краснымъ сукномъ, со ступеньками. Когда мы подошли къ костру, изъ божницы посыпалась Лиздейкина челядь разнаго рода; и дѣвушекъ много было тогда уже на Святомъ Рогѣ; и онѣ вынли и несли поломя въ золотыхъ свѣтильникахъ. И трубы заиграли и застучали тарелки, и на золотыхъ креслахъ Вайделоты вынесли стараго колдуна Лиздейку. Худой такой былъ Лиздейко: кожа да кости; даромъ что, вмѣсто пояса, ручникомъ бѣлымъ сорокъ девять разъ повязался, а все какъ лучина; на головѣ у него шапка колóмъ, и чего на этой шапкѣ не было? — и тесмы, и цѣпочки, и *намистья* (бусы) и дорогіе камни, и наверху золотое яблоко; черезъ плечо перевязь бѣлая, а на ней изъ разныхъ черныхъ книгъ краснымъ шелкомъ вышита всякая чертовщина. Какъ увидѣли Лиздейку наши Литвины-язычники, такъ на земь всѣ и повалились, а

онъ въ креслахъ сидитъ себѣ на красномъ кострѣ и усомъ не ведетъ. Посидѣлъ, посидѣлъ, да и сталъ баять.

— «Великій государь и защитникъ святыни! Боги благословляютъ тебя!»

Тутъ опять застучали и заиграли на трубахъ.

— «Высоко станетъ Литва и Нѣмцы устыдятся славы твоей! Дерзай!»

Опять трубы.

— «Сонъ твой знаменуетъ великую твердыню, и въ ней будетъ великая сила, и ни кто-не одолѣетъ желѣзныхъ костей того града! Слава Зиждителю!»

Тутъ ужъ и заиграли и запѣли; а Лиздейко взялъ свою кривулю, палку такую, съ тремя кривульками, сошелъ съ костра и подалъ ее князю.

— «Пошли жезлъ мой во всѣ концы Литвы,» сказалъ онъ: «и соберутся люди и въ одинъ годъ выростутъ стѣны на горѣ и долу, гдѣ разумъ твой укажетъ!»

— «Кого же пошлю я?»

— «Кого перваго повстрѣчалъ ты на Святомъ Рогѣ, тотъ къ чему нибудь въ этомъ дѣлѣ самими богами назначенъ.»

Князь указалъ на Гинтовта.

— «Благо!» сказалъ Лиздейко. «Всякое дѣло, послѣ боговъ, ума боиться.»

Чудное дѣло! Видно, что колдунъ! И недѣли не прошло, откуда ни возьмись, народъ толпами сходился на Турью гору; такъ мы ее прозвали и

устроили тамъ станъ великокняжескій; Гедыминъ, опричь Гинтовта, послалъ гонцевъ въ Керново, въ Троки, въ Ковно, даже въ Кіевъ и другіе русскіе города; пріѣхали и наши кіевскіе Волошане Модрого и зодчій Хиронъ — и пошла работа. На глазахъ росло Вильно. Воротился уже и Гинтовтъ съ заколдованной кривулей, и княгиня съ другими княжатами навѣстила насъ въ Вильнѣ, и воевода Давидь пріѣхалъ съ Нѣмана и всѣмъ Гедыминъ раздалъ мѣста и велѣлъ строиться. Что хочешь, только строй. Ну, мое дѣло было на княжьемъ дворѣ снарядить добрую псарню, да конюшни, да жилье для псарей и конюховъ. Все это надо было устроить на низу, не въ замкѣ. Такъ я и сдѣлалъ; а для себя я выбралъ на другой сторонѣ рѣчки важное мѣсто; заложилъ хоромы, гдѣ и теперь живу, на Виленкѣ, да, по сосѣдству, для отца Геронтія церковь съ домомъ.

Осень шибко шла впередъ. Пришло къ намъ въ Вильну и польское посольство; звалъ насъ Владиславъ Нѣмцевъ воевать. Гедыминъ ни отъ какого союза никогда не отнѣкивался.

— «Буду,» сказалъ онъ посламъ: «Пусть только рѣки замерзнутъ. Теперь пути нѣтъ.»

Отпустилъ князь пословъ и сталъ одѣваться. На ту пору приходитъ Гаштольдъ и говоритъ: «Литвинъ изъ Пилоны до тебя дѣло имѣетъ!»

— «Позови!»

Вошелъ мужчина лѣтъ тридцати пяти. Ростъ его всѣмъ намъ показался дивомъ. Головой выше великаго князя. Плечи и руки словно дубовыя

бревна на желѣзныхъ вереяхъ; лице умное, но тоской подтянуло. Ножъ у него за поясомъ иному молодцу въ мечи годенъ.

— «Что тебѣ надобно?» спросилъ Гедыминъ, дивуясь на гостя.

— «Тоска сломала!» сказалъ онъ такимъ голосомъ, будто волкъ завылъ: «Пятый годъ искалъ я моей жены. Нашелъ, государь, нашелъ, да назадъ взять не могу.»

— «Гдѣ твоя жена?»

— «Въ Остерроде, у рыцаря Іоанна Эндорфа.»

— «Да какъ же попала она туда?»

— «А помнишь, какъ мы сами Пилону отстояли; ты не пришелъ къ намъ на помощь. Городъ я спасъ, да жену потерялъ. Нѣмцы изъ-подъ носа украли!»

— «Князь Маргеръ!» сказалъ Гедыминъ, вставъ съ мѣста и подавая ему руку: «Я за тебя отомщу! Десять Нѣмокъ за одну подарю.»

— «Не хочу жены Нѣмецкаго Кесаря; вороти мнѣ Германаду, что краше и въ Ковнѣ не видали. Пять лѣтъ искалъ я ее; изъ города въ городъ, всѣ Пруссы обошелъ; былъ въ Маріенбургѣ и Гданьскѣ, Королевцѣ и другихъ городахъ; языку ихъ научился. Пѣлъ врагамъ моимъ литовскія пѣсни; христіанивомъ прикинулся Нашелъ, наконецъ, да взять не могу, силы не хватаетъ: Эндорфъ командоромъ въ Остерроде.»

«Слово, Маргеръ, по первому льду, пойду на Остерроде.»

— «Слово, князь, умру за тебя и не вздохну.»

— «А пока живи у меня!»

— «Нѣтъ, князь! Межъ людей мнѣ тяжело; я въ лѣсъ уйду; а по первому морозу прійду за тобой...» сказалъ Маргеръ и ушелъ.

И вправду. Напрасно искали его. Пропалъ Маргеръ. Но ударилъ первый морозъ, и князь Маргеръ явился. Въ два дни изготовились мы къ походу; на третій, пошли въ путь.

Походы Гедымина и теперь уже на сказки похожи! А давно ли, кажется? Не любилъ онъ съ Нѣмцами поля держать. Нѣтъ. Словно саранча, на Украйнѣ, далеко за Кіевомъ, на цѣлую область набѣжитъ. Нѣмцы и не знаютъ куда рвануться; и тамъ и въ другомъ и въ десятомъ мѣстѣ слышно про Гедымина; подумаешь, что у него заколдованные сапоги. Вся дружина на коняхъ; обозъ гдѣ нибудь въ темномъ лѣсу поставилъ, да и давай кружить. Словно очарованный кругъ колдуна, кругомъ деревни и села горятъ; изъ высокихъ каменныхъ бойницъ глядятъ на насъ рыцари, да дивуются, а ни одинъ въ полѣ носа показать не смѣетъ. Гонцы только изъ города въ городъ ѣздятъ, да покуда соберутся ихъ конвенты или монастыри, уже нашъ обозъ опять въ лѣсу, да только въ другой области, стоитъ. Поживемъ, бывало, въ Пруссахъ мѣсяцъ, такъ плѣнныхъ куда больше, чѣмъ войска. Насилу до Литвы ихъ догонимъ. Что въ этотъ походъ князь Маргеръ дѣлалъ, пересказать трудно. Цѣлаго рыцаря съ бою убилъ и послалъ съ двумя плѣнными въ Королевецъ великому орденскому маршалу въ гостинецъ.

Шесть деревень сжегъ на свою долю, а всю добычу великому князю подарилъ. Но когда мы стали подходить подъ Остерроде, Маргеръ проситъ Гедымина: «Не вели здѣсь жечь деревень! Командоръ насъ заслышитъ.»

— «Ладно!» сказалъ князь; и пошли мы въ тихомолку; слова дорогой не перемолвили; малыши мои ни гугу. Боже Великій! Какая это была дружина. Народа тысячъ семь, восемь, а стука, шума... подумаешь, что одна телѣга шагомъ по дорогѣ тащится. Пришли мы подъ Остерроде въ ночь, темно, хоть глаза выколи, а Маргеръ, будто кошка, все видитъ, все Гедымину разсказываетъ, да учитъ. Но великій князь велѣлъ сидѣть смирно; свѣта дожидаться; изъ лѣса до поры не выѣзжать ни кому; сидѣть всѣмъ на коняхъ, порядка ради. Потомъ сказалъ кому гдѣ быть, кому съ кѣмъ идти Мигнуло глазкомъ сѣрое утро. Люди спѣшились и пошли. Я съ княжатами остался при Гедыминѣ, съ запасною дружиной. Маргеръ и Давидъ повели людей на приступъ. Раздался гамъ и крикъ. На стѣнахъ зачернѣло, на бойницахъ выскочили огни вѣстовые.

— «Наша взяла!» сказалъ Гедыминъ и вправду задымились хоромы, гдѣ рыцари платье свое держали; поднялось полымя; освѣтило и насъ и Нѣмецкую твердыню. Видимъ, гонятъ нашихъ назадъ; валятся Литвины съ лѣстницъ. Гедыминъ хотѣлъ-было на помощь ударить, да поглядѣлъ на бойницы: вѣтеръ на всѣхъ башняхъ знамена качаетъ. Вонъ Баварское знамя, вонъ знамя вели-

каго маршала, вонъ большое знамя Божіей Матери — и Гедыминъ затрубилъ на отступленіе. Псы у меня не были такъ учены и поворотливы, какъ Литвины у Гедымина. Послѣ третьей трубы, вся дружина была уже въ чистомъ полѣ; впереди не шелъ, бѣжалъ Маргеръ; на рукахъ у него лежала женщина, обмороченная испугомъ. Онъ упалъ передъ великимъ княземъ на колѣна, держа на рукахъ дорогую ношу.

— «Вотъ она!» кричалъ онъ такъ, что, я думаю, въ Остерроде было слышно. «Вотъ она! Теперь, князь, вели мнѣ умереть. Пойду, куда прикажешь!»

— «Правъ Лиздейко!» отвѣчалъ князь. «Милостивы боги! Знаешь ли, Маргеръ, на кого мы наткнулись? Погляди на бойницы, видишь ли, узнаешь ли эти знамена? Великій магистръ со всѣмъ орденомъ въ Остерроде.»

Маргеръ поглядѣлъ на бойницы и покачалъ головою.—«Вправду милостивы боги!» сказалъ онъ «Изъ рукъ всего ордена я вырвалъ мою Германаду! Чудное дѣло! Я зажегъ ихъ хоромы, я выломалъ желѣзныя двери старой темницы, гдѣ ее пряталъ Эндорфъ отъ магистра, отъ старшихъ и младшихъ братій; я унесъ ее, положивъ трупомъ многихъ челядниковъ и сошелъ со стѣны только по твоему призыву. Право чудное дѣло!»

Германада очнулась. Надо было видѣть ея радость, счастіе: она бросалась къ Маргеру, обнимала, цѣловала его, то хватала велико-княжескую ногу и обливала ее благодарными слезами. Но

вдругъ Германада какъ будто опомнилась, начала озираться и глазами искать чего-то. Лице ея стало такое бѣлое, исковеркалось; она прижалась къ Маргеру и стала шептать, да такъ, что слушать было страшно: «А гдѣ же дѣти?»

— «Какія дѣти?» задрожавъ всѣмъ тѣломъ, спросилъ Маргеръ.

— «Дѣти мои! Мой Альфъ, моя Альдона! Пустите меня, я сейчасъ принесу ихъ, пустите меня!»

— «Ихъ убили!» сказалъ Маргеръ.

— «Убили!» закричала она и повалилась, ни жива, ни мертва, къ ногамъ Маргера.

— «Какъ, Маргеръ, неужели ты убилъ дѣтей?» спросилъ князь строго.

— «Нѣтъ, князь! Но она должна такъ думать. Она должна забыть объ этихъ нечистыхъ дѣтяхъ; я не убилъ ихъ, потому что не встрѣтилъ!»

Въ это время съ бойницъ сняли вдругъ всѣ знамена.

— «Ого!» сказалъ князь: «Магистръ идетъ самъ за Германадой! На коней!»

И всѣ усѣлись. Маргеръ взялъ полумертвую на сѣдло: раздались трубы — и мы ушли.

Магистръ со всѣмъ войскомъ потянулся за нами къ берегамъ Нѣмана, а намъ домой еще не хотѣлось; мы пошли гулять, да жечь посады другихъ твердынь Нѣмецкихъ.

—

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

ЭПИЗОДЪ ПЕРВЫЙ.

КНЯЗЬ МАРГЕРЪ ПИЛОНСКІЙ.

—

II.

ПЕРКУНЪ.

«Слухомъ земля полна! Все, что́ я вамъ ни разсказываю, или самъ видѣлъ или слышалъ отъ добрыхъ и вѣрныхъ людей. Магистръ походилъ, походилъ съ войскомъ, потерялъ слѣдъ, да и вернулся въ Остерроде; не хотѣлъ онъ идти дальше; поджидалъ гостей отъ Кесаря, отъ Чеховъ и отъ другихъ далекихъ странъ. Твердыню Остерроде назначилъ онъ сборнымъ мѣстомъ всему христіанскому воинству; такъ по всему свѣту и доминикане кричали со своихъ амвоновъ, а Вернеръ Орселенъ за это платилъ имъ литовскимъ золотомъ. Воротился Вернеръ въ Остерроде. Опять на бойницы поставили знамена, а Вернеръ отпустилъ всѣхъ рыцарей по домамъ и пошелъ въ свои покои.»

— «Здравствуй, Перкунъ!» сказалъ онъ, входя въ опочивальню. Навстрѣчу ему бросилась небольшая собаченка и ну ласкаться. «Полно, полно, Перкунъ!» сказалъ онъ, скинулъ свой длин-

ный бѣлый плащъ, съ чернымъ крестомъ на лѣвомъ боку, положилъ мечъ на столъ, гдѣ лежала раскрытая книга и образъ Богоматери; отстегнулъ длинный нагрудный свой крестъ съ императорскимъ гербомъ и французскими лиліями, и, читая громко молитву, поцѣловалъ тотъ крестъ трижды. Вошелъ домовой командоръ Іоганнъ Эндорфъ. Домовой — это у нихъ, у Нѣмцовъ, такая отличка. Полные командоры, въ большихъ городахъ, а домовые — въ малыхъ; а Остерроде была только добрая твердыня, безъ посадовъ, и конвентъ или монастырь тамъ былъ только одинъ. Вошелъ Эндорфъ, Перкунъ залаялъ, великій магистръ обернулся.

— «Что тебѣ надо?» спросилъ Вернеръ сурово.

Бѣдный Эндорфъ онѣмѣлъ. Лице у него было блѣдно; руки и ноги дрожали; губы тоже, и были такія синія, будто ядомъ помазаны. Вернеръ никогда не смотрѣлъ на людей, когда съ ними говаривалъ; онъ только подкладывалъ изсохшую, костлявую руку подъ желтую свою бороду и, глядя въ землю, слушалъ; а тутъ слушать было нечего. Эндорфъ молчалъ.

«Братъ, Іоаннъ, говори!» сказалъ опять Вернеръ: «я слушаю.»

Эндорфъ молчалъ, и Вернеръ поглядѣлъ на него изъ-подлобья.

— «Слуги Христовы,» опять началъ Вернеръ, «не знаютъ счастія и несчастія! Смута не должна являться подъ нагруднымъ крестомъ нѣмецкаго рыцаря! Тамъ нѣтъ страстей! Только долгъ! Говори, Іоаннъ, мнѣ некогда!»

— «Будь, что будетъ!» сказалъ внепотомъ Эндорфъ: «Государь!» продолжалъ онъ, возвысивъ голосъ: «Пойдемъ на Гедымина! Онъ взялъ у меня великую добычу сегодня ночью! Намъ должно воротить!»

Вернеръ молчалъ.

— «Ты былъ молодъ,» продолжалъ Эндорфъ, ободренный внимательнымъ молчаніемъ Вернера. «Тебѣ понятно, государь, что всякое сердце — не желѣзо, пока его не закалитъ время. Ты любилъ?»

Вернеръ презрительно улыбнулся. Знаменитый Вернеръ Орселенъ въ молодости былъ свѣтскимъ рыцаремъ, и точно, полюбилъ онъ какую-то графиню, знатную боярыню и красотой и родомъ и вѣномъ; та было и обѣщала ему замужъ выйдти; пока Вернеръ къ свадьбѣ готовился и замокъ убиралъ, та взяла, да и вышла за другаго. Стыдъ на всю нѣмецкую державу, и Вернеръ Орселенъ явился въ Маріенбургѣ, и подарилъ нѣмецкому ордену всѣ свои замки, помѣстья, сокровища, а самъ пошелъ въ Рагниту, гдѣ въ монастырѣ не хватало двухъ рыцарей, и сѣлъ въ кельѣ, на имя апостола Ѳомы. У нихъ, у Нѣмцовъ, такой обычай: въ монастырѣ ни больше, ни меньше двѣнадцати келій; каждая на имя одного изъ апостоловъ. Пошелъ Вернеръ знатно служить ордену; по порядку всѣ чины прослужилъ; былъ онъ командоромъ въ Рагнитѣ, потомъ полнымъ командоромъ въ Королевцѣ; черезъ годъ великій командоръ казначеемъ его назначилъ; а въ скорости онъ поступилъ въ великіе шпитальники, изъ этого чина въ великіе

маршалы его выбрали, а потомъ въ великіе магистры. Онъ и такъ мало о чемъ любилъ говорить, а ужъ о томъ, что было съ графиней, упаси Господи... слышать не могъ. Такъ, когда ему Эндорфъ объ этомъ напомнилъ, онъ только улыбнулся и все молчалъ.

— «Ты любилъ,» продолжалъ Эндорфъ: «и будь, что будетъ, ты меня выслушаешь и не осудишь. Когда я напалъ на Пилону, досталась мнѣ богатая добыча, много плѣнныхъ, много казны. Всѣхъ и все я сдалъ свято тебѣ же, ты помнишь, когда ты былъ нашимъ казначеемъ... но утаилъ только одну женщину.»

— «Женщину! Ты утаилъ женщину! Ты развѣ забылъ наше правило; ты развѣ не клялся во всю жизнь не говорить ни съ одной женщиной, не цѣловать даже матери?!»

Такъ заговорилъ магистръ; глаза налились кровью, кулаки сжались.

— «Кто же эта женщина?»

— «Жена богатаго пилонскаго Литвина, княжескаго рода, именемъ Маргера!»

— «Жена! И ты раздѣлялъ съ чужею женою ложе грѣха?!»

Поднявъ велико-магистерскій крестъ свой вверхъ, Вернеръ продолжалъ:

— «Передъ символомъ Спасителя нашего, признавайся!»

— «Пять лѣтъ я жилъ съ нею!» отвѣчалъ Эндорфъ со слезами.

— «Прижилъ дѣтей?»

— «Принялъ двухъ и окрестилъ, во имя отца моего и матери, Альфомъ и Альдоной!»

— «Языческія имена!»

— «Отецъ и мать мои были Литвины; ихъ насильно окрестилъ великій маршалъ, сначала водою, потомъ кровью; онъ убилъ ихъ, зачѣмъ измѣнили новому закону!»

— «Гдѣ же укрывалъ ты свою плѣнницу?»

— «Я украсилъ старую темницу шелкомъ и бархатомъ; тамъ я былъ счастливъ!»

— «А законъ? Какъ смѣлъ ты имѣть грошъ свой, безъ моего позволенія? Какъ смѣлъ ты спать не на соломѣ, не въ кельѣ? А твой конвентъ также развратничалъ; я слышалъ объ этомъ; ночью рыцари запирали свои кельи; имѣли сундуки съ замками, не сдавали казначеямъ добычи... Чего! Ко мнѣ писали командоры, что видѣли рыцарей нашихъ съ позолоченнымъ оружіемъ: вѣрно, это рыцари изъ твоей дюжины? Вы хотите уподобиться лифляндскимъ отступникамъ? Меченосцы погибнутъ, если я не уйму ихъ. Гдѣ же теперь дѣти твои?»

Эндорфъ молчалъ. Лице его измѣнилось. Онъ какъ волкъ глядѣлъ на магистра.

— «Ступай въ темницу!» сказалъ Вернеръ: «Послѣ вечерни тебя осудятъ!»

— «Именемъ графини Берты, заклинаю тебя...» сказалъ Эндорфъ, задыхаясь.

— «Ступай въ темницу!»

— «Не пойду!» отвѣчалъ рѣшительно Эндорфъ: «Я командоръ, не простой рыцарь! Надѣюсь въ

собратьяхъ моихъ найти больше христіанскаго милосердія. Иду въ палату и жду собора.»

— «Послѣ вечерень, послѣ вечерень!» отвѣчалъ Вернеръ сухо и указалъ Эндорфу на двери. Вернеръ остался одинъ, позвалъ послушника и приказалъ просить великаго командора. Пришелъ великій командоръ.

— «Братъ!» сказалъ Вернеръ: «вели сломать двери въ старой темницѣ!»

— «Ихъ сломали уже ночью Литвины.»

— «Такъ отыщи двухъ младенцевъ и тотчасъ пошли ихъ къ Гедымину; пусть отдастъ ихъ матери, женѣ князя Маргера Пилонскаго. Младенцы въ грѣхѣ отца невинны! Это они навлекли сегодня ночью опасность на Остерроде. Ступай и исполни! Я иду къ вечернѣ.»

Несчастный Эндорфъ сидѣлъ въ трапезной палатѣ и думалъ горькую думу. То приходило на умъ самому погнаться за Гедыминомъ, то просить соборъ, то то, то другое. Вошелъ рыцарь его дюжины, Гуго Вейсбахъ.

— «Командоръ!» сказалъ Гуго: «Наши собрались къ вечернѣ. Прочіе конвенты пошли, только нашъ остался; да великій командоръ на дворѣ какихъ-то дѣтей нашелъ и послалъ съ двумя плѣнными Литвинами къ Гедымину.

— «Уже послалъ?» закричалъ Эндорфъ.

— «Давно! А теперь самъ вездѣ ворота запираетъ!»

— «Хорошо, хорошо, Гуго! Ступай, скажи на-

нимъ, пускай идутъ къ вечернѣ; у меня есть тутъ дѣло.»

Гуго ушелъ. Эндорфъ сталъ горько плакать.

— «Дѣти мои! я отомщу за васъ!» сказалъ Эндоръ и пошелъ къ магистру. Нѣтъ замковъ на дверяхъ во всѣхъ жилищахъ ливонскихъ рыцарей, какого бы чина они ни были; опочивальня магистра такъ же проста, какъ и келья послѣдняго рыцаря; изъ опочивальни идетъ длинный, темный переходъ прямо въ домовую церковь, а по сторонамъ еще три комнаты: трапезная, пріемная, да оружейная. Вотъ и все тутъ. По малой мѣрѣ, когда я ѣздилъ въ Авиньонъ, видѣлъ десятка два твердынь нѣмецкихъ; всѣ на одинъ ладъ. Вошелъ Эндорфъ въ темный переходъ и притаился въ углу у самыхъ дверей въ опочивальню. Ждалъ, пождалъ онъ не мало; вечерня отошла; двери церкви отворились; вошелъ въ тотъ же переходъ и Вернеръ. Уже великій магистръ взялъ большой деревянный крюкъ, служившій ручкой дверямъ; уже отворялъ опочивальню; какъ Эндорфъ поразилъ его въ сердце. Только и успѣлъ сказать Вернеръ: «Прости ему, Господи!» Умеръ; а изъ растворенныхъ дверей опочивальни, откуда ни возьмись, Перкунъ, собаченка, подняла такой лай да визгъ, что по всему замку было слышно. Первые прибѣжали прислужники, потомъ всѣ старшины! Искали убійцы: нигдѣ не было. Подняли Вернера, понесли въ больную палату, велѣли ударить въ колоколъ, — и Палата наполнилась множествомъ рыцарей. Перкунъ лежалъ на груди Вернера и вылъ немило-

сердо. Последній вошелъ Іоганнъ Эндорфъ. Перкунъ поднялъ голову, встрепенулся и съ лаемъ бросился на Эндорфа. Напрасно отгоняли онъ собаченку; она рвала плащъ его, кусала за ноги. Великіе чины ордена окружили Эндорфа. Раскрыли плащъ: вся одежда была обрызгана кровью; оружія съ нимъ ни какого не было.

— «Гдѣ мечъ твой?» спросилъ великій маршалъ.

Эндорфъ засмѣялся и отвѣчалъ покойно: «Будто вы его не видѣли? А что подъ сердцемъ у этого язычника?»

— «Онъ сумасшедшій» сказалъ великій командоръ.

— «Сумасшедшій!» закричалъ обрадованный Эндорфъ. «Сами вы сумасшедшіе! Я знаю, что я сдѣлалъ. Это Маргеръ, язычникъ. Онъ у меня жену укралъ, а я его убилъ.»

Всѣ засмѣялись.

— «Смѣйтесь, смѣйтесь! Увидите какое спасибо отвѣситъ мнѣ Вернеръ. Пусть только вечерни отойдутъ! А что, скоро отпоютъ вечерни?»

— «Тутъ нѣтъ ни какого сомнѣнія!» сказалъ великій командоръ. «Отведите больнаго въ главную больницу! Великій шпитальнинъ! Возьми его подъ свое начало. Напишемъ къ папѣ, пусть рѣшитъ его святѣйшество!»

Всѣ одобрили совѣтъ великаго командора, и Эндорфа, подъ крѣпкой стражей, отвели въ особую комнату больницы и тамъ заперли. Тутъ случилось дивное дѣло. Собаченка Перкунъ оставил

трупъ Вернера, пошла за Эндорфомъ и улеглась у дверей его, вмѣстѣ со стражей. Говорятъ, — ужъ это я отъ другихъ слышалъ, — будто она тамъ пролежала до тѣхъ поръ, пока не пришло изъ Авиньона папское рѣшеніе. Папа указалъ Іогана Эндорфа на всю жизнь запереть въ монастырь Байербургскій и держать его на хлѣбѣ и водѣ. Отвели его, Эндорфа, въ Байербургъ и отдали на руки монахамъ. А Перкунъ проралъ безъ вѣсти. Поди, послѣ этого, разскажи будто собака, просто собака. Нѣтъ, не вѣрю, есть въ ней еще что-нибудь, окромя собаки.

—

Мы этого ничего не знали. Стояли мы уже подъ Эльбингой, больнимъ нѣмецкимъ командорствомъ; знали мы, что народу ратнаго въ ней не много, такъ почему же посадовъ не сжечь. Сожгли. Больше трехъ тысячъ плѣнныхъ взяли и сѣли, послѣ дѣла, повечерять. Сидимъ, пьемъ, какъ передовые стражи зашумѣли.

— «Кто тамъ?» спросилъ Гедыминъ.

— «Литвины изъ Остерроде пришли, дѣтей какихъ-то принесли тебѣ, великій князь отъ великаго магистра, въ гостинецъ.

— «Что за диво!» сказалъ Гедыминъ, подымаясь на ноги. Но сердце матери угадало. Германада съ крикомъ бросилась въ ту сторону, гдѣ былъ шумъ и принесла на рукахъ Альфа и Альдону.

— «Дѣти мои! Счастье мое! Радость моя!»

кричала она и сладко плакала, обнимая и цѣлуя дѣтей. Альфъ уже былъ по четвертому году, Альдона по третьему. Правда, красивыя дѣти. Всѣ глядѣли на нихъ и любовались. Только одинъ Маргеръ нахмурился и отворотился.

— «Что съ тобой, Маргеръ?» спросила Германада. «Или ты не радъ моей радости?»

— «Проклинаю Вернера! Онъ съумѣлъ отомстить мнѣ; онъ прислалъ свидѣтелей стыда моего; бросилъ въ домъ мой горе и несчастіе. Ступай, Германада, въ Пилону одна, съ этими нѣмецкими щенятами. Я не пойду въ тотъ домъ, гдѣ они будутъ!»

Германада опустила руки и смотрѣла на мужа такъ жалобно, такъ жалобно, что у меня слезы навернулись.

— «Чѣмъ же дѣти виноваты?» спросила она такъ тихо, что мы всѣ уши къ ней протянули.

— «Какъ хочешь, Германада! Или я, или они! Вмѣстѣ намъ быть нельзя!..

— «Куда же я ихъ дѣну?» спросила она жалобно.

Всѣ молчали.

— «Отдай ихъ мнѣ! «сказалъ Гедыминъ.» Я ихъ вмѣстѣ съ дѣтьми моими возращу. Альфа женю на княжеской дочери, Альдону за князя выдамъ. Я не дурной отецъ!..» прибавилъ онъ, улыбаясь и посмотрѣлъ на княжатъ, а малыши мои и пристали къ нему: подари имъ твхъ дѣтей!

— «Возьми ихъ князь изъ рукъ моихъ» сказала Германада, словно богатырь какой и подвела ихъ къ Гедымину. Обрадовался Маргеръ и хотѣлъ

жену поцѣловать; та его оттолкнула и сказала пуще прежняго:

— «Прочь! ты отверіъ невинныхъ дѣтей моихъ; ты мнѣ болыне не мужъ. Ненужно мнѣ ни ихъ, ни тебя.»

Германада сняла съ себя повязку, что замужнія бабы носятъ, разорвала ее на мелкіе куски; распустила свои чудныя волосы, и сказала: «Есть у насъ въ Пилонѣ храмъ Нийолы! Посвящаю себя служенію богинѣ преисподняго царства!» и упала въ ноги Гедыминy.

— «Вотъ тебѣ разъ!» сказалъ я: «Одной красавицей меныне!»

— «Что дѣлать!» сказалъ Гедыминъ печально: «Боги слышали обѣтъ Германады.»

Я вамъ говорю, что такого богатыря-бабы я и во снѣ не видывалъ. Встала она. Ни слезинки. Ѣла и пила. Плѣнъ свой разсказывала. Ни на мужа, ни на дѣтей не посмотрѣла. Хоть бы разокъ вздохнула. А правду сказать, подъ стать она была князю Маргеру. Ростъ и дородство диковинныые; руки — словно изъ слоновой кости выточены, шея — лебедя ненадо, а все такое, что страхъ смотрѣть: соблазнъ беретъ; и Маргеръ какъ къ ней ни подбривался, какъ ни ласкался, остался въ дуракахъ.

Еще и вечеря наша не кончилась, опять шумъ у передовыхъ. Что такое? Лазутчики наши прибѣжали и объявили о смерти Вернера. Всталъ Гедыминъ и сказалъ громко, такъ, чтобы всѣ слышали:

— «Домой! Въ чужомъ дворѣ, безъ хозяина, стыдно разбойничать! Домой!»

И пошли мы домой, и Гедыминъ, на пути, князя Маргера намѣстникомъ въ Пилонѣ поставилъ. «Авось помирятся» сказалъ онъ: «Время врачъ.»

Пришли мы въ Вильно. Гляжу — домъ мой готовъ. Размѣстилъ я, какъ могъ, княжатъ моихъ, и Альфа съ ними; только особаго дядьку ему придалъ: больно малъ былъ. А дѣвочку Альдону отвезъ къ великой княгинѣ въ нижній замокъ. Пошло все по прежнему. Ждали вѣстей отъ Нѣмцевъ, да охотились, да въ Троки ѣздили смотрѣть: какъ Кейстуту городъ строятъ, да еще пословъ разныхъ принимали, да княженъ сватали. Больше всего я хлопоталъ за Августу, во святомъ крещеніи Анастасію. Это была моя любимица. И когда на Москву ее отвозилъ въ жены князь-Семенъ-Иванычу, крѣпко больно было съ нею разставаться. Такъ вотъ все на этомъ свѣтѣ: только и добра въ немъ, что онъ Божіе добро. А гдѣ вся эта семья князей и княженъ, шесть сыновей, семь дочерей? А вотъ привелъ Богъ многихъ похоронить, со многими навсегда проститься. И какъ ни молодись, а смерть изъ чары пива глядитъ! Ну, да это не мое, Божіе дѣло.

Прошло съ тѣхъ поръ года четыре и воевода Давидъ прискакалъ; ночью Гедымина разбудилъ; собрали насъ всѣхъ ближнихъ. Что такое? Крестоносцы въ Маріенбургѣ пришли, больше двухъ сотъ рыцарей, а между ними сынъ императора, маркграфъ бранденбургскій Людовикъ, графъ Немуръ, Филиппъ графъ Геннебергскій; вотъ какіе пришли!

— «Вотъ тебѣ разъ!» сказалъ я: «Можно бы имъ и хвостъ подрѣзать. Завтра же подъ Королевецъ,

или хоть подъ самый Гданьскъ, черезъ Мазовецкую землю.»

— «Можно бы, да у меня вся дружина въ разбродѣ:» отвѣчалъ Гедыминъ: «кто подъ Кіевомъ, кто въ Овручѣ, кто у сына на Волыни, кто у Псковитянъ, у Полочанъ; вездѣ нужда. Боги милостивы! Поглядимъ, да посмотримъ; время терпитъ.»

А между тѣмъ Крестоносцы съ великимъ магистромъ Теодорикомъ Альтенбургскимъ стали въ Байербургѣ собираться. Говорилъ я вамъ, что въ томъ Байербургѣ, на самомъ рубежѣ нашемъ, Іоганъ Эндорфъ у монаховъ сидѣлъ. Болыне года онъ уже былъ на волѣ; могъ по монастырю ходить, только его изъ ограды не пускали, и то потому, что знатно людей морочилъ, народъ лечилъ, сны толковалъ, и всякимъ юродивствомъ занимался; и до того дошелъ, что самому папѣ смерть предрекъ. Немудрено, что Эндорфъ на Пруссы испугъ навелъ. Что утро — у него гости. Кто лекарства проситъ, кто судьбы у него ищетъ, а онъ вретъ, да вретъ, а товарищи деньгу лупятъ Узналъ Эндорфъ, что Крестоносцы, по пути въ Литву, и въ Байербургъ зайдутъ. Три дни ни ѣлъ, ни пилъ Эндорфъ. На четвертый приходитъ въ церковь и сталъ говорить, «что все Крестовое войско погибнетъ, если не возьметъ языческой Пилоны: тамъ самое гнѣздо; тамъ язычество укореняется развратомъ жрицъ.» И многое, многое говорилъ, до того, что весь Байербургъ ему повѣрилъ. Пришелъ и великій магистръ со всѣмъ войскомъ. Ему тотчасъ

пересказали всѣ рѣчи Эндорфа. Понравились Теодорику тѣ рѣчи; и онъ говоритъ именитымъ гостямъ: «Великой это раскаянникъ! Ему надо вѣрить...» Повѣрили ему и Крестоносцы. Наступилъ день выхода изъ Байербурга. Чины ордена и гости собрались къ обѣднѣ; приходитъ Эндорфъ въ посошницкой ряси и при всѣхъ говоритъ великому магистру: «Дай мечъ мнѣ, да иду предъ вами, но креста носить не смѣю!» Дали ему и мечъ и пошли прямо на Пилону, или Пуллонъ, какъ Нѣмцы зовутъ этотъ городъ. Тамъ княжилъ Маргеръ. Тамъ была славная божница Нийолы: Германада была жрицей. Долго надѣялся Маргеръ умилостивить жену, но всѣ усилія были напрасны. По смерти главной жрицы, Германада заступила ея мѣсто. Тутъ ужъ нечего было думать. Маргеръ со злобы женился на молодой Пилоняпкѣ, и дѣтьми завелся. Какъ пошли дѣти, Германада уступила на мировую, и частенько князь Маргеръ, поздно ночью выходилъ изъ храма Нийолы. Шептались люди, да ничего сказать не смѣли; тотъ былъ княземъ, а та верховной жрицей. Взятки гладки. Но ропотъ, хотя и тайный, а все ходилъ въ народѣ. Говорили: «не нажить бы городу бѣды отъ такого соблазна...» Народъ какъ ни простъ, а смекаетъ; и мѣсяца не прошло послѣ мировой, подъ Пилону пришло огромное Крестовое войско, какого еще на Литвѣ не запомнятъ. Но Маргеръ смѣялся надъ дерзостью магистра.

— «Пускай лобъ разобьетъ!» говорилъ онъ: «Стѣны у меня 83 пяди вышины, бревна въ нихъ

двойныя, толщина стѣнъ въ 52 пяди, а попадетъ въ ровъ — ногу сломаетъ; тринадцать локтей; не мячъ, разобьется; двадцать пять локтей; не птица, не перелитъ; а народу у меня подъ оружіемъ четыре тысячи. да съ голыми руками вдвое столько, а мнѣ и голыя руки пригодятся; съ голоду не умремъ: подъ всею твердынею подвалы съ пшеницей, да разнымъ хлѣбомъ. Скорѣе онъ проголодается, волкъ несытый.»

Такъ говорилъ князь Маргеръ, да по стѣнамъ ходилъ двѣнадцать разъ въ день и порядокъ строилъ. Подъѣхали Крестовыя бойницы, тараны, стѣнолоомни. Пошли Нѣмцы на приступъ и трупомъ рвы завалили. «Назадъ!» кричалъ Маргеръ: «вотъ я васъ! Чисти рвы, поджигай бойницы!» И воля князя Маргера, какъ будто колдуна какого, мигомъ исполнялась. Семь разъ приступали Нѣмцы, семь разъ бѣжали далече. Но и въ Пилонѣ стало плохо: только двѣсти богатырей осталось; рвовъ некому было чистить, некому жечь тарановъ и стѣнолоомень нѣмецкихъ. Уже Крестовое войско хотѣло отступить; нареканія посыпались на Эндорфа, но онъ гордо всталъ и сказалъ Вернеру Рандорфу, нѣмецкому рыцарю: «Что ты это братъ Вернеръ, видно продавать будешь свои запалки?»

— «Какія запалки?» спросилъ великій магистръ.

— «Запальныя стрѣлы», отвѣчалъ Рандорфъ, покраснѣвъ до ушей: «Я берегъ ихъ для конца.»

— «И напрасно!» сказалъ магистръ.: «Стрѣлы купишь, а погибшихъ братій помяни Господи во царствіи Твоемъ!»

Выбрали лучшихъ шестьдесятъ лучниковъ — каждому дали по десяти стрѣлъ, и въ двадцати мѣстахъ вспыхнула деревянная Пилона.

— «Гдѣ Маргеръ?» кричалъ народъ, въ ужасѣ, бѣгая по улицамъ «гдѣ Маргеръ? насъ жгутъ живыми Нѣмцы!»

Но Маргеръ былъ далеко. Въ высокой башнѣ, утомленный трудами дня, сидѣлъ Маргеръ на мягкомъ коврѣ у ногъ Германады, склонивъ голову къ дрожащимъ ея колѣнамъ. Германада плакала.

— «Полно, Германада» говорилъ онъ ей: «минуетъ осада. Нѣмцы едва ли еще разъ подойдутъ къ Пилонѣ — и тогда я поѣду въ Вильно. Великій мой подвигъ; князь мнѣ поможетъ, уговоримъ Лиздейку; женѣ моей я дамъ богатое вѣно и отпущу, дѣтей моихъ подарю Вайделотамъ; принесемъ въ старомъ Ромновѣ великую жертву всѣмъ богамъ— и снова счастіе наше!»

— «Маргеръ! Маргеръ! Не обманывай себя! *За мною* пришло это войско! Посмотри, что принесла вчера быстрая стрѣла въ это самое окошко, которое я заколотить велѣла. Встань! Сядь къ свѣтильнику и прочти!»

— «Германада!» прочелъ Маргеръ: «Я воздвигъ цѣлый свѣтъ на Пилону и ты снова будешь моею. Іоганъ Эндорей.»

— «Сказки!»

— «Не сказки, Маргеръ. Мнѣ снилось, что я горѣла на кострѣ высокомъ. Умремъ, Маргеръ! Но умремъ, какъ достойно добрымъ и честнымъ Литвинамъ!»

— «Что съ тобой, Германада?»

— «Пожаръ, пожаръ!» кричалъ народъ у башни: «Пилона горитъ!»

Маргеръ оторвалъ отъ окна доски — и зарево пылающихъ стѣнъ Пилоны освѣтило страшный видъ.

— «Умремъ Германада!» сказалъ онъ покойно, обнялъ ее горячо, поцѣловалъ и прибавилъ только: «Прости навѣки!» бросился на улицу.

— «Костры!» кричалъ онъ народу «Ставьте костры!»

Народъ еще болѣе перепугался.

— «Боги такъ повелѣли. Германада приняла ихъ волю!»

Народъ въ ужасѣ волновался; на вершинѣ башни, какъ и теперь еще строятъ, будто на крыльцѣ какомъ, показалась Германада въ бѣлой, длинной одеждѣ; повязка и перевязь были на ней золотые, голова въ цвѣтахъ; въ рукѣ она держала жезлъ Вайделы:

— «Волю боговъ возвѣщаю вамъ!» сказала Германада: «Сожгите всѣ богатства и пожитки; избейте дѣтей и женъ вашихъ и готовьтесь умереть, какъ добрые и честные Литвины! Ставьте костры! Смерть на себѣ—честнѣе плѣна!»

И страшный вопль женъ и дѣтей возвѣстилъ Пилонѣ о несыханныхъ дѣлахъ языческой жестокости. Кровь лилась; трупы дымились, стоя убійцъ носилась, какъ буря, по улицѣ, и въ немного часовъ богатыри пилонскіе остротѣли. Но не упали духомъ, нѣтъ, ставили костры, спѣшили своею смертію.

— «Готово!» крикнулъ Маргеръ; изъ храма Нийолы, въ торжественномъ убранствѣ, въ цвѣтахъ, бѣлыхъ мантіяхъ и золотѣ, вышли Вайделоты; за ними дѣвы съ свѣтильниками, на которыхъ горѣлъ огонь Зничь, наконецъ Германада, краше самаго солнца, съ большою сѣкирой; тою сѣкирой били быковъ и другихъ животныхъ для жертвы; богатыри между тѣмъ снесли всѣ свои и чужія богатства, трупы женъ, дѣтей и старцевъ и все положили на костры. По мановенію Германады, костры зажигались. Германада взошла на главный костеръ со всѣми дѣвами. Положивъ предъ ней плаху, Вайделоты съ факелами окружили костеръ тотъ.

Сбылось прорицаніе вѣщей Германады, Пилона погибла; но изъ двѣнадцати тысячъ ея гражданъ ни одинъ живымъ не достался Нѣмцамъ.

— «Кто хочетъ, да умретъ подъ священною сѣкирою вѣщей Германады; кто хочетъ пусть самъ на себя наложитъ руки; кто слабъ, пусть проситъ о смерти товарища; всѣ жертвы богамъ пріятны; небесные кони ждутъ насъ на этихъ грозныхъ тучахъ, въ волнахъ этого быстраго пламени.» Такъ говорилъ Князь Маргеръ.

— «Нѣмцы въ проломѣ!» сказалъ кто-то.

— «Не бойтесь! Я удержу ихъ!» сказалъ Маргеръ: «Торжество смерти вашей нарушено не будетъ.»

И Маргеръ бросился къ пролому. Страшно стонала въ воздухѣ сѣкира Маргера. Что ударъ, то покойникъ. Отступили Нѣмцы и пытались взять его

стрѣлами. Одинъ только Нѣмецъ не хотѣлъ отступить; въ послушничьей рясѣ, крестилъ онъ безъ толку воздухъ: то былъ Эндорфъ. Узналъ его Маргеръ, перевернулъ сѣкиру и обухомъ повалилъ его на земь. Второй ударъ — и Маргеръ, держа въ одной рукѣ сѣкиру, въ другой, за волосы, голову Эндорфа, побѣжалъ домой. Богатыри на половину перекололись, на половину полѣзли на костеръ и клали головы на священную плаху. Рука Германады не дрожала; стукъ да стукъ, хлопъ да хлопъ, а Вайделотки хóромъ считаютъ: вторая, десятая, сороковая. Ворвались наконецъ Нѣмцы, и ужасъ имъ глаза вывернулъ: смотрѣть не могутъ. «Сотая!» закричалъ хоръ и послѣдняя голова скатилась съ плахи на костеръ.

— «Богиня подземнаго царства, прими насъ!» громогласно воскликнула Германада; сверкнули ножи — и пламя со всѣхъ сторонъ залило костеръ. Тогда Пилона показалась перепуганнымъ рыцарямъ рѣкою огня. Въ ужасѣ они отступили и не вѣдали, вправду ли видятъ диво такое, или имъ мерещится. Между тѣмъ Маргеръ прибѣжалъ домой; а домъ его былъ тотчасъ за костромъ: ни жены, ни дѣтей. Онъ въ подвалъ. Притаясь за бочкой стараго алуса, сидѣла княгиня, держа на колѣнахъ двухъ младенцевъ. Страшная сѣкира трижды сверкнула въ мракѣ, и Маргеръ выбѣжалъ въ главныя двери.

— «Погоди, Германда!» закричалъ Маргеръ. «Меня, меня еще!..»

Но костеръ весь въ пламени рухнулъ и повалился на Маргера. Едва, едва успѣлъ онъ воткнуть

себѣ ножъ въ самое сердце. Не долго любовались Нѣмцы жертвою своего корыстолюбія и латинской злобы. Къ вечеру съ огромной Пилоны холодный вѣтеръ подымалъ только дымъ, да пепелъ; чернымъ пятномъ лежала она на снѣгахъ Тропенецкихъ. Такъ пала Пилона!»

—

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

СИГОНОТЫ.

Въ самой глубинѣ Поневѣжскаго лѣса, отъ котораго, благодаря кухнямъ и морозамъ, не осталось малѣйшаго слѣда, надъ небольшой и быстрой рѣченкой, лежалъ срубъ, т. е. много деревъ, сухихъ, но неочищенныхъ отъ вѣтвей; тма свѣжихъ вѣтокъ, какъ будто изготовленныхъ для вѣниковъ, лежала на срубѣ; оставалось только привести ихъ въ порядокъ и связать въ пучки. Но кто же могъ заниматься подобнымъ дѣломъ въ завѣтномъ лѣсу, куда, казалось, не заходила нога не только человѣка, но самаго дикаго животнаго? У самаго сруба, на полусогнившей колодѣ, сидѣли три старца въ странныхъ одеждахъ: голова у каждаго повязана бѣлымъ полотенцемъ, на самомъ темени узелъ; отъ него висѣли два конца, съ нитыми красной шерстью миѳическими изображеніями; мантія съ рукавами на каждомъ была изъ толстаго сѣраго сукна; подъ нею нагая природа праотца Адама; кожаный поясъ, отъ котораго, въ видѣ бахромы, висѣли кожицы обыкновенныхъ ужей и змѣекъ,

стягивалъ мантію; на ногахъ глубокіе и остроносые деревянные башмаки.

— «Не идетъ!» сказалъ одинъ изъ старцевъ, повидимому, старшій, и всматривался въ чащу лѣса: «Не идетъ, а ужъ быть не можетъ, чтобы съ такихъ похоронъ никто не посѣтилъ Гердана!— Врýба, влѣзь на башню, погляди: горятъ ли еще костры или нѣтъ?»

Врýба, старикъ, который былъ, по всѣмъ признакамъ, крѣпко моложе обоихъ другихъ, съ легкостью бѣлки, поднялся на высокой дубъ, откуда покойно могъ обозрѣть всю окрестность.

— «Дымитъ, отецъ, только дымитъ! А подъ рощей съ нашей стороны большая литовская дружина!»

— «Видно тушатъ костры!» сказалъ Гердань: «Пока пепельницу установятъ, пока отпируютъ! Что, Врýба? Пойди, принеси жареныхъ гусей, что отъ жертвъ изъ Ромнова намъ прислали, да алуса три кувшина. Племянникъ былъ мнѣ Калнасъ. Попируемъ и мы на его похоронахъ; да и правду сказать, отощалъ я сегодня, а натощакъ не такъ-то легко и узнать и разсказать что нибудь.»

Врýба исполнилъ приказаніе Гердана и старцы принялись за гусей и алусъ.

— «Хорошо,» сказалъ Гердань: «что еще на небѣ собачій мѣсяцъ стоитъ; можно еще въ нашемъ платьѣ гостей поджидать; а зимой-то, зимой тяжело; и волкъ стараго тѣла не грѣетъ. И знаете что́, братья! Пожалуй, мы отшельники, да видѣли вотъ какой сонъ: будто Атримпосъ, великій богъ

морей и водъ, велѣлъ намъ путь обѣтный совершить къ старшимъ сестрамъ Невяжи. Гинтовтъ, нашего поля ягода; словно котъ сидитъ въ кладовой; на Святомъ Рогѣ и день и ночь алусъ тянетъ, да того... Эхъ, старость, старость! А Гинтовтъ, только и проситъ о томъ, чтобы ему *Рагутницъ* *) сманивать; я ему сколько послалъ; да не я одинъ; съ насъ онъ и не взыщетъ: мы отшельники; а съ своихъ Кривовъ, будто подать какую устроилъ; вотъ и мой Поневѣжскій лакомка Аландръ Криве, долженъ былъ со своей задушевной разстаться.»

— «Такъ эта красотка въ Рагутницы пошла?» спросилъ Врýба, облизываясь.

— «Можетъ быть, и въ Бурты **); она и стихи складывала и на цитрѣ играла.

— «А что, отецъ Герданъ, можетъ быть, Гинтовтъ и не только что молодицъ, а и тѣхъ, Зничевыхъ дочерей, обижаетъ.»

— «Тайное дѣло, отецъ Врýба, тайное дѣло. Гинтовтъ — Криве Кривейто; скажетъ — земля повалится; мигнетъ — небо загорится; ему и князья не указъ. Такъ уже гдѣ дѣвушкамъ съ нимъ бороться.»

— «А что, отецъ Герданъ! Вѣдь мы еще не такъ стары. Сигоноты мы, это правда, да зачѣмъ

*) Рагутницы—литовскія вакхантки. Мы измѣняемъ весьма немногія окончанія литовскихъ словъ, только ради благозвучія и удобства въ склоненіи.

**) Пѣвица, импровизаторша, музыкантша.

же мы Сигноты? Чтобы деньги имѣть. А за чѣмъ же деньги имѣть? Понимаешь ли?»

— «Понимать-то я понимаю, да вѣдь мы объѣть дали съ женщинами знакомства не вести!

— «Нѣтъ, отецъ Герданъ, видно, что ты старѣ. Смѣтки уже не хватаетъ. Будто мы виноваты, что по сосѣдству, шаговъ на сто, самъ богъ Рагутисъ *) пришелъ, да и гнѣздо завелъ, вотъ положимъ, гдѣ мы хмѣль сѣемъ.»

— «Экой ты, отецъ Врубa, какъ тебя алусъ разогрѣлъ. Вѣдь ты забылъ, что если отъ насъ по сосѣдству какія ни есть бабы заведутся, мы, волей, неволей, снимайся съ гнѣзда, ищи мѣста попустыннѣе!

— «Я ужъ не знаю, отецъ Герданъ, какъ это тебѣ по всѣмъ сосѣднимъ княжествамъ такая честь идетъ, а ты и простаго дѣла уладить для своихъ не можешь. Мало ли у насъ такихъ чудищъ есть, что никто никогда зла про насъ и не подумаетъ, а ужъ все таки женщины; не даромъ у насъ ручей и Невяжа; не даромъ такой лѣсъ, что ни тропы, ни неба не видно; вотъ мы и скажемъ: «Круто намъ жить у бога Аримпоса приходится.» А что? спросятъ люди. «Да такъ, ничего!» Въ рѣчкахъ у насъ Дугны завелись, изъ деревъ Раганы вылетаютъ; надъ старымъ оврагомъ вчера, Медзойны плясали! **) Что же, Герданъ, скажи

*) Литовскій Вакхъ.

**) Дугны — водяныя, а Раганы и Медзойны — лѣшія дѣвы; первыя принадлежали только опредѣленнымъ деревьямъ; вторыя собственно лѣшія дѣвы.

хоть, князю какому, повѣритъ. А всѣхъ этихъ добыть не трудно; одѣнусь я татарскимъ купцемъ, да и сяду на мѣсяцъ, на два въ Ковнѣ; какъ будетъ княжая дружина изъ Пруссъ возвращаться, въ Ковно плѣнницъ пригонять на торгъ; неравенъ походъ; иной разъ бываетъ изъ чего выбрать, а я выбирать умѣю: съ голубыми глазами — въ Дугны, съ черными въ Раганы; лѣшія дѣвы и ночью видятъ; а прятать ихъ, слава Атримпосу и щедрости литовскаго народа, есть гдѣ; предмѣстникъ твой былъ затѣйливый Сигонота; такихъ хоромъ и на землѣ мало, какія онъ подъ землею устроилъ. Присмотрѣть также есть кому: сколько у насъ челядниковъ; а мало, — принаймемъ; не забудь Герданъ, въ Палатѣ, гдѣ казна, что́ у тебя всякаго добра даромъ лежитъ?»

Слушалъ Герданъ внимательно и тянулъ изъ кувшина алусъ. Примѣтно было, что соображенія отца Вру́бы крѣпко волновали старую кровь: то онъ оскаблялъ ликъ свой, то утиралъ рукою липкія губы; то перекатывался съ боку на бокъ и потягивался.

— «Хорошо тебѣ говорить, Вру́ба!» наконецъ сказалъ Герданъ: «У тебя всѣ зубы цѣлы; мышцы, что́ у медвѣдя; эхъ старость, старость!»

— «Да вольно же тебѣ, Герданъ, отъ себя одряхлѣть! Скоро придется и тебя, какъ племянника, на тотъ свѣтъ въ печкѣ отправить.»

Гердаѣъ плюнулъ и сказалъ:

— «А какъ узнаютъ! Хорошо тебѣ говорить, Вру́ба, а нашъ праздникъ на исходѣ! Только про-

стой народъ сколько нибудь намъ вѣритъ; а подика, толкнись въ Вильно; сколько тамъ русскихъ храмовъ? На дворѣ ни одного Криве, ни одного Сигоноты; будто не Литва; русскіе чернецы за княземъ ходятъ. Погляди на княжескія дружины. Десятый развѣ Литвинъ; Ольгердъ, и говоритъ нечего, давно отъ насъ отсталъ; Кейстута, волей, неволей, сманятъ. А правду надо сказать, не будь Кейстута, полетѣли бы наши боги съ своихъ шаткихъ престоловъ. Вотъ Кейстута надо намъ беречь пуще глаза. За то же ему и служатъ наши! Вчера поздно ввечеру изъ Полунги принесли ему важное письмо. Я не послалъ его; а вотъ какъ онъ къ дружинѣ пріѣдетъ, я и пойду къ нему и разскажу, что мнѣ богъ Атримпосъ все это во снѣ объявилъ; и удивится князь, и поблагодаритъ больною милостью, и вѣра его къ намъ укрѣпится. Вотъ о чемъ надо думать, Врýба. И я пойду читать письмо, чтобы князю передать вѣсти похитрѣе; а если придутъ гости, начни пѣсню пѣть; я услышу.»

Всталъ Гердань, подошелъ къ срубу, отклонилъ сухія вѣтви и провалился. Клочекъ земли съ больнимъ кустомъ, служившій дверью въ жилище Поневѣжскихъ Сигонотъ, медленно возвратился на свое мѣсто и опять подъ срубомъ стало ровно; не осталось и малѣйшаго признака тайнаго входа.

— «Ну, а ты, отецъ Вирласъ,» спросилъ Врýба у третьяго молчаливаго собесѣдника: «ты что будешь дѣлать?»

— «Я уже свое дѣлаю: лежу!» отвѣчалъ Сигонота, не двигаясь съ мѣста.

— «Долежитесь вы такъ до смерти!»

— «До смерти еще далеко, а до сна долежусь, видишь, зеваю; перестань, Врубa, со мной разговаривать. Право некогда!»

И въ самомъ дѣлѣ, почтенный Сигонота не имѣлъ и мгновенія свободнаго; онъ съ трудомъ выговорилъ послѣдній слогъ послѣдняго слова и заснулъ.

— «Вотъ проклятая трущоба!» сказалъ Врубa: «Только больнаго увидишь, и то въ мѣсяцъ разъ; принесутъ его изъ Ромнова съ завязанными глазами; Гердань опоитъ его травой, приложитъ ко лбу янтарь Антримпоса — возьметъ подачку, и проваливай; а мы? Что мы тутъ дѣлаемъ, дураки? Мелкій янтарь въ порошки толчемъ, да истуканы по три раза въ день обкуриваемъ. Ну Сигонотское ли это житье? Посмотрѣлъ бы Гердань въ другихъ обителяхъ, за Керновымъ, въ Трокахъ, даже на Прусскихъ границахъ по всему Нѣману. Сигоноты и съ Нѣмцами тамъ ладятъ; сами Нѣмцы имъ всего подсылаютъ; а мы? Докуримся мы когда нибудь, знаютъ Нѣмцы запахъ янтаря; донюхаются они до нашего логовища; недалеко и до Полунги.»

Такъ разсуждалъ Врубa. Вдругъ шелестъ листьевъ разогналъ его думы; изъ-за кустовъ показалась дѣва съ распущенными волосами, съ большимъ кувшиномъ; она размахивала сосудомъ, и вѣтки шумѣли; не шла, неслась дѣва. Врубa окаменѣлъ отъ страха и страсти. Не зналъ онъ навѣрно зачѣмъ шла эта водяная дѣва: утянуть или

наказать Сигоноту? Движенія ея примѣтно обнаруживали злобу; лице походило на восковое, безъ малѣйшаго признака какого бы то ни было ощущенія. Крѣпко струсилъ Врýба, упалъ на земь и прикинулся спящимъ. Дѣва подошла къ нему и ногою стала будить!

— «Вставай,» сказала она: «вставай! «Я сожгу тебя, я сожгу всю вашу братію, и не залью священною водою!»

— «Вотъ тебѣ разъ!» подумалъ Врýба.

— «О нѣтъ,» продолжала дѣва и покойно усѣлась на спинѣ Врýбы: «это два трупа дикихъ людей; зачѣмъ ихъ жечь; имъ ненужно могильныхъ кургановъ!»

— «Конечно не нужно!» подумалъ Врýба: «Зачѣмъ жечь!»

— «Но пока пріѣдетъ Гуго, чтó я буду дѣлать, а онъ ускакалъ, я видѣла, я слышала, какъ Гуго вылетѣлъ на конѣ изъ пламени и бросился въ эту сторону. Запою я пѣсню онъ услышитъ мою пѣсню, прилѣтитъ сюда Гуго; тотъ лѣсъ, гдѣ мы послѣдній разъ видѣлись и гуще и страшнѣе. Подождемъ, посидимъ.»

— «Ну, не-за-что сказать ей спасибо...» подумалъ Врýба: «Лишь бы она щекотать не вздумала. Смерть боюсь щекотки.»

Дѣва поставила передъ собой кувшинъ, и стала пѣть пѣсню:

На Невяжѣ струи,
Словно слезы мои,
Жемчужатся, бѣгутъ,
Въ море плачь мой несутъ!

На Невѣжѣ туманъ,
Бѣдной Дугны курганъ
Скрылъ отъ зоркихъ очей
И отца и людей!

— «Такъ и есть!» подумалъ Врýба: «Водяная!» А дѣва продолжала:

Не курганъ то, а валъ;
Дугну въ море умчалъ;
Ходитъ Дугна въ слезахъ,
Ищетъ друга въ волнахъ.

Бѣдный другъ далеко!
Тамъ, на днѣ, глубоко...
Чудъ морскихъ страшный сонмъ
Правитъ тризну по немъ!..

— «Видно что водяная!» думалъ Врýба: «Такая мягкая; хотя и вода, а все-таки тяжела, а жаль что вода; медъ не дѣва; а обними — разольется.»

Страстныя мечтанія Врýбы были прерваны; изъза сруба на пѣсню дѣвы давно уже показалась голова Гердана, онъ смотрѣлъ на нее съ любопытствомъ и сожалѣніемъ; прилежно слушалъ пѣніе несчастной; но когда она замолчала и погрузилась въ размышленіе, Гердань подошелъ къ ней тихо, осторожно, взялъ за руку и сказалъ со всею сигнотскою важностью: «Вундина!» И только. Умный Гердань, онъ не любилъ тратить словъ по пустому. Вундина посмотрѣла на него покойно и стала хохотать, такъ страшно, такъ дико, что по всему тѣлу Врýбы выступилъ холодный потъ, тѣмъ болѣе, что уже и малѣйшаго сомнѣнія не оставалось въ водяной натурѣ гостьи. Гердань назвалъ ее Вундиной, а Врýбѣ было из-

вѣстно, что и Вундина и Дугна, по литовски одно и тоже; разница въ мѣстныхъ нарѣчіяхъ.

— «Дочь моего брата!» сказалъ Гердань «Успокойся! Ты, вѣрно, больна или очень несчастна! Слушай, Вундина, я любилъ мать твою больше моей жизни; слушай, Вундина! Когда она уже была за мужемъ, тогда только она узнала и полюбила меня; я не хотѣлъ возмущать блаженства Эйваса; страшно, грустно, горько стало мнѣ на бѣломъ свѣтѣ; я ушелъ изъ дому, гдѣ родился и выросъ; я спрятался въ этомъ лѣсу; я сдѣлался отшельникомъ, Сигонотой, въ обители Бравера и только послѣ смерти матери твоей, въ день погребенія женщины, которую, какъ сама видишь, любилъ больше жизни, я, впервые послѣ многихъ лѣтъ, посѣтилъ домъ отца моего! Слушай, Вундина! Нѣтъ ея, и мнѣ ничего не нужно. Но оживи мою старость, дай насладиться блаженствомъ семьянина. Какая безмѣрная радость, Вундина! Будь моею дочерью!»

Трудно представить вѣрный образъ вниманія Вундины; глаза ея странно выкатились, какъ будто она слушала взорами; давно уже пересталъ говорить Гердань, а Вундина все еще слушала, слушала, но ничего не понимала.

— «Зачѣмъ ты нарядился такимъ уродомъ?» наконецъ сказала Вундина и улыбнулась: «Ты думалъ, что я не узнаю тебя, Гуго? Умно, очень умно! Эта одежда спасетъ тебя. Ахъ, въ какихъ же дуракахъ будетъ Калнасъ и этотъ Кейстутъ, и этотъ Гришка Русинъ, что не сводитъ съ меня

сѣрыхъ глазъ своихъ! Слушай, Гуго! Все это хорошо; да могутъ узнать. Я уже рѣшилась! Сами виноваты! Пусть пеняютъ на себя. Я ѣду съ тобой, ѣду въ нѣмецкую землю! Я сама вижу, что здѣсь намъ опасно.»

Гердань все понялъ. Съ горькой улыбкой слушалъ Вундину и сказалъ ей таинственно: «Ты права, Вундина. Но пока наступитъ ночь, я тебя спрячу въ тайномъ убѣжищѣ. Пойдемъ, Вундина!»

— «Пойдемъ, Гуго!»

И за огромнымъ срубомъ, земля поглотила дядю и племянницу.

Гердань все понялъ, но за то Вру́ба не понялъ ничего. Мысли его разметало, словно льдины на озерѣ весеннимъ вѣтромъ.

— «Кто ихъ пойметъ?» говорилъ Вру́ба: «Вижу, что онъ самъ водяной дѣдушка; чего добраго, можетъ быть, онъ Атримпосъ, или Гардеолдъ, его братецъ, что вѣчно бродитъ, да дуетъ, или кто ни есть изъ родни. А если эта Вундина—женщина, настоящая женщина? А? Да если въ самомъ дѣлѣ больна, а? Мы лечить станемъ. Можно иногда больнаго поприжать. Вѣдь у меня вся лечебная кухня. А если...»

И этихъ «если» такъ было много, что уже и смерклось, а Вру́ба все еще продолжалъ упражняться въ сомнѣніяхъ и догадкахъ.

Въ чащѣ лѣса сверкнуло пламя. Вру́ба сталъ будить Вирласа.

— «Вставай, отецъ, погляди, не волкъ ли?»

сказалъ Вру́ба. Вирласъ посмотрѣлъ, сказалъ: «огонь,» повернулся и заснулъ.

Въ самомъ дѣлѣ то былъ факелъ. Его несъ человѣкъ въ бѣлой мантіи; за нимъ шелъ Кейстутъ, утопая въ разнообразныхъ думахъ.

— «Наши!» сказалъ Вру́ба: «Видно несутъ бѣднымъ Сигонотамъ часть изъ добычи погребальной; богатъ, говорятъ, былъ покойникъ. Ничего не несутъ! Право ничего не несутъ! Что за причина съ пустыми руками по ночи таскаться? Я же ихъ приму по-своему; ночевать не пущу; пускай колесятъ домой во всю ночь; а можетъ и лѣшія дѣвы за насъ вступятся. Медзойны злы, какъ голодный Сигонота.»

— «Гости къ Гердану» сказалъ храмовый челядникъ, воткнувъ факелъ въ землю передъ самымъ носомъ Вру́бы.

— «Что ты тутъ дымишь!» сказалъ Вру́ба. «Наше мѣсто свято! Янтаремъ пахнетъ, а ты и святую землю засалишь и святыя деревья смолой обкуришь! Погаси свѣточъ.»

Челядникъ повиновался.

— «Вотъ такъ!» подумалъ Вру́ба. «Прогуляетесь безъ огня. Дали бы боги, чтобы какой-нибудь свадьбы у звѣздъ *) сегодня не было, такъ этимъ лѣсомъ въ Пруссы пройдете! Обжоры! Все съѣли!»

— «Что же ты молчишь, Вру́ба! Пой пѣсню!» сказалъ челядникъ: «зови Гердана.»

*) Звѣзды, дѣти солнца и луны размножились отъ кровосмѣшенія. Языческое повѣрье.

— «Я охрипъ, горло у меня губка. Я служу Атримпосу. Сухаго — не жалую.»

— «Ну такъ я запою. Я вашу пѣсню знаю.»

— «Молодъ! Какой день, такая и пѣсня! Въ годъ всѣхъ не выучишь; такъ, пожалуй, всякій Сигоногой будетъ!»

— «Да перестань, Врýба; зови Гердана!»

— «Ужинать, что ли? А ты знаешь, Гердан, когда не выпьетъ, глупѣе тебя.»

— «Ну, такъ я позову...» сказалъ князь.

— «Смотри, молодецъ, чтобы мы, вмѣсто янтаря, тебя не истолкли въ большой толчеѣ, что передъ Антримповой урной, будто чанъ стоитъ. Смирно!»

— «Постой же, отецъ Врýба!» сказалъ князь: «Найдемъ мы для тебя обитель построже. Гердан добръ, плохо васъ держитъ.»

Врýба почесался и сказалъ сухо:

— «Ну, такъ ищите на досугѣ той обители, а намъ спать пора!»

— «Пойду Врýба, только и тебя съ собóй возьму.» Сказалъ князь и затрубилъ въ рогъ. Во многихъ мѣстахъ подъ и за срубомъ раскрылась земля; всѣ эти ямы освѣтились огнями; изъ нихъ выползли Гердановы слуги съ факелами, а изъ главной показался Гердан съ чарой въ рукахъ. Врýба онѣмѣлъ. Онъ никогда не видывалъ еще подобной церемоніи.

— «Не даромъ,» сказалъ Гердан съ такою важностью, какъ будто говорилъ сущую истину. «Не даромъ принесъ я вчера Гардеолду огромнаго

карпія въ жертву! Слуги его, вѣтры литовскіе, донесли мою просьбу до палатъ твоихъ! Тихій Пуцисъ, сладостный вѣтеръ, тайно вложилъ въ слухъ твой просьбу мою. Ты исполнилъ ее, князь, и сожалѣть не будешь. Ты — щитъ Атримпа и всѣхъ боговъ нашихъ; счастье мѣсту тому, куда придетъ богатырь земли литовской! Сниди въ обитель Бравера, посѣти недостойнаго слугу твоего! Но на порогѣ подземнаго чертога, выпей чару въ память Бравера. Такъ завѣщалъ покойный!»

— «Въ память Бравера и во славу Гердана, знаменитаго его преемника!» сказалъ князь, разомъ осушилъ чару и подалъ руку Гердану.

— «Держись, князь, за этотъ кустъ. Покойнѣе опускаться.»

И островъ съ кустомъ тихо, медленно понижался; трава на краяхъ его, цѣпляясь за сухіе корни деревъ, шелестѣла; эта хитрая дверь остановилась на гладкомъ, дубовомъ полу обширнаго подземнаго покоя, обложеннаго лощеною плитою. Кругомъ стояли деревянныя скамьи, а въ глубокой мисѣ изъ зеленаго камня горѣлъ вѣчный Зничь. При немъ стоялъ Сигонота. Гердань сошелъ съ княземъ на полъ, и островъ поплылъ вверхъ съ особенною быстротою; блоки, вертясь, шумѣли; слуги бѣгали около красиваго воротa; когда островъ сталъ на мѣсто, огромный желѣзный крюкъ обхватилъ воротъ, а вверху два бревна подползли подъ искусныя двери Браверова чертога. Князь снялъ шлемъ и благоговѣйно поклонился Зничу. Между тѣмъ большія дубовыя двери

отворились: глазамъ князя представился подземный храмъ Атримпоса; князь вынулъ мечъ, ножъ, рогъ; вмѣстѣ со щитомъ и шлемомъ, отдалъ ихъ прислужникамъ и вступилъ съ Герданомъ въ божницу.

Двери опять закрылись и во храмѣ остались Кейстутъ и Гердань. Божница была освѣщена множествомъ огней, но огни эти искусно были закрыты разными предметами; по самой срединѣ божницы возвышался искуственный пригорокъ, покрытый разнородными кораллами, раковинами и морскими растеніями; онъ служилъ подножіемъ огромному змію, съ головою молодаго человѣка; змій подымался съ пригорка спиралью, и весь блисталъ перламутромъ и янтарями: то былъ истуканъ Атримпоса, литовскаго Нептуна. По правую руку отъ пригорка, въ образѣ женщины среднихъ лѣтъ, стоялъ истуканъ Упины, богини рѣкъ, ручьевъ и источниковъ; изо всѣхъ десяти ея пальцевъ лилась вода и орошала пригорокъ Атримпоса. По лѣвую руку стоялъ великанъ изъ дерева, облѣпленный перьями всѣхъ извѣстныхъ птицъ: то былъ Гардеолдъ, богъ бури и вѣтра, литовскій Эолъ. Передъ кумиромъ Атримпоса стояла огромная ступа изъ мѣди, и жертвенникъ, съ котораго по всей божницѣ разливался нѣжный запахъ янтаря; передъ кумиромъ Гардеолда, необыкновенной величины чанъ съ водою, облѣпленный кораллами и раковинами; въ немъ плавали живыя рыбы. Позади этихъ главныхъ кумировъ, божница шла большимъ полукругомъ, а въ немъ симметрически продѣланы были впадины или ниши; въ нижнихъ нишахъ, особнякомъ стояли

истуканы главныхъ боговъ литовскаго язычества; въ верхнихъ, по нѣсколько вмѣстѣ, какъ будто прятались меньшіе боги. Центральная пещера была обширнѣе другихъ. Въ ней стояла урна, довольно большая, изъ гранита, даръ какого-то Нордманна; на урнѣ покоился истинно миѳологическій баснословный слитокъ золота; рука художника обратила его въ снопъ съ полнымъ колосомъ; передъ этими символами Атримпоса, висѣло янтарное паникадило. Передняя часть божницы также шла полукругомъ, и также съ пещерками; въ каждой стояла урна какой-либо литовской рѣки или озера; стѣны и потолокъ божницы плотною корою покрывали раковины, кораллы, перламутръ и огромные янтари; сверхъ того на особыхъ уединенныхъ алтарикахъ, выдѣланныхъ изъ окаменѣлостей, разставлены были въ простѣнкахъ пещерныхъ разныя драгоцѣнности, дары боговъ, полубоговъ, богатырей и человѣковъ.

Вступивъ въ божницу, и Гердань и Кейстутъ распростерлись предъ истуканомъ Атримпоса. Первый всталъ Гердань и сказалъ торжественно:

— «Боги великіе земли литовской! благословите приходъ сына вашего, великаго богатыря страны, вами любимой! Такъ вы благословляли его пращура, Гелона, вѣщаго Витолфа, великаго Альциса, вождя вождей Палемона, ловца ловцевъ Немона и многихъ Конунговъ, и многихъ полуденныхъ путниковъ, принесшихъ жертвы на алтаряхъ вашихъ! Встань возлюбленный правнукъ Гелона! Боги благопріятны!..»

Всталъ Кейстутъ. Довольная улыбка сіяла на молодыхъ устахъ; онъ былъ въ тѣхъ лѣтахъ, когда борода составляетъ уже украшеніе мужчины; онъ погладилъ свою шелковую бороду и усы, поправилъ золотыя кудри, набѣжавшія на глаза, и сказалъ тихимъ голосомъ:

— «Боги Гелона! я пришелъ спросить у васъ, гдѣ Альфъ, мой братъ по оружію.»

— «Боги дадутъ тебѣ отвѣтъ послѣ жертвы великой! Кейстутъ, Кейстутъ! Всему есть время! И боги любятъ отдыхъ. Труды ихъ безмѣрны, и я, до зари, не дерзну возмутить ихъ священнаго покоя. Много вѣдалъ Браверъ; онъ помнилъ Лютавора, прадѣда твоего; онъ зналъ Витенеса, отца Гедыминова. Онъ спасъ сокровищницу Атримпоса отъ хищныхъ рукъ латинскихъ рыцарей. Не здѣсь, въ глухомъ лѣсу, въ дикой краинѣ, не подъ землею скрывались эти изображенія боговъ нашихъ: на высокой, прибрежной горѣ, омытой двумя великими рѣками возвышался храмъ Атримпоса. Синее море лобызало священное подножіе алтаря своего полновластника. Каждый день Гардеолдъ, могучій властитель бури и вѣтра, гналъ непокорныя волны къ стопамъ Атримпоса, и море Варяжское, что утро, бросало въ открытый храмъ богатыя жертвы: янтари, кораллы, раковины, морскія чуда, растенія, никогда невиданныя человѣкомъ; цѣлая дружина Сигнотъ, на три дни пути по берегу моря, собирала его жертвы. За то Атримпосъ позволялъ морю волноваться, бросалъ ему въ забаву цѣлыя горы, и скоро подводные камни сдѣлали съ

моря неприступною святыню Атримпоса. Далеко на томъ берегу владѣній Литвы, старой нашей богини, жила Инглона. Полюбилъ ее Атримпосъ, послалъ за нею сто ладей; поручилъ ихъ знаменитому Витолфу и сѣлъ за богатую трапезу; взялъ онъ послѣднюю чару, и вышелъ на берегъ, а ладьи уже возвращались съ чудной Инглоной. Атримпосъ пошелъ къ ней по морю навстрѣчу; вынулъ дѣву изъ ладьи; волны поднялись до самыхъ звѣздъ и заслонили счастливую чету отъ взоровъ боговъ и людей. — На мягкомъ ложѣ шумнаго моря понесла Инглона сына, и сынъ тотъ былъ великій пращуръ твой, Геллонъ, истребившій всѣхъ людоѣдовъ, сбѣжавшихъ со снѣжныхъ горъ сѣвера во владѣнія Литвы-богини. Велики были эти владѣнія вѣчной дщери Атримпа, богини нѣги и утѣхъ. Весь сѣверъ былъ ея вѣномъ. Но хуже людоѣдовъ, хуже страшныхъ чудовищъ, посѣщавшихъ, по волѣ боговъ, берега моря Варяжскаго, хуже дождей кровавыхъ и язвъ ядовитыхъ, было племя латинскихъ рыцарей, бездомныхъ искателей чужой собственности. И скоро все поморье стало добычей этихъ чудовищъ! Клочекъ земли сохранилъ даръ Литвы-богини; священную независимость, и во славу своей защитницы принялъ ея имя. И со всѣхъ сторонъ и боги и люди, по неисповѣдимымъ судьбамъ предназначенія, бѣжали на этотъ островъ, облитый со всѣхъ сторонъ христіанами. Но хищность враговъ нашихъ не утолилась. Донынѣ, по всему Нѣману, раздаются громы оружія; встаютъ и упадаютъ города; идетъ борьба великая. Въ ней предназначе-

ніе положило зерно твоей славы. Счастливецъ! Труды твои безмѣрны. Но дерзай, княже, и начни подвиги свои съ сосѣдней Полунги!»

— «Отецъ Герданъ! Вѣрю устамъ твоимъ; но вспомни, что въ Полунгѣ командоръ и три конвента храбрѣйшихъ рыцарей!»

— «Вспомни, князь, что въ этой Полунгѣ, горитъ, и понынѣ, вѣчный Зничь и служитъ маякомъ для кораблей латинскихъ;—вспомни, что тамъ есть чистыя дѣвы Вайделотки; ихъ честь, ихъ невинность въ опасности каждое мгновеніе; вспомни, что вѣра наша осыпается тамъ ежедневными насмѣшками и поруганіемъ. Достигло ихъ слуха великое пророчество, еще временъ Миндовга-отступника. Какой-то кочующій Буртиникъ ходилъ съ цитрой по Прусамъ и тѣшилъ Нѣмцевъ литовскими пѣснями. Измѣнилъ онъ вѣрѣ своей за золото и открылъ рыцарямъ, что Криве-Кривейто посылалъ наказъ въ Біармскую землю, къ знаменитому прорицалищу, гдѣ-то на сѣверѣ, чтобы повѣдало: когда наступитъ конецъ успѣхамъ Нѣмцевъ. И Сигоноты біармскіе принесли отвѣтъ сами; было написано: «Когда Нѣмцы возьмутъ Полунгу и разрушатъ тамъ послѣднюю, по всему берегу моря, святыню отца Знича, сила ихъ какъ хрупкое древо сокрушится, отпадутъ отъ оружія ихъ латинскія чары.» И великій страхъ повелъ по всему ордену; и далъ великій магистръ завѣтную во вѣки вѣковъ грамоту: взять Полунгу и хранить святыню Знича и дѣвъ Вайделотокъ, какъ великое знамя ордена! Видишь ли, князь, съ Полунгой мы опять взглянемъ на мо-

ре; и отростутъ крылья у Гардеолда, и булаву свою подыметъ Атримпосъ, — и горе Нѣмцамъ!»

Князь задумался, и, послѣ продолжительнаго молчанія, сказалъ Гердану:

— «Давно кровь моя кипитъ на приступъ, на равный бой съ нѣмецкою поганью; но завѣты предковъ!»

— «Знаю, все знаю, но времена измѣнились; и Гедыминъ не разъ разгромилъ нѣмецкое войско въ равной битвѣ.»

— «Охъ нѣтъ!» сказалъ князь печально: «Я это лучше знаю; мы съ отцемъ и сами привели въ ужасъ весь Орденъ; но за стѣнами твердынь своихъ они насъ не боятся.»

— «Но если боги дарятъ тебѣ Полунгу?»

Князь посмотрѣлъ на Гердана сомнительно.

— «Великій соблазнъ, Герданъ... но...»

— «Такъ узнай же, Кейстутъ, тамъ ты найдешь Альфа!»

— «Альфа?» закричалъ Кейстутъ и глаза его засверкали: «Вѣрю, теперь вѣрю! Падетъ Полунга! Но какъ ты знаешь?»

Герданъ указалъ на спиральнаго змія, который въ это время сталъ вертѣться и сверкалъ безчисленными отливами въ глаза изумленному Кейстуту.

— «Пойдемъ, Герданъ! Пусти меня! Дружина моя у твоего лѣса; къ вечеру мы будемъ уже надъ моремъ.»

— «Безъ жертвы богамъ, возвѣстившимъ тебѣ такую тайну?»

— «Ты правъ, Герданъ; вели готовить жертву.»

Дубовыя двери растворились; Сигоноты и прислужники забѣгали по всему подземному чертогу; Врýба не хотѣлъ встрѣчаться съ княземъ, и во время общей суматохи пробрался въ келью Гердана. Вошелъ и видитъ, что Вундина приникла ухомъ къ дверямъ и что-то слушаетъ.

— «Видишь,» подумалъ Вруба, «она дѣлала то же, что и я; только я и десятаго слова не слыхалъ, а она, я думаю, весь разговоръ наизустъ знаетъ. Въ эти двери не только все слышно, но и видно, и не разъ Герданъ видѣлъ, что я не окуривалъ янтаремъ ту или другую урну. А какая богатая дѣвушка! Я не видѣлъ и пирога такого жирнаго, пухлаго, мягкаго. Пусть они говорятъ богамъ сладкія рѣчи, а я ихъ подкину моей богинѣ.»

Вруба заперъ двери дубовымъ засовомъ, подошелъ къ Вундинѣ и сказалъ ей ласково, грозя пальцемъ:

— «А что́ ты тутъ дѣлаешь, плутовка?»

Вундина приложила къ устамъ палецъ. Въ это мгновеніе она была такъ хороша, такъ мила, что бѣдный Вруба совсѣмъ растаялъ и растерялся. Сама Вундина вывела его изъ затрудненія.

— «Нѣтъ никого,» сказала она: «они ушли... Но, послушай, уродъ, какъ ты думаешь, можетъ-быть и Гуго въ Полунгѣ.»

— «Отчего же и не въ Полунгѣ?» сказалъ Вруба: «Только почему же я уродъ?»

— «Какъ бы мнѣ пробраться въ Полунгу?»

— «А зачѣмъ тебѣ туда?»

— «Дорого бы я заплатила за эту услугу.»

— «Въ самомъ дѣлѣ?» спросилъ Вруба, облизываясь: «А чѣмъ бы ты заплатила, напримѣръ?»

— «Правда, правда! Я бѣдна, у меня ничего нѣтъ.»

— «Ты богаче Мильды Ковенской! Что Мильда? Дерево. А ты... Да ты, я думаю, сама Мильда, только не деревянная. А до Полуши пѣшкомъ не близко, будетъ слишкомъ дня два; можно бы тебѣ въ деревнѣ коня достать, да ты вѣдь урода не поцѣлуешь.»

— «Поцѣлую самого Іода, лѣшее пугало! Онъ, я думаю, не хуже тебя? Только выведи меня изъ этой темницы, только дай мнѣ коня.»

— «Такъ поцѣлуй же меня.»

— «Выведи прежде. Вѣдь я тебя нанимаю.»

— «А не обманешь?»

— «Никого еще на этомъ свѣтѣ не обманула Вундина, и за то, видишь, люди вколотили въ голову камень.»

— «Все равно!» подумалъ Вруба: «Вѣдь она изъ моихъ рукъ не уйдетъ. Погоди, Вундиночка, нельзя мнѣ такимъ уродомъ въ деревню показаться; погоди, не бойся, мы не опоздаемъ: жертва до утра продолжится, а я пока и тебя и себя въ путь снаряжу. Только, смотри же, молчи, не нуми, не выходи отсюда, а не то и тебѣ и мнѣ бѣда будетъ.»

Вундина не сводила глазъ съ дверей, куда ушелъ Вруба, вся трепетала, и только тогда нѣсколько успокоилась, когда Вруба воротился, съ факеломъ,

въ платьѣ нѣмецкаго латника. Онъ подалъ ей знакъ идти за нимъ. Вундина повиновалась. Вруба повелъ ее темнымъ корридоромъ, прокопаннымъ въ землѣ. Долго шли они; достигли какихъ-то дверей, запертыхъ на замокъ. Вруба вынулъ ключъ, отперъ двери; вошли въ небольшой покой, съ лѣстницей наверхъ. Вруба опять заперъ двери, оглянулся, воткнулъ факелъ въ землю и обхватилъ Вундину обѣими руками.

— «Теперь ты моя!» кричалъ Вруба, пылая несытою страстью. «Но ты заплатишь дороже за мои услуги; слышишь!! Вундина, поцѣлуя мнѣ мало... Не вырывайся, не поможетъ; не кричи, никто не услышитъ твоихъ криковъ.»

Вундина какъ-будто очнулась отъ случайнаго сумасшествія; опасность была такъ близка; никакихъ средствъ къ спасенію.

— «Тсъ!» сказала Вундина. «Молчи, кто-то идетъ!»

И Вруба выпустилъ изъ рукъ жертву и, дрожа всѣмъ тѣломъ, прислушивался къ отдаленному шуму. Вундина воспользовалась трусостью Врубы, схватила факелъ и взбѣжала наверхъ лѣстницы, которая упиралась въ тайную дверь. Шумъ приближался.

— «Сюда, сюда!» кричала Вундина.

Вруба не зналъ куда дѣваться, потому что не могъ понять откуда шумъ; наконецъ надъ головой его послышались голоса. Крикъ Вундины руководствовалъ невѣдомыхъ ея избавителей. Застучали въ тайную дверь копья, засовы треснули.

Вундина едва успѣла отступить: Цвиркунъ и Гришка Русинъ провалились въ тайную дверь въ самое то время, когда Врубa отпиралъ корридоръ. Но у страха очи велики. Врубa отпиралъ замокъ пальцемъ, а о ключѣ позабылъ.

— «Тамъ къ чортовымъ братцамъ!» сказалъ Цвиркунъ, отряхиваясь: «куда это насъ занесло! Надо быть, это на волковъ ловчіе припасли.»

— «Вундина!» закричалъ Гришка Русинъ, сбѣжавъ съ лѣстницы и схватилъ Врубу за шею. «Сдавайся, Нѣмецъ! Видно, ты не догорѣлъ въ Ромновѣ.»

Вундина, оглушенная всѣми быстрыми событіями этой сцены, ничего не понимала и поднявъ факелъ повыше, какъ-будто старалась получше освѣтить театръ этой драмы.

— «Пускай Богъ милуетъ!» сказалъ Цвиркунъ. «Не въ одномъ Кіевѣ пещеры. Правду говорилъ ученый Грекъ, что хитрые люди и подъ землею ходятъ. Такъ бери же, Гришка, тѣхъ хитрыхъ людей, да тащи ихъ на свѣтъ Божій!»

— «Свѣти, Вундина!» сказалъ Гришка, и всѣ вышли на воздухъ.

Уже свѣтало. Тайный выходъ былъ у самой опушки лѣса; небольшая долина стлалась къ берегамъ Невяжи, и на этой долинѣ стояла въ строю вся княжеская дружина. Не болѣе шести витязей провожали Гришку на то мѣсто, откуда послышался крикъ Вундины. Прочіе были уже на коняхъ, уже застегнули шлемы и были готовы на все.

Врубу, какъ слѣдуетъ, связали и бросили у огня, разложеннаго витязями.

— «Пусть здѣсь лежитъ,» сказалъ Гринка: «видно будетъ; а ты, Вундина, будь покойна, пусть только выйдетъ князь изъ лѣса, я отпрошусь и проведу тебя домой.»

— «Домой?» тревожно спросила Вундина: «Домой? Ты хочешь, чтобы старый Эйвасъ заперъ меня въ высокой свѣтлицѣ, гдѣ, кромѣ неба, ничего не видно. Нѣтъ!» продолжала она, улыбаясь: «нѣтъ, Гринка съ сѣрыми глазами, я люблю тебя, я съ тобою не разстанусь.»

— «Вѣрить ли моему счастію?» воскликнулъ Гринка.

— «Не вѣрь!» сказалъ ему тихо Цвиркунъ: «Это чаровница, изъ-подъ земли вылѣзла, Вундиной прикинулась, въ соблазнъ только ввести насъ хочетъ. Такъ было разъ при Гедыминѣ. А поглади, поищи, такъ гдѣ-нибудь Нѣмцы и сидятъ въ засадѣ.»

— «Что же ты задумался, Гринка съ сѣрыми глазами?» сказала Вундина: «Такъ-то вы всѣ, любите до поры до времени, а отдашься вамъ, уступишь, вы же отъ насъ бѣжите! Какъ хочешь, Гринка, а я съ тобою не разстанусь.»

— «Чуешь, чуешь, Гринка?» тихо говорилъ Цвиркунъ.

— «Да какъ же тебѣ быть со мною, Вундина? Вотъ выйдетъ князь, мы сядемъ на коней и — въ походъ.»

— «А я развѣ не умѣю конемъ править? Да есть ли еще у тебя во всей дружинѣ такой конь, какъ у меня Ваугасъ гнѣдой? Не ты, я сняла бы

Калласовъ пенязь, если бы позволили. Вотъ вели подвести самаго лютаго коня и посмотри, могу ли я за тобой въ Пруссы ѣхать.»

— «Постой же, баба!» сказалъ Цвиркунъ: «Пускай не хвастаетъ. Я ей дамъ княжаго сѣраго жеребца, что пять толька разъ подъ сѣдломъ былъ. Гей! хлопцы! Вѣтронога!»

— «Ахъ ты, старый конюшій!» сказала Вундина: «На твоемъ жеребцѣ, не вѣтеръ, а черепахъ обгонять; давай его сюда! Только чтобы мнѣ, Гриша, къ Нѣмцамъ не заѣхать, тутъ и граница гдѣ-то близко... тутъ гдѣ-то путь идетъ на Полунгу.»

— «А вотъ направо битый путь на Полунгу, а налѣво, дальше Литвы не заѣдешь. Только, какъ же мнѣ тебя пустить, Вундина? Вѣтронога и конюхи боятся.»

— «Да ты развѣ не видалъ, какъ я ѣзжу!»

— «Видѣлъ, Вундина.»

— «Такъ позволь же мнѣ этому старику языкъ прищемить. Пускай дивуется Литвинкамъ.»

Вундина вскочила легко, какъ пухъ на Вѣтронога. Поправилась на сѣдлѣ, пригнулась, ударила жеребца ногами и понеслась во всю скачь по дорогѣ въ Полунгу.

— «Не туда, не туда!» кричала почти вся дружина. Но Вундина исчезла изъ виду. Прошло много времени, она не возвращалась. Гришка ходилъ какъ сумасшедшій, ломалъ руки, проклиналъ Цвиркуна и свою снисходительность и проходя мимо

Врубы, сказалъ съ отчаяньемъ: «Боже мой, Боже! гдѣ теперь Вундина!»

— «Въ Полунгѣ!» сказалъ Вруба громко и всѣ вздрогнули.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

БИРУТА.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

ПОЛУНОЧЬ.

Чудный іюльскій вечеръ пылалъ во всей знойной красѣ надъ пучинами Балтійскаго моря; солнце ложилось въ синія волны такъ покойно, величественно, какъ будто оно не видало на бѣдной землѣ ни одного кроваваго дѣла. Присмотрѣлось солнце къ земной грѣховности, и эти пятна, что вы видите, на свѣтломъ лицѣ солнца, — это грязныя впечатлѣнія земныхъ дѣлъ, во времена его юности; — это морщины его заботливости. Напрасно благодѣяло оно міру: міръ не исправился.

Заснуло солнце. Вакарина, звѣзда вечерняя, заперла врата запада и тихо шла на свиданіе къ тайному любовнику.

Нѣтъ на Балтійскомъ морѣ покоя; нѣтъ его ни утромъ, ни ночью, ни въ знойный полдень, ни въ тихій вечеръ; валъ за валомъ ходитъ море; завьется волна, раскинетъ жемчужную гриву, и разольется зеркальнымъ колоколомъ на прибрежномъ пескѣ. Это ужъ у него походка такая. Купаль-

никъ знаетъ ее; страстный, онъ любитъ смотрѣть, какъ зараждается валъ, какъ идетъ на него молодецкой поступью, но головы не подставляетъ, а встрѣчаетъ спиною его разливъ; не то, оглушитъ.

И много купальниковъ и купальницъ по всему берегу Полунги; брызжутъ, плещутъ, играютъ соленою водою; и эти игры цѣлебны.

Въ глубокой гавани тѣсно сидятъ ганзейскіе корабли; корабельныя снастья, будто паутина, заткали уголокъ на яркомъ голубомъ небѣ; по всему взморью на бѣлыхъ крылахъ несутся богатыя суда; далеко, далеко видны мачты и вѣтрила: вѣрно въ Ригу, вѣрно въ Ревель, въ Новгородъ, во Псковъ плетъ Ганза свои товары. — Теперь уже нѣтъ гавани въ Полунгѣ; Шведы, говорятъ лѣтописи, за деньги, засыпали ее, загромоздили и корабли теперь видны изъ Полунги, какъ дикіе гуси; и стрѣла ихъ не достанетъ; но въ это время два большіе посада окружали гавань. Вотъ и вечеръ насталъ, а шумъ еще не замолкъ; еще звенитъ золото на торговой площади, еще шепчутся купцы, еще гуляютъ рыцари по густой аллеѣ и высматриваютъ нѣтъ ли гдѣ пріѣзжихъ дворянокъ, не продаютъ ли гдѣ латники или охотники литовской дичи — смуглыхъ плѣнницъ. Строгъ и страшенъ командоръ; да еще далеко до урочнаго часа и крѣпость запрутъ не скоро. Словно тройнымъ ручникомъ опоясана высокая гора, — то три стѣны полунгской твердыни; на косогорѣ три монастыря или конвента; они соединены лег-

кими аркамі, а надъ ними, на самой маковкѣ горы; языческій храмъ съ высокой каланчой. На этой каланчѣ хитрый зодчій устроилъ стеклянную храмину; со всѣхъ сторонъ огромныя окна; потолка нѣтъ; тѣ окна только защита отъ вѣтра; и посреди храмины, въ глубокомъ каменномъ бассейнѣ, пылаетъ вѣчный Зничь большимъ пламенемъ, такъ что его далеко видно съ моря Вокругъ пламенника, легче тѣни вечерней, ходитъ очередная дѣва Вайделотка. Такова была старая Полунга.

Съ небольшой монастырской колокольни загудѣлъ колоколъ.

— «Что такъ рано?» сказалъ рыцарь Фердинандъ фонъ Эренгроссъ своему мальчику, который, въ розовомъ короткомъ камзолѣ и лосинныхъ исподняхъ, помогалъ рыцарю одѣваться. «Такъ я не успѣю и къ Эммѣ зайти. Сумасшедшій! Теперь самое время съ Эммой посидѣть. И самъ звонитъ, чудакъ! Командорское дѣло!»

— «Да можетъ быть некому!» сказалъ Филипхенъ, застегивая кожаный поясъ рыцаря.

— «Весьма быть можетъ! Надѣюсь, кромѣ командора, во всѣхъ трехъ конвентахъ нѣтъ такого дурака, который бы сидѣлъ въ душной твердынѣ въ такое прекрасное время. Однакожъ очень свѣжо послѣ купанья. Дайка флягу; все равно, надо выпить, а то мой рейнвейнъ до завтра прокиснетъ. Скажи Эммѣ, что я завтра къ ней не буду. Да ужъ, пожалуй, скажи ей правду, что меня на главную стражу завтра назначили, къ Вайделот-

камъ. Пусть поревнуетъ! Ну, теперь ступай, да присматривай, чтобы Эмма ни сама въ гости не ходила, ни у себя никого не принимала. Надо жить такъ, чтобы пятнышка не было. Прощай. Возьми и кошелекъ мой, отдай Эммѣ, а то, чего добраго, командоръ и подъ подушки заглядываетъ.»

Эренгроссъ надѣлъ свою мантію съ чернымъ крестомъ, простую черную шляпу, взялъ трость и пошелъ прямо въ крѣпость. Рыцарь фонъ Бальзее стоялъ въ воротахъ на стражѣ и пропускалъ братій.

— «Вѣчно ты, Эренгроссъ, послѣдній!» сказалъ Бальзее.

— «Да нечего спѣшить; я и такъ не могу спать на соломѣ.»

— «Что же ты дѣлаешь ночью?»

— «Стихи складываю, или хожу лошадь чистить.»

— «Смотри, чтобы стихи командору въ руки не попались.»

— «Да я ихъ пишу на предмѣстьи»

— «Знаю, знаю, Эренгроссъ, у тебя чудесный кабинетъ.»

— «Небольшой, да пріятный; много цвѣтовъ, хорошія подушки.»

— «И хорошенькая сестрица. Эренгроссъ, тебѣ вездѣ счастье. У тебя по крайней мѣрѣ Нѣмка, любитъ тебя, можетъ говорить съ тобой; а у меня такая несносная Литвинка, что упаси Господи. Собой не надо лучше; она, я думаю изъ хорошей фамиліи; но ни слова по-нѣмецки, злая

какъ волчица; на дворъ не смѣю выпустить; трехъ наемниковъ къ ней приставилъ; къ окнамъ придѣлалъ желѣзныя рѣшетки. Сначала во всѣхъ этихъ мѣрахъ я находилъ удовольствіе, а теперь право прискучилось; продать хочу, да какъ ее купцу показать? Ступай, ступай, Эренгроссъ, командоръ въ окошко смотритъ.»

— «Проклятый сычъ! Если бы онъ попалъ въ Литву, его непремѣнно бы пожаловали въ боги безсонницы. Чертъ его знаетъ, когда онъ спитъ.»

— «Эренгроссъ!» закричалъ Командоръ изъ окна: «Ты одинъ не на мѣстѣ! Бальзее! Запри ворота и ни кого не пускай! Слышишь? никого, никого!»

Эренгроссъ вошелъ въ трапезную залу своего конвента. Рыцари уже сидѣли за длиннымъ, узкимъ столомъ; за другимъ столомъ духовники и *служащая братія*. Посрединѣ стоялъ командоръ. Сложивъ крестомъ руки, онъ задумчиво глядѣлъ на рыцарей. Дивился ихъ жаждѣ и голоду; не понималъ ихъ веселія, страдалъ надъ ихъ заблужденіями и наклонностями къ разврату. Командоръ зналъ, что рыцари его конвентовъ на посадахъ наняли себѣ особыя квартиры со всѣми удобствами жизни, зналъ, что завелись тамъ погреба и другіе предметы нѣги и страсти, но утѣшался мыслію, что воля его въ короткое время сзываетъ рыцарей къ молитвѣ и къ трапезѣ; что ночуютъ они въ конвентахъ, каждый въ своей кельѣ; въ кельяхъ спятъ на мѣшкахъ соломы; сундуки ихъ пусты и всегда отперты; всѣ безпрекословно исполняютъ труды тяжкой рыцарской

жизни; и если предаются развратy, то за стѣнами твердыни, въ часы свободные, и съ величайшею, по крайней мѣрѣ, съ возможною тайною. Справедливо утѣшался командоръ, по многимъ причинамъ. Во первыхъ потому, что уже ни въ одномъ отдѣльномъ командорствѣ, гдѣ не жилъ кто-либо изъ великихъ чиноначальниковъ ордена, уставы рыцарей нѣмецкихъ не исполнялись; во вторыхъ потому, что Полунга была самымъ отдаленнымъ отъ великаго магистра командорствомъ; въ третьихъ потому, что сосѣди ихъ, меченосцы, уже вполнѣ и открыто предавались роскоши и разврату. Ни одинъ рыцарь не слыхалъ отъ командора ни упрека, ни намека на счетъ жизни и нравовъ за стѣнами трердыни; ни раза онъ не обнаружилъ даже, что похожденія рыцарей на предмѣстьяхъ ему вполнѣ извѣстны, но за то строго преслѣдовалъ малѣйшее нарушеніе правилъ конвента; не останавливался предъ тягостью наказаній и, глядя на рыцарство Полунги, можно было подумать, что въ конвентахъ ея собраны образцы всѣхъ добродѣтелей. Чудный это былъ человѣкъ — Гейнрихъ, командоръ трехъ-конвентной Полунги. Самъ онъ спалъ, или, лучше сказать, не спалъ, а проводилъ ночи на камнѣ съ книгой въ рукахъ; не раздѣвался; нѣсколько разъ въ ночь бралъ онъ съ каменнаго своего стола мѣдный свѣтильникъ, обходилъ всѣ кельи братьевъ, рылся въ ихъ сундукахъ, замѣчалъ, какія лица у спящихъ, и если случалось ему встрѣтить на лицѣ рыцаря выраженіе страстное, командоръ будилъ рыцаря и заста-

влялъ читать молитвы. Изъ конвента въ конвентъ переходилъ онъ по легкимъ аркамъ. По всѣмъ посадамъ шелъ слухъ, что каждую ночь въ конвентахъ ходитъ стражъ не отъ міра сего; каждую ночь, съ моря даже, можно было видѣть появленіе въ переходахъ надъ арками черной тѣни съ свѣтильникомъ. Изъ конвентовъ командоръ подземнымъ корридоромъ переходилъ въ обитель дѣвъ Вайделотокъ. Онѣ жили въ особомъ домѣ. Рыцарь, двѣнадцать служащихъ братій и сорокъ латниковъ держали стражу въ сѣняхъ обители. Ни кто изъ нихъ не могъ входить во внутренность языческаго дома, подъ страхомъ самыхъ жестокихъ наказаній; ни кто изъ нихъ не смѣлъ сомкнуть глазъ во всю ночь. Одинъ только командоръ имѣлъ право посѣщать всѣ закаулки твердыни; но Гейнрихъ не хотѣлъ осквернить взоровъ своихъ видомъ язычницъ; взглянувъ на стражу въ преддверіи, онъ возвращался въ свою опочивальню. Путешествія свои Командоръ совершалъ разно; иногда трижды въ ночь, иногда пять, иногда даже семь разъ, но всегда нечетомъ. Съ восходомъ солнца командоръ самъ шелъ на колокольню и звонилъ къ молитвѣ; такимъ же образомъ къ обѣднѣ, къ полуденной и вечерней трапезѣ и къ другимъ общимъ трудамъ рыцаротва. Командоръ любилъ всѣхъ рыцарей равно; но никогда и ни кто не слыхалъ отъ него ласковаго слова. Вообще говорилъ мало; но когда дѣло шло о навращеніи язычника, откуда бралось краснорѣчіе и ученость? Онъ изумлялъ своего катехумена свѣдѣніями и жаромъ рѣчи, и рѣдко не

удавалось ему просвѣтить темную душу язычника свѣтомъ Христовымъ. Таковъ былъ командоръ Гейнрихъ фонъ Брезе.

Окончилась скромная трапеза; капелланъ прочелъ молитву, и всѣ пошли по кельямъ своимъ; каждый, проходя мимо командора, почтительно ему кланялся и получалъ благословеніе. Послѣдній проходилъ Альфъ. Онъ не принадлежалъ къ рыцарству Полуяги; прошло не болѣе трехъ дней, какъ его привезли сюда изъ Маріенбурга. Великій магистръ писалъ къ командору Гейнриху, что онъ, магистръ, не имѣетъ ни времени, ни способностей обратить и укрѣпить въ вѣрѣ христіанской юношу, въ которомъ дружба Кейстута, воспитаніе и привычка глубоко укоренили язычество, хотя онъ уже и крещенъ. Почему магистръ и поручалъ молодаго апостата достойнѣйшему и благочестивѣйшему брату во всемъ орденѣ. Командоръ уже поднялъ руку, но воздержался и не посмѣлъ благословить язычника. Альфъ остановился предъ Гейнрихомъ и смѣло глядѣлъ ему въ глаза. Альфъ былъ гораздо моложе Кейстута; золотыя кудри струились по румяному, полному лицу юноши; борода пробивалась мягкимъ пухомъ; не смотря на юность, Альфъ уже сложился въ тѣлѣ и узкое, короткое платье весьма выгодно говорило о его формахъ; онъ былъ одѣтъ по-литовски, въ короткомъ кафтанѣ изъ дорогой ткани, съ золотымъ поясомъ, въ небольшихъ татарскихъ сапогахъ, мантія съ рукавами; но Альфъ держалъ ее и низкую шапку съ мѣховымъ околышемъ въ правой рукѣ.

— «Альфъ!» сказалъ командоръ голосомъ, въ которомъ нельзя было замѣтить ни ласки, ни суровости, «пойдемъ ко мнѣ, побесѣдуемъ.»

— «Командоръ!» отвѣчалъ Альфъ на чистомъ нѣмецкомъ языкѣ и съ полною непринужденностію, «я вашъ плѣнникъ. Приказывайте!»

— «Свобода — въ твоихъ рукахъ!» сказалъ командоръ, уходя и рукою приглашалъ Альфа за нимъ слѣдовать.

— «То есть!» отвѣчалъ Альфъ: «я могу купить ее измѣной моему благодѣтелю и другу!»

— «Я непонимаю тебя! Ты христіанинъ и Нѣмецъ! Ты родился на землѣ нѣмецкой!»

— «Африканская львица, пойманная сѣверными ловцами, родитъ львенка на Ледовитомъ морѣ. Такъ онъ уже и не левъ?»

— «Но твой отецъ?»

— «Такой же львенокъ, въ желѣзной клѣткѣ. И, командоръ, сказать вамъ правду, я ненавижу столько же Нѣмцевъ, сколько и Литвиновъ. Я дышу злобой къ отцу моему за похищеніе Германады, какъ проклинаю звѣрство Маргера, убійцу отца моего. Я не понимаю моихъ страстей; я только ихъ чувствую.»

— «Покайся Богу твоему — и страсти пропадутъ, какъ дурное зелье, поросшее на сердцѣ твоемъ.»

— «Странно устроено сердце мое! Я не могу быть христіаниномъ и стыдно быть язычникомъ. Но признаюсь, вѣчный Зинчь, пылающій надъ христіанской твердыней, льститъ моему самолюбію,

манитъ къ себѣ неодолимымъ очарованіемъ; съ гордостью смотрю на огненныя струи всесокрушающаго старика. Видно, весь міръ его боится!»

Командоръ покраснѣлъ и сказалъ нетвердымъ голосомъ:

— «Это простой маякъ для мореходовъ!»

— «Конечно; а вайделотки для облегченія трудовъ рыцарскихъ; и этотъ маякъ много пользы приноситъ мореходамъ днемъ, когда не спитъ Сотваросъ и его любимая дочь, Солнце!»

Командоръ перекрестился. Съ ужасомъ слушалъ онъ языческія имена боговъ и преданія.

— «Нѣтъ ума безъ предразсудковъ. Воля великаго магистра. А по мнѣ давно бы надо сжечь это знамя стыда и трусости нашей.»

— «Чудно, однако! Цѣлый рядъ великихъ магистровъ имѣетъ одну волю.»

— «Упрямство — бѣльмо, котораго снять невозможно.»

— «Это мы видимъ въ нашихъ нападеніяхъ на Литву. Давно бы уже всѣ княжества литовскія крестились, если бы не услужливость нѣмецкаго ордена, если бы не люди, у которыхъ въ одной рукѣ мечь, въ другой огонь, а крестъ плотно закрытъ плащемъ, обрызганнымъ литовскою кровью!»

— «Онъ правъ!» сказалъ командоръ тихо и вздохнулъ: «Корень изычества далеко проникъ въ его сердце; надо вынуть его, но медленно, осторожно; распнатать, сгноитъ — и тогда... Альфъ! Имѣешь ли ты другія священныя понятія, кромѣ языческихъ? Понимаешь ли ты, что значатъ честь,

слава, честность, самоотверженіе, добродѣтели мірскія?»

— «Командоръ! Кейстутъ для этого лучшая школа. Посмотрите, вы мучите вашихъ плѣнниковъ,—они у Кейстута на свободѣ; вы нападаете на Литву въ тихомолку, цѣлые полки лазутчиковъ высматриваютъ для вашихъ набѣговъ удобное время; — князь Кейстутъ, всегда посылаетъ вамъ сказать заблаговременно о своемъ походѣ, не рѣдко назначаетъ мѣсто и время, куда и когда придетъ — и держитъ слово. Вы царствуете надъ полоненнымъ народомъ; онъ служитъ своей землѣ, какъ послѣдній слуга. Ни одной обиды, нанесенной жителю обширнаго его удѣла, по всему Нѣману, отъ Веллоны до Брестя, не оставлялъ Кейстутъ безъ мести. Вы объ этомъ знаете, командоръ. Конечно, плѣнъ мой—тайна; но если узнаетъ Кейстутъ, что я здѣсь, трехстѣнная твердыня Полунги — небезопасна.»

Командоръ презрительно улыбнулся. Альфъ продолжалъ.

— «Если бы вамъ, командоръ, случилось помѣняться со мною судьбою и занять мое мѣсто въ Трокахъ, ручаюсь вамъ, вы бы не могли выйдти только изъ стѣнъ замка, а впрочемъ за вами-бъ и не смотрѣли; только бы и вспоминали объ васъ, когда князь садится за пиръ, или ѣдетъ на охоту и то для того только, чтобы не обойти васъ приглашеніемъ. Что дѣлать! Мы варвары, мы язычники! Вы хотите подарить намъ рыцарское образованіе!»

— «Но дашь ли ты мнѣ честное слово не бѣжать изъ Полунги?»

— «Какъ это можно! Смотрите за мной! У васъ шесть воротъ въ трехъ стѣнахъ; у каждой рыцарь съ огромной челядью; на стѣнахъ и бойницахъ день и ночь торчатъ латники; пушкари не сходятъ съ бойницъ. Кажется, убѣжать трудно!»

— «Но дашь ли ты мнѣ честное слово не вредить намъ, пока ты въ Полунгѣ?»

— «Вотъ это дѣло другое. Въ этомъ я могу вамъ дать слово.»

— «Ступай же, Альфъ; въ твердынѣ ты свободенъ!»

— «Командоръ! У того же Кейстуса я учился и благодарности! Не забудьте, я выросъ съ великими князьями.»

— «Что ты этимъ хочешь сказать?»

— «Придетъ время, увидите.»

Когда унелъ Альфъ, командоръ перекрестился и сказалъ тихо:

— «Пресвятая Дѣва Марія! Защитница и Заступница наша! помози возвратить заблудшую овцу великому стаду Сына Твоего. Да» продолжалъ командоръ, надѣвъ шлемъ и взявъ свой свѣтильникъ: «кротостью, милостью, тихой бесѣдой, примѣромъ, вотъ единственные пути къ юному сердцу; оно обложено воспоминаніями ужасовъ, жестокостей, крови и многихъ, многихъ пороковъ нашихъ. Пусть будетъ на волѣ невольникомъ; опустѣетъ сердце; проснется жажда Бога, смягчится душа для принятія благодати.»

И въ окнахъ первой арки показалась высокая тѣнь человѣка со свѣтильникомъ.

Альфъ уже былъ на дворѣ замка. Онъ смотрѣлъ на пламя Знича и душа его волновалась пуще сосѣдняго моря. Плескъ волнъ наводилъ на него нестерпимое уныніе; сердце его рвалось и плакало. Ничего опредѣленнаго не появлялось въ душѣ его; призраки, только призраки; пожаръ Пилоны, голова Эндорфа, Вильно, Троки, Анастасія, Альдона, Ольгердъ, княгиня Ульяна, Цвиркунъ и все это заслоняла огромная тѣнь Кейстута, ненавистнаго благодѣтеля, тяжкаго друга! Благодѣянія и дружба казались Альфу гигантскими цѣпями. Глаза его остановились на яркой звѣздѣ; вся душа Альфа перелилась на эту звѣзду; безъ мысли, безъ чувства, онъ глядѣлъ на нее, а слезы собирались въ груди и полились неисходнымъ ручьемъ.

— «Боги! Боже!» сказалъ онъ въ ужасѣ: «Кто я? Что я? Никого не любить, ничему не вѣрить на такомъ безмѣрномъ свѣтѣ, быть врагомъ двухъ отчизнъ, двухъ вѣръ — сестры и друга! Любить свою злобу, искать уединенія, чтобы полнѣе пить свое несчастіе; выйдти на волю, чтобы видѣть свою темницу! Что я? Кто я?

Грустно, безъ цѣли, безъ думы ходилъ Альфъ по широкому, мощеному плитою, двору твердыни. Онъ остановился передъ дубовыми воротами обители вайделотокъ. Ворота были отперты; въ сѣняхъ у трехъ дверей стояло по два латника; рыцарь сидѣлъ на высокомъ стулѣ; передъ нимъ стоялъ походный налой; рыцарь читалъ громко житія свя-

тыхъ; служащая братія и латники сидѣли кругомъ стѣнъ на скамьѣ и весьма прилежно слушали чтеніе. Альфъ прислонился къ деревянному рѣзному пиластру, казалось также хотѣлъ слушать чтеніе, но изъ лѣвыхъ дверей вошелъ командоръ: чтеніе было прервано, всѣ встали.

— «Бдите и молитеся!» сказалъ командоръ: «Не вѣсте убо ни дня, ни часа, въ онь же Господь пріидетъ! Братъ Эрнестъ, благодарю; вы умѣете часы службы ратной услаждать пищей небесной.»

— «Командоръ и братъ!» отвѣчалъ рыцарь: «Чтеніе священныхъ книгъ охраняетъ отъ чаръ языческихъ!»

— «Вѣрю. Сосѣдство соблазна — возмущаетъ покой крови. Альфъ! что́ стоишь подъ небомъ открытымъ, отчего не спишь? Молодое тѣло требуетъ отдыха.»

Альфъ горько улыбнулся и вошелъ въ сѣни.

— «Подъ открытымъ небомъ, въ тишинѣ ночи, я не слышу, командоръ, брани на вѣру отцевъ моихъ. Священный часъ! А мнѣ нельзя помолиться въ святынѣ Прауримы; нельзя поклониться высокому жертвеннику; нельзя пепла, оставленнаго Зичемъ на алтарѣ, приложить къ болящему сердцу— а этотъ пепелъ цѣлебенъ.»

Командоръ презрительно улыбнулся и сказалъ:

— «Я далъ тебѣ свободу не для шутки. Опытъ — учитель; ступай, лечись; но, дай слово, что ты не скроешь отъ меня: какое дѣйствіе окажетъ твой пепелъ? Ступай! Пропустите!»

Невольный трепетъ разлился по всему тѣлу Аль-

фа, когда онъ вступилъ на первый камень лѣстницы, слабо освѣщенной отблескомъ Знича. Какъ будто сто голосовъ раздалось въ душѣ его; чудеса представились его воображенію. Кейстутъ съ мечемъ въ рукахъ, казалось, хотѣлъ заградить ему дорогу, а Ольгердъ улыбался и знаками поощрялъ его; выше Альдона, въ черной одеждѣ, руками отгоняла его. Альфъ отступилъ. Командоръ, посрединѣ сѣней, какъ статуя неподвижный, внимательно слѣдовалъ за всѣми движеніями Альфа. Рыцарь перекрестился; прочіе вздрогнули. Альфъ оглянулся и замѣтилъ, что онъ былъ предметомъ общаго вниманія, покраснѣлъ, потеръ глаза и бодрымъ, ровнымъ шагомъ пошелъ по лѣстницѣ.

— «Нѣтъ,» сказалъ командоръ, опускаясь въ подземный переходъ по узкой лѣстницѣ: «нѣтъ, тамъ ты не найдешь утѣшенія; надо искать его выше!»

Альфъ вошелъ на площадку стеклянной храмины въ самое то время, когда вайделотка позлащенными щипцами поправляла огонь въ глубокой жаровнѣ. Искры разсыпались; пламя взбѣжало высокимъ столбомъ; дѣва отклонила голову и поправила бѣлое, прозрачное покрывало. Альфъ не могъ видѣть ея лица, но бѣлая, какъ снѣгъ, одежда, перетянутая золотымъ поясомъ, вполнѣ обнаруживала стройный станъ вайделотки. Она пошла къ своему ложу, покрытому дорогою шелковою тканью. Возмущенные уголья еще бросили нѣсколько блестящихъ искръ.

— «Гости будутъ,» сказала вайделотка, по-литовски.

Голосъ ея показался Альфу слаще Пуциса, южнаго вѣтра. Она легла на свое пышное ложе и лице ея, ярче огня священнаго, озарило все существо Альфа; ему показалось, будто цѣлое небо тѣснится въ душу его; весь міръ, вся красота его, всѣ разсказы о Ковенской Мильдѣ, все, все, что память его считала прелестью, очарованіемъ, показалось ему мечтой ничтожной, недостойной мгновеннаго вниманія въ сравненіи съ неописуемымъ образомъ роскошной дѣвы. Высокое чело ея, съ котораго густыми волнами лились длинныя, каштановыя кудри, обтянутое золотою повязкою.... онъ узналъ, онъ его видѣлъ; сегодня еще, между тмою звѣздъ, онъ нашелъ его; память такъ вѣрно сохранила его чудное сіянье. Глаза были прикрыты черными, длинными рѣсницами, бѣлизна лица и рукъ, заложенныхъ подъ голову, пурпуръ и невыразимо милое очертаніе устъ, ростъ, наконецъ и самое положеніе дѣвы... все это хоть въ любой романъ. А между тѣмъ это была не мечта, созданная досужимъ воображеніемъ романиста, не общій портретъ, составленный фантазіей поэтовъ для героинь всѣхъ вѣковъ и странъ, нѣтъ, то была красавица въ полномъ смыслѣ, красавица историческая, какъ Семирамида, Клеопатра, Марія Стюартъ.

Вайделотка видѣла, что кто-то вошелъ въ ея свѣтлицу, но съ умысломъ не обращала на гостя никакого вниманія. Положеніе ея было самое живописное: руки ея были подложены подъ голову; художникъ не могъ бы найти никакихъ непріят-

ныхъ угловъ въ ихъ поворотѣ, такъ эти руки круглы; она заложила ногу на ногу и драпировка ея одежды могла бы служить образцемъ самому взыскательному ваятелю. Я даже помню античную статую, которая вотъ теперь, когда я пишу это, воображенію моему кажется посредственною копіею съ моего превосходнаго оригинала. Но замѣтьте, вайделотка не была кокетка; всѣ ея движенія были естественны, невольны; такъ ее создала природа. Она не могла пошевельнуться, чтобы въ каждомъ ея движеніи, поворотѣ, не было новаго образца женскаго изящества. Долго и безмолвно лежала вайделотка; долго и безмолвно смотрѣлъ на нее Альфъ. Не смѣю употребить общаго выраженія, а оно здѣсь было бы кстати: Альфъ пожиралъ дѣву глазами. Но всему есть срокъ. Голосъ дѣвы откликался въ его сердцѣ. Альфу еще разъ захотѣлось услышать ея голосъ, перевернуть на другую сторону свое блаженство. Бываютъ же такія желанія: то хочется говорить, то хочется молчать; заговоритъ любимица сердца — такъ и хочется, чтобы она замолчала; замолчитъ... скучно, досадно... Но какъ начать рѣчь? На какомъ языкѣ говоритъ эта небесная дѣва? Пойметъ ли, захочетъ ли понять слова ничтожнаго юноши?... И Альфъ, горя нетерпѣніемъ, не выдержалъ и сказалъ громко политовски:

— «Боги! Помогите моему языку и сердцу!»

Вайделотка съ живостью поднялась съ мѣста; звуки роднаго — языка всегда волшебны; она хотѣла сказать что-то, но вдругъ какъ будто опом-

нилась; поднятая рука невольно упала: уста сомкнулись. Мысль: «не обманываютъ ли ее?» пролила въ душѣ ея прежній холодъ. Вайделотка молчала.

— «Неужели» сказалъ Альфъ: «я не услышу отъ тебя, дѣва—и благословенія?»

— «Кто ты? Откуда? Чего ищешь здѣсь? Какъ ты зашелъ сюда? Даромъ не пропускаютъ рыцари никого къ огню священному. Чѣмъ заплатилъ ты за это счастіе? Или ты пришелъ посмѣяться божеству отцевъ твоихъ?»

— «Нѣтъ, не огонь хранятъ рыцари» сказалъ восторженный Альфъ: «Тебя, дѣва, берегутъ рыцари, какъ сокровище безъ цѣны и сравненія. Охъ Кейстутъ, Кейстутъ! Не узнавай, гдѣ я. Командоръ, теперь не нужно моего слова; отопри всѣ шесть воротъ, я не уйду изъ Полунги. Цѣпями Мильды прикованъ я къ этой горѣ. Я счастливъ!»

И Альфъ лежалъ у ногъ вайделотки.

— «Дитя!» сказала она ласково: «Встань, разскажи мнѣ покойно, кто ты, откуда и зачѣмъ?» И съ важностію усѣлась на богатомъ ложѣ, какъ судія, которому покаялся преступникъ и собирается принести добровольное признаніе.

— «Кто я?..— Сынъ рыцаря Эндорфа и Германады Пилонской!»

— «Альфъ!» не безъ ужаса произнесла вайделотка.

— «Да, это мое имя; я крещеный язычникъ, другъ Кейстута! Я выросъ, проклиная моихъ притѣснителей; я пилъ ядъ язычества, изъ ненависти къ

отцу моему. Прошедшее принадлежитъ другому міру; я родился *теперь*... Прими новорожденнаго.»

Дѣва, опустивъ глаза, молчала. Альфъ продолжалъ:

— «Кто я? Назови, дай имя, дай назначеніе, скажи: *кто я*, и я исполню завѣтъ твой?.. Кто я? — Этотъ вопросъ пуще бури морской; не узнаешь въ этой бурѣ день ли стоитъ, или ночь крадется или утро гибнетъ, или умираетъ вечеръ. Откуда? Поклусъ, богъ зла, ковалъ мою душу; онъ ждалъ меня на порогѣ жизни; христіанинъ и язычница ласкали чужое дитя; а старый дѣдъ (Поклусъ), обвивъ плѣшивую голову бѣлой тряпкой *) бѣгалъ по всей Литвѣ, и радость его прошла по святой землѣ черною смертью **). Такъ веселился Поклусъ, когда я родился. Откуда?! Изъ мрачной Прагары, изъ темнаго ада. Я понялъ мое происхожденіе, я ненавижу Литвиновъ. Нехотѣлъ я радовать злобнаго дѣда, нехотѣлъ тяготить собой отчизну матери; гдѣ бы я ни былъ, несчастіе ходило за мной; въ которомъ походѣ я, тамъ нѣтъ побѣды и добычи; на томъ пирѣ, гдѣ я, люди не веселятся; та дѣва, на которую я случайно взглянулъ съ любовью, лишалась женіховъ и славы. Я угадалъ: кто я, откуда! Я бѣжалъ изъ земли моей матери; я хотѣлъ подарить моимъ присутствіемъ враговъ моей Германады, враговъ моихъ благодѣтелей, моего великаго, несравненна-

*) Преданіе о богѣ зла, Поклусѣ.

**) Черной смертью назывались почти всѣ заразы. Собственно черную смерть мы увидимъ ниже.

го друга; но я не хотѣлъ быть переметчикомъ, измѣнникомъ! Нѣтъ! Я сложилъ свою дружину; чудныхъ людей собралъ я подъ черным знаменемъ Поклуса; на немъ рука невинной Альдоны, не вѣдая что дѣлаетъ, вышила таинственныя имена Прагары. Я и витязи мои покрыли доспѣхи свои чернью; вмѣсто стрѣлы, на шлемахъ нашихъ торчала мертвая голова; на черныхъ щитахъ блистало серебряное изображеніе смерти. Шуткой, забавой, игрой называли богатыри литовскіе мою дружину; каждое утро мы учились какъ дѣлать приступъ; въ шутку, мы брали Троки, князь Кейстутъ училъ свою дружину и защищалъ замокъ. «Пора!» сказалъ я, и въ темную ночь мы переплыли Нѣманъ и лѣвымъ берегомъ въ немногіе дни набѣжали на Пруссы. Нигдѣ не вспыхнула ни одна изба; нигдѣ мы не взяли ни одного плѣнника; легко неслись мы дальше и дальше. Достигли! Пожаръ на посадахъ Остерроде освѣтилъ нашъ приступъ; ударъ отъ руки невѣдомой оглушилъ меня, я свалился со стѣны въ ровъ глубокій... Просыпаюсь... Солнце высоко... Встаю, иду — кругомъ трупы, кругомъ знакомые дѣти Поклуса всѣ, до одного, исполнили обѣтъ смерти. Пали! Старый дѣдъ охранилъ только меня одного, чтобы позабавиться, посмотрѣть, какъ я считалъ мертвую мою дружину. Всѣхъ нашелъ я подъ стѣнами Остерроде, всѣхъ перечелъ. Между трупами недоставало одного Альфа... Въ рукахъ окостенѣлыхъ Жирдова, лучшаго изъ моихъ витязей, нашелъ я знамя Прагары; наступилъ я на грудь моему другу и вы-

рывалъ изъ рукъ его древко... И, мертвый, онъ не отдавалъ страшной святыни, а между тѣмъ Нѣмцы тихо выкрались изъ твердыни, подошли ко мнѣ сзади и заперли меня въ темницу, въ ту самую темницу, гдѣ родился плодъ грѣха и несчастія, —Альфъ и Альдона.»

Юноша закрылъ руками лице, не плакалъ, но какъ будто старался припомнить что́-то. Вайделотка внимательно слушала быстрый, одушевленный разсказъ Альфа. Лице ея не выражало ни ужаса, ни состраданія; она покойно глядѣла на Альфа и ждала продолженія.

— «Я остался въ живыхъ!» сказалъ Альфъ, какъ будто вспомнивъ что-то: «Я остался въ живыхъ, потому что видѣлъ сонъ... потому что въ этомъ снѣ явилась мнѣ дѣва чудной, неземной красоты... Обѣты ея были слаще жизни и смерти!.. Да... Она обѣщала мнѣ любовь и месть. Нѣтъ, я не ошибаюсь! Смѣйся, считай меня лжецомъ, какъ хочешь, но эта дѣва была—ты!»

Вайделотка вздрогнула. Альфъ продолжалъ:

— «Теперь не спрашивай: зачѣмъ я здѣсь? Позволь увѣриться только въ одномъ: не сонъ ли это опять?» И Альфъ схватилъ дѣву за руку... Смущенная Вайделотка почти вскрикнула. «Безумецъ! Опомнись!»

Альфъ отступилъ отъ нея почтительно и сказалъ тихимъ, покойнымъ голосомъ:

— «Дѣва, чудная дѣва! Я опомнился. Въ сказкахъ я слыхалъ о счастіи; во снѣ я видѣлъ блаженство... И блаженство и счастіе теперь передо

мною... Я тебя не покину! Я буду служить тебѣ, я буду у тебя учиться съизнова, во всемъ слѣдовать твоимъ совѣтамъ; радостно исполнять твою волю...»

— «Въ самомъ дѣлѣ?» съ горькою улыбкою спросила вайделотка.

— «Да какъ же! Вѣдь я стану жить теперь, любить, надѣяться...»

— «Кого любить? Чего надѣяться?»

Альфъ смѣшался. Дѣва поправила складки своей одежды, облокотила голову на руку и сказала тихо:

— «Дитя, дитя! Воображеніе твое дурно настроено. Несчастія ослабили твой разумъ... И какія несчастія? Самъ подумай! Смерть твоей матери—гордость, слава литовскаго народа! Ни одинъ рыцарь не можетъ слышать имени Германады безъ краски; зарево пожара Пилоны отразилось въ Авиньонѣ, смутило латинскаго патріарха, навело ужасъ на христіанъ самыхъ отдаленныхъ. Самъ ты выросъ въ семьѣ князей, и какихъ князей! Не даромъ рыцари чествуютъ ихъ именами королей литовскихъ... Не видала я многодѣтнаго Ольгерда, кому имя дала «радость Ольги» его матери, не видала я богатыря богатырей, кого сами боги прозвали «хитрецомъ, Кейстутомъ!» Не видала я ихъ, великихъ свѣтилъ литовской земли и всей огромной семьи князей, потомковъ Конунговъ пришельцевъ. И вѣрь мнѣ, нѣтъ у насъ ни одной дѣвы, которая, ходя около этого каменнаго алтаря, не думала бы о нихъ тайно, не обращала

бы взоромъ къ востоку, къ Вильну и Трокамъ, къ логовищу львовъ нашихъ!»

Альфъ вздрогнулъ. Странная ревность закралась въ его душу...

— «А ты, счастливецъ!» продолжала вайделотка: «Ты росъ съ ними, какъ братъ; отцевской рукой ласкалъ тебя Гедыминъ; Криве-Кривейто клалъ на тебя священныя руки... За что такая честь тебѣ, Альфъ?.. За смерть матери. Дитя, дитя! Кровь налитъ; крѣпко тебя князья любили! Признайся, баловали?»

Альфъ не смѣлъ, не могъ оскорбиться. Улыбка дѣвы отразилась и на его лицѣ.

— «Нѣтъ, Альфъ, я тебя исправлю. Я даже вѣрю твоему сну. Видно, боги избрали меня тебѣ въ няньки.»

Еще улыбка; и всѣ эти обиды показались Альфу самыми великолѣпными свадебными подарками... Онъ глядѣлъ на вайделотку умильно и смѣялся сквозь радостныя слезы.

— «Я рада тебѣ, Альфъ, но не могу понять нашего добраго командора. Какъ это онъ пустилъ тебя къ Зничу; юношу—въ обитель дѣвъ! Видно, онъ крѣпко надѣется на Бируту. Спасибо и за это!»

— «Бирута!» сказалъ испуганный Альфъ.

— «Чего же ты испугался? Ну да, Бирута! Что же тутъ удивительнаго? Такъ меня назвалъ отецъ.»

— «Неудивительно же, если я.. »

— «Говори, Альфъ, что ты? Вѣрно и про меня

уже ходятъ сказки. О, я знаю литвиновъ! Говори, Альфъ, я женщина; люблю сплетни.»

— «Это ты околдовала командора Эстерназе?»

— «Не околдовала, а отвергла глупую любовь!»

— «Но ты любила другаго рыцаря, Эдуарда Громлица.»

— «Ну, ужъ это неправда! Я не любила никого и никого любить не буду.»

Альфъ нахмурился.

— «Полно нѣжничать, Альфъ! Будемъ друзьями! Это не противъ обѣта. Время все передѣлаетъ.»

Альфъ не понялъ и утѣшился. Бирута улыбнулась, встала, поправила огонь, опять легла, но опустивъ ноги, такъ, что на ложѣ осталось еще весьма довольно мѣста.

— «Садись,» сказала она: «садись, Альфъ! Когда воротишься въ Вильно и въ Троки, разскажи нашимъ князьямъ повѣсть Бируты. Я дорожу ихъ уваженіемъ. Садись же, Альфъ! Какой ты ребенокъ!»

Бирута привстала, взяла его за руку и усадила на своемъ ложѣ.

Можно представить пытку бѣднаго Альфа. Лицемъ къ лицу съ Бирутой, онъ могъ слышать ея дыханія, видѣть волненіе груди: Пространство ладони отдѣляло его отъ совершенства красоты земной. И онъ долженъ былъ молчать, смотрѣть на нее и не думать о ней, а внимательно слушать разсказъ, замѣчать, заучивать всѣ подробности — и не задумываться!

—

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

БИРУТА.

— «Теперь ночь.» такъ начала Бирута: «Небо заволокли тучи; темно, и ты не увидишь окрестностей горы этой. Тамъ, подъ степеннымъ лѣсомъ, на небольшомъ пригоркѣ, еще и теперь видны развалины городка, старой Полунги; то была столица владѣній Видымунда, отца моего. Отъ моря въ глубь Жмуди и отъ городка на востокъ солнца, надо было ѣхать два добрыхъ дня нашими лугами и нашимъ лѣсомъ. И Видымунда по всему берегу моря звали княземъ; а онъ былъ не князь; онъ былъ изъ чистыхъ литвиновъ, не изъ племени Конунговъ пришельцевъ. Видымундъ не только мнѣ, но кто только жилъ на его землѣ, или приставалъ къ его берегамъ,—былъ роднымъ отцемъ. Далекіе посады у моря, что́ теперь люди называютъ Полунгой, онъ построилъ самъ, на свой счетъ. Придутъ ли корабли нѣмецкіе, онъ не беретъ съ нихъ окупа; поитъ и кормитъ пловцевъ по три дни на старомъ замкѣ, да еще осадитъ иного, землю ему дастъ, лѣсъ на постройку подаритъ, своими людьми привезетъ на мѣсто: селись, живи, торгуй, будь онъ христіанинъ, литвинъ, сынъ Одина, Русинъ—ему все одно: равная всѣмъ ласка, равная помощь. Знали мы и про нѣмецкіе Крестовые походы; слыхали мы, что рыцари на Нѣманѣ твердыни строятъ, что изъ-подъ Риги меченосцы раза два въ нашихъ лѣсахъ охотились.

— «Пусть охотятся и правнукамъ нашимъ дичи станетъ; пусть строятся по Нѣману, та рѣка давно у насъ границей,» такъ говаривалъ Видымундъ, а самъ другое думалъ. Были у него двѣ дружины, одна отборная, витязь въ витязя, чудо, не дружина; а другая поголовная: всѣ, кто ни жилъ на землѣ нашей, каждыя двѣ недѣли сходились подъ замокъ; народу было больше, чѣмъ на лѣтнемъ торгѣ; училъ ихъ Видымундъ копьемъ и сѣкирой управлять, и не разъ князья изъ Керновы пріѣзжали дивиться приморскому войску. Только и осталось во всей Литвѣ моря, что у насъ. Тихо, покойно было у насъ на взморьи. Такъ прошло не мало лѣтъ. Я уже очень подросла; матери я не помню; няня умерла; стали звать меня невѣстой, стали и женихи появляться: изъ Кернова, изъ Вилкомира, изъ русскихъ областей богатыри пріѣзжали, вотъ такіе молодцы, какъ и ты, всѣ съ любовью, всѣ съ свадебными гостинцами. Мнѣ стало больно скучно. Бывало, какъ понаѣдутъ эти гости, Видымундъ и затѣваетъ охоту на дикихъ кабановъ, на медвѣдей, на большаго звѣря; на мелочь охотилась только челядь наша изъ замка, да Нѣмцы. Уѣдутъ; нельзя же мнѣ въ теремѣ одной оставаться; вотъ отецъ и отведетъ меня на гору и отдастъ вайделоткамъ. Уведутъ они меня въ самую Прауриму, да и станутъ кормить макомъ и орѣхами, вареными въ меду, да плодами диковинными, какихъ я уже давно не видала. Вайделотокъ было тогда во храмѣ семь, восьмая старшая, вотъ какъ я теперь, тоже простая вай-

делотка; ни въ платьи, ни въ службѣ никакой разницы, но надзоръ за всѣмъ: и за дѣвицами, и за хозяйствомъ, и за очередью, за всѣмъ, за всѣмъ. Сестра Данута была уже немолода, но еще прекрасна; она была родомъ изъ Эйраголы; захворала у нее мать, никто ей помочь не могъ Данута принесла обѣтъ Прауримѣ, богинѣ жизни и огня душевнаго, — и, старушка оздоровѣла; оздоровѣла и сама отвезла дочь на святую гору. Данута была страхъ какъ добра; за вайделотками смотрѣла плохо: никакого порядка; раза четыре у нихъ Зничъ погасъ, а Данута не только не взыскала, даже скрыла преступницъ и Криве-Кривейту ничего о томъ не написала. Любить ее, любили, но ужъ за то на волосъ не боялись. На бѣду еще, пошла она въ вайделотки въ тѣхъ лѣтахъ, когда сердце дѣвушки уже испорчено лестью мужчинъ, грѣшными желаньями и любовными вздорами. Передъ самымъ обѣтомъ, Данута была испорчена мужскимъ глазомъ: ее, что называется, приколдовалъ княжескій ловчій, Пруссъ. Хотя она и свято соблюдала обѣтъ свой, но, къ несчастію, она была строга только къ себѣ и черезъ чуръ снисходительна къ сестрамъ. Стыдно разсказывать, но, право, у семи вайделотокъ было тринадцать любовниковъ; у каждой по два, у одной только одинъ! И надъ Гермилой, у которой былъ только одинъ, всѣ прочія смѣялись, и нерѣдко спрашивали у нее: Что она такъ долго двойника ищетъ?

«Ужасъ вспомнить, страхъ разсказывать! Бывало, Данута, не столько по долгу, а больше

со скуки, встанетъ и пойдетъ въ капище: Зничь горитъ такъ, что грозитъ пожаромъ; подъ нимъ цѣлый костеръ дровъ наваленъ, а вайделотки нѣтъ. Бѣдная Данута въ обитель: тамъ крикъ, шумъ, пѣніе. Данута не хочетъ войти, и отъ доброты и отъ боязни: махнетъ рукой, да сама безъ очереди за щипцы, и давай ходить. Тогда еще Зничь, какъ слѣдуетъ, не на маякѣ, горѣлъ, а въ честной храминѣ, гдѣ теперь Нѣмцы старшій конвентъ устроили. Въ первый разъ, когда привелъ меня Видымундъ въ капище, я не могла замѣтить ничего дурнаго. Боялись онѣ Видымунда; боялись, чтобы я, по молодости, чего не разболтала, и не отходили во весь вечеръ отъ Дануты и отъ меня. Пѣли, ласкали меня, показывали всѣ закоулки храма, всѣ его богатства, которыя я почитала хорошенькими игрушками, и только: такъ я была еще глупа. Больше всего забавлялъ меня истуканъ Прауримы. Это была молодая женщина, въ нашемъ платьѣ; въ одной рукѣ она держала золотой сосудъ, изъ него вѣчно, и днемъ и ночью, лилась вода жизни; въ лѣвой: головня, осыпанная разными камнями; эта головня всегда пылала: Я не могла надивиться, какъ она горитъ и не сгоритъ. Наступила ночь.

— «Пора на покой!» сказала Данута: «Ступайте, да прежде княжну уложите на моей постелѣ!»

— «А ты же гдѣ будешь спать, Данута?» спросила я.

— «Я не буду, моя милая, спать: сегодня моя очередь, я буду при богинѣ огонь сторожить!»

— «Такъ и я съ тобой останусь» сказала я весело: «Я такъ полюбила богиню, что хоть на вѣки готова при ней остаться!»

Данута вздрогнула.

— «Что съ тобой?» спросила я.

— «Нѣтъ, ничего, такъ! Пожалуй, останься, княжна: мнѣ будетъ веселѣе; а соскучишься, и тутъ есть на чемъ прилечь. Ты же, княжна, и не такъ здорова; такъ сподручнѣе мнѣ самой за тобой смотрѣть. А пока выпей кубокъ живой воды. Ну, а вы ступайте!» сказала Данута сестрамъ.

— «О! какъ онѣ обрадовались! Побѣжали; смѣхъ ихъ долго былъ еще слышенъ въ переходахъ храма; во всю ночь, по временамъ раздавались звуки поющихъ голосовъ, и отдаленный хохотъ. Данута только качала печально головою и на вопросы мои отвѣчала съ выраженіемъ доброты и состраданія: «Молодость, рѣзвость! Расшалились, спать не могутъ.»

Остались мы вдвоемъ съ Данутой при алтарѣ Праурimы. Не смотря на дѣтскую мою охоту подражать вайделоткѣ, силы мои утомились: я уснула, сидя; между тѣмъ воротился съ охоты Видымундъ, и утромъ съ какимъ-то сожалѣніемъ оставила я священную божницу Праурimы. Дома мнѣ было ужасно скучно; я, то и дѣло, искала глазами священной горы. Когда я смотрѣла на храмъ Праурimы, мнѣ становилось легко, весело,— и Праурима видимо полюбила меня, потому что ловчіе безпрестанно открывали лежачаго медвѣдя.

Видымундъ съ гостьми уходилъ въ лѣсъ, а я
моей Данутѣ.

Не знаю, была ли то очередь, но и во втор
и въ третій разъ, стеречь священной огонь пр
ходилось старшей сестрѣ. Въ третью ночь я
глазъ не свела, все глядѣла на мою Праурими,
мнѣ показалось, что вся моя привязанность, во
мое счастіе, какое я находила въ храмѣ, заключ
чалось въ блистательной Прауримѣ; я почти не
разставалась взорами съ ея алмазными очами. Мнѣ
казалось, что эти дорогіе камни одушевлены
жизнью, глядятъ на меня любовно, зовутъ къ
себѣ. Я спрашивала объ этомъ у Дануты, у дру-
гихъ сестеръ, но онѣ ничего не могли мнѣ ска-
зать; онѣ не понимали ни своего божества, ни
своего назначенія. Наступила и четвертая ночь, а
отецъ не возвращался; весь тотъ день провели
мы съ Данутой въ саду, покрывавшемъ тогда поч-
ти всю гору. Ввечеру я стала проситься къ Прау-
римѣ: Данута не соглашалась; я настаивала, —
нечего дѣлать, она уступила.

Съ непонятною радостью я прибѣжала къ Прау-
римѣ и бросила всѣ цвѣты мои, какія я въ тотъ
день набрала, на ея ноги. Помолилась, оглянулась: со щипцами стоитъ Гермила, въ глубокой задумчивости. Больше всѣхъ сестеръ я любила Гермилу; я бросилась къ ней, какъ къ родной, и стала допытываться о причинахъ ея печали. Я тогда не была еще вайделоткой и потому любить Гермилу — было простительно. Она краснѣла, молчала, вздыхала, словомъ, всѣ признаки человѣче-

кой болѣзни, которую зовутъ любовью, я нашла въ ней; но тогда еще не могла и не умѣла опредѣлить недуга. Кончилось тѣмъ, что Гермила призналась, но въ чемъ? Что ей очень нужно на мгновеніе выйдти изъ капища, а она не смѣетъ, она боится, чтобы не погасъ Зничь, чтобы не потухло пламя на головнѣ Прауримы. «Гермила! Я за тебя!» сказала я съ дѣтскою рѣзвостью. Крѣпко обняла меня Гермила, поцѣловала, подала мнѣ разолоченную стклянку съ какою-то пахучею жидкостью, чтобы изъ нее подливать въ лѣвую руку Прауримы — и убѣжала. О! съ какою гордостью, съ какою заботливостію я исполняла должность вайделотки. Зничь пылалъ такъ весело, пламя на головнѣ подымалось синимъ столбомъ; я все подливала, подливала; пламя усиливалось; жидкость израсходовалась и только, выливая остатки, я пришла въ замѣшательство, поняла мою неопытность и неумѣстное усердіе; побѣднѣла, и не знала, что дѣлать? Безпрестанно я поглядывала на дверь, но Гермила не возвращалась; будить Дануту было совѣстно; не хотѣлось мнѣ ввести въ бѣду Гермилу. Я тогда еще не была вайделоткой и могла быть снисходительной, сострадательной. Въ затруднительномъ положеніи, я вспомнила, что подобные золотые сосуды стоятъ цѣлой дружиной въ богатомъ ларѣ, позади истукана. Съ трудомъ могла я поднять тяжелую крышку: тамъ я нашла двѣнадцать подобныхъ сосудовъ и пустое мѣсто для тринадцатаго; на каждомъ была стеклянная широкая пробка съ вырѣзанными по-русски именами нашихъ

мѣсяцевъ: Карвилисъ, Гегузе, и т. д. Я и не догадалась, что это были мѣсячные запасы благовоннаго масла, схватила посудину — пуста, схватила другую — не почата. Чудесно! Въ восхищеніи я налила моей Прауримъ полную руку дорогой жидкости — и цвѣтъ пламени и запахъ въ святынѣ измѣнились. Блѣднорозовый свѣтъ разлился по божницѣ; такъ стало свѣтло, весело. Я опять въ ларь: любопытство меня увлекало; тамъ я нашла полную одежду Криве-Кривейто, нѣсколько золотыхъ вѣнцовъ, множество разныхъ бездѣлушекъ, а на самомъ низу связки разныхъ бумагъ.

— «Наконецъ,» сказала я съ какимъ-то радостнымъ трепетомъ: «наконецъ я что нибудь, да узнаю!» И, въ восторгѣ, не безъ труда, развернула первый свитокъ. Охъ, какое горе! Нашихъ буквъ не нашла я въ этой рукописи. То были Руны. Я узнала объ этомъ письмѣ, когда уже не стало моихъ рукописей. Я чуть не заплакала съ досады. Развертываю другой свитокъ—то же; развертываю третій—неизвѣстная грамота, а не руны; вижу, что буквы, да не знаю какія. Болѣе десяти свитковъ развернула я: то руны, то неизвѣстныя кривульки. Наконецъ, не помню, который это уже былъ свитокъ, развертываю: много столбцевъ, каждый на другомъ языкѣ, каждый другимъ письмомъ; нахожу и наши буквы, читаю... чудная повѣсть.

«Богиня моя не богиня, а женщина, простая женщина: я могу быть такою же богиней, если захочу. Надо только быть добродѣтельной. Будто трудно быть добродѣтельной? Гораздо труднѣе быть

порочной женщиной, гораздо труднѣе предаться злобѣ, соблазну, разврату, нечестію и проч. Праурима такъ похожа на меня. И ей было въ то время пятнадцатая весна, и она была дочерью богатаго прусскаго вельможи, и она жила на берегу моря. Пришелъ на сорока ладьяхъ Конунгъ Баубелъ изъ дальняго южнаго похода. У него было сто красавицъ и ни одной жены. Вотъ Конунгу и стало скучно; ему жены хотѣлось, то есть, любви, а не пустой, безчувственной нѣги. Ходилъ Конунгъ на четыре конца свѣта, много добылъ плѣнницъ, а все не нашелъ ни одной жены. Вотъ волшебники въ далекихъ странахъ и сказали ему: «Баубелъ, ты ищешь счастія за морями, а оно у тебя подъ бокомъ. Откуда къ вамъ плавалъ Витолфъ? Знаешь? — Знаю: изъ нашихъ поселеній, изъ Пруссъ, отъ храма прусскаго Атримпа, ко храму нашего Одина! —Много же ты знаешь, Конунгъ, когда не видалъ Прауримы. Такъ сказали ему сѣдые колдуны, и Конунгъ, со всѣми плѣнницами, на сорока ладьяхъ цѣлый мѣсяцъ плылъ до Янтарной земли. Пріѣхалъ Конунгъ Баубелъ, увидалъ Праурриму, еще съ моря, когда она навязывала золотой позвонокъ на шею морскаго чудовища, Атвара. Ручной былъ это звѣрь; онъ ходилъ за Прауримовой лодкой; если какой пловецъ, по гордости или по незнанію, не сворачивалъ проворно съ дороги, Атваръ опрокидывалъ лодку; но бѣды никогда не было: по мановенію Прауримы, Атваръ хваталъ утопающихъ и бросалъ на берегъ, на мягкую мураву, подъ самыя окна Прауримы. Она тотчасъ

неслась къ родному берегу, и поила несчастныхъ путниковъ живою водою и лечила цѣлебными травами. Одна Праурима знала тѣ травы, тотъ источникъ жизни. Ни кого не любила Праурима, но кто бы ни пришелъ къ ней, она подавала помощь какъ будто родному, и со всѣхъ сторонъ стекались къ ней болящіе и недужные, и всѣ находили исцѣленіе, и прозвали ее подательницею жизни, наконецъ богинею. Но открыто ей поклоняться еще не смѣли. Вотъ въ это время пріѣхалъ Баубелъ, на сорока ладьяхъ; сто плѣнницъ, одна другой краше, шли впереди, за ними сто витязей несли сто разныхъ подарковъ отъ ста странъ, которыя посѣтилъ Конунгъ; предъ Баубеломъ шелъ пѣвецъ и воспѣвалъ подвиги Конунга на сорока моряхъ; послѣдній шелъ Баубелъ, съ братомъ своимъ по оружію. На встрѣчу ему вышла дружина отца Прауримы, ввела Конунга въ высокій чертогъ. Отецъ Прауримы принялъ дары и послалъ за дочерью. Какъ тихій голубь, спорхнула Праурима съ высокаго терема въ больную палату. Конунгъ палъ ницъ предъ красотою новой богини; пѣвецъ его ударилъ въ струны и воспѣлъ любовь Конунга Баубела къ чудной Прауримѣ. Дѣва слушала и улыбалась. Кончилъ пѣвецъ, всталъ Конунгъ и благоговѣйно слушалъ, что скажетъ Праурима. Дѣва весело оглянулась. Плѣнницы смотрѣли на нее умоляющими глазами, дары блистали въ рукахъ пришельцевъ.

— «И все это мое?» спросила Праурима.

— «Твое, твое!» сказалъ Конунгъ, и сотни голосовъ повторили его слово.

— «Благодарю, Конунгъ! Велите зажечь мой свѣточъ на башнѣ замка!»

Зажгли. Праурима между-тѣмъ обходила витязей, принимала подарки, разспрашивала: гдѣ и какъ добылъ эти драгоцѣнности Конунгъ? Пѣвецъ разсказывалъ; Баубелъ не могъ нарадоваться своему счастію. Потомъ разспрашивала о плѣнницахъ; длила время, медлила, и когда узнала, что всѣ люди отца ея собрались въ замокъ, вышла на висячее крыльце. Толпы повалились на-земь; посыпались громкія благословенія, всѣ называли ее своей богиней, подательницей жизни. Праурима велѣла отобрать сто юношей, у которыхъ невѣстъ еще не было.

— «Конунгъ,» сказала она весело: «даръ твой мнѣ пріятенъ. Недавно еще по всему поморью былъ женскій грабежъ. Пловцы невѣдомые увезли у насъ много женщинъ: благодаря твоей щедрости, много свадебъ мы сыграемъ съ тобой.»

Вошли юноши. Праурима велѣла принести золотыя зерньа, бросали жребій — и сто плѣнницъ стали невѣстами ста молодцевъ. Палата дрожала отъ радостныхъ криковъ счастливыхъ женіховъ и невѣстъ.

— «Позовите именитѣйшихъ старцевъ!» сказала Праурима. Пришли старцы: «Возьмите,» сказала дѣва: «эти драгоцѣнности. У насъ нѣтъ храма, до Ромнова далеко, постройте жилище вѣчному Зничу!»

Старцы прослезились и сказали Прауримѣ:

— «Сомнѣнія наши ты разогнала, дѣва, какъ солнце утренній туманъ надъ моремъ. Ты богиня!

Ты ниспослана отцемъ боговъ съ дарами жизни! Мы построимъ храмъ, но тебѣ, богиня!»

— «Зничу, зничу!» твердымъ голосомъ сказала юная дѣва.

— «Но ты знаешь, у насъ мало осталось дочерей, чистыхъ дѣвъ, которыхъ бы мы могли посвятить служенію вѣчнаго отца Знича!»

Праурима задумалась и сказала :

— «Найдемъ, погодите! — Конунгъ! Дары твои велики, но искуство мое слабо. Скажи: какой недугъ привелъ тебя къ берегамъ нашимъ?»

— «Любовь къ тебѣ, чудная дѣва!»

— «Ко мнѣ?» съ усмѣшкой сказала Праурима: «Но гдѣ же ты меня видѣлъ?»

Конунгъ молчалъ. Пѣвецъ отвѣчалъ за него, что боги ниспослали Конунгу сонъ, въ которомъ онъ узналъ и Прауриму и опредѣленіе боговъ верховныхъ.

Дѣва покачала головой и сказала опять съ усмѣшкой :

— «Недугъ великъ, но излечимъ.»

Примѣтная радость пробѣжала по всей толпѣ. Даже отецъ Прауримы изъявилъ удовольствіе. Дѣва продолжала :

— «Лекарство горько, но дѣйствительно. Надо отнять у безумца надежду и — безуміе отлетитъ къ отцу своему, творцу всякаго зла, черному Поклусу...»

Всѣ вздрогнули. Дѣва продолжала торжественно:

— «Великій Прамжимась! Властитель и владыка міра, услыши обѣтъ мой, обѣтъ вѣчной дѣв-

ственности и служенія сыну твоему, великому Зничу! Прости, Конунгъ, — я вайделотка!»

У всѣхъ поникли головы; отецъ Прауримы растерзалъ на себѣ одежды; Конунгъ сталъ мрачнѣе ночи, которая въ то самое время съ бурей и громомъ спустилась на шумное море. Народъ трепеталъ въ священномъ ужасѣ. Праурима глядѣла на всѣхъ съ соболѣзнованіемъ.

— «О чемъ вы жалѣете?» спросила она. «Только одинъ Конунгъ потерялъ сто первую жертву своей несытой страсти; а вы-то что потеряли? Дочь остается при отцѣ, мать при дѣтяхъ, врачъ при больныхъ, жрица при алтарѣ!!.. Чудны вы, люди! Не спорю, прекрасно назначеніе супруги: нѣжной заботой строить чертогъ блаженства надъ любимцемъ сердца, служить ему источникомъ счастія, забыть всѣхъ и все, и думать только о мужѣ... Не это ли значитъ быть супругой? Чудаки! И они плачутъ, когда я рѣшаюсь нести этотъ долгъ для цѣлаго народа!..»

«Тутъ кончился свитокъ. Альфъ! тебѣ не могутъ быть понятны чувства, какія мнѣ внушало чтеніе этого разсказа. Я плакала, я удивлялась, я обожала Праурриму... міръ, люди, все стало для меня во сто кратъ любезнѣе. Я слилась съ Прамжимасомъ, властителемъ судебъ, и въ это таинственное мгновеніе я понесла съ благоговѣйною, теплою радостью собственный мой жребій. Казалось, что мнѣ объявилъ его самъ Прамжимасъ. Волненіе мое было непродолжительно. Тишина сладостная разлилась по моему сердцу. Въ

ларъ оставалось еще нѣсколько свитковъ: я хотѣла отыскать, чѣмъ кончилась повѣсть о Прауримѣ; но вмѣсто конца этого, нашла совсѣмъ другое: на небольшомъ лоскутѣ я прочла родословную Видымунда. — Братъ Прауримы былъ нашимъ предкомъ. Она жила на этомъ самомъ взморьи, гробница ея была на этой горѣ. Я съ ума сошла отъ радости; стала кричать, бѣгать, звала Гермилу, Дануту. Я была уже у самыхъ дверей, какъ вдругъ они тихо полуотворились: показалась черная епанча, мелькнула шляпа... Предо мной стоялъ мужчина, краше тебя, Альфъ; да я думаю такого другаго красавца на цѣломъ свѣтѣ не сыщешь. Если бы онъ не былъ такъ хорошъ, можетъ быть, я бы испугалась, но онъ такъ былъ милъ, красивъ, что я раздумала пугаться, глядѣла на него въ оба весело, и любовалась.

«Полно хмуриться, Альфъ! къ чему эта неумѣстная ревность?»

— «Что тебѣ надобно, красавецъ?» спросила я безъ малѣйшаго замѣшательства. Онъ посмотрѣлъ на меня и онѣмѣлъ.

— «Да говори же,» повторила я съ настойчивостью: «какъ ты сюда зайти изволилъ? Сюда мужчины не ходятъ. Ты, видно, своей дороги не знаешь!..»

Онъ только глупѣлъ больше и больше и не могъ сказать слова.

— «Какъ это странно!» сказалъ я, ни мало не обинуясь: «Такой хорошенькой, а глупъ!»

— «Поневолѣ оглупѣешь, глядя на тебя,» не совсѣмъ рѣчисто произнесъ незнакомецъ.

— «Что же я, ужъ такая дура. Не правда! Я небольшая умница; да все-таки Видымундъ говоритъ, что у меня въ головѣ много добра.»

— «Видымундъ!» поблѣднѣвъ, спросилъ незнакомецъ.

— «А что, ты развѣ знакомъ съ нимъ? Я тебя никогда у насъ не видала.»

— «Ты дочь Видымунда?»

— «Что за чудакъ!» подумала я: «Изъ чего у него голосъ все вверхъ да вверхъ ѣдетъ. Скоро пищать станетъ. Ну, да, я дочь Видымунда. Чтожъ въ этомъ удивительнаго или страннаго?»

— «Такъ ты не вайделотка?..»

— «Пока нѣтъ...»

— «А будешь?»

— «Непремѣнно! Я сегодня такія чудеса открыла, что не знаю, какъ радоваться. И послушай незнакомецъ, мнѣ отойти отъ огня нельзя, а тебѣ нельзя здѣсь оставаться, такъ сходи, сдѣлай дружбу, и позови Гермилу или кого нибудь, только, пожалуй, поскорѣе!»

— «Гермилу?»

— «Ахъ какой ты несносный! Кажется, я тебѣ говорю ясно.»

Въ это мгновеніе вошла Гермила; увидѣвъ незнакомца она пришла въ ужасъ и упала къ ногамъ моимъ.

— «Что съ тобою, Гермила?» спросила я.

— «Княжна, не погуби меня!»

— «Да что такое? Будь спокойна: огни горятъ на славу; все въ порядкѣ; какой-то пут-

нцкъ, видно, сбился съ дороги, на огонь пришелъ, глупый такой, говорить не умѣетъ; кажется, Нѣмецъ; я не могла отъ него слова добиться. Поговори же ты съ нимъ.»

Но незнакомца уже не было: онъ исчезъ. Гермила оправилась и просила меня только, чтобы я ничего не говорила о ея отлучкѣ и о томъ, что мужчина въ храмъ зашелъ. На радости, я все обѣщала, забыла о незнакомцѣ, разсказала ей о свитиѣ, о маслѣ и о гробницѣ Праурима. — Гермила поблѣднѣла, взглянувъ на алый огонь и на пустую стклянку, которую она мнѣ оставила.

— «Что ты надѣлала, Бирута!» сказала она, дрожа какъ листъ.

— «А что такое?»

— «Ты въ одну ночь, сожгла все масло, назначенное на цѣлую недѣлю, и, мало этого, въ сѣнокосномъ мѣсяцѣ освѣтила божницу огнемъ, назначеннымъ для голубинаго.»

— «Что же намъ дѣлать?» спросила я въ смущеніи.

— «Только не говори про незнакомца, а эту бѣду какъ нибудь поправимъ...» сказала Гермила, и пустая стклянка упала изъ рукъ Гермилы. Какъ нарочно вошла Данута.

— «Что тутъ за шумъ?» спросила она: «Что это значитъ, розовое пламя въ сѣнокосы?

Я ужасно испугалась, но Гермила отвѣчала покойно: «Да вотъ, пускаешь въ божницу посторонних: разшалилась княжна, да и выбила у меня стклянку изъ рукъ. Что было дѣлать, до

Карвилиса еще далеко; масла достанемъ, мы и взяли эту стклянку.»

— «А это что?» спросила Данута, показывая на разброшенныя сокровища изъ завѣтнаго ларя.

— «А что?» отвѣчала Гермила. «Извѣстно что: мы искали нѣтъ ли гдѣ запаснаго.»

— «Искали? Не сыскали, такъ надо было уложить назадъ.»

— «А вотъ уложимъ!»

Данута посмотрѣла сомнительно на Гермилу, покачала головою; взяла меня за руку и повела въ свою опочивальню. Примѣтно было, что Данута имѣла какое-то подозрѣніе; она безпрестанно оглядывалась, смотрѣла во всѣ углы и вздыхала.

— «Ложись, княжна!» сказала Данута, когда мы вошли въ опочивальню: «До утра не близко; успѣешь отдохнуть.»

Я легла; но мысли волновались; Праурима стояла передъ моими глазами; мнѣ чудилось подземелье, гробница моей богини. Долго, долго, ворочалась я на жесткой постели, наконецъ уснула. Звуки роговъ рано разбудили меня: то Видымундъ возвращался съ охоты.

Въ одинъ походъ охотники затравили шестерыхъ медвѣдей. Удача знаменитая; пиръ въ замкѣ Видымунда великолѣпный. Между гостьми я замѣтила впервые вчерашняго незнакомца. Можетъ быть, онъ и прежде бывалъ, да я его не замѣчала. Увидѣвъ его, я чуть-чуть не разболтала отцу всего; но вспомнила про Гермилу — и закусила губы. Незнакомецъ былъ одѣтъ велико-

лѣпно, въ полномъ вооруженіи, со щитомъ; на щитѣ красиво была написана разными красками — дѣва съ покрываломъ; внизу латинская надпись: «Ищи, найдешь!» Эта надпись послужила предметомъ ко всеобщему разговору.

— «Кого же ты ищешь?» спросилъ Видымундъ, когда ему перевели значеніе надписи: «Славы, богатства, или удѣла?»

— «Женщины!» отвѣчалъ незнакомецъ.

— «Ну, этого добра много...» замѣтилъ Видымундъ: «Жаль, что ты не изъ Литвы, а то бы въ нашихъ княжествахъ не зналъ бы кого выбрать. Я самъ въ Кеенѣ, въ лѣсу Мильды, видѣлъ такихъ красавицъ, что, послѣ года три, все думалъ, будто онѣ во снѣ ко мнѣ приходили. — А тамъ, по ту сторону солнца, не знаю есть ли хорошія женщины. Впрочемъ обѣтъ, такъ обѣтъ: взялся искать, такъ ищи!»

— «Я нашелъ уже чудо красоты! надпись щита моего сбылась... но...»

— «Говори, говори, не бойся! Кто услышитъ на веселомъ пиру даже нескромное слово, не разнесетъ его по свѣту. Стыдно будетъ. Говори, кого же послала тебѣ Мильда?»

Незнакомецъ смотрѣлъ на меня мутными глазами; на лицѣ его выражена была вся сила болѣзни. Всѣ догадались; многіе вскочили изъ за стола: то были женихи мои, князья русскіе и литовскіе, и молодой Нѣмецъ, богатый сынъ одного торговаго гостя.

— «Ты смѣешь!» сказалъ князь русскій, Глѣбъ,

и схватился за богатую татарскую саблю. Тутъ былъ одинъ Гедыминичъ; онъ не былъ въ женихахъ, но въ сватахъ за Глѣба; давно уже этотъ Гедыминичъ отступилъ отъ вѣры отцевъ своихъ и жилъ съ Русинами душа въ душу; Русскіе также называли его Глѣбомъ Гедыминичемъ.

— «А, это Наримундъ!» сказалъ Альфъ.

— «Быть можетъ,» продолжала Бирута: «только этотъ Гедыминичъ, по крови богатырь, всталъ и грозно спросилъ незнакомца:

— «Кто ты, пришелецъ? Красота Бируты оцѣнена цѣлымъ княжествомъ. Кто ты, дерзкій? Безъ имени знатнаго, безъ предковъ великихъ, я и смотрѣть на нее непозволю! — Говори, кто ты?»

Незнакомецъ показывалъ рукою на щитъ свой, а все смотрѣлъ на меня.

— «Стану я разбирать ваши латинскія выдумки! Говори на-прямикъ: кто и откуда?»

— «Баронъ Инголъ, графъ Эрнестъ Остернаге, владѣтельный князь на трехъ рѣкахъ.»

— «Зачѣмъ же къ намъ пожаловалъ?» спросилъ Гедыминичъ, смягчая голосъ.

— «Я рыцарь! Ищу подвиговъ, и пришелъ за ними къ вамъ, язычникамъ.»

— «Выѣзжай!» закричало сто голосовъ: «На коней!»

— «Смирно!» сказалъ Видымундъ. «Кто у меня, на пиру, вызоветъ на поединокъ гостя,— обидитъ хозяина и долженъ прежде попытать счастія со мною.»

Отъ этихъ словъ стало въ палатѣ тихо какъ въ могилѣ.

— «Графъ и баронъ!» сказалъ Видымундъ съ важностью: «Хотя на пирѣ и не сватаютъ, да если они не обманулись и тебѣ полюбилась Бирута, такъ зачѣмъ и тебя обманывать. Я, безъ воли боговъ, не выдамъ моей дочери замужъ. Пошлемъ за Криве, онъ недалеко, на Невяжѣ; пусть пріѣдетъ, принесетъ жертвы нашей великой матери жизни, спроситъ ея совѣта — и быть по ея волѣ.»

Всѣ казались довольными этимъ неожиданнымъ рѣшеніемъ; осѣдлали коней, послали гонцевъ. Черезъ три дни пріѣхалъ Криве съ прислужниками и поселился въ замкѣ. Напрасно Видымундъ приставалъ къ нему, чтобы скорѣе приступить къ жертвамъ: Криве медлилъ. Всѣ женихи, отложивъ въ сторону свои предразсудки, тайно хотѣли посѣтить Криве; но онъ не принималъ ни кого, ходилъ только по ночамъ на нашу гору и наблюдалъ звѣзды. Признаюсь, рѣшеніе отца и мнѣ понравилось. Я была увѣрена, что моя прародительница не отпуститъ меня, и въ душѣ смѣялась надъ надеждами моихъ жениховъ. Тотчасъ послѣ пира, я побѣжала на гору, осмотрѣла всѣ пещерки, ямочки, но нигдѣ не могла найти и слѣда гробницы. Это жестоко меня опечалило. Я разсказала мое горе Данутѣ. Она и сама удивилась моимъ открытіямъ.

— «Послушай, княжна,» сказала она: «дивно все это; но вѣдь письмена не лгутъ; должна быть въ нихъ правда. Есть у насъ гробница, да чья, не знаю. Ходить туда ни кому нельзя, кромѣ Криве-

Кривейто, или, по крайней мѣрѣ, Криве; она ходъ самымъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ стоитъ богиня. Кромѣ меня, никто изъ сестеръ и хода туда не знаетъ; я и сама тамъ не была, чтобы ненарушить завѣта верховнаго жреца; дверь отъ нея въ этой храминѣ, гдѣ одѣвается Криве, когда пріѣзжаетъ для жертвъ; въ эти дни только прорицаетъ богиня. Такъ видишь, княжна, нельзя мнѣ тебѣ помочь.»

«Я стала упрашивать, умолять Дануту. Она, по безмѣрной добротѣ, никогда и ничему не могла долго противиться: уступила.

— «Обожди до моей очереди!» сказала она. Наступила и ночь Дануты. Она зажгла свѣтильникъ, поставила его въ фонарь изъ краснаго прозрачнаго камня; отворила уборную Криве и показала на двѣ доски, въ которыхъ были замѣтны небольшіе выдолбы. «Ступай!» сказала она; поставивъ фонарь на полъ, выбѣжала, двери захлопнулись, ключъ щелкнулъ; я слышала только стукъ щипцовъ въ трепетныхъ рукахъ Дануты. Принялась я отпирать двери: туда, сюда — не подаются; наконецъ, не знаю догадка или судьба навела меня на мысль поднять доски. Но какимъ образомъ? Оглядываюсь. На стѣнѣ виситъ мѣстная кривуля или жезлъ Криве; я схватила его, и не безъ труда подняла доски; лѣстница; схожу; душно, сыро, пахнетъ гнилью. Иду дальше: тѣсная храмина; посерединѣ желѣзный гробъ; на немъ разбитые кувшины, въ какихъ продаютъ алусъ; надъ самой гробницей сверху слабый свѣтъ. На желѣзный гробъ придѣлана простая, де-

ревянная лѣсенка; иду я на лѣсенку, голова моя входитъ въ какой-то сводъ; но этотъ сводъ весь наполненъ щелями; сквозь эти щелки можно видѣть все, что́ дѣлается въ божницѣ. Я приподняла свѣтильникъ; надъ самой головой пустота и ступеньки придѣланныя съ умысломъ. Лѣзу я на эти ступеньки. Вездѣ кольца, чтобы держаться. Влѣзла; смотрю; весь храмъ, какъ на ладони; я глядѣла черезъ уста богини. «Данута!» сказала я, и Данута уронила щипцы и простерлась на полу. Я не знала, что́ ей сказать, меня испугалъ ея ужасъ, между тѣмъ она оправилась и, не подымаясь съ помоста, сказала дрожащимъ голосомъ:

— «Что повелишь, богиня! Во многія лѣта служенія моего впервые ты обратила рѣчь свою къ бѣдной рабынѣ твоей!»

Я не знала что́ дѣлать, и смѣхъ и страхъ и стыдъ волновали меня. Вотъ чему вѣрятъ онѣ, подумала я; вотъ какъ онѣ понимаютъ Божество!.. Оставить ее въ заблужденіи — стыдно; разувѣрить — опасно... Соблазнъ... и еще, кто знаетъ, какія это всего этого могутъ быть послѣдствія. Я рѣшилась на обманъ. Покраснѣла пуще коралловыхъ устъ богини, сказала только: «молись, Данута!» и поспѣшила скорѣе оставить логовище гнусной лжи и плутовства... Я упала на колѣна передъ гробницей; я не сомнѣвалась что тамъ лежитъ Праурима и съ горькими слѣзами молила прародительницу простить меня... Слезы и молитва нѣсколько меня успокоили; я вынула свѣтильникъ изъ фонаря, чтобы лучше осмотрѣть под-

земелье. Направо отъ гробницы шелъ узкій ходъ въ гору; больше ничего я не замѣтила.

— «Куда же это? Нѣтъ ли еще какой тайны?» подумала я и, сгорбясь, пошла вверхъ... Вижу, два засова сторожатъ дверь; я уже поставила свѣтильникъ на землю, уже взяла въ руки огромное кольцо отъ перваго бревна; вдругъ слышу надъ головою моею разговариваютъ мужскіе голоса; притаивъ дыханіе, прислушиваюсь:

— «Наблюдаю звѣзды!» сказалъ кто-то. По голосу слышно было, что онъ отвѣчаетъ на вопросъ.

— «Криве!» сказалъ другой голосъ: «Звѣзды блещутъ золотомъ.»

— «Конечно, баронъ и графъ!» отвѣчалъ Криве.

— «А много ли ихъ? Говорятъ, что и счета нѣтъ?»

— «Какой вздоръ! Не только звѣзды, мы и песокъ сочтемъ; на то наука; а звѣздъ много ли? тысячи три, и то не сполна...»

— «Видно, это небесныя монеты, Криве! Что тебѣ за охота считать чужое добро.»

— «Когда нѣтъ своего, отъ скуки глядишь въ чужую мошну. По крайней мѣрѣ ночью приснится, что разбогатѣлъ.»

— «А хочешь, у тебя цѣлое небо въ карманѣ будетъ?»

— «Латинскія шутки, баронъ и графъ, латинскія шутки!»

— «Какія шутки, Криве! Три тысячи, говоришь ты, а я видѣлъ у себя не во снѣ три мѣшка самыхъ крупныхъ византійскихъ звѣздъ.»

— «Отъ того-то ты, графъ, и небесныхъ не считаешь; свои есть...»

— «Будутъ твои, если захочешь.»

— «Я думаю, на цѣломъ свѣтѣ нѣтъ такого дурака, который бы не захотѣлъ имѣть у себя этихъ кумировъ; навѣрно ни въ одномъ истуканѣ нѣтъ такого сходства съ своимъ богомъ, какъ у золотыхъ монетъ со звѣздами. А ужъ я, Криве по должности, обязанъ любить домашнихъ боговъ.»

— «Такъ полюби же ихъ, Криве!..»

— «Изволь, графъ, изволь, отъ души готовъ...»

— «Но только они заклятыя; съ завѣтомъ; они тому отдадутся, кто уговоритъ Праурриму отдать Бируту графу Эрнесту Остернаве.»

— «Понимаю, графъ, очень понимаю! Не только такія загадки, я и руны читать умѣю; только никогда и ни въ одной книгѣ не встрѣчалъ такого занимательнаго и полезнаго содержанія. Праурима баба сговорчивая. Я у нее въ сердцѣ и въ головѣ сижу; моимъ умомъ думаетъ, моими устами говоритъ, только тоже любитъ отъ скуки звѣзды считать; не худо бы ей на ручку положить, задобрить: будетъ послушнѣе...»

Что-то надъ головою моею брякнуло. Послѣ этого торга, графъ сказалъ: «Смотри же, Криве, терпѣніе мое истощилось; я съ ума схожу отъ страсти. Завтра же принимайся за жертвы!..»

— «Да чего тутъ медлить; все, что было нужно, я нашелъ въ звѣздахъ. Иду теперь спать, а завтра — Бирута твоя!»

«Долго еще я слышала голоса; они удалялись; исчезли... Откуда у меня сила взялась: засовы выскочили, двери распахнулись, я вышла на чистый воздухъ. Чудная ночь сіяла на небѣ тысячами огней... Я глазами искала купцевъ моихъ; одинъ былъ уже у городка, другой у посадовъ. Оглядываюсь и вижу, что я стою на самой вершинѣ горы, совершенно обнаженной отъ лѣса; даже дернъ на ней былъ такой низкой, изсохшій. Я собрала нѣсколько камней и замѣтила, гдѣ мой выходъ... Потомъ, примкнувъ двери, я легонько прислонила къ нимъ одно бревно, схватила свѣтильникъ, фонарь, и уже стучалась въ двери божницы... Данута отворила мнѣ дверь, но сама едва передвигала ноги; за тайну разсказала мнѣ о появленіи духа и жизни въ истуканѣ богини, и такъ толковала слова мои: «Ты сдѣлала великій грѣхъ, Данута, зачѣмъ на гробницу мою пустила непосвященную дѣву.»

— «Со всемъ не то!» сказала я весело. «Это значитъ: «Молись, Данута, о счастливомъ окончаніи подземныхъ похожденій моей правнучки.»

— «Ну, что же ты нашла тамъ?» спросила Данута.

Я прижала палецъ къ устамъ и показала на истуканъ богини.

— «Понимаю» сказала Данута и успокоилась.

Наступилъ роковой день. Криве объявилъ чрезъ вайделотовъ въ посадахъ, городкѣ и окрестностяхъ, что прорицалище Прауримы въ тотъ же день объявитъ мою судьбу.

«Изъ высокаго терема смотрѣла я на всѣ приготовленія къ великой жертвѣ. Когда площадь опустѣла и люди вошли во храмъ, я схватила старую епанчу, колпакъ и охотничій ножъ моего отца, вышла изъ городка, ни кѣмъ не примѣченная; лѣсомъ, лѣсомъ, на гору, въ тайныя двери — и очутилась на гробницѣ Прауримы. Довольно было тутъ свѣта отъ зинча и Прауримы; я скоро освоилась съ темнотою; замѣтила, что разбитые кувшины уже убраны; видно, что были гости. Храмъ наполнился молельщиками; я слышала, какъ пѣли вайделотки; я слышала надъ самой головой завыванія Криве. Поднялись завѣтныя доски, и небольшой толстякъ, безъ свѣтильника, сползъ къ гробницѣ; на ней стояла огромная кадильница возлѣ самой лѣсенки, а на первой ступенькѣ этой лѣстницы уже стояла я, безъ епанчи и шляпы; я ихъ бросила у моихъ дверей. Толстякъ высѣкъ на трутъ огня, бросилъ его въ кадильницу, сталъ дуть: благовонный дымъ поднялся столбомъ; ударилъ во всѣ щели и покатился изъ подъ ногъ Прауримы густыми облаками по всему храму. Я едва не задохлась отъ дыма; но месть за оскорбленіе капища поддержала меня. Толстякъ схватился за поручень лѣстницы и хотѣлъ лѣзть въ истуканъ. Но блѣдное зарево изъ кадильницы озарило мою бѣлую одежду, сверкнуло на широкомъ ножѣ, который я нарочно выдвинула впередъ: толстякъ отскочилъ и прислонился къ стѣнѣ.

— «Назадъ!» сказала я тихо. «Назадъ! Я встала изъ гроба, чтобы наказать оскорбителей моей памяти.»

Толстякъ повалился на земь.

— «Если дерзнешь встать съ мѣста, шевельнуть устами, тронуться; простись съ жизнію, или повинуйся!»

Толстякъ казался мертвымъ. Я вошла въ истуканъ.

— «Дѣти!» сказала я не своимъ голосомъ. Криве палъ ницъ, его примѣру послѣдовалъ Видымундъ и всѣ гости. Свѣжа была еще въ молодой памяти родословная нашего дома; я прочла ее наизустъ, кажется безъ ошибки; можетъ быть, я пропустила двухъ, трехъ предковъ, но и то самыхъ отдаленныхъ. «И такъ, заключила я первую часть моей рѣчи, вы видите, что Бирута дщерь моя послѣдняя! Если она меня оставитъ, потухнетъ Зничь на горѣ моей, падетъ моя власть! На пятнадцатой веснѣ посвятила я себя служенію боговъ нашихъ; ей уже совершилось пятнадцать лѣтъ, а она еще не въ храмѣ, не у алтаря моего! Пусть женятся, выходятъ за мужъ, кому-то велятъ боги. Бирутѣ Зничь будетъ неразлучнымъ супругомъ, я неизмѣнной матерью; съ нею раздѣлю я мою гробницу, откуда я встала теперь, чтобы повѣдать вамъ мою послѣднюю волю. Но, дѣти! въ рукахъ вашихъ измѣнникъ, призванный вами, Криве; у гробницы моей лежитъ безъ дыханія другой, вайделота; за злато хотѣли они осиротить меня и продать послѣднюю дщерь Праурямы! Не карайте ихъ смертію, но изгоните прочь, далече отъ предѣловъ вашихъ! Простите!» Сказавъ это, я уже не обращала ни на кого и ни на что вниманія; я спѣшила надѣть плащь, шляпу и убѣжать изъ подземелья; я была

уже у воротъ замка, оглядываюсь: толстякъ вайделота бѣжалъ безъ оглядки въ противную сторону и скоро исчезъ въ лѣсу. Между тѣмъ толпа нумѣла у дверей храма; народъ тѣснился; нетерпѣніе возрастало; изъ оконъ моего терема я любовалась чудной картиной. Криве бѣжалъ по долинѣ, за нимъ неслась толпа черни и бросала въ слѣдъ ему камни. Между-тѣмъ прорицаніе достигло до замка; люди отца моего пришли въ бѣшенство и пустили всю псарню Видымунда на несчастнаго Криве. Вдругъ гляжу: на черномъ конѣ, по слѣдамъ Криве, летитъ всадникъ: я узнала графа по щиту. Онъ догналъ своего сообщника; мечь сверкнулъ въ воздухѣ; Криве палъ мертвый у самаго лѣса; всадникъ исчезъ. — Данута, принуждена была открыть отцу гробницу Праурімы, но при этомъ случаѣ оказала неожиданную твердость. Впустила только Видымунда; прочимъ, именемъ Криве-Кривейто, заградила дорогу. Я видѣла, какъ Видымундъ сбѣжалъ съ вершины горы и раздавалъ приказанія. Поиски были напрасны. Толстяка нигдѣ не нашли; собрали всѣхъ вайделотовъ и другихъ прислужниковъ, прибывшихъ съ Криве. Оказалось, что не достаетъ одного только Гинтовта, вайделоты, любимца покойнаго Криве. Смѣшно подумать, этотъ самый Гинтовтъ вознесенъ теперь на верховное мѣсто Криве-Кривейтовъ!

«Обрядъ принятія въ вайделотки весьма простъ. Я принесла обычныя жертвы, обѣтъ, перемѣнила одежду и вотъ уже седьмой годъ не могу нарадоваться моему жребію, не смотря на нѣкоторыя непріятности.

«Дануте, испуганная двукратнымъ явленіемъ Прауримы, смертію Криве и страшнымъ открытіемъ преступной связи Гермилы съ графомъ Остернаде, захворала, оставила храмъ Прауримы и переселилась, не знаю, въ какую-то далекую обитель. Повелѣніемъ Лиздейки, тогдашняго Криве-Кривейта, я заняла ея мѣсто. Я очистила храмъ моей богини отъ разврата и соблазна въ короткое время. Гермила ушла тайно. Прочія переселились въ другія обители. Я не принимала ни одной дѣвы, пока не ушла изъ Полунги послѣдняя изъ старыхъ вайделотокъ. Тогда я нашла во владѣніяхъ моего отца до тысячи охотницъ, но приняла только семь, въ честь дней недѣльныхъ. Уже прошло около года. Мы жили такъ тихо, такъ покойно. Торговые гости изъ Вильна, изъ Полоцка, Ковна, Кіева, даже изъ Татарской Орды, приносили въ нашу забытую Полунгу вѣсти военныя... Люди нашей вѣры не забывали Бируты; палата моя всегда была полна поклонниками, казна приношеніями; слава Гедымина ходила по землѣ литовской пуще бури; все волновалось восторгомъ; Нѣмцы потеряли по Нѣману всѣ твердыни; только Байербургъ кипѣлъ крестовымъ войскомъ и, по временамъ, подобно рѣкѣ, разливался то на Веллону, то на невяжскіе городки; однажды, ночью, Видымундъ велѣлъ разбудить меня и объявилъ, что вся крестовая сила, подъ начальствомъ великаго маршала Дуссмера, идетъ на Полунгу.»

— «Вѣрно они,» сказала я: «не знаютъ о предсказаніи сигиноть біармскихъ.»

— «Знаютъ и хотятъ обезпечить себя отъ это-

го проклятія. Хотятъ владѣть горою Праурймы и приморскими посадами. Даромъ я не отдамъ Полунги. Много ляжетъ Нѣмцевъ въ жертву Праурймѣ... Но мы удержаться не можемъ; насъ заставятъ уступить... Тогда что будетъ, Бирута? Жизнь и честь твоя въ опасности. Они сохранятъ огонь, но его будутъ беречь оскверненныя дѣвы!..»

— «Нѣтъ, Видымундъ! При каждой вайделоткѣ будетъ острый ножъ и тайная отрава; въ часъ крайности мы погасимъ священные огни и ляжемъ на ихъ пепелищѣ трупами!»

—

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

СОПЕРНИКИ.

Бирута задумалась, но не надолго. Улыбка скользнула по чуднымъ устамъ, и снова сладостный голосъ тихо, покойно, продолжалъ разсказъ:

—

«Во всю ночь гремѣли рога. Собиралось наше войско; къ утру вся гора покрыта была вооруженнымъ народомъ. Взявъ изъ рукъ Праурймы священную головню, я вышла, съ шестью вайделотками, на гору, обошла всѣ ряды, приняла обѣты храбрыхъ; они клялись моимъ именемъ.. Мнѣ это не нравилось, но я тогда была молода, не дурна собой; одежда и торжественность случая довершали очарованіе. Одинъ Видымундъ зналъ, чѣмъ должна кончиться борьба. Изъ городка выступилъ огромный обозъ; тайнымъ ходомъ изъ капища вы-

несли всѣ драгоцѣнности, уложили, и обозъ тронулся въ путь. Показались Нѣмцы; знамя за знаменемъ, выходили изъ лѣса отряды. Видымундъ затрубилъ; земля застонала; кровь полилась рѣкою. Нѣмцы отступили; наши опять собрались на гору... мертвая тишина... Изо всѣхъ точекъ лѣса опять показалося крестовое войско; какъ море обходитъ островъ, такъ рыцари шли на гору огромнымъ кругомъ; опять рогъ; опять битва; наши уже не возвращались на гору, они бросились въ городокъ... Нѣмцы за ними... Ворота были отперты: до тысячи Нѣмцевъ ввалилось въ деревянныя стѣны города... Но пламя, откуда ни возьмись, разлилось по всему замку; не много Нѣмцевъ воротилось къ знаменамъ; а наши очутились въ посадахъ, надъ моремъ... Зажглись посады... Видымундъ со всею дружиною ударилъ на главное знамя... Гряда труповъ легла на томъ мѣстѣ, гдѣ пролложилъ себѣ дорогу и ушелъ Видымундъ. Далеко за лѣсомъ мы слышали знакомые звуки родимыхъ роговъ... Въ тѣхъ звукахъ былъ одинъ; я ожидала его съ стѣсненнымъ сердцемъ. Раздался тотъ роковой звукъ, символъ прощанія; Видымундъ подалъ вѣсть о жизни и разлукѣ, и я съ вайделотками возвратилась въ божницу... Какъ тебѣ разсказать мое удивленіе: храмъ былъ совершенно пустъ; все вырвалъ Видымундъ изъ рукъ Нѣмцевъ. Мы окружили жертвенникъ, подняли вверхъ ножи и повторили клятву... Когда мы выговаривали торжественно, на-распѣвъ, послѣднія слова, вошли рыцари... Впереди шелъ Дуссмеръ, великій

маршалъ ордена. Старецъ, съ желтыми волосами, онъ посмотрѣлъ на насъ презрительно и сказалъ рыцарю по-нѣмецки:

— «Великій магистръ ошибается! Эти язычницы только послужатъ поводомъ къ разврату. Надо ихъ совершенно отособить отъ рыцарей. Братья! Объявляю вамъ волю великаго магистра. Каждый, кто вступитъ въ разговоръ съ этими вѣдьмами, повиненъ верховному суду; кто нарушитъ волю магистра невольно, случайно, неумышленно, въ болѣзни или тому подобное, въ тотъ же день долженъ очистить себя исповѣдью, покаяніемъ и недѣльнымъ постомъ. Всѣ сношенія съ ними будетъ имѣть командоръ, чрезъ посредство служащаго брата Эдуарда Тромлица, которому поручаетъ великій магистръ кухню новаго конвента. Конвенту быть на мѣстѣ этого капища; божницу обратить въ домовую церковь конвента, огонь языческій въ маякъ; пусть вѣдьмы берегутъ его. Геверъ построитъ имъ каланчу и общую храмину, гдѣ ихъ держать въ запертьи и днемъ и ночью. Эдуардъ будетъ водить самъ очередныхъ на стражу, смѣнять ихъ, и такъ далѣе. Геверъ! За дѣло! А вы, командоръ, назначьте Эдуарду въ помощь одного рыцаря и сорокъ латниковъ, для стражи; рыцари въ очередь! Геверъ! Покуда на верхъ горы поставь палатку! Берите этотъ огонь, несите его наверхъ, въ палатку; вѣдьмы пусть идутъ за ними; зовите моего капелана со святою водою. Я не могу здѣсь долѣе оставаться, пока духъ нечистый не будетъ отсюда изгнанъ.»

«Все исполнилось по слову Дуссмера; на вершинѣ горы стояла наша палатка. Ночью заснули мои утомленныя вайделотки; я, безъ очереди, осталась на стражѣ Знича. Эдуардъ вошелъ, спросилъ не нужно ли мнѣ чего, ушелъ, и я услышала, какъ онъ ложился на землю, за палаткой, у того мѣста, гдѣ я сидѣла.»

— «Спойте кто-нибудь пѣсню!» сказалъ Эдуардъ.

— «Что вы! что вы, благородный господинъ!» отвѣчалъ кто-то басомъ: «въ такое время! Да если великій услышитъ, такъ на четыре недѣли на колѣна поставитъ.»

— «Спойте на другомъ языкѣ.»

— «Да! Когда бы мы другія слова знали!»

— «Ужъ будто ни кто изъ васъ по литовски не знаетъ.»

— «Одинъ только Брунъ! Онъ два года у Литвиновъ въ плѣну былъ, а пѣть не умѣетъ.»

— «Правду вамъ сказать, боюсь я, чтобы сонъ не одолѣлъ. Полотно не стѣна; того гляди выползутъ, какъ ужи. Послушай, Брунъ, сходи ка въ командорскую палатку, спроси вина для плѣнницъ. Ужъ я знаю, имъ дадутъ, а мы и выпьемъ.»

— «Что умно, то умно!» сказалъ Брунъ. И я слышала, какъ по горѣ раздавались шаги Бруна.

— «Жаль,» продолжалъ Эдуардъ: «что Брунъ по литовски пѣть не умѣетъ; кстати было бы подъ самымъ носомъ маршала, вонзить; мнѣ пѣть не приходится, а съ латника кто станетъ взыскивать?»

— «Да отъ чего же не приходится!» сказалъ латникъ. «Тѣ же гимны.»

— «Правда твоя.»

И Эдуардъ запѣлъ въ полголоса литовскую пѣсню... Ахъ, что я услышала! Эдуардъ напомнилъ мнѣ тотъ роковой пиръ Видымунда, когда, можно сказать, рѣшилась судьба моя. Эдуардъ былъ молодой сынъ богатаго нѣмецкаго купца; онъ спорилъ съ князьями за мою руку; онъ также вызывалъ графа на поединокъ. Когда Праурима объявила свой завѣтъ, онъ съ горя пошелъ въ Маріенбургъ, не будучи дворяниномъ, поступилъ въ служащую братью; Магистръ полюбилъ его, и узнавъ, что ему по прежнимъ торговымъ сношеніямъ, вполнѣ былъ извѣстенъ литовскій языкъ, поручилъ смотрѣніе за кухней новаго конвента и главный надзоръ за вайделотками, если удастся взять Полунгу.— «Судьба» такъ пѣлъ онъ: «исполнила его тайныя желанія; и какъ я осталась вѣрна моему обѣту, такъ и онъ останется вѣренъ своему и будетъ служить мнѣ, какъ преданный рабъ, до исхода жизни!

«Альфъ! Это была любовь высокая! Она не могла меня не тронуть: я заплакала, пожалѣла о несчастномъ; но право только пожалѣла.

«Въ короткое время Геверъ выстроилъ этотъ домъ и эту остроумную стеклянную храмину. Зничь, на стыдъ Литвинамъ, запылалъ маякомъ нѣмецкимъ мореходамъ.

«Наконецъ Дуссмеръ простился съ командоромъ и рыцарями Полунги и уѣхалъ въ слѣдъ за войскомъ, со многими чинами ордена. Наступилъ вечеръ. Пришелъ къ намъ Эдуардъ и спросилъ по-литовски: не хотимъ ли мы погулять?— Мы очень обрадовались

предложенію и вышли на чистый воздухъ. Невозможно было узнать горы нашей; капище Праурима было передѣлано, возлѣ строилось огромное зданіе. Три каменныя стѣны подымались вокругъ горы нашей, захватывали съ передней стороны отъ моря большое пространство долины около гавани; на цепелищѣ подымались новые посады. Въ гавани, какъ лѣсъ, чернѣли мачты пріѣзжихъ кораблей. Вездѣ замѣтно было многолюдство, движеніе, дѣятельность... Эдуардъ ходилъ съ нами и разговаривалъ съ сестрами; несчастіе и сиротство сдѣлало ихъ слишкомъ чувствительными; почти всѣ вайделотки влюбились въ Эдуарда.

— «И смѣхъ и горе!.. Я знала, что болѣнъ Эдуардъ, а должна была лечить вайделотокъ. Онѣ принимали лекарства; а дѣйствовать эти лекарства должны были на Эдуарда. Наставленія, угрозы, совѣты, просьбы — все употребила Бирута; сестры затаили новорожденную страсть, Эдуардъ не унимался. Возвращаясь съ прогулки я шла послѣдняя. Эдуардъ за мною... Чуть слышно сказалъ онъ по-нѣмецки: «Перемѣните сегодня вашу очередь!»—Я не отвѣчала ничего и какъ только мы пришли въ этотъ домъ, я бросилась къ моему Зничу, смѣнила вайделотку и усѣлась на дубовой скамьѣ, которая тогда стояла здѣсь на мѣстѣ этого мягкаго ложа. Сижу и думаю. Признаюсь, вотъ былъ единственный вечеръ въ моей жизни, когда я была близка къ паденію. Мысли мои метало, будто бурей. Любовь Эдуарда представилась моему воображенію какимъ-то очаровательнымъ подвигомъ, равнымъ ге-

ройству моего отца, служенію майделотки... Долго, долго я сидѣла въ глубокой задумчивости; можетъ быть и я испытала бы эту общую болѣзнь; но кто-то шелъ на башню, останавливался, опять подымался на двѣ, на три ступеньки... Эдуардъ, подумала я, покраснѣла, разсудокъ мой возвратился, я встала и ожидала дерзкаго... Вошелъ командоръ Альфъ! То былъ—графъ Остернаке. Лицо его было блѣдно, глаза сверкали. Невольное чувство страха захватило мнѣ дыханіе; я не знала, что сказать, на что рѣшиться. Долго продолжалось молчаніе... Командору также какъ-то было неловко, но, мужчина, онъ прежде могъ придти въ себя и сказалъ довольно твердымъ голосомъ.

— «Княжна! Полунга и вы — въ моихъ рукахъ!»

Довольно было этихъ дерзкихъ словъ, чтобы воскресить всю мою бодрость.

— «Графъ!» отвѣчала я: «Поздравляю! Завоеванія ваши знамениты и славны: пепелище и трупы!»

— «Пепелище уже обновилось жизнію; можетъ быть, удастся оживить и трупъ... Я васъ люблю, княжна!»

— «Много благодарна!...»

— «Да, я васъ люблю.»

— «А я — нѣтъ!»

— «Я объ этомъ и не безпокоюсь.» Голосъ его сталъ дикъ; глаза засверкали, какъ у волка; уста дрожали: «Гибель ваша неизбѣжна, если вы будете противиться моему блаженству.»

— «Напрасное безпокойство, графъ! Я Литвинка, и могу избавить безумца отъ преступленія...» Широкій ножъ сверкнулъ въ моихъ рукахъ...

— «Бирута!» страшнымъ голосомъ сказалъ онъ: «Бирута! Десять замковъ я подарилъ ордену за это мѣсто. Да, я купилъ золотомъ и мечъ и командорство; я раззорилъ страну, опустошилъ деревни и далъ ордену страшный за васъ окупъ; не хотѣли въ Маріенбургѣ вашей Полунги: я купилъ мнѣнія. Понимаете ли! Считайте это все любовью тирана. Я горю, Бирута! Чертъ возьми! Я самъ знаю, что это не любовь! Провались земля со мною; это тотъ черный огонь, какъ его зовутъ, вотъ то пламя, что обрѣжешь палецъ, а сгоритъ цѣлое тѣло... Я ужъ и не прошу взаимности, я ее не стою; нѣтъ, я и самъ не знаю что мнѣ нужно; воздуха... воды... смерти!»

Окно распахнулось. Командоръ снялъ шлемъ, протянулъ въ окно голову; странная одышка мучила его... Я молчала и удивлялась: до какой степени можетъ человѣкъ самъ себя разстроить, разбаловать.

— «Позорный родъ смерти...» подумала я и улеглась на дубовой скамьѣ.

— «Что это, шутки, Бирута? Когда тебя любятъ, когда отъ тебя съ ума сходятъ, когда говорятъ тебѣ такіе ужасы, какихъ не было еще на свѣтѣ, когда рыцарь и мужчина плачетъ...»

«Командоръ зарыдалъ. Признаюсь, мурашки забѣгали по всему тѣлу; я еще не видала, какъ плачутъ мужчины.

— «Ужъ если не можешь любить, такъ по крайней мѣрѣ не оказывай этого холоднаго презрѣнія. Ненависть или трепещи! Ужъ я даже готовъ согласиться, чтобы ты зарѣзалась. Все легче, все лучше! Я обниму трупъ твой; и съ этой башни, клянусь, съ тобою съ этой башни...»

«Рука его протянулась въ окно... Онъ хохоталъ!.. Альфъ, что съ тобою?»

—

Альфъ заливался слезами, билъ себя въ грудь, рвалъ волосы.

— «Что съ тобой, Альфъ!»

— «Гдѣ онъ? Ради Неба, гдѣ онъ, гдѣ этотъ командоръ? Онъ мой соперникъ! Поспоримъ, поспоримъ, кто изъ насъ больше любитъ тебя!»

— «Ну, тебѣ простительно дурачиться!» продолжала Бирута: «Ты ребенокъ, а командоръ! Болѣзнь, болѣзнь, и больше ничего. Припадокъ миновался. Командоръ лежалъ во всю свою длину у ногъ моихъ и грызъ половицу; безчувственность смѣнила бѣшенство. Не мало прошло времени, пока онъ опомнился. Всталъ, снялъ свой плащъ, скомкалъ, заглушилъ плащемъ огонь Знича, и бросился на меня; ножъ сверкнулъ ему въ глаза, онъ захохоталъ и побѣжалъ, оступился на темной лѣстницѣ, полетѣлъ, ударился въ двери и безъ чувствъ очутился посреди сѣней, въ толпѣ испуганныхъ, изумленныхъ охотниковъ. Я сорвала полуобгорѣлый плащъ съ жертвенника; раздула огонь и уселась опять на дубовую скамью. Очнулся коман-

доръ въ сѣняхъ на рукахъ рыцаря Гейнриха. Рыцарь ровнымъ голосомъ читалъ громко свои молитвы. Командоръ оттолкнулъ рыцаря и бросился опять къ дверямъ моей башни. Но Гейнрихъ загородилъ ему путь.»

— «Во имя Бога живаго!» сказалъ онъ тихо, покойно: «Довольно бесѣдовать съ язычницей! Назадъ! Именемъ всего конвента, запрещаю!»

— «Безумецъ!» закричалъ командоръ: «Она погасила огонь знича, она посмѣялась завѣту нашего магистра!»

— «Ложь!» сказалъ рыцарь: «Огонь горитъ.»

— «Чуть было не погасъ за недостаткомъ дровъ...» сказала я сверху:» Но рыцарская учтивость графа меня выручила: онъ поддержалъ пламя командорскимъ плащемъ!»

Латники не выдержали и расхохотались, но рыцарь Гейнрихъ и не улыбнулся. Тѣмъ же покойнымъ голосомъ онъ сказалъ только: «Эдуардъ, дровъ!»

Эдуардъ принесъ связку сухихъ дровъ; подымаясь на лѣстницу, онъ заперъ двери; я не могла слышать, чѣмъ кончился разговоръ командора съ рыцаремъ, но за то у жертвенника начался другой: Эдуардъ началъ его еще на лѣстницѣ.

— «Вы не послушались, Бирута.»

— «Я не могла ожидать подобныхъ ужасовъ.»

— «Не всѣ одинаково любятъ. Ахъ, Бирута! Убѣжимъ, право убѣжимъ; я васъ спасу. Бросьте ваши вздоры, ваши огни и обѣты, убѣжимъ и...» Онъ замолкнулся...

— «Понимаю, понимаю!» подумала я: «Одинъ пугаетъ, а другой манитъ; а зерно—тотъ же обманъ! Ну, пристали!»

«Тогда я повѣрила, что за женщину царства падали. Я была очень недовольна и своей красотой и своимъ положеніемъ, и въ отвѣтъ сказала Эдуарду съ досадой:

— «Нельзя ли убѣжать тебѣ одному, а ужъ если хочешь убѣжать въ парѣ, такъ возьми съ собою и командора. Несносные!»

Эдуардъ посмотрѣлъ на меня такъ кротко, такъ добродушно, что мнѣ стало совѣстно. Я отворотилась. Эдуардъ громко вздохнулъ и ушелъ.

Рано поутру печальный Эдуардъ объявилъ намъ волю конвента. Совѣтъ рыцарей, считая меня колдуньей, постановилъ меня отдѣлить отъ прочихъ вайделотокъ и держать подъ строжайшимъ присмотромъ. Я шла въ темницу, а очутилась въ прелестной бесѣдкѣ, на скатѣ горы. Кругомъ былъ роскошный цвѣтникъ, обнесенный высокою деревянною стѣною. Я могла гулять въ немъ сколько угодно; для бесѣды, всегда была при мнѣ одна вайделотка. Съ огорченіемъ примѣчала я, что образъ мыслей сестеръ, безъ меня, измѣняется; каждый день я замѣчала новые успѣхи язвы; прошло около недѣли, очередная вайделотки объявила, что у меня будутъ гости; и точно, поздно ввечеру, пришелъ Эдуардъ съ какимъ-то старикомъ. Одежда его не обѣщала ничего добраго: лохмотья и множество мѣдныхъ истуканчиковъ висѣло на немъ, онъ былъ горбатъ; лица почти нельзя было ви-

дать за волосами; въ рукахъ одинакая кривуля, съ какою у насъ на Жмуди ходятъ сельскіе судьи. Онъ безпрестанно кашлялъ и постукивалъ палкой. Эдуардъ пожалъ ему руку, и ушелъ съ вайделоткой. Мы остались одни. Какъ только захлопнулась калитка моего цвѣтника, старикъ выпрямился, побѣжалъ къ этой калиткѣ, прислушивался и воротился съ веселымъ видомъ.

— «Какъ же я тебя заколдую, княжна?» спросилъ онъ по-литовски.

— «А какъ же тебѣ велѣно?»

— «Разно! Командоръ просилъ для себя, Эдуардъ для себя; но, смотри, княжна, сдѣлай такъ, чтобы оба вѣрили въ мое искуство; Видымундъ тебя объ этомъ проситъ.»

— «Видымундъ?!» дрожащимъ голосомъ спросила я.

— «Читай!» сказалъ старикъ и подалъ мнѣ свитокъ: «Дочь моя!» писалъ отецъ: «Мы близко отъ васъ съ Гедыминомъ; вѣрь моему другу, боярину Сперѣ; онъ у васъ не даромъ. Помоги ему, чѣмъ можешь.»

— «Чѣмъ же я могу помочь тебѣ, бояринъ?»

— «Любовью, княжна, любовью! Надо такъ сдѣлать, чтобы надежды обманули и привели обоихъ въ твою свѣтлицу, къ отцу Зничу. Слышишь, княжна, я приколдовалъ тебя къ командору. Графа взяли въ орденъ, ради подарковъ; ищутъ теперь случая погубить; приказъ: схватить его — въ моей монахъ. Не нужно ордену паршивой овцы; онъ былъ хорошъ, пока носилъ золотое руно; а

теперь что́ въ немъ, до-гола обстриженъ!.. Да этого мало; я приколдовалъ тебя къ нему. И ты получишь свободу, и опять сядешь у Знича, и тамъ я долженъ найти у ногъ твоихъ и командора и Эдуарда. Этихъ двухъ погуби, а пока въ Маріенбургѣ очнутся, Гедыминъ будетъ въ Полунгѣ.»

— «Ничего не понимаю!»

— «Ахъ, какая ты, княжна! Ну, сдѣлай такъ: пріѣдетъ командоръ, ты ни то ни се; выдумывай прихоти! Вѣдь ты дѣвушка! Тебѣ хочется и по морю погулять, и на нѣмецкій торгъ посмотрѣть; ты себѣ только не важничай, а шали; а женская шалость — силки... Право, такъ, княжна!»

— «Попытаюсь. Я вѣрю тебѣ, я должна тебѣ вѣрить...»

— «И скажешь спасибо...»

Спера ушелъ.

Положеніе мое перемѣнилось, но съ каждымъ днемъ становилось опаснѣе. Спера не являлся... Хотя я пользовалась совершенной свободой, ѣздила по морю, ходила на торгъ, но всегда съ двумя вайделотками, подъ стражей Эдуарда и многихъ латниковъ... Наступила моя очередь и я сидѣла при Зничѣ днемъ; день былъ прелестный, тихій, на небѣ ни облачка. Я отворила вотъ то́ окно. Много мыслей пробѣгало въ головѣ моей, но всѣ безъ образовъ; это навело на меня дремоту и, впервые, при жертвенникѣ я заснула. Грѣхъ; но, Альфъ, я тебѣ разсказываю всю правду, и ты, безъ сомнѣнія, не проболтаешься. Заснула и вижу сонъ... Спера стоитъ возлѣ меня и машетъ рукою Геды-

мину; а Гедыминъ кричитъ: прощай, Спера, меня ужъ нѣтъ, береги дѣтей! Гляжу, въ землѣ зарыта ступа; Нѣмецъ при ней съ головней; поджегъ что-то, земля ахнула; круглая скала оторвалась, высоко поднялась на воздухъ и упала прямо между плечь Гедымину... Бухъ!.. Я проснулась. Кто-то шелъ по лѣстницѣ. То былъ командоръ Остерназе.

«Блѣдный, грустный, онъ подошелъ ко мнѣ съ примѣтнымъ страхомъ и хотѣлъ взять меня за руку.

— «Что это значитъ, командоръ?» спросила я грозно.

Онъ отступилъ и посмотрѣлъ на меня съ ужасомъ.

— «Такъ все прошедшее ложь, обманъ, мечта?» спросилъ онъ.

— «Прибавь: командоръ, сонъ, глупость и безумiе! Что прошедшее?..»

— «Такъ Эдуардъ меня обманывалъ?..»

— «И обманывался! Право, мнѣ наскучило все это. Я хотѣла свободы; теперь хочу неволи, темницы. Я всегда любила людей, вы заставили ихъ ненавидѣть. Не могу тебѣ выразить, командоръ, всего моего презрѣнiя и къ тебѣ и къ Эдуарду. Вы оба страстные злодѣи, соперники-обманщики, нарушители обѣтовъ! Я вамъ подражать не стану....»

— «Послушай, Бирута! Признаюсь, и мнѣ это все наскучило. Вижу, что я потерялъ время напрасно. Но за то я теперь не потеряю ни мгновенiя.»

Лице его исковеркалось, глаза пылали, желѣзныя руки протянулись ко мнѣ; я потеряла память. Просыпаюсь; слышу — стучатъ мечи, лязгу... Эдуардъ схватилъ въ охабку командора и выбросилъ въ раскрытое окно... Эдуардъ захохоталъ, но хохотъ его вторился десятью голосами. Въ черныхъ одеждахъ нѣсколько слугъ тайнаго судилища стояли у входа Эдуардъ, увидя ихъ, побѣднѣлъ; Спера, въ черной мантіи, съ блестящимъ крестомъ на груди, стоялъ первый и рукою показывалъ на Эдуарда Слуги почтительно повиновались и увели Эдуарда. Въ этой храминѣ остался Спера, нынѣшній командоръ Гейнрихъ и я. Нѣсколько мгновеній мы всѣ трое глядѣли другъ на друга съ какимъ-то изумленіемъ; потомъ, какъ-будто условясь, разошлись, не сказавъ одинъ другому ни слова... Съ-тѣхъ-поръ, кромѣ сестеръ моихъ, я не видала никого. Мы пользуемся подъ командорствомъ Гейнриха полною свободою; вайделотки посѣщаютъ даже своихъ знакомыхъ на посадахъ, ходятъ туда безъ стражи; я съ горы ни шага; отъ нихъ только я слышу о мірскихъ дѣлахъ и, признаюсь, разсказы ихъ меня не занимаютъ... Правда, и прежде я не могла похвалиться моею чувствительностію... Но теперь, и отъ этой холодной Бируты, — остался только каменный истуканъ...»

—

Бирута замолчала. Альфъ опустилъ голову на грудь и утопалъ въ черной думѣ. Въ сѣняхъ двери заскрипѣли: вошелъ по лѣстницѣ какой-то че-

ловѣкъ, закутанный въ черный плащъ, надвинувъ на глаза широкую шляпу съ блестящей пряжкой, но безъ перьевъ Бирута узнала его и вскрикнула; но Спера приложилъ къ губамъ палецъ и мертвая тишина пролилась въ храминѣ. Молча взялъ онъ за руку Альфа и повелъ внизъ. Альфъ неохотно повиновался, но по невольному чувству не смѣлъ противиться. На дворѣ замка ожидалъ ихъ командоръ.

— «Ты помнишь, командоръ,» сказалъ Спера съ привычною суровостью: «какое зло было съ этой каланчи, а пускаешь...»

— «Баронъ Кристофъ!» отвѣчалъ командоръ: «Въ замкѣ я далъ ему свободу...»

— «И напрасно!» закричалъ Спера и пошелъ къ главнымъ воротамъ твердыни.

—

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

НАЧАЛО РОМАНА.

На большомъ торговомъ посадѣ, въ грязной гостинницѣ, гости еще не спали, хотя на дворѣ уже мигало утро. Въ одномъ углу, за узкимъ столомъ, сидѣло нѣсколько человѣкъ черныхъ, какъ тогда называли слугъ верховнаго тайнаго судилища, но не того знаменитаго судилища, изъ котораго выкроена цѣлая библіотека романовъ и сказокъ. Нѣтъ! Это была канцелярія великаго магистра, составленная изъ смѣтливыхъ и вѣрныхъ людей. По всей Европѣ черные или жуки летали и ползали. Въ Авиньонѣ они иногда носили и кардинальскій

пурпуръ; при Кесарѣ являлись именитыми путешественниками; самый многочисленный родъ ихъ былъ бѣлый, въ доминиканской рясѣ; черные же, или собственно жуки, были малочисленны, но ядовиты. Появленіе ихъ въ командорствѣ предвѣщало неминучую бѣду. Сами они ничего не рѣшали; но обыкновенно являлись за преступникомъ, уже уличеннымъ предъ верховнымъ судомъ ордена. Впрочемъ бывали случаи, когда ихъ посылали на Русь, или въ Литву, въ качествѣ лазутчиковъ, или даже и пословъ, если не хотѣли назначать по какому-либо дѣлу торжественнаго посольства. Въ гостинницѣ на этотъ разъ ихъ было не мало; они усердно тянули вино и, что называется, балагурили.

— «Бернардъ!» такъ зажужжалъ одинъ жукъ: «я тебѣ не завидую; ты, я думаю, воротишься въ Маріенбургъ съ пустыми руками.»

— «Богъ знаетъ!» отвѣчалъ Бернардъ. «Я ѣду не одинъ; насъ четверо. Мы ѣдемъ съ начальникомъ; а онъ еще ни раза не возвращался съ пустыми руками. Правда, чертъ его знаетъ, откуда онъ добываетъ вѣсти. Кажется, всегда у насъ на глазахъ; не успѣешь отвернуться, а у него въ карманѣ ужъ есть записка, камышекъ, стрѣла. Старъ, какъ бѣсъ, а прытче дьявола: говоритъ на десяти языкахъ; чертъ его знаетъ, иногда идемъ пустыремъ, а онъ задеретъ носъ вверхъ и будто собака нюхаетъ; нюхаетъ и снюхаетъ: ужъ непремѣнно или звѣря или Литвина заслышитъ:»

— «Куда же мы теперь ѣдемъ?» спросилъ первый жукъ.

— «Говоритъ, будто въ Ригу; да мнѣ что-то не вѣрится. Должно быть, въ Литву крадемся.»

— «Гдѣ же онъ самъ теперь?»

— «Да гдѣ онъ теперь? Можетъ быть, гдѣ нибудь подъ землею. И то случалось.»

Утро разсвѣло. Раздался колоколъ къ молитвѣ. Въ гостинницу вошелъ молодой мальчикъ, съ которымъ мы уже видѣлись на берегу моря. Онъ осмотрѣлъ всѣхъ гостей и спросилъ особенно вѣжливо:

— «Господа! не пріѣзжалъ Кристофъ?»

Жуки посмотрѣли на мальчика подозрительно и отвѣчали почти всѣ въ одинъ голосъ: «А тебѣ какое дѣло?»

Мальчикъ поклонился и сѣлъ съ ними за столъ.

— «Это что?» закричалъ Бернардъ.

— «Я вина самъ не пью, рано; но почему не повеселить добрыхъ друзей?»

— «Это что?»

— «У меня съ собой денегъ немного, но все таки талеръ на брата дамъ на радости.»

— «Это что?»

— «Вино, господа, вино; и, право, въ Маріенбургѣ такого нѣтъ. Тамъ трезвость, а у насъ пьянство; тамъ сухоядѣніе; у насъ масляница, торговый городъ, гавань, женщины, кости. Чудо, какъ весело въ Полунгѣ!»

Истомленные невольною безсонницей, жуки не отказались отъ страннаго предложенія; но дорогое вино сильно подѣйствовало на ихъ умы и ноги.

— «Да какъ ты знаешь Кристофа!» спросилъ Бернардъ.

— «Слава Богу!» отвѣчалъ мальчикъ: «Я ему служу давненько. Да онъ что-то меня забылъ. Надо быть, года три не бывалъ у насъ.»

— «Да, да! Мы все по другой дорогѣ въ Литву ходили. Черезъ Байербургъ, а разъ черезъ Брестъ пробрались: надо было все Мазовецкое княжество по ночамъ проходить, а днемъ по лѣсамъ прятаться. Чертъ возьми! Какой это былъ трудный походъ!»

— «Ну, такъ въ память трудовъ вашихъ, дайте и я выпью.»

— «Развѣ еще велишь подать? а стараго ни капли.»

— «Вижу, вижу, что въ Маріенбургѣ вы держите строгой постъ. Такъ и быть, на радости, что моего Кристофа увижу, еще вина!»

И бесѣда скоро замолкла; у собесѣдниковъ изрѣдка вырывались одноколѣнчатыя слова, потомъ, на сербскій ладъ, только согласныя буквы, наконецъ — во всей гостинницѣ слышны были только подхрапыванья и подсвистыванья спящихъ жуковъ.

— «Запирай ставни!» сказалъ мальчикъ. Хозяинъ почтительно повиновался.

— «Зажги, Вишгайло, свѣтильникъ, поставь вонъ въ томъ углу, да заслони чѣмъ-нибудь, чтобы огонь глазъ имъ не кололъ, пусть отдохнутъ; хоть и Нѣмцы, да я имъ зла не желаю.»

— «А что, Филиппхенъ,» спросилъ Вишгайло по-литовски: «ничего неслышно?»

— «Какъ ничего! Много! Да тебѣ сказать нельзя.»

— «А почему же мнѣ сказать нельзя?»

— «А потому, что ты на этомъ свѣтѣ не изъ чести, а изъ торга живешь.»

— «Да чѣмъ же ты, Филиппхенъ, кормишься?..»

— «Миндалями!» отвѣчалъ Филиппхенъ. Вишгайло былъ вполнѣ удовлетворенъ и спросилъ:

— «А гдѣ же ты ихъ достаешь?»

— «На концѣ языка, на скаку лошади, иногда ныряю за ними, иногда, какъ бѣлка, съ дерева на дерево прыгаю и, словно орѣшки, рву мою пищу.»

Этотъ отвѣтъ показался Вишгайлѣ еще болѣе удовлетворительнымъ; но сомнѣніе снова мелькнуло въ неспокойной душѣ его.

— «Хмъ!» сказалъ онъ: «Все это можетъ быть; только нѣмецкіе талеры на орѣшникѣ не растутъ...»

— «Побѣгай съ-мое по литовскимъ лѣсамъ, такъ не одинъ кладъ тебѣ дастся.»

— «Что ты, Филиппхенъ?»

— «Темный ты человѣкъ, Вишгайло! Вотъ Кристофъ не идетъ; а мнѣ, право, некогда; за старымъ пепелищемъ два пригорка есть: въ одномъ кладъ, въ другомъ кости; покуда рыцари обѣдню пропоютъ, — цѣлое подземелье можно выкопать. А что, Вишгайло, если бы ты пошелъ, да работу началъ, чтобы времени не терять: я не жаденъ, такъ и быть, можно бы и подѣлиться. Только

нѣтъ, не трудись; что тебя обманывать: тѣ пригорки съ костьми; я спуталъ...»

— «Спутаешь ты, чертёнокъ!» подумалъ Виргайло и почесывался; потомъ сталъ чего-то искать въ избѣ, вышелъ, схватилъ заступъ и околицей пустился на замокъ.

— «Туда тебѣ и дорога!» сказалъ Филиппхенъ и заперъ обѣ двери огромной избы, которую тогда называли гостинницей. Въ ставняхъ были прорѣзаны сердца; въ одно изъ этихъ сердецъ глядѣлъ Филиппхенъ, высматривая своего Кристофа. «Идетъ, идетъ!» сказалъ онъ немного и отворилъ главныя двери. Вошелъ Спера, или Кристофъ, какъ угодно, потому что эти обѣ персоны соединялись въ одномъ лицѣ старика, съ которымъ, какъ мнѣ кажется, вы уже нѣсколько знакомы.

— «Ну что, Боря?» спросилъ суровый старикъ.

Филиппхенъ указалъ на спящихъ. Спера кивнулъ головой, сѣлъ къ лампѣ и прочелъ свитокъ, который ему подалъ Филиппхенъ.

— «Читалъ ты это письмо, Боря?»

— «Читалъ »

— «Ну, что ты скажешь?»

— «А то, что Гердавъ былъ и будетъ язычникомъ, не пошлетъ гонца къ князю Кейстуту, а станетъ его у себя дожидаться.»

— «Что же тебѣ сказалъ Гердавъ.»

— «Извѣстно что: наговорилъ три короба всякаго вздора; я въ долгу не остался: отпустилъ ему безсмыслицы самой языческой; онъ не могъ

на меня надивиться. «Скажи,» говорилъ Герданъ: «скажи нашему тайному другу, что вѣсть его долетитъ едо князя на крыльяхъ Гардеолда. Пусть сидитъ въ области Атримпоса, пока можно. Еще лучше: Пусть выручитъ Альфа изъ латинскихъ рукъ обманомъ; тогда ненадо на Полунгу ходить: о тройныя стѣны можно и лобъ разбить... А еще стоитъ ли на роженъ идти за этого Альфа!»

— «Вотъ что правда, то правда! Далъ я за него командору нагоняя. Пустилъ его къ Зничу; а у Знича Бирута сидѣла. Нѣтъ такого молодца, нѣтъ такой татарской стади, которой бы глаза Бируты не прошибли; и правду тебѣ сказать, Борисъ, часто я о тебѣ думаю: Боже сохрани! попадется она тебѣ на глаза.»

— «Такъ что жъ съ Альфомъ?»

— «Да что съ Альфомъ? Втюрился поуши! Возьми его теперь обманомъ! Ни какая сила не вырветъ его изъ твердыни. Надо тебѣ опять ѣхать, да ужъ на этихъ кротовъ не надѣяться, а прямо въ Вильну, или въ Троки. Скажи ему, какъ дѣло есть. Я мою службу исполнилъ: узналъ, донесъ, а тамъ — какъ имъ угодно.»

— «Послушай, дядя Кристофъ, я тебѣ всегда говорилъ, что Герданъ по своему плутъ, а въ правду глупъ; вотъ я на него и не понадѣялся; толкнулся въ околицу; Рагнитскій командоръ семь деревень по Невяжѣ сжегъ, наткнулся на Калнаса; чуть было живой не попался; да вышло на выворотъ; самого Калнаса убили; Рагнитскій волкъ

ушелъ; попался какой-то рыцарь Гуго, его живымъ сожгли. Кейстутъ самъ на Невяжъ...»

— «Тише, Борисъ, ради Бога, тише! Вся бѣда, что намъ съ тобой поговорить негдѣ, а, право, я этихъ сонныхъ боюсь.»

— «Не бойся, Кристофъ, я смотрѣлъ за ними и за Вишгайлой: они не совсѣмъ чистое вино пили.»

— «Ну, такъ самъ Кейстутъ на Невяжъ! Надо тебѣ ѣхать, Боря, право надо. Скажи Кейстуту, чтобы онъ не дурачился. Что за глупой у него норовъ: хочетъ городъ взять, а впередъ гонца посылаетъ, буду-де «тамъ и тогда.» Вѣдь это дурачество.»

— «Ахъ, Кристофъ! да молодецкое дурачество!»

— «Ступай ты, Боря! Это вамъ, дѣтямъ, такія шашни по-нутру, а намъ, старикамъ, право смѣхъ смотрѣть на эти глупости. Вотъ Ольгердъ, моего поля ягода! Разумъ отъ Москвы до Гданьска! Подумаешь, что кроты землю роютъ, анъ то сорокъ тысячъ войска пришло. Иной и проснутся не успѣетъ, такъ, во снѣ, на тотъ свѣтъ и улепетываетъ.»

— «Ну, этотъ разъ, Кристофъ, кажется, его за живое задѣли. Придетъ безъ повѣстки!»

— «Ну, на сердце не надѣйся! Дорогой одумается. Нечего разсуждать, на коня, Боря, на коня! Пока обѣдня идетъ, ты той старой дорожкой, что Видымундъ на медвѣдя ходилъ, знаешь, просѣка въ одно дерево, какъ разъ имъ на путь

набѣжишь; скажи ему моимъ именемъ, чтобы ночи дожидался; а самъ назадъ, слышишь, къ Эмме: тамъ и я самъ буду; только не Кристофомъ, не Сперой, а будто изъ Ревеля, отъ ея матери съ гостинцемъ пріѣхалъ. Благослови тебя Господи! Съ Богомъ!»

Спера выпустилъ Филиппихена заднею дверью, потомъ сѣлъ къ свѣтильнику и сталъ перечитывать разные свитки. На улицѣ раздался необыкновенный шумъ. Спера выскочилъ. Прямо на него съ растрепанными волосами, на полудикомъ конѣ неслась Вундина. Люди бѣжали за нею слѣдомъ и кричали: «Лови, лови, вѣдьма! Вѣдьма на чортѣ ѣдетъ!» Спера протянулъ руку и съ необыкновеннымъ искуствомъ схватилъ за оба уздца: конь затрясъ головой и вздумалъ было представить древнюю античную группу; но Спера не заблагоразсудилъ участвовать въ этомъ художественномъ произведеніи — и Вѣтроногъ сталъ, какъ вкопанный. Толпа остановилась поодаль. Вундина соскочила съ лошади, потрепала ее по шеѣ и пошла въ гостинницу. Спера привязалъ лошадь и также вошелъ въ гостинницу.

Вундина со свѣтильникомъ разсматривала лица спящихъ жуковъ.

— «Нѣтъ!» сказала она, поставивъ свѣтильникъ на мѣсто: «Нѣтъ; его здѣсь нѣтъ! Что они, умерли?» спросила она Сперу, указывая на спящихъ.

— «Кого нѣтъ?» спросилъ въ свою очередь Спера.

— «Будто ты не знаешь, старикъ! Онъ пріѣхалъ вчера ночью. Мнѣ надо его спасти. Черезъ часъ, много черезъ два, будетъ здѣсь Кейстутъ! Ты знаешь этого звѣря! Знаешь, знаешь, старикъ, ты все знаешь! А этотъ звѣрь не пощадитъ Гуго; это знаю я. Хорошо, что онъ успѣлъ выскочить изъ огня, а тобы сожгли Гуго. А какой у него конь, — черезъ лѣсъ перескочилъ. Четыре желѣзныя цѣпи схватилъ Гуго и разорвалъ какъ паутину! Вотъ какъ онъ любитъ меня. Только знаешь, старикъ, я ничего, я здорова; но сынъ мой болѣнъ, кричитъ: мнѣ дурно!»

Вундина, блѣдная, изнеможенная, упала на прилавокъ. Спера едва-едва могъ облегчить ея мученія; холодная вода сколько нибудь уняла страданія: но смертная блѣдность лица, синія губы, мутные глаза все это не предвѣщало ничего добраго.

— «Засни, успокойся!» говорилъ Спера, подкладывая ей подъ голову кожаную подушку.

— «Мнѣ заснуть, успокоиться? мнѣ? когда Гуго въ опасности, когда вся дружина несется по моимъ слѣдамъ; а на челѣ этой дружины — звѣрь, самый большой, самый кровожадный звѣрь во всей Литвѣ; а Гринка Русинъ, онъ не пощадитъ Гуго, онъ также любилъ меня.»

— «Гринка Русинъ?» спросилъ Спера съ безпокойнымъ любопытствомъ.

— «Нѣтъ, не Гринка Русинъ. Я унла отъ него. Я найду Гуго.»

— «Да какой Гуго?»

— «Рыцарь! Краше солнца! Мой мужъ... моя любовь, отецъ этого несчастнаго, что такъ мучитъ, такъ терзаетъ меня. Ахъ, Вундина! Что если смерть не дастъ тебѣ съ нимъ увидѣться, пока набѣгутъ звѣри. Нѣтъ! Я пойду, скажу ему слово — и умру.»

— «Куда же ты пойдешь, Вундина?»

— «Въ замокъ, къ рыцарямъ, къ моему Гуго.»

— «Да его нѣтъ здѣсь.»

— «Нѣтъ?»

— «Я зналъ, въ какой онъ опасности, и вчера еще послалъ его къ великому магистру съ письмомъ о нашихъ незванныхъ гостяхъ.»

— «Ты не обманываешь меня?»

— «Въ мои лѣта грѣшно смѣяться надъ несчастными.»

— «Правда, правда, старикъ! Ахъ, какъ я люблю тебя; какъ мнѣ стало легко, покойно. Но уѣхалъ ли онъ?»

— «Говорю тебѣ: какъ только закатилось солнце, Гуго сѣлъ на коня моего, потому что его лошадь истомилась, и полетѣлъ берегомъ, берегомъ, по золотому песку, прямо въ Мемель.»

— «Не правда ли, какъ обрадуется великій магистръ!»

— «Еще бы!»

— «Только я не могу сегодня ѣхать, право не могу: я едва дышу; мнѣ нуженъ сонъ, покой, не для меня, а для его сына; я боюсь пошевельнуться, потому, что сынъ мой спитъ. Старикъ, позволь мнѣ заснуть.»

— «Пускай спитъ!» сказалъ Спера, отходя отъ Вундины: «да этимъ дуракамъ пора бы проснуться! Кого я при ней оставлю? А кстати, Вингайло, мнѣ надо идти, только ты на шагъ не отходи вотъ отъ этой больной. Слышишь?»

— «А позволь спросить, Кристофъ; гдѣ твой Филиппхенъ?»

— «Какой Филиппхенъ? Я никого не нашелъ здѣсь, кромѣ этой несчастной.»

— «Гмъ!» покачавъ головою, сказалъ Вингайло. «Отводъ, отводъ! А онъ гдѣ нибудь въ лѣсу деньги добываетъ.»

Спера неслушалъ разсужденій Вингайлы и переодѣвался. Онъ надѣлъ парикъ изъ черныхъ волосъ, щегольской кафтанъ голубого бархата, красивую малиновую мантію съ золотыми шнурками и кутасами; подстегнулъ фрезу и шпагу; перемѣнилъ даже башмаки; взялъ шляпу съ перьями и ушелъ такимъ гоголемъ, щеголемъ, молодцемъ, богатыремъ, что Вингайло, глядя на него, думалъ, что Кристофъ колдунъ, живую воду при себѣ носитъ. Кристофъ пришелъ къ Эммѣ. Она сама отворила ему двери; въ легкомъ утреннемъ платьѣ, съ воздушной наколкой на головѣ, въ длинноносыхъ башмакахъ, шитыхъ шелкомъ, съ огромнымъ въ рукѣ пучкомъ павлиныхъ перьевъ, Эмма казалась богатой нѣмецкой баронессой, которая съ утра еще приготовилась принимать гостей.

— «Почтенный баронъ!» сказала она съ улыбкой: «Точность въ исполненіи вашихъ обѣщаній

пріобрѣла для васъ полную мою довѣренность. Вчера поутру вы обѣщали назначить моего Эренгросса на стражу, и онъ сидитъ уже подъ самой каланчей, гдѣ, говорятъ, нѣтъ и щелки, не только окошка; подарки ваши лежатъ у меня на столѣ: ваши предложенія дальнѣйшія обнаруживаютъ щедрость и привязанность неподдѣльную; признаюсь, свобода, съ какою вы дозволяете мнѣ принимать рыцарей и гостей, доказываетъ вашу увѣренность въ себѣ и отсутствіе всякой ревности; Эренгроссъ сталъ уже подозрѣвать и моего брата Филиппа! И, признаюсь, самъ былъ причиною, что Филиппъ отмстилъ ему самымъ чувствительнымъ образомъ; онъ, мой милый Филиппъ, доставилъ мнѣ ваше неоцѣненное знакомство.

— «Баронесса! Позвольте такъ называть васъ!» сказалъ Слера, съ неожиданною развязностью: «я надѣюсь, что вы не забыли нашего главнаго условія?»

— «Будутъ, всѣ будутъ; но въ замкѣ не отошла еще общая трапеза.»

— «Приношу вамъ мою признательность! Я человѣкъ здѣсь новый; торговыя дѣла мои весьма обширны. Ближайшее знакомство съ рыцарями, нѣкоторыя одолженія, для чего я не пожалѣю денегъ, ваше покровительство, — все это можетъ доставить торговлѣ моей большую безопасность, а вамъ, милая Эмма, съ каждой выгоды будетъ своя доля.»

Сказавъ это, баронъ погладилъ подбородокъ Эммы.

— «Какъ вы добры, господинъ баронъ!»

— «Скажите лучше разсчетливъ и опытенъ: я знаю, что прочность любви и зданія — зависятъ отъ издержекъ. Не правда ли? А какое это очаровательное мѣсто, ваша Полунга! Я объѣхалъ много городовъ. Ни одинъ мнѣ такъ не понравился. Въ ганзейскихъ городахъ просто жить нельзя. Или эта твердыня? Заглядѣнье! Скажите; вѣдь эти три стѣны для защиты требуютъ ужаснаго войска!»

— «Эренгроссъ мнѣ сказывалъ, что у нихъ теперь до семи тысячъ латниковъ.»

— «И всѣ на лицо?»

— «Какъ можно! До трехъ тысячъ лежатъ въ больницахъ; ихъ очень удачно лечатъ вайделотки.»

— «Скажите! Такъ и эти вѣдьмы въ нашихъ рукахъ къ чему-нибудь да пригодились. Я хотѣлъ и съ ними познакомиться, да, говорятъ, онѣ такія неприступныя.»

— «Отъ страха, господинъ баронъ; у нихъ есть какая-то Бирута; ее еще никто не видалъ на посадахъ, да за то она всѣхъ видитъ, все знаетъ. Вайделотки иногда ходятъ на прогулки, но никогда иначе, какъ втроемъ, вчетверомъ, и то безпрестанно оглядываются на башню. Правду сказать наши рыцари боятся командора, но только въ замкѣ, а Бирута наводитъ ужасъ на вайделотокъ, даже на морѣ, когда онѣ купаются.»

— «Но, я думаю, въ замкѣ не безъ шалостей!»

— «Какъ можно! Самого командора Бирута выбросила изъ окна за дерзость. Вѣдь есть въ природѣ, для разнообразія, и такіе уроды!»

— «Конечно! Для разнообразія!»

— «Рыцарь Гофгагенъ!» сказала Эмма: «Рекомендую моего родственника изъ Ревеля, барона Брамера!»

— «Очень радъ познакомиться!» сказалъ рыцарь, сбрасывая плащъ: «Затомилъ насъ сегодня командоръ!»

— «Рыцарь Пильгаертъ!» «Рыцарь Штробергъ» и много именъ одно за другимъ раздавались въ тѣсной гостинной Эммы и въ короткое время много знакомствъ сдѣлалъ баронъ Брамеръ.

— «А рыцарь Висландъ?» спросила Эмма.

— «Больше никто не придетъ...» отвѣчалъ Гофгагенъ: «Всѣ на мѣстахъ.»

— «Видно, у васъ немало мѣстъ.»

— «Довольно! Шесть воротъ — у каждыхъ рыцарь, въ трехъ конвентахъ по два рыцаря; да у вайделотокъ одинъ, всего тринадцать.»

— «Дурное число!» сказалъ баронъ съ улыбкой.

— «А четырнадцатый командоръ; вы не считаете? Онъ одинъ за всѣхъ; вотъ почему должно считать двадцать шесть.»

— «Чудное это изобрѣтеніе — мортиры: говорятъ, во сто пудъ камни можно бросать на воздухъ; до луны долетаютъ!»

— «Нѣтъ, господинъ баронъ, мортиры — хороши для трусовъ. Что послѣ этого личная храбрость, когда сражаются на машинахъ. Еслибъ не эти чудовища, — Гедыминъ бы и донынѣ здравствовалъ; а теперь не съ кѣмъ и силой помѣряться.»

Баронъ посмотрѣлъ на Гофгагена и не могъ воздержаться отъ презрительной улыбки; но—мгновеніе, лице его приняло прежній веселый видъ и онъ сказалъ:

— «Не говорите, рыцарь! Я съ большимъ уваженіемъ къ этимъ чудовищамъ! Безъ нихъ много бы измѣнилось въ нашихъ лѣтописяхъ. Впрочемъ выходитъ теперь одно на одно: у короля Ольгерда, говорятъ, на виленской твердынѣ шесть мортиръ стоятъ, король Кейстутъ подарилъ, а на Трокахъ самъ не держитъ ни одной. Онъ вашего мнѣнія, рыцарь!

— «Только же въ немъ и хорошаго, что онъ этой подлости не любитъ. И, какъ хотите, грустно смотрѣть, что судьба героевъ въ рукахъ какого нибудь мортирщика изъ черни. Вотъ и этотъ знаменитый Тилеманъ, изъ Суннака, что въ такой чести теперь у насъ гоститъ и, будто дѣлу, учитъ нашихъ двухъ латниковъ.»

— «Тилеманъ! Этотъ великій человѣкъ, что убилъ Гедымина? Онъ здѣсь? Ахъ какъ бы я желалъ его видѣть!»

— «Ну, ужъ какъ угодно, а мортирщики намъ не общество!» сказалъ Гофгагенъ.

— «А я совсѣмъ другаго мнѣнія;» перебилъ Пильгаертъ: «я не видалъ собесѣдника пріятнѣе Тилемана; и если бы милая Эмма позволила, онъ бы очень повеселилъ барона, и притомъ такого патріота!»

— «Что ее слушать!» сказалъ ласково баронъ: «Что ее слушать! Вы меня чрезвычайно обяжете.»

Пильгаертъ надѣлъ плащъ, ушелъ и, еще не успѣли гости завязать новаго разговора, воротился съ Тилеманомъ.

— «Вотъ вамъ,» сказалъ Пильгаертъ: «на лице побѣдитель Гедымина!»

— «Хе!» со смѣхомъ отвѣчалъ Тилеманъ, который самъ былъ похожъ на мортиру, но и то въ дурномъ видѣ: «Хе, хе! Я свое дѣло сдѣлалъ, а вы, господа, хе, хе! Веллоны и съ моею помощью взять не могли. Я какъ брякну моими орѣхами, такъ крыша въ рѣшето и пробуравлю; они на приступъ, литвины мыломъ ихъ обмылять изъ смоляныхъ бочекъ, да и давай брить мачугами. Право, стыдъ, мачугами!»

— «Мачугами! Что это такое?» съ притворнымъ изумленіемъ спросилъ баронъ.

— «Хе, хе! Мачуга! Нѣтъ ужъ лучше не скажу! Палочки, тросточки; арсеналъ мачугъ въ лѣсу. Право, стыдно разсказывать... Хе, хе! Молчать, что ли?.. Дубокъ. Сѣкиркой дровосѣкъ кору надрубитъ, да за кору кремней натыкаетъ, кора заростетъ: вотъ тебѣ и мачуга; мечъ не беретъ! Нѣтъ, право, негодится разсказывать... Хе, хе!..»

— «Ну чтожъ, Эмма! Не пора ли намъ и закусить?»

— «Конечно пора!» сказалъ Гофгагенъ: «Мы въ пріятной надеждѣ, въ конвентахъ за столомъ, безъ дѣла сидѣли.»

— «Да гдѣ же это Филиппхенъ?» спросила тревожно Эмма: «Безъ него намъ не справиться.»

— «Правда, правда!» сказалъ баронъ: «Безъ Филиппхена плохо. Ничего не знаемъ: какъ и что

будетъ... Да ужъ чтобы времени не терять, я за него.»

— «Позвольте помочь вамъ, баронъ, вы одни не справитесь, а командоръ иногда соскучится, иногда обочтется, да цѣлымъ часомъ раньше къ сбору зазвонитъ.»

Заходили рыцари. Тилеманъ одинъ вынесъ въ садъ большой столъ; барону стало завидно; онъ схватилъ въ охабку порядочной боченокъ вина; кто за жареное, кто за холодное, кто во что горазъ: мигомъ столъ готовъ въ красивомъ саду, огороженномъ высокимъ заборомъ... Почелъ пиръ на весь міръ... Рыцари уже цѣловаться лѣзли, то къ барону, то къ Эммѣ; но доброе вино — ртуть; дѣло извѣстное; на худую погоду заговорило; въ ноги ушло: идти нельзя; давай ползкомъ къ Эммѣ, а та вмѣсто поцѣлуя, кубокъ подаетъ, выпей прежде; хлопъ на хлопъ, наземь, ляжемъ; столъ на полъ... Конвенты, будто на походѣ, котомъ лежатъ; только одинъ Тилеманъ огромную серебряную мортиру, сидя, разряжаетъ; разрядилъ, и у него голова, словно бомба, съ навѣса падаетъ... Вдругъ колоколъ.

— «Такъ и есть! Я это зналъ!» сказалъ Тилеманъ: «Обчелся командоръ не однимъ часомъ, а тремя.»

— «Эй господа! Не ходить пока солнце не скажетъ!»

— «Не ходить!» сказалъ Пильгеръ, сидя на полу, размахивая правою рукою и задѣвая себя по носу...

— «Смирно!» сказалъ Гоффагенъ: «Какъ не ходить? Пойдемъ, да ужъ за все, про все голову ему намылимъ!»

— «Пойдемъ!»

Кое-какъ одинъ другому помогая, опираясь и царапаясь по забору, рыцари поднялись; но после такого великаго подвига усѣлись на скамьяхъ и, молча, глядѣли другъ на друга...

— «Ну что?» сказалъ Гоффагенъ: «Не звонятъ? Видно вѣтромъ, али въ ушахъ у насъ зазвонило...»

Раздался второй ударъ. У Гоффагена ужасъ исковеркалъ лице...

— «Да это, братья и рыцари, большой колоколъ, это набатъ, т. е. тревога.»

— «Тревога!» закричали всѣ. «Вставай!» Но всталъ только одинъ Тилеманъ, надѣлъ чужой, рыцарскій плащъ и пошелъ въ замокъ, змѣинымъ шагомъ. Баронъ и Эмма помогали рыцарямъ встать; но доброе вино никогда не бьетъ въ голову; отъ того и подагра. Всѣ усилія оказались напрасны.

— «Бросимъ мы ихъ!» сказалъ баронъ тихо Эммѣ: «Что намъ за дѣло! Зачѣмъ пьютъ больше, чѣмъ могутъ!.. Пойдемъ, Эмма!..»

Эмма повиновалась. Въ гостиной встрѣтили они Филиппхена и еще какого-то гостя... Спера или Брамеръ, или Кристофъ, какъ угодно, отступилъ въ ужасѣ. Эмма вскрикнула, сама не понимая отъ чего... Филиппхенъ не успѣвалъ шептать тому, то другому: «Тише, тише, ради Бога, молчите!..»

— «Надо быть большимъ сумазбродомъ, не во гнѣвъ будь сказано!» сказалъ Спера по-литовски.

— «Полно, Юрій Никитичъ!» отвѣчалъ незнакомецъ, улыбаясь: «Хозяйскій глазъ лучше наемнаго. Что́ тутъ у васъ дѣлается? Говори, Юрій Никитичъ, поскорѣе, мнѣ некогда; я обѣщалъ командору быть на Полунгѣ, вмѣстѣ съ закатомъ солнца; дружина моя за лѣсомъ. И если бы ты не прислалъ Филиппхена, я уже былъ бы на замкѣ. Спасибо, Юрій Никитичъ! Ты мнѣ напомнилъ мой славный обычай. Съ-горяча, чуть-было, безъ повѣстки, не нагрянулъ.»

— «Такъ ты уже оповѣстилъ командора?»

— «Оповѣстилъ, спасибо тебѣ, оповѣстилъ; и два часа для Гейнриха довольно. У него три конвента, да самъ онъ четвертаго сто́итъ...»

— «Ну три не три!» сказалъ Юрій Никитичъ съ довольной улыбкой.

— «А что́ такое?»

— «Да вотъ тутъ, въ саду, у меня, почти двѣ дюжины запировались. Къ дѣлу до завтра негодны.»

Незнакомецъ нахмурился и сказалъ грустно:

— «Нечего дѣлать! Обождемъ до завтра.»

— «Какъ? Ты хочешь?..»

— «Да, Юрій Никитичъ, я люблю военныя хитрости, а не военныя подлости. Тутъ есть разница. На пьяныхъ нападать стыдно, когда мы сами ихъ напоили!..»

Юрій Никитичъ горько улыбнулся.

— «Право, безуміе!» сказалъ онъ: «Я ловилъ, перехватывалъ всѣ слухи о тебѣ, а ты самъ оповѣстилъ командора о своемъ пріѣздѣ; я обезо-

ружилъ Полунгу на три, на четыре часа; а онъ хочетъ, чтобы самого магистра успѣли позвать на помощь командору; я его просилъ сидѣть смирно до ночи, а онъ самъ, лично, идетъ въ руки Нѣмцевъ...»

— «Какъ бы не такъ!» сказалъ незнакомецъ. «Послушай, какъ гудитъ колоколъ, посмотри, какъ со всѣхъ посадовъ всѣ пожитки тащатъ въ замокъ: это командоръ поясъ подтягиваетъ, хвостъ поджимаетъ. Сдѣлай дружбу, Юрій Никитичъ, выведи мнѣ отсюда рыцарей; я уже теперь знака своимъ подать не успѣю: не пройдетъ часа, вспыхнутъ эти посады. Прогорятъ до утра... а утромъ...»

Филиппхенъ съ горестью посмотрѣлъ на Эмму; а Эмма прислонясь къ дверямъ своей спальни, слѣдовала глазами за всѣми движеніями собесѣдниковъ, слушала со всевозможнымъ напряженіемъ, но ничего не понимала.

— «А что утромъ?» сказалъ Юрій Никитичъ съ запальчивостью: «Утромъ Тилеманъ онокмѣлится и направитъ ту же мортиру на сына, которая бросила смерть на отца моего...»

— «Тилеманъ! Тилеманъ здѣсь?» и незнакомецъ схватилъ золоченый рогъ, и желѣзной рукой вышибъ окно съ рамой... Юрій Никитичъ схватилъ его за руку.

— «Памятью отца твоего, заклинаю, не дурачься! Какой рыцарь не узнаетъ голоса этого крикуна литовскаго?.. Тогда выручитъ ли тебя дружина или нѣтъ, Богъ вѣдаетъ, но ты во второй разъ Маріенбургъ увидишь!»

— «Вздоръ! Я уйду во второй разъ! Куда имъ, лисицамъ, удержать на-привязи волка литовскаго...»

— «Послушай же, князь!» сказалъ Юрій Никитичъ: «Не вамъ, шалунамъ, посвятилъ я скитальческую жизнь мою. Нѣтъ! Вѣрѣ Господней, борьбѣ со врагами отчизны, памяти мужа великаго... По вѣчнымъ угольямъ опасности и казни хожу я босыми ногами, я ухо ваше въ Маріенбургѣ, Авиньонѣ, во всей Европѣ, я, Юрій, по-вашему Сперa Тразвилась, сына своего отдалъ въ службу коварству, хитрости, обману... И все это, не за васъ, что-ли?.. Боря! Три шага до гостинницы! Приведи Вѣтронога! Не жалуйся, князь, я не буду помѣхой твоему молодечеству. Изволь, пусть и крикуну литовскому будетъ воля надъ литовскимъ моремъ, труби себѣ, Богъ съ тобой, труби, только съ коня, трижды, и въ лѣсъ безъ оглядки... Даешь ли мнѣ слово?..

— «Быть по-твоему! Но какъ же попалъ сюда Вѣтроногъ?..»

— «Князь! Слово, слово!..»

— «Прощай, Юрій Никитичъ; молись обо мнѣ!» сказалъ князь и когда Боря воротился, ускакалъ на Вѣтроногѣ.

— «Да ужъ конечно не твоимъ молитвамъ подаетъ Богъ побѣду» сказалъ Юрій, качая головою. «Что, Боря, посмотрѣть бы, что наши плѣнные дѣлаютъ...»

— «Эренгроссъ! Эренгроссъ сюда идетъ!» сказалъ Филиппхенъ. Эмма съ крикомъ убѣжала въ спальню.

— «Запирай двери, уходи черезъ садъ!» кричалъ Юрій.

— «Онъ убьетъ Эмму, Кристофъ, онъ убьетъ ее; я знаю Эренгросса!»

— «Да чертъ ее возьми!»

— «Кристофъ! Я не пойду безъ нея: она любила, ласкала меня; нѣтъ, я не пойду безъ нея...»

— «Да запри прежде двери!..»

— «Поздно, Эренгроссъ! Здравствуй Эренгроссъ!» кричалъ Филиппхенъ: «намъ измѣнили. Дай мнѣ ножъ поскорѣй!..» И, не ожидая отвѣта отъ рыцаря, выхватилъ у него мечъ, и рука юноши обновилась въ кровавомъ дѣлѣ. Эренгроссъ упалъ и завалилъ своимъ огромнымъ тѣломъ двери въ садъ, въ самое то время, когда оттуда съ величайшимъ трудомъ выходили рыцари. На Эренгроссѣ возлегла желѣзная куча; Филиппхенъ вытащилъ изъ спальни Эмму. Она дрожала и заливалась слезами.

— «Кристофъ! за мною!» кричалъ Филиппхенъ. Юрій качалъ головою и медленно уходя за Борисомъ, бормоталъ сквозь зубы: «Каковъ цыпленокъ! На глазахъ пѣтухомъ сталъ.»

Отправивъ Эренгросса за рыцарями, командоръ Гейнрихъ фонъ Брезе стоялъ, сложивъ руки, на высокой площадкѣ у двухъ мортиръ, господствовавшихъ надъ всею окрестностью. Латники густыми толпами тянулись по стѣнамъ, занимая указанныя мѣста. Тилеманъ, размахивая руками и напаясь, докладывалъ командору обо всѣхъ подробностяхъ пира. Возлѣ Брезе, потупивъ голову, сто-

ялъ Альфъ; лице его было блѣдно; онъ, казалось, не принималъ никакого участія въ общей суматохѣ; изрѣдка тяжелые вздохи вылетали изъ груди его. Брезе не обращалъ никакого вниманія ни на разсказы Тилемана, ни на романическое положеніе Альфа. У ногъ его лежала стрѣла и свитокъ. Глаза командора безпрестанно ходили по всей окрестности, какъ будто спрашивали: откуда нагрянутъ Литвины? то обращались къ солнцу, также будто съ вопросомъ: скоро ли? Солнце садилось; казалось, что между моремъ и свѣтиломъ дня оставалось только на ладонь пространства. Хотя не было на лице болѣе двадцати рыцарей, но къ сильному отпору все было готово: и камни, и горючія вещества, и кипятокъ, и мортиры. Тилеманъ распоряжался съ отличнымъ искуствомъ; ученики слѣпо повиновались.

— «Хе, хе!» говорилъ онъ. «Пьянъ! Нѣтъ! Тилеманъ не пьянъ! Веселъ! Дѣло чуетъ! Видно приходится всю родину языческихъ королей взять съ навѣса; подкинь еще пару орѣшковъ вотъ въ этотъ горшечекъ.»

Ученики не поняли, потому что Тилеманъ хотѣлъ указать на мортиру ногой, но она прошла по неправильной, неопредѣленной орбитѣ.

— «Хе, хе!» сказалъ онъ «какая глупая нога! Не туда ходитъ. Ну, видно довольно, по три качана, да по двѣнадцати орѣховъ. Тридцать. На двѣ дружины хватитъ. А что командоръ, этотъ язычникъ такъ и пишетъ, что лижетъ солнце на покой, а онъ къ намъ въ гости... Вотъ оторви голова!» про-

должалъ Тилеманъ, не получая отъ Брезе никакого отвѣта: «Норовъ какой чертовскій. Такъ и разбойники въ старыя времена не дѣлывали. Повѣстки завелъ. Хе, хе! Дамъ я тебѣ повѣстку!.. Да еще какъ ловко! Подъ самый носъ командора на столъ каменный стрѣла упала... И безъ острія, видишь какой, жало стрѣлы выдернулъ! Хвасть, просто хвасть! Вотъ я тебя вспрысну... Гдѣ онъ, у чорта, такого лучника выкопалъ? Слышалъ я, въ Швейцаріи есть стрѣльцы: въ звѣзды попадаютъ... Да то за горами... Постой же, постой, я тебя огорошу... И лучника того, говорятъ, видѣли... Къ самымъ воротамъ пѣшкомъ подошелъ, брызгъ — стрѣла въ окно, а онъ взялъ, да свой лукъ на воротахъ и повѣсилъ... И теперь виситъ. Пишетъ: «Не трогать! Самъ за нимъ приду...» Вотъ я тебя, затѣйникъ! Справлю я тебѣ пиръ: и коченья, и орѣшки, и брюква будетъ... Ого! видно опохмѣлились. Ѣдутъ... Давно бы такъ!»

— «То не наши!» сказалъ грустно командоръ: «Прости имъ Господи, для службы твоей они уже погибли. Что латники найдутъ? Я послалъ за ними больничныя повозки. Можетъ быть, отъ суда удастся выручить... Только едва ли! Здѣсь Кристофъ: онъ все видитъ... А! Это тотъ самый лучникъ, что стрѣлу бросилъ...»

— «Тотъ самый!» вскричалъ Тилеманъ: «Пали!..»

— «Не смѣй! Пословъ ни бьютъ, ни вѣшаютъ...»

Всадникъ поровнялся съ главными воротами; удержалъ коня; указалъ рукою на солнце и затрубилъ.

Альфъ вздрогнулъ, командоръ также. Всадникъ затрубилъ во второй разъ, командоръ протянулъ руку; Альфъ схватилъ эту руку; раздался третій рогъ— и всадникъ исчезъ. Командоръ и Альфъ въ одинъ голосъ закричали: «Кейстутъ!!..»

Въ ту же минуту задымились посады въ разныхъ мѣстахъ; латники спѣшно возвращались, рыцари не захотѣли ѣхать; ихъ почти на рукахъ привели латники. Запоздалые жители посадовъ опрометью, толпами бѣжали къ воротамъ замка. Солнце тонуло; пожарное пламя разливалось надъ моремъ; сорвался сильный вѣтръ; корабли распускали крылья и уходили изъ гавани. Безъ битвы, воздухъ уже наполнился плачемъ, крикомъ и пѣснями; эти пѣсни неслись съ высокой каланчи; всѣ кромѣ командора, невольно оглянулись: въ стеклянной храминѣ Зничь подымался огненнымъ столбомъ, надъ нимъ клубились облака дыма; вайделотки въ полномъ облаченіи окружали жертвенникъ, пѣли гимны Праурима. Бирута, поднявъ руки къ небу, безмолвно молилась. Зарево отъ жертвенника освѣщало прекрасное лице; на немъ была написана такъ ярко, такъ четко вдохновенная молитва. Альфъ не выдержалъ; голова его упала на грудь командора; онъ зарыдалъ... Пусто стало по всей долинѣ, и мертвая тишина на мгновеніе пролилась по окрестности; вдругъ вѣтеръ завылъ пуще голодной стаи волковъ, пожаръ затрещалъ сильнѣе и, тѣшась на лихой волѣ, выбрасывалъ головнями, какъ арапскій искусникъ играетъ въ шары; стало свѣтло, будто днемъ; бѣлая тѣнь от-

дѣлилась на кровавой площади пожара; она бѣгала съ кувшиномъ, чего-то искала; но изъ пожарища выползли черные люди, схватили несчастную и исчезли въ огненныхъ улицахъ... Вѣтеръ крѣпчалъ, пламя росло и кудрявилось... Вдругъ вся окрестность почернѣла; будто море выступило изъ береговъ своихъ, будто завѣтные лѣса Полуяги тронулись и, качая кудрявыми вершинами, шли на твердыню... Зазвучалъ знакомый рогъ на приступъ и началась вѣкопамятная сѣча!

— «Пали!» заревѣлъ Тилеманъ и поджегъ мортиру! Градъ камней брызнулъ.

— «Кого убило?» спросилъ онъ, подбоченясь.

— «Кого нибудь въ лѣсу...» отвѣчалъ Латникъ.

— «Чортъ возьми! Я говорилъ, что мортиры надо вмѣсто этого языческаго огня, на каланчу поставить. А тутъ, что въ нихъ про́ку, далеко хватаютъ, въ лѣсъ. Вмѣсто литовскаго волка, сорóкъ пугаютъ... Да ужъ чортъ возьми, не жалѣть стать пороха... пали изъ другой...»

Или пороху много было, или мортира дурно поставлена: камни хлынули, да прямо въ море. Тилеманъ изумился. «Ну, причина! Да ничего! Съ моря не посмѣютъ помощь язычникамъ подать. Видишь, какъ корабли улепетываютъ?»

— «Да это торговые!»

— «Врешь!—Когда идетъ бой, какіе тутъ торговые корабли? Будто ужъ я первый разъ въ приморской твердынѣ. Вали порохъ и камни!.. Пали!.. Отъ одной музыки моей страхъ по землѣ ходитъ...»

Такъ разсуждалъ Тилеманъ и усердно бросалъ камни то въ лѣсъ, то въ море! Между-тѣмъ приступъ продолжался на всѣхъ концахъ твердыни. Рыцари, не смотря на страшный пиръ обѣденный, предшествовавшій военному, уже приходили въ себя; нѣкоторые уже вооружались. Кипящая смола лилась огнемъ со стѣнъ; камни изъ ручныхъ металныхъ орудій осыпали дождемъ Литвиновъ. Не видно было осаждающихъ, ни осажденныхъ. Въ твердынѣ слышенъ былъ только голосъ командора; за твердыней крикунъ литовскій. Командоръ былъ на первой стѣнѣ, а на вторую уже ставилъ лѣстницу самъ Кейстутъ. Вскочивъ на вторую стѣну, Кейстутъ затрубилъ. Крестовое войско пришло въ ужасъ, голоса начальниковъ смѣшались. Командоръ бросился самъ на князя, но Кейстутъ уже трубилъ съ третьей стѣны; въ общемъ безпорядкѣ, силы осажденныхъ раздѣлились, и Литвины, какъ волны, влились въ твердыню.

Почти на всѣхъ пунктахъ пошелъ рукопашный бой. Кейстутъ первый вскочилъ на площадку, гдѣ стояли мортиры.

— «Вздоръ!» кричалъ Тилеманъ. «Это, что называется, эхо. Есть у Литвиновъ такіе искусники, затрубитъ тебѣ подъ ухомъ, а кажется за версту. Вотъ я ихъ! Надо заглушить.»

И Тилеманъ хотѣлъ-было поджечь *Морскую* мортиру, какъ онъ ее уже сталъ называть, для различія отъ *Львиной*. Но смертельная мачуга хлеснула Тилеману въ самые глаза: онъ упалъ; еще два три удара и — Тилемана не стало; Кейстутъ

отсѣкъ ему голову и бросилъ, какъ орѣшекъ, въ мортиру. На той же площадкѣ, гдѣ стояли мортиры, подъ стражей рыцаря и четырехъ латниковъ, находился Альфъ. Кейстутъ, отправивъ Тилемана, затрубилъ пуще прежняго. И рыцарь и Альфъ узнали князя. Рыцарь подалъ знакъ своимъ латникамъ, и всѣ бросились на Кейстута. Литовскій волкъ только сверкнулъ очами; копье его давно уже гдѣ-то осталось въ ребрахъ Рыцарскихъ; въ рукахъ его былъ только длинный его мечь, а за поясомъ висѣла короткая мачуга, побѣдительница Тилемана, толщиной на обхватъ руки. Рыцарь бросилъ копье въ ногу князя; добыть Кейстута живымъ стóило не простаго, а великаго командорства и, мало этого, при выборѣ въ магистры, первое имя на спискѣ. Европа знала объ этомъ безмѣрномъ награжденіи, назначенномъ всѣми высшими чинами за Кейстута живаго. Цѣлый листъ былъ росписанъ; сто разныхъ условій, сто разныхъ наградъ; если въ равномъ бою... если на бою съ превышающею силой... если военною хитростью... если обманомъ... если мертвымъ, раненнымъ и проч. и проч.

— «Мимо!» закричали и князь и Альфъ, когда копье впилось въ деревянную осаду мортиры.

— «Вотъ ужъ я не промахнусь, рыцарь» сказалъ Кейстутъ, лѣвою рукою вырвалъ рыцарское копье, лѣвою рукою бросилъ его, и рыцарь палъ, и кровь хлынула горломъ, и солнце жизни его закатилось. Латники, оторопѣвъ, стояли передъ княземъ и не знали на чтó рѣшиться; не болѣе

какъ шагахъ въ тридцати былъ отъ нихъ Кейстутъ и снова трубилъ и снова къ площадкѣ потянулись ратники обѣихъ сторонъ. Альфъ также подбѣжалъ къ князю. Кейстутъ посмотрѣлъ на него, пожалъ ему руку, слезы сверкнули на глазахъ у обоихъ, и звуки крикуна литовскаго возвѣстили побѣду!!

— «Побѣда! Побѣда!» кричали Литвины по всей твердынѣ. Нѣмецкіе латники отворили ворота и стали разбѣгаться; но бѣглецамъ заградилъ дорогу командоръ съ тремя рыцарями.

— «Назадъ!» закричалъ Брезе: «Назадъ!» И первый бѣглецъ, который наткнулся на командора, безъ чувствъ покатился на земь отъ могучаго удара.

— «Я тебя выгоню изъ моей столицы!» сказалъ какой-то старецъ; на немъ не было уже шлема; желтые волоса развѣвались по вѣтру; то былъ Видымундъ. Какой-то латникъ копьемъ снялъ шлемъ съ пылкаго старца; онъ хотѣлъ воротить его съ головы командора. Начался бой лютый; опытность замѣняла силу. Какъ хитрый тигръ бросался и отскакивалъ старецъ; командоръ, какъ желѣзный столбъ, подвигался впередъ и впередъ; съ обѣихъ сторонъ прибывали и рыцари и латники на помощь. Видымундъ, продолжая сражаться, лѣвой рукой захватилъ свой рожокъ и заигралъ давно всѣмъ знакомую пѣсню. На этотъ призывъ Литвины со всѣхъ сторонъ неслись къ Видымунду.

— «Слышишь?» спросилъ Кейстутъ у Альфа:

«слышишь? Старикъ поднялъ медведя; пойдемъ на облаву; бери какой-нибудь мечъ, пойдемъ.»

— «Не могу, Кейстутъ!»

— «Это почему?»

— «Я далъ слово: пока я въ твердынѣ, не вредить рыцарямъ.»

— «Глупо, что ты далъ такое слово, а ужъ если далъ, такъ держи его. Ну, а я слова не давалъ. Видымундъ обидится; но я тебя не отпущу отъ себя; они знаютъ, что я пришелъ за тобой. Этого для нихъ довольно, чтобы рѣшиться на всякую подлость. Пойдемъ!»

Видымундъ уже былъ у третьихъ воротъ, у самой вершины; мѣсто сраженія становилось тѣсно. Командоръ напиралъ съ холодною храбростью; Литвины злились; уже широкій мечъ фонъ Брезе слегка царапалъ Видымунда по обнаженной головѣ; уже слѣдовалъ смертельный ударъ, какъ вдругъ, откуда ни возьмись другой старикъ, весь въ желѣзѣ, съ крестомъ на груди, ударилъ огромной булавой въ щитъ командора. Щитъ затрещалъ, фонъ Брезе пошатнулся; другой ударъ — щитъ въ щепки; желѣзный старикъ уронилъ булаву, прижалъ кулакъ руки къ плечу, потомъ вытянулъ ее быстро и, жужжа, чугунный шаръ впился въ самое забрало командора.

— «Побѣда! побѣда!» кричали Литвины облѣпивъ со всѣхъ сторонъ командора своими желѣзными лапами. Рыцари не могли отстоять командора, потому что въ толпѣ ихъ явился Кейстутъ, Гришка Русинъ и другіе богатыри Литовскіе.

Нѣкоторые были обезоружены, иные убиты, немногіе спаслись бѣгствомъ.

— «Не трогать!» закричалъ желѣзный старикъ. «Не трогать моего добраго командора. Онъ у меня и такъ на веревочкѣ. Отстегните шлемъ.»

Отстегнули; шаръ увязъ въ разбитой рѣшеткѣ забрала, но, по счастію, не коснулся лица, какъ и прежде, покойнаго, хотя и суроваго. Старикъ въ это время все что-то наматывалъ себѣ на руку и шлемъ командорскій повисъ у него на рукѣ, ниже пояса.

— «Это мое!» сказалъ старикъ: «въ большой палатѣ повѣшу!» Онъ подалъ командору руку, на которой, попрежнему, все-таки висѣлъ шлемъ. Командоръ съ презрѣніемъ отъ него отвернулся.

— «Ахъ ты, латынская харя!» закричалъ старикъ и поднялъ забрало. Крики огласили всю окрестность.

— «Ай да Цвиркунъ!» гремѣла вся дружина. Но Цвиркунъ былъ очень сердитъ на командора.

— «Ведите его, за мной: онъ мой плѣнникъ За мной, всѣ за мной! сегодня я старшій!»

Гришка Русинъ принялъ начальство надъ крѣпостью. Огонь пожара не могъ уже освѣщать огромной сцены этого кроваваго балета съ сраженіями и великолѣпнымъ спектаклемъ. Появились факелы. Ворота заперли; разставили стражу; все утихло. Въ большую трапезную палату вошелъ первый Цвиркунъ.

— «Благо столы накрыты!» сказалъ Цвиркунъ. «Ищите съѣстнаго!»

Между-тѣмъ, въ ту же палату вошли Кейстутъ, Видымундъ, Альфъ и нѣкоторые старѣйшіе вожди и плѣнные командоръ и рыцари.

Свлъ Цвиркунъ на главное мѣсто и сказалъ съ комическою важностью:

— «Дѣти мои, не родныя, но любимыя! Взялъ я Полунгу, полонилъ командора: стану добычею распоряжаться и порядокъ строить. Садитесь!»

Всѣ усѣлись.

— «Полунги намъ не удержать.»

— «Какъ не удержать?» — закричали вожди.

— «Да ужъ не удержать! Молодежъ! Я вамъ говорю, не удержать! Такъ думалъ и покойный мой старикъ! А вы что въ мирной хитрости разумѣете? Подраться — ваше дѣло; а совѣтъ вести — стариковъ слушайте!.. Подарить Нѣмцамъ Полунгу! Нате вамъ, глодайте косточку: мы пировали, веселились, а она со стола свалилась...»

— «Что ты это, дядя Цвиркунъ?» сказалъ Альфъ почтительно: «Да отдайте мнѣ Полунгу, оставьте мнѣ ратныхъ людей, я покажу Нѣмцамъ, какъ твердыню держать!»

— «Ну ужъ мы видѣли, какъ ты умѣешь твердыни брать... А на приступѣ только молодечества надо, а подъ приступомъ — разума. Ну, а ты, мой голубчикъ и дядьку твоего осрамилъ, и себя ребенкомъ передъ Нѣмцами показалъ, и такого нагородилъ, что, право, и мнѣ и тебѣ и князьямъ стыдно.»

— «Глупъ я былъ, сознаюсь; но мнѣ всѣ эти

несчастія были въ науку; я былъ крѣпко несчастливъ. А теперь...» Альфъ замолчалъ.

— «Это что?» сказалъ Кейстутъ. «Ужъ не въ Нѣмку ли ты влюбился?..»

— «Ахъ не въ Нѣмку! не въ Нѣмку! Литвинка, твоей вѣры, Литвинка, что любитъ отчизну пуще насъ съ тобой...»

— «Боги великіе!» со слезами сказалъ Кейстутъ: «Благодарю! Жена, счастіе семейное утолятъ тоску Альфа! Говори, гдѣ же?»

— «Здѣсь!»

— «Сейчасъ женить его!» кричалъ князь...

— «Ахъ ты, молодость зеленая!» качая головою, сказалъ Цвиркунъ: «а что на это скажетъ Ольгердъ Гедыминичъ, что̀ на это скажетъ княгиня, что̀ будетъ съ боярышней, его невѣстой?..»

— «Ахъ, не то, батюшка Цвиркунъ» сказалъ Альфъ печально: «Что̀ на это скажетъ моя литвинка? — Она вайделотка...»

— «Вайделотка!» вскрикнули всѣ.

— «Вотъ тебѣ разъ!» сказалъ Цвиркунъ: «Плохо, плохо! И на волѣ, и въ плѣну, а все глупости отпускаетъ. Ну какъ же тебѣ въ вайделотку втюриться? Ужъ я не говорю о томъ, что это погань литовская, да вѣдь жениться нельзя...»

— «Вздоръ, вздоръ! Не слушай его, Альфъ!» сказалъ князь весело: «Скажу только слово Криве-Кривейту — и дѣло уладится... Ну, а она тебя любитъ?..»

— «Нѣтъ!»

— «Нѣтъ!» опять вскрикнули всѣ.

— «Потому-то я и просилъ Полунги: я питалъ надежду...»

— «Ну, братъ,» замѣтилъ Цвиркунъ: «съ этой пищи умрешь голодною смертью...»

— «А я такъ совершенно согласенъ съ Альфомъ.» сказалъ князь: «Женщина кошка: хитра, да уступчива; поломается, да и сдатся. Не въ обиду тебѣ, и матушка твоя Германада уступила Маргеру... И самъ же ты, Цвиркунъ, намъ разсказывалъ, что съ тѣмъ намѣреніемъ Гедыминъ Маргера въ Пилонѣ намѣстникомъ поставилъ. Альфъ мнѣ братъ, такъ и не такимъ князьямъ равенъ. Альфъ! Быть по твоему. Но какъ зовутъ твою вайделотку?»

— «Бирутой...»

— «Бирутой!» восклицаніе разразилось громомъ, потому что Видымундъ вскочилъ въ бѣшенствѣ и ударилъ по столу кулакомъ такъ сильно, что щепки полетѣли.

— «Не бывать тому!» заревѣлъ Видымундъ: «Она умретъ прежде отъ этого ножа, нежели будетъ женою человѣка! Дочь Праурымы не измѣнитъ богинѣ прародительницѣ...»

— «Послушай, старикъ! Чего ты разревѣлся?» сказалъ Цвиркунъ: «Что, уже твою Бируту съ каланчи, что ли, тащатъ?.. Это разъ! — Князь далъ Альфу слово... это два, а въ третьихъ, пошли лучше за вайделотками, пусть придутъ, голову твою полечатъ; оттого-то ты и кричишь, что кровь по лбу льется... Эй, позовите вайделотокъ!»

Видымундъ обтиралъ кровь на лбу; князь шепталъ тихо Альфу: «Полно, не печалься, я все ула-

ну.» А Цвиркунъ приказалъ водвести къ себѣ плѣннаго командора...

— «Ну, ты, латинская харя!» сказалъ Цвиркунъ: «Ты со мной говорить не хочешь. Знаю, вашъ норовъ. Такъ и я съ тобой говорить не хочу. Выпустите его изъ твердыни! Пусть себѣ идетъ на всѣ четыре стороны...

— «Знатно, Цвиркунъ!» сказалъ князь и подалъ руку старому дядькѣ.

— «Ахъ ты, молодость зеленая! Стану я тебя спрашивать! Не ты, а я тебя училъ доброму. А вотъ и красныя дѣвушки, да еще какъ важно, и съ огнями, и съ цвѣтами, и съ пѣснями.

И дѣйствительно, въ корридорѣ появились вайделотки со свѣтильниками, съ вѣнками изъ цвѣтовъ; онѣ пѣли благодарственный гимнъ Праурима; впереди шла Бирута... Князь вскочилъ съ мѣста.

— «Вотъ она!» сказалъ Альфъ.

— «Та, вторая?» спросилъ князь, дрожащимъ голосомъ.

Альфъ судорожно схватилъ за руку Кейстута: ревность залила глаза его кровью и онъ закричалъ неистовымъ, отчаяннымъ голосомъ:

— «Первая, первая!!»

ОГЛАВЛЕНІЕ.

—

РОМАНЫ:

	стр.
I. Два Ивана, два Степаныча, два Костылькова (Часть IV-я.)	1.
II. Три Періода	235.
III. Альфъ и Альдона	431.